This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

A 928,888

1837
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR

891.78
S549
1909

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

А. К. ШЕЛЛЕРА-МИХАЙЛОВА.

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ

подъ редакціею и съ критико-біографическимъ очеркомъ А. М. Скабичевскаго и съ приложеніемъ портрета Шеллера.

ТОМЪ СЕДЬМОЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива" на 1904 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1904.

Артистич. заведеніе А. Ф. Маркса, Измайл. пр., № 29.

АЛЧУЩІЕ.

РОМАНЪ

ВЪ ПЯТИ КНИГАХЪ.

Comp. philology
Monolit
1-8-24
9581

КНИГА ПЕРВАЯ.

I.

Весна была въ самомъ разгарѣ.

Сначала шли безпрерывно теплые дожди; потомъ они смѣнились ясными, почти знойными днями. Снѣга стаяли быстро, дороги подсохли. Даже на тѣневыхъ откосахъ холмовъ и канавъ не оставалось и слѣдовъ снѣжныхъ подушекъ, а виднѣлись залегшія въ глубокихъ уголкахъ тонкія, точно вылитыя изъ стекла, узорчатыя, какъ кружево, пленки льда. На поляхъ и лугахъ показались рѣдкіе зеленые побѣги: кое-гдѣ мелькали бѣлыя звѣздочки первыхъ, быстро расцвѣтающихъ и быстро гибнущихъ цвѣтовъ, качавшихся на водянистыхъ, жиденькихъ стебелькахъ. Только лѣса стояли еще обнаженными, хотя издали казалось, что и они мѣстами приняли красноватые и зеленоватые оттѣнки. Лѣсная почва пестрѣла то группами сбившихся вмѣстѣ бурыхъ, желтоватыхъ и почти красныхъ прошлогоднихъ листьевъ, то кочками вѣчно зеленыхъ мховъ, то стоячими гладкими и блестѣвшими на солнце, какъ зеркала, лужами воды. Повсюду уже слышался суетливый немолчный гомонъ прилетавшихъ птицъ, и если при ослѣпительномъ блескѣ солнца не легко было прослѣдить за ними глазами, то слухъ уже отчетливо могъ уловить эти звуки весны.

Въ одинъ изъ такихъ ясныхъ, безоблачныхъ дней, часу въ шестомъ вечера, по дорогѣ къ барской усадьбѣ села Ломовскаго ѣхали два экипажа, не то кареты, не то коляски, съ спущенными передками, со стеклами по бокамъ. Потрескавшаяся и заскорузлая рыжеватая кожа, старинныя высокія рессоры, тяжелыя, въ родѣ телѣжныхъ, колеса, дребезжанье гаекъ, все говорило о долголѣтней службѣ груз-

ныхъ колымагъ. Въ одной изъ повозокъ, менѣе обремененныхъ поклажей, помѣщались господа—худощавый, невысокій ростомъ, бѣлокурый мужчина лѣтъ пятидесяти съ небольшимъ, очень полная, очень крупная женщина съ черными, какъ смоль, волосами, посеребренными немного сѣдиной, и дѣвушка лѣтъ двадцати пяти, высокая, стройная, нѣсколько худощавая, съ античнымъ профилемъ, съ блѣднымъ лицомъ и такая же брюнетка, какъ мать. Это были новые владѣльцы Ломовскаго, Θеодоръ Романовичъ, Антонина Аркадьевна и Анна Θеодоровна Ломовы. Въ другомъ возкѣ, утопая въ цѣлой массѣ дорожныхъ вещей, подушекъ и узловъ, находились слуги, толстая старуха лѣтъ шестидесяти пяти съ большимъ широкимъ лицомъ, съ узенькимъ, прорѣзаннымъ морщинами лбомъ, съ заботливо сжатыми тонкими губами, и степенный, худощавый старикъ, чисто выбритый, съ гладко приглаженными волосами, можетъ-быть, тѣхъ же лѣтъ, можетъ-быть, нѣсколько постарше, чѣмъ его спутница. И на господахъ, и на слугахъ были если не дурные, то далеко не модные, сильно заношенные, сильно потертые наряды, какіе встрѣчаются у бережливыхъ бѣдняковъ. Къ обоимъ экипажамъ снаружи было привязано не мало узловъ, сакъ-вояжей, чемодановъ, корзинъ. Все это было старое, потертое, порыжѣвшее, разнокалиберное, точно набранное гдѣ попало, купленное «по случаю». Судя по внѣшности, трудно было предположить, что это ѣдутъ владѣльцы довольно крупнаго имѣнія, а не захудалая чиновничья семья, переселяющаяся подкормиться на новое «мѣсто».

О скоромъ пріѣздѣ господъ въ усадьбу мѣстные крестьяне знали уже задолго, и, можетъ-быть, именно потому появленіе ихъ не произвело въ селѣ впечатлѣнія неожиданности. Впрочемъ, если бы ихъ и не ждали, то едва ли кого-нибудь особенно заинтересовалъ бы ихъ пріѣздъ: господа были «чужіе», никому не знакомые, не связанные никакими старыми воспоминаніями или новыми дѣловыми отношеніями съ селомъ. Мало того, эти новые сосѣди крестьянъ вступали во владѣніе довольно большими землями и, по всей вѣроятности, должны были заняться исключительно сельскимъ хозяйствомъ, тогда какъ ломовцы въ послѣднія десять лѣтъ совсѣмъ отбились и отъ своей собственной истощенной и скупой земли, втянувшись волей-неволей въ фабричную работу и въ отхожіе промыслы. Во время проѣзда экипажей черезъ село только нѣсколько любопытныхъ бабъ высунулось изъ оконъ и выбѣжало за ворота, заслышавъ

громыханье и дребезжанье колесъ, да нѣсколько встрѣчныхъ мужиковъ, поровнявшись на дорогѣ съ повозками, привычнымъ движеніемъ сняли шапки. Въ нѣкоторыхъ взглядахъ, въ нѣкоторыхъ фразахъ, правда, случайныхъ и незначительныхъ, было даже что-то недружелюбное, что-то недовѣрчивое. Къ новымъ, еще незнакомымъ людямъ всегда относятся именно такъ. Кое-гдѣ, при видѣ новопріѣзжихъ, послышались не то враждебныя, не то ироническія замѣчанія.

— Сала наживать пріѣхали!

— Самъ-то, сказывалъ Шершовъ, крутенекъ. Какъ бы шеи себѣ не вывихнулъ.

— Извѣстно, голодный волкъ зубы скалитъ.

Потомъ шли разсказы, отрывочные и немногословные, какъ мѣсяцъ или два тому назадъ новый баринъ, пріѣзжавшій осматривать свою усадьбу, сцѣпился съ бывшимъ старшиною Шершовымъ, грозя, безъ всякой видимой причины, согнуть послѣдняго въ бараній рогъ и сослать туда, куда Макаръ телятъ не гоняетъ и воронъ костей не заноситъ.

— Изъ-за чего вышло-то все?

— Кто ихъ разберетъ! Только Шершовъ-то толстое брюхо,—не скоро его согнешь.

— Покланяться какъ бы не пришлось. Что въ томъ, что вороненкомъ наскакивать умѣетъ, склевать-то силенки не хватитъ.

Въ экипажахъ тоже шли невеселыя бесѣды. Господа говорили по-французски, смотря въ окна кареты.

— Да это цѣлый фабричный городъ, а не село,—апатично замѣтила жена, смотря равнодушными глазами на высокія, сѣрыя и красныя зданія ситцевой и миткалевой фабрики, на винокуренный заводъ, на дома разныхъ управляющихъ и смотрителей фабрики и завода, на больницу и школу для фабричныхъ.

Дѣйствительно это былъ цѣлый городокъ, сложенный и сколоченный, казалось, безъ всякаго плана, на скорую руку и какъ бы на короткій срокъ. Груды досокъ, бревенъ и кирпича, оставшіяся отъ построекъ или приготовленныя для новыхъ сооруженій, говорили о его недавнемъ возникновеніи. Тѣмъ не менѣе, все здѣсь было уже загрязнено, закопчено, неряшливо.

— Это и не село, а вертепъ господъ Тарасовыхъ и компаніи,—поспѣшно отвѣтилъ мужъ съ ироніей въ голосѣ.— Село ты сейчасъ увидишь, остался одинъ поворотъ, потомъ мостъ, а тамъ и Ломовское.

Экипажъ свернулъ въ правую сторону, далѣе проѣхалъ по мосту, грузно стуча по шаткимъ доскамъ, и наконецъ, въѣхалъ въ главную улицу деревни. Въ самомъ началѣ, поближе къ фабрикамъ, село очень походило на маленькій уѣздный городокъ, съ небольшой старой церковью, съ погостомъ, тянувшемся за нею вдоль обрывистаго берега почти всегда безводной рѣченки, съ довольно широкою площадью передъ церковью, съ нѣсколькими новыми и просторными деревянными домами школы, волостного правленія, постоялаго двора; но дальше шли уже не дома, а избы, лачуги, развороченныя клѣти, какое-то запустѣніе.

— Это какія-то руины!—сказала брезгливо Ломова, смотря на полуразрушенныя крыши и ворота, на разбитыя окна, заткнутыя тряпками и заклеенныя бумагой, на груды земли, навоза и соломы, приваленныя снизу къ стѣнамъ избъ.

— Плоды эмансипаціи!—горячо и желчно отвѣтилъ баринъ, жестикулируя руками.—Результаты освобожденія рабовъ! Господа были тираны, кровопійцы! Теперь лучше!.. Посмотрѣлъ бы я, какъ бы у меня посмѣлъ мужикъ довести свое жилье до такого состоянія!.. Зато взгляните вонъ на этотъ домъ. Это, изволите видѣть, жилище бывшаго старшины Шипова или Ширшова, какъ его тамъ зовутъ. У него, изволите видѣть, «не хуже господъ», какъ онъ выражается.

Ломовъ въ минуты сильнаго раздраженія начиналъ говорить женѣ, дочери и сыну «вы», тутъ же сбиваясь на обычное «ты».

Барыня мелькомъ взглянула въ окно экипажа на сторонѣ мужа и сдѣлала едва замѣтную презрительную гримасу.

— Двухъэтажный домъ возвелъ, расписалъ его всѣми цвѣтами радуги, цвѣты на окнахъ поставилъ, какъ же не баринъ!—продолжалъ мужъ скороговоркой, волнуясь, захлебываясь и кипятясь.—Вѣроятно, оранжереи дяди разграбилъ. Тутъ вѣдь воръ на ворѣ и вора погоняетъ! Еще бы! Гдѣ же взять денегъ. Безъ господской палки отбились отъ работы, а господа-земцы выжимаютъ послѣдніе соки!.. Ты теперь видишь, что я не преувеличивалъ, говоря объ этомъ притонѣ нищихъ? И среди этого народа, съ этимъ народомъ придется хозяйничать, работать.

Онъ сталъ все такъ же скороговоркой и съ захлебываніемъ говорить о предстоящихъ трудностяхъ хозяйства. Рабочихъ придется нанимать—давай задатки, дашь задатки—жди, что ихъ пропьютъ и тебя надуютъ, судись по новымъ судамъ; ра-

бочій наймется, но безъ лошади, безъ земледѣльческихъ орудій; все нужно завести самимъ; отъ нищихъ нечего ждать, чтобы у нихъ были лошади и земледѣльческія орудія; изволь самъ держать десятки лошадей и заводить орудія. Гдѣ деньги на это? Первое время придется только сидѣть сложа руки, отдавать все въ аренду, т. е. позволять себя грабить. Жить въ деревнѣ и не обрабатывать земли! Мило? Это тоже, что поѣхать въ театръ и просидѣть въ буфетѣ.

— Но ты еще не видала главнаго—нашего дома,—замѣтилъ мужъ, перебивая, по обыкновенію, самъ себѣ.—Это чемоданъ, это ящикъ, это гробъ, но не домъ. Какая-то длинная двухъэтажная казарма, окруженная вмѣсто сада сквернымъ лѣсомъ. Верхній этажъ точно въ гостиницѣ—коридоръ и два ряда отдѣльныхъ комнатъ...

— Но вѣдь прежде на домѣ былъ бельведеръ,—медленно начала Ломова, прищуривъ глаза и какъ бы стараясь пробудить въ памяти давно забытый ею образъ барскаго дома.

— Да, и бельведеръ на домѣ былъ, и терраса въ садъ была, и съ боковъ были колоннады. Все уничтожено, разрушилось, раскрадено, исчезло. Да что-жъ мудренаго, если даже заборъ сада, выходившій въ поле, и тотъ разобранъ и пропалъ! Говорятъ, дядя уничтожилъ и бельведеръ, и колоннады, и террасу за ветхостью. Прекрасно. Вѣрю. Ну, а заборъ у сада—это онъ же уничтожилъ? Ужъ они бы лучше и домъ разобрали. Что церемониться, теперь все можно дѣлать безнаказанно! Изъ-за этого забора мнѣ и пришлось поговорить съ этимъ... Шишкинымъ, что ли... съ этимъ бывшимъ старостой, потомъ старшиною. Я сказалъ ему, что я заставлю мужиковъ построить мнѣ новый заборъ. А эта бестія осмѣлился, какъ мнѣ передавали, сказать, что, можетъ-быть, я хочу, чтобы и домъ они новый построили. Каково? Ну, да что-жъ! Построятъ! Кланяться въ ноги будутъ, чтобы только позволилъ построить! Они думаютъ, что они свободные люди, такъ они и грабить могутъ. Нѣтъ, я еще потягаюсь съ ними.

Ломовъ говорилъ громко и быстро, сильно жестикулируя, ерзая на своемъ мѣстѣ. Его звонкій, немного крикливый голосъ рѣзалъ слухъ. Сразу можно было угадать, что это человѣкъ, страдающій печенью, желчный, не привыкшій съ дѣтства ни сдерживаться, ни покоряться. Холодный и сдержанный тонъ его жены, дышавшій, казалось, почти апатіей, составлялъ рѣзкій контрастъ съ его горячностью. Но въ ея холодности было нѣчто болѣе страшное—какая-то непреклонная,

непоколебимая твердость. Только въ высшихъ слояхъ общества развиваются такія натуры, такіе характеры, способные съ невозмутимымъ спокойствіемъ отправиться на балъ или въ оперу, отдавши чуть не смертный приговоръ признанному ими виновнымъ человѣку.

Третья личность, сидѣвшая въ экипажѣ, хранила гробовое молчаніе: она точно застыла у окна въ одномъ положеніи и безучастно смотрѣла на мелькавшіе передъ нею виды, не поворачивая головы, не слѣдя взглядомъ ни за чѣмъ. Казалось, она спала съ открытыми глазами. Только разъ она вздрогнула и сдвинула плотнѣе брови, когда отецъ неожиданно проговорилъ:

— А вонъ туда, вправо, дорога къ Борису Николаевичу Иволгину... Онъ вѣдь въ трехъ верстахъ отъ насъ живетъ...

— Да развѣ онъ навсегда здѣсь поселился?—спросила жена.

— Какъ же, у сестры живетъ. Ужъ, вѣрно, завтра же завернетъ къ намъ. Это хорошо, что онъ здѣсь. Все же живой человѣкъ...

Молодая дѣвушка приняла еще болѣе суровое, почти враждебное выраженіе лица, точно при имени Иволгина въ ея груди пробудились и злоба, и ненависть. Но она молчала попрежнему и попрежнему смотрѣла въ окно, ничего не замѣчая, ничѣмъ не интересуясь. Можетъ-быть, ей было бы легче вовсе не смотрѣть на мелькавшія передъ нею картины, но тогда ей, волей-неволей, пришлось бы видѣть кривлянья отца, втянуться въ разговоръ. Она предпочитала изъ двухъ золъ меньшее. Въ ея головѣ и теперь мелькали мысли: «Когда же онъ кончитъ? Когда перестанетъ двигаться?» Порою ей казалось, что, слыша его возгласы, она сама дѣлаетъ гримасы, дѣлаемыя имъ. Она такъ хорошо изучила ихъ, онѣ такъ часто разстраивали ей нервы.

Въ возкѣ, гдѣ находились слуги, царствовало молчаніе, прерываемое только изрѣдка ворчливыми фразами. Старики-слуги—мужъ и жена—разругались еще съ утра въ этотъ день и теперь дулись другъ на друга.

Когда мужъ, Степанъ Потапычъ, начиналъ что-нибудь говорить, жена, Марѳа Власьевна, раздражительно прикрикивала на него:

— Молчалъ бы, пьяная твоя рожа!

Когда разговоръ начинался ею, онъ коротко и съ степеннымъ видомъ замѣчалъ:

— Запилила!

И отворачивался къ окну, отплевываясь на брань жены.

Такъ жили они уже больше сорока пяти лѣтъ. Онъ пилъ запоемъ въ сокрушеніи и въ злобѣ на себя, за свое «малодушество», то-есть за это самое пьянство; она пилила и ѣла его, какъ ржа желѣзо, за то же самое. Тѣмъ не менѣе, они жили, какъ примѣрные супруги, никогда не разлучаясь, никогда не измѣняя другъ другу. Она огрызалась на людей, осуждавшихъ его, и не безъ гордости говорила, что «онъ пьяный стóитъ десяти трезвыхъ»; онъ, въ свою очередь, степенно останавливалъ людей, называвшихъ ее сварливой бабой, и наставительно говорилъ, что «не сварливая она, а сердцемъ до всего горячая». Это, впрочемъ, не мѣшало имъ, когда они оставались одни, обмѣниваться любезностями въ родѣ слѣдующихъ: «умъ-то ты послѣдній пропилъ, пьяные твои глаза»,—«смотри, не совсѣмъ еще догрызла меня, змѣя подколодная, еще погрызи». Когда же онъ переставалъ пить, она вдругъ дѣлалась кроткою и покорною, смотрѣла съ подобострастіемъ ему въ глаза, какъ будто извиняясь въ чемъ-то и прося о чемъ-то, а онъ, серьезный и сконфуженный, ходилъ потупившись и вздыхалъ тяжелыми вздохами, точно кающійся грѣшникъ, и чѣмъ сокрушительнѣе становились вздохи, тѣмъ ближе были дни запоя. Эти два человѣка родились, выросли и состарѣлись въ семьѣ Ломовыхъ и были вѣрными рабами своихъ господъ даже тогда, когда сдѣлались вольными людьми...

Когда экипажи остановились у крыльца господскаго дома, длиннаго, желтаго, двухъэтажнаго зданія съ облупившейся штукатуркой, изъ перваго экипажа съ легкостью молодого человѣка выскочилъ Ломовъ и помогъ выйти женѣ и дочери.

Жена бросила мимолетный холодный взглядъ на неприглядное строеніе и презрительно пожала плечами.

— Хорошъ?—спросилъ ее мужъ, уловивъ ея взглядъ.

— Даже хуже, чѣмъ я предполагала,—отвѣтила она.

Господа, встрѣченные на подъѣздѣ конторщикомъ среднихъ лѣтъ, изъ мѣщанъ, съ просаленными прямыми волосами, старикомъ-садовникомъ, съ заскорузлыми и узловатыми, какъ корни деревьевъ, руками, служившимъ и за сторожа дома, и какой-то рябой бабой, съ пестрымъ и большимъ, какъ чалма, повойникомъ на головѣ, съ отвислыми грудями, точно перерѣзанными высоко подвязаннымъ холщевымъ передникомъ, въ короткой синей юбкѣ и въ стоптанныхъ мужскихъ сапогахъ, не то кухаркой, не то поломойкой, прошли въ просторныя сѣни, приказавъ на ходу вносить

вещи. Едва успѣли слуги выйти изъ своего возка, какъ на господскомъ дворѣ, точно изъ земли выросли, появились какіе-то подростки—мальчуганъ и дѣвочка, лохматые, оборванные, босоногіе. Не спрашивая ихъ, кто они и откуда, Марѳа Власьевна прикрикнула на нихъ:

— Чего глазѣете? пошли таскать вещи!

Дѣти тотчасъ же принялись за дѣло, какъ за веселую игру....

Господа уже осматривали свое жилище.

Внутри домъ производилъ лучшее впечатлѣніе, чѣмъ снаружи, хотя отъ него пахло нежилымъ помѣщеніемъ, несмотря на сильно натопленныя печи. Стѣны гостиной, залы, кабинета, спальни, портретной галлереи были мѣстами лишены обоевъ, мѣстами облупились, тѣмъ не менѣе почти вездѣ сохранилась мебель, старинная, тяжеловѣсная, съ потемнѣвшими бронзовыми украшеніями и вылинявшей штофной обивкой. Нѣкоторые предметы были неудобны, некрасивы, но сдѣланы въ строгомъ стилѣ, говорили о заботливомъ выборѣ, не напоминали мѣщанской обстановки, купленной порознь и случайно. Хозяйка дома даже пріостановилась въ желтой гостиной, залюбовавшись мебелью.

— Это мило! Стиль временъ имперіи. Нужно будетъ впослѣдствіи только подновить.

И, едва замѣтно усмѣхнувшись, она прибавила по-французски:

— Разбираютъ заборы, а это уцѣлѣло! Это капиталъ!

Мужъ нервно передернулъ плечами.

— Вѣрно, показалось, что это не годится на дрова!

Они проходили изъ комнаты въ комнату и дошли до портретной галлереи. Это было довольно длинное помѣщеніе съ большими венеціанскими окнами, съ узкими простѣнками. Въ простѣнкахъ висѣли какіе-то старинные потемнѣвшіе медальоны, на противоположной окнамъ стѣнѣ красовались старинные портреты. Холодные и равнодушные глаза хозяйки дома остановились на этихъ потемнѣвшихъ изображеніяхъ мужчинъ въ напудренныхъ парикахъ, во французскихъ кафтанахъ, шитыхъ золотомъ, съ жирными бритыми подбородками, съ лицами въ формѣ грушъ, узкими вверху, широкими внизу, и дамъ въ такихъ же парикахъ, съ румяными лицами, съ ямками на щекахъ, съ глупыми круглыми глазами, съ обнаженными до послѣдней степени полными шеями и грудями, съ длинными и прямыми, какъ латы, лифами, въ фижмахъ. На нѣкоторыхъ изъ портре-

товъ были изображены дѣти въ костюмахъ и позахъ жеманныхъ балетныхъ танцовщицъ и танцовщиковъ, приготовившихся къ танцамъ, съ шарфами изъ газа въ рукахъ, съ застывшими на лицахъ неестественными улыбками. Заходившее солнце ярко озаряло эту комнату, выходившую на западъ, на просторный дворъ, уже заросшій кое-гдѣ побѣгами молодой травы, застроенный по сторонамъ конюшнями, кладовыми, сараями, службами. Свѣтлые лучи скользили по этимъ неподвижнымъ лицамъ и какъ бы оживляли ихъ. Хозяйка дома задумчиво всматривалась въ нихъ, когда ея мужъ замѣтилъ ей:

— Странная манера была прежде писать портреты больше натуральной величины. Зачѣмъ?

Она очнулась, отвернулась отъ портретовъ и своимъ обычнымъ холоднымъ тономъ отвѣтила:

— Крупнѣе сами люди были...

Потомъ, обратясь къ конторщику, почтительно слѣдовавшему за господами походкой шакала, она сказала:

— Я думаю, вещи внесли? Прикажите тамъ, чтобы позаботились о чаѣ.

Конторщикъ подобострастно нагнулся, неловко тряхнувъ масляной головой, и пробормоталъ:

— Въ одинъ моментъ-съ!

Это былъ худой, изжелта-блѣдный, высокій человѣкъ съ жидкими прямыми волосами, приглаженными и блестѣвшими, какъ атласный колпакъ, съ рѣденькой бородой, съ узенькими, смиренно потупленными и суетливо бѣгавшими глазками, не то желтоватыми, не то зелеными.

— Какая подлая рожа, — сказалъ Ломовъ послѣ его ухода.—Хамъ!

Жена равнодушно пожала плечами.

— Какой-нибудь семинаристъ или мѣщанинъ.

Мужъ проговорилъ, снова горячась и волнуясь:

— Не знаю. Предвижу только, что этотъ господинъ Аквилоновъ одинъ изъ шайки мерзавцевъ, грабившихъ имѣніе при дядѣ и еще болѣе послѣ его смерти. Его придется разсчитать при первой возможности и послать къ чорту.

Она опять пожала плечами.

— Зачѣмъ? Для чего спѣшить? Теперь ему будетъ выгоднѣе оберегать наши интересы. Онъ и будетъ ихъ оберегать. Эти люди за деньги готовы служить каждому. Было бы на что купить.

Они, разговаривая, дошли до столовой, гдѣ уже пригото-

вляли все для чая. Жена отдавала спокойнымъ и холоднымъ тономъ приказанія прислугѣ, задавала вопросы коротко, ясно. Старая служанка отвѣчала ей отрывисто и рѣзко; старый слуга говорилъ съ нею подобострастнымъ тономъ, точно провинившись въ чемъ-то и извиняясь передъ нею. Ломовъ между тѣмъ ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ и отъ времени до времени, вспомнивъ то или другое, выходилъ къ приказчику, горячился и волновался, закуривая папиросу за папиросой.

Скорѣй маленькій, чѣмъ высокій по росту, худой и костлявый, подвижной и нервный, съ походкой ловкаго кавалериста, немного раскачивающагося на ходу, на слегка скривленныхъ ногахъ, онъ производилъ по фигурѣ и манерамъ впечатлѣніе молодого человѣка, если бы замѣтная лысина на затылкѣ и помятость лица, некрасиваго, скуластаго, татарскаго типа, изрѣзаннаго морщинами, обросшаго густо бѣловатой, точно пакля, коротко подстриженной бородой, не говорили, что это человѣкъ далеко не молодой и при томъ много пережившій. О много пережитомъ говорило и лицо его жены. Болѣзненная полнота этого лица, признаки малокровія, морщинки около глазъ и рта, мелкія черты, прорѣзавшія ея лобъ, почти не пощадили и не оставили слѣдовъ былой красоты. Особенно поражали ея выцвѣтшіе, мутные, когда-то бывшіе черными, глаза: смотря на нихъ, можно бы было подумать, что она только-что плакала; объ этомъ говорили припухшія вѣки, краснота, порѣдѣвшія и какъ бы слипнувшіяся рѣсницы, отвисшая въ видѣ мѣшковъ кожа подъ глазами. Это впечатлѣніе являлось тѣмъ болѣе страннымъ, что выраженіе лица было холодно, спокойно и надменно. Такая женщина, повидимому, была неспособна плакать.

Когда подали самоваръ, Ломова, закуривъ уже вторую папиросу, заварила чай, нарѣзала булку и потомъ принялась за разливанье чая.

— Мамка, позови Нину, — обратилась она къ Марѳѣ Власьевнѣ.

Старуха когда-то кормила барыню, ея сестеръ и братьевъ и ее съ тѣхъ поръ всегда звали въ домѣ мамкой.

— Сказано! Чего еще звать! — рѣзко отвѣтила старуха, таская черезъ столовую груды вещей, выгружаемыхъ изъ разныхъ узелковъ.

Ѳеодоръ Романовичъ на минуту остановился передъ женой.

— Кстати! Что съ Ниной? — спросилъ онъ. — Молчитъ, дуется.

Жена нетерпѣливо пожала плечами, сердясь, что онъ самъ не можетъ ничего понять, что ему все нужно объяснить.

— Ты полагаешь, что ей можетъ быть весело?

— Но все же... Этотъ видъ, это молчаніе... Это, наконецъ, раздражаетъ нервы... Точно приговоренная къ смерти...

Жена взглянула на него унижающимъ, презрительнымъ, почти враждебнымъ взглядомъ. Господи, какъ онъ глупъ!

— А ты думаешь, она приговорена къ жизни... къ радостямъ, къ счастію?..

— Все же можно бы и не афишировать своихъ чувствъ.

Онъ замолчалъ, заходилъ по комнатѣ, поворачиваясь на каблукахъ.

Но онъ быстро раздражался и быстро забывалъ причины раздраженія. Черезъ минуту онъ говорилъ уже о другомъ.

— Я увѣренъ, что не пройдетъ и недѣли, какъ кузина Бетси прилетитъ къ намъ, — проговорилъ онъ, продолжая ходить по столовой. — Теперь всѣ прилетятъ, даже не ожидая твоего визита.

По лицу жены скользнула гримаса-улыбка, конвульсивнымъ движеніемъ тронувшая едва замѣтно одинъ край верхней губы.

— Гдѣ же такъ долго ждать!.. Кстати: я больна и никуда не могу выѣзжать... Не забудь этого... Пожалуйста, не забудь!

Онъ не спросилъ ее, почему она не можетъ выѣзжать. Они старались какъ можно меньше говорить объ этомъ. У нея были три перемѣны старыхъ заношенныхъ платьевъ. у него было двѣ пары какихъ-то куцыхъ лѣтнихъ пиджаковъ и такихъ же брюкъ и жилетовъ.

Мужъ подошелъ къ столу, отпилъ немного чаю, закурилъ еще папиросу и, опять заходивъ по комнатѣ, заговорилъ:

— Да, еще годъ, можетъ-быть, два и все снова войдетъ въ свою колею. Урокъ былъ страшенъ, но, по крайней мѣрѣ, прошелъ не даромъ. Теперь я знаю свою силу. Мнѣ иногда кажется, что я сдѣланъ изъ желѣза, изъ стали. Поставить бы другого на мое мѣсто, изъ новыхъ, изъ фразеровъ...

Въ столовой раздался рѣзкій хриплый голосъ мамки, проносившей вещи:

— Ниночка приказали сказать, что не желаютъ чаю. Голова разболѣлась. Хотятъ започивать.

Марѳа Власьевна, грузно шагая, исчезла въ другой комнатѣ. На минуту въ столовой воцарилось молчаніе. Вдругъ хозяйка подняла голову, точно очнувшись отъ сна.

— Иволгинъ... Ты его видѣлъ нынче здѣсь... Что онъ изъ себя представляетъ?

— То-есть какъ? — спросилъ съ недоумѣніемъ мужъ. — Возмужалъ, сталъ почти красавцемъ...

Она нетерпѣливо перебила его:

— Ахъ, не то... Бѣденъ? богатъ? служитъ?

— Какъ тебѣ сказать: кажется, не богатъ, не бѣденъ. У него вѣдь это трудно узнать—не придаетъ значенія деньгамъ, точно милліонеръ, а поглядишь на образъ его жизни — кажется, что съ гроша на грошъ перебивается. Впрочемъ, вѣроятно, онъ сводитъ концы съ концами, не нуждаясь въ службѣ. Онъ вѣдь докторъ. Но лѣчитъ, кажется, больше изъ любви къ искусству, съ меньшею братьею возится. Все еще тотъ же фантазеръ, какимъ былъ и тогда, когда мы знали его въ Петербургѣ...

Жена почти не слушала мужа и, въ раздумьи, какъ бы про себя, замѣтила:

— Что у нихъ вышло съ Ниной, что онъ вдругъ пересталъ тогда бывать у насъ?..

— Съ Ниной? Я думаю, что у него ничего и не могло выйти съ ней. Она, вѣроятно, и не обращала вниманія тогда на какого-то студента...

— Она, да; но онъ обращалъ на нее вниманіе... Это бросалось въ глаза... Потомъ вдругъ оборвалъ знакомство... Впрочемъ, у него тамъ были какія-то утраты.

Мужъ вдругъ точно что-то сообразилъ и разсмѣялся:

— Ужъ ты не помышляешь ли о ихъ бракѣ?

Она сдѣлалась совершенно серьезна.

— О, это было бы счастье для Нины!.. Я боюсь и думать о томъ, что ее ждетъ... Умри мы—и она нищая. Все вѣдь достанется не ей...

И, повернувъ голову, не давъ времени мужу что-нибудь возразить, она спросила:

— Ты ничего не узналъ передъ отъѣздомъ новаго о Ромѣ?

Онъ рѣзко отвѣтилъ:

— Новаго? что же можетъ быть новаго? Сидитъ въ тюрьмѣ...

— Скоро ли кончится его дѣло?

— Не знаю... Тамъ все тайны, изъ каждой мухи дѣла-

ють слона... А между тѣмъ очень важно знать, что будетъ... Отъ этого будетъ зависѣть все... Если и не все, то многое. Черезъ мѣсяцъ или черезъ полтора пріѣдетъ Наташа. Если бы его выпустили къ этому времени, если бы удалось его женить на ней, имѣнье сразу можно было бы поставить.

Онъ сталъ развивать свои планы, сильно занимавшіе его въ послѣднее время.

— У нея капиталъ небольшой, какія-то жалкія сорокъ тысячъ, но все же это капиталъ. Такъ взять его на имѣніе нельзя. Выйдетъ замужъ за Рому, тогда дѣло другое—имѣніе же достанется послѣ насъ ему и ей. Это будетъ не новый долгъ, а просто деньги пойдутъ на ихъ же пользу.

— Да, хорошо, если бракъ состоится,—замѣтила вскользь жена.

Она не вѣрила въ осуществимость этихъ мечтаній.

— Отчего ему не состояться? Что можетъ помѣшать?—загорячился Ломовъ.—Они оба молоды, еще въ дѣтствѣ ихъ называли женихомъ и невѣстой...

— Развѣ мы ихъ знаемъ?—перебила жена Ломова раздражительнымъ тономъ.—Нынѣшнія поколѣнія институтокъ не прежнія. И тамъ эти идеи, самостоятельные взгляды. Къ тому же Наташа такъ плохо воспитана, не выдержана... А Рома—чѣмъ онъ сдѣлался теперь?—по ея верхней губѣ опять скользнула горькая судорожная усмѣшка. — Сынъ, а родители не знаютъ, что это за человѣкъ!.. Онъ, какъ хамелеонъ, мѣняется съ каждымъ днемъ. О, что это за поколѣніе, переживающее въ годъ то, чего не переживали мы въ десятки лѣтъ.

— Это все напускное, проходящее. Два года тюрьмы отрезвятъ отъ многаго хоть кого,—сказалъ мужъ.

— Отрезвятъ, да; но отъ чего? Какія еще новыя бури поднимутся въ душѣ?

Она задумалась о сынѣ, какъ задумываются надъ рѣшеніемъ трудной задачи, сложной загадки, темной шарады.

Когда-то душа ея сына казалась ей открытой книгой, гдѣ на бѣлыхъ чистыхъ листахъ она могла написать, что ей угодно—свои заповѣди, свои молитвы, свои правила. Теперь эта душа была для нея темнымъ лѣсомъ, окутаннымъ непроглядной ночью, гдѣ можно было заблудиться, погибнуть, не дождавшись отвѣта, отклика, сочувствія. Когда-то она однимъ взглядомъ покоряла эту упрямую и настойчивую душу; теперь эта душа не тронулась бы даже отъ слезъ,—отъ ея слезъ. Она почти машинально провела ру-

кою по глазамъ и стиснула зубы, боясь расплакаться. Она стыдилась слезъ; она не плакала при людяхъ, даже при мужѣ. А одна — ей было жутко даже вспомнить, сколько плакала она одна въ послѣднія девять лѣтъ.

— Вещи разобраны. Надо разложить по мѣстамъ. Я же не знаю, куда,—отрывисто доложила Марѳа Власьевна.

— А?—отозвалась Ломова.—Да, вещи! Сейчасъ!

Она поднялась изъ-за стола, обратилась къ мужу:

— Я не знаю, гдѣ тутъ гардеробная. Есть шкапы, шифоньеры?

— Въ нижнихъ комнатахъ есть одинъ платяной шкапъ да двѣ шифоньерки,—отозвалась за барина служанка. — И того много...

Барыня пропустила мимо ушей это замѣчаніе и пошла указывать, куда положить вещи.

Ломовъ вышелъ въ другую комнату, гдѣ конторщикъ еще помогалъ Степану Потапычу разбирать посуду, разныя мелочи, выспрашивая о дѣлахъ и характерахъ господъ, надолго ли они думаютъ остаться въ имѣніи, есть ли у барина въ столицѣ мѣсто, свой домъ. Онъ выспрашивалъ тихо, вкрадчиво, мимоходомъ; съ простодушной миной и глуповатымъ выраженіемъ глазъ простяка, Степанъ напускалъ важности: развѣ господа даютъ отчетъ слугамъ; сколько захотятъ, столько и поживутъ; на что господину мѣсто, если и такъ можно жить; домъ—извѣстно, есть домъ, не на улицѣ же они жили. При входѣ Ломова Аквилоновъ поднялся торопливо съ полу, подобострастно вытянулся.

— Какъ же-съ съ наймомъ рабочихъ, выше высокоблагородіе?—началъ онъ. — Нынче позапоздали маненько. Теперь время дорого, подговорить зараньше надо кого слѣдуетъ...

— Что-жъ дѣлать, что-жъ дѣлать! Нынче такъ ужъ и запишемъ, что пропащій годъ,—отвѣтилъ баринъ.

Приказчикъ донималъ его вопросами о работахъ и рабочихъ и въ прошлый его пріѣздъ въ деревню на недѣлю, и сегодня уже второй разъ заговаривалъ объ этомъ.

— Прежде всего нужно осмотрѣться, принять все, просмотрѣть отчеты, бумаги. Я не люблю начинать дѣла, не вникнувъ сначала во все. Я лучше потеряю годъ, чѣмъ примусь за дѣло кое-какъ...

— Это-съ вѣрно, только какъ же такъ... нельзя же землю такъ оставить...

— Ничего не получимъ нынче, будущій годъ вдвое

дастъ,—уклончиво отвѣтилъ Ломовъ. — Завтра утромъ мы обсудимъ все. Я встаю рано.

Приказчикъ откланялся, попятившись къ дверямъ.

Баринъ посмотрѣлъ, какъ слуга разбираетъ вещи. Степанъ замѣтилъ что-то насчетъ необходимости привести въ порядокъ людскія и найти кого-нибудь для скотнаго двора, для конюшни. Ломовъ, ничего не отвѣтивъ, круто повернулъ въ другія комнаты, прошелъ въ спальню. Его, вѣчно легкомысленнаго, быстро переходящаго отъ раздраженія къ беззаботности, начинало забавлять его положеніе. Оно не было предвѣстіемъ голода и холода. Онъ сознавалъ, что онъ, владѣлецъ большого имѣнія, теперь можетъ всегда вывернуться, и это сознаніе вызывало на его лицо самодовольную улыбку. Безденежье казалось ему «приключеніемъ». Это только разнообразитъ монотонность жизни.

— Это становится нѣсколько забавнымъ,—обратился онъ съ усмѣшкой къ женѣ.—Аквилоновъ говоритъ о сельскихъ работахъ, Степанъ говоритъ о скотномъ дворѣ, о конюшняхъ. На все нужно денегъ, денегъ, денегъ,—а ихъ нѣтъ!

Жена, взволнованная разборкой привезеннаго гардероба, столоваго и постельнаго бѣлья, видомъ всѣхъ этихъ прорѣхъ и заплатъ, грубымъ замѣчаніемъ мамки, что нужно нанять прачку, такъ какъ лохань изъ прачечной выходить не будетъ при такомъ маломъ запасѣ бѣлья, упавшимъ голосомъ спросила мужа:

— Но неужели нельзя будетъ удержать хоть часть выкупныхъ денегъ и остатковъ отъ доходовъ за прошлые годы?

— А господинъ адвокатъ?—желчнымъ тономъ отвѣтилъ мужъ и увлекся, заговорилъ быстро съ захлебываніемъ.— Онъ вѣдь какъ разъ всѣ эти деньги долженъ получить. Еще въ долгу у него будемъ... И то одолженіе сдѣлалъ, велъ дѣло на свой страхъ, за двадцать процентовъ велъ; намъ на содержаніе добывалъ деньги... Алтынники, жидовское племя! Новые суды ввели, расплодили краснобаевъ, стригутъ всѣхъ и каждаго. Торговался со мной, представлялъ мнѣ, что онъ одолженіе дѣлаетъ мнѣ! Рискуетъ для меня временемъ и деньгами. Безспорное дѣло, а онъ рисковалъ! Я при старыхъ судахъ въ передней бы принялъ того, кто мнѣ это дѣло велъ бы; я бы ему подачку за трудъ далъ, сколько мнѣ вздумалось бы, а тутъ—благодѣтели!

Онъ вдругъ оборвалъ рѣчь и съ удивленіемъ, почти съ испугомъ взглянулъ на жену. Казалось, онъ увидалъ что-то

новое, непонятное. Она стояла спиной къ нему у окна, лицомъ къ потемнѣвшему уже саду. Онъ разсмотрѣлъ ясно, какъ вздрагиваютъ ея плечи, онъ услышалъ безплодно сдерживаемыя всхлипыванья. Съ минуту онъ не довѣрялъ своимъ глазамъ, своему слуху. Она—плачетъ! Наконецъ онъ ее окликнулъ:

— Ты больна? Тебѣ дурно?

Она прерывающимся голосомъ, не поворачиваясь къ нему, досадливо проговорила:

— Оставь, оставь!.. Пройдетъ!..

Но это не проходило; это все усиливалось. Ей сдавливало горло, перехватывало дыханіе. У нея дрожали руки, подламывались ноги. Она давно уже не плакала такъ, какъ теперь. Она плакала всегда одна, безъ свидѣтелей, безъ него; ей было стыдно показать хоть кому-нибудь, что она страдаетъ отъ матеріальныхъ лишеній, отъ недостатковъ; ей хотѣлось показать всѣмъ и каждому, что она выше этихъ «мелочей»; теперь она даже не могла дождаться для слезъ той минуты, когда она останется одна. Она опустилась на стулъ, не успѣвая утирать слезы.

Растерявшійся мужъ торопливо пошелъ за водой, принесъ ее женѣ, началъ что-то скоро-скоро говорить. «Это съ дороги. Давно не путешествовала, сидѣла девять лѣтъ, почти не выходя изъ дому. Всегда онъ говорилъ, что это сидѣнье не доведетъ до добра»... Ее еще болѣе раздражали его слова. Онъ ей говорилъ, что не слѣдуетъ сидѣть, что надо выходить, но онъ никогда не объяснялъ ей, куда выходить, въ чемъ. Теперь ей хотѣлось все это высказать ему. Но ее душили слезы, а онъ продолжалъ ораторствовать. «Нервы у нея разстроились и притомъ деревенскій воздухъ сильно вліяетъ. Здѣсь нервы быстро окрѣпнутъ. Здѣсь они отдохнутъ». Онъ походилъ на мальчугана, не понимающаго глубокаго значенія серьезнаго горя—горя взрослаго человѣка. Онъ вынесъ все то же, что вынесла она, но вынесъ это, суетясь, бѣгая, капризничая, кипятясь, на людяхъ; она выносила все сидя дома, безмолвно, думая, скрывая все отъ всѣхъ. Онъ могъ бы теперь понять причину этихъ слезъ, но онъ не понялъ ее, приписывая все путешествію, разстройству нервовъ, деревенскому воздуху. Онъ даже нашелъ опредѣленіе свойства этого воздуха.

— L'air de la campagne est trop âpre!

Она же все продолжала рыдать; среди этихъ рыданій онъ услышалъ поразившее его мелодраматическое восклицаніе:

— Алчущіе... среди голодныхъ!..

Она, пересиливъ себя, желая только прекратить болтовню, заговорила отрывисто, сбивчиво, торопливо.

Девять лѣтъ она терпѣла нужду, почти нищету. Молчала, плакала потихоньку, въ четырехъ стѣнахъ. Было о чемъ плакать! Попасть послѣ роскоши въ безысходную бѣдность, нежданно, негаданно, внезапно. Видѣть, какъ сынъ изъ милаго ребенка превратился въ какого-то волчонка. Потомъ изъ приличнаго юноши превратился въ какого-то санкюлота. Дальше вмѣсто блестящей карьеры попалъ въ тюрьму, заподозрѣнный въ участіи въ злодѣйствахъ гнусныхъ соціалистовъ. А дочь? Одна изъ первыхъ свѣтскихъ красавицъ, очутившаяся чуть не послѣ перваго бала почти на мостовой. Она, мать, видѣла, какъ исходило кровью сердце этой гордой дѣвушки. Когда она одна стала искать хоть какихъ-нибудь развлеченій, когда она стала ходить къ какимъ-то новымъ знакомымъ, когда она стала посѣщать верхи французскаго театра—мать не противорѣчила ей, не удерживала ее, но... О, онъ и не знаетъ, сколько безсонныхъ ночей провела она, мать, боясь, что ея дочь падетъ! Развѣ мужчины могутъ понять эти тревоги матери! А потомъ переворотъ въ характерѣ дочери: дѣвушка вдругъ заперлась въ четырехъ стѣнахъ, какъ бы ушла въ себя, какъ бы замерла. Съ чего? Что случилось съ нею на сторонѣ? Не была ли она влюблена? Въ кого? Не въ Иволгина ли? Недаромъ онъ пересталъ ходить къ нимъ. Недаромъ Нина поблѣднѣла, узнавъ, что Иволгинъ живетъ въ двухъ шагахъ отъ Ломовскаго. Затѣмъ этотъ процессъ изъ-за доставшагося имъ наслѣдства, униженіе передъ какимъ-то адвокатомъ, жидкомъ: сознаніе, что все спасеніе, вся судьба въ его рукахъ. А мысль, что, выигрывая процессъ, они пускаютъ кого-то по-міру, что эти люди будутъ проклинать ихъ, громко повсюду, что ихъ назовутъ ворами чужого наслѣдства? Она все это передумала одна, дома, молча, когда онъ, мужъ, бѣгалъ, обивалъ чужіе пороги, хлопоталъ, срывалъ злобу мелкими дрязгами, бранью, стычками съ людьми. И вотъ, процессъ выигранъ, имѣніе въ ихъ рукахъ и они...

— О, пойми, что я боюсь, боюсь, что мы пріѣхали сюда умереть, только умереть!.. Тамъ, въ Петербургѣ, мнѣ все казалось, что въ послѣднюю минуту, роковую минуту откликнется кто-нибудь изъ родныхъ, изъ близкихъ, изъ нашего круга. Вѣдь не звѣри же эти люди? Они не помогли, они

отшатнулись отъ насъ. Да, это такъ. Но въ крайнемъ случаѣ, на краю пропасти, они помогли бы, могли бы помочь. Что значатъ для нихъ десятки, сотни, тысячи рублей!.. А здѣсь...

У нея опять оборвался голосъ; она опять сквозь рыданія повторила ту же фразу:

— Пришли искать спасенія у нищихъ... алчущіе... среди голодныхъ!..

II.

Анна Ѳеодоровна, пріѣхавъ съ отцомъ и съ матерью въ доставшееся имъ по наслѣдству имѣніе, даже мелькомъ не полюбопытствовала взглянуть на обстановку барскаго дома, гдѣ отнынѣ ей приходилось провести, можетъ-быть, многіе годы. Она равнодушно и разсѣянно прошла въ предназначенную для нея комнату, ничѣмъ не интересуясь, ни на что не обращая вниманія. Хорошо или дурно было тутъ— ей было все равно. Птицѣ все равно, деревянная или золотая у нея клѣтка.

Дорогу молодой дѣвушкѣ къ ея комнатѣ указала рябая баба въ мужицкихъ сапогахъ, встрѣтившая господъ у крыльца. Та же баба указала дорогу въ эту комнату мамкѣ, прежде всего поспѣшившей, торопливо перерывая въ чемоданахъ, достать постельное бѣлье для барышни. Молодая дѣвушка чувствовала легкую головную боль, даже не боль, а тяжесть въ головѣ, и потому хотѣла скорѣй лечь. Когда она сказала о своемъ намѣреніи мамкѣ, та, натягивая на подушки чистыя наволочки и взбивая ихъ съ ожесточеніемъ, точно теребя и нашлепывая кого-то провинившагося, отвѣтила своимъ рѣзкимъ тономъ:

— Чего и дѣлать тебѣ здѣсь, какъ не спать! Завезли молодого человѣка въ трущобу, и—живи тутъ!

И еще съ большимъ ожесточеніемъ она начала колотить по подушкамъ широкой ладонью, укладывая ихъ на постель.

— Хоть бы постель-то приличную припасли, а то на!— двуспальную бабушкину кровать такъ и оставили для молодой дѣвушки. Срамъ!

Ея кулаки начали со злобой тыкать перину съ боковъ. Ея узенькій лобъ весь собрался въ мелкія складочки, губы озабоченно сжались, крупныя ноздри широко раздувались. Кажется, въ эту минуту было не безопасно подвернуться ей подъ руку. Анна Ѳеодоровна попробовала усмѣхнуться.

— Не все ли равно, мамка, на какой кровати спать,—

замѣтила она. — Спала и на диванахъ... въ чужихъ домахъ...

— Ну, и спала на диванахъ, и на стульяхъ могла бы спать,—отрывисто проговорила старуха:—а это не резонтъ молодой барышнѣ бабушкину кровать назначать. Тутъ, поди, всѣ твои тетки да дядья порожались. А ты дѣвушка!

Потомъ, вдругъ оборвавъ рѣчь, мамка махнула рукой.

— Ну, да что теперь отъ нашихъ ума спрашивать. Совсѣмъ одурѣли. Никакихъ порядковъ нѣтъ! Тоже въ имѣніе на житье собрались, ничего не справивши, ничего не приготовивши, точно, прости Господи, нищіе на богомолье... Въ Питерѣ дыры свои всѣмъ показывали и сюда незаштопанными ихъ понесли. Вотъ, молъ, смотрите, добрые люди. Тоже здѣсь вѣдь сосѣди есть, сродственники, вонъ и тетенька Елизавета Андреевна тутъ въ десяти верстахъ живетъ, и Иволгинъ, Борисъ Николаевичъ, рукой подать поселился.

Анна Ѳеодоровна въ это время, ходя задумчиво по комнатѣ, медленно разстегивала лифъ чернаго шерстяного платья. Ее теперь все тѣснило, все давило, какъ разнемогающагося человѣка. При упоминаніи мамкою имени Иволгина, она сдвинула брови и, прерывая воркотню старухи, спросила коротко:

— Готова, мамка, постель?

— Готова, готова!—отвѣтила мамка и заботливо спросила:—чайку-то не принести ли тебѣ сюда?

— Нѣтъ. Устала я. Скорѣе усну безъ чаю,—отвѣтила Анна Ѳеодоровна.

— Ну, спи! Христосъ съ тобой!—проговорила Марѳа Власьевна, совершая въ воздухѣ крестное знаменіе по направленію къ молодой барышнѣ, и, вздохнувъ, вышла изъ комнаты.

Анна Ѳеодоровна медленно подошла къ двери и замкнула ее на ключъ, какъ бы боясь, что кто-нибудь еще ворвется смутить ея покой. Потомъ она подошла къ окну и хотѣла спустить занавѣски, но тотчасъ же раздумала. Зачѣмъ! Отведенная ей комната находилась во второмъ этажѣ. Передъ окнами тянулся запущенный садъ, чернѣя еще голыми вѣтвями. Она замедлила на нѣсколько минутъ у окна, смотря безцѣльно въ пространство: нерасчищенный садъ походилъ на погостъ или показался ей такимъ. «Въ фамильномъ склепѣ на кладбищѣ», мелькнуло въ ея умѣ. Она обернулась назадъ, окинула глазами комнату: низенькая,

просторная, съ грузною мебелью въ сухомъ стилѣ первой имперіи, комната ей тоже показалась похожей на могильный склепъ, а большая, краснаго дерева кровать съ золотыми украшеніями, съ тяжелымъ пологомъ показалась катафалкомъ подъ балдахиномъ. На минуту вниманіе молодой дѣвушки остановилось на этихъ украшеніяхъ. Въ изголовьи и въ ногахъ доски краснаго дерева у кровати заканчивались съ боковъ четырехугольными, плоскими, черными колонками, суживавшимися книзу. Внизу изъ этихъ колонокъ выходили плотно сдвинутыя человѣческія ноги темно-зеленаго цвѣта съ легкой бронзировкой. Въ верху колонокъ были сдѣланы точно такіе же женскіе бюсты. Отъ этихъ бюстовъ шли длинныя золоченыя крылья, сходившіяся на красномъ деревѣ кровати съ крыльями такихъ же бюстовъ, находившихся на другомъ концѣ досокъ. Анна Ѳеодоровна отвернулась и почти съ раздраженіемъ увидала, что тѣ же своеобразныя каріатиды съ распростертыми золочеными крыльями находятся на всей мебели. Въ разстроенномъ воображеніи опять прошли образы церкви, гроба... Скорѣе лечь, уснуть, забыться.

Ломова стала раздѣваться медленно, устало, какъ человѣкъ совсѣмъ ослабѣвшій, больной. По привычкѣ она подошла къ туалету, помѣщавшемуся между оконъ, и испугалась, взглянувъ на себя: она была блѣдна, какъ мертвецъ...

Она была еще молода: ей было всего двадцать шесть лѣтъ. Но ее вывезли «въ свѣтъ» девять лѣтъ тому назадъ, и слѣды этихъ девяти лѣтъ уже лежали на ея лицѣ. Она была еще красавицей, но, при взглядѣ на нее, невольно приходила мысль: «она, должно-быть, была очень хороша», точно теперь она была уже не хороша. Такіе типы, какъ ея типъ, вообще, быстро развиваются, быстро увядаютъ. Высокая, стройная, съ черными волосами, съ черными бровями, съ черными глазами, съ античнымъ профилемъ, съ манерами гордой царицы, она по усвоенной безсознательно привычкѣ смотрѣла строгой, величавой, серьезной. Когда-то блескъ глазъ, горячій румянецъ полненькихъ щекъ, яркій пурпуръ губъ, безпечная улыбка придавали этому лицу невыразимую прелесть.

Теперь малокровная блѣдность кожи, отсутствіе свѣжести, едва замѣтныя морщинки около большихъ близорукихъ глазъ, складочка между бровями, часто сдвигавшимися отъ привычныхъ думъ, что-то неуловимое, но бросающееся въ

глаза говорило, что она уже жила, и прежде всего въ этомъ лицѣ бросалась въ глаза не его красота, а его строгость, его сухость и то, что «она уже жила». Жила! Развѣ рядъ невзгодъ жизнь? «Неужели это начало конца?»—мысленно спрашивала она себя, стоя въ раздумьи передъ зеркаломъ съ безсильно опустившимися руками. Остаться здѣсь, похоронить себя заживо, умереть въ этомъ фамильномъ склепѣ, не живши такъ, какъ бы хотѣлось? Ея молодая, ослѣпительно бѣлая грудь тяжело поднималась отъ волненія. Она безсознательно провела рукой по лбу, какъ бы ощущая боль отъ нахлынувшихъ думъ, очнулась, направилась къ постели. Откинувъ одѣяло и простыню, она сѣла на кровать, сбросила сапожки, чулки и, продолжая глядѣть въ пространство, снова что-то перебирала въ умѣ. Казалось, она забыла, зачѣмъ она сѣла на постель. Кто бы могъ сказать девять лѣтъ тому назадъ, что она дойдетъ до такого состоянія безнадежности, отчаянія, озлобленія на всѣхъ и на все?

Девять лѣтъ тому назадъ ее вывезли на первый балъ.

— Ты будешь царицей нынѣшняго сезона,—говорила ей мать.

— Въ ней что-то восточное, цыганское,—говорили одни.

— Нѣтъ, это греческая богиня,—говорили другіе.

— Да у нея же вовсе не горбатый носъ,—возразилъ кто-то.

— Что вы говорите,—со смѣхомъ сказали ему:—да когда же вы видѣли Венеръ и Діанъ съ горбатыми носами?

Одни удивлялись ея глазамъ, то сверкавшимъ огнемъ, то мягкимъ, какъ бархатъ. Другіе замѣчали, что они никогда не видали такой бѣлизны лица у брюнетокъ. Всѣ заглядывались на ея открытыя впервые для публики шею, плечи, грудь, руки. Казалось, это тѣло обнажили теперь именно потому, что какъ разъ настала пора, когда его стоило выставить на показъ. Она почти не присѣла во весь вечеръ—гвардейцы, флигель-адъютанты, камеръ-пажи, камеръ-юнкера, все это вертѣлось около нея.

Возвращаясь домой, она, утомленная, чувствуя легкое головокруженіе, спрашивала мать, похожи ли на этотъ балъ придворные балы.

— Все то же; увидишь когда-нибудь,—равнодушно отвѣтила мать, какъ говорятъ о пустякахъ, не стоящихъ разговоровъ.

А черезъ мѣсяцъ... о, она запомнила всю эту сцену, воз-

просторная, съ грузною мебелью въ сухомъ стилѣ первой имперіи, комната ей тоже показалась похожей на могильный склепъ, а большая, краснаго дерева кровать съ золотыми украшеніями, съ тяжелымъ пологомъ показалась катафалкомъ подъ балдахиномъ. На минуту вниманіе молодой дѣвушки остановилось на этихъ украшеніяхъ. Въ изголовьи и въ ногахъ доски краснаго дерева у кровати заканчивались съ боковъ четырехугольными, плоскими, черными колонками, суживавшимися книзу. Внизу изъ этихъ колонокъ выходили плотно сдвинутыя человѣческія ноги темно-зеленаго цвѣта съ легкой бронзировкой. Въ верху колонокъ были сдѣланы точно такіе же женскіе бюсты. Отъ этихъ бюстовъ шли длинныя золоченыя крылья, сходившіяся на красномъ деревѣ кровати съ крыльями такихъ же бюстовъ, находившихся на другомъ концѣ досокъ. Анна Ѳеодоровна отвернулась и почти съ раздраженіемъ увидала, что тѣ же своеобразныя каріатиды съ распростертыми золочеными крыльями находятся на всей мебели. Въ разстроенномъ воображеніи опять прошли образы церкви, гроба... Скорѣе лечь, уснуть, забыться.

Ломова стала раздѣваться медленно, устало, какъ человѣкъ совсѣмъ ослабѣвшій, больной. По привычкѣ она подошла къ туалету, помѣщавшемуся между оконъ, и испугалась, взглянувъ на себя: она была блѣдна, какъ мертвецъ...

Она была еще молода: ей было всего двадцать шесть лѣтъ. Но ее вывезли «въ свѣтъ» девять лѣтъ тому назадъ, и слѣды этихъ девяти лѣтъ уже лежали на ея лицѣ. Она была еще красавицей, но, при взглядѣ на нее, невольно приходила мысль: «она, должно-быть, была очень хороша», точно теперь она была уже не хороша. Такіе типы, какъ ея типъ, вообще, быстро развиваются, быстро увядаютъ. Высокая, стройная, съ черными волосами, съ черными бровями, съ черными глазами, съ античнымъ профилемъ, съ манерами гордой царицы, она по усвоенной безсознательно привычкѣ смотрѣла строгой, величавой, серьезной. Когда-то блескъ глазъ, горячій румянецъ полненькихъ щекъ, яркій пурпуръ губъ, безпечная улыбка придавали этому лицу невыразимую прелесть.

Теперь малокровная блѣдность кожи, отсутствіе свѣжести, едва замѣтныя морщинки около большихъ близорукихъ глазъ, складочка между бровями, часто сдвигавшимися отъ привычныхъ думъ, что-то неуловимое, но бросающееся въ

глаза говорило, что она уже жила, и прежде всего въ этомъ лицѣ бросалась въ глаза не его красота, а его строгость, его сухость и то, что «она уже жила». Жила! Развѣ рядъ невзгодъ жизнь? «Неужели это начало конца?»—мысленно спрашивала она себя, стоя въ раздумьи передъ зеркаломъ съ безсильно опустившимися руками. Остаться здѣсь, похоронить себя заживо, умереть въ этомъ фамильномъ склепѣ, не живши такъ, какъ бы хотѣлось? Ея молодая, ослѣпительно бѣлая грудь тяжело поднималась отъ волненія. Она безсознательно провела рукой по лбу, какъ бы ощущая боль отъ нахлынувшихъ думъ, очнулась, направилась къ постели. Откинувъ одѣяло и простыню, она сѣла на кровать, сбросила сапожки, чулки и, продолжая глядѣть въ пространство, снова что-то перебирала въ умѣ. Казалось, она забыла, зачѣмъ она сѣла на постель. Кто бы могъ сказать девять лѣтъ тому назадъ, что она дойдетъ до такого состоянія безнадежности, отчаянія, озлобленія на всѣхъ и на все?

Девять лѣтъ тому назадъ ее вывезли на первый балъ.

— Ты будешь царицей нынѣшняго сезона,—говорила ей мать.

— Въ ней что-то восточное, цыганское,—говорили одни.

— Нѣтъ, это греческая богиня,—говорили другіе.

— Да у нея же вовсе не горбатый носъ,—возразилъ кто-то.

— Что вы говорите,—со смѣхомъ сказали ему:—да когда же вы видѣли Венеръ и Діанъ съ горбатыми носами?

Одни удивлялись ея глазамъ, то сверкавшимъ огнемъ, то мягкимъ, какъ бархатъ. Другіе замѣчали, что они никогда не видали такой бѣлизны лица у брюнетокъ. Всѣ заглядывались на ея открытыя впервые для публики шею, плечи, грудь, руки. Казалось, это тѣло обнажили теперь именно потому, что какъ разъ настала пора, когда его стоило выставить на показъ. Она почти не присѣла во весь вечеръ—гвардейцы, флигель-адъютанты, камеръ-пажи, камеръ-юнкера, все это вертѣлось около нея.

Возвращаясь домой, она, утомленная, чувствуя легкое головокруженіе, спрашивала мать, похожи ли на этотъ балъ придворные балы.

— Все то же; увидишь когда-нибудь,—равнодушно отвѣтила мать, какъ говорятъ о пустякахъ, не стоящихъ разговоровъ.

А черезъ мѣсяцъ... о, она запомнила всю эту сцену, воз-

просторная, съ грузною мебелью въ сухомъ стилѣ первой имперіи, комната ей тоже показалась похожей на могильный склепъ, а большая, краснаго дерева кровать съ золотыми украшеніями, съ тяжелымъ пологомъ показалась катафалкомъ подъ балдахиномъ. На минуту вниманіе молодой дѣвушки остановилось на этихъ украшеніяхъ. Въ изголовьи и въ ногахъ доски краснаго дерева у кровати заканчивались съ боковъ четырехугольными, плоскими, черными колонками, суживавшимися книзу. Внизу изъ этихъ колонокъ выходили плотно сдвинутыя человѣческія ноги темно-зеленаго цвѣта съ легкой бронзировкой. Въ верху колонокъ были сдѣланы точно такіе же женскіе бюсты. Отъ этихъ бюстовъ шли длинныя золоченыя крылья, сходившіяся на красномъ деревѣ кровати съ крыльями такихъ же бюстовъ, находившихся на другомъ концѣ досокъ. Анна Ѳеодоровна отвернулась и почти съ раздраженіемъ увидала, что тѣ же своеобразныя каріатиды съ распростертыми золочеными крыльями находятся на всей мебели. Въ разстроенномъ воображеніи опять прошли образы церкви, гроба... Скорѣе лечь, уснуть, забыться.

Ломова стала раздѣваться медленно, устало, какъ человѣкъ совсѣмъ ослабѣвшій, больной. По привычкѣ она подошла къ туалету, помѣщавшемуся между оконъ, и испугалась, взглянувъ на себя: она была блѣдна, какъ мертвецъ...

Она была еще молода: ей было всего двадцать шесть лѣтъ. Но ее вывезли «въ свѣтъ» девять лѣтъ тому назадъ, и слѣды этихъ девяти лѣтъ уже лежали на ея лицѣ. Она была еще красавицей, но, при взглядѣ на нее, невольно приходила мысль: «она, должно-быть, была очень хороша», точно теперь она была уже не хороша. Такіе типы, какъ ея типъ, вообще, быстро развиваются, быстро увядаютъ. Высокая, стройная, съ черными волосами, съ черными бровями, съ черными глазами, съ античнымъ профилемъ, съ манерами гордой царицы, она по усвоенной безсознательно привычкѣ смотрѣла строгой, величавой, серьезной. Когда-то блескъ глазъ, горячій румянецъ полненькихъ щекъ, яркій пурпуръ губъ, безпечная улыбка придавали этому лицу невыразимую прелесть.

Теперь малокровная блѣдность кожи, отсутствіе свѣжести, едва замѣтныя морщинки около большихъ близорукихъ глазъ, складочка между бровями, часто сдвигавшимися отъ привычныхъ думъ, что-то неуловимое, но бросающееся въ

глаза говорило, что она уже жила, и прежде всего въ этомъ лицѣ бросалась въ глаза не его красота, а его строгость, его сухость и то, что «она уже жила». Жила! Развѣ рядъ невзгодъ жизнь? «Неужели это начало конца?»—мысленно спрашивала она себя, стоя въ раздумьи передъ зеркаломъ съ безсильно опустившимися руками. Остаться здѣсь, похоронить себя заживо, умереть въ этомъ фамильномъ склепѣ, не живши такъ, какъ бы хотѣлось? Ея молодая, ослѣпительно бѣлая грудь тяжело поднималась отъ волненія. Она безсознательно провела рукой по лбу, какъ бы ощущая боль отъ нахлынувшихъ думъ, очнулась, направилась къ постели. Откинувъ одѣяло и простыню, она сѣла на кровать, сбросила сапожки, чулки и, продолжая глядѣть въ пространство, снова что-то перебирала въ умѣ. Казалось, она забыла, зачѣмъ она сѣла на постель. Кто бы могъ сказать девять лѣтъ тому назадъ, что она дойдетъ до такого состоянія безнадежности, отчаянія, озлобленія на всѣхъ и на все?

Девять лѣтъ тому назадъ ее вывезли на первый балъ.

— Ты будешь царицей нынѣшняго сезона,—говорила ей мать.

— Въ ней что-то восточное, цыганское,—говорили одни.

— Нѣтъ, это греческая богиня,—говорили другіе.

— Да у нея же вовсе не горбатый носъ,—возразилъ кто-то.

— Что вы говорите,—со смѣхомъ сказали ему:—да когда же вы видѣли Венеръ и Діанъ съ горбатыми носами?

Одни удивлялись ея глазамъ, то сверкавшимъ огнемъ, то мягкимъ, какъ бархатъ. Другіе замѣчали, что они никогда не видали такой бѣлизны лица у брюнетокъ. Всѣ заглядывались на ея открытыя впервые для публики шею, плечи, грудь, руки. Казалось, это тѣло обнажили теперь именно потому, что какъ разъ настала пора, когда его стоило выставить на показъ. Она почти не присѣла во весь вечеръ—гвардейцы, флигель-адъютанты, камеръ-пажи, камеръ-юнкера, все это вертѣлось около нея.

Возвращаясь домой, она, утомленная, чувствуя легкое головокруженіе, спрашивала мать, похожи ли на этотъ балъ придворные балы.

— Все то же; увидишь когда-нибудь,—равнодушно отвѣтила мать, какъ говорятъ о пустякахъ, не стоящихъ разговоровъ.

А черезъ мѣсяцъ... о, она запомнила всю эту сцену, воз-

вѣстившую начало ихъ испытаній. Отецъ пріѣхалъ домой и, точно готовясь сообщить неожиданную радость безъ всякихъ приготовленій, влетѣлъ въ гостиную со словами:

— Все погибло, мы разорены!

Онъ проговорилъ эту фразу съ какимъ-то пошло легкомысленнымъ драматизмомъ, точно актеръ, проникнувшійся не трагизмомъ изображаемаго положенія, а своимъ умѣніемъ произносить громкія фразы.

Мать поднялась съ мѣста и, по обыкновенію, сдержанная и холодная замѣтила:

— Какія глупости ты говоришь, и что за тонъ!

Сказавъ это, она хотѣла даже выйти изъ комнаты, разсерженная пошлой выходкой мужа, но онъ заговорилъ дальше скороговоркой, жестикулируя, горячась:

— Не глупости, когда все продадутъ съ молотка, когда не останется ни гроша! Ты думаешь, нынче станутъ церемониться съ нами? Сегодня уже въ газетахъ есть публикація о продажѣ имѣнія, а внести процентовъ не изъ чего! Ирецкій городской банкъ лопнулъ еще на прошлой недѣлѣ, но это бы ничего, если бы Русовъ не пустилъ въ себя пулю, а онъ мало того, что втянулъ меня въ банкъ, но вѣдь я былъ поручителемъ за него на сотню тысячъ... Кажется, еще больше, чѣмъ на сотню...

Мать уже не спѣшила уйти. Она стояла, какъ статуя, машинально опираясь концами пальцевъ о столъ; ея рука дрожала, какъ въ лихорадкѣ.

— Кажется, больше!.. ему кажется!—съ горькой ироніей, почти съ судорожнымъ смѣхомъ прошептали ея побѣлѣвшія губы.

Она презирала, почти ненавидѣла его въ эту минуту. Это чувство на мгновеніе подавило въ ней даже чувство страха передъ будущимъ.

Отецъ загорячился.

— Ахъ, не все ли равно, больше или меньше? Что значитъ тутъ цифра? Сто, двѣсти, триста тысячъ—дѣло не въ этомъ, а въ томъ, что мы нищіе...

Онъ опять быстро заговорилъ, замахалъ руками, мелькая по комнатѣ, какъ назойливо жужжащая осенняя муха.

Въ эту минуту она, Анна Ѳеодоровна, увидала, что мать точно поскользнулась и стала опускаться все ниже, ниже, вся побѣлѣвшая, съ закрывшимися глазами, инстинктивно ища въ воздухѣ рукою опоры! Дочь въ ужасѣ бросилась къ матери съ крикомъ:

— Воды! воды!

Отецъ тоже растерялся, забѣгалъ, продолжая что-то говорить, безсвязно, безцѣльно...

Съ этого дня уже никто не говорилъ въ домѣ не только о придворныхъ балахъ, но и о балахъ вообще...

Какъ случилось это разореніе?

Ѳеодоръ Романовичъ Ломовъ кончилъ курсъ въ Пажескомъ корпусѣ и былъ кавалеристомъ. Вслѣдствіе этого онъ считалъ себя человѣкомъ большого свѣта, аристократомъ. Онъ былъ богатъ, и потому никто не разубѣждалъ его въ этомъ. Маленькій, вертлявый, разбитной, онъ носилъ въ своемъ кругу кличку «Фи-фи». Можетъ-быть, эта кличка выражала въ уменьшительной степени его имя; можетъ-быть, эта кличка произошла отъ привычки Ломова слишкомъ часто повторять съ презрительными гримасами: «fi!» Онъ былъ, новидимому, любимъ всѣми. Такъ, по крайней мѣрѣ, думалъ онъ. Вообще, онъ отличался тѣмъ, что вѣрилъ твердо во многое; онъ вѣрилъ, что онъ чистокровный аристократъ, такъ какъ онъ случайно воспитывался въ Пажескомъ корпусѣ, служилъ въ кавалеріи, былъ богатъ; онъ вѣрилъ, что онъ душа своего общества, такъ какъ его безконечная болтовня часто вызывала смѣхъ; онъ вѣрилъ, что онъ лучшій наѣздникъ и знатокъ лошадей въ Россіи; онъ вѣрилъ, что онъ очень уменъ, что онъ можетъ говорить обо всемъ; онъ вѣрилъ, что выше круга его знакомыхъ нѣтъ ничего, и что въ этомъ кругу онъ первый. Это дѣлало его бойкимъ, развязнымъ, довольнымъ собой, всѣмъ окружающимъ. Его состояніе оцѣнивали въ полмилліона; жилъ онъ такъ, какъ можетъ жить человѣкъ, имѣющій не одинъ милліонъ, а нѣсколько. Жить иначе, считать и разсчитывать онъ называлъ мелочничествомъ, мѣщанствомъ. Видя ежегодные дефициты, онъ досадливо жаловался, что съ отмѣной крѣпостного права земля стала давать мало доходовъ и ни разу не подумалъ, что у него, съ теченіемъ времени, стали слишкомъ велики расходы.

— Вы совершенно правы, — замѣтилъ ему однажды въ обществѣ одинъ изъ его собесѣдниковъ:—доходы съ имѣній ничтожны именно потому, что мы все еще считаемъ Россію по старой географіи страной земледѣльческой...

Ломовъ, услыхавъ, что онъ «совершенно правъ», увлекся милымъ собесѣдникомъ, объяснившимъ ему, что Россія— страна промышленная, и что промышленность нуждается въ

капиталахъ, а капиталы могутъ явиться только при развитіи банковъ.

Собесѣдникъ Ломова оказался молодымъ человѣкомъ, говорящимъ горячо и увлекательно, мало того, онъ оказался очень скромнымъ, развивая свои взгляды, прибавлялъ: «какъ вы изволили замѣтить», «какъ вы справедливо выразились». Ломову онъ понравился, и они сошлись.

Это былъ первый «разночинецъ», котораго узналъ Ломовъ. До этой поры онъ вращался въ своемъ военномъ кружкѣ, былъ въ пріятельскихъ отношеніяхъ съ однокашниками Пажескаго корпуса, встрѣчался только съ тѣми изъ штатскихъ, у кого были титулы или званія камеръ-юнкеровъ и камергеровъ. Все это была молодежь, прожигавшая жизнь и мотавшая деньги въ ожиданіи той поры, когда придется осѣсть, пристроиться чрезъ бабушекъ и тетушекъ къ виднымъ и выгоднымъ мѣстамъ, сколачивая и выжимая, гдѣ можно, деньги для кутежей иного поколѣнія. Новый знакомый Ломова — Русовъ былъ сыномъ бывшаго крѣпостного, потомъ кабатчика, далѣе желѣзнодорожника и банковскаго дѣльца. Ѳеодоръ Романовичъ даже изумился, узнавъ чрезъ нѣсколько времени родословную Русова, точно онъ предполагалъ прежде, что дѣти кабатчиковъ иначе ходятъ, говорятъ, одѣваются, чѣмъ люди его округа. Правда, сначала Фи-фи отзывался о Русовѣ нѣсколько снисходительно, съ конфузливыми оговорками, тономъ покровительства: «онъ все же милый малый»; «какъ бы то ни было, но онъ благовоспитанъ»; «ему дѣлаетъ честь, что онъ сталъ выше своей среды». Но мало-по-малу онъ сталъ даже чувствовать если не благодарность къ Русову, то необходимость въ Русовѣ. Тотъ всегда находилъ способъ сдѣлать такъ, что у Ломова доходъ увеличивался вдвое и втрое. Имѣніе заложилось, и деньги пошли въ Ирецкій банкъ; банкъ давалъ баснословные проценты, гораздо болѣе земли. Самъ Русовъ съ компаніей завелъ какой-то заводъ обработки отбросовъ. Ломову стоило только поставить бланки на нѣсколькихъ векселяхъ Русова, учтенныхъ Ирецкимъ городскимъ банкомъ, чтобы снова получить нѣсколько тысячъ дохода. Былъ даже такой періодъ въ жизни Ломова, когда вопреки своему основному убѣжденію, что старое дворянство—это все, онъ, увлеченный возрастаніемъ своихъ доходовъ, сталъ легкомысленно говорить:

— Что вы ни говорите, а возникающее у насъ tiers état дастъ извѣстный толчокъ Россіи; у этого люда есть русская жилка, что-то такое въ родѣ практическаго нюха.

Особенно пріятно было то, что Русовъ не напоминалъ какого-нибудь скряги-барышника, а держалъ себя вполнѣ джентльменомъ, зналъ толкъ въ лошадяхъ, говорилъ хорошо по-французски, держалъ пари на скачкахъ, имѣлъ грума, содержалъ кокотку и былъ щедръ, какъ чистокровный аристократъ, бросая деньги въ ресторанахъ низко кланявшейся ему прислугѣ. Съ такимъ человѣкомъ было не стыдно идти рука объ руку.

И все это рухнуло разомъ: крахъ Ирецкаго банка и попытка Русова на самоубійство, тѣсно связанные между собой, поставили Ломова въ безвыходное положеніе,—у него не только не было возможности заплатить проценты по заложенному имѣнію, но на шеѣ еще было поручительство по векселямъ Русова на сто тысячъ... а можетъ-быть, и больше, какъ онъ говорилъ самъ.

Эта была обыкновенная, будничная исторія разоренія «глупца», какъ всѣ стали называть теперь Фи-фи. Кто же когда-нибудь принималъ его серьезно, этого жалкаго Фи-фи? Онъ, бѣдный, всегда былъ крайне недалекъ. Всѣмъ теперь вспомнились разныя глупости, сказанныя имъ. Это вызывало сдержанныя улыбки, иногда невольные взрывы смѣха. Теперь, видя его въ штатскомъ платьѣ, всѣ находили даже не безъ удивленія, что онъ сталъ ниже ростомъ, а его развинченныя кавалерійскія манеры дѣлали его просто комичнымъ. Прежде за всѣ его смѣшныя и странныя выходки его называли «эксцентрикомъ», теперь за нихъ же называли «шутомъ гороховымъ»...

Но у этого шута были жена, дочь, сынъ.

Неожиданный ударъ совершенно различно отозвался на мужѣ и женѣ.

Онъ долженъ былъ выйти въ отставку, но, тѣмъ не менѣе, полный глубокой вѣры въ себя, не упалъ духомъ и рѣшился искать мѣста по гражданской службѣ. Онъ сталъ обивать пороги вліятельныхъ знакомыхъ, оставаясь тѣмъ же говоруномъ, тѣмъ же недальновиднымъ человѣкомъ, какъ будто все шло по-старому и всѣ оставались прежними людьми. Жена замкнулась съ семьей въ маленькой квартиркѣ въ Колтовской, стыдясь показаться кому-нибудь на глаза, боясь сожалѣній, униженій, толковъ. Но, и замкнувшись отъ всѣхъ, она краснѣла отъ сознанія своего паденія и позора и испытывала каждый разъ чувство униженія, слыша отъ мужа, что ему отказываютъ въ мѣстѣ, что его не принялъ тотъ или иной изъ знакомыхъ. Мужъ не сразу понялъ свою новую

роль; жена чутьемъ угадала, какъ теперь смотрятъ на него. Хотя внезапно настигнувшее Ломова несчастіе не измѣнило его нисколько, хотя онъ былъ такъ же говорливъ, подвиженъ, горячъ, какъ прежде, но одни изъ его знакомыхъ стали говорить, что онъ надоѣдливъ, другіе просто стали говорить, что Фи-фи непроходимо глупъ. Лица, у которыхъ онъ искалъ мѣста, замѣчали, послѣ его ухода, въ своемъ кругу, что въ ихъ министерствахъ еще нѣтъ мѣстъ для «говорильныхъ машинъ». Мало того, нѣкоторыя лица чуть не съ возмущеніемъ разсказывали о томъ, что Ломовъ говорилъ: «мы—аристократы». Какой же онъ аристократъ? Какой-то Ломовъ, провинціальный дворянинъ, сынъ дослужившагося до генеральскаго чина помѣщика, величаетъ себя аристократомъ? Надо быть такимъ шутомъ, какъ онъ, чтобы вообразить что-нибудь подобное! Ломова не знала, не слышала этихъ толковъ, но предчувствовала, угадывала, какъ начали смотрѣть на ея мужа. Онъ сталъ раздражать своею болтовнею и ее; онъ и ей сталъ казаться — она стыдилась въ этомъ сознаться самой себѣ—глупымъ. Что же мудренаго, если и посторонніе находятъ его такимъ? Ломовъ хотя и не сознавалъ перемѣны въ отношеніяхъ людей къ нему, но, не получая мѣста, не заставая дома старыхъ пріятелей, слыша повсюду неизвѣстныя ему прежде возраженія, незамѣтно для себя, становился желчнымъ, раздражительнымъ, рѣзкимъ. На него кое-гдѣ даже стали какъ-то подозрительно коситься, слыша его фрондерскія выходки противъ правительства, за отношенія послѣдняго къ «намъ, старымъ дворянамъ», какъ говорилъ онъ, не замѣчая, что надъ нимъ смѣются. Почему онъ разоренъ? Потому, что его имѣніе было заложено не въ опекунскомъ совѣтѣ, а въ частномъ банкѣ. Какъ можно было допустить подобные банки, разоряющіе дворянъ? Или не понимаютъ, что главная и единственная сила — старое дворянство? Онъ произносилъ эти фразы, сильно жестикулируя, съ пѣной у рта, захлебываясь отъ волненія. Про него стали говорить, что онъ не только глупый, но и опасный человѣкъ. Наконецъ, онъ уже становится слишкомъ безцеремоннымъ, является вездѣ въ какихъ-то пиджакахъ, по-домашнему, не соблюдая самыхъ обыкновенныхъ правилъ приличія. По его развязности никто не могъ предполагать, что эти пиджаки были все, что у него осталось отъ платья...

Правда, не всѣ старые знакомые такъ безучастно относились къ Ломовымъ.

Одни все собирались навѣстить Антонину Аркадьевну, и удерживало ихъ отъ этого одно соображеніе:

— Это посѣщеніе страшно тяжело отзовется на ней. Говорятъ, они живутъ въ какой-то трущобѣ. О, если бы хоть немного поправились ихъ дѣла, чтобы можно было, не шокируя ихъ, заѣхать къ нимъ...

И эти люди не заглядывали къ Ломовымъ, успокаивая себя тѣмъ, что они это дѣлаютъ изъ деликатности.

Другіе помышляли помочь семьѣ, доставивъ Ломову, хотя онъ глупый и пустой малый, какое-нибудь мѣсто, но не торопились сдѣлать это, очень вѣрно разсуждая:

— Надо только подождать, когда кончатся его дѣла по Ирецкому банку, по конкурсу Русова, когда выяснится все. А то еще—кто его знаетъ—можетъ-быть, его, бѣдняка, впутали въ какія-нибудь грязныя сдѣлки...

И эти доброжелатели ждали конца безконечнаго дѣла, досадуя, что они не могутъ ничѣмъ быть полезными пострадавшей семьѣ. Въ этихъ случаяхъ даже поддерживать сношенія неловко, мало ли какая грязь можетъ всплыть наружу. Не напрашиваться же въ свидѣтели на судѣ въ качествѣ друзей и знакомыхъ?

Нѣкоторое время семья жила, закладывая спасенныя отъ крушенія, то-есть украденныя у кредиторовъ вещи, золотыя бездѣлушки, брильянты. Наконецъ, не стало и ихъ. Въ то же время наступили сроки платежа процентовъ за эти заложенныя вещи. Приходилось добывать деньги на уплату этихъ процентовъ или видѣть гибель этихъ вещей за ничто. Но что значили эти бездѣлушки послѣ потери всего состоянія? О, очень много! Каждую изъ этихъ пропадавшихъ вещей Антонина Аркадьевна оплакивала въ своей спальнѣ, точно это были послѣдніе хоронимые ею друзья. Утрата этихъ вещей отзывалась на ней сильнѣе утраты всего состоянія. Такъ отзываются на человѣкѣ мелкія царапины, когда онѣ касаются сильно пораненнаго мѣста. Послѣ тяжелой внутренней борьбы, Ломова рѣшилась, наконецъ, выйти изъ своего угла, рѣшилась прибѣгнуть къ помощи одной изъ вліятельныхъ дальнихъ родственницъ, бывшей камеръ-фрейлинѣ. Ломова знала, что старуха и зла, и суха, тѣмъ не менѣе она пошла именно къ ней. Ей было не такъ тяжело объясняться со старухой, какъ было бы тяжело говорить съ женщинами, равными ей по лѣтамъ, по прежнему ея положенію въ свѣтѣ. Попытка оказалась неудачною. Озлобленная старая дѣва высказала Ломовой все то, что послѣдняя

Ломова даже не сердилась за эти безцеремонные упреки мамки.

— Я была сегодня у Елены Дмитріевны, — отвѣтила она.—Знаю я теперь, чего ждать отъ родныхъ и знакомыхъ...

— Нашла къ кому идти!—вспылила старуха.—Елена-то Дмитріевна сама въ каретѣ визиты дѣлаетъ, да булками изъ булочной насыщается отъ скаредности, чтобы дома обѣда не готовить. На брюхѣ шелкъ, а въ брюхѣ щелкъ. А ты къ ней вздумала идти...

Ломова, не слушая, продолжала:

— Да и Ѳедоръ Романовичъ всѣхъ обходилъ. Нигдѣ ничего.

Мамка злобно плюнула.

— А жрать у насъ всѣ умѣли! Псы голодные!

И потомъ опять повторила:

— Къ дяденькѣ-то Петру Васильевичу все же отпиши. Непремѣнно отпиши. Не погибать же такъ, въ самомъ дѣлѣ, съ голоду. Вонъ Ниночка сегодня спрашиваетъ: «что ты, мамка, готовишь?» А я ничего не готовлю... нечего мнѣ готовить!.. Ты объ этомъ подумала ли, сидя-то у окна?..

Напоминаніе о голодѣ воскресило въ умѣ Антонины Аркадьевны мысль, что они и точно погибнутъ не сегодня, такъ завтра съ голоду. О, тогда всѣ вспомнятъ о нихъ, поймутъ весь ужасъ ихъ положенія.

— И погибнемъ,—тихо сказала она:—прежде чѣмъ отвѣтъ отъ дяди получимъ—погибнемъ.

— Ну, чего закаркала, прости, Господи!—раздражительно сказала мамка. — Погибнемъ! погибнемъ! Не голодала, потому такъ и говоришь. Нѣтъ, какъ животы подведетъ, сама стонать станешь! Маленькою еще была, такъ, бывало, пять минутъ опоздаешь тебѣ грудь дать — кричать начнешь... Туда же голодать теперь вздумала. А сидѣньемъ своимъ ты, точно, ничего не высидишь. Ко всѣмъ толкаться надо, донимать всѣхъ надо: дай, молъ, дай! Теперь вотъ ты отпиши дяденькѣ-то только. Слышишь, непремѣнно отпиши.

Мареа Власьевна даже кулакомъ по столу постучала, точно угрожая Ломовой.

Потомъ она опять застучала башмаками, опять захлопала дверями. Ея грубый, ворчливый голосъ уже слышался на кухнѣ, и въ отвѣтъ на ея воркотню раздавались степенныя замѣчанія Степана Потаповича.

— Чего ты шумишь, баба, бѣлены, что ли, объѣлась; ужо пугнуть тебя господа: здѣсь не прежнее дѣло—стѣны-то тонкія. Взяла въ самомъ дѣлѣ власть...

— А ты молчи, ты дѣлай свое дѣло,—огрызалась Марѳа Власьевна.—Вотъ Ѳедоръ Романовичъ придетъ, такъ самому тебѣ чтобъ не досталось...

Часа черезъ два вернулся Ломовъ, усталый, но по обыкновенію возбужденный, говорливый, волнующійся. Онъ тоже не принесъ ничего.

— Да, я теперь только узналъ людей! Это мало того, что безсердечные люди, въ нихъ даже простой порядочности нѣтъ. И это наше дворянство, лучшія наши силы! На кого же надѣяться! Въ комъ искать истиннаго рыцарства?

И онъ разразился цѣлымъ потокомъ рѣчей на эту тему, нанизывая слова, не заботясь о логикѣ. Ломова горько усмѣхнулась, даже не сердясь, что онъ такъ пошлъ и глупъ.

— Да, мы теперь только узнали людей,—замѣтила она:— но и они, кажется, въ свою очередь только теперь узнали насъ.

И она разсказала о своемъ визитѣ къ старой родственницѣ. Въ ея голосѣ впервые послышалась ѣдкая горечь. Она, казалось, издѣвалась теперь надъ мужемъ, надъ собою, надъ своими прежними самообманами, надъ своими старыми симпатіями.

— Впрочемъ, Елена Дмитріевна всегда такъ выражалась,—закончила она свой разсказъ:—только ея тонъ, ея выраженія принимались прежде съ иными чувствами...

По ея лицу скользнула опять усмѣшка:

— Да, измѣнились не они, а мы...

Въ эту минуту раздался обычный торжественный возгласъ Степана:

— Кушать подано

Ломова подняла въ недоумѣніи голову. Казалось, она услышала какую-то совершенно непонятную фразу. Ломовъ, ничего не замѣчая, заторопился:

— Да, да, отлично! Я сильно проголодался! Еще бы, столько ходилъ.

Онъ торопливо развинченной походкой пошелъ въ другую комнату; Ломова прошла въ кухню.

— Мамка, откуда ты взяла?

— Да ужъ садись, садись, не украла, слава Богу! Полиція не придетъ описывать твоего обѣда!—отрывисто отвѣтила старуха, шумно двигая на плитѣ сковороду съ жарящимся и шипящимъ въ маслѣ картофелемъ.

Антонина Аркадьевна молча прошла въ столовую и сѣла за столъ. Ломовъ налилъ рюмку водки, выпилъ ее и заку-

Ломова даже не сердилась за эти безцеремонные упреки мамки.

— Я была сегодня у Елены Дмитріевны, — отвѣтила она.—Знаю я теперь, чего ждать отъ родныхъ и знакомыхъ...

— Нашла къ кому идти!—вспылила старуха.—Елена-то Дмитріевна сама въ каретѣ визиты дѣлаетъ, да булками изъ булочной насыщается отъ скаредности, чтобы дома обѣда не готовить. На брюхѣ шелкъ, а въ брюхѣ щелкъ. А ты къ ней вздумала идти...

Ломова, не слушая, продолжала:

— Да и Ѳедоръ Романовичъ всѣхъ обходилъ. Нигдѣ ничего.

Мамка злобно плюнула.

— А жрать у насъ всѣ умѣли! Псы голодные!

И потомъ опять повторила:

— Къ дяденькѣ-то Петру Васильевичу все же отпиши. Непремѣнно отпиши. Не погибать же такъ, въ самомъ дѣлѣ, съ голоду. Вонъ Ниночка сегодня спрашиваетъ: «что ты, мамка, готовишь?» А я ничего не готовлю... нечего мнѣ готовить!.. Ты объ этомъ подумала ли, сидя-то у окна?..

Напоминаніе о голодѣ воскресило въ умѣ Антонины Аркадьевны мысль, что они и точно погибнутъ не сегодня, такъ завтра съ голоду. О, тогда всѣ вспомнятъ о нихъ, поймутъ весь ужасъ ихъ положенія.

— И погибнемъ,—тихо сказала она:—прежде чѣмъ отвѣтъ отъ дяди получимъ—погибнемъ.

— Ну, чего закаркала, прости, Господи!—раздражительно сказала мамка. — Погибнемъ! погибнемъ! Не голодала, потому такъ и говоришь. Нѣтъ, какъ животы подведетъ, сама стонать станешь! Маленькою еще была, такъ, бывало, пять минутъ опоздаешь тебѣ грудь дать — кричать начнешь... Туда же голодать теперь вздумала. А сидѣньемъ своимъ ты, точно, ничего не высидишь. Ко всѣмъ толкаться надо, донимать всѣхъ надо: дай, молъ, дай! Теперь вотъ ты отпиши дяденькѣ-то только. Слышишь, непремѣнно отпиши.

Мареа Власьевна даже кулакомъ по столу постучала, точно угрожая Ломовой.

Потомъ она опять застучала башмаками, опять захлопала дверями. Ея грубый, ворчливый голосъ уже слышался на кухнѣ, и въ отвѣтъ на ея воркотню раздавались степенныя замѣчанія Степана Потаповича.

— Чего ты шумишь, баба, бѣлены, что ли, объѣлась; ужо пугнуть тебя господа: здѣсь не прежнее дѣло—стѣны-то тонкія. Взяла въ самомъ дѣлѣ власть...

— А ты молчи, ты дѣлай свое дѣло,—огрызалась Марѳа Власьевна.—Вотъ Ѳедоръ Романовичъ придетъ, такъ самому тебѣ чтобъ не досталось...

Часа черезъ два вернулся Ломовъ, усталый, но по обыкновенію возбужденный, говорливый, волнующійся. Онъ тоже не принесъ ничего.

— Да, я теперь только узналъ людей! Это мало того, что безсердечные люди, въ нихъ даже простой порядочности нѣтъ. И это наше дворянство, лучшія наши силы! На кого же надѣяться! Въ комъ искать истиннаго рыцарства?

И онъ разразился цѣлымъ потокомъ рѣчей на эту тему, нанизывая слова, не заботясь о логикѣ. Ломова горько усмѣхнулась, даже не сердясь, что онъ такъ пошлъ и глупъ.

— Да, мы теперь только узнали людей,—замѣтила она:— но и они, кажется, въ свою очередь только теперь узнали насъ.

И она разсказала о своемъ визитѣ къ старой родственницѣ. Въ ея голосѣ впервые послышалась ѣдкая горечь. Она, казалось, издѣвалась теперь надъ мужемъ, надъ собою, надъ своими прежними самообманами, надъ своими старыми симпатіями.

— Впрочемъ, Елена Дмитріевна всегда такъ выражалась,—закончила она свой разсказъ:—только ея тонъ, ея выраженія принимались прежде съ иными чувствами...

По ея лицу скользнула опять усмѣшка:

— Да, измѣнились не они, а мы...

Въ эту минуту раздался обычный торжественный возгласъ Степана:

— Кушать подано

Ломова подняла въ недоумѣніи голову. Казалось, она услышала какую-то совершенно непонятную фразу. Ломовъ, ничего не замѣчая, заторопился:

— Да, да, отлично! Я сильно проголодался! Еще бы, столько ходилъ.

Онъ торопливо развинченной походкой пошелъ въ другую комнату; Ломова прошла въ кухню.

— Мамка, откуда ты взяла?

— Да ужъ садись, садись, не украла, слава Богу! Полиція не придетъ описывать твоего обѣда!—отрывисто отвѣтила старуха, шумно двигая на плитѣ сковороду съ жарящимся и шипящимъ въ маслѣ картофелемъ.

Антонина Аркадьевна молча прошла въ столовую и сѣла за столъ. Ломовъ налилъ рюмку водки, выпилъ ее и заку-

силъ кускомъ хлѣба съ аппетитомъ усталаго и проголодавшагося человѣка. Жена смотрѣла почти съ презрѣніемъ на мужа. Ѣстъ, пьетъ, даже не спросивъ: откуда все это? гдѣ достали денегъ? О, онъ всегда былъ такимъ, и всегда она страдала, сознавая это и не признаваясь въ этомъ даже себѣ самой.

Ломовы обѣдали и на слѣдующій день, и на третій, и на четвертый...

Антонина Аркадьевна испытывала въ эти дни странное чувство тревоги: ей все казалось, что она обѣдаетъ въ послѣдній разъ въ жизни. Пообѣдаемъ сегодня, а завтра не будетъ ничего, начнется голодъ, смерть.

— Мамка, гдѣ ты берешь? Въ долгъ? — наконецъ пристала она къ Марѳѣ Власьевнѣ.

— Такъ тебѣ и дадутъ въ долгъ! — коротко отвѣтила старуха. — Слава Богу, прошло время, когда всѣ совали, только бери! Попробуй теперь! Я-то ужъ пробовала. Дали, какъ же, держи карманъ, чтобы не просыпалось... А ты сиди теперь съ упованіемъ на Бога да жди отвѣта отъ дяденьки Петра Васильевича. Не пришлетъ — еще пиши, продохнуть не давай!..

Ломова ничего не поняла изъ этого отвѣта, но не настаивала болѣе на разспросахъ. Ей стало теперь какъ-то лѣнь, не нужно, не для чего знать болѣе, чѣмъ она знала. Ну, берется обѣдъ откуда-то и прекрасно. Не будетъ его — наступятъ голодъ, смерть. Обѣдая ежедневно, она переставала вѣрить, что точно наступятъ голодъ и смерть, тѣмъ не менѣе она все чаще и чаще стала развлекать себя представленіемъ этихъ ужасовъ. Когда она погибнетъ, тогда узнаютъ люди, что она пережила, перестрадала. Апатичная, какъ бы застывшая, она однажды сѣла къ окну и стала машинально искать въ рабочемъ столикѣ папиросъ. Ихъ не оказалось. Это сильно смутило ее. Антонина Аркадьевна прежде не курила. Но въ тяжелые дни послѣ разоренія она какъ-то случайно взяла разъ въ ротъ папиросу и закурила—она даже сама не сознавала, для чего—зубъ, что ли, разболѣлся, и она не знала, чѣмъ успокоить боль, или просто такъ безъ мысли, безъ цѣли закусила кончикъ папиросы, какъ могла бы закусить кончикъ карандаша, ручку отъ стального пера. Тѣмъ не менѣе ей стало тогда легче, у нея слегка закружилась голова, стало немного холодно, какъ передъ легкимъ обморокомъ, мысли приняли какое-то другое направленіе, мелькнули какія-то туманныя мечты и на-

дежды, возникавшія и разсѣивавшіеся, подобно дыму. Прежде она никогда не мечтала, ни на что не надѣялась—во время богатства все нужное являлось само собою, безъ мечтаній о немъ; во время разоренія безвыходность положенія подавила все свѣтлое и спугивала мечты. Куря впервые папиросу, Ломова точно въ какомъ-то полуснѣ начала смутно думать, что, можетъ-быть, все еще поправится, все тяжелое еще пройдетъ. Мало ли переворотовъ дѣлается въ жизни. И когда все это пройдетъ—всѣ снова придутъ къ ней. Какія выраженія будутъ у этихъ людей, когда она взглянетъ на нихъ холоднымъ, пристальнымъ взглядомъ? По ея губамъ скользила улыбка презрѣнія къ людямъ. Куреніе вошло въ привычку... Теперь, когда въ карманѣ не было ни гроша, когда семья кормилась на невѣдомыя средства, Ломовой было совѣстно попросить мамку о папиросахъ, а между тѣмъ томила какая-то безотчетная тоска безъ нихъ. Тревожная, она поднялась съ мѣста, прошла въ другую комнату, вернулась снова назадъ, опять стала рыться въ столѣ. Она, какъ бы въ полуснѣ, шарила вездѣ, въ столѣ, въ комнатѣ, въ карманахъ мужниной одежды, не запала ли куда-нибудь случайно хоть одна папироса. Ихъ не было.

— Чего ты шаришь-то, да вчерашняго дня ищешь, а не скажешь, что папиросъ нѣтъ! — вдругъ раздался голосъ мамки.—Ахъ, люди тоже, языкъ отсохнетъ сказать.

И черезъ нѣсколько минутъ передъ Ломовой лежала четверка табаку и гильзы.

— Набивай сама, все развлеченіе будетъ, — отрывисто сказала мамка.

Ломова даже засмѣялась отъ радости, и въ то же время на ея глаза навернулись слезы. Она до крови закусила губы, чтобы скрыть эту радость, эти слезы. На минуту ей стало противно, что она привыкла курить. Точно пьянство! Она отвернулась къ окну. И въ то же время, желая успокоится, она быстро стала распечатывать табакъ, чтобы скорѣе набить хоть одну папиросу...

Дядя же Петръ Васильевичъ все не отвѣчалъ. Ломова написала ему второе письмо. Ее охватывалъ страхъ: что если онъ не поможетъ. Старикъ былъ самодуръ. Жилъ безвыѣздно въ своемъ имѣніи Ломовскомъ, съ тѣхъ поръ какъ его единственный сынъ оставилъ Россію, принялъ католичество и женился за границей на какой-то авантюристкѣ. Дядя приглашалъ Ломовыхъ переѣхать къ нему: этимъ онъ хотѣлъ показать сыну, что онъ отрекся отъ него и усыно-

вилъ своего племянника. Но Ломовы отказались отъ переѣзда къ дядѣ. Можетъ-быть, они боялись деревенской скуки; можетъ-быть, они сознавали, что имѣніе старика слишкомъ ничтожный призъ за требуемую имъ жертву. Во всякомъ случаѣ сами они говорили, что они вовсе не желаютъ похищать права у законнаго наслѣдника, вовсе не хотятъ пользоваться его ошибками. Объ этомъ они говорили вездѣ и всюду, просто и скромно, но съ полнымъ сознаніемъ благородства своего поступка. Дядя разссорился съ ними, напророчивъ имъ, что они все промотаютъ. Сношенія порвались. Они слышали о немъ только, что онъ сильно состарился, что у него въ домѣ живетъ маленькая родственница его жены Наташа Сорина, что въ этомъ домѣ почти единственными близкими людьми являются сосѣди старика-самодура, какіе-то Вѣра Николаевна и Михаилъ Михайловичъ Иволгины. Захочетъ ли старикъ теперь откликнуться на просьбу обѣднѣвшихъ родственниковъ? Не отплатитъ ли онъ имъ теперь за то, что они обрекли его на одинокую старость? Что тогда? Страхъ передъ неудачею усилился еще болѣе отъ странной тишины, наступившей въ домѣ; мамка вдругъ перестала стучать башмаками, хлопать дверьми, громыхать посудой и присмирѣла. На ея лицѣ со сморщеннымъ узенькимъ лбомъ, съ поджатыми губами, съ раздувающимися ноздрями, появилось такое выраженіе, точно она въ чемъ-то провинилась и не смѣетъ сознаться въ своей винѣ. Выходя на кухню, Ломова нерѣдко заставала ее сидящею у стола съ опущенными въ безсиліи на колѣнки руками, съ тупымъ уставленнымъ въ пространство взглядомъ. Антонина Аркадьевна спрашивала ее тревожно о здоровьи.

— Что мнѣ дѣлается!—отрывисто отвѣчала мамка.

Казалось, она сердилась на себя за то, что ей ничего не дѣлается.

Съ тѣмъ же вопросомъ обращалась Ломова и къ мужу мамки и получила такой же отвѣтъ:

— Что ей дѣлается!

Степанъ Потаповичъ произносилъ это хмуро, потому что въ это время ему житья не было отъ жены.

День и ночь пилила его теперь Мареа Власьевна за то, что онъ непутящій человѣкъ, дармоѣдъ, аспидъ, кровопивецъ, пропойца. Пилила его она за то, что будь онъ «путящимъ» человѣкомъ, могъ бы онъ на офиціантскую должность поденно ходить и грошъ зарабатывать, да домой приносить. Сколько людей такъ хлѣбъ добываютъ. А онъ, дармоѣдъ,

сидитъ на шеѣ у господъ, ихъ же хлѣбъ ѣстъ, и никакой отъ него пользы имъ нѣтъ. Ей крайне заманчивою казалась эта картина: онъ бы получалъ поденно на плохой конецъ рубль, приносилъ бы этотъ рубль домой и—господа были бы сыты. Чѣмъ заманчивѣе казались ей эти картины, тѣмъ нещаднѣе было пиленье. Вѣдь его только отпусти — онъ все пропьетъ, что заработаетъ, одежду пропьетъ. И если бы человѣкъ-то неумѣлый, Богомъ обиженный былъ, такъ нѣтъ, все умѣетъ, десятерыхъ трезвыхъ за поясъ заткнетъ, другого-то такого не скоро и сыщешь. А отпусти его—всѣ кабаки возликуютъ! Еще бы не возликовать, когда у Степана Потапыча завелись деньги! Видя, что эти мечты не сбыточны, мамка въ одинъ прекрасный день отпросилась постирать бѣлье для хозяйки дома. Ужъ очень та ее просила: нигдѣ поденщицы не могли найти, а работа къ спѣху. Нынче вѣдь бѣда съ поденщицами. Богъ знаетъ, что за народъ. Обѣдъ же и Степанъ сготовитъ. Слава Богу, не учить его. Ее отпустили. Она стирала день, два, три, возвращаясь домой поздно вечеромъ, въ промокшей одеждѣ, съ сбившимися въ работѣ сѣдыми волосами, съ красными съ бѣловатымъ налетомъ, сморщившимися отъ стирки концами пальцевъ.

Наконецъ, Ломова замѣтила ей:

— Да что же это ты, мамка, все стираешь? Неужели у хозяйки столько бѣлья накопилось?

Мамка растерялась. У нея забѣгали глаза, точно ища, куда бы спрятаться. Она непривычно покорнымъ извиняющимся тономъ, какъ сильно провинившійся человѣкъ, проговорила:

— Ужъ ты извини меня, все у меня подобралось... все, какъ есть...

Ломова тутъ только поняла весь смыслъ происходившаго въ послѣдніе три мѣсяца: ее кормила служанка на свои сбереженія; теперь она рѣшилась кормить господъ на свой поденный трудъ. Антонина Аркадьевна разрыдалась. Мамка и растерялась, и разсердилась.

— Глупая, глупая, ну, чего ты! Ахъ, ты Господи! Что я на воровскія деньги, что ли, тебя кормила? Слава Богу, у тебя же нажила! Полно! Ниночка еще, храни Господи, узнаетъ. И безъ того молодому человѣку не сладко, а тутъ... Ахъ, какая ты, право!

И въ припадкѣ какой-то давно забытой нѣжности, не зная, какъ утѣшить Ломову, она сунула ей въ руки папиросу.

— Ну, покури, нà! Ахъ, ты дурочка моя, дурочка!

И она провела рукой по головѣ Ломовой, опустившейся въ безсиліи на стулъ, приниженной, пристыженной. Когда-то, въ давно былые дни, мамка съ этими же словами, поспѣшно разстегивая рубашку, давала ей, Антонинѣ Аркадьевнѣ, свою обильную молокомъ грудь, когда дѣвочка начинала плакать. Ломова машинально взяла папиросу, а Марѳа Власьевна торопливо, какъ будто внезапно пріободрившись и помолодѣвъ, пошла изъ комнаты, говоря:

— Погоди, погоди, ужо дяденька Петръ Васильевичъ пришлетъ пособіе, и все пойдетъ ладно... Голенькій-то охъ, а за голенькимъ-то Богъ!..

Антонина Аркадьевна сидѣла съ растеряннымъ, недоумѣвающимъ и оторопѣлымъ выраженіемъ на лицѣ, сдѣлавшимся на минуту почти глуповатымъ. Казалось, произошло нѣчто такое, чего она не могла понять, осилить. Сначала ее точно пришибло, потомъ почувствовалась тупая боль въ сердцѣ. Въ это мгновеніе она пережила, можетъ-быть, больше, чѣмъ въ долгіе годы жизни. Въ умѣ воскресло все прожитое: ея отношенія къ людямъ, ихъ отношенія къ ней, разсказы мужа о старыхъ знакомыхъ, свиданіе съ родственницей, старой дѣвой, и этотъ подвигъ «глупой» мамки...

Ломова подняла глаза, и ея взоръ встрѣтился съ глазами Христа—Онъ сурово изъ-подъ терноваго вѣнца глядѣлъ на нее изъ угла со стѣны. Она, точно очнувшись отъ сна, вздрогнула.

— Господи, до чего я дошла!—тихо прошептала она.

Она торопливо встала, заходила по комнатѣ, говоря почти вслухъ: «нѣтъ, это не можетъ такъ продолжаться. Это надо кончить!» Казалось, она на что-то рѣшилась, что-то придумала. Она машинально, по привычкѣ, подошла къ столу, набила папиросу, продолжая повторять: «Это надо кончить! Это не можетъ такъ продолжаться!» И, закуривъ папиросу, присѣвъ снова къ окну, заглядѣлась на улицу. Тамъ было все то же: проходили рабочіе, тащились съ ношами бабы, играли въ бабки ребятишки. Подъ вліяніемъ этой картины, видѣнной и вчера, и третьяго дня, ея мысли приняли обычное теченіе, ровное, спокойное. Черезъ полчаса она удивилась бы, если бы ее спросили, что̀ съ ней случилось. Ничего не случилось. Что же могло случиться... Все то же...

Дядя Петръ Васильевичъ, наконецъ, откликнулся. Онъ писалъ коротко и рѣзко, тономъ ворчливаго старика: «Я никогда не помогъ бы вамъ, но ваша непрошенная заступ-

ница, Вѣра Николаевна, говоритъ, что это варварство оставлять васъ въ бѣдѣ. Она и Наталку подучила хныкать и клянчить за васъ. Ну, и поблагодарите ихъ, если мои гроши спасутъ васъ отъ чего-нибудь. Многаго не дамъ; все равно въ прокъ не пойдетъ. Просуществовать можете и на то, что посылаю». Онъ прислалъ пятьсотъ рублей и обѣщалъ высылать по сто рублей въ мѣсяцъ. Семья вздохнула: теперь можно было жить, бѣдно, съ расчетомъ, но не голодая.

Всѣ эти событія, со всѣми мелочными, надрывающими душу подробностями, вспоминались теперь Аннѣ Ѳеодоровнѣ. Не было такой мелочи въ домѣ, которой бы не знала она: помощи мамки, неудачныя попытки отца найти мѣсто, тайныя слезы матери за дощатой перегородкой, разрывъ семьи съ младшимъ братомъ Анны Ѳеодоровны, все это пережила въ душѣ молодая дѣвушка. Отъ этихъ воспоминаній или просто отъ того, что въ комнатѣ стало холоднѣе, по тѣлу молодой дѣвушки пробѣжала дрожь. Она поспѣшила улечься въ постель и закутаться въ одѣяло. Пролежавъ такъ съ полчаса съ закрытыми глазами, она повернулась на спину, снова открыла глаза, откинула одѣяло, чувствуя теперь, что все ея тѣло горитъ, и тяжело вздохнула, закинувъ руки подъ голову. Сонъ бѣжалъ отъ нея. Прошлое длиннымъ рядомъ образовъ и картинъ продолжало развертываться въ воображеніи...

III.

Аннѣ Ѳеодоровнѣ вспоминалось теперь ея собственное положеніе, ея жизнь въ эти годы нужды и отчаянія...

Сначала ее, избалованную, самолюбивую, гордую, охватилъ приливъ негодованія на отца за его глупое разореніе. Потомъ онъ началъ бѣгать по городу, обивать пороги у знакомыхъ, говорить дома много и глупо о своихъ неудачахъ. Тогда онъ показался ей жалкимъ, безпомощнымъ, достойнымъ, можетъ-быть, презрѣнія, но не ненависти, не злобы. Такою же показалась ей мать, опустившая руки, упавшая духомъ. По цѣлымъ часамъ мать просиживала иногда у окна, смотря безцѣльно на улицу, не шевелясь, не измѣняя позы. Потомъ, пробужденная отъ этого сна, съ открытыми глазами, какимъ-нибудь шумомъ, она торопливо бралась за бумагу, гдѣ лежали гильзы, табакъ и вата, закуривала одну папиросу, закусивъ ее зубами, и набивала остальныя, одну за одной, закуривала другую,

третью, не выпуская ихъ изо рта даже тогда, когда ей приходилось отвѣчать на вопросы мамки или дочери. О чемъ она думала? Богъ вѣсть. Можетъ-быть, о своихъ прежнихъ знакомыхъ, о ихъ забывчивости. Можетъ-быть, о томъ, что они еще придутъ. Какъ знать! Эти два существа—отецъ и мать—заслуживали только сожалѣнія, и озлобленное чувство молодой дѣвушки стало искать другихъ виноватыхъ. Виноватые нашлись: это былъ «свѣтъ».

Всѣ обирали ихъ, жили, пили и ѣли на ихъ счетъ прежде; всѣ оттолкнули ихъ потомъ. Отъ скуки она много читала: теперь ей вдругъ стали понятны озлобленіе и пессимизмъ Байрона, сарказмы и иронія Гейне, мрачные крики гордаго Прометея Гёте, все, гдѣ слышались крики протеста и проклятій. Скитанія Чайльдъ Гарольда, желчныя пѣсни Гейне о томъ, что ему помогъ одинъ только другъ—онъ самъ, ядовитый разсказъ его о судьбѣ графини фонъ-Гульдефельдъ, какъ ей подавали руку коронованныя особы и какъ потомъ онѣ же говорили, что отъ нея пахнетъ чеснокомъ, все это стало и близко, и дорого ей. Она была не глупа и прежде, теперь ея умъ сталъ развитѣе, разностороннѣе, ядовитѣе. Ища утѣшенія, она нашла его въ гордомъ бравированіи, въ пренебрежительномъ отношеніи ко всему и всѣмъ, что старалось унизить ее и показать свое превосходство надъ нею. Но это бездѣятельное бравированіе, этотъ безмолвный протестъ въ душѣ ничѣмъ не отличались сначала отъ того, къ чему пришла и ея мать. Этимъ сидѣньемъ со своею безпомощной злобой въ четырехъ стѣнахъ никого не удивишь. У нея была натура еще не уходившаяся, живая, страстная, требовавшая движенія, дѣятельности; она еще не успѣла, какъ ея мать, утомиться отъ тревогъ и верченія въ бѣличьемъ колесѣ свѣтской жизни, утомляющей не менѣе, чѣмъ утомляетъ рабочая жизнь. Всматриваясь теперь въ себя и съ презрѣніемъ глумясь надъ собою, она говорила въ душѣ: «и я не лучше ихъ встрѣтила горе, и я опустила руки». Съ энергіей самолюбиваго человѣка, сознавшаго, что падать духомъ постыдно, она заявила, что она будетъ давать уроки. Отецъ и мать изумились, оскорбились. Какъ, она будетъ бѣгать по урокамъ? Она сама не знаетъ, что она выдумала! Она должна бы помнить, что она Ломова! Молодая дѣвушка насмѣшливо улыбалась. Ломова? А кто Ломовы? Обнищавшіе дворяне—и только. Отчего же ей не давать уроковъ? Что же, милостыню просить лучше? Да,

но все же, какъ же трепаться по улицамъ на уроки? А милостыню на улицахъ же придется собирать? Что за мысли! Вотъ дѣла поправятся, ей не нужно будетъ работать. Поправятся? Развѣ кто-нибудь вѣритъ этому? Кажется, пора прямо взглянуть на вещи: исхода нѣтъ, если они будутъ сидѣть сложа руки. Она заговорила какимъ-то новымъ тономъ, раздражительно, съ ироніей, высокомѣрно относясь къ отцу, къ матери. Они смутились, растерялись. Мать, въ сущности, почти не протестовала; протестовалъ главнымъ образомъ отецъ, говоря безъ конца все, что навертывалось на языкъ: «трепаться по мостовымъ», «это надо предоставить стриженнымъ дѣвицамъ», «кажется, въ фамиліи Ломовыхъ не было еще этихъ гермофродитовъ въ юбкахъ». Но и ему пришлось согласиться съ тѣмъ, что надеждъ на лучшее нѣтъ. Тогда возникъ вопросъ: какъ преподавать безъ диплома? Она была образована блестяще, ей давали уроки извѣстнѣйшіе преподаватели, но она училась дома, нигдѣ не держала экзаменовъ. На что были они нужны прежде? Теперь они необходимы. Пришлось наводить справки, какъ это дѣлается, гдѣ экзаменуются. Ломовы ничего не знали, что касалось практической жизни.

Когда она впервые пошла на экзамены, отецъ сказалъ ей:

— Возьми Степана.

Она пожала плечами.

— Ты думаешь, что я и на уроки буду ходить въ сопровожденіи лакея?

Она пошла одна. Ей было жутко и хорошо, точно она совершала великій подвигъ: она идетъ по улицѣ, пѣшкомъ отправляется въ незнакомое мѣсто; она смотрѣла не безъ гордости на встрѣчавшихся людей, и, казалось, была убѣждена, что они удивляются ей...

На экзаменахъ она показала всю серьезность своей подготовки, и когда кто-то изъ экзаменаторовъ сдѣлалъ ей комплиментъ послѣ экзамена, она отвѣтила:

— А вы думали, что свѣтскія дѣвушки неспособны учиться?

Она смотрѣла на этого экзаменатора немного сверху внизъ: вѣроятно, это какой-нибудь поповичъ, выучившійся на мѣдныя деньги. Ее учили лучшіе профессора и одинъ инспекторъ классовъ, пріѣзжавшій къ нимъ разъ въ недѣлю, получалъ двѣсти рублей въ мѣсяцъ за свои несложныя обязанности и за свое громкое въ ученой литературѣ имя.

Когда получилось письмо отъ дяди Петра Васильевича, отецъ замѣтилъ ей:

— Ну, теперь ты обойдешься и безъ уроковъ! Я всегда говорилъ, что дѣла поправятся, что погибнуть мы не можемъ.

Онъ заговорилъ пространно и горячо о томъ, что они, Ломовы, не какіе-нибудь Иваны, не помнящіе родства, что такія фамиліи не погибаютъ такъ скоропостижно. Онъ все еще вѣрилъ, что ихъ фамилія что-нибудь значитъ. Дочь еще слишкомъ молода и только поэтому такъ «упала духомъ» отъ случайнаго несчастія, а онъ очень хорошо зналъ, что все это «проходящія неудовольствія».

Она прервала потокъ его рѣчей холоднымъ тономъ:

— Да, теперь я могу спокойно посѣщать курсы!

Отецъ пришелъ въ ужасъ. Посѣщать курсы, гдѣ учатся всякія... жидовки даже? Бѣгомъ по улицамъ на лекціи? Что же, она хочетъ быть синимъ чулкомъ? Стриженной барышней? Не воображаетъ ли она, что это храмъ науки? Это просто разсадникъ торгашества, прикрывающагося флагомъ образованія: подъ этимъ флагомъ удобнѣе спекулировать, набивать на себя цѣну.

Она опять коротко прервала его:

— Мнѣ нужно думать о будущемъ, потому что я всегда могу остаться на мостовой и, можетъ-быть, не приму милостыни, поданной съ такимъ предисловіемъ, съ какимъ подалъ вамъ ее Петръ Васильевичъ...

Она сама не знала, что ее тянуло болѣе всего на курсы: желаніе ли узнать еще болѣе, вполнѣ подготовиться къ педагогической дѣятельности или просто желаніе бѣжать изъ дома, гдѣ все ее пригнетало, гдѣ томило однообразіе, гдѣ было такъ пусто послѣ ихъ прежней жизни. Она шла на курсы, какъ идутъ на поиски приключеній; впередъ манитъ что-то неизвѣстное, какія-то преувеличенныя наслажденія, какія-то преувеличенныя опасности, въ душѣ ощущается страстное любопытство въ ожиданіи новизны, поднимается сладостная гордость отъ сознанія, что идешь на новый путь и—не боишься, то-есть боишься—и идешь съ смѣлымъ видомъ.

Эта жажда чего-то новаго и неизвѣданнаго была обманута: на курсахъ она услышала на лекціяхъ давно знакомое ей; среди курсистокъ она увидала по большей части самыхъ обыкновенныхъ, трудолюбивыхъ дѣвушекъ, учащихся въ надеждѣ на пріобрѣтеніе знаній и на будущіе

заработки, немного озабоченныхъ, немного сухихъ, ее поразили будничность этого мірка, его прозаичность, его однообразіе. Въ сущности нѣтъ ничего скучнѣе и однообразнѣе типа хорошихъ работницъ, когда не знаешь ихъ закулисной, душевной жизни. Это что-то въ родѣ солдатъ на плацъ-парадѣ: чѣмъ они дисциплинированнѣе, тѣмъ они лучше дѣлаютъ свое дѣло и тѣмъ неинтереснѣе кажутся они, какъ отдѣльныя личности. Но въ святую святыхъ попадаютъ только избранные и то послѣ извѣстнаго искуса.

Если что-нибудь и привлекало ея вниманіе здѣсь, такъ это то, чего она еще не видала прежде: нѣкоторые женскіе типы, выдѣлявшіеся особенно своею свободою въ разговорахъ и въ манерахъ, или вульгарностью своего обращенія и взглядовъ на жизнь. Къ этимъ личностямъ, бросавшимся въ глаза яркостью чисто внѣшнихъ чертъ, носившихъ на себѣ слѣды иныхъ слоевъ общества, чѣмъ ея кругъ, она присматривалась болѣе всего, иногда думая съ горькой иронической усмѣшкой: «и я сдѣлаюсь такой, если останусь безъ отца и матери,—жить въ меблированной комнатѣ, бѣгать по урокамъ, толковать о скаредности нанимателей и тупости учениковъ, покупать по дорогѣ на ужинъ сайки и колбасу, крутить папиросу, слюня бумажку, пить и ѣсть почти на ходу и къ ночи валиться на коекакъ постланную постель, утомясь отъ ходьбы, отъ работы, отъ сутолоки нищенской жизни».

При этихъ думахъ она съ той же улыбкой вспоминала, какъ одна курсистка, разсказывая ей объ этой жизни, полной труда, лишеній, обмановъ и мелкихъ житейскихъ дрязгъ и грязи, замѣтила:

— Все это, голубушка, какъ и сама жизнь, одно прохвостничество!

Эта вульгарная фраза долго вертѣлась въ ея головѣ; она даже заставила «товарку» повторить эту фразу. Никогда она не смотрѣла еще на жизнь съ такой «практической точки зрѣнія», никогда не додумывалась до такого радикальнаго опредѣленія жизни. Теперь, то шутливо, то серьезно, она повторяла иногда мысленно эту фразу и улыбалась горькой улыбкой.

Когда курсы были пройдены, экзамены сданы окончательно, она почти со страхомъ подумала: «что же дѣлать дальше?» Давать уроки! Бѣгать и унижаться изъ-за гроша? Тратить силы и здоровье? А на что ей эти силы и здоровье? Не для замужества ли? Развѣ она выйдетъ когда-

нибудь замужъ? За кого? Ужъ не за студента ли какого-нибудь? А если на замужество нечего разсчитывать, то что же дѣлать, какъ жить? Чтобы найти отвѣты на эти вопросы, ей нужно было воспитываться снова, въ другихъ условіяхъ, въ другой средѣ. Ея прошлое воспитало ее только къ роли жены богача и къ блеску въ обществѣ. Теперь объ этомъ было смѣшно и думать. Ее опять томила тоска, однообразіе, безцѣльность домашней жизни. Ужъ не идти ли на какіе-нибудь другіе курсы, чтобъ только не сидѣть безъ дѣла дома, чтобы обманывать себя ученьемъ.

Еще будучи на курсахъ, она стала посѣщать верхи французскаго театра. Ей было и любопытно, и жутко, когда ее впервые потащили туда какія-то «товарки». Добравшись до парадиза, она думала, что упадетъ въ обморокъ или расплачется. Тамъ въ театрѣ и въ бель-этажѣ она знала всѣхъ представителей «свѣта». Правда, она уже нѣсколько лѣтъ не видала ихъ, но она еще узнавала ихъ лица, казалось, слышала ихъ голоса, угадывала смыслъ ихъ рѣчей. А вокругъ нея, точно въ ульѣ, стоялъ немолчный шумъ: тутъ лились толки о закулисныхъ дѣлахъ, объ актерахъ и актрисахъ, о кокоткахъ и содержателяхъ кокотокъ, сплетни и дрязги, волновавшія этотъ тѣсно-сплоченный и знающій всю подноготную другъ друга мірокъ. Тутъ перемывались бока всѣмъ этимъ посѣтителямъ партера и бель-этажа. Такой-то далъ пощечину такому-то, такая-то на содержаніи у такого-то, такой-то торгуетъ собой, а такой-то разорился до тла. И ко всему этому пристегивались громкіе титулы, крупные чины. Фамиліи, называвшіяся въ былыя времена въ ихъ домѣ съ уваженіемъ, теперь протаскивались по грязи, привязывались къ позорному столбу съ надписью: развратники и грабители. «Все это, какъ и сама жизнь, одно прохвостничество», мелькало въ головѣ Анны Ѳеодоровны, и ея лицо озарялось улыбкою. Чего же ей смущаться, робѣть? Развѣ она не презираетъ этихъ людей за ихъ отношеніе къ ея семьѣ? Развѣ она не выше ихъ? Она не пала духомъ, не умерла, нашла силы учиться, подготовить себя къ дѣятельности? Да, она будетъ жить трудомъ и будетъ глядѣть гордо на этихъ тунеядцевъ. На минуту ей захотѣлось встрѣтить кого-нибудь изъ нихъ, взглянуть имъ прямо въ лицо, сдѣлать холодные глаза, если они вздумаютъ поклониться ей,—и потомъ съ высокомѣрнымъ видомъ отвернуться, «не узнавъ ихъ». Тѣмъ не менѣе, она не пошла въ фойэ,

осталась наверху, только стала веселѣе, развязнѣе. Ей захотѣлось слышать какъ можно больше шельмованій этихъ людей, хотѣлось жадно всмотрѣться во всю грязь ихъ закулисной жизни, хотѣлось насмѣяться надъ ними злораднымъ смѣхомъ.

Затѣмъ она была еще и еще въ театрѣ, сошлась съ дамами парадиза, занимавшимися сплетнями о свѣтскихъ красавицахъ и свѣтскихъ франтахъ. Къ каждой фамиліи приклеивался особый позорный ярлыкъ. «А, такъ вотъ они какіе,» — повторяла она. Чѣмъ грязнѣе были они, тѣмъ легче становилось ей.

Она даже не замѣчала, какимъ пугливымъ тономъ спрашивала ее дома мать:

— А ты опять сегодня въ театръ? Ночи темны теперь.

— Что-жъ, что темны! Я-жъ не одна возвращаюсь, сюда есть попутчики. Или переночую гдѣ-нибудь.

И она отправлялась въ театръ, откуда она иногда шла ночевать къ подругѣ въ меблированную комнату или возвращалась домой въ сопровожденіи кого-нибудь изъ случайныхъ знакомыхъ по театру, найдя по дорогѣ «попутнаго» или, какъ она выражалась, «безкорыстнаго» извозчика на Петербургскую сторону.

Мать не протестовала: она мысленно говорила, что эти спектакли для Нины то же, что для нея папиросы. Разъ привыкнувъ къ этому, нельзя отвыкнуть, когда нѣтъ другой отрады. Иногда мать плакала въ ея отсутствіе тихо, въ уголку, одиноко. О чемъ? О положеніи дочери? О томъ, чтобы Богъ сохранилъ ея дѣвочку? О себѣ, быть-можетъ? Какъ знать. Эти слезы вошли въ привычку, давали облегченіе; онѣ оканчивались куреньемъ папиросъ, какимъ-то полусознательнымъ состояніемъ, какимъ-то тупымъ оцѣпенѣніемъ, но не протестами. Да, мать не протестовала, потому что она уже относилась ко всему съ безучастной апатіей. Не протестовалъ и отецъ, потому что онъ почти не жилъ дома, втянувшись въ рысканье по дѣламъ, по чужимъ домамъ, повсюду, гдѣ еще слушали его болтовню. Протестовалъ только Иволгинъ...

Лицо Анны Ѳеодоровны вспыхнуло румянцемъ и приняло суровое выраженіе при воспоминаніи объ Иволгинѣ. Этотъ человѣкъ не сдѣлалъ ей никакого зла. Онъ, можетъ-быть, даже желалъ ей добра и только добра. Ей даже казалось, что онъ былъ влюбленъ въ нее. Тѣмъ не менѣе, именно о немъ она думала съ чувствомъ обиды, съ краской стыда

на лицѣ. Теперь ей казалось даже, что для нея ненавистно Ломовское болѣе всего потому, что тутъ рядомъ живетъ *онъ*, этотъ человѣкъ; ей будетъ трудно встрѣтить его, не опустивъ въ смущеніи глазъ. Этотъ стыдъ, это смущеніе вызывали и теперь румянецъ на ея щеки...

Шесть лѣтъ тому назадъ въ одинъ изъ петербургскихъ институтовъ привезли изъ Ломовскаго Наташу Сорину. Привезла ее Вѣра Николаевна Иволгина. Помѣстивъ дѣвочку въ институтъ, она сдѣлала визитъ Ломовымъ—и просила Антонину Аркадьевну не забывать дѣвочку. У дѣвочки не было никого изъ близкихъ въ Петербургѣ. Въ то же время Вѣра Николаевна передала Ломовой извѣстную сумму денегъ отъ дяди Петра Васильевича на расходы для дѣвочки. Съ этой поры Антонина Аркадьевна стала иногда ѣздить съ дочерью къ Наташѣ, и въ одно изъ такихъ посѣщеній застала у дѣвочки молодого человѣка, брата Вѣры Николаевны, Бориса Николаевича Иволгина. Это былъ молодой студентъ съ роскошными бѣлокурыми волосами, здоровякъ, съ открытымъ выраженіемъ лица. Антонина Аркадьевна выразила сожалѣніе молодому человѣку, что его сестра не познакомила ихъ раньше, и пригласила его бывать у нихъ. Онъ черезъ двѣ недѣли сдѣлалъ Ломовымъ визитъ, и оказалось, что онъ уже случайно познакомился прежде съ сыномъ Ломовымъ, съ Ромой. Гдѣ и какъ произошло это знакомство, онъ не сказалъ, но онъ и Рома сошлись сразу, несмотря на значительную разницу лѣтъ. Иволгинъ былъ старше Ромы лѣтъ на пять, на шесть.

Странное чувство испытала Анна Ѳеодоровна съ первой встрѣчи съ этимъ человѣкомъ. Онъ глядѣлъ на нее такъ прямо, съ такимъ нескрываемымъ любопытствомъ, что ей становилось неловко; иногда она сдвигала съ неудовольствіемъ брови при этихъ взглядахъ, и онъ, самъ смущаясь, потуплялъ глаза. Въ другой обстановкѣ, при другихъ условіяхъ она сказала бы, что онъ влюбился въ нее. Можетъ-быть, она не безъ остроумія сравнила бы его съ провинціалами, останавливающимися съ разинутыми ртами передъ поразившими ихъ въ столицѣ произведеніями искусства. Весьма можетъ статься, что во всемъ этомъ была бы доля правды. Но теперь это ей показалось «безцеремонностью какого-то студента». Не будь она бѣдна, онъ не посмѣлъ бы и думать о ней. Онъ былъ крайне простъ въ обращеніи, и эта простота показалась ей тоже обидною; онъ зналъ, что они живутъ только благодаря заступничеству его сестры передъ

дядею Ломовыхъ; онъ зналъ, что въ тяжелыя минуты Ломовы уже два раза выхлопатывали черезъ его сестру дополнительныя вспомоществованія отъ дяди; вотъ причина его развязности. Иногда ей самой становилось досадно, что она не можетъ почему-то относиться къ этому человѣку, какъ ко всѣмъ остальнымъ, то-есть ровно, спокойно, немного свысока. Она пробовала такъ относиться къ нему, но изъ этого не выходило ничего, онъ мягко и осторожно, съ какой-то почти женственной деликатностью, принижалъ ее—да, именно принижалъ ее. Чѣмъ? Она сама не могла бы отвѣтить на этотъ вопросъ. Принижалъ ее своею сдержанностью, своимъ добродушіемъ, своимъ серьезнымъ взглядомъ на вещи, своею простотою. Какъ-то инстинктивно она не рѣшалась похвалиться передъ нимъ своими «подвигами», своимъ презрѣніемъ къ «свѣту», своими простыми привычками. Ей такъ и казалось, что онъ не выразитъ никакого удивленія и скажетъ, что это все такъ естественно въ ея положеніи. Но мало того, что онъ не высказывалъ удивленія передъ ней, онъ еще попробовалъ, правда, осторожно давать ей совѣты.

— Главная бѣда въ томъ,—замѣтилъ онъ ей однажды:—что воспитаніе въ вашемъ кругу не даетъ ничего...

Она засмѣялась.

— Вы находите, что я ничего не знаю?

Онъ сконфузился, но, тѣмъ не менѣе, продолжалъ:

— О, знаете, можетъ-быть, даже и очень много, но не знаете главнаго: жизни. Жизнь—это все. Свѣтскихъ дѣвушекъ, по-старому, но, тѣмъ не менѣе, вѣрному сравненію, приравнивали къ роскошнымъ тепличнымъ растеніямъ. Вынесите подобное растеніе вдругъ на воздухъ, и оно погибнетъ.

Она опять обратилась къ помощи шутки, сердясь на его глупость и нахальство.

— Значитъ, вы пророчите мнѣ гибель?.. Благодарю.

Онъ просто отвѣтилъ ей:

— Вы говорите то, чего не думаете и не можете думать. Я не пророчу вамъ гибели, но предупреждаю отъ нея.

Онъ посмотрѣлъ на нее такъ серьезно, что у нея отпала охота шутить. Осталось только одно раздраженіе на непрошеннаго совѣтника. Онъ же продолжалъ говорить, не замѣчая, что сердитъ ее. Она много знаетъ, много училась, но ей надо поближе познакомиться съ русской жизнью, съ русской литературой.

— Въ нашемъ образованіи, даже и не «свѣтскомъ», по

большей части, это составляетъ грустный пробѣлъ,— говорилъ онъ. — Къ несчастью, петербуржцы не могутъ пополнить этотъ пробѣлъ даже личными наблюденіями. Петербургъ не Россія, а только россійская канцелярія гражданскихъ и военныхъ дѣлъ. Мы, провинціалы, хоть по личному знакомству, знаемъ извѣстные уголки Россіи, если не всю Россію, а петербуржцы и того не знаютъ...

И какъ всегда, осторожно, немного конфузясь и стѣсняясь, онъ развивалъ свои взгляды на то, что при обычномъ петербургскомъ образованіи люди дѣлаются чѣмъ-то въ родѣ насвистанныхъ птицъ, поютъ все съ чужого голоса, никогда не дорастаютъ до права называться русскими людьми. Говоря это, онъ не давалъ ей даже возможности вспылить, такъ какъ онъ искренно и съ какимъ-то особеннымъ одушевленіемъ замѣчалъ, что съ ея способностями и ея любознательностью этотъ пробѣлъ такъ легко пополнить. Разъ, правда, она попробовала загорячиться и сама же смутилась при его простодушномъ вопросѣ:

— Развѣ вы не переносите правды? Впрочемъ, у васъ въ свѣтѣ ее не говоритъ никто...

Она загорячилась еще сильнѣе,—наговорила что-то такое, что напомнило ей ея отца, и сама же разсердилась на себя, сконфузилась за себя.

А Иволгинъ дружески замѣтилъ:

— Ну, полноте! Зачѣмъ сердиться. Какъ-нибудь въ спокойную минуту подумайте объ этомъ и вы убѣдитесь, что я правъ! Сгоряча можно сказать много несправедливаго.

Она чуть не заплакала отъ злости, такъ какъ она уже сознавала, что она наговорила много не только несправедливаго, но и нелѣпаго. Онъ это понялъ, онъ не пропустилъ ни одной глупой фразы, онъ только съехидничалъ и не сказалъ настоящаго слова. А кто довелъ ее до высказыванія нелѣпостей? Онъ самъ. Еще бы! Читаетъ ей наставленія! Ей никто никогда не читалъ наставленій. Она никому не давала на это права. И зачѣмъ онъ смотритъ на нее такими пристальными взглядами, точно хочетъ что-то прочитать въ ея душѣ? Зачѣмъ такъ дружески пожимаетъ ея руку, когда она вовсе не давала ему права быть ея другомъ?—Хочетъ быть ей полезнымъ, помочь ей. Развѣ она его объ этомъ просила?

Онъ оскорбилъ ее даже и тѣмъ, что посовѣтовалъ ей съѣздить на лѣто къ дядѣ Петру Васильевичу. Тамъ ей будетъ хорошо. Наташа, его сестра и зять, самъ Петръ Ва-

сильевичъ будутъ рады ей. Она увидитъ хоть уголокъ Россіи, хоть немного ознакомится съ народомъ. Она холодно отвѣтила, что она не привыкла жить въ чужихъ домахъ. Онъ удивился даже. Сначала не понялъ ничего. Потомъ засмѣялся, сообразивъ дѣло. Да, это она по-петербургски смотритъ! Въ провинціи, въ деревнѣ люди живутъ еще по-старому, не считаютъ куска хлѣба, не видятъ въ гостящемъ у нихъ человѣкѣ нахлѣбника, погостить у кого-нибудь тамъ не означаетъ «жить въ чужомъ домѣ». Это мелочничество еще не вошло въ плоть и кровь жителямъ деревни. Она вся раскраснѣлась: «ужъ это не ее ли онъ называетъ мелочницей? Неотесанный грубіянъ». Когда же она наотрѣзъ отказалась ѣхать въ деревню, онъ проговорилъ:

— Вы даже и представить не можете, что бы я далъ, чтобы все это сложилось иначе.

Онъ былъ разстроенъ и блѣденъ, какъ никогда.

Ужъ точно, не былъ ли онъ въ нее влюбленъ? Какой-то студентъ! Да, наконецъ, развѣ влюбленные могутъ такъ злить любимыхъ дѣвушекъ?

Ей припомнилось теперь, какъ однажды она среди праздной болтовни разсказывала ему о парадизѣ французскаго театра, о посѣщающихъ его личностяхъ, о ходящихъ тамъ сплетняхъ. Она была въ самомъ веселомъ настроеніи духа, она даже снизошла до того, что говорила съ Иволгинымъ, какъ съ добрымъ пріятелемъ. Вдругъ онъ прервалъ ее словами:

— Все это худосочные плоды петербургскаго бездѣльничанья и бездомничества. Нѣтъ своего излюбленнаго дѣла, нѣтъ своего завѣтнаго очага, вотъ и бѣгутъ въ театръ...

Она перебила его, раскраснѣвшаяся, оскорбившаяся, точно онъ хотѣлъ задѣть ее лично.

— Я думаю, въ театръ не потому ходятъ,—сказала она своимъ высокомѣрно холоднымъ тономъ.—Искусство — это такое высокое наслажденіе...

— Развѣ тутъ дѣло въ искусствѣ?—проговорилъ онъ невозмутимо.—Вы сами же разсказываете объ этой бѣготнѣ за актерами, объ этой враждѣ между собою разныхъ поклонницъ того или другого изъ нихъ. При чемъ же тутъ искусство? Это просто пошлое заигрываніе съ мужчинами, а не поклоненіе таланту. Вы, конечно, слишкомъ молоды и неопытны и потому еще обманываетесь насчетъ настоящаго смысла этихъ восторговъ. Но повѣрьте, что тутъ вмѣсто всѣхъ возвышенныхъ чувствъ, царитъ только одна неряшливая разнузданность.

И смотря ей прямо въ глаза, онъ мягко съ какой-то особенной увѣренностью добавилъ:

— Вѣдь вы, наслаждаясь игрою артиста, не вздумаете побѣжать къ подъѣзду актеровъ, чтобы на улицѣ поаплодировать мужчинамъ? Вѣрьте мнѣ, что для этого нужна уже извѣстная нравственная беззастѣнчивость, нужна потеря извѣстной доли дѣвическаго цѣломудрія.

Она стиснула зубы и въ ея глазахъ вспыхнулъ злой огонекъ. Иволгинъ и не подозрѣвалъ, что онъ нанесъ ей оскорбленіе, что она уже бѣгала къ подъѣзду актеровъ, чтобы подстеречь ихъ во время разъѣзда.

Этой обиды она не простила ему, и чѣмъ яснѣе сознавала она потомъ, что онъ былъ правъ, тѣмъ болѣе злое чувство поднималось въ ней за эту обиду.

Съ этой минуты она вела какую-то глухую борьбу съ Иволгинымъ и, странное дѣло, при каждой ихъ стычкѣ онъ блѣднѣлъ, какъ полотно, точно испытывая физическую боль отъ ея нападокъ, насмѣшекъ, дерзостей. Да, а зналъ ли онъ, что испытала она, когда онъ однажды, взволнованный, блѣдный, почти съ страдальческимъ выраженіемъ на лицѣ, въ отвѣтъ на ея крупную дерзость, тихо замѣтилъ:

— О, вамъ, должно-быть, очень тяжело живется!

Ей казалось, что ее ударили хлыстомъ. Она почти крикнула ему:

— Вы не имѣете никакого права вмѣшиваться въ мою жизнь!

— Я это знаю,—такъ же тихо и почти безнадежно отвѣтилъ онъ.

Вспоминая теперь этотъ періодъ своей жизни, Анна Ѳеодоровна вздрогнула, какъ бы охваченная холодомъ. Она провела рукой по лбу и торопливо повернулась въ постели, снова кутаясь въ простыню и одѣяло. Ей хотѣлось скорѣе уснуть и не вспоминать болѣе ничего. Должно-быть, уже поздно? Въ домѣ все стихло, точно въ могилѣ. Да это и есть могила ея будущаго. Здѣсь ей уже нечего ждать, не на что надѣяться.

Но сонъ все бѣжалъ отъ ея глазъ, и въ воспоминаніи проходили новыя картины; она сознавала, что сколько бы лѣтъ она ни прожила, она не забудетъ ихъ, не вычеркнетъ ихъ изъ своей памяти.

Среди знакомыхъ по парадизу особенно полюбила Анну Ѳеодоровну одна «генеральша»,—такъ называла себя Марья Осиповна Хрущева. Она была вдовой статскаго совѣтника,

но, тѣмъ не менѣе, обижалась, если ей не писали на письмахъ «ея превосходительству». Это была маленькая слабость, не отражавшаяся, впрочемъ, ничѣмъ на ея отношеніяхъ къ людямъ. Трудно было встрѣтить человѣка менѣе заносчиваго, болѣе покладистаго. Это была женщина лѣтъ пятидесяти, средняго роста, полная, но еще довольно стройная, съ еврейскимъ типомъ лица. Несмотря на свои годы, она была подвижною, юркою, оживленною, веселою личностью. Во время спектаклей трудно было опредѣлить, гдѣ она сидитъ: она появлялась и въ бель-этажѣ и въ парадизѣ, и въ партерѣ. Ея слащавый, хотя и рѣзкій отъ природы голосъ раздавался вездѣ, расточая комплименты и любезности, ея бѣгающіе глазки любезничали со всѣми знакомыми, ея улыбка служила отвѣтомъ на всѣ вопросы даже тогда, когда она хорошенько не слышала этихъ вопросовъ. Если что портило Марью Осиповну, такъ это ея носъ, походившій на клювъ хищной птицы и не гармонировавшій съ остальными частями ея румянаго, а можетъ-быть, подрумяненнаго лица, мягкаго и добродушнаго, какъ лицо нѣсколько плутовато-безхарактерной личности. Сама о себѣ она говорила, что она простой и до глупости добрый человѣкъ, все хочетъ услужить каждому, не умѣетъ сердиться и даже иногда не сразу соображаетъ, когда ее оскорбляютъ: сообразитъ уже послѣ, махнетъ рукой и проститъ. Услужливость ея испытала и Анна Ѳеодоровна: познакомившись съ молодой Ломовой, генеральша сразу нашла ей уроки въ одномъ богатомъ купеческомъ домѣ. Анна Ѳеодоровна очень обрадовалась этому предложенію: уроки были выгодны, они давали ей возможность не брать у отцу и матери ничего на себя. Она должна была учить двухъ дѣвочекъ французскому и англійскому языкамъ и проводить съ ними четыре раза въ недѣлю по два, по три часа въ день. Это было не трудно, а между тѣмъ это вполнѣ обезпечивало ее. Ей давно уже нужно было пополнить гардеробъ. Она была очень благодарна Хрущевой, тѣмъ болѣе, что Хрущева любезно замѣтила ей, что она сущій кладъ, а не учительница: здѣшнія француженки и англичанки, по большей части, только практически знаютъ свой языкъ, она же знаетъ въ совершенствѣ и теорію; кромѣ того, въ семьѣ ученицъ стѣснялись взять учительницу, говорящую только по-французски или по-англійски, такъ какъ въ домѣ никто порядочно не знаетъ этихъ языковъ. Далѣе Хрущева оказала ей еще одну услугу: однажды Ломова пріѣхала въ театръ и не нашла ни своихъ обычныхъ спутни-

ковъ, ни знакомыхъ «товарокъ»; ѣхать домой приходилось одной, ночь была съ мятелью, темная. Анна Ѳеодоровна впервые струсила. Она хотѣла-было уѣхать до конца спектакля, но Марья Осиповна любезно предложила ей ночевать у нея. Хрущева жила въ «двухъ шагахъ», въ Казанской. Предложеніе было любезно, ѣхать домой было жутко, Ломова согласилась на предложеніе.

Въ этотъ день она была первый разъ у Хрущевой.

Хрущева содержала меблированныя комнаты. У нея лично были хорошенькій залъ и уютная спальня. Эти двѣ комнаты походили на бонбоньерки: дешевенькій шелкъ, сусальное золото, олеографическіе голенькіе амурчики на стѣнахъ, бисквитныя Фрины въ соблазнительныхъ позахъ, все было нарядно, ново, какъ бы вчера принесено съ рынка. Прислуга, молодая, франтоватая, была ловка и весела, можетъ-быть, даже излишне кокетлива и развязна. Отъ всего вѣяло здѣсь какимъ-то довольствомъ и душевнымъ миромъ. Всѣ были точно на пиру въ праздникъ. Всѣ улыбались, какъ бы желая сказать: «и еще говорятъ, что жизнь не хорошая штука».

Весело болтая съ Анной Ѳеодоровной, хозяйка напилась чаю, потомъ пригласила дѣвушку въ спальню. Здѣсь для Ломовой уже была приготовлена постель.

— Видите, какъ хорошо, что у меня двѣ кровати на случай. Вотъ и пригодилась вторая для васъ,—съ улыбкой сказала Хрущева.—У меня вѣчно кто-нибудь ночуетъ. Люблю, когда можно кого-нибудь пригрѣть. И скучно одной спать.

Когда Ломова стала раздѣваться, Марья Осиповна залюбовалась ея косой. Удивительные волосы: черные, шелковистые, густые, длинные. Потомъ она также залюбовалась ея шеей, плечами, грудью, предлагая ей ночную кофту. Хрущева не удержалась и провела рукой по этимъ обнаженнымъ плечамъ, Ломова даже сконфузилась, точно ее обнаженнымъ тѣломъ любовалась не женщина, а посторонній мужчина. Наконецъ, осматривая ее, хозяйка замѣтила на ея вискѣ маленькій прыщикъ.

— Ахъ, душа моя, присыпьте это на ночь пудрой,—сказала она и заторопилась подать съ туалетнаго столика пудру.

— Зачѣмъ же!—возразила Анна Ѳеодоровна, краснѣя.

— Нѣтъ, нѣтъ! Бѣда, когда у дѣвушки пойдутъ эти прыщички... Ахъ,—вздохнула она:—это вѣрный знакъ, что пора замужъ. Ce sont des boutons d'amour!

Анна Ѳеодоровна постаралась засмѣяться, чтобы скрыть смущеніе.

— Если это и прыщики любви, то безпредметной,— отвѣтила она шутливо.

Генеральша опять вздохнула.

— Въ этомъ-то и бѣда!

И тотчасъ же стала говорить, что такъ нельзя жить. Надо выѣзжать, бывать въ обществѣ. Зачѣмъ же губить красоту и молодость? Люди живутъ только разъ; что прошло, того не вернешь! Ахъ, нѣтъ, нѣтъ, никогда не вернешь молодости и красоты! Вотъ хоть бы къ ней ѣздила она, Анна Ѳеодоровна. У нея, у генеральши Хрущевой, собирается по пятницамъ хорошее общество. Ея племянники по мужу, Хрущевы, гвардейцы. Одинъ поручикъ, другой штабсъ-капитанъ. Не богатые, но милые молодые люди. Потомъ бываетъ у нея извѣстный художникъ Зеленовъ, талантливый пьянистъ Дивовъ, изъ французскаго театра и изъ французской колоніи кое-кто. Все народъ милый, хорошо образованный и très distingué. Все несчастіе Ломовой, что ея родители вышли по неволѣ изъ своего круга. Ей надо завести своихъ знакомыхъ, войти въ новый кругъ общества. Нельзя же на всю жизнь остаться внѣ общества.

Утромъ Анна Ѳеодоровна не могла отказаться отъ завтрака, а къ завтраку явились молодые Хрущевы.

Это были стройные, смазливые, бѣлокурые юноши въ военныхъ мундирахъ, съ тальями дѣвушекъ, съ лицами вербныхъ херувимовъ. Тетка похлопала ихъ обоихъ по румянымъ щекамъ; они оба поцѣловали на лету ея руку въ ладонь. Видно было, что ей пріятно ихъ баловать, что имъ пріятно ея баловство. Она отрекомендовала ихъ Ломовой; они раскланялись одинъ, какъ другой. Въ головѣ Анны Ѳеодоровны мелькнула мысль: «точно близнецы». Эта мысль тотчасъ же смѣнилась другой: «я ихъ гдѣ-то видѣла». Она стала припоминать, ничего сразу не вспомнила, потомъ ей вдругъ пришли въ голову слова матери про нѣсколькихъ молодыхъ военныхъ: «комнатныя украшенія». Да, это были хорошенькія, какъ болванчи изъ парикмахерской, щеголеватыя, какъ франты на модныхъ картинкахъ, граціозныя, какъ балетные плясуны, «комнатныя украшенія».

Они заговорили разомъ:

— Мы слышали о васъ отъ тети...

И разомъ смолкли, сконфузившись. Порознь у нихъ вышло бы это гладко.

Анна Ѳеодоровна подумала: «совсѣмъ мальчики» и постаралась ободрить ихъ, заговорила съ ними любезно и просто объ училищѣ, объ ихъ службѣ, о театрѣ, о томъ, о чемъ можно было заговорить съ незнакомыми и очевидно конфузливыми «вчерашними кадетами». Они ободрились, расхрабрились и стали наперебой жаловаться, какъ трудно служить въ столицѣ безъ капитала: «чуть не съ голоду приходится умирать». Вотъ у нихъ одинъ на купчихѣ богатой успѣлъ жениться, ну, тому хорошо. Одинъ тоже стихи умѣетъ писать, такъ ему платятъ по скольку-то со строчки, за каждую строчку, сколько бы ни писалъ. Тоже на это талантъ нуженъ и, говорятъ, не всегда печатаютъ. Въ карты, конечно, иные умѣютъ счастливо играть — это не хорошо, не честно. Мундиръ марать не приходится. Да и пострадать за это можно. Конечно, если въ академію идти, тогда хорошо. Но тамъ конкуренція большая, много надо заниматься. Они говорили по-дѣтски, сбиваясь и обрываясь, иногда останавливая другъ друга словами: «дай мнѣ сказать». Видно было, что они говорили о самомъ больномъ мѣстѣ своего существованія. Ломова спросила, зачѣмъ же они служать въ столицѣ. Какъ зачѣмъ? въ провинціи вовсе карьеры не сдѣлаешь. Теперь за армейца богатая не пойдетъ. И какое общество въ провинціи? Тамъ еще хуже, совсѣмъ обурбонишься, а карманная чахотка та же. Одни въ арміи уроками прирабатываютъ, другіе какимъ-нибудь постороннимъ трудомъ занимаются, у иныхъ жены ведутъ торговлю, имѣютъ магазины, право! Что-жъ, если жизнь дорога, а на шеѣ жена и дѣти. Тоже безъ этого вѣкъ не прожить.

Марья Осиповна подала одному изъ нихъ билетъ въ кресла:

— Сегодня во французскомъ театрѣ, — сказала она. — Сухарева будетъ въ ложѣ бель-этажа.

И, обращаясь къ Аннѣ Ѳеодоровнѣ, она прибавила:

— Продюнзирую моихъ мальчиковъ! Сухарева — вы видали ее въ театрѣ, жена банкира, — страстно желаетъ познакомиться съ Мишей.

Миша покраснѣлъ.

— Только ужъ очень она дурна. Точно опара, и носъ точно руль концомъ вверхъ...

Тетка вздохнула.

— Что-жъ дѣлать!.. У нея дочь растетъ...

И, обращаясь къ Ломовой, прибавила:

— Ахъ, нынче только черезъ барынь и можно составить карьеру.

Анна Ѳеодоровна слегка улыбнулась: она помнила, что въ ихъ кругу тоже вертѣлись такіе юноши, приглашаемые для счету и потомъ дѣлавшіе нерѣдко выгодныя партіи.

Затѣмъ явился художникъ Зеленовъ — длинноволосый и небрежно, но не безъ шику одѣтый, въ бархатномъ пиджакѣ и большомъ батистовомъ галстукѣ, господинъ съ козлиной бородой, съ легкой лысиной на затылкѣ, съ немного помятымъ лицомъ. Онъ небрежно пожалъ руку хозяйки, кивнулъ головой офицерамъ и раскланялся съ Анной Ѳеодоровной, говоря, что онъ имѣлъ удовольствіе видѣть ее въ театрѣ. Это былъ разбитной и бывалый человѣкъ, поистаскавшійся и за границей, и на родинѣ въ веселыхъ кружкахъ, зашибавшій крупные куши портретами хорошенькихъ дамъ и «офицерскими жанрами», какъ онъ называлъ свои акварели нецензурнаго свойства.

Въ два часа Анна Ѳеодоровна собралась домой, и генеральша, цѣлуя ее на прощанье, сказала ей:

— Вы видѣли нѣкоторыхъ изъ моихъ друзей и, надѣюсь, не будете дичиться нашего общества...

Потомъ она шепнула:

— А Зеленовъ просто безъ ума отъ вашей красоты. Онъ говоритъ, что онъ теперь только и будетъ писать, что итальянокъ! Удивительно способный человѣкъ, и денегъ, денегъ сколько зашибаетъ—просто невѣроятно!

Какъ вполнѣ порядочная женщина, Хрущева сама сдѣлала визитъ къ Ломовымъ. Она отыскала еще одинъ урокъ Аннѣ Ѳеодоровнѣ и поспѣшила пріѣхать по этому случаю. Ломовы нашли ее вполнѣ приличною, хотя нѣсколько «натянутою и чопорною». Она дѣйствительно держала себя на этотъ разъ какъ на иголкахъ и все жеманно повторяла: «простите, я не свѣтская женщина», «мы, люди средняго круга», «я, какъ женщина застѣнчивая». Шокировала Ломовыхъ одна ея физіономія, этотъ типъ еврейки съ характернымъ носомъ, съ характерными глазами на выкатѣ. Только въ концѣ визита это обстоятельство сгладилось. Она заговорила о ранней смерти своего мужа; онъ «вѣрно былъ бы министромъ, такъ какъ двое изъ его подчиненныхъ занимали уже еще недавно министерскія мѣста». Потомъ она замѣтила, «что ей было особенно трудно жить послѣ его смерти, такъ какъ у нея здѣсь нѣтъ родныхъ— она француженка, родилась на югѣ Франціи и въ Россію

попала почти ребенкомъ». У Ломовыхъ отлегло отъ сердца: «все же не жидовка! Тамъ, въ Марселя и около Ниццы, есть такіе типы!»

Ломовы такъ свыклись съ тѣмъ, что дочь выѣзжаетъ одна, что не удерживали ее, когда она разъ вечеромъ собралась къ Хрущевой въ пятницу. Общество генеральши ничѣмъ не изумило Анну Ѳеодоровну; она встрѣтила здѣсь тѣхъ же племянниковъ Хрущевой, того же художника Зеленова, тѣхъ же барышень и мужчинъ изъ парадиза, знакомыхъ ей по виду, по мимолетнымъ разговорамъ. Кто они: приказчицы, конторщики? не все ли равно, благо они прилично держатъ себя. Правда, здѣсь всѣ держали себя нѣсколько свободно, плоско шутили, громко смѣялись, пѣли, играли; но Анну Ѳеодоровну уже не поражала нѣкоторая свобода манеръ: недаромъ она нѣсколько лѣтъ вела самостоятельную жизнь. Художникъ Зеленовъ не отходилъ отъ нея весь вечеръ и все говорилъ, что онъ когда-нибудь напишетъ итальянку съ Ломовой. Она отшучивалась, говоря, что она не умѣетъ позировать. Онъ вынулъ записную книжечку и сразу набросалъ черты ея лица. Всѣ удивились сходству, начали кричать «brawo!» Онъ шутливо замѣтилъ, пряча записную книжечку въ карманъ, что теперь его итальянка будетъ у него на сердцѣ. Повидимому, всѣ были веселы, но въ сущности чувствовалось что-то такое, какъ будто никто не зналъ, что дѣлать, что говорить: попоютъ, поиграютъ, смолкнутъ, опять примутся пѣть и чувствуется, что все это не то, что нужно. Чего же имъ нужно? Только въ одиннадцать часовъ Анну Ѳеодоровну заинтересовало новое появившееся лицо. Это была невысокаго роста, вертлявая особа лѣтъ двадцати двухъ на видъ. Ея черные вьющіеся около лба волосы были заплетены въ одну висѣвшую косу съ синими и красными лентами на концѣ. На ней былъ надѣтъ «малороссійскій костюмъ», то-есть сплошь вышитая русскими узорами узкая юбка, такая же рубашка съ рукавами изъ разноцвѣтныхъ кружевъ. Это было, можетъ-быть, красиво, но скорѣе напоминало арлекина, чѣмъ малороссіянку. Она вбѣжала въ комнату съ звонкимъ восклицаніемъ:

— Чаю, чаю, голубушка Марья Осиповна! Устала адски и прямо изъ театра! Не успѣла даже смыть румянъ. «Ахъ, если бы вы знали, крестная, какъ васъ любитъ ваша воспитанница!» Это изъ «Искорки». Сейчасъ ее изображала.

Она говорила скоро, смѣясь и душа въ объятіяхъ Хру-

щеву, уже хлопотавшую у чайнаго стола. Потомъ она обернулась къ гостямъ:

— Pardon! Я ни съ кѣмъ не поздоровалась.

Она стала по-товарищески крѣпко пожимать и трясти руки присутствующихъ.

— Миша, хотите сѣмечекъ? — обратилась она къ Хрущеву-младшему. — Нѣтъ? Ну, и не надо. Это у меня отъ пьесы осталось.

Потомъ, обратясь къ Ломовой, она проговорила:

— Простите, насъ не представили! Представляюсь сама: любительница, алчущая ангажемента, Софья Васильевна Меликова. О васъ я слышала. Вы Анна Ѳеодоровна Ломова? Да? угадала?

Ломова утвердительно наклонила голову.

— Но какъ вы узнали?

— О, Марья Осиповна умѣетъ рисовать словами портреты.

И опять она уже обратилась къ братьямъ Хрущевымъ:

— Сдѣлайте мнѣ кто-нибудь тартинку. Голодна я, какъ сорокъ тысячъ братьевъ не могутъ быть голодны. Это изъ «Гамлета», но говоритъ не Офелія.

Хрущевы, раскраснѣвшіеся, съ масляными глазами, бросились приготовлять тартинки, толкая другъ друга у стола. Черезъ минуту они оба несли на тарелкахъ отъ чайнаго стола приготовленныя ими тартинки. Софья Васильевна приказала поставить тарелки на столъ и подставила свои руки къ губамъ молодыхъ офицеровъ. Одинъ изъ нихъ не просто поцѣловалъ ея руку, а точно впился въ нее губами. Она засмѣялась.

— Дѣтка, кто же такъ цѣлуетъ руки у дамъ.

И принялась ѣсть, продолжая болтать о спектаклѣ, о закулисныхъ исторіяхъ, вертясь непосѣдливо на стулѣ. Она не была красавицей, но это было вызывающее личико съ большими глазами, съ измѣнчивыми улыбками, съ свѣжимъ румянцемъ, замѣтнымъ даже подъ легкимъ слоемъ гримировки. Ея болтовня сразу оживила общество. Не допивъ еще чаю, не докончивъ тартинокъ, она уже что-то декламировала, потомъ запѣла малороссійскую пѣсню подъ аккомпанементъ Хрущева-младшаго и на половинѣ пѣсни оборвала пѣніе, воскликнувъ:

— Миша, что же вы мнѣ не сказали, что я не допила чаю.

Только въ часъ разошлись гости. Ломова осталась но-

чевать у Хрущевой. Передъ сномъ разговорились о Меликовой.

— Бросила мужа два года тому назадъ, бѣдная бабенка,— замѣтила Хрущева.

— Какъ? Она замужняя?—удивилась Ломова.

— Да. А вы и не знали? Впрочемъ, что же я говорю! Откуда вамъ знать! Да, замужняя. Выскочила за какого-то докторишку; онъ день денской у больныхъ, пріѣдетъ домой, отъ него вѣчно хлоромъ и мертвецами пахнетъ. Ну, и не сошлись, и ушла отъ него. Еще бы! Ей каждую ночь покойники снились. Право! Это онъ придетъ, ляжетъ, а ей сейчасъ и снятся трупы, трупы и трупы! Какая же тутъ можетъ быть любовь? Одно отвращеніе. Ну, а тоже и послѣ было не легко бабенкѣ. Господи, какъ нуждалась, какъ нуждалась! И то сказать: барышня, воспитаніе домашнее, ничего не умѣетъ дѣлать! Отецъ у нея богатъ былъ сначала, наворовалъ, только послѣ подъ судъ попалъ и обнищалъ. Тогда она и замужъ отъ голода выскочила. Нечего сказать, на радость: бѣжать опять пришлось, опять голодать стала. Не будь этотъ случай, что ко мнѣ она попала, такъ и погибла бы. Я какъ познакомилась съ ней и говорю: «да что же вы не сдѣлаетесь артисткой. Личишко смазливое, манеры бойкія, голосъ чистый. Какъ-никакъ, а хлѣбъ зарабатывать надо». Теперь главное: умѣть хлѣбъ зарабатывать. Времена тяжелыя. Ну, и выступила она на сцену въ загородномъ театрѣ. Три мѣсяца протрубила, получая по двадцати пяти рублей въ мѣсяцъ, а теперь вотъ уже третій мѣсяцъ по сто рублей платятъ. За рожицу главнымъ образомъ. Тоже кое-какіе посторонніе доходы есть, помимо жалованья. Кое-что изъ своихъ вещей теперь повыкупила, со мной поквиталась. Она вѣдь у меня живетъ.

— А мужъ?

— Что-жъ мужъ! у него больные, практика.

Хрущева вздохнула.

— Ахъ, женская доля, женская доля! Вотъ ужъ именно не знаешь, гдѣ найдешь, гдѣ потеряешь. Бѣжала отъ тирановъ отца и матери, натолкнулась на какого-то брата милосердія съ запахомъ мертвецкой, ушла отъ него... Если бы все разсказывать, такъ слеза прошибла бы, столько натерпѣлась! Да и теперь — хорошо ей, получаетъ порядочно, будетъ получать больше, такъ опять бѣда — характеръ у нея женскій. Слабость это женская ее губитъ: у нея все выпросить можно. И не то, чтобы это отъ доброты,

а отъ слабости, отъ нашей женской слабости. Подъѣдетъ къ ней кто-нибудь, ну—и отдастъ все...

Хрущева вѣроятно разсказывала бы и еще что-нибудь, но Ломова уже спала.

Еще два-три такихъ вечера провела въ зиму Анна Ѳеодоровна у Хрущевой, вынося отсюда каждый разъ одно сознаніе, что все это пошловато, вульгарно и, въ концѣ концовъ, нестерпимо скучно и однообразно. Даже ухаживанія молодыхъ Хрущевыхъ за Меликовой, даже ухаживанія Зеленова за самой Ломовой выражались въ однѣхъ и тѣхъ же фразахъ, въ однихъ и тѣхъ же проявленіяхъ: Миша присасывался къ ручкѣ Меликовой, и она говорила: «Дѣтка, кто же такъ цѣлуетъ руки у дамъ»; Зеленовъ зачерчивалъ уже третій разъ лицо Ломовой и en face, и въ три четверти, и въ профиль въ свою записную книжку и заявлялъ, что «итальянка теперь у него на сердцѣ».

Въ настроеніи всѣхъ чувствовалось все то же сознаніе, что это все не то, что нужно. Перемѣнъ не было никакихъ.

Если бы она, Ломова, всмотрѣлась тогда попристальнѣе во все, она увидала бы, что шаги впередъ дѣлались, что отношенія становились безцеремоннѣе, что комплименты дѣлались развязнѣе. Но пошлость тѣмъ и страшна, что окруженный ею человѣкъ не сразу понимаетъ, гдѣ грань между нею и полною нравственною распущенностью, цинизмомъ. Тутъ, что вчера еще смущало его, то сегодня дѣлается безразличнымъ, пропускается мимо глазъ, мимо ушей; отъ чего сегодня коробитъ, то завтра вызоветъ, можетъ-быть, снисходительную улыбку. Въ эту житейскую грязь люди погружаются такъ же незамѣтно, какъ увязаетъ незамѣтно колесо въ обыкновенную грязь — увязаетъ понемногу, постепенно, до того, что уже нельзя и вытащить его изъ нея.

Наставала весна, но еще санная дорога была не дурна. Ломова собралась къ Хрущевой, приглашавшей ее усиленно въ эту пятницу. Когда она пріѣхала къ Марьѣ Осиповнѣ, Зеленовъ, особенно оживленный и суетливый въ этотъ вечеръ, часовъ въ девять предложилъ съѣздить на тройкахъ за городъ. Всѣ согласились разомъ. Поколебалась только Ломова. Но и ей очень хотѣлось проѣхаться на тройкѣ. Она еще никогда не испытывала именно этого удовольствія. Но какъ же быть въ ресторанѣ? Что скажутъ отецъ и мать, если они узнаютъ? Почему-то ей вспомнился

тогда Иволгинъ: какую нотацію онъ прочелъ бы ей, узнавъ объ этой поѣздкѣ... И она разомъ согласилась. Неужели она дѣлала это тогда на зло ему? По крайней мѣрѣ, соглашаясь ѣхать, она думала о томъ, какъ она потомъ разскажетъ объ этой поѣздкѣ Иволгину, какъ онъ поблѣднѣетъ, какъ скажетъ ей, что она рискуетъ собой. Она отвѣтитъ ему: «кажется, я имѣю право располагать собой». Но, можетъ-быть, она ошиблась, можетъ-быть, она ѣхала только потому, что любопытство, стремленіе увидѣть хоть что-нибудь новое взяли верхъ надъ всѣми остальными соображеніями. Жажда какихъ-то приключеній вошла въ привычку.

Къ десяти часамъ пріѣхали двѣ тройки, но всѣ чего-то ждали. Наконецъ, въ комнату влетѣла Меликова въ бальномъ костюмѣ, съ короткими рукавами и декольтированнымъ лифомъ.

— Не опоздала? — спросила она. — Я ужъ такъ валяла свою роль, лишь бы поспѣть! Даже не переодѣлась. Ничего, накину сверху суконную кофточку подъ шубку.

Очевидно она знала о готовящейся поѣздкѣ на тройкахъ. Ломова не остановилась мысленно на этой мелочи.

Всѣ стали собираться, начались суматоха, говоръ, смѣхъ. Вертлявыя, смазливыя горничныя Хрущевой хлопотали около одѣвающихся господъ, развязно смѣясь и шутя, понимая, куда и зачѣмъ ѣдутъ господа, и сознавая, что въ эту ночь и онѣ будутъ вполнѣ свободны. Ломова чувствовала себя хорошо: эти сборы, эта толкотня въ прихожей, это быстрое сбѣганіе съ лѣстницы, это усаживаніе въ тройки, переговоры всѣхъ вдругъ, все это было не обычно, не буднично. Наконецъ, ямщики подобрали вожжи, крикнули: «эхъ, вы, голубчики», и тройки полетѣли, взрывая размягшій снѣгъ, иногда обрызгивая сидящихъ грязною водою.

— Въ первый разъ на тройкахъ? — спросилъ Зеленовъ Ломову.

— Да!—отвѣтила она.

— Хорошо?

— Очень.

Въ нее брызнуло водой, и она отклонилась въ сторону Зеленова.

— Что сердечко замираетъ?—спросилъ онъ тихо.

Она разсмѣялась.

— Что это вы такія сладкія слова и такимъ сладкимъ голосомъ произносите?

— А вы не любите сладкихъ словъ? Что же вы любите? Бурныя страсти?

Она отшутилась.

— Теперь я люблю ѣзду на тройкѣ.

— И только?

— И только.

Онъ вздохнулъ.

Они уже неслись по Невѣ съ зычными криками ямщиковъ: «бе-ре-гись!» Вдругъ тройка нырнула и разомъ поднялась изъ большой выбоины. Всѣ подскочили, всѣхъ обдало водой. Раздался дружный смѣхъ всей компаніи. Зеленовъ придержалъ Ломову, чтобы охранить ее отъ паденія. Она слегка отстранила его.

— Выпадете!

— Не бойтесь!

— Съ непривычки легко.

Она промолчала, стараясь отодвинуться подальше отъ него, чувствуя, что его колѣнка жметъ ея колѣнку. Ее немного смутили и этотъ пошлый разговоръ, и эта близость Зеленова. Но она старалась успокоить себя, что вѣдь это все въ обычаѣ въ этомъ кругу. Въ передней тройкѣ раздавался визгъ и смѣхъ Меликовой и братьевъ Хрущевыхъ. Кто-то попробовалъ тамъ запѣть. Одинъ изъ братьевъ привсталъ и крикнулъ:

— Господа, вы заснули?

Зеленовъ тоже приподнялся и крикнулъ:

— Блаженствуемъ въ тишинѣ!

И потомъ подзадорилъ ямщика:

— Что они надъ нами тѣшатся? Обгоняй!

Началась перегонка съ гиканьемъ, хохотомъ, визгомъ. У Ломовой слегка кружилась голова. Было жутко и хорошо.

Тройки быстро пронеслись по Петербургской сторонѣ, по Каменному острову, по Новой Деревнѣ и наконецъ остановились у Ливадіи. Компанія съ шумомъ повыскакала изъ саней, вся зашлепанная круглыми пятнами грязи, быстро сбросила верхнюю теплую одежду въ прихожей, поднялась по лѣстницѣ, встрѣчаемая поклонами прислуги, здороваясь съ нѣсколькими сонно бродившими тутъ, подобно ждущимъ добычи шакаламъ, цыганами и цыганками, какъ со знакомыми. Было очевидно, что пріѣхавшее общество было здѣсь «дома». Ломову на минуту охватилъ какой-то безотчетный страхъ. Она была среди знакомыхъ людей, среди нихъ она бывала уже не разъ; тѣмъ не менѣе, здѣсь ей было страшно

быть въ ихъ обществѣ. Почему? Она не могла дать себѣ отчета. Ей даже стало досадно на себя. «Начиталась романовъ съ приключеніями», посмѣялась она надъ собою и подняла голову съ видомъ человѣка, желающаго увѣрить не только другихъ, но и себя въ томъ, что онъ ничего не боится.

Все общество поднялось по лѣстницѣ и направилось въ небольшую отдѣльную гостиную. Нѣсколько мужчинъ отправилось распоряжаться въ буфетъ, дамы поправляли свои туалеты у зеркала, расправляя примятыя кружева и взбивая волосы. Меликова съ голыми руками и съ голыми плечами какъ-то особенно рѣзала глаза. Ломова съ дѣтства привыкла видѣть декольтированныхъ дамъ и дѣвицъ въ своемъ кругу, но теперь эта одна декольтированная женщина среди другихъ, довольно скромно одѣтыхъ женщинъ, производила на нее странное впечатлѣніе: ей было стыдно смотрѣть на нее. Аннѣ Ѳеодоровнѣ казалось, что глаза всѣхъ мужчинъ смотрятъ исключительно на это голое тѣло. Кто-то замѣтилъ Меликовой, что она можетъ простудиться. Она отвѣтила, что кофточка «шерститъ» и обратилась къ Хрущеву-младшему:

— Дѣтка, взгляни, какъ натерла плечи.

Онъ наклонился, пожирая глазами ея раскраснѣвшіяся плечики. Она засмѣялась, видя, какъ онъ низко наклонилъ свою голову.

— Что это ты вдругъ близорукимъ сталъ?

Она ударила его пальчикомъ по носу

— Младенчикъ!

Ломову какъ-то особенно передернуло, точно она впервые видѣла обращеніе Меликовой съ Хрущевымъ. И почему она имъ говоритъ «ты». Вѣдь они знакомы семь-восемь мѣсяцевъ? Прежде это не приходило ей въ голову. Она досадливо подумала, что все это смущаетъ ее вслѣдствіе этого декольтированнаго платья. И что тутъ необыкновеннаго? Носятъ же тысячи женщинъ такія платья на балахъ, въ театрахъ? Этихъ полунагихъ женщинъ и дѣвицъ обнимаютъ въ танцахъ мужчины; они волей-неволей еще ближе разсматриваютъ это женское тѣло, кружась по заламъ. Кого же это смущаетъ? Кто считаетъ это развратомъ?

Въ это время принесли вино, фрукты, пирожное и приборъ для чая. Мужчины, возвратившіеся изъ буфета, нѣсколько раскраснѣлись. Оставшіеся съ дамами воскликнули:

— Э, да вы ужъ побывали въ буфетѣ. Что-жъ мы-то, господа, зѣваемъ?

И четверо еще не ходившихъ въ буфетъ мужчинъ направились туда. Марья Осиповна стала угощать дамъ, хлопоча около чая, осматривая получистые стаканы на свѣтъ. Зеленовъ предложилъ Ломовой рюмку бѣлаго вина. Она, отказываясь, постаралась улыбнуться, чтобы не выдать своего тревожнаго настроенія.

— Да это же дамское вино. Его не только дѣвушки,— дѣти могутъ пить,—сказалъ Зеленовъ.

Отъ него пахнуло запахомъ водки. Его выцвѣтшіе глаза замаслились, щеки покрылись пятнами румянца. Ломова опять пересилила себя и опять отказалась, улыбаясь.

— О, кто не любилъ—тотъ наполовину былъ несчастнымъ, а кто не вкушалъ винограднаго сока—тотъ и совсѣмъ не зналъ, что значитъ счастье!—проговорилъ Зеленовъ.

«Господи, какъ онъ сегодня пошлъ»,—мелькнуло въ головѣ Анны Ѳеодоровны.

Онъ былъ и всегда такимъ. Но прежде это ее забавляло; теперь это ее тревожило.

Въ сосѣдней комнатѣ раздались звуки фортепіано. Тамъ уже игралъ таперъ.

— Господа, танцовать, танцовать!—скомандовалъ старшій Хрущевъ, волчкомъ влетая въ комнату.

Всѣ захлопали въ ладоши. Хрущева большими глотками спѣшила допить чай и горстями пихала себѣ въ ротъ сладкое печенье. Она боялась и опоздать къ танцамъ, и оставить недопитымъ и недоѣденнымъ что-нибудь на столѣ.

Зеленовъ обратился къ Ломовой.

— Позвольте пригласить васъ на кадриль.

Она вздрогнула, и ея лицо приняло брезгливое выраженіе.

— Нѣтъ... здѣсь... я не стану.

Это озадачило его.

— Да позвольте, зачѣмъ же вы пріѣхали? Веселиться? Да? Ну, и будемъ веселиться. Что же вы такъ-то будете сидѣть? Вы всѣхъ обидите. Не будете вы танцовать, и никто не будетъ...

— Я не мѣшаю другимъ.

— То-есть какъ же это? Если вы считаете невозможнымъ танцовать здѣсь, то и другія... или вы хотите сказать, что другимъ можно, а нельзя только вамъ?

Онъ говорилъ обидчивымъ тономъ, вступаясь за своихъ пріятелей и пріятельницъ.

— Мы, кажется, здѣсь въ своемъ кругу всѣ равны... Если вы смотрите такъ брезгливо на наше...

— Вы меня не поняли,—начала она, смущенная его придирчивымъ выговоромъ.

— Нѣтъ-съ, я васъ понялъ...

Онъ вдругъ перемѣнилъ тонъ.

— Ахъ, Анна Ѳеодоровна, пока молоды, до тѣхъ поръ и нужно ловить минуту веселья! Сбросьте вы съ себя всѣ эти: что скажутъ, что подумаютъ! А ну ихъ, пусть думаютъ и говорятъ, что хотятъ! Начихать намъ на нихъ! Такъ? Идемте!

Она нехотя, съ какимъ-то тяжелымъ чувствомъ смутной тревоги, поднялась съ мѣста. Ей было уже страшно отказываться, противорѣчить. Она какъ-то подозрительно смотрѣла на всѣхъ, точно спрашивая себя: «вѣдь они, кажется, еще не пьяны? кажется, они ведутъ себя еще прилично?» Зеленовъ, вполнѣ довольный собой, что онъ «обломалъ ей крылья», какъ онъ мысленно говорилъ себѣ, началъ напѣвать въ полголоса:

— Лови, лови часы любви!..

Дальше онъ не могъ вспомнить и, вдругъ оборвавъ пѣніе, проговорилъ:

— Ну, и чортъ съ ними!

Понемногу онъ хмелѣлъ. Его клонило ко сну. Поѣздка по холоду утомила.

Начались танцы.

— Смотрите, смотрите, какъ наша Маріонъ задуваетъ,— проговорилъ Зеленовъ, пріободряясь и стряхивая дремоту.

— Какая Маріонъ?—спросила Ломова.

— Да наша старушка Божія, Марья Осиповна. Въ былыя времена тоже дала себя знать. О-о! Недаромъ карьеру составила и въ генеральшахъ теперь числится. Ея превосходительство госпожа статская совѣтница Марья Осиповна Хрущева! Шутка ли! Вѣдь ни съ чего начала... Дѣвчонкой еще соблазнили и привезли въ Россію. Потомъ по танцъ-классамъ мужчинъ ловила.

Ломова широко открыла глаза и даже чуть-чуть, какъ бы въ испугѣ, отодвинулась отъ Зеленова.

— Я васъ не понимаю, что вы говорите,—сухо сказала она.

— То-есть это какъ же?—глупо улыбаясь, проговорилъ онъ.—Вы же бываете у Маріонъ, знаете сами, вѣрно, прошлые грѣшки нашей старушенціи? Да она и теперь не прочь погрѣшить. Веселая бабенка, даромъ что стара. Недаромъ любитъ молодежь пристраивать. Дѣвчоночекъ-горничныхъ

держитъ для удобства жильцовъ. Промыселъ тоже! Вотъ своему Мишкѣ сосватала банкиршу Сухареву, а Сашка по ея милости у вдовы адмирала Русина свой человѣкъ. Альфонсики! Жить надо! Ну, да они утѣшаются, увиваясь за Соничкой...

Ломова совсѣмъ смолкла. У нея кружилась голова. Она радовалась, что кадриль кончалась. Скорѣй бы только уйти отъ этого пьянаго человѣка. Куда? Къ кому? Всѣ уже казались ей теперь пьяными. Зеленовъ продолжалъ говорить, дѣлаясь все болѣе и болѣе развязнымъ:

— Сегодня у нихъ ушки на макушкѣ отъ того, что Соничка декольтировалась. Раскраснѣлись, какъ вареные раки. И вѣдь что смѣхъ: оба втюрились въ нее и не ревнуютъ. Каковы молодцы? Истинно братскія отношенія. Впрочемъ, что-жъ, молоды, люби, сколько влѣзетъ.

Онъ вздохнулъ.

— Это мы только съ вами канитель тянемъ.

Анна Ѳеодоровна поднялась съ мѣста, охваченная страхомъ, точно этотъ все болѣе и болѣе хмелѣвшій человѣкъ показался ей способнымъ на все. Зеленовъ тоже поднялся вслѣдъ за нею, говоря что-то о недолговѣчности молодости, о быстро проходящихъ счастливыхъ годахъ, о необходимости ловить золотое время.

По залу пронеслось приглашеніе.

— Зеленовъ, Зеленовъ, вальсъ съ Марьей Осиповной.

— Ну васъ къ чорту! У меня свои дѣла!—отозвался онъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, вальсъ!—кричали гости.

— А, черти! Ну, сейчасъ, сейчасъ!—согласился Зеленовъ и проговорилъ Ломовой:—Безъ любви, барышня, не прожить, никакъ не прожить... Я вотъ сейчасъ вамъ эту философію объясню... Сами спасибо скажете...

Анна Ѳеодоровна уже не слушала его и направилась къ сосѣдней комнатѣ. Она хотѣла переступить ея порогъ и остановилась въ дверяхъ. Тамъ, въ этой комнатѣ, недалеко отъ стола, заставленнаго опустѣвшими бутылками, чайными принадлежностями, фруктами, валявшимися рюмками, сидѣлъ на креслѣ Александръ Хрущевъ, держа на колѣняхъ Меликову. Она со смѣхомъ запрокинула голову назадъ и вырывалась изъ его объятій, а между тѣмъ Михаилъ Хрущевъ наклонился надъ нею и цѣловалъ ея шею. Всѣ трое звонко хохотали.

Ломова съ минуту не могла сдѣлать ни шагу ни впередъ, ни назадъ, охваченная стыдомъ, близкая къ обмороку, при-

слонившаяся къ двери. Стыдъ за себя, чувство обиды, омерзѣніе къ происходившей передъ нею сценѣ душили ее. Братья Хрущевы, наконецъ, замѣтили ее.

— А, это вы, Анна Ѳеодоровна! — весело воскликнулъ Александръ Хрущевъ.—А мы пари съ Сонички выиграли и получаемъ выигранное.

— Ха-ха-ха!—раздался смѣхъ Михаила Хрущева.—По пятидесяти поцѣлуевъ выиграли на брата. Счастье!

Ломова уже очнулась, пришла въ себя, повернулась и, не слушая, что ей говорятъ, пошла въ залъ. Тамъ раздавался оглушительный хохотъ и аплодисменты. Она нервно вздрогнула. Ей на минуту показалось, что это смѣются надъ нею, что это аплодируютъ ей! Она даже не замѣтила, что въ кружкѣ людей плясала русскую Марья Осиповна, размахивая платочкомъ въ воздухѣ. Въ дверяхъ Ломову, шатаясь, нагналъ Зеленовъ.

— Куда вы? Что съ вами?—спросилъ онъ.

— Оставьте меня,—прошептала Ломова.

— Да вамъ что надо? Дурно вамъ? Въ дамскую уборную идете? Я васъ провожу.

— Оставьте меня, говорю я вамъ!—повторила она.

— Да вы же ходовъ здѣсь не знаете, наткнетесь на такой спектакль, что въ вѣкъ не забудете!

Онъ засмѣялся пьянымъ смѣхомъ и пошатнулся.

— Здѣсь нравы свободные. Кути во всю!

Онъ хотѣлъ взять ее за руку. Его изношенное лицо, съ красными пятнами, съ жидкой бородкою походило на лицо Сатира. Она вырвала свою похолодѣвшую руку.

— Идите прочь!—почти крикнула она, оттолкнувъ его.

Онъ удержался о стѣну и обозлился.

— Ну, такъ и плевать!—пробормоталъ онъ съ грубостью пьянаго человѣка.

Она быстро, спотыкаясь, уже спускалась съ лѣстницы. Внизу спорили какіе-то два лакея въ засаленныхъ фракахъ, съ измятыми салфетками подъ мышками.

— Чай я подавалъ, а деньги ты получалъ.

— А ты нешто у своего стола стоялъ? Ишь ловкачъ.

— Гдѣ выходъ?—спросила Ломова.

— Дальше! дальше!—махнули они руками, не обращая на нее вниманія, и снова принялись спорить:

— Ты, небось, вчера тоже не у своего стола стоялъ?

— А господа-то чьи были? Они изъ твоихъ подлыхъ рукъ и ѣсть не станутъ! Немытое рыло!

— Самъ помойся!

— Мою шубку... сапожки,—прерывистымъ голосомъ говорила Ломова, стоя среди прислуги, находившейся у верхняго платья.

— Нумерокъ вашъ!—проговорилъ слуга.

— У меня нѣтъ нумера... Вотъ, возьмите...

Она сунула рубль въ руки слуги.

— Вы наверху были съ господиномъ Зеленовымъ?

— Да... да...

Слуга началъ разыскивать ея вещи.

— Экипажъ прикажете позвать?—спросилъ другой слуга.

— Нѣтъ... я здѣсь... тутъ...

Ломова чувствовала, что ее душатъ слезы. Она одѣлась, пошла, спотыкаясь, съ лѣстницы. Сзади ея начались толки:

— Не поладили...

— А ничего изъ себя...

— Новенькая видно...

— Привыкнетъ!

Потомъ кто-то изъ слугъ началъ разсказывать:

— Нѣтъ, намеднись вотъ такъ исторія была, до полиціи дѣло дошло...

Ломова вышла изъ воротъ Ливадіи и очутилась въ непроглядномъ мракѣ. Заколоченныя на зиму дачи, безобразные палисадники и заборчики, тощія, лишенныя листьевъ деревья, проѣзжая дорога, канавка около пѣшеходной дорожки у дачъ, мостики со скамьями на канавкѣ, все это смутно чернѣло во тьмѣ. Только мѣстами въ этой тьмѣ далеко одинъ отъ другого мерцали фонари. Ихъ слабый и тусклый свѣтъ едва пробивался сквозь грязныя стекла и не озарялъ ничего, а только исполнялъ службу маяковъ, указывая направленіе пути. Тающій снѣгъ, покрытый тонкими корочками льда, проваливался подъ ногами Ломовой; она ощущала, что брызги воды доходили до ея чулокъ, что ея платье волочилось по мокрому снѣгу, по грязи, по лужамъ, но у нея не было силъ поднять его, оправиться. Ея руки висѣли безпомощно, ноги едва двигались, она шаталась, а передъ нею была тьма и тьма. Такъ ли она шла? Не надо ли свернуть куда-нибудь? Когда же она придетъ домой? А что если кто-нибудь нападетъ на нее? Ограбитъ, оскорбитъ? При мысли объ оскорбленіи у нея вдругъ начало судорожно перехватывать дыханіе, грудь дышала прерывисто, какъ бы стараясь набрать побольше воздуха, рыданья начали душить ее. Она прислонилась безъ силъ къ

какому-то палисаднику, точно пьяная. Черезъ нѣсколько минутъ она очнулась, собрала всѣ силы, пошла снова, попадая въ грязь, оступаясь на каждомъ шагу. Ей казалось, что дорогѣ не будетъ конца.

Только у Строгановскаго моста ей попался извозчикъ...

IV.

Анна Ѳеодоровна, точно подъ вліяніемъ электрическаго тока, поднялась на постели, сѣла и устремила въ пространство широко открытые глаза. Ея грудь тяжело и прерывисто поднималась отъ волненія. Ее и теперь охватывалъ ужасъ при одномъ воспоминаніи объ этой ночи. Она, говорившая когда-то о придворномъ балѣ, какъ о чемъ-то очень будничномъ, дошла до того, что тащилась пѣшкомъ, по грязи, ночью, одна изъ какого-то загороднаго ресторана, оскорбленная, осмѣянная полупьяной толпой развратныхъ шалопаевъ. Что бы ни произошло съ нею въ будущемъ, она не вычеркнетъ изъ памяти этого позора. И она была не какой-нибудь бездомной сиротою: у нея были отецъ и мать. Она почувствовала къ нимъ въ ту ночь уже не сожалѣніе, не презрѣніе, почти вражду.

Что такое ея отецъ? Говорильная машина, болтающій языкъ. Ни о чемъ не думаетъ серьезно, ничего не чувствуетъ глубоко, ничего не дѣлаетъ разумно, ни до чего не добивается упорно, а только говоритъ, говоритъ и говоритъ. За говореньемъ о своемъ положеніи забылъ самую сущность этого положенія—положеніе жены и дѣтей. А мать? Ходячая бездушная и холодная надменность, нашедшая только одно средство въ бѣдѣ—бездѣятельное будированіе на всѣхъ и на все. Она пальца о палецъ не стукнула, когда случилась бѣда, она заперлась отъ всѣхъ, какъ бы застыла въ своемъ углу, какъ бы замерла въ своемъ негодованіи на всѣхъ. Что они должны были дѣлать? Анна Ѳеодоровна не могла бы отвѣтить на этотъ вопросъ. Ее просто возмущало, что они ничего не сдѣлали, чтобы выйти изъ бѣды и дать ей средства жить попрежнему. А отношенія ихъ къ ней? Когда у нея, у Анны Ѳеодоровны, поднялись какія-то смутныя стремленія выбиться какъ-нибудь изъ тяжелаго положенія, убѣжать изъ скучной и однообразной обстановки своего угла, они—отецъ и мать—сказали ей: «какъ? ты хочешь трепаться по улицамъ, ходя на уроки?» Отецъ выразилъ это многословно, мать коротко, но ни онъ, ни она не подсказали ей другого исхода, не удер-

жали ее отъ этого выхода, и вотъ она, не знающая жизни, людей, пошла «трепаться по улицамъ». Отецъ за безконечнымъ говореньемъ даже какъ будто и не зналъ, что она треплется по улицамъ; мать знала, что дочь не бываетъ дома, ходитъ одна, но только безмолвно будировала, можетъ-быть, плакала въ тишинѣ—не больше. Можетъ-быть, если бы они серьезнѣе отнеслись къ этому вопросу, если бы они сумѣли руководить ею, она сдѣлалась бы учащейся и учащей дѣвушкой, а не вступила бы на скользкій путь искательницы приключеній. Ей было омерзительно и въ то же время обидно сознавать, что она дошла только до этой роли, когда другія по тому же пути шли къ серьезному развитію. Она не сошлась ни съ одной серьезной дѣвушкой, потому что именно подобныя личности менѣе всего способны безпричинно бросаться въ объятія первой встрѣчной. Быстро возникающія и скоро проходящія сближенія почти всегда бываютъ слѣдствіемъ нравственной распущенности и неряшливости. Кто сразу всѣмъ и каждому открываетъ свои объятія, послѣ того не лишнее осматривать свои карманы, все ли въ нихъ цѣло, и свое платье, не осталось ли на немъ грязныхъ пятенъ. Двухъ-трехъ серьезныхъ, занимающихся дѣвушекъ узнала близко и Ломова. Но и онѣ показались ей мало интересными, какъ мало интереснаго представляли ей и курсы со своимъ однообразнымъ трудомъ, со своими однообразными типами работницъ, и она, въ свою очередь, не сумѣла привязать къ себѣ этихъ дѣвушекъ, увидавшихъ въ ней обыкновенную барышню, учащуюся не то отъ скуки, не то отъ безденежья. Тогда-то она попала въ среду постоянныхъ посѣтительницъ верховъ театра и окунулась въ этотъ омутъ грязи, сплетенъ, поклоненія красавцамъ-актерамъ, исканія приключеній...

На другой день послѣ возвращенія съ пикника, она, не спавшая всю ночь, была нездорова, ее знобило, у нея болѣла голова, она куталась въ большой вязаный платокъ. Она сидѣла въ своей комнатѣ, снова передумывая, переживая все, что произошло въ послѣдніе годы. Она только теперь видѣла, что она уходила въ какую-то тину все глубже и глубже, не сознавая этого, теряя возможность удержаться на поверхности этой грязи. Ей вспоминались мелочи: двусмысленныя сплетни парадиза о томъ, кто съ кѣмъ живетъ, какая актриса у кого на содержаніи, какой актеръ пользуется у тѣхъ или у другихъ женщинъ успѣхомъ; она принимала участіе въ сборѣ на вѣнокъ одному актеру въ пику

другому, не за игру, не за талантъ, а такъ, потому что онъ любимецъ извѣстнаго кружка; раза три ее затащили знакомыя женщины къ подъѣзду актеровъ ждать, когда выйдетъ этотъ любимецъ, и когда онъ вышелъ, раздались жидкіе женскіе аплодисменты и такія же жидкія женскія «браво»; потомъ знакомство съ Хрущовой, съ отставной кокоткой, съ посредницей между мужчинами и дамами; безсознательно разыгрываемая роль готовящейся продаться дѣвушки, осматриваемой зоркимъ взглядомъ комиссіонершею въ спальнѣ; слова о прыщикѣ, вскочившемъ на лицо, и вздохи о томъ, что пора «замужъ»; наконецъ, этотъ пикникъ. Все это было не паденіе, но хуже паденія—пошлость, грязь, тина. И отецъ, и мать не удержали ее, не разъяснили ей всего этого! О, да развѣ они что-нибудь понимаютъ, жалкіе и пустые люди! Она съ горечью вспоминала то время, когда никто не считалъ ихъ такими. Толпа язычниковъ склоняетъ колѣни и пресмыкается во прахѣ передъ стоящими на пьедесталахъ идолами; стащите ихъ въ грязь и разбейте, и она увидитъ, что это пустыя, ничтожныя куклы. Но что же будетъ она, Анна Ѳеодоровна, дѣлать дальше? Сидѣть въ четырехъ стѣнахъ съ этими людьми? Слушать консервативную болтовню отца, глядѣть на невѣдомое никому и никого не пугающее будированіе матери? Къ чему она сама стремится? Къ богатству, къ блеску, къ роскоши? Но все это недостижимо теперь. Другихъ же стремленій, желаній, идеаловъ у нея нѣтъ. Откуда имъ было взяться? Какъ же она перенесетъ муки бѣдности? И нѣтъ никого, никого, кто бы хоть поддержалъ ее разумнымъ словомъ, успокоилъ лаской.

Ей вдругъ вспомнился Иволгинъ.

Она уже не думала теперь дразнить его разсказомъ о катаньи на тройкѣ. Она даже боялась именно того, что онъ откуда-нибудь узнаетъ объ этомъ. Это вѣдь будетъ его торжество, онъ вѣдь говорилъ, что пошлость та же тина, что она засасываетъ. У него не хватитъ даже такта скрыть свое торжество. О, никогда не доставитъ она ему удовольствія гордо поднять голову и сказать: «вѣдь я васъ предостерегалъ». Но откуда же ему узнать? Не играетъ же онъ роли шпіона? Нѣтъ, на это-то онъ не способенъ, онъ честный человѣкъ. Безтактный, но честный. Неужели онъ точно влюбленъ въ нее? Она сощурила глаза и задумчиво вглядывалась въ пространство, какъ бы ища отвѣта. Почему она раньше не вдумывалась въ это? Зачѣмъ же? Развѣ онъ

ей пара? Какой-то студентъ! Въ голову пришелъ разсказъ Хрущевой о Меликовой: «мужъ придетъ домой, ляжетъ, а ей снятся трупы, трупы и трупы». Анна Ѳеодоровна, сердясь на это воспоминаніе, сдвинула брови... Все же Иволгинъ, провинціалъ, скромный по вкусамъ простякъ, не пара ей. А кто же ей пара! Кто вообще видитъ ее? Она пожала плечами съ горькой усмѣшкой. Никто, никто не видитъ ее здѣсь. Да, но если онъ ее любитъ, ей будетъ легко хоть съ нимъ отвести душу. Онъ не глупъ, онъ серьезенъ, онъ добръ...

И вечеромъ пришелъ Иволгинъ. Впервые его приходъ пробудилъ въ душѣ Анны Ѳеодоровны что-то въ родѣ радостнаго чувства. Иволгинъ протянулъ ей дружески руку и, взглянувъ ей въ лицо, заботливо спросилъ:

— Что съ вами, Анна Ѳеодоровна? Вы больны! на себя не похожи.

Она вся точно съежилась отъ этихъ словъ, и ее охватило холодомъ. Чувство радости смѣнилось чувствомъ опасенія, что онъ все узнаетъ. Ни за что, ни за что она не скажетъ ему ничего.

Она отвѣтила равнодушнымъ тономъ:

— Я совершенно здорова!

Онъ тревожно, въ волненіи, продолжалъ допрашивать:

— Такъ значитъ что-нибудь случилось? Какія-нибудь новыя непріятности, огорченія? Ради Бога, скажите!

Отъ этихъ настойчивыхъ допросовъ, она, какъ будто улитка отъ чьего-нибудь прикосновенія, уходила все болѣе и болѣе въ свою раковину. Передъ ея глазами уже стоялъ не другъ, а шпіонъ, желающій проникнуть въ ея душу, вывѣдать все хотя бы насильно.

— Я же вамъ говорю, что ничего не случилось,—отвѣтила она раздражительно.—Что же можетъ случиться?

Онъ вздохнулъ, огорченный ея несообщительностью, и тихо сказалъ:

— Если бы вы знали, какъ я волнуюсь и боюсь за васъ...

— За меня?

По ея лицу скользнула насмѣшливая улыбка. Ей хотѣлось замаскировать свое волненіе.

— Да... Вы вѣдь сами не знаете, въ какой средѣ вы вращаетесь...

Она уже была блѣдна, какъ полотно. Онъ задѣлъ за самое больное мѣсто ея души.

— Вчера, не далѣе какъ вчера, я слышалъ толки...

Она, охваченная страхомъ, дрожащая отъ волненія, смущенная нелѣпой мыслью, что онъ уже все знаетъ, остановила его надменнымъ взглядомъ.

— Избавьте меня, Борисъ Николаевичъ, отъ грязи сплетенъ. Если вы способны унижаться до нихъ, то я привыкла стоять немного выше этого.

Онъ, взволнованный, хотѣлъ что-то продолжать еще, но въ комнату вошла Антонина Аркадьевна. Анна Ѳеодоровна воспользовалась удобной минутой и вышла. Съ этого дня она почти не говорила съ Иволгинымъ, избѣгая его, встрѣчая его ледяными взглядами.

Но у нея былъ еще братъ...

При мысли о братѣ глаза Анны Ѳеодоровны зайскрились теперь гнѣвомъ. Если она презирала отца и мать, если она гордо и холодно оттолкнула Иволгина, то къ брату она чувствовала иногда чуть не ненависть. Они разошлись уже давно, разошлись потому, что онъ, прежде чѣмъ она, понялъ отца и мать. Въ его ссорѣ съ ними она приняла ихъ сторону и отвернулась отъ брата. Правда, тогда она, отвернувшись отъ него, просто называла его еще безъ всякой злобы «своеправнымъ мальчишкой», «дерзкимъ грубіяномъ». Потомъ настало иное время—иныя отношенія, не простая холодность, не простое отчужденіе, а открытая вражда, почти ненависть къ брату. Это чувство было тѣмъ жгучѣе, чѣмъ яснѣе сознавала она, что правота была не на ея сторонѣ. Онъ нанесъ лично ей не мало кровныхъ обидъ, не забываемыхъ оскорбленій. Все, что Иволгинъ въ качествѣ посторонняго говорилъ ей мягко и осторожно о скользкомъ пути, о нелѣпомъ воспитаніи свѣтскихъ дѣвушекъ, о болѣе серьезныхъ взглядахъ на жизнь, Романъ повторялъ ей рѣзко и грубо, какъ можетъ говорить только родной братъ, пользующійся правомъ обращаться на «ты», не обязанный смягчать выраженій, привыкшій браниться и чуть не драться съ сестрою съ пеленъ изъ-за игрушекъ. Иволгина она могла остановить на полусловѣ однимъ взглядомъ, братъ на каждое ея слово отвѣчалъ десятью. Отъ Иволгина она могла уйти въ другую комнату, братъ безъ спросу слѣдовалъ въ эту другую комнату. Она не забыла, не простила этого. Эта враждебность была обоюдною, равноправною.

Но случилось событіе, измѣнившее характеръ вражды.

Въ одинъ прекрасный день Ломовы получили извѣстіе,

что дядя Петръ Васильевичъ скоропостижно скончался. Это произошло какъ разъ въ то время, когда Анна Ѳеодоровна, надломленная унизительными событіями памятной ночи, засѣла дома, отказавшись не только отъ посѣщеній театра и Хрущевой, но даже отъ уроковъ. Она боялась, что и въ тѣхъ домахъ, гдѣ она давала уроки, всѣ знали, въ какомъ кругу она вращается, какую роль она играетъ. Извѣстіе о смерти дяди Петра Васильевича было истиннымъ праздникомъ для семьи. Всѣ точно сошли съ ума, не нашли въ себѣ силъ даже для того, чтобы скрыть свою радость, чтобы соблюсти внѣшнія приличія. Не только Ѳеодоръ Романовичъ говорилъ безъ передышки, шагая по комнатѣ, о томъ, что теперь конецъ всѣмъ испытаніямъ, не только Антонина Аркадьевна подняла голову и торжественно говорила, что «еще есть Богъ, есть справедливость», но и сама Анна Ѳеодоровна не могла скрыть радостнаго волненія: теперь ей не нужно бѣгать по урокамъ, думать о будущемъ, дрожать передъ призракомъ грозящей ей нищеты. Теперь она, можетъ-быть, выйдетъ замужъ за человѣка ихъ круга, она во всякомъ случаѣ попадетъ въ прежнюю среду. Тамъ нѣтъ этихъ прозаично-скучныхъ типовъ скромныхъ муравьевъ въ юбкахъ, несущихъ молча съ терпѣніемъ святыхъ крестъ будничнаго труда; тамъ нѣтъ этихъ узко, практично и грубо откровенныхъ дѣльцовъ, видящихъ въ жизни «одно прохвостничество» и старающихся сорвать «съ лихой собаки хоть шерсти клокъ»; тамъ даже пошлость и развратъ приглажены и принаряжены при помощи дрессировки, воспитанія, такта...

Въ эти дни радостнаго волненія, когда въ домѣ бывалъ ежедневно приглашенный Ломовымъ молодой присяжный повѣренный Александръ Александровичъ Ардальоновъ, внезапно явился въ семью Романъ Ѳеодоровичъ Ломовъ, братъ Анны Ѳеодоровны. Онъ кончилъ курсъ въ Правовѣдѣніи и наперекоръ отцу и матери поступилъ въ университетъ.

— Дядя Петръ Васильевичъ умеръ, — торопливо сообщила ему мать.

— А, царство ему небесное!—отвѣтилъ онъ.

И тотчасъ же, сообразивъ что-то, серьезно замѣтилъ:

— Однако, что же вы будете дѣлать? Это новый ударъ.

Мать не могла удержаться отъ улыбки.

— Мы же единственные наслѣдники!

Сынъ поднялъ на нее вопросительный взглядъ, ничего не понимая.

— Какъ единственные наслѣдники? У дяди былъ женатый сынъ, были внучата.

Антонина Аркадьевна пожала плечами.

— Сынъ, перешедшій въ католичество, женившійся по обрядамъ католической церкви на авантюристкѣ! Какія же права имѣютъ его дѣти? Правда, вдова и дѣти здѣсь, хлопочутъ о признаніи ихъ правъ. Но это же нелѣпость.

Романъ загорячился.

— Вы, кажется, не то говорили, когда дядя приглашалъ васъ поселиться у него. Вы не разъ говорили, что вы именно потому не поѣхали къ нему, чтобы не отнимать правъ у его законныхъ наслѣдниковъ.

Ломова сдвинула брови.

— Ты говоришь глупости. Мы не желали становиться между дядей и его сыномъ, но послѣдняго теперь нѣтъ на свѣтѣ...

— Такъ есть его дѣти, и, конечно, ихъ положеніе не изъ веселыхъ...

— Ну, и наше не радостно!—сорвалось съ языка Анны Ѳеодоровны.

— Ахъ, что ты говоришь!—воскликнулъ братъ, повернувъ къ ней голову.—Мало ли на свѣтѣ нищихъ, да не грабятъ же они другихъ!

— Ты забываешься!—остановила его мать.

— Я это говорю не вамъ,—отрывисто отвѣтилъ онъ.— Вамъ въ ваши годы, можетъ-быть, вполнѣ естественно не брезгать никакими средствами въ безвыходномъ положеніи, а она еще слишкомъ молода, чтобы видѣть все спасеніе въ грабежѣ другихъ.

И, заходивъ въ волненіи по комнатѣ, онъ спросилъ мать:

— Но неужели же дядя не оставилъ никакихъ распоряженій. Положимъ, онъ почти выжилъ изъ ума въ послѣдніе годы; но все же...

Мать смутилась на минуту отъ этого вопроса и уклончиво отвѣтила:

— Всякія распоряженія будутъ незаконны...

Сынъ по тону, по выраженію лица матери сразу понялъ, въ чемъ дѣло.

— А такъ намъ нужно еще оспаривать и волю покойнаго дяди, нужно еще перешагнуть и черезъ это! Что-жъ, теперь брезгливость не къ мѣсту. Себя приходится спасать... Только смотрите, чтобы не забрызгать себя грязью безъ барыша...

Началась бурная, неприличная сцена. Романъ коснулся самаго больного мѣста вопроса. До этой минуты всѣ старались не говорить о томъ, что, получая наслѣдство, они пускаютъ по-міру другихъ. Всѣ дѣлали видъ, что никакихъ осложненій въ этомъ дѣлѣ нѣтъ. Никто не задавалъ себѣ вопроса, какъ бы они поступили въ данномъ случаѣ во дни своего богатства. Щепетильность, брезгливость, великодушіе прошлаго времени, все это было утрачено въ годы лишеній. Теперь было не время разбирать средства, какими можно было снова разбогатѣть. Въ головѣ было одно сознаніе, что бѣдными они не могутъ остаться. Остаться бѣдными—значитъ обречь себя на гибель.

У Петра Васильевича Ломова былъ дѣйствительно женатый сынъ; у этого сына были дѣйствительно дѣти. Но этотъ бракъ не былъ признанъ законнымъ, эти дѣти считались незаконными. Правда, старикъ оставилъ завѣщаніе, но развѣ онъ могъ завѣщать родовое имѣніе незаконнымъ внучатамъ? Можно ли было не воспользоваться этой счастливой случайностью обнищавшей семьѣ Ѳеодора Романовича Ломова.

Когда Романъ заговорилъ объ этихъ несчастныхъ обираемыхъ наслѣдникахъ, Анну Ѳеодоровну на мгновенье охватилъ паническій страхъ. Что если въ самомъ дѣлѣ признаютъ права этихъ наслѣдниковъ? Дяди Петра Васильевича уже нѣтъ, и значитъ семья лишится даже ежемѣсячной субсидіи въ сто рублей. Настанутъ голодные дни. Нѣтъ, нѣтъ, довольно они бились и такъ.

Она не удержалась и снова рѣзко замѣтила брату.

— Что ты заботишься о другихъ, когда мы сами такіе же нищіе!

Онъ обернулся къ ней съ горящимъ взглядомъ.

— Стыдись! Такъ молода, а уже сердца нѣтъ...

И насмѣшливо, точно нанося ей удары, добавилъ:

— Или боишься, что нельзя будетъ по театрамъ рыскать!.. Привыкла трепаться по улицамъ.

У нея перехватило дыханіе отъ злобы. Даже Антонина Аркадьевна вышла изъ терпѣнія и рѣзко замѣтила сыну:

— Пожалуйста, безъ пошлыхъ сценъ! Ты здѣсь не у своихъ студентовъ!

Онъ не унимался.

— Если я дѣлаю сцены, какъ вы говорите, такъ это потому, что мнѣ обидно за сестру. Она могла бы...

Сестра перебила его:

— Я была бы рада, если бы ты забылъ, что я существую на свѣтѣ!

— Да, тогда не отъ кого было бы выслушивать правду...

— Не правду, а лакейскія грубости...

Она встала, чтобы уйти; онъ послѣдовалъ за нею. Въ другой комнатѣ, оставшись глазъ на глазъ съ ней, онъ, точно пощечину, швырнулъ ей въ лицо новое оскорбленіе:

— Я не хотѣлъ говорить при матери всего! До чего ты дошла? Съ тебя пишутъ купающихся женщинъ.

Она вскрикнула:

— Какъ ты смѣешь!

— Что, какъ я смѣю? Пройди по Невскому, во всѣхъ окнахъ эстампныхъ магазиновъ красуются уже фотографіи съ картины: «Купающаяся итальянка». Тутъ не можетъ быть сомнѣній, что это писано съ тебя. На-дняхъ мы съ Иволгинымъ увидали эту картину господина Зеленова на выставкѣ. Мы остолбенѣли. Вѣдь это пощечина! Это позоръ! До чего ты пала, что какой-нибудь Зеленовъ пишетъ съ тебя этихъ нагихъ женщинъ...

Она, инстинктивно ища опоры, блѣдная, съ широко открытыми глазами, съ раскрытымъ ртомъ, прислонилась къ стѣнѣ. Въ ея глазахъ все кружилось и прыгало.

— Ты бы хоть то подумала, что это узнаетъ весь Петербургъ, что это можетъ убить отца и мать...

Онъ горячо и взволнованно, скороговоркою, напоминавшей манеру его отца, говорилъ ей еще что-то. Она не знаетъ, что именно. Да и на что ей было знать его мнѣнія, его соображенія, когда она знала самый фактъ. Довольно было одного его, чтобы дойти до отчаянія. Потомъ братъ вышелъ изъ комнаты. Это вывело ее изъ оцѣпенѣнія. Когда она очнулась, брата уже не было.

— По-го-ди!.. По-слу-шай!.. — прерывисто крикнула она, желая оправдаться, желая снять хоть въ его глазахъ это позорное обвиненіе.

Она рванулась впередъ. Но братъ уже былъ на улицѣ...

Что испытала она въ этотъ день, это трудно представить. Ей казалось, что дѣйствительно «весь Петербургъ» смотритъ на эту «купающуюся итальянку» и говоритъ: «Это Ломова! Анна Ѳеодоровна Ломова!» Что дѣлать? Сказать отцу, матери, искать защиты, преслѣдовать Зеленова? Боже мой, развѣ это возможно! Она сама позволяла зачерчивать ему свой портретъ. Онъ ей говорилъ, что теперь «итальянка лежитъ у него на сердцѣ». И гдѣ это дѣлалось? У извѣстной от-

ставной кокотки въ домѣ, у женщины, знакомящей молодыхъ мужчинъ и барышень. Нѣтъ, нѣтъ, надо молчать. Молчать? Но развѣ ея не узнаютъ? Вѣдь узналъ же ее Иволгинъ? При воспоминаніи объ Иволгинѣ кровь бросилась ей въ голову. О, низкій, низкій человѣкъ! Это онъ указалъ брату на картину, онъ съ злорадной улыбкой сказалъ: «посмотри, до чего пала твоя сестра». Онъ бѣсится, что она не обращаетъ на него вниманія, что она не замѣчаетъ его любви? Любви? Да развѣ такіе люди умѣютъ любить? Шпіонъ! Нашелъ средство мстить!

Она машинально вошла въ другую комнату. Ее кто-то окликнулъ. Она вздрогнула всѣмъ тѣломъ и почти съ ужасомъ увидала передъ собой Бориса Николаевича. Она быстро отвернулась отъ него и пошла къ дверямъ. На минуту ее охватилъ стыдъ: онъ, Иволгинъ, смотритъ на нее и сравниваетъ съ той женщиной на картинѣ.

— Анна Ѳеодоровна, что съ вами? вы уходите отъ меня?— остановилъ ее Иволгинъ взволнованнымъ голосомъ.

Тогда ее начала душить злоба. Онъ еще говоритъ съ нею, спрашиваетъ ее. Она остановилась на порогѣ и окинула его взглядомъ.

— Не вы должны удивляться, а я — тому, что вы еще рѣшаетесь ходить къ намъ!

Онъ поблѣднѣлъ и съ недоумѣніемъ поглядѣлъ на нее. Что съ нею? За что, наконецъ, она сердится?

— Я васъ не понимаю!

— Не понимаете?—почти крикнула она.—Не понимаете? Осмѣливаетесь позорить меня и еще хотите, чтобы васъ принимали.

Онъ взволновался еще болѣе, поблѣднѣвъ, какъ мертвецъ.

— Что вы говорите! Я? васъ позорю! О, Господи!

— Сейчасъ былъ здѣсь мой братъ и все сказалъ мнѣ...

— Вашъ братъ... братъ...—повторялъ растерянно Борисъ Николаевичъ.

Потомъ онъ вдругъ вспомнилъ о картинѣ.

— О, если вы говорите объ этой проклятой картинѣ, то я точно виноватъ. Да, да, виноватъ!.. Я съ Ромой увидалъ ее. Онъ узналъ васъ. Мнѣ надо было оспаривать его, разубѣдить, увѣрить, что это не вы! Но вѣдь это было невозможно... невозможно... Это сходство, подпись Зеленова... Я не спалъ всю ночь, придумывая, что дѣлать. Но что же я могу? Протестъ, дуэль? Развѣ можно раздувать скандалъ? И по какому праву...

Она опять смѣрила его гнѣвными глазами...

— Такъ вы еще смѣете и теперь настаивать, что это я? Вы смѣете!

Онъ растерялся, пробормоталъ:

— Но это же очевидно... Зеленовъ былъ съ вами...

Она презрительно, точно мысленно давая ему пощечину, взглянула на него.

— Ни слова болѣе. Или вы ждете сами скандала?

Онъ что-то хотѣлъ еще сказать, но она уже была за дверью.

Онъ вышелъ, шатаясь, какъ пьяный.

Въ этотъ же день она получила отъ него письмо. Она разорвала его, не читая. Братъ попробовалъ заговорить съ нею объ Иволгинѣ, говоря, что послѣдній слегъ. Она оборвала его на полусловѣ:

— Не смѣй никогда произносить при мнѣ имени этого низкаго человѣка!

Братъ вспылилъ, назвалъ ее бездушной кокеткой, ничтожной женщиной; на него самого посыпались эпитеты дерзкаго мальчишки, наглеца. Тѣмъ не менѣе, Иволгинъ болѣе не появлялся въ домѣ...

У нея теперь было одно желаніе: скорѣй уѣхать въ имѣніе, въ это наслѣдственное имѣніе, въ эту глушь, далекую отъ Петербурга. Не думалось даже о вступленіи въ прежній кругъ. Прежде всего нужно было уѣхать отсюда, гдѣ всѣ видѣли ее на этой картинѣ, выставленную на показъ. А вдругъ внучата дяди добьются своихъ правъ? Что если они выиграютъ процессъ. На минуту ей вспомнилось, что братъ сказалъ, что они грабятъ голодныхъ. Голодныхъ! Да развѣ они-то не голодные? Они хуже голодныхъ: они опозоренные люди. О, хоть бы черезъ трупы пришлось перешагнуть, то и тогда не нужно останавливаться. Или тѣ, или они должны погибнуть. Ей вспомнились слова брата: «у тебя сердца нѣтъ». А у него есть? И вдругъ ей пришло въ голову, что вѣдь имѣніе перейдетъ собственно къ нему. Это родовое имѣніе достанется Ѳеодору Романовичу, а потомъ перейдетъ къ нему, къ ея брату. Она только будетъ жить въ имѣніи, въ усадьбѣ у брата. Его не могутъ даже лишить этого наслѣдства. Правда, отецъ можетъ заложить, продать имѣніе при жизни. Она усмѣхнулась. И прокутить, разбросать деньги, какъ онъ уже сдѣлалъ это однажды. Нѣтъ, его надо, во что бы то ни стало, удерживать отъ этого, надо хлопотать, чтобы онъ не закладывалъ, не продавалъ ничего, чтобы онъ не

дѣлалъ ни гроша долгу... и «чтобы все послѣ смерти отца досталось чистымъ брату», закончила она съ ненавистью въ душѣ...

Начались тревожные дни опасеній, что права прямыхъ наслѣдниковъ будутъ признаны, что бракъ ихъ отца будетъ признанъ недѣйствительнымъ. Нашлись вліятельныя лица, хлопотавшія о признаніи этого брака законнымъ. Эти опасенія разсѣивалъ только Ардальоновъ, милый, ловкій адвокатъ, уже успѣвшій нажить имя и состояніе. Какъ ни не любилъ Ломовъ всѣхъ этихъ «проходимцевъ» и «выскочекъ», уже близко знакомыхъ ему по дѣламъ Ирецкаго-банка и завода Русова, тѣмъ не менѣе всѣ надежды возлагались на этого выскочку. Онъ былъ такъ увѣренъ въ успѣхѣ дѣла, что даже не только хлопоталъ о дѣлахъ семьи, но доставалъ взаймы денегъ для Ломовыхъ, такъ какъ имъ нечѣмъ было жить до окончанія дѣла.

На семью обрушился, между тѣмъ, новый ударъ: Романа Ѳеодоровича взяли по политическому дѣлу въ домъ предварительнаго заключенія. Антонина Аркадьевна поднимала глаза къ небу съ гордой покорностью преслѣдуемой судьбою царицы. Ѳеодоръ Романовичъ горячился безъ конца, говоря пустыя фразы о позорѣ и проклятіи, о лишеніи сына наслѣдства. Анна Ѳеодоровна иногда останавливалась на мысли— что будетъ, если брата лишатъ всѣхъ правъ? не перейдетъ ли имѣніе потомъ къ ней? Иногда эти злыя мысли проясняли ея лицо. Иногда оно дѣлалось отъ нихъ еще мрачнѣе. Она то глубоко стыдилась ихъ, то оправдывала себя передъ самой собою тѣмъ, что «братъ самъ виноватъ во всемъ». Въ душѣ шла глухая борьба добра и зла съ полнымъ сознаніемъ, что эта борьба есть признакъ нравственнаго паденія.

Но дѣло брата приняло хорошій оборотъ. Въ судѣ говорили, что его выпустятъ черезъ нѣсколько мѣсяцевъ. Онъ былъ взятъ по недоразумѣнію, ни въ какихъ заговорахъ не участвовалъ, держали его еще до разныхъ послѣднихъ справокъ о немъ, а главное, его товарищахъ. Дѣло по наслѣдству тоже кончалось, и въ семьѣ начали говорить о томъ, какъ ѣхать въ имѣніе, какъ устроить дѣла. Нужно было многое закупить, обновить, починить. Только теперь Ломовы увидали, какъ они «оборвались», «обносились». Изъ выкупныхъ суммъ и доходовъ съ имѣнія почти все приходилось отдать Ардальонову. Чѣмъ же жить, какъ хозяйничать?

— Вотъ если бы Рома могъ жениться на Наташѣ,— какъ-то замѣтилъ Ломовъ.

И въ его горячей головѣ развился мгновенно цѣлый планъ. У Наташи было сорокъ тысячъ. Она, конечно, будетъ жить у нихъ, у Ломовыхъ. Гдѣ же ей больше жить? Она и росла въ Ломовскомъ. Она выйдетъ весной изъ института, Рому выпустятъ изъ тюрьмы. Они могутъ пожениться. Вотъ и поправятся дѣла. Надо употребить всѣ усилія, чтобы этотъ бракъ состоялся. Безъ него придется путаться въ долгахъ, закладывать имѣніе.

Эти толки рѣзали ножомъ по сердцу Анну Ѳеодоровну. Она даже не выдержала и замѣтила разъ отцу:

— Ты, кажется, даже и забылъ, какое пятно наложилъ на нашу семью онъ?

Отецъ изумился. Онъ уже забылъ, что онъ чуть не проклялъ сына. Онъ сознавалъ только то, что этотъ сынъ давалъ ему теперь возможность для выгодной сдѣлки.

— Ты, Нина, дѣвушка, и потому не понимаешь, какія случайности бываютъ въ жизни мужчинъ, въ молодости,— наконецъ, нашелся онъ.—Это увлеченіе, это проступокъ, согласенъ; но мы живемъ въ такое время, когда у всѣхъ накипѣла желчь, у всѣхъ напряжены нервы, всѣ мечутся куда попало, сегодня можно попасть въ домъ шуллера, увлекшись азартной игрой, завтра можно скомпрометировать себя знакомствомъ съ воровкой, обольстившись ея красотой. Я не оправдываю Рому, но я понимаю его. О, отлично понимаю его! Я самъ горячъ, я самъ негодую на наши порядки! Или наша семья мало перестрадала? Онъ въ меня темпераментомъ, характеромъ. Это же такъ понятно: онъ—Ломовъ! онъ не можетъ смотрѣть на все происходящее спокойно...

И онъ говорилъ громкія фразы о порядкахъ, о негодованіи, о желчномъ чувствѣ.

Въ это время дочь съ презрѣніемъ думала: «и все это изъ-за того, чтобы получить черезъ него сорокъ тысячъ!»... А какой-то внутренній голосъ говорилъ ей: «а развѣ ты теперь не думаешь о деньгахъ и только о деньгахъ?» Она стискивала зубы отъ горькаго сознанія, что ни въ семьѣ, ни въ ней самой не осталось ничего чистаго, незапятнаннаго, святого. На первомъ планѣ деньги, деньги и деньги, съ сознаніемъ, что безъ этихъ денегъ они, Ломовы, ничто...

И вотъ они теперь въ имѣніи. Все полученное ими въ будущемъ будетъ достояніемъ брата. Мало того, ему готовятъ невѣсту со средствами. Онъ, доставившій столько горя и отцу, и матери, и ей, будетъ богатъ, счастливъ, а она останется безприданницей, старой дѣвой. За нимъ даже бу-

дутъ теперь ухаживать, будутъ остерегаться раздражать его, такъ какъ именно онъ своею женитьбою можетъ окончательно поправить матерьяльное положеніе отца и матери. Ея лицо опять разгорѣлось отъ волненія. Ей казалось, что вотъ-вотъ явится онъ, ея братъ, и скажетъ:

— Здѣсь все мое, а ты здѣсь приживалка!

И даже не съ кѣмъ душу отвести: единственная знакомая семья здѣсь — Иволгины, ея враги, его друзья... А кто ей мѣшалъ сдѣлаться ихъ другомъ? Она упала на подушки и залилась слезами, чувствуя, что ее душитъ горькое сознаніе ложности, безысходности ея положенія...

Недолгая мгла весенней ночи между тѣмъ уже рѣдѣла. Гдѣ-то далеко запѣлъ вѣстникъ утра, пѣтухъ, на его голосъ откликнулся другой, третій. Началась перекличка. Въ незавѣшанныя окна блеснули первые лучи румяной зари...

КНИГА ВТОРАЯ.

I.

О Ломовыхъ нѣкоторое время говорилъ «весь Петербургъ», то-есть всѣ скучающіе и ищущіе развлеченій праздные люди...

Салонные вѣстовщики и вѣстовщицы объѣздили всѣхъ своихъ знакомыхъ, разнося слухи о внезапномъ разореніи Ломовыхъ. Объ этой новости говорили горячо день-другой и перестали. Тѣ же, а можетъ-быть, и другіе вѣстовщики и вѣстовщицы принесли въ салоны потомъ и другое извѣстіе о внезапномъ полученіи Ломовыми наслѣдства. Эта вѣсть приковала вниманіе общества нѣсколько сильнѣе, такъ какъ полученіе наслѣдства сопровождалось процессомъ, но, наконецъ, не стали говорить и о ней. Такъ говорятъ въ Петербургѣ о новой оперѣ, о послѣднемъ бенефисѣ въ Михайловскомъ театрѣ, о холерѣ въ Меккѣ, о землетрясеніи въ Америкѣ, о данной кѣмъ-то кому-то пощечинѣ. Новости смѣняются, какъ картинки въ китайскомъ фонарѣ, одна другою; ни одна изъ нихъ не оставляетъ серьезнаго впечатлѣнія, но чѣмъ ихъ больше, чѣмъ больше въ нихъ скандала и пикантности, тѣмъ веселѣе и разнообразнѣе зимній сезонъ. Ими наполняется вся жизнь бездѣльничающаго люда. Между двумя извѣстіями, касавшимися Ломовыхъ, прошло девять лѣтъ. Какъ пережились Ломовыми эти годы, что вынеслось семьею въ эти годы—объ этомъ никто не заботился, этимъ никто не интересовался. Связь «свѣта» съ Ломовыми обуславливалась только ихъ широкой жизнью. Когда Ломовы разорились—отъ нихъ быстро отшатнулись всѣ; когда они выиграли процессъ и получили наслѣдство—ихъ уже нельзя было найти въ Петербургѣ, такъ какъ они тотчасъ же уѣхали въ свое имѣніе. Для самихъ же Ломовыхъ въ этихъ девяти

годахъ сосредоточилась вся жизнь: все, что было до этой поры, отошло на послѣдній планъ; все, что могло произойти послѣ, должно было отнынѣ носить слѣды этого времени. Счастье, подобно здоровью, иногда исчезаетъ и забывается, какъ смутный сонъ; несчастіе, какъ тяжелый недугъ, всегда оставляетъ неизгладимые слѣды. Ломовы узнали эту истину не изъ прописей, а изъ жизненнаго опыта. Во всемъ Петербургѣ это сознавалъ теперь только одинъ человѣкъ. Онъ послѣ двухлѣтняго ареста выходилъ изъ дома предварительнаго заключенія.

Это былъ Романъ Ломовъ...

Весь Петербургъ былъ залитъ яркимъ свѣтомъ солнца. Конецъ весны напоминалъ самое жаркое лѣто. Зной былъ нестерпимый, и небо какъ бы побѣлѣло, накалившись отъ жара. Въ воздухѣ не было ни малѣйшаго движенія. Дома, мостовая, тротуары, все было раскалено. Асфальтъ на тротуарахъ размякъ и подавался подъ ногами пѣшеходовъ. Улицы затихли и какъ бы замерли на время. Рѣдкіе пѣшеходы шли, обливаясь пòтомъ, вяло и лѣниво, инстинктивно стараясь дѣлать поменьше движеній. Чувствовалось, что ихъ одежда липла къ тѣлу, смоченная пòтомъ. Извозчичьи лошади плелись шажкомъ, мѣстами точно облитыя водой, или стояли понуро, полудремотно жмурясь на солнце и нервно вздрагивая въ полуснѣ. Выйдя въ эту пору изъ тюрьмы и попавъ на улицу, Ломовъ почувствовалъ, что отъ этого солнца, отъ этого воздуха у него закружилась голова, все завертѣлось передъ его глазами, и онъ на нѣсколько минутъ остановился у стѣны, какъ пьяный, ищущій опоры. Онъ почти два года не былъ на улицѣ. Въ головѣ хаотически проносились обрывками болѣзненныя мысли. «Радоваться ли свободѣ? Не лучше ли было бы такъ и сгнить въ этой могилѣ? На что жить, когда нѣтъ ни привязанностей, ни надеждъ, ни грёзъ, ни способности къ самообману?» Еще вчера онъ давалъ себѣ слово замедлить въ тюрьмѣ, если ему объявятъ свободу, а сегодня онъ чуть не запрыгалъ отъ радости, когда ему объявили, что онъ можетъ идти... Чему обрадовался? Развѣ онъ жаждетъ жизни? Жить, ни на что не надѣясь, ни во что не вѣря,—развѣ это значитъ жить? Эти мысли прошли въ головѣ, какъ бредъ, какъ что-то безсознательное.

Отъ этого близкаго къ обмороку состоянія его пробудилъ заунывный, однозвучный голосъ, распѣвавшій гдѣ-то вверху, въ воздухѣ. Ломовъ поднялъ, какъ бы пробуждаясь отъ тя-

желаго сна голову: у одного изъ домовъ подъ самой крышей висѣлъ на легкой доскѣ маляръ; обмакивая въ ведро, привѣшенное къ доскѣ, большую кисть, онъ водилъ этой кистью по стѣнѣ, протяжно и тоскливо напѣвая:

«Чуже-даль-няя сто-ронка, чуже-даль-ня сто-ро-на».

Это была не пѣсня, это было хватающее за сердце безсознательное повтореніе одной и той же засѣвшей въ душѣ фразы, точно продолжительный стонъ. Вдругъ пѣніе оборвалось громкими словами пѣвца:

— Чортъ, дрыхнешь! Отдай веревку!..

Внизу на тротуарѣ что-то зашевелилось. Бѣлобрысый, вахлаcтый мальчуганъ въ грязной синей рубахѣ, смокшей отъ поту, только что начавшій прилаживать онучу къ разутой ногѣ, приподнялся и сталъ передергивать веревку. Маляръ наверху спустился нѣсколько ниже, крикнувъ:

— Довольно!

Мальчуганъ снова укрѣпилъ веревку внизу и сѣлъ на обрубокъ бревна, придерживавшій ее, принявшись равнодушно опять прилаживать онучу къ разутой ногѣ. Вверху опять послышалось протяжное:

«Чуже-даль-няя сто-ронка, чуже-даль-ня сто-ро-на».

Этой маленькой сценки было достаточно, чтобы въ головѣ Ломова вспыхнули, какъ пламя, мысли о его позорной слабости, о выносливости народа, о необходимости борьбы съ враждебными обстоятельствами, если хочешь что-нибудь сдѣлать въ жизни. Онъ вдругъ точно воскресъ подъ наплывомъ отвлеченныхъ, можетъ-быть, вычитанныхъ гдѣ-нибудь въ книжкѣ идей, какъ будто оживленный электрическимъ токомъ. Онъ отдѣлился отъ стѣны и зашагалъ впередъ, повторяя мысленно, что нужно бороться съ жизнью, не сдаваться безъ боя, побѣдить или пасть.

За минуту передъ тѣмъ, это былъ человѣкъ съ полнымъ упадкомъ силъ, теперь это былъ человѣкъ съ страшно возбужденными нервами. Такіе переходы повторялись у него постоянно. Но и въ упадкѣ силъ, и въ нервномъ возбужденіи сказывалась одна и та же болѣзненность.

Онъ зашагалъ по направленію къ набережной Невы, торопясь скорѣе на Петербургскую сторону, гдѣ онъ долженъ былъ провести въ домѣ дальней родственницы Иволгиныхъ день или два—какъ придется, смотря по обстоятельствамъ—до отъѣзда въ деревню. Его уже ожидала тамъ Вѣра Николаевна Иволгина, пріѣхавшая въ Петербургъ отчасти по

своимъ дѣламъ, отчасти за Наташей Сориной. Она привезла когда-то дѣвочку въ институтъ, и ей же приходилось взять ее обратно изъ института.

Невысокій ростомъ, стройный, тонкій въ кости, съ маленькими барскими руками и ногами, онъ былъ подвиженъ, какъ его отецъ, но гораздо граціознѣе послѣдняго. Его изжелта блѣдное лицо было не особенно правильно, но съ перваго взгляда на него онъ казался просто красавцемъ съ шапкой густыхъ, вьющихся черныхъ волосъ, съ вьющейся бородкой и усиками, съ тонкими бровями, съ длинными густыми рѣсницами, съ большими, быстро разгорающимися темно-сѣрыми глазами. Только всмотрѣвшись въ него, можно было замѣтить неправильность его нѣсколько толстаго носа, чрезмѣрную страстность губъ, конвульсивныя гримасы, проскальзывавшія по его лицу во время увлеченія чѣмъ-нибудь и крайнюю порывистость, лихорадочность движеній. Расшатанные жизнью нервы давали себя знать. Нужна была извѣстная привычка къ нему, чтобы говорить съ нимъ спокойно, такъ неожиданно вскакивалъ онъ съ мѣста во время разговоровъ, начиналъ быстро ходить по комнатѣ, внезапно снова садился. Въ сущности трудно было угадать, нужно ли говорить съ нимъ сидя, нужно ли ходить съ нимъ по комнатѣ во время бесѣды, такъ порывисты и непредвидѣнны были переходы отъ сидѣнья къ ходьбѣ и обратно. Онъ даже и не ходилъ, а метался по комнатѣ, если былъ возбужденъ сущностью бесѣды, а возбудить его могла всякая бесѣда, такъ какъ онъ все сводилъ тотчасъ же на общіе вопросы. Частныхъ вопросовъ для него не существовало. Сказать ему о какомъ-нибудь голодающемъ юношѣ—значило поднять вопросъ о положеніи учащейся молодежи, о спросѣ на трудъ интеллигентной силы, о пролетаріяхъ умственнаго труда; разсказать ему объ ушедшей отъ мужа женѣ—значило натолкнуть его на женскій вопросъ, на положеніе семьи, на происхожденіе проституціи. Въ этомъ сказывалась наслѣдственность: его отецъ тоже кипятился, подобно ему. Но говоренье отца было средствомъ для успокоенія всякихъ душевныхъ невзгодъ, говоренье же сына, наоборотъ, поднимало въ душѣ цѣлыя бури и дѣлало его еще болѣе несчастнымъ. Отецъ, казалось, выбалтывалъ все накипѣвшее въ душѣ, чтобы освободиться отъ этого бремени; сынъ же какъ будто только яснѣе сознавалъ и глубже чувствовалъ всякія неправды, высказавъ ихъ громко, обсудивъ ихъ вслухъ. Отсюда, можетъ-быть, происходило то, что когда по тону

его собесѣдниковъ вы угадывали, что и эти люди—дѣти нашего многоговорящаго вѣка—любятъ иногда поговорить въ свободный часъ «о матеріяхъ важныхъ»,—по его тону вы не безъ нѣкотораго недоумѣнія и страха угадывали, что онъ рѣшаетъ вопросы «жизни и смерти». Это была не простая привычка говорить—это была болѣзненная нервность страстной и безъ того натуры, нажитая въ теченіе тяжелыхъ лѣтъ...

Прошлое вставало теперь въ его памяти, по мѣрѣ того, какъ онъ проходилъ отъ Александровскаго моста къ Троицкому по набережной Невы, мимо цѣлаго ряда барскихъ домовъ. Почти въ каждомъ онъ былъ въ дѣтствѣ. Одѣтаго, какъ куколку, его привозили сюда въ модныхъ экипажахъ бонны, гувернеры, мать, отецъ. Кругомъ него слышался восторженный шопотъ:

— Что за прелесть Рома!

Мать не жалѣла ничего, чтобы сдѣлать его предметомъ удивленія и восторга; къ этому сводились всѣ ея стремленія. Онъ граціозно шаркалъ ножкою, съ изысканной вѣжливостью отвѣчалъ на вопросы по-французски, по-нѣмецки, по-англійски. Его лицо выражало серьезность, сознаніе своего достоинства.

— Дрессированная собачонка!—съ презрительной улыбкой пробормоталъ онъ.

Потомъ модные костюмы смѣнились мундирчикомъ правовѣда.

— Такой крошка и уже правовѣдъ!—восклицали знакомые.

Мать съ небрежной гордостью говорила:

— Онъ знаетъ гораздо больше, чѣмъ требуютъ тамъ!

Всходя на Прачешный мостъ, онъ мелькомъ взглянулъ въ сторону, на то блѣдно-зеленоватое зданіе, куда такъ часто онъ подъѣзжалъ на своихъ пони. Еще совсѣмъ мальчишка, онъ смотрѣлъ уже на всѣхъ свысока. Его уже занимали важные вопросы, въ родѣ вопроса о томъ, что кто-то изъ ихъ училища срамитъ ихъ мундиръ, ѣздя въ «конкѣ», или о томъ, гдѣ прилично и гдѣ неприлично служить, кончивъ курсъ. Онъ очень серьезно досадовалъ, что его отдали не въ лицей, такъ какъ ему хотѣлось быть «дипломатомъ». Эти воспоминанія пробудили въ немъ что-то въ родѣ отвращенія къ самому себѣ, къ «тогдашнему» самому себѣ.

Заворачивая на Троицкій мостъ, онъ вспомнилъ, какимъ

стыдомъ была полна его душа, когда онъ впервые свернулъ на этотъ мостъ пѣшкомъ, сказавъ товарищу, шедшему съ нимъ: «мнѣ сюда, мы уже перебрались на дачу, на острова». Товарищъ удивился: «неужели онъ идетъ пѣшкомъ на острова?» «Нѣтъ, онъ немного хочетъ прогуляться, потомъ поѣдетъ». Онъ тогда лгалъ; его семья была уже разорена, и они жили въ захолустьѣ въ Колтовской, на Петербургской сторонѣ, близъ Ждановки. Тогда онъ сознался бы легче, что онъ сдѣлался воромъ, чѣмъ въ томъ, что онъ сталъ чуть не нищимъ. Вспоминая это, онъ сознавался теперь передъ самимъ собою, что въ то время онъ пошелъ бы на всякую сдѣлку, лишь бы не быть нищимъ. Но онъ былъ еще слишкомъ малъ, чтобы его взялъ кто-нибудь на содержаніе или чтобы кто-нибудь ввѣрилъ ему могущія быть раскраденными деньги. Не будь онъ тогда ребенкомъ, онъ могъ бы сдѣлаться продажнымъ мужчиною, или воромъ. Такихъ продажныхъ мужчинъ и воровъ, гордо поднимающихъ голову передъ оборванцами, можно вѣдь встрѣтить на каждомъ шагу въ обществѣ. Нравственнаго закона, нравственныхъ чувствъ у него еще не было. Вмѣсто какихъ бы то ни было нравственныхъ правилъ, въ немъ было развито тогда только сознаніе, что «это не принято въ нашемъ кругу», «такъ неприлично себя держать», «что скажутъ объ этомъ», «какъ я покажусь въ такой одеждѣ». Его даже не пріучили любить кого-нибудь, что-нибудь, кромѣ самого себя и своего блестящаго положенія.

Въ эту роковую пору жизни онъ впервые смутно понялъ, что онъ не любилъ даже отца и мать, что онъ былъ какъ бы чужой для нихъ. Ихъ внезапное разореніе пробудило въ немъ не жалость къ нимъ, а злобу на нихъ, точно они обокрали его. Сердце, не умѣвшее любить, и дѣтскій умъ, не умѣвшій серьезно мыслить, не подсказали ему ничего, кромѣ того, что у него отняли его пони, его комфортъ, его удовольствія. Несчастія отца и матери онъ не понялъ. Онъ долго и упорно останавливался все на одной и той же мысли: «намъ все досталось отъ дѣда, а отецъ съ матерью все промотали; это мнѣ должно было достаться, а они все промотали». Онъ вдругъ сталъ рѣзокъ съ отцомъ и съ матерью сталъ непочтителенъ къ нимъ, дѣлалъ имъ сцены, по-дѣтски капризно, по-дѣтски нелѣпо.

Въ другое время они сдержали бы его однимъ словомъ, однимъ взглядомъ:

— Что съ тобой? ты забываешься!

Теперь было не до того, теперь у нихъ у самихъ разливалась желчь, портились характеры, терялось умѣнье владѣть собою. Это было страшное время пробужденія отъ свѣтлаго сна къ горькой отвратительной дѣйствительности.

Сначала между сыномъ и родителями были только мелкія столкновенія изъ-за пустяковъ. Мать, привыкшая видѣть сына изящнымъ красавчикомъ, замѣчала ему:

— На что похожи твои руки? Точно гусиныя лапы?

— А вы бы спросили, есть ли у меня перчатки,—рѣзко отвѣчалъ онъ.

— У тебя карманы и петли оборваны,—говорила мать.— Это неряшливость!

— Пригласите портного, а меня шить не учили,—отвѣчалъ онъ.

Отецъ какъ-то заговорилъ о товарищахъ Ромы: «что дѣлаетъ такой-то, какъ поживаетъ такой-то?»

Рома отрывисто отвѣтилъ:

— Почему я знаю, развѣ между нами теперь есть что-нибудь общее? Я радъ, когда я могу не встрѣчать ихъ, не говорить о нихъ, не думать о нихъ.

Отецъ по обыкновенію загорячился: «онъ, Рома, забываетъ, что они люди одного круга, что ему придется идти рука съ рукой съ этими людьми, что ихъ надо придерживаться». Сынъ въ свою очередь тоже загорячился и сказалъ:

— Я не такъ глупъ, чтобы не понимать нравственныхъ пощечинъ, и не такъ низокъ, чтобы превратиться въ пресмыкающееся.

Онъ былъ еще юнъ, но зналъ уже громкія слова, особенно на французскомъ языкѣ. Онъ ужъ читалъ классическія французскія драмы и видѣлъ въ театрѣ современныя французскія мелодрамы. Ему иногда казалось, что онъ герой изъ драмы Фелье «Le roman d'un jeune homme pauvre».

Все это были мелкія мальчишескія выходки барчонка, злившагося на необходимость ходить пѣшкомъ, оставаться безъ перчатокъ, смотрѣть на болѣе широкую жизнь товарищей.

Теперь Романъ Ломовъ вспоминалъ объ этой порѣ съ отвращеніемъ, съ гадливостью, сознавая, что именно въ то время, когда онъ говорилъ, что онъ еще не сдѣлался пресмыкающимся, онъ могъ дойти до всякаго нравственнаго паденія за удобства жизни. Дошелъ же онъ до того, что едва доучившимся, едва кончившимъ курсъ мальчишкою напился съ горя въ какомъ-то захолустномъ кабачкѣ на Вы-

боргскомъ трактѣ, около Ланского шоссе. Съ горя! Съ какого? Онъ шелъ по Каменноостровскому проспекту, а его обгоняли экипажъ за экипажемъ, несущіеся на острова, въ Ливадію, въ Аркадію, въ разные облагороженные кабаки. Онъ въ измятой коломянковой одеждѣ шелъ съ тоскою въ сердцѣ, куда глаза глядятъ, и очутился гдѣ-то въ простомъ загородномъ трактирчикѣ. Когда онъ пришелъ домой блѣдный, съ мутными глазами, мать воскликнула:

— Отъ тебя пахнетъ водкой и пивомъ?

— Мнѣ не на что пить шампанское,—съ цинизмомъ отвѣтилъ онъ.

Произошла дикая сцена взаимныхъ упрековъ. Потомъ онъ не разъ возвращался въ такомъ видѣ, но сценъ уже не происходило: онъ спѣшилъ улечься и заснуть; мать запиралась въ свою спальню и плакала. Онъ началъ не только пить, отъ времени до времени, но погрязать въ дешевомъ развратцѣ. Можетъ-быть, въ этомъ сказывалась неудовлетворенная дома потребность любви, ласки, нѣжности.

По его тѣлу пробѣгала теперь нервная дрожь при этихъ воспоминаніяхъ. Его охватывалъ страхъ при мысли, что все это можетъ снова повториться. Излѣчился ли онъ окончательно отъ этого въ послѣдніе два года страшнаго искуса, полнаго воздержанія?

Подъ наплывомъ тяжелыхъ думъ онъ прибавилъ шагу. Онъ входилъ теперь въ Александровскій паркъ. Видя вездѣ лежащихъ, сидящихъ или спящихъ на травѣ людей, пьяныя физіономіи гуляющихъ съ горя или бездѣлья мастеровыхъ и отекшія физіономіи оборванныхъ падшихъ женщинъ, пришедшихъ сюда съ голоду, слыша то тамъ, то тутъ площадныя любезности, дѣлаемыя другъ другу этими людьми, и такія же ругательства, вылетающія изъ устъ этихъ людей, Рома съ горькой улыбкой вспомнилъ, что именно въ этомъ жалкомъ пріютѣ голоднаго и холоднаго уличнаго разврата онъ сдѣлалъ первый шагъ къ перерожденію.

Разъ онъ въ лѣтнія вакаціи вышелъ изъ дому и прошелъ въ паркъ какъ-то безсознательно, безцѣльно, одиноко, спасаясь изъ дома отъ праздной болтовни отца, отъ празднаго молчанія матери. Онъ былъ одѣтъ въ потертое платье, не въ формѣ. Въ паркѣ онъ сѣлъ на скамью, разсѣянно смотря на людей, лежавшихъ на травѣ, на лысыхъ скатахъ крутыхъ береговъ рѣчки, огибающей крѣпость, на солдатика, тоскливо ходящаго взадъ и впередъ по валу за рѣчкою, подъ открытымъ небомъ, съ ружьемъ на плечѣ, быть-можетъ, съ тяжелыми

любимъ другъ друга и какъ-то не умѣемъ жить врознь. Сестра и замужемъ за однимъ изъ родственниковъ, за своимъ троюроднымъ братомъ.

— А я думалъ, что это именно ваше имѣніе подлѣ Ломовскаго.

— Да оно и было мое. Но я сестрѣ Вѣрѣ его отдалъ. Ей нужнѣе. Она меня только содержитъ, пока совсѣмъ на ноги встану. Впрочемъ, если бы вышелъ неудачникомъ, уголъ всегда нашелся бы. Навѣрное не выгнали бы. Наша семья немножко «сердечкины»...

По его лицу скользнула мягкая улыбка. Ему, видимо, было пріятно сознавать и сознаться въ томъ, что они «сердечкины», какъ онъ выражался.

— Немножко изъ чувствительныхъ: сердца просторныя, печени вовсе нѣтъ,—пояснилъ онъ.

Ѳеодоръ Романовичъ немного загорячился: у нихъ печени нѣтъ; вѣрно, не приходилось сталкиваться съ дѣйствительною жизнью; нужно пожить въ этой жизни, тогда и печень скажется, и желчь заговоритъ. Въ нашемъ обществѣ нѣтъ и не можетъ быть людей съ здоровой печенью, безъ желчи. Оно злитъ и бѣситъ на каждомъ шагу. Все въ немъ надо бы вверхъ дномъ переворотить, камня на камнѣ не оставить. Иволгинъ выслушалъ весь этотъ бурный потокъ рѣчей и сдержанно согласился:

— Да, мы лично на подножномъ корму все жили...

Но по его лицу скользнула едва замѣтная тѣнь, точно онъ не договорилъ чего-то такого, что на минуту сжало его сердце.

Ѳеодоръ Романовичъ, обрадовавшійся возможности поговорить съ новымъ человѣкомъ, продолжалъ все болѣе и болѣе горячиться, высказывая всѣ ужасы, происходящіе у насъ. Фрондерство у него въ то время уже вошло въ плоть и въ кровь. Особенно ужасно, когда человѣкъ падаетъ — изъ богача дѣлается бѣднякомъ, во вчерашнихъ друзьяхъ находитъ враговъ, вмѣсто хлѣба получаетъ камень. Тутъ вполнѣ можно узнать, каковы у насъ люди, чего стоитъ наше общество. Какъ вотъ въ такомъ положеніи не явиться печени, какъ въ такомъ положеніи не разлиться желчи.

— Ну, въ такомъ положеніи ужъ не до печени и не до желчи, — осторожно замѣтилъ Иволгинъ: — въ такомъ положеніи работа такъ умаетъ, что будешь думать только объ отдыхѣ да снѣ. Когда корабль гибнетъ, всякіе недуги забываются передъ вопросомъ: «какъ спастись?..»

— Балуете дѣвчонку!..

Ломовъ невольно обратилъ вниманіе на своего сосѣда. Это былъ довольно высокій и плотный юноша, съ густыми русыми волосами, съ здоровымъ цвѣтомъ лица, съ открытымъ взглядомъ голубыхъ глазъ. Такъ смотрятъ нерѣдко деревенскіе парни изъ хорошихъ семей, во взглядѣ что-то дѣтски застѣнчивое, въ улыбкѣ что-то женственное, во всей физіономіи много здоровья и бодрости, въ манерахъ есть угловатость, но она не лишена своеобразной граціи. Теперь юноша сидѣлъ, немного раскраснѣвшись и точно сконфузившись, глядя куда-то въ пространство помимо людей, какъ человѣкъ, сознающій, что надъ нимъ могутъ посмѣяться.

— Вы очень любите, вѣрно, дѣтей?—невольно спросилъ его Ломовъ.

Юноша точно упалъ съ неба на землю: казалось, онъ и не подозрѣвалъ, что онъ былъ на народѣ, что его слышали и видѣли. Онъ вдругъ нахмурился и отрывисто проговорилъ.

— Нервы порасшатались, ну, и сентиментальничаешь!

И точно желая оправдать себя, заторопился объяснить.

— Изъ нашего дома поденщица... ребенка даже негдѣ и не на кого оставить... А сама въ злой чахоткѣ, обречена на смерть...

На минуту онъ оборвалъ рѣчь. Потомъ искоса смущеннымъ взглядомъ окинулъ невзрачную одежду Ломова и какъ будто успокоился. Вѣроятно, сообразилъ, что этому можно говорить о бѣднякахъ. Не засмѣется. Доставъ изъ кармана портсигаръ и закуривая папиросу, онъ спросилъ:

— А вы тоже изъ учащихся?

— Правовѣдъ,—отвѣтилъ Ломовъ.

— Какъ-съ?—съ наивнымъ изумленіемъ спросилъ юноша и снова оглядѣлъ Ломова.

Ломовъ улыбнулся. Юноша вдругъ сконфузился, видя, что отъ вниманія Ломова не ускользнуло это осматриванье его одежды. Какъ пойманный врасплохъ школьникъ, онъ сталъ торопливо объяснять:

— Я удивился, что вы не въ формѣ... У васъ вѣдь тамъ форма?.. Да, да, конечно...

Ломовъ разсмѣялся.

— Какъ же можно въ формѣ сюда ходить! Неприлично!

И тутъ же добавилъ:

— А съ другой стороны она цѣлѣе будетъ...

Ему вдругъ захотѣлось похвастать своею бѣдностью по-

любимъ другъ друга и какъ-то не умѣемъ жить врозь. Сестра и замужемъ за однимъ изъ родственниковъ, за своимъ троюроднымъ братомъ.

— А я думалъ, что это именно ваше имѣніе подлѣ Ломовскаго.

— Да оно и было мое. Но я сестрѣ Вѣрѣ его отдалъ. Ей нужнѣе. Она меня только содержитъ, пока совсѣмъ на ноги встану. Впрочемъ, если бы вышелъ неудачникомъ, уголъ всегда нашелся бы. Навѣрное не выгнали бы. Наша семья немножко «сердечкины»...

По его лицу скользнула мягкая улыбка. Ему, видимо, было пріятно сознавать и сознаться въ томъ, что они «сердечкины», какъ онъ выражался.

— Немножко изъ чувствительныхъ: сердца просторныя, печени вовсе нѣтъ,—пояснилъ онъ.

Ѳеодоръ Романовичъ немного загорячился: у нихъ печени нѣтъ; вѣрно, не приходилось сталкиваться съ дѣйствительною жизнью; нужно пожить въ этой жизни, тогда и печень скажется, и желчь заговоритъ. Въ нашемъ обществѣ нѣтъ и не можетъ быть людей съ здоровой печенью, безъ желчи. Оно злитъ и бѣситъ на каждомъ шагу. Все въ немъ надо бы вверхъ дномъ переворотить, камня на камнѣ не оставить. Иволгинъ выслушалъ весь этотъ бурный потокъ рѣчей и сдержанно согласился:

— Да, мы лично на подножномъ корму все жили...

Но по его лицу скользнула едва замѣтная тѣнь, точно онъ не договорилъ чего-то такого, что на минуту сжало его сердце.

Ѳеодоръ Романовичъ, обрадовавшійся возможности поговорить съ новымъ человѣкомъ, продолжалъ все болѣе и болѣе горячиться, высказывая всѣ ужасы, происходящіе у насъ. Фрондерство у него въ то время уже вошло въ плоть и въ кровь. Особенно ужасно, когда человѣкъ падаетъ — изъ богача дѣлается бѣднякомъ, во вчерашнихъ друзьяхъ находитъ враговъ, вмѣсто хлѣба получаетъ камень. Тутъ вполнѣ можно узнать, каковы у насъ люди, чего стоитъ наше общество. Какъ вотъ въ такомъ положеніи не явиться печени, какъ въ такомъ положеніи не разлиться желчи.

— Ну, въ такомъ положеніи ужъ не до печени и не до желчи, — осторожно замѣтилъ Иволгинъ: — въ такомъ положеніи работа такъ умаетъ, что будешь думать только объ отдыхѣ да снѣ. Когда корабль гибнетъ, всякіе недуги забываются передъ вопросомъ: «какъ спастись?..»

— Ну, а вы ко мнѣ, — отвѣтилъ Ломовъ. — Нашъ домъ вонъ тамъ... съ зелеными ставнями...

Эта случайная встрѣча скоро забылась Ломовымъ. Но черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, въ одинъ изъ воскресныхъ дней, Ломовъ немного смутился, увидавъ этого юношу входящимъ къ нимъ въ домъ. Онъ немного поморщился: кто этотъ юноша — кто его знаетъ; какъ онъ послѣ столькихъ мѣсяцевъ вспомнилъ о немъ и зачѣмъ пришелъ—непонятное дѣло. Пріятное впечатлѣніе, оставленное имъ тогда, изгладилось; осталось одно сознаніе, что это «господинъ съ улицы». Тѣмъ не менѣе Ломовъ, по привычкѣ, усвоенной съ дѣтства, съ любезной улыбкой всталъ ему навстрѣчу. Юноша въ недоумѣніи остановился на порогѣ.

— Вы какъ здѣсь?—наивно спросилъ онъ.

Ломовъ усмѣхнулся.

— Это же наша квартира,—отвѣтилъ онъ.

— Вотъ-то не ожидалъ!—воскликнулъ гость.

— Да развѣ вы не ко мнѣ шли?

— Я къ госпожѣ Ломовой.

— Это моя мать.

— Ну, значитъ, судьба быть знакомыми. Позвольте отрекомендоваться: Борисъ Николаевичъ Иволгинъ. Мы вѣдь по веснѣ не сказали другъ другу даже своихъ фамилій. Сказали: «я вонъ тамъ живу», «а я вотъ тамъ, въ домѣ съ зелеными ставнями»,—и разошлись...

Онъ дружески пожалъ руку Романа и объяснилъ, что онъ познакомился съ его матерью въ институтѣ у Наташи. Романъ присмотрѣлся теперь къ его приличному виду, къ его умѣнью говорить. Онъ держалъ себя, какъ человѣкъ изъ порядочнаго общества, даже его курчавые волосы на этотъ разъ были откинуты очень красиво со лба, и Романъ Ломовъ только теперь вполнѣ разсмотрѣлъ нѣжное и красивое лицо здороваго блондина съ голубыми глазами. Иволгинъ представился Ѳеодору Романовичу.

— Вы изъ саратовскихъ? — спросилъ Ѳеодоръ Романовичъ.

— Я самъ изъ Орла, а въ Саратовской губерніи у моего дяди имѣніе,—отвѣтилъ Иволгинъ.

— Вы въ самомъ Орлѣ жили?—спросилъ Ѳеодоръ Романовичъ.

— Нѣтъ, пока отецъ былъ живъ, въ своемъ имѣніи больше жилъ,—отвѣтилъ Иволгинъ.—А теперь вся семья около сестры Вѣры пріютилась. Мы немножко черезъ мѣру

любимъ другъ друга и какъ-то не умѣемъ жить врознь. Сестра и замужемъ за однимъ изъ родственниковъ, за своимъ троюроднымъ братомъ.

— А я думалъ, что это именно ваше имѣніе подлѣ Ломовскаго.

— Да оно и было мое. Но я сестрѣ Вѣрѣ его отдалъ. Ей нужнѣе. Она меня только содержитъ, пока совсѣмъ на ноги встану. Впрочемъ, если бы вышелъ неудачникомъ, уголъ всегда нашелся бы. Навѣрное не выгнали бы. Наша семья немножко «сердечкины»...

По его лицу скользнула мягкая улыбка. Ему, видимо, было пріятно сознавать и сознаться въ томъ, что они «сердечкины», какъ онъ выражался.

— Немножко изъ чувствительныхъ: сердца просторныя, печени вовсе нѣтъ,—пояснилъ онъ.

Ѳеодоръ Романовичъ немного загорячился: у нихъ печени нѣтъ; вѣрно, не приходилось сталкиваться съ дѣйствительною жизнью; нужно пожить въ этой жизни, тогда и печень скажется, и желчь заговоритъ. Въ нашемъ обществѣ нѣтъ и не можетъ быть людей съ здоровой печенью, безъ желчи. Оно злитъ и бѣситъ на каждомъ шагу. Все въ немъ надо бы вверхъ дномъ переворотить, камня на камнѣ не оставить. Иволгинъ выслушалъ весь этотъ бурный потокъ рѣчей и сдержанно согласился:

— Да, мы лично на подножномъ корму все жили...

Но по его лицу скользнула едва замѣтная тѣнь, точно онъ не договорилъ чего-то такого, что на минуту сжало его сердце.

Ѳеодоръ Романовичъ, обрадовавшійся возможности поговорить съ новымъ человѣкомъ, продолжалъ все болѣе и болѣе горячиться, высказывая всѣ ужасы, происходящіе у насъ. Фрондерство у него въ то время уже вошло въ плоть и въ кровь. Особенно ужасно, когда человѣкъ падаетъ — изъ богача дѣлается бѣднякомъ, во вчерашнихъ друзьяхъ находитъ враговъ, вмѣсто хлѣба получаетъ камень. Тутъ вполнѣ можно узнать, каковы у насъ люди, чего стоитъ наше общество. Какъ вотъ въ такомъ положеніи не явиться печени, какъ въ такомъ положеніи не разлиться желчи.

— Ну, въ такомъ положеніи ужъ не до печени и не до желчи, — осторожно замѣтилъ Иволгинъ: — въ такомъ положеніи работа такъ умаетъ, что будешь думать только объ отдыхѣ да снѣ. Когда корабль гибнетъ, всякіе недуги забываются передъ вопросомъ: «какъ спастись?..»

Ѳеодоръ Романовичъ опять закипятился, доказывая «молодому человѣку» его неопытность, его незнаніе жизни. Въ чемъ же онъ находитъ несчастіе, если не въ этомъ переходѣ отъ богатства къ бѣдности, если не въ этомъ разочарованіи въ людяхъ? Это, и только это истинное бѣдствіе. Иволгинъ все тѣмъ же спокойнымъ и мягкимъ тономъ замѣтилъ:

— Мнѣ всего страшнѣе кажется семейный разладъ... когда нѣтъ точки опоры даже у себя въ домѣ, у своего очага... Тутъ и при богатствѣ люди бѣгутъ на сторону и въ какой-нибудь крестьянской средѣ доходятъ до разоренія, до опусканія рукъ...

Ѳеодоръ Романовичъ опять затараторилъ. Это пустяки. Ну, дружна семья, согласна, а если ѣсть нечего, что тогда изъ ея согласія? Что въ ея согласіи, если видишь общественное зло, разложеніе общества, если разочаровываешься во всемъ и во всѣхъ?

Онъ говорилъ много и спутанно, сбиваясь и захлебываясь: Иволгинъ уже не возражалъ ему и молчалъ съ разсѣяннымъ видомъ. Антонина Аркадьевна нѣсколько разъ пыталась прервать мужа, краснѣя за него, за эти изліянія, но попытки остановить его оказывались тщетными. Рома, между тѣмъ, начиналъ злиться, что отецъ завладѣлъ гостемъ; ему хотѣлось самому поговорить съ этимъ человѣкомъ, повыспросить его о многомъ. Онъ самъ не могъ дать себѣ отчета, что привлекаетъ его къ этому человѣку, тѣмъ не менѣе его влекло къ нему. Но Ѳеодоръ Романовичъ не выпускалъ изъ рукъ своей жертвы: онъ цѣлый вечеръ ораторствовалъ и горячился передъ «свѣжимъ человѣкомъ».

Послѣ чаю, Рома пошелъ провожать гостя, отправляясь въ училище. Онъ не выдержалъ и замѣтилъ:

— Досадно, что намъ не удалось поговорить...

Иволгинъ добродушно улыбнулся.

— Ну, въ другой разъ поговоримъ у меня...

И довольно мягко спросилъ Ломова:

— И вашъ отецъ таки-таки ничего и не дѣлаетъ, только говоритъ?

Ломовъ вспыхнулъ. Его смутила эта простая откровенность. Иволгинъ тотчасъ же поспѣшно проговорилъ:

— Вы меня простите! Онъ вашъ отецъ, вамъ это непріятно. Но... онъ самъ же жаловался на свое положеніе...

Онъ продолжалъ совсѣмъ сердечнымъ тономъ:

— Я гожусь вамъ въ старшіе братья и потому опытнѣе

васъ. Въ прошлый разъ тамъ, въ паркѣ, я уловилъ въ вашемъ собственномъ тонѣ нотку, показавшую мнѣ, что вы сердитесь на свою бѣдность...

— А развѣ этому нужно радоваться? — строптиво перебилъ Рома.

— Нѣтъ, не то... Но вы сердитесь и только?.. Это же дѣлаетъ и вашъ отецъ... Этимъ нельзя спастись ни отъ чего... можно сдѣлать только изъ жизни адъ...

Они поравнялись съ домомъ, гдѣ жилъ Иволгинъ.

— Вотъ и мое гнѣздо,—сказалъ Борисъ Николаевичъ.— Заходите какъ-нибудь ко мнѣ, я буду очень радъ...

Они простились.

Впервые въ эту ночь Романъ Ломовъ болѣе серьезно задумался о своей семьѣ, о себѣ, о выходѣ изъ тяжелаго положенія. Иволгинъ точно пробудилъ его отъ умственной спячки, далъ толчокъ его мозгу въ извѣстномъ направленіи...

Вспоминая о прошломъ, Романъ ясно сознавалъ, что въ то время онъ былъ обязанъ всѣмъ своимъ дальнѣйшимъ умственнымъ развитіемъ Иволгину. Юношѣ иногда въ тѣ дни Иволгинъ казался необыкновеннымъ человѣкомъ, чѣмъ-то недосягаемымъ. Въ сущности это былъ довольно обыкновенный человѣкъ по уму и способностямъ, но онъ былъ добръ, простъ, трезвъ. Отъ него самого и отъ образа его мыслей вѣяло счастливымъ завиднымъ здоровьемъ провинціала, сына деревни, ребенка изъ хорошей семьи. Подъ его вліяніемъ Романъ увидалъ, что стыдиться бѣдности глупо, что помочь себѣ въ нуждѣ, сидя сложа руки, нельзя, что заботиться о томъ, что скажутъ другіе, можно только тогда, когда дѣлаешь подлость, что кичиться ему вовсе нечѣмъ, такъ какъ въ сущности самый послѣдній чернорабочій и нужнѣе, и полезнѣе его, однимъ словомъ, онъ уразумѣлъ массу прописныхъ истинъ, но именно этихъ-то истинъ онъ и не зналъ прежде, хотя, можетъ-быть, и читалъ ихъ гдѣ-нибудь случайно. Подъ его же вліяніемъ онъ сдѣлался добрѣе, сталъ нѣсколько юмористически смотрѣть на свои мелкія невзгоды и на сѣтованія семьи, понялъ, что его сестра поступаетъ прекрасно, стремясь подготовиться къ труду, но что она, бѣдная, впадаетъ въ ошибку, сходясь по неопытности со всякими людьми. Вообще Иволгинъ все чаще и чаще говорилъ съ Романомъ о сестрѣ послѣдняго и иногда, заговоривъ о ней, ласкалъ Рому, какъ ребенка. Можетъ-быть, въ эти минуты, любуясь имъ, положивъ руку

на его плечо, онъ, Иволгинъ, воскрешалъ въ своей памяти черты этой дѣвушки. Юноша смутно угадывалъ любовь Бориса къ Нинѣ и, боготворя его, сердился на нее за то, что она не понимаетъ, не стоитъ этого человѣка. Именно въ эту пору Рома узналъ, что значитъ дружба, любовь, поэзія— цѣлый міръ неизвѣстныхъ ему прежде ощущеній, чувствъ, радостей...

Охваченный этими воспоминаніями, онъ дошелъ до дома, гдѣ когда-то жилъ Иволгинъ, гдѣ ждала его теперь Вѣра Николаевна Иволгина. Онъ позвонилъ, ему отперли двери, и черезъ нѣсколько минутъ его уже обнимали и цѣловали, какъ вернувшагося послѣ долгой разлуки родного, двѣ женщины. Одной было лѣтъ сорокъ пять, другой едва ли минуло восемнадцать лѣтъ. Это были Вѣра Николаевна Иволгина и Наташа Сорина.

II.

Въ домѣ, куда вступилъ Романъ Ломовъ, ему было знакомо все, начиная съ маленькой и толстой старушки хозяйки въ ея неизмѣнной ситцевой блузѣ на кокеткѣ, съ сѣдыми волосами, не покрытыми ничѣмъ и закрученными сзади въ маленькій узелокъ, и кончая допотопными слугами, мамками, няньками, лакеями. О нихъ старушка, обращавшаяся ко всѣмъ на «ты», говорила мягкимъ, нѣвучимъ голосомъ: «это, голубчикъ, все мои крѣпостные и дворовые, идти имъ некуда, вотъ они у меня и живутъ», а они, казалось, не умирали только ради того, чтобы не огорчить «матушку-барыню».

Старушка Анисья Гавриловна Аносова была вдовою заслуженнаго генерала изъ декабристовъ. По мѣсту рожденія москвичка, дочь старой дворянской семьи, жившей въ ладу съ народомъ уже потому, что средствъ было много и безъ лишнихъ поборовъ, притѣсненій и вымогательствъ, Анисья Гавриловна получила довольно серьезное образованіе, какимъ отличались въ то время нѣкоторыя изъ женщинъ ея круга. Доброта и снисходительность человѣка, сознающаго, что онъ поставленъ въ лучшее и счастливѣйшее положеніе, чѣмъ другіе, были ея отличительными чертами. Она сама шутливо замѣчала, что ей было бы стыдно быть злой. Она пережила множество перемѣнъ въ жизни и въ обществѣ, испытала потомъ много сердечнаго горя и сердечныхъ утратъ, была ходячею исторіею цѣлаго ряда событій и сумѣла, несмотря на всѣ перемѣны лицъ и вѣяній, удер-

жать за собой уваженіе людей самыхъ разнообразныхъ положеній, классовъ общества, направленій мысли. Одни говорили, что этому способствовалъ ея выдающійся умъ, другіе отыскивали въ этомъ доказательство ея хитрости, третьи приписывали это ея кротости. Дѣйствительно, кротость пережила въ старушкѣ всѣ остальныя особенности характера. Это была кротость стараго человѣка, сознавшаго, что есть въ мірѣ нѣчто высшее, чѣмъ наши мудрствованія, наши протесты, наши раздраженія, и смиренно преклонившагося передъ этимъ невѣдомымъ нѣчто — судьбою, предопредѣленіемъ, Богомъ. Съ обычной тонкой, едва уловимой, не то шутливостью, не то ироніей она говорила: «какъ проживешь чуть не сто лѣтъ, поневолѣ станешь философомъ». Сама о себѣ она говорила своимъ пѣвучимъ голосомъ, что она только совсѣмъ «простой человѣкъ». Эта простота сразу бросалась въ глаза въ ея обращеніи съ людьми, въ ея одеждѣ, въ ея обстановкѣ. «У меня, голубчикъ, все просто,— говаривала она постороннему человѣку, показывая свою квартиру: — потому что и сама я простой человѣкъ». Незнакомый съ нею человѣкъ, встрѣтясь съ нею впервые, могъ подумать, что онъ имѣетъ дѣло съ небогатенькой старушкой изъ мѣщанъ, если бы ея разговоръ не обличалъ въ ней много знающую и много читавшую личность. У нея была масса и вліятельной, и захудалой родни, хотя она давно похоронила своихъ сыновей, дочерей, внучатъ, и потому ея домъ вѣчно служилъ пристанищемъ для кого-нибудь, а ея руки, съ короткими пухлыми пальцами, вѣчно должны были вести обширную переписку,— одного изъ родныхъ приходилось пристроить, другому изъ родныхъ нужно было дать пространное наставленіе, третьяго изъ родныхъ необходимо было женить. Въ числѣ этихъ родныхъ были и Иволгины. Вѣра Николаевна постоянно останавливалась у старушки; Борисъ Николаевичъ прожилъ у старушки всѣ годы студенчества. Когда онъ сошелся съ Романомъ Ѳеодоровичемъ Ломовымъ, старушка пригрѣла послѣдняго, и онъ отдыхалъ у нея душою.

— Ну, здравствуй, здравствуй, птенчикъ изъ клѣтки, — поздоровалась она съ нимъ со своею добродушно-старческой шутливостью, подставляя ему къ губамъ руку и цѣлуя его въ лобъ. — Выпустули? Не попадайся больше! Въ чужое дѣло носа нечего совать. Ну, ихъ! Право, ну ихъ!.. Голоденъ? Нѣтъ? Ну, такъ и жди до обѣда. Помыться не хочешь ли?

— Да, освѣжусь немного,—отвѣтилъ Романъ.

— Освѣжись, освѣжись! — проговорила ласково старушка.

И, обернувшись къ старухѣ-служанкѣ, носившей въ домѣ названіе «няни», проговорила:

— Обѣдать-то, нянька, поскорѣй вели подавать, да когда придутъ изъ полиціи, доложи.

Всѣ удивились: кого ждетъ Анисья Гавриловна изъ полиціи? Старушка усмѣхнулась:

— Ахъ, дѣти, дѣти! Что-жъ вы думаете, такъ его и пустятъ безъ призора куралесить? Придетъ кто-нибудь изъ полиціи справиться деликатнымъ манеромъ, когда думаетъ господинъ Ломовъ уѣхать изъ Петербурга въ свое имѣніе. Государственнымъ человѣкомъ тоже сталъ птенчикъ-то. Теперь ужъ, поди, телеграфъ выстукиваетъ, все о немъ, о долгоязычникѣ. Я всѣ эти порядки-то знаю: Аносовы недаромъ исторію тоже въ теченіе полутора вѣка дѣлали, одни въ крѣпости сажали, другихъ самихъ туда запирали. Всего было за полтора вѣка. Все—смотря по времени.

Она вздохнула.

— Прежде только проще было, телеграфовъ не было, провожать бутырямъ такихъ-то, какъ Ромушка, приходилось, а теперь по телеграфу все, съ деликатностью... Многихъ такихъ-то изъ моего дома брали и ко мнѣ отпускали. Я человѣкъ простой, ко мнѣ всякіе шли... Разъ... время-то какъ летитъ! это чуть не сорокъ слишкомъ лѣтъ тому назадъ было... комендантъ крѣпости у меня въ гостяхъ сидѣлъ, а тутъ Николашу—племянника моего по брату—арестовать пришли. По дѣлу о дуэли замѣшанъ былъ, тогда бреттерство въ большой еще модѣ было, ну, а порядки были не нынѣшніе—строгіе...

Она усмѣхнулась опять:

— Къ ссылкѣ бѣдняжку приговорили, — для острастки, впрочемъ, только, потому всѣхъ тогда помиловали по этому дѣлу; а теперь онъ и самъ генералъ... Времена все разныя, голубчики. Мы, конечно, простые люди, въ сторонѣ стоимъ, со стороны смотримъ, намъ и странно какъ будто... А это—исторія!

Она погладила по головѣ Ломова.

— Вотъ и ты теперь изъ тюрьмы на поводьяхъ выпущенъ, чтобы не забрыкался, а, тамъ глядишь, тоже, можетъ-быть, генераломъ будешь... Ну, да я ужъ этого, голубчики, не увижу, усну...

Она иначе не говорила о смерти, какъ о снѣ. Она вздохнула и подняла поблекшіе глаза къ небу:

— Все человѣческая комедія, плачемъ, смѣемся, враждуемъ, любимъ, — уснемъ и конецъ... И что она значитъ, комедія-то эта, что значимъ мы всѣ, когда взглянешь туда, на это небо... Тамъ миріады звѣздъ, и каждая звѣздочка отдѣльный міръ со своею судьбою, со своею жизнью, съ тысячелѣтіями развитія, превращеній, переворотовъ... что же значитъ передъ этимъ наша человѣческая комедія?.. Бабочка — родилась, расправила трепещущія крылышки, покрасовалась минуту на солнышкѣ — и нѣтъ ея... нѣтъ, голубчики!

Она задумчиво усѣлась у окна, глядя на зеленѣвшій предъ окнами за Ждановкой Петровскій паркъ, гдѣ на берегу играли и рѣзвились дѣти, на голубое небо, гдѣ, казалось, каждый атомъ былъ озаренъ и согрѣтъ яркимъ солнцемъ теплой весны.

Рома прошелъ въ кухню мыть лицо. Онъ довольно быстро вернулся обратно, освѣжешный водой, немного разрумянившійся.

— Ну, омылся отъ тюремнаго праха? — пошутила старушка.—Теперь будь молодцомъ.

Онъ опять поцѣловалъ ея руку.

Вѣра Николаевна Иволгина, невысокая, коренастая и загорѣлая женщина, и Наташа Сорина, бѣлокуренькая и румяная дѣвушка, не утратившая даже въ институтѣ деревенской свѣжести и деревенскаго здоровья, уже разспрашивали Рому о годахъ тюремнаго заключенія. Онъ заговорилъ горячо и много не только по привычкѣ, но потому, что онъ такъ долго былъ лишенъ возможности говорить такъ, какъ бы хотѣлось.

— Меня арестовали совершенно неожиданно для меня самого, — говорилъ Ломовъ, отвѣчая на разспросы Иволгиной и Наташи. — Послѣ отъѣзда Бориса, я сблизился съ кружкомъ не только студенческой, но и другой молодежи; изъ нея-то и попались вмѣстѣ со мной очень многіе. Всѣхъ насъ захватили совершенно неожиданно и, можетъ-быть, всего неожиданнѣе былъ арестъ для меня.

— Да ты постой,—перебила его старушка Аносова:—ты съ этой молодежью что же затѣвалъ: комплотъ какой-нибудь устроить или книжку запрещенную прочитать? Вѣдь берутъ-то за разное.

— Я ничего не затѣвалъ, а что затѣвали они — я не

зналъ и въ этомъ-то и была вся моя бѣда, — отвѣтилъ Рома. — Болтался я среди разнаго народа и, слава Богу еще, что не по подозрѣнію въ какомъ-нибудь мошенничествѣ былъ взятъ. Хотя нелегко было и такъ. Нѣтъ ничего ужаснѣе, какъ поплатиться за что-то непонятное, несознанное, неизвѣстное. Правда, я говорилъ, можетъ-быть, нерѣдко крайне рѣзко, крайне раздражительно. Но кто же говоритъ теперь безъ желчи, безъ раздраженія обо всемъ, что дѣлается въ обществѣ? Мой отецъ—и тотъ протестуетъ, возмущается, требуетъ перемѣнъ. Не знаетъ самъ, какія перемѣны нужны, но все же кричитъ о нихъ. Тоже опасный человѣкъ!.. А я—я именно въ то время познакомился ближе или, лучше сказать, узналъ впервые вполнѣ жизнь нашего общества, положеніе дѣлъ, темныя стороны существующихъ человѣческихъ отношеній, воображалъ, что только у насъ и существуютъ всякіе безпорядки...

— Прежде только и зналъ, что безъ перчатокъ ходить неприлично,—вставила Аносова.

— Все это подняло во мнѣ цѣлую бурю вопросовъ, сомнѣній, раздраженій, — продолжалъ Ломовъ. — Я съ жадностью сталъ читать новыя книги, изслѣдованія, трактаты, Миллей, Дарвиновъ, Спенсеровъ, Боклей, Гартмановъ; я бѣжалъ къ товарищамъ спорить, обсуждать, искать отвѣтовъ. Вѣдь нельзя же было жить такъ, какъ жили отецъ, мать, негодующіе и безпомощные...

Старушка остановила его.

— Ну, хорошо, хорошо, такъ и будемъ знать, что комплотовъ ты не дѣлалъ, а читалъ книжки, пѣтушился и неудовольствія заявлялъ, а теперь говори по порядку, какъ васъ захватили. Не люблю я, когда скачутъ въ разсказѣ, сперва середину скажутъ, потомъ начало, а тамъ вдругъ и конецъ.

Романъ вздохнулъ, внезапно оборвавъ рѣчь.

— О, вамъ часто придется прерывать меня, — грустно сказалъ онъ. — За послѣдніе два года я началъ думать какъ-то... скачками и зигзагами. Начну объ одномъ, потомъ подвернется новая мысль, ухвачусь за нее, точно боюсь ее потерять, а тамъ...

Аносова ласково перебила его:

— Ну, это пройдетъ, голубчикъ, это отъ двухлѣтняго одиночества... Другіе, голубчикъ, что подолгу сидѣли, слова многія позабывали. Вотъ Батенковъ, съ нимъ это было. Ты-то, слава Богу, молодъ и сидѣлъ недолго...

Наташа тихо проговорила:

— Недолго! цѣлыхъ два года!..

Старушка взглянула на нее съ грустной улыбкой:

— Десятки лѣтъ, птичка, сидѣли иные. Вотъ почитай Сильвіо Пелико...

И положивъ свою руку на ея руку, закончила:

— Есть и такіе, что вся жизнь одно тюремное заключеніе, — живутъ на свободѣ, а жизнь хуже тюрьмы. Каждому своя доля, свой крестъ.

Романъ началъ разсказывать по порядку. Это была простая и старая исторія юноши, случайно познакомившагося съ опасными людьми, не будучи ихъ сообщникомъ, не раздѣляя и даже не зная вполнѣ ихъ убѣжденій. Чѣмъ менѣе зналъ онъ замыслы и планы своихъ случайныхъ знакомыхъ, тѣмъ страшнѣе отозвался на немъ арестъ. Его знакомые платились за что-нибудь, онъ ни за что, если не считать виною неосторожность неопытнаго и легкомысленнаго человѣка. Но оскорбляло не одно это подозрѣніе безъ вины, оскорбляло, можетъ-быть, еще болѣе то, что онъ два-три года чуть не ежедневно видѣлся, говорилъ съ людьми и, въ сущности, не зналъ, кто они, что они дѣлаютъ, какими средствами стремятся къ извѣстной цѣли. На допросахъ ему говорили, что онъ притворяется, скрытничаетъ, что онъ долженъ многое знать, посѣщавъ чуть не ежедневно всѣхъ этихъ людей. Его отрицаніямъ не вѣрили, и это было вполнѣ понятно, вполнѣ естественно. Допрашивающіе не знали, что онъ за человѣкъ, какъ на него смотрѣли его случайные знакомые, скорѣе опасавшіеся его, чѣмъ стремившіеся привлечь его къ себѣ. Послѣ допросовъ онъ мучился вопросами: почему онъ не былъ посвященъ ни во что? Вѣроятно, эти люди считали его полнѣйшимъ ничтожествомъ, ненадежнымъ? Можетъ-быть, они презирали его въ душѣ? Въ самомъ дѣлѣ, что онъ такое? Баринъ, бѣлоручка, избалованный человѣкъ и только. Но неужели же только? Неужели всѣ его стремленія и порывы къ добру и правдѣ только что-то напускное, простое щеголянье фразами? У него сердце разрывалось на части, ему хотѣлось крикнуть громко всѣмъ и каждому: «вы лжете, что это напускное, это мои плоть и кровь». Онъ почти ненавидѣлъ въ это время этихъ людей, не посвятившихъ его въ свои тайны. Потомъ наступила реакція, что-то подсказывало ему: да, они правы, ты фразеръ и больше ничего. Умѣешь говорить, а для какого бы то ни было дѣла нѣтъ ни силъ, ни выносливости, ни вы-

держки. Ему вспоминались мелочи его будничной жизни. Въ немъ развили въ дѣтствѣ брезгливость, но для чистоплотности ему нужны были слуги. Набить себѣ сотню папиросъ за разъ и прибрать оставшуюся пыль, на это у него не хватало терпѣнія, и цѣлые дни у него всюду валялись гильзы, былъ разсыпанъ табакъ. Разсчитать, что ему нельзя лечь спать въ дневной сорочкѣ, такъ какъ она должна служить и завтра, это ему приходило въ голову только тогда, когда по утру онъ видѣлъ, что сорочка грязна и измята, а чистой нѣтъ. Вставъ утромъ, онъ забывалъ прибрать постель, точно кто-то другой придетъ сдѣлать это, но этотъ другой не приходилъ, и постель оставалась въ безпорядкѣ. Мало-по-малу его комната приняла отвратительный видъ безпорядка и опротивѣла ему, барчуку, но этотъ безпорядокъ не пріучилъ его дѣлать все то, что прежде за него дѣлали другіе. Вспоминая эти мелочи, онъ думалъ: гдѣ же мнѣ дѣлать какое-нибудь болѣе крупное дѣло, когда я не способенъ былъ даже свою жизнь устроить такъ, какъ хотѣлось бы; слуги нужны, нужны люди, которые все дѣлали бы за меня, а я только удобствами пользовался бы.

Въ этотъ страшный періодъ смутныхъ душевныхъ волненій онъ дошелъ до того, что съ нимъ сдѣлалась нервная горячка...

— Трудно понять, до какого душевнаго состоянія дошелъ я, но вотъ фактъ, — въ волненіи разсказывалъ Романъ.— Въ углу около окна моей кельи большой паукъ раскинулъ паутину. Я сталъ по цѣлымъ часамъ наблюдать за его тонкой работой, стараясь ни о чемъ не думать, стараясь успокоить свои нервы. Какъ-то инстинктивно я угадывалъ, что я сойду съ ума, если буду думать все въ томъ же направленіи, все о себѣ и только о себѣ. Мнѣ казалось, что эти наблюденія за паукомъ спасутъ меня. Въ одинъ прекрасный день около паутины стала летать большая осенняя муха. Ее немолчное жужжанье мало-по-малу начало раздражать мои больные нервы. Я ощущалъ какое-то новое чувство въ эту минуту, чувство злобы на эту муху, нарушавшую мое спокойствіе. Я попробовалъ лечь и забыться сномъ. Сонъ бѣжалъ отъ глазъ, и я сознавалъ, что мнѣ мѣшаетъ спать именно жужжанье этой мухи, ея перелеты отъ меня къ окну и отъ окна ко мнѣ. Не будь ея,—я спалъ бы совершенно спокойно. Я ворочался съ боку на бокъ, а жужжанье все не смолкало. Возбужденный, я вскочилъ и побѣжалъ къ окну. Паукъ сидѣлъ въ серединѣ своей паутины

и, повидимому, тоже сторожилъ эту муху. Я началъ ее ловить, мечась за нею съ какимъ-то бѣшенымъ остервенѣніемъ. Наконецъ, мнѣ удалось ее поймать и я со злобой, ругаясь вслухъ, швырнулъ со въ паутину. Паукъ въ испугѣ отскочилъ въ сторону, а муха забилась, запутавшись въ паутинѣ. Ея жужжанье приняло, какъ мнѣ показалось, какой-то тревожный жалобный характеръ. Прошло нѣсколько мгновеній, и паукъ, оправившись отъ испуга, бросился на свою жертву. Я усталый, съ проступившимъ на лбу потомъ, наблюдалъ. Наконецъ, мнѣ показалось, что муха жалобно застонала. охваченная паукомъ. Я, казалось мнѣ, видѣлъ ея послѣднія предсмертныя муки, и по моему тѣлу пробѣжала странная дрожь, точно я сдѣлалъ преступленіе. «И за что, за что это?—спрашивалъ я себя.—Помѣшала! Самъ въ тюрьмѣ, а вотъ что дѣлаю!» Я вдругъ нервно, какъ больной ребенокъ, началъ рыдать, потомъ внезапно вскочилъ, сорвалъ паутину, растопталъ ногами и муху, и паука, затѣмъ быстро бросился снова на койку. У меня горѣла голова, мысли мутились. Я съ какимъ-то ужасомъ глядѣлъ на полъ, гдѣ только-что успѣлъ растоптать этихъ насѣкомыхъ. Мнѣ казалось, что на полу остались ихъ слѣды, слѣды крови. Я провелъ рукой по головѣ. Меня что-то душило. Воротъ рубашки давилъ горло. Я началъ его тянуть, рвать. «Убійца! Убійца! Злодѣй!» — шепталъ я безсознательно, а передъ моими глазами спускался громадный паукъ съ мухою въ лапахъ. Я попробовалъ отмахнуться отъ него рукою, но силъ уже не было. Я хотѣлъ крикнуть, но въ горлѣ было сухо. Я закрылъ глаза и впалъ въ забытье...

И вдругъ, неожиданно оборвавъ себя, онъ съ ѣдкою горечью добавилъ:

— Можетъ-быть, нервы менѣе были бы разстроены, если бы прежде я не пріучилъ себя успокаивать ихъ иногда пьянствомъ...

Въ комнатѣ воцарилось молчаніе.

Романъ минутъ пять говорилъ сидя, потомъ, уже охваченный волненьемъ, онъ вскочилъ съ мѣста и сталъ разсказывать, ходя по комнатѣ. Было нѣсколько тяжело смотрѣть на него, какъ онъ по привычкѣ ходилъ большею частью не взадъ и впередъ, а кружился почти на одномъ мѣстѣ, нѣсколько заплетая ногами и раскачиваясь туловищемъ — это были еще слѣды тюремной кельи. Наконецъ, старушка Аносова немного спустя послѣ окончанія его разсказа, мягко замѣтила ему:

— Ты бы, голубчикъ, вдоль комнаты ходилъ, а то голова закружится такъ-то.

Онъ очнулся и съ грустной улыбкой отвѣтилъ:

— Въ два года привыкъ...

— Знаю, знаю! Саша, внукъ мой... уснулъ онъ ужъ теперь, несчастный... послѣ того, какъ по дѣлу ста девяносто трехъ попался, тоже по выходѣ изъ-подъ ареста такъ же сначала кружился, долго не могъ отвыкнуть...

У Наташи перехватило дыханіе. Ей стало такъ жаль Гому, какъ матери бываетъ жаль больного ребенка. Она порывисто встала и отвернулась къ окну, чтобы скрыть душившія ее слезы. Аносова кивнула присутствующимъ головою въ ея сторону и махнула рукой Ломову, какъ бы прося его прекратить разсказъ. Рома умолкъ и подошелъ къ Наташѣ.

— Наташа, полно!—ласково проговорилъ онъ.

Она сквозь слезы прошептала:

— Это ужасно, такъ ни за что столько вынесъ...

— И всѣ въ мірѣ, Наташа, ни за что выносятъ и горе, и невзгоды, — мрачно сказалъ онъ. — Это участь людей. Жизнь—долгая пытка невинныхъ.

Онъ обнялъ ее за талію, она припала къ его плечу головой, все еще продолжая плакать.

— Теперь всѣ, всѣ мы должны тебя беречь, — полудѣтскимъ тономъ заговорила она:—чтобы ты все забылъ...

Онъ усмѣхнулся.

— Тюрьму-то — эту несчастную случайность, это бревно на ровномъ пути,—я завтра же забуду, а что привилось до кея, что передумалось въ ней—это не забудется...

Нянька пришла сказать, что обѣдъ поданъ. За обѣдомъ заговорили о деревнѣ. Романъ замѣтилъ:

— Съ страннымъ чувствомъ я ѣду теперь въ деревню. Точно на смерть, въ могилу...

— Что это ты, Рома!—воскликнула Наташа.—Наше-то Ломовское—могила.

— Да, ты помнишь, съ какимъ восторгомъ я вырывался туда съ тобою два лѣта подъ рядъ, а теперь... уже одно сознаніе, что я не буду имѣть права оттуда выѣхать въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, отравитъ все. Все будетъ казаться, что я въ тюрьмѣ...

Наташа перебила его.

— Ну, если и въ тюрьмѣ, то съ нами вмѣстѣ. Мы всѣ, всѣ вѣдь будемъ около тебя!

— Да, да, всѣ,—задумчиво проговорилъ онъ.—Это значительно облегчитъ пребываніе тамъ... Но что я буду дѣлать? Едва ли мнѣ будетъ доступна какая-нибудь дѣятельность. Вѣдь и на это придется спрашивать позволеніе. Всю жизнь я самъ себѣ искалѣчилъ. А главное: на что я способенъ, на что годенъ тамъ?..

Старушка Аносова перебила его:

— Не думай ты о будущемъ впередъ, придетъ оно само собою... Я вотъ съ молодости пріучила себя не думать о завтрашнемъ днѣ, потому что онъ всегда бываетъ не такимъ, какимъ его воображаешь наканунѣ. И какимъ его ни представляй—всегда обманешься и разочаруешься. Что же лишнее-то горе себѣ создавать?.. Горя и такъ много. Жизнь—тяжелый крестъ для всѣхъ, кто думаетъ и чувствуетъ... Ты вотъ говоришь, что тебя тяжелая жизнь ждетъ. Что-жъ, одного тебя она ждетъ?

Она обернулась и указала на Вѣру Николаевну.

— Ты вотъ спроси Вѣрочку, легко ей было пережить эти три года? Сперва мать и сестра умерли. Потомъ въ недѣлю мужа и сына потеряла, одна осталась. Ты говоришь, у тебя теперь дѣятельности не будетъ. У нея если и будетъ дѣятельность, если и есть дѣятельность, такъ всегда есть и сознаніе: «для кого, для чего?» Нѣтъ тѣхъ, кто бы ободрилъ на эту дѣятельность, кто бы порадовался ей. А живетъ, будетъ жить!

И съ чисто-материнской нѣжностью доброй старухи она привѣтливо улыбнулась Вѣрѣ Николаевнѣ.

— Ты спроси ее, что я ей написала послѣ ея потерь: сперва она покончить съ собой хотѣла, потомъ въ монастырь хотѣла идти, а я ей написала: «голубка моя, что же останется дѣлать народу, у котораго такое-то горе, какъ твое, только царапинами считается?» И задумалась она, и покорилась она, и взяла свой крестъ... А вотъ теперь, смотри, бодрая, живая, любящая попрежнему, живетъ, не имѣя своей семьи, для большой семьи, для людей... Спроси бабъ въ деревнѣ и ребятишекъ, всѣ за Вѣрочку Бога молятъ; спроси Наташу, почему она Ломовское особенно любитъ,—потому что въ немъ Вѣрочка живетъ...

Наташа потянула къ себѣ Вѣру Николаевну и звонко поцѣловала ее. Старушка засмѣялась.

— Видишь, поцѣлуями платитъ: та для нея и ей подобныхъ жить осталась, а онѣ ей ласками платятъ... И дешево, голубчикъ, и дорого... кто какъ цѣнитъ...

И уже совсѣмъ шутливымъ тономъ, уловивъ выраженіе лица Ромы, она добавила:

— Ну, сейчасъ распѣтушится нашъ Ромушка и заговоритъ, что люди чаще всего черною неблагодарностью платятъ...

Всѣ разсмѣялись, и даже Романъ не воздержался отъ улыбки.

Старушка похлопала его по рукѣ своею пухлою рукой съ короткими пальцами:

— Такъ вѣдь, голубчикъ, хотѣлъ это мнѣ, старухѣ, замѣтить?

Онъ утвердительно кивнулъ съ улыбкою головой. Она совсѣмъ серьезно и наставительно замѣтила ему:

— Никогда шагу не дѣлай въ расчетѣ на отдачу съ процентами. Ростовщичество—послѣднее дѣло.

И снова, впадая въ шутливый тонъ, она заговорила:

— У меня вотъ моя belle-mère, вольтерьянка екатерининскихъ временъ, всегда передъ новымъ годомъ и передъ святой въ монастырь на богомолье ѣздила. Принесутъ ей это лакеи стуликъ складной въ церковь, коврикъ передъ нею разстелютъ, станетъ она на колѣни и молится всю обѣдню на французскомъ діалектѣ, а сама въ полголоса шепчетъ: «ты видишь, Господи, я молюсь, молюсь». И потомъ очень сердилась и дулась на Господа Бога, если ея мужу не давали къ празднику ордена, чина или аренды.

Наташа засмѣялась дѣтскимъ, безпечнымъ смѣхомъ и пристала къ «бабушкѣ», какъ всѣ звали Аносову, чтобы она разсказала что-нибудь еще. Аносова была ходячею исторіею нашего прошлаго. Обладая обширною опытностью и свѣжею памятью, она не безъ своеобразнаго юмора умѣла разсказывать о прошлыхъ временахъ, событіяхъ, лицахъ. Давно уже она писала свои мемуары или, какъ она говорила, «лѣтопись». Подшучивая надъ Наташей, что та «еще сказки любитъ», Аносова заговорила о прошломъ и въ этихъ разсказахъ, точно подъ чтеніе вслухъ, незамѣтно прошелъ вечеръ. Разсказы старушки навѣяли на всѣхъ тихое и мирное настроеніе, точно перенесли всѣхъ далеко-далеко отъ настоящаго дня, отъ ихъ личныхъ мелкихъ и крупныхъ печалей.

Весь охваченный этимъ тихимъ настроеніемъ, Романъ прошелъ послѣ вечерняго чая спать въ отведенную ему комнату.

Эта комната была давно знакома ему: ее когда-то зани-

малъ Иволгинъ. Въ ней было все по-старому, та же старая мебель краснаго дерева, тѣ же большіе образа съ теплющеюся передъ ними лампадою. Но было только книгъ, человѣческихъ костей, черепа на письменномъ столѣ. Романъ, войдя въ нее, невольно вспомнилъ стихи Огарева:

Въ этой комнаткѣ счастье былое,
Дружба свѣтлая выросла тамъ...

Онъ подошелъ къ окну, распахнулъ его, засмотрѣлся на охваченный вечерними тѣнями Петровскій паркъ съ широкоразросшимися вдоль берега кустами, и въ его памяти воскресъ другой вечеръ...

Разъ, черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ вступленія Иволгина въ домъ Ломовыхъ, Рома провожалъ Бориса Николаевича. Они дошли до небольшого дома-особняка.

Иволгинъ остановился.

— Я здѣсь живу. Вы спать не хотите? Нѣтъ? Ну, такъ зайдемте ко мнѣ. Вы еще ни разу не были у меня.

Они зашли въ небольшую чистенькую квартирку въ этомъ деревянномъ домѣ. Служанка, отворившая имъ дверь, посвѣтила имъ, пока они пробирались по коридору, заставленному кованными сундуками съ большими шкапами, къ комнатѣ Иволгина. Это была просторная, скромно обставленная комнатка съ желѣзной кроватью у стѣны, съ старинными темными образами въ углу, съ двумя окнами на Ждановку. Иволгинъ распахнулъ окно.

— Чудная ночь!—сказалъ онъ, глядя въ бѣловатое пространство.—Я страстно люблю эти сѣверныя бѣлыя ночи: онѣ не навѣваютъ мнѣ сладкихъ грёзъ, онѣ не приводятъ меня въ веселое настроеніе, онѣ какъ-то щемятъ сердце, а, между тѣмъ, я люблю ихъ. Въ этой бѣлой фантастической мглѣ, въ этомъ «ни день, ни ночь, ни свѣтъ, ни тьма» въ душѣ ощущается какая-то безотчетная кроткая грусть, и въ головѣ тихо развиваются думы о жизни, о людяхъ, о прошломъ, о будущемъ...

Рома до этой поры никогда не задавалъ себѣ вопроса, любилъ ли онъ эти ночи или нѣтъ. Да и никто въ его семьѣ не интересовался подобными вопросами. Имъ, петербуржцамъ, окруженнымъ блескомъ роскоши, вращавшимся въ большомъ свѣтѣ, была совершенно чужда природа; никогда ея власть не отражалась на ихъ настроеніи, на ихъ характерѣ. Они гуляли въ условное время лѣтомъ, по подчищеннымъ прямолинейнымъ аллеямъ петергофскаго сада, они ѣздили въ извѣстную опредѣленную пору весною на

«Стрѣлку», они въ назначенные часы проходили зимою по Дворцовой набережной, они знали, что лѣтомъ тепло и бываютъ иногда дожди, а зимой холодно и бываетъ иногда снѣгъ,—и только. Правда, иногда у нихъ говорили о погодѣ, и говорившіе о ней были самыми смѣшными людьми, такъ какъ говорилъ о погодѣ только тотъ, кто уже ни о чемъ больше не умѣлъ говорить. Надъ этими людьми подтрунивали: «придетъ и начнетъ говорить о погодѣ». Болѣе умные умѣли говорить о послѣднихъ модахъ, о балахъ и спектакляхъ, о великосвѣтскихъ сплетняхъ... Рома стоялъ у окна, около присѣвшаго на подоконникъ Иволгина. Въ окно плылъ мягкій теплый воздухъ. Кругомъ было тихо и безмятежно. Все было залито какимъ-то бѣлесоватымъ волшебнымъ свѣтомъ, точно внизу у подножія деревьевъ разлилось расплавленное серебро, мерцающее и сверкающее... Впервые въ жизни, Ломовъ почувствовалъ прелесть этой тишины, этого покоя природы. Иволгинъ обратился къ нему, молча взялъ его за руку и мягко проговорилъ:

— Простите, что я врываюсь въ вашу душевную жизнь, но мнѣ кажется, что вы, какъ и ваша бѣдная сестра, очень несчастны.

На мгновенье лицо Ромы вспыхнуло румянцемъ, его рука дрогнула въ рукѣ Иволгина. Юноша почувствовалъ почти обиду, такъ непривычно было для него, чтобы кто-нибудь посторонній смѣлъ говорить ему о ихъ положеніи. Но это ощущеніе длилось только нѣсколько мгновеній. Иволгинъ удержалъ его руку въ своей рукѣ, крѣпко и дружески пожавъ ее.

— Я говорю не о вашемъ матеріальномъ положеніи, а о томъ, что вы съ сестрою очень одиноки въ семьѣ...

И, притянувъ его ближе къ себѣ, онъ продолжалъ:

— Вотъ вашъ отецъ все говоритъ объ ужасахъ превращенія богача въ бѣдняка, о разочарованіи въ мнимыхъ друзьяхъ, о печени и желчи... Все это пустяки, когда люди живутъ въ своей семьѣ, въ извѣстномъ кружкѣ полною сердечною жизнью, имѣютъ спасительныя привязанности, безъ чего жизнь сущій адъ...

И, продолжая сидѣть на подоконникѣ, держа руку Ромы, онъ заговорилъ о любви, какъ онъ понималъ ее. Онъ съ дѣтства росъ въ любящей семьѣ; его мать была всегда хорошей помѣщицей; когда настало время освобожденія, крестьяне не спорили съ ней, она не спорила съ ними; такъ они и остались въ деревнѣ, какъ въ своей семьѣ. Матери

нелегко было охранить дѣтей отъ разныхъ огорченій, потому что—несчастныя случайности бываютъ вездѣ—у нихъ были тоже темныя стороны въ домашней обстановкѣ. Иволгинъ не сказалъ, какія были эти темныя стороны, ему не хотѣлось говорить, что у него былъ отецъ-тиранъ, развратникъ, пьяница, одинъ изъ деспотовъ и самодуровъ, являющихся бичами въ родной семьѣ и среди подвластныхъ имъ людей. Иволгинъ только замѣтилъ коротко, что у его матери достало силъ защитить дѣтей отъ всякой грязи и распущенности, отъ дурныхъ примѣровъ и безсердечія. Это былъ подвигъ всей ея жизни, не случайное геройство, а тяжелое подвижничество, продолжавшееся изо дня въ день многіе годы. Ей помогли въ этомъ случаѣ и ея собственныя нравственныя и умственныя силы, и нравственная поддержка Анисьи Гавриловны, и, наконецъ, любовь дѣтей.

— Мать страдала, но она спасла насъ отъ нравственныхъ страданій, — сказалъ онъ: — и научила насъ любить людей, прежде чѣмъ мы научились ихъ ненавидѣть...

Это положеніе развило въ немъ любовь ко всѣмъ, къ матери, къ сестрамъ, къ крестьянамъ, къ родинѣ, къ родной природѣ, ко всему, что говорило ему объ этихъ предметахъ—къ крестьянской пѣснѣ, къ русской поэзіи, къ русской литературѣ. Съ этой любовью онъ вошелъ въ свѣтъ — и что бы ему ни пришлось испытать въ жизни, онъ, вѣроятно, перенесетъ все если не спокойно, то стойко.

— Въ вашей семьѣ, — закончилъ онъ: — кажется, менѣе всего развитъ этотъ элементъ любви ко всему, что слѣдуетъ любить... Я замѣтилъ это по вашей сестрѣ, она какъ-то пугливо сторонится отъ малѣйшей попытки къ сближенію.

Онъ вздохнулъ.

— Бѣдная дѣвушка! Присматриваясь къ ней, видишь, какъ она стремится выбиться на новую дорогу, стать самостоятельно на ноги, превратиться въ иное существо. Природа дала ей много; житейскія условія не только не дали ничего, но и были направлены къ тому, чтобы убить данное природою... Именно теперь ей нужна бы поддержка любящаго друга... Къ несчастію, она, какъ лепестки «не тронь меня», сжимается отъ перваго прикосновенія... Ей не внушили съ дѣтства вѣры въ ближнихъ, жажды ихъ любви, порывовъ къ ихъ участію.

Онъ заговорилъ о томъ, что нѣтъ ничего болѣе отраднаго, какъ участіе ближнихъ. Романъ изумился. Онъ всегда считалъ, что его унижаютъ, когда хотятъ доставить ему удо-

вольствіе, помочь ему. Упорно скрывать свои огорченія и печали отъ всѣхъ — этому учили его съ дѣтства, объясняя ему, что это значитъ «дорожить своимъ достоинствомъ». Иволгинъ теперь говорилъ ему, что нѣтъ ничего отраднѣе, какъ имѣть возможность поддержать ближняго и знать, что ближній поддержитъ тебя самого. Онъ притянулъ еще ближе къ себѣ Рому и нѣжно поцѣловалъ его.

— Я былъ бы счастливъ, если бы вы видѣли во мнѣ такого друга и были въ свою очередь такимъ другомъ для меня,—сказалъ онъ.

И, всматриваясь въ лицо Ромы, въ раздумьи, какъ бы про себя, проговорилъ:

— Странно, иногда вы кажетесь мнѣ замѣчательно похожимъ на вашу сестру, иногда же — въ васъ нѣтъ ничего общаго... Какъ былъ бы я счастливъ, если-бы и вы, и она поняли, что я искренно привязался къ вамъ, что я желаю вамъ обоимъ добра...

Когда поздно ночью Рома вышелъ отъ Иволгина, онъ былъ въ какомъ-то чаду; онъ узналъ въ эту ночь о массѣ новыхъ вещей: онъ и не подозрѣвалъ прежде о ихъ существованіи. Семейныя привязанности, настолько сильныя, что ради нихъ люди готовы жертвовать собою; родной народъ, кормящій всѣхъ въ потѣ лица и заслуживающій того, чтобы каждый честный человѣкъ посильно работалъ въ свою очередь для него; родныя поэзія и литература, такъ или иначе будящія честныя и добрыя чувства въ людяхъ; прелести родной природы, волнующія сердца и фантастическими бѣлыми ночами сѣвера, и волшебными, звѣздными, прозрачными въ самой своей тьмѣ ночами юга, все это охватило его въ разсказахъ Иволгина какимъ-то новымъ вѣяніемъ, новой жизнью, гдѣ не играли никакой роли кровныя лошади, модные экипажи, богатыя палаты, мелкія будничныя лишенія, условности искусственно-созданной кастовой жизни.

Довольно скоро понялъ Рома, что часть ласкъ, часть нѣжности со стороны Иволгина относится не къ нему, а къ его сестрѣ, что молодой человѣкъ страстно влюбленъ въ Нину, но это не охладило Рому къ Иволгину, а только пробудило въ немъ негодованіе на сестру. Какъ то она не можетъ понять, что тотъ безъ ума отъ нея? Разъ онъ сказалъ ей, что Иволгинъ влюбленъ въ нее. Она насмѣшливо отвѣтила, что ей странно, какъ можетъ Иволгинъ избирать своимъ повѣреннымъ «мальчишку». Рома разгорячился: Иволгинъ

никогда не избиралъ его повѣреннымъ. Онъ самъ это угадалъ. Да это и она видитъ. Но она бездушная кокетка и больше ничего. Сестра прикрикнула на дерзкаго мальчишку. Какъ онъ смѣетъ это говорить? И что такое Иволгинъ? Студентъ? Провинціалъ? Даетъ ей туда же совѣты! Хочетъ быть руководителемъ ея! Что онъ самъ знаетъ? Кончилъ курсъ гдѣ-то въ гимназіи, рѣжетъ теперь трупы и воображаетъ себя ученымъ.

— Да въ его мизинцѣ больше ума и чувства, чѣмъ во всей тебѣ, — запальчиво разругался Рома. — Развѣ у тебя есть душа? Развѣ у тебя есть сердце? Тряпичница! Нарядная кукла!

— Уходи вонъ, противный грубіянъ!—обрывала она его.

Но онъ не уходилъ: онъ былъ братъ, онъ имѣлъ право не слушаться, ходить за ней по пятамъ, ругаться съ нею.

И въ страстномъ увлеченіи мальчика, вступающаго въ юношество, онъ, наперекоръ «бездушной кокеткѣ», превозносилъ Иволгина, не сознавая, что именно этими восторженными похвалами онъ только вооружаетъ противъ Иволгина свою сестру. Ей было отчасти непонятно, отчасти досадно все то, за что хвалилъ его Рома. Иволгинъ понимаетъ поэзію, знаетъ Россію, любитъ народъ, восхищается природой. Все это было покуда чуждо ей, какъ было чуждо и ея брату, покуда онъ не сошелся съ Иволгинымъ, покуда онъ не провелъ лѣта въ Ломовскомъ. Братъ не могъ понять, что его сестра могла бы только «снизойдти» въ ту пору до любви къ Иволгину, и ставилъ послѣдняго на недостижимый пьедесталъ, отталкивая ее именно этимъ отъ молодого человѣка. Она со своей стороны не могла понять, какъ можетъ влюбленный человѣкъ относиться къ ней такъ, какъ Иволгинъ: онъ не выражалъ передъ нею удивленія, не видѣлъ, какъ казалось, въ ея поступкахъ подвижничества, но старался давать ей совѣты, дѣлать ей указанія, подталкивать ее идти впередъ,—это только оскорбляло ея гордость, а не говорило ей, что около нея стоитъ преданный другъ, готовый беззавѣтно вести ее впередъ и впередъ на лучшую дорогу. Они были различными натурами, дѣтьми различныхъ семействъ, и ихъ привязанности выражались совершенно различно: ей нуженъ былъ поклонникъ, рабъ, пресмыкающійся въ пыли, воскуряющій ѳиміамъ у алтаря своей богини-повелительницы; ему грезилось, что любовь—это взаимное равенство, взаимная поддержка, взаимное совершенствованіе на трудномъ и тернистомъ пути жизни. Все время ихъ зна-

комства было какимъ-то безсознательнымъ разрываніемъ между собою пропасти, и только послѣ исторіи съ картиной Иволгинъ очнулся: пропасть была между ними уже разрыта. Что произошло съ нимъ въ этотъ роковой день—это зналъ одинъ онъ. Когда Рома зашелъ къ нему черезъ день или два, онъ былъ боленъ; черезъ недѣлю его уже не было въ Петербургѣ: къ нему пришла страшная вѣсть о смерти сестры матери отъ дифтерита. Это былъ тяжелый ударъ для Иволгина, но, можетъ-быть, именно этотъ ударъ спасъ его отъ всякихъ безумствъ, совершаемыхъ нерѣдко влюбленными идеалистами, отвергнутыми безпощадно и грубо любимой женщиной...

Ложась въ постель, Романъ долго думалъ о своемъ другѣ. Какъ онъ перенесъ свои утраты? Чѣмъ онъ сталъ теперь? Счастливъ ли онъ? Но, думая о немъ, онъ невольно твердилъ себѣ:

— Все же слава Богу, что онъ разошелся съ Ниной! Она загубила бы его. Онъ любилъ ее за красоту, любилъ въ ней созданный имъ самимъ образъ гордой и энергичной дѣвушки, но, сойдясь съ ней, онъ, можетъ-быть, увидалъ бы пустую свѣтскую барышню, оскорбленную, послѣ потери состоянія, невниманіемъ къ ней прежнихъ близкихъ знакомыхъ. И только! Она то же, что и мать, только мать прожила всю жизнь формально честной женой, а Нина... она едва ли даже останется честной женщиной, вѣдь запивалъ же я съ горя? Бѣдная, бѣдная дѣвушка!.. Но разъ и я вливалъ отраву въ твою жизнь!..

Ему стало невыразимо жаль сестру. Развѣ она виновата, что она такая. Развѣ она не страдаетъ по-своему? Люди всѣ невинные страдальцы, и стыдъ тому, кто броситъ въ нихъ камень.

И ему вспомнилось, что черезъ нѣсколько дней онъ увидитъ ихъ всѣхъ вмѣстѣ, Нину, мать, отца, Иволгина. Какія сцены, какія событія ждутъ впереди?..

III.

Деревенскій домъ Ломовыхъ оставался все тою же казармою. Но со стороны сада къ нему была уже придѣлана на скорую руку жиденькая, еще недокрашенная терраса, какія бываютъ у дешевыхъ наскоро сколоченныхъ петербургскихъ дачъ-сараевъ. Надъ нею и съ боковъ было натянуто полотно еще безъ всякихъ украшеній, въ обрѣзъ, настолько, насколько хватило. Садъ, раскинувшійся передъ

домомъ, былъ теперь немного расчищенъ, но цвѣтовъ еще не было. На террасѣ былъ накрытъ на нѣсколько персонъ столъ, такъ какъ къ обѣду ждали Рому и Наташу, и въ ожиданіи обѣда сидѣли Антонина Аркадьевна и Анна Ѳеодоровна, занятыя вышиваньемъ, перекидывавшіяся изрѣдка отрывочными фразами. Отсутствіе цвѣтовъ дѣлало садъ такимъ же неприглядным, какъ бѣлыя доски вновь сколоченной террасы дѣлали неприглядным барскій домъ. Должно-быть, именно эта неприглядность заставляла Антонину Аркадьевну часто отрываться отъ вышивки и взглядывать кругомъ съ какимъ-то выраженіемъ унынія и тревоги. Осматриваясь кругомъ, она иногда останавливала съ тоскою взглядъ на дочери, какъ бы размышляя о томъ, что дочери придется похоронить свою молодость среди этой унылой, пищенской обстановки. Это не было слѣдствіемъ пробужденія нѣжныхъ материнскихъ чувствъ. Она просто въ послѣднія девять лѣтъ привыкла мысленно дѣлать изъ себя героиню мелодрамы; теперь въ сущности она не могла жаловаться на свою личную судьбу, она даже не безъ удовольствія погрузилась въ мелочи хозяйства, въ покупанье отъ бабъ яицъ, масла, холста, въ толки о потравахъ, и потому мысленно превратила себя изъ страдающей женщины въ страдающую мать. Она говорила съ дочерью и о дочери тѣмъ тономъ, какимъ говорятъ съ несчастными жертвами и о несчастныхъ жертвахъ, растраивая еще болѣе и безъ того разстроенные нервы молодой дѣвушки. И теперь, смотря на нее, она поднимала глаза къ небу и тяжело вздыхала, какъ бы умоляя небо сжалиться надъ этимъ «страдающимъ ребенкомъ». Наконецъ она проговорила:

— Тебѣ, Нина, ничего не говорила tante Бетси объ Апухтинѣ?

Анна Ѳеодоровна опустила вышивку на колѣни и взглянула на мать.

— А что?

— Онъ очень интересуется тобою.

— Онъ видѣлъ меня всего два раза...

— Да, да, и очень интересуется тобою!

По лицу дочери скользнула усмѣшка. Ее начинали сердить эти толки объ одномъ и томъ же. Мать продолжала:

— Онъ очень богатъ, предводитель дворянства, большія связи...

— И пятьдесятъ пять лѣтъ,—закончила дочь.

Мать вздохнула.

— Да, да... вѣроятно, не меньше...

Дочь опять принялась за вышивку, проговоривъ холоднымъ тономъ:

— Изъ этого ничего не выйдетъ!

Антонина Аркадьевна снова вздохнула. Дочь подняла на нее глаза.

— Я говорю, что изъ этого ничего не выйдетъ,—медленно сказала она:—потому что не думаю, чтобы Валерьянъ Александровичъ серьезно заинтересовался мною, видѣвъ меня всего два раза...

И съ горечью прибавила:

— Конечно, я была бы очень рада, если бы ошиблась въ своемъ предположеніи...

— Какъ?—съ нескрываемой радостью воскликнула мать.— Ты не отказала бы? Ты...

Дочь перебила нетерпѣливо:

— Развѣ я могу выбирать? Слава Богу, если кто-нибудь возьметъ! А тутъ даже и не кто-нибудь, а богачъ, со связями, предводитель дворянства. Это находка! Кладъ!.. Но повѣрь мнѣ, что изъ этого ничего не выйдетъ. Это все мечты tante Бетси, дѣлового человѣка семьи! У нея вѣдь вѣчно на умѣ выгодныя сдѣлки. Притомъ хочется какъ-нибудь облагодѣтельствовать бѣдную дѣвушку. Ей столько наговорили о моемъ несчастномъ положеніи!.. Она только упустила изъ виду нѣкоторыя обстоятельства. Апухтинъ слишкомъ пожилъ, чтобы увлечься дѣвушкой, не имѣющей приданаго, не отличающейся ничѣмъ...

— Нина! Нина! что ты говоришь! На что ему деньги? Что же касается тебя, то твое образованіе, твоя красота...

Анна Ѳеодоровна опять опустила вышивку и перебила слова матери.

— Охота тебѣ обманывать себя иллюзіями. Впрочемъ, ты, можетъ-быть, вовсе не обманываешься ими, а такъ... говоришь... все же утѣшеніе! Мое образованіе... кто же изъ нашего круга теперь необразованъ?.. И на что это нужно Апухтину? А красота двадцатишестилѣтней дѣвушки! Красота дѣвушки, пережившей десятокъ тяжелыхъ лѣтъ! Объ этомъ неловко даже говорить! Или ты думаешь, я не вижу себя въ зеркалѣ, не вижу, что я начинаю старѣть?

Въ ея голосѣ послышалась желчность, точно она упрекала мать за то, что ея красота начала блекнуть. Антонина Аркадьевна давно съ тревогой замѣчала это начало конца и именно потому болѣе всего дрожала за будущее дочери.

Неужели дочь останется бѣдной старой дѣвой? Останется въ этой проклятой глуши? Развѣ для того ей дано блестящее свѣтское образованіе? Тѣмъ не менѣе, мать постаралась засмѣяться искусственнымъ смѣхомъ, чтобы скрыть свое смущеніе:

— Старуха двадцати шести лѣтъ!

Дочь раздражительно пожала плечами:

— Считали бы молодой, не думали бы предложить въ женихи Апухтина.

Мать точно ножомъ рѣзнуло по сердцу. Она немного растерялась передъ этой холодной логикой, подтверждавшей горькое сознаніе неотразимаго факта. Да, дочь старѣетъ, блекнетъ, потому ей предлагаютъ въ мужья старика, потому она соглашается за него выйти. Будь она молода, никто и не подумалъ бы сватать ей Апухтина. Старъ, толстъ, лысъ, — хороша партія для молодой дѣвушки! Но что же дѣлать, что дѣлать?

Въ залѣ послышался между прочимъ быстрый говоръ Ѳеодора Романовича. Онъ всегда входилъ съ шумомъ. Антонина Аркадьевна обрадовалась возможности прервать разговоръ, принявшій нежелательный оборотъ.

— Что это, неужели Рома пріѣхалъ? Какъ мы не слыхали? — заговорила она поспѣшно. — Да не можетъ быть, еще рано!

Дверь на террасу, между тѣмъ, отворилась, и Ѳеодоръ Романовичъ шумно заявилъ:

— Веду бѣглеца! Захватилъ на дорогѣ...

На порогѣ стоялъ высокій, довольно плотный, хотя и похудѣвшій Иволгинъ. Онъ былъ въ суконной блузѣ, перетянутой чернымъ ремнемъ, и держалъ въ рукахъ соломенную шляпу.

— Простите, что я являюсь такъ, по-домашнему, но Ѳеодоръ Романовичъ взялъ меня въ плѣнъ врасплохъ, — проговорилъ онъ, здороваясь съ хозяйкой.

Потомъ онъ обернулся къ Аннѣ Ѳеодоровнѣ и молча раскланялся съ нею. На минуту его охватило смущеніе, онъ почувствовалъ себя неловкимъ, какъ бы связаннымъ. Она поблѣднѣла и холодно поклонилась ему, торопливо роясь въ рабочемъ ящикѣ и не протягивая гостю руки.

— Не хотѣлъ идти, хотѣлъ бѣжать переодѣваться, — говорилъ скороговоркой Ѳеодоръ Романовичъ. — Знаю я это переодѣваніе — ускользнулъ бы. А какъ же ему не быть

здѣсь, когда сейчасъ всѣ наши будутъ. И безъ того пропадалъ все время...

— Я заходилъ два раза, но оба неудачно, никого не засталъ,—оправдывался Иволгинъ.

Онъ дѣйствительно заходилъ къ Ломовымъ два раза и оба раза зналъ навѣрное, что не застанетъ ихъ.

— Два раза!—воскликнулъ Ломовъ.—А потомъ и пропалъ.

— Я же вамъ говорю, что пришлось по дѣламъ замедлить въ городѣ,—сказалъ Иволгинъ.

— А вѣдь я васъ не узнала бы,—проговорила Антонина Аркадьевна.

— Да, бородой обросъ и постарѣлъ,—отвѣтилъ Иволгинъ.

«Ждетъ комплиментовъ», мелькнуло въ головѣ Анны Ѳеодоровны, и она разсердилась на себя за то, что и она подмѣтила перемѣну въ Иволгинѣ: онъ сталъ замѣчательно красивъ. Прежняя полнота деревенскаго выхоленнаго юноши, прежній яркій румянецъ, прежнее женственно-доброе выраженіе глазъ, все это исчезло. Теперь это былъ сильный мужчина съ блѣднымъ, но здоровымъ лицомъ, съ серьезнымъ, хотя и мягкимъ взглядомъ, съ едва замѣтными прорѣзавшимися на лбу морщинками, какъ бы говорившими о много пережитомъ, о много передуманномъ. Его когда-то неокрѣпшій и неровный голосъ перешелъ теперь въ мягкій и ровный баритонъ. Въ манерахъ были степенность, сдержанность, неторопливость. Отъ разговора, отъ короткихъ и сжатыхъ фразъ вѣяло немного холодкомъ.

— Въ три года постарѣли, въ ваши лѣта?—съ улыбкой сказала Антонина Аркадьевна.

— Это были очень тяжелые годы,—отвѣтилъ Иволгинъ.

Анна Ѳеодоровна вдругъ вспыхнула и искоса взглянула на Бориса Николаевича. У нея забилось сердце. Въ головѣ мелькнула мысль, что вотъ-вотъ онъ, рисуясь и кокетничая, скажетъ о потерянныхъ надеждахъ, о разбитыхъ мечтахъ, намекнетъ ей, что она разбила его жизнь.

— Вы вѣдь знаете, что нашу семью разомъ посѣтило нѣсколько утратъ,—продолжалъ онъ тѣмъ же ровнымъ тономъ.—Едва успѣли похоронить матушку и младшую сестру, какъ у сестры Вѣры умерли мужъ и сынъ...

— Да, это большія потери,—сказала Ломова.

— Особенно для насъ,—проговорилъ Иволгинъ:—мы вѣдь всѣ страдаемъ однимъ недостаткомъ—нѣкоторымъ преувеличеніемъ семейныхъ привязанностей...

Анна Ѳеодоровна не выдержала и, раздражившись мыслью,

что онъ рисуется, мимовольно, ироническимъ тономъ замѣтила:

— Помилуйте, это же добродѣтель!

Онъ не спѣша обернулся къ ней и отвѣтилъ:

— Нѣтъ, это же чувство присуще и животнымъ: не порокъ и не добродѣтель. Но у насъ сложились такъ семейныя обстоятельства, что привязанности стали слишкомъ горячи и сильны.

И чтобы прекратить этотъ разговоръ о себѣ, онъ обернулся къ Ѳеодору Романовичу:

— Мы не кончили съ вами вопроса о лѣсѣ: я васъ, право, не понимаю, почему вы вели дѣло съ Шершовымъ, а не обратились прямо къ компаніи фабрикантовъ и заводчиковъ?

— Я же вамъ говорю, что Шершовъ самъ пришелъ ко мнѣ на поклонъ,—загорячился Ѳеодоръ Романовичъ.—На что ему лѣсъ—я не знаю и не желаю знать. Это-съ не мое дѣло. Впрочемъ, онъ даже и не скрылъ отъ меня, на что ему нуженъ лѣсъ. Онъ кланялся и просилъ продать ему — я продалъ. Вотъ и все.

— А Шершовъ зимою продастъ съ барышемъ компаніи Тарасовыхъ.

— Это его дѣло! Но ходить на поклонъ къ господамъ Тарасовымъ, къ этимъ фабрикантамъ, къ этимъ коммерціи совѣтникамъ изъ лапотниковъ,—слуга покорный.

— Позвольте, при чемъ тутъ поклоны. У васъ продающійся лѣсъ; имъ всегда нужно топливо, нужны лѣсные матеріалы. Вы продаете, они покупаютъ. Вотъ и все.

— Нѣтъ-съ, не все, не все. Господа Тарасовы ждали, чтобы я имъ поклонился.

— Ничего они не ждали. Они, по всей вѣроятности, и не предполагали даже, что вы будете тотчасъ по пріѣздѣ сюда продавать лѣсъ...

— Нѣтъ-съ, нѣтъ-съ, ждали, ждали!

— Это вамъ Шершовъ сказалъ?

— А если бы даже и онъ? Что-жъ въ томъ? Но я и безъ него это зналъ. Здѣсь каждое слово всѣмъ извѣстно. Ошиблись только они въ расчетѣ. Ждали и не дождались. Теперь не угодно ли имъ переплачивать Шершову.

— Да вѣдь и вы въ убыткѣ!

— Въ убыткѣ, можетъ-быть, но есть убытки, которые можно нести, и есть выгоды, которыхъ нельзя искать. Я былъ дворяниномъ и останусь дворяниномъ. Землю, домъ,

лѣсъ, все продамъ,—своей чести—нѣтъ-съ, я ею не торгую... Ее на рынокъ я не понесу! Слава Богу, еще не служу по найму у мужиковъ въ ихъ земствѣ!.. Нѣтъ-съ, они у меня будутъ служить, а не я у нихъ... Вотъ вы мнѣ въ прошлый мой пріѣздъ говорили, что Шершовъ — эта хитрая душа. А знаете ли вы, что это за человѣкъ?

— Міроѣдъ.

— Согласенъ-съ, вполнѣ согласенъ. Хамъ и потому міроѣдъ. Впрочемъ, нынче, къ стыду нашему, и не одни хамы являются міроѣдами, даже главнымъ образомъ не хамы. Среди господъ земцевъ тоже вѣдь дворяне есть, а что они, какъ не міроѣды. Горло другъ другу перервать готовы, лишь бы теплое мѣсто съ хорошимъ окладомъ получить... Тоже алчущіе среди голодныхъ.

Онъ точно поперхнулся на этой случайно попавшей ему на языкъ фразѣ и заговорилъ еще поспѣшнѣе:

— Шершовъ будетъ получше многихъ изъ нихъ. Знаете ли вы вполнѣ этого человѣка? У него-съ свой гоноръ, свои традиціи. Онъ спины не согнетъ передъ кѣмъ ни попало, передъ всякимъ. Мнѣ онъ покланяется, другимъ нѣтъ...

— Безъ выгоды? Да.

— Та-та-та! Ловлю васъ на словѣ! Развѣ ему не выгодно было остаться старшиной? Однако не остался... Позвольте, позвольте, дайте мнѣ кончить!.. Не остался старшиной, а почему? Не захотѣлъ кланяться господамъ Тарасовымъ. Его конкурента они поддерживали. Имъ этотъ прихвостень былъ нуженъ. Еще бы! Имъ всѣ мѣстныя власти, и старшины, и урядникъ, и становые, и исправники подходящіе нужны. Иначе какъ же держать въ своихъ лапахъ народъ, рабочихъ, какъ усмирять свою шайку во время буйствъ, безпорядковъ и забастовокъ? А Шершовъ на это не годился...

Иволгину надоѣло спорить съ Ломовымъ, очевидно говорившимъ съ чужого голоса о совершенно незнакомыхъ ему дѣлахъ, и онъ, обрывая разговоръ, замѣтилъ:

— Вы, какъ я вижу, вполнѣ ознакомились со всѣми здѣшними закулисными дѣлами.

— О, я не такой человѣкъ, чтобы не слѣдить за всѣмъ, не вникать во все. Я люблю, чтобы мнѣ были ясны сразу и положеніе дѣлъ, и характеръ лицъ, и отношенія людей.

Ломовъ началъ высказывать свои взгляды, свои убѣжденія, свои отношенія къ окружающимъ.

Онъ съ перваго дня своего переселенія въ Ломовское

всталъ къ крестьянамъ въ безтолково враждебныя, мелочно придирчивыя отношенія. Еще живя въ столицѣ, онъ составилъ себѣ о народѣ извѣстныя, ни на какихъ фактахъ не основанныя, понятія. «Дикая и грубая чернь», «пьяный сброд», «нищіе лѣнтяи», «развратные скоты», всѣ эти названія относились имъ огульно къ народу. Какъ сложились въ его головѣ эти взгляды? Можетъ-быть потому, что онъ росъ въ столицѣ, въ тѣхъ кружкахъ, гдѣ вообще свысока смотрѣли на «чернь». Можетъ-быть потому, что онъ сталъ самостоятельнымъ именно въ то время, когда отношенія господъ и народа измѣнились, и его благосостояніе уменьшилось при новыхъ отношеніяхъ. Можетъ-быть потому, что именно тогда начались въ извѣстныхъ кружкахъ нападки на народъ, выискиванья въ немъ темныхъ сторонъ, стремленіе доказать, что не въ пору разнуздали звѣря. Какъ бы то ни было, онъ уже давно привыкъ съ злорадствомъ ограниченнаго по уму врага ловить въ газетахъ каждый мелкій фактъ для доказательства справедливости своихъ взглядовъ. Баба убила мужа или мужикъ засѣкъ жену—вотъ какова семья въ хваленомъ народѣ. Оправдали на судѣ вора—вотъ какова справедливость въ народѣ. Сожгли живьемъ знахарку—вотъ каково развитіе народа. Появилась статистика пьянства, дурной болѣзни—вотъ она, народная нравственность. Спорить съ нимъ на этомъ поприщѣ не было возможности: захлебываясь, скороговоркой, жестикулируя, онъ засыпалъ врага выхваченными изъ газетъ фактами, перескакивалъ отъ одного явленія къ другому, и когда ему говорили, что это единичные случаи, ничего еще не доказывающіе, онъ торжественно заявлялъ, что это не исключенія, а правило, забывая, что пишутъ о беззаконныхъ, а не о законныхъ поступкахъ, что худая слава бѣжитъ, а хорошая—лежитъ. Иногда онъ говорилъ, что народъ готовъ продать все, себя, женъ, дѣтей. Взгляните на Нижегородскую ярмарку; туда, какъ говоритъ офиціальная статистика, въ число извѣстнаго сорта женщинъ записываются на время замужнія жены и по окончаніи ярмарки идутъ обратно въ семью. А сохачество—кто же его создалъ, если не народъ; вѣдь противъ этого и спорить нельзя. Ну, а бытовая болѣзнь—что она говоритъ, развѣ это не свидѣтельство разврата? Но всѣ эти легкомысленныя разсужденія были покуда «пустыми» словами, подобно многому множеству иныхъ «пустыхъ» словъ, произносимыхъ Фи-фи. Только послѣ переселенія въ деревню слова должны

были отразиться на дѣлѣ. Ломовъ пріѣхалъ въ деревню съ «голыми» руками и всталъ лицомъ къ лицу съ «нищими», какъ онъ выражался. Чтобы работать, нужно было дать задатки рабочимъ; чтобы они могли работать, нужно было имѣть лошадей, земледѣльческія орудія. Тѣ, кто могъ работать безъ задатковъ и могъ привести на работу лошадь и необходимыя полевыя орудія, не нуждались въ чужой работѣ и едва управлялись со своею. Нанималась на работу только деревенская бѣднота. Одно это могло вывести Ѳеодора Романовича изъ себя, а тутъ еще явились воспоминанія о прежнихъ временахъ, о барщинѣ: приказалъ идти въ поле, и идутъ. Чаша озлобленія, какъ это часто случается, переполнилась еще болѣе при помощи мелочей: сломанный и разворованный заборъ у барскаго сада, исчезнувшая терраса у господскаго дома, все это ставилось на счетъ мѣстныхъ мужиковъ. Отношенія на первыхъ порахъ сдѣлались довольно острыми. Баринъ говорилъ, что онъ потравами заставитъ крестьянъ каменную ограду ему построить, кто-то изъ крестьянъ въ минуту раздраженія замѣтилъ, что и краснаго пѣтуха подпустить можно. Острые углы въ отношеніяхъ новыхъ сосѣдей еще не успѣли сгладиться, когда у Ломова неожиданно явился союзникъ и, чего никакъ не ожидалъ Ломовъ, въ лицѣ бывшаго старшины Шершова.

Андрей Петровъ Шершовъ былъ высокъ, толстъ, угрюмъ на видъ; совершенно лысый, съ длинной сѣдой бородой, онъ смотрѣлъ исподлобья, сдвинувъ широкія и густыя совершенно черныя брови. Онъ говорилъ неторопливо, какъ бы взвѣшивая каждое свое слово, мрачнымъ и дидактическимъ тономъ. При первомъ посѣщеніи Ломовскаго Ѳеодоръ Романовичъ накричалъ на него ни съ того, ни съ сего; Шершовъ смолчалъ, и только его глаза на минуту разгорѣлись злымъ огонькомъ за обиду. Но когда Ломовъ переселился въ деревню и началъ воевать съ мужиками, Шершовъ явился къ нему черезъ недѣлю и, крестясь, низко поклонился ему, съ просьбой «явить божескую милость». Просьба заключалась въ томъ, что Шершовъ желалъ купить участокъ лѣса на срубъ.

— Въ купцы собрался записаться? Лѣсопромышленникомъ думаешь сдѣлаться?—насмѣшливо спросилъ Ломовъ.

— Гдѣ ужъ намъ въ купцы! Души бы свои спасти отъ погибели,—смиренно отвѣтилъ Шершовъ.

И медленно, степенно онъ разсказалъ, что у него пять

«сыновъ», парни здоровые, а что дѣлать имъ зимою? На фабрику, что ли, ходить; такъ довольно того, что Тарасовы и остальной народъ споили. На фабрикѣ порядки извѣстные, одному пьянству, да озорству люди научатся. Тоже отпустить парней на сторону, въ Питеръ либо въ Москву—это ужъ лучше совсѣмъ отъ своихъ сыновъ отказаться. Побываютъ тамъ, здѣсь поминай ихъ, какъ звали. Питеръ-то многимъ глаза повытеръ... Кабы участокъ лѣса у него былъ, при дѣлѣ они зиму были бы, не блыкались бы зря. Мужикъ извѣстно, освободи его отъ работы и палки, хуже скота станетъ.

— Чего ужъ освобождать! И такъ освободили!—желчно сказалъ Ломовъ.

— Это точно,—согласился съ тяжелымъ вздохомъ Шершовъ:—близокъ локоть да не укусишь. У кого допрежь сего изба была новая, у того хлѣвъ развороченный остался.

— За то своя воля!—засмѣялся Ломовъ.

Шершовъ опять смиренно вздохнулъ.

— Мои парни, слава те Господи, что-то се доселѣ не видали. Какъ самого ростили, такъ и ихъ рощу.

И опять онъ началъ съ поклономъ просить оказать ему божескую милость и продать лѣсной участокъ. Ѳеодоръ Романовичъ заявилъ, что онъ подумаетъ, что онъ не думалъ продавать участка.

— Думалъ бы, самъ бы толкнулся къ Тарасовымъ,—замѣтилъ Шершовъ.—Недалеча. Они рады прижать, коли кто самъ къ нимъ въ лапы лѣзетъ. Ждутъ, не дождутся.

И откровенно пояснилъ положеніе дѣла. Тарасовымъ лѣсъ всегда нуженъ; приди къ нимъ Ломовъ съ предложеніемъ—предложатъ грошъ; подумаютъ, что отъ нужды продаетъ; онъ, Шершовъ, имъ же продастъ, только его на кривой не объѣдутъ; онъ ихъ самъ прижметъ. Вотъ какъ заплатятъ ему настоящую цѣну, тогда и къ Ломову явятся, другой участокъ торговать, цѣну настоящую предложатъ. Извиняясь, что обезпокоилъ барина, Шершовъ поклонился и, пятясь, удалился изъ комнаты осторожно, какъ кошка. Ѳеодоръ Романовичъ заходилъ по кабинету, очень довольный неожиданнымъ предложеніемъ: деньги были нужны до зарѣза. Эти деньги предлагалъ ему Шершовъ и притомъ предлагалъ съ поклонами, предлагалъ въ пику господамъ Тарасовымъ; имъ нужны лѣсные матеріалы, и они все-таки не шли къ Ломову, а выжидали, чтобы онъ имъ поклонился. Это было положительно блестящее дѣло. Ѳеодоръ Романо-

вичъ посмѣивался и потиралъ отъ удовольствія руки. Затѣмъ Шершовъ явился снова уже съ деньгами и съ предложеніемъ построить у дома террасу.

— Мои парни-то плотники хорошіе, мигомъ смастерятъ,— пояснилъ Шершовъ.

Когда же Ломовъ спросилъ, во что обойдется терраса, Шершовъ обидѣлся даже.

— Мнѣ господа одолженіе дѣлаютъ, а я торговаться стану. Крестъ-то у меня на вороту еще есть.

Онъ вздохнулъ и замѣтилъ вскользь:

— Въ прежнее-то время со всего села въ одинъ день крестьянъ приказали бы собрать да къ вечеру и готово было бы...

Ломову очень это понравилось. Онъ даже похлопалъ по плечу Шершова, а за обѣдомъ пространно и шумно говорилъ Антонинѣ Аркадьевнѣ, что «люди старыхъ традицій еще не вымерли». Шершовъ, въ свою очередь, говорилъ про Ломова своимъ невозмутимымъ тономъ:

— Хорошій баринъ!

Это совершенно озадачило конторщика Ломова. Аквиловъ только дѣлалъ до той поры, что ругалъ хотя и опасливымъ тономъ, съ оглядкою, но все же ругалъ Шершову новаго барина, когда Шершовъ, приглашая его ежедневно къ себѣ «попить чайку», задавалъ ему короткій вопросъ:

— Ну, какъ у васъ дѣла?

Конторщикъ выбалтывалъ все, и какъ безъ толку горячится баринъ, и какъ онъ всѣхъ крестьянъ прижать хочетъ, и какъ онъ не знаетъ дѣла, а можетъ-быть, и потому не принимается за дѣло, что въ карманѣ-то пусто. Голымъ тоже въ деревню пріѣхалъ, а нажиться сразу думаетъ. Шершовъ выслушивалъ и степенно замѣчалъ:

— Это пустое! Какъ не быть денегъ!

Конторщикъ пускался горячо доказывать, что денегъ нѣтъ. Самъ Ломовъ въ горячности ему проговаривался. Это ужъ вѣрно. На рубль амбиціи на грошъ амуниціи. Хоть образъ со стѣны снять, что ни гроша нѣтъ за душой у Ломовыхъ. Выслушавъ всѣ его доводы, Шершовъ скептически говорилъ:

— Не показываетъ тебѣ, вотъ и все, потому и видѣть тебѣ не слѣдъ.

И опять прибавлялъ:

— Баринъ онъ заправскій, хорошій! Цѣнить его надо! Теперь по нашимъ мѣстамъ такіе рѣдки, охъ, рѣдки!

Конторщикъ совсѣмъ недоумѣвалъ. Еще болѣе недоумѣвали сыновья Шершова, когда имъ отецъ приказалъ «террасу срубить» у барскаго дома и не приказалъ брать денегъ. Сыновья знали, что отецъ даромъ палецъ о палецъ не стукнетъ. Тѣмъ не менѣе, они повиновались и даже не задали отцу никакихъ вопросовъ для разъясненія своихъ недоумѣній. Отецъ не терпѣлъ разспросовъ сыновей. Когда же они узнали о покупкѣ отцомъ участка лѣса, они только переглянулись между собою. Одинъ изъ нихъ рискнулъ спросить отца, за сколько лѣсъ купленъ. Отецъ сурово посмотрѣлъ на него и отвѣтилъ:

— Когда тебѣ благодѣянье оказываютъ—молись, а не спрашивай, сколько дали...

И, со вздохомъ осѣнялся крестнымъ знаменіемъ, проговорилъ:

— Охъ, грѣхи, грѣхи наши тяжкіе!..

Именно объ этомъ-то «степенномъ патріархѣ» болѣе всего распространялся Ѳеодоръ Романовичъ, разсказывая Иволгину, какъ старикъ отличается трезвостью и благочестіемъ, какъ онъ умѣетъ содержать въ повиновеніи дѣтей, и какъ эта семья рѣзко выдѣляется среди другихъ крестьянъ—въ селѣ все больше оборванцы и нищіе, пришибленные и забитые, на фабрикѣ пьяницы и развратники, озорничающіе и разбойничающіе. Если бы въ народѣ было побольше Шершовыхъ—о, тогда можно бы было положиться на народъ. Ломовъ говорилъ такъ, какъ будто онъ все это изучилъ, зналъ навѣрное, обдумалъ въ теченіе десятка лѣтъ.

Анна Ѳеодоровна, принявшаяся снова за вышивку, рвала во время разсказа отца нитку за ниткой. Она чувствовала, что Иволгинъ понимаетъ всю глупость, всю неспособность ея отца къ дѣламъ, и злилась на отца, на Иволгина: отецъ даже молчаніемъ не умѣетъ прикрыть свою глупость, а этотъ выспрашиваетъ, точно глумясь надъ ея отцомъ.

— Значитъ, вы и съ окрестными землевладѣльцами уже познакомились?—сказалъ Иволгинъ.

— Да вѣдь съ большинствомъ изъ старыхъ здѣшнихъ дворянъ я и прежде былъ знакомъ въ Петербургѣ, ну, съ новыми—съ земцами—я не считаю особенно нужнымъ сближаться. Нѣкоторыхъ изъ нихъ имѣлъ удовольствіе видѣть у нашей родственницы Елизаветы Андреевны Кожуховой и, пожалуй, довольно! Кое-что тоже мнѣ говорилъ о нихъ Валерьянъ Александровичъ Апухтинъ.

— Онъ-то едва ли можетъ характеризировать кого бы то ни было,—замѣтилъ Иволгинъ.

— То-есть какъ это? что вы хотите сказать?—воскликнулъ Ломовъ.

Анна Ѳеодоровна вспыхнула, точно ей нанесли обиду, и, не выдержавъ, проговорила ѣдкимъ тономъ:

— Это прекрасно воспитанный человѣкъ.

Иволгинъ обернулся къ ней и отвѣчалъ спокойнымъ голосомъ:

— Еще бы. Это не только богатый человѣкъ, но и человѣкъ изъ порядочнаго круга.

Ее точно озадачилъ его отвѣтъ, и она необдуманно, не безъ колкости замѣтила:

— И поэтому онъ не можетъ сдѣлать вѣрной характеристики людей?

Иволгинъ съ недоумѣніемъ посмотрѣлъ на нее, качая отрицательно головой.

— Вовсе не потому, а потому, что это крайне ограниченный человѣкъ по уму.

Раздраженная, точно ей опять наносили личное оскорбленіе, Анна Ѳеодоровна проговорила:

— О, конечно, онъ не геній, но онъ ведетъ себя съ такимъ тактомъ и умѣньемъ, чему можно позавидовать.

Иволгинъ не успѣлъ ничего сказать, потому что Ѳеодоръ Романовичъ разразился цѣлымъ потокомъ похвалъ Апухтину. Апухтинъ живетъ, какъ старый баринъ; Апухтинъ хлѣбосолъ; Апухтинъ поддерживаетъ связи въ столицѣ; Апухтинъ не считаетъ нужнымъ скрывать свое презрѣніе къ мѣстнымъ земцамъ.

— Недаромъ-съ эти милые люди не нашли ничего болѣе остроумнаго, какъ назвать его индійскимъ пѣтухомъ!—горячо закончилъ Ломовъ.

По лицу Иволгина скользнула улыбка, Анна Ѳеодоровна чувствовала, что ее душатъ слезы. Ѳеодоръ же Романовичъ снова началъ восхвалять Апухтина, повторяя опять все, что уже сказалъ. Похвальная рѣчь хозяина, сбивчивая и спутанная по обыкновенію, доказывавшая въ сущности только то, что Апухтинъ богатъ, гордъ, была прервана громыханьемъ экипажа.

— Наши пріѣхали!—проговорила Антонина Аркадьевна, и всѣ поднялись съ мѣстъ, направляясь въ залъ.

Раздались привѣтствія, поцѣлуи, обмѣнъ отрывочныхъ фразъ.

— Боже мой, какъ ты похудѣлъ, Рома! Наташа, какъ ты выросла! Спасибо вамъ Вѣра Николаевна, за нашихъ дѣтей!

Романъ подошелъ къ сестрѣ и нѣжно сталъ цѣловать ей руки. Она точно испугалась, смутилась, не знала, что дѣлать, какъ держать себя съ братомъ. Онъ тихо прошепталъ ей:

— Прости меня, Анна, за все прошлое!..

Она растерянно проговорила:

— Рома, я не знаю...

— О, я много виноватъ передъ тобою... Теперь не время говорить...

Онъ еще разъ поднесъ ея руку къ губамъ.

Иволгинъ обнялъ сестру и Рому и протянулъ руку Наташѣ. Она не обратила вниманія на это и обняла его. Онъ немного сконфузился, цѣлуя ее теперь, уже совсѣмъ взрослую, уже не дѣвочку. Мамка и ея мужъ тоже пришли взглянуть на Рому, тоже расцѣловались съ нимъ. Мамка даже стала отирать слезы, увидавъ, какъ «похудалъ» Ромушка, и, тотчасъ же разсердившись, прикрикнула на мужа:

— Ступай, ступай! Обѣдъ надо скорѣй подавать! О, старый!

— Она тебя теперь станетъ откармливать,—шутливо замѣтилъ Иволгинъ Роману.

— Я ужъ и то въ эти дни подкормился немного,—сказалъ Романъ:—а то иконой въ тюрьмѣ прозвали...

Всѣ торопились сѣсть за столъ, всѣ говорили на перебой. Молчала только Анна Ѳеодоровна. Она сидѣла съ поникшей головой. Какое-то новое чувство охватывало ее. Какое—она не могла дать себѣ отчета. Что-то давило грудь. Къ глазамъ подступали слезы. Она смутно слышала, что говорилось кругомъ. Рома говорилъ о тюрьмѣ, о томъ, что только тамъ онъ узналъ значеніе одиночества. Иногда Богъ знаетъ что отдалъ бы, только бы увидать родныхъ, близкихъ. Все прошлое перебиралось въ памяти.

— Иногда вспоминалъ, какъ мы съ тобой, Анна, играли и ссорились въ дѣтствѣ и мучительно хотѣлось вернуть его.

Анна Ѳеодоровна вздрогнула. Онъ думалъ о ней тамъ, въ тюрьмѣ. А она въ это время мечтала: «что, если его лишатъ всѣхъ правъ? что, если онъ умретъ?» О, какъ низко она пала!

Онъ опять разсказывалъ о мелочахъ одинокой жизни, о тяжелыхъ думахъ безъ отвѣта, о тоскѣ безъ слова участія. Сестра слушала его, и ей было теперь понятно значеніе его

словъ. Она все это пережила сама за послѣдніе годы, особенно въ послѣдніе дни здѣсь. Ей было жаль брата, жаль потому, что она понимала перенесенное имъ. И какъ онъ похудѣлъ, какъ сталъ нервенъ. Ее сердилъ отецъ, перебивавшій сына глупыми, громкими фразами; ее сердила мать, равнодушно и почти съ неудовольствіемъ слушавшая разсказы сына о тюрьмѣ. «И онъ чужой имъ, какъ и я», мелькало въ ея головѣ. «А мнѣ? Развѣ я больше ихъ умѣла любить?» Вѣра Николаевна между тѣмъ разсказывала брату о родныхъ, о дѣлахъ. Наташа говорила, какъ она рада, что она, наконецъ, совсѣмъ свободна, окончательно дома, среди милыхъ мѣстъ, милыхъ людей. Она приставала къ Иволгину, живы ли и здоровы ли тѣ или другіе изъ ея старыхъ знакомыхъ, какой-то слѣпой дѣдушка Вавила, какая-то бабушка Прасковья.

— А Пегасикъ, Пегасикъ что?—вдругъ воскликнула она.

— Заднія лапы гдѣ-то попортили Пегасику. Онъ теперь все больше лежитъ и только тихонько визжитъ, когда видитъ, что я ухожу,—отвѣтилъ Иволгинъ.

— Бѣдненькій песикъ! Я завтра же, завтра же приду къ нему въ гости.

— Онъ будетъ радъ и навѣрное попробуетъ подняться, потомъ опять приляжетъ и слегка завоетъ. Теперь это каждый разъ съ нимъ бываетъ, когда обрадуется кому-нибудь и...

Анна Ѳеодоровна, молчавшая все время, вдругъ очнулась отъ голоса Иволгина. Она точно стряхнула съ себя угнетавшее ее смутное чувство упрековъ и раскаянія. Въ сердцѣ опять что-то забушевало отъ голоса того человѣка, и она обратилась съ насмѣшливой улыбкой къ Наташѣ:

— А ты совсѣмъ институткой стала!

Наташа, не смутившись и не сконфузившись, хотѣла что-то отвѣтить, но Иволгинъ сказалъ за нее:

— Наталья Алексѣевна знала и любила нашего Пегаса еще до поступленія въ институтъ. Они старые знакомые.

Анна Ѳеодоровна опять усмѣхнулась, досадуя на него до слезъ:

— Вы говорите о немъ, точно это человѣкъ.

— Немудрено. Мы всѣ такъ къ нему привыкли. Сперва это былъ презабавный, рѣзвый щенокъ, за что его и прозвали Пегасомъ—онъ все куда-то несся въ юномъ увлеченіи. Потомъ вышелъ изъ него отличный охотничій песъ и вѣрнѣйшій сторожъ дома.

— Да, помните, какъ онъ вора у васъ задержалъ?—вос-

кликнула Наташа.—Легъ у дверей, и что тотъ ни дѣлалъ, а онъ не выпустилъ его изъ комнаты. А когда онъ васъ ходилъ къ обѣду звать—вотъ-то смѣхъ!

Анна Ѳеодоровна неожиданно совсѣмъ раздражительнымъ тономъ спросила:

— Онъ не говорилъ?

И тотчасъ же сама поняла всю безтактность, всю пошлость своей невольной выходки.

Иволгинъ бросилъ на нее странный, смутившій ее взглядъ. Несмотря на всю мимолетность этого взгляда, Анна Ѳеодоровна уловила его и поблѣднѣла. Ей показалось, что въ этомъ взглядѣ были и упрекъ, и состраданіе, и презрѣніе, что этотъ человѣкъ объявляетъ ей открытую войну. Иволгинъ, должно-быть, самъ замѣтилъ ея смущеніе и поспѣшилъ мягко и спокойно пояснить ей:

— Вамъ это все должно неизбѣжно казаться смѣшнымъ и наивнымъ, потому что вы еще очень недавно въ деревнѣ. Но мы, деревенскіе жители, волей-неволей свыкаемся не съ одними людьми, а и съ животными. Какія-нибудь корова, лошадь, курица, собака, живущія въ домѣ, ежедневно кормимыя нами, ежедневно оказывающія намъ услуги, дѣлаются чуть не членами семьи. Ихъ болѣзни могутъ заставить не спать цѣлую ночь, надъ ихъ трупами могутъ плакать. Никого это не удивитъ, никому не покажется это глупымъ.

Она пожала плечами, все еще не сдаваясь, все еще храбрясь. Онъ тѣмъ же тономъ продолжалъ:

— И вѣрьте мнѣ, что, поживъ здѣсь, вы тоже привыкнете къ какой-нибудь лошади, когда долго поѣздите на ней верхомъ и когда она будетъ знать васъ, вашъ голосъ, вашу руку. Въ этомъ есть особая прелесть, рѣдко кому понятная въ городахъ, въ столицѣ. Безъ этого жизнь въ деревнѣ не полна.

— Это безъ дружбы съ лошадьми?—съ нервнымъ смѣхомъ, зазвучавшимъ, какъ слезы, сказала Анна Ѳеодоровна, оборвавъ его на полусловѣ.

«И зачѣмъ это я, зачѣмъ?»—мучительно носилось въ ея головѣ.

Онъ взглянулъ на нее опять какъ-то странно, какъ бы сожалѣя ее, и снова смутилъ ее:

— Да, безъ умѣнья жить въ деревнѣ по-деревенски...

Она не успѣла, не могла отвѣтить, какъ вдругъ поднялся въ саду невообразимый гамъ. Рябая баба, въ повойникѣ въ

видѣ чалмы, и какая-то босоногая дѣвчонка загоняли къ дому корову, крича во все горло:

— Попалась! Попалась!.. Опять по саду бродить вздумала!.. Смороду поломала!.. Пятый кустъ поломала!.. Ахъ, вы окаянные!

Ѳеодоръ Романовичъ сорвался съ мѣста, съ салфеткой, заткнутой концомъ за галстукъ, и сбѣжалъ въ садъ, крича:

— Не выпускай! не выпускай! Я имъ покажу, что значитъ заборы у господскаго дома снимать! Каменный сдѣлаютъ! Каменный!

За коровой вбѣжалъ въ садъ мальчишка въ длинной полинялой синей рубахѣ, подпоясанный почти подъ мышками, босой, съ всклокоченными бѣлыми, какъ ленъ, волосами. Онъ запыхался и едва переводилъ духъ отъ погони за коровой и отъ волненія. Очевидно позабывъ, гдѣ онъ и передъ кѣмъ стоитъ, онъ видѣлъ только, что кривая баба и дѣвчонка угоняютъ отъ него его корову, и неистово картавымъ голосомъ кричалъ:

— Куда гонишь? Наша колова! Мамкина колова! Ужо тебѣ!

— А, это ты хозяинъ коровы?—насмѣшливо сказалъ Ѳеодоръ Романовичъ, хватая его за плечо.—Ну, такъ поди и скажи своей мамкѣ, что ея корова въ господскомъ саду. Скотъ держите, а смотрѣть за нимъ не умѣете.

Мальчуганъ, видя передъ собой кричащаго барина, тщетно попробовалъ рвануться, остановился, потупился и засунулъ въ ротъ указательный палецъ. Однако, собравшись съ духомъ, онъ протяжно и какъ бы въ раздумьи проговорилъ:

— Мамкина колова! Наша колова!

— А я ее у себя оставлю!—отвѣтилъ Ломовъ.

Мальчуганъ ничего не могъ сообразить. Онъ понималъ только, что его грабятъ.

— А мы сожжемъ!—хмуро отвѣтилъ онъ, не выпуская изо рта пальца и смотря исподлобья.

— Что?—воскликнулъ Ѳеодоръ Романовичъ, схвативъ его за оба плеча.—Что ты сказалъ?

— Сожжемъ!—повторилъ мальчуганъ уже менѣе рѣшительнымъ тономъ.

— Кто тебя научилъ? Кто тебя научилъ?—кричалъ Ѳеодоръ Романовичъ, тряся его за плечи.—Говори!

Онъ никакъ не могъ себѣ представить, что мальчугана никто этому не училъ. На первыхъ порахъ ему вездѣ мерещились еще какіе-то злокозненные враги.

Мальчуганъ рванулся, стараясь освободить свое плечо.

— Больно! чего делешься? Ишь какой! Вотъ ужо сожжемъ, сожжемъ! Пусти!

На террасѣ послышалось рѣзкое восклицаніе отвыкшаго отъ глупыхъ выходокъ отца Ромы, обращенное къ матери:

— Да уймите хоть вы отца! Это безобразно! съ ребятишками воюетъ.

Антонина Аркадьевна смутилась не столько отъ происходившей сцены, сколько отъ выходки сына.

— Оставь его!—громко проговорила она по-французски мужу.

— Нѣтъ, ты слышишь, что онъ говоритъ?—сказалъ Ѳеодоръ Романовичъ, обернувшись къ женѣ.—Они подожгутъ насъ! Подожгутъ! Надо разспросить, кто ему говорилъ это. Самъ онъ не могъ выдумать. Это уже не въ первый разъ я слышу. Они угрожаютъ...

Онъ опять обернулся къ хозяину коровы:

— Эй, ты, мальчишка!

Но мальчишка уже несся по саду, часто вскидывая босыми пыльными пятками. Ѳеодоръ Романовичъ быстро, въ волненіи заговорилъ, что онъ все разузнаетъ, отыщетъ тѣхъ, кто собирается поджечь. Слова оторопѣвшаго и растерявшагося мальчугана онъ уже принималъ за нѣчто серьезное. Громовыя, хотя и безсмысленныя рѣчи такъ и лились съ его языка. Романъ, блѣдный, не понявшій еще сущности происходившаго, но, тѣмъ не менѣе, возмущенный сценой, рѣзко произнесъ:

— Да что же вы здѣсь, на ножахъ съ мужиками?

— А ты думаешь, если въ деревнѣ живемъ, то и разыгрываемъ идиллію?—отозвался отецъ.—Народъ въ нашихъ мѣстахъ—это шайка воровъ и разбойниковъ. Сюда всякій сбродъ съ поконъ вѣка стекался. Тутъ надо имѣть револьверы и во всякомъ случаѣ арапники, если живешь среди побродягъ. Ты слышишь, они поджигать хотятъ! Пусть! Нашъ домъ не сгоритъ, а ихъ упекутъ на каторгу.

Кто хотѣлъ поджигать? Кого упекутъ на каторгу?—онъ этого не только не говорилъ, но даже и не соображалъ. Пылкое воображеніе создавало небывалые ужасы и драмы.

Дверь на террасу съ шумомъ отворилась, и мамка, видимо озлобленная болѣе обыкновеннаго, стоя на порогѣ, рѣзко съ своей обычной грубостью проговорила Антонинѣ Аркадьевнѣ:

— За коровой пришли!

Гдѣ-то далеко слышался громкій и частый бабій говоръ, сопровождаемый плаксивыми причитаніями. Антонина Аркадьевна, раздраженная и встревоженная, пошла въ комнаты, извинившись передъ гостями.

— А, теперь вытъ и въ ногахъ валяться будетъ,—злорадно проговорилъ Ѳеодоръ Романовичъ, продолжая безтолково кипятиться.—Заборы умѣли разбирать, а за потравы платить не желаютъ...

Онъ всталъ и, проговоривъ: «я сейчасъ»,—пошелъ вслѣдъ за женою. Его уже занимали эти развлеченія, кончавшіяся въ сущности по большей части ничѣмъ, иногда даже нѣсколько комичными умилительными сценами.

Романъ стиснулъ руками виски, облокотившись на столъ. Его и безъ того разстроенные нервы были напряжены до послѣдней степени. На террасѣ всѣ были смущены. Вѣра Николаевна попробовала тихо заговорить о чемъ-то съ Наташей. Та отвѣчала едва слышно дрожащимъ голосомъ. Иволгинъ усердно рисовалъ чайной ложечкой узоръ на тарелкѣ. Анна Ѳеодоровна сидѣла, покусывая дрожащія губы и искоса взглядывая на Иволгина. Вся пошлость поведенія отца была ей вполнѣ ясна. Она была бы рада, если бы можно было уйти, скрыться. Ее душили слезы.

— И часто повторяются подобныя сцены?—вдругъ спросилъ ее Романъ.

Она поблѣднѣла, какъ полотно, при этомъ неожиданномъ вопросѣ. Ея лицо исказилось на мгновеніе гнѣвомъ на брата за его вопросъ. Ей нужно было собраться съ силами, сдѣлать надъ собой невѣроятное усиліе, чтобы отвѣтить. Но что отвѣтить? Сказать, что это повторяется почти ежедневно, иногда не разъ въ день? Обвинять передъ чужими отца и мать? Обратить все въ шутку? Разсказать, что шумъ поднимается изъ-за пустяковъ, что все это кончается ничѣмъ? Она, переселивъ себя, прерывающимся голосомъ, но въ то же время холоднымъ тономъ отвѣтила:

— Нельзя же позволять... коровамъ ходить по саду... всѣ ягодные кусты поломали...

Она встала, блѣдная, какъ полотно. Всѣ точно обрадовались, увидавъ, что она встаетъ, и быстро поднялись съ мѣстъ. Иволгина заторопилась. Ей съ братомъ пора домой. Она вѣдь только забросила туда вещи. Надо разобраться. Кромѣ того устала съ дороги.

Черезъ пять минутъ всѣ разошлись.

IV.

Анна Ѳеодоровна спустилась съ террасы и пошла въ глубину сада. Она шла, наступая на свое платье и спотыкаясь, точно по неровному мѣсту,—шла безцѣльно, только бы уйти отъ дома, отъ людей, отъ себя. Да, ей хотѣлось уйти отъ себя. Девять лѣтъ тяжелой жизни страшно пошатнули ея нервы, но все же она владѣла собой тамъ, въ столицѣ, на людяхъ, среди надеждъ и тревогъ. Потеряла она способность къ самообладанію только здѣсь, оставшись съ глазу на глазъ съ отцомъ и матерью. Въ какіе-нибудь два съ половиною мѣсяца совершилось то, что подготовлялось девять лѣтъ. Нелѣпая война отца съ крестьянами, малодраматическіе вздохи матери о судьбѣ дочери, грубоватыя утѣшенія tante Бетси: «погоди, мы тебя пристроимъ за Апухтина», отрывистое и глупое ворчаніе сдѣлавшейся нестерпимою «мамки»: «мы точно французы въ двѣнадцатомъ году на мужиковъ войной пришли»—ото всего этого хотѣлось бѣжать, бѣжать. Но здѣсь некуда бѣжать. Здѣсь нѣтъ какихъ-нибудь Хрущовыхъ съ ихъ вѣчными праздниками; здѣсь нѣтъ французскаго театра съ его сплетнями. Она шла въ свою комнату, запиралась въ ней, оставалась одна сама съ собою, съ своими думами. Что будетъ дальше? Гдѣ исходъ? Неужели выйти замужъ за противнаго старика? Да еще возьметъ ли онъ? А если возьметъ, что тогда? Вѣчно жить здѣсь? Да, если позволитъ братъ, когда все достанется ему. О, если бы не было его, женихи нашлись бы. Она думала это и стыдилась этихъ думъ. Она гнала ихъ отъ себя, а онѣ толпились въ головѣ точно затѣмъ, чтобы она поняла вполнѣ, какъ она низко пала среди лишеній, страха за будущее, невыносимой семейной обстановки. Нерѣдко она, рыдая, бросалась на постель, прижималась лицомъ къ подушкѣ, болѣзненно, строптиво оправдываясь передъ самой собою: «Чѣмъ же я виновата, если я хочу жить, любить, быть счастливой?» И немного успокоившись, съ какимъ-то тупымъ выраженіемъ въ широко открытыхъ глазахъ, она останавливалась на вопросахъ: «какъ жить, кого любить, какого искать счастія? Вернуться въ Петербургъ, явиться въ лучшемъ обществѣ, войти туда рука объ руку съ блестящимъ мужемъ, давать балы, устраивать собранія, поражать всѣхъ тактомъ, блескомъ образованія, острымъ умомъ?» Она проводила рукой по лбу, точно желая очнуться отъ сна. Такая жизнь, такая любовь, такое счастье давно потеряны

для нея, а гдѣ же другіе идеалы? Что же, если братъ умеръ бы... Она вскакивала съ мѣста, тревожно ходила по комнатѣ и шептала: «низкая, низкая душа!» Потомъ, какой-то голосъ подсказывалъ ей, что вѣдь братъ не разъ оскорблялъ ее, не разъ приносилъ ей огорченія, не разъ самъ напрашивался на вражду; значитъ, она въ правѣ ненавидѣть его, желать ему смерти. И тутъ же она сознавала, что все это ложь, что все это придумывается изъ стремленія оправдать свою низость. Она прижималась пылающимъ лбомъ къ стеклу, простаивала такъ долгія минуты, стараясь не думать и все же думая о томъ, что другія живутъ же счастливо, любятъ и любимы. Жажда жизни и любви становилась все мучительнѣе, непреодолимѣе. Въ одну изъ такихъ минутъ она увидала въ саду одного изъ сыновей Шершова, подрубавшаго бревна для террасы. Это былъ деревенскій красавецъ въ полномъ смыслѣ слова, съ вьющимися кудрями, съ румянымъ лицомъ, съ бѣлыми зубами. Что-то лихое и задорное, беззастѣнчивое и наглое было въ его манерахъ, въ выраженіи его лица. Въ ея головѣ мелькнула мысль, что и онъ полюбитъ, и его полюбитъ какая-нибудь счастливица. Парень поднялъ голову, и его глаза, бойкіе, плутоватые, наглые встрѣтились съ ея глазами. Она быстро отшатнулась отъ окна, какъ бы испугавшись, что онъ пойметъ, что она думала о немъ. Въ ней поднялось чувство негодованія на самоё себя, точно она уличила себя въ томъ, что гдѣ-то въ глубинѣ ея души шевельнулась зависть къ той, кого полюбитъ этотъ мужикъ. Ее охватилъ стыдъ, а гдѣ-то, въ какомъ-то уголкѣ мозга шевелилась мысль: «Какъ же и не завидовать? Его невѣсту ждутъ любовь и счастіе съ красавцемъ мужемъ, а тебя—что ждетъ тебя съ мужемъ-старикомъ, уродомъ?» Опять и опять хотѣлось бѣжать отъ своихъ думъ, отъ себя. Куда? Къ отцу, къ матери, къ tante Бетси?

Эта нравственная пытка разстроила ей нервы, надломила ея энергію. Иногда она смотрѣла теперь приниженною, подавленною, кроткою. Она все чаще и чаще плакала, сердясь въ то же время на себя за эти слезы слабости, пугливо сознавая, что онѣ портятъ ея глаза, налагаютъ печать увяданія на ея лицо... Въ день пріѣзда Романа эта нервность дошла до послѣднихъ предѣловъ. Всѣ мелкія сцены и событія, разговоры и встрѣчи этого дня потрясли душу молодой дѣвушки. Теперь она шла по саду, скрываясь отъ людей, и дошла до полуразрушенной каменной

колоннады-бесѣдки съ старыми мшистыми скамьями изъ камня. Эта бесѣдка стояла въ глубинѣ сада и сюда рѣдко заходили Ломовы. Антонина Аркадьевна все повторяла, что нужно срыть эти противныя руины. Анна Ѳеодоровна въ слезахъ упала на одну изъ скамеекъ этой старой бесѣдки. Ей нужно было выплакать эти слезы... Идя по саду, она не слышала даже, что за нею кто-то слѣдуетъ. Это былъ Рома. Онъ замѣтилъ, что сестра спустилась съ террасы въ садъ, и шелъ, наблюдая за нею, видя ея волненіе, теряясь въ догадкахъ, куда она идетъ. Когда она упала въ слезахъ на скамейку, онъ въ нерѣшительности остановился на нѣсколько минутъ, потомъ подошелъ къ ней.

— Анна, что съ тобою?—воскликнулъ онъ.

Она вздрогнула, услышавъ чей-то голосъ, и быстро поднялась. На минуту, прежде всѣхъ другихъ чувствъ, въ ней проснулось самообладаніе, раздраженіе за то, что за нею слѣдятъ, что ее застали въ слезахъ. Она поднялась и рѣзко проговорила:

— Что это ты, подстерегаешь меня!

Онъ ласково протянулъ ей руку.

— Полно! развѣ я не знаю, что тебѣ такъ же тяжело, какъ и мнѣ. Ты не была бы дорога мнѣ, если бы я не былъ увѣренъ, что ты страдаешь отъ всего, что происходитъ вокругъ.

Она, ничего не отвѣчая, опять въ безсиліи опустилась на скамью, уже не протестуя, не обороняясь отъ непрошенныхъ сожалѣній брата, слушая его, какъ сквозь сонъ. Онъ говорилъ дружески и ласково, по обыкновенію волнуясь и увлекаясь:

— Наша жизнь и безъ того такъ грустно сложилась, что было бы нелѣпо отравлять ее еще дѣтскими капризами, безпричинными раздорами, мелочной враждой. Мы уже не дѣти, Анна! Два года тюремнаго заключенія выяснили мнѣ, что значатъ въ жизни ласковое слово, участіе близкихъ, дружеская поддержка. Иногда, казалось, я отдалъ бы полжизни, чтобы хотя одна родная душа утѣшила, ободрила, пригрѣла меня. Въ эти минуты я вспомнилъ, думалъ о тебѣ, и мое сердце сжималось отъ боли. Я былъ одинъ, потому что меня отрѣзали отъ остального міра, а ты, — я зналъ, что ты на свободѣ еще болѣе одинока, чѣмъ я. Это мучило меня, и я горько упрекалъ себя за то, что я не умѣлъ быть добрымъ, хорошимъ братомъ. Я много виноватъ передъ тобою.

Она все ниже опускала голову, уже не сдерживая, не

подавляя своихъ слезъ. Въ головѣ проходили отрывочныя мысли, что и она думала о немъ въ эти годы, думала, что она была бы счастливѣе, если бы онъ умеръ! Лучше бы онъ встрѣтился съ нею врагомъ; она нашла бы оправданіе себѣ; она сказала бы, что она только платитъ ему его же монетою. Теперь же — впервые она вполнѣ сознавала, до какихъ низкихъ помышленій, до какихъ мелкихъ желаній довели ее эти страшные годы нравственной ломки. Ей хотѣлось сказать ему: «уйди отъ меня, я низкое существо, я думала о тебѣ только для того, чтобы желать тебѣ смерти». И въ ту же минуту ее охватилъ страхъ при мысли, что она точно скажетъ это, откроетъ то, что заставляло ее не разъ краснѣть передъ самой собою. Онъ, весь охваченный жаждой родственной ласки, чувствующій, что эту ласку онъ можетъ здѣсь найти только у сестры, обнялъ ее за талью и приблизилъ къ себѣ.

— Милая, разсказывай все, что пережилось тобою, что дѣлалось въ семьѣ, — ласково проговорилъ онъ. — Я хочу знать все, все, что касается тебя!

— Что же говорить?—упавшимъ голосомъ сказала она.— Что говорить?

Въ душѣ же у нея впервые въ жизни явилась страстная потребность высказать все, выплакать все, громко пожаловаться кому бы то ни было, врагу, чужому, другу, брату, на свою судьбу. До этой минуты никогда она не испытывала этого чувства или, лучше сказать, инстинктивно оборонялась отъ него и была вѣрна внушенному ей съ дѣтства правилу, что всякія жалобы, сѣтованія, ропотъ, все это мѣщанство, признакъ невоспитанности, непривычка мыть свое бѣлье дома. Истинное человѣческое достоинство заставляетъ его страдать молча, являясь къ людямъ съ спокойнымъ лицомъ. Какъ-то инстинктивно она охраняла себя отъ потери этого «истиннаго человѣческаго достоинства» и при попыткахъ Иволгина и Ромы въ былые дни заглянуть ей въ душу мимовольно переходила въ вызывающій тонъ. Теперь было не то, она потеряла способность къ самообладанію и явилась какъ бы беззащитною передъ ласками брата. Теперь ей хотѣлось только жаловаться и жаловаться, громко, съ плачемъ. Она начала говорить сбивчиво, путаясь, какъ жалующійся за обиды ребенокъ; сразу сказывалась непривычка формулировать то, что тяготило, то, чего желалось достигнуть; мелочи смѣшивались съ серьезными огорченіями, иногда выдвигались на первый планъ.

— Ты и представить себѣ не можешь, что здѣсь за жизнь,—говорила она.—Ты знаешь отца: говоритъ, говоритъ, говоритъ безъ конца. О чемъ? Вѣчная брань противъ земства, противъ крестьянъ, противъ существующихъ порядковъ. Я не знаю, можетъ-быть, онъ и правъ, но это все слова и только слова. Онъ вооружаетъ всѣхъ и каждаго противъ себя. Но что же самъ дѣлаетъ? Ничего, ровно ничего, только ловитъ какихъ-то коровъ за потравы, накричится и великодушно прощаетъ, отыскиваетъ какихъ-то воровъ, укравшихъ три бревна, точно въ этомъ и заключается все хозяйство, вся дѣятельность. Крестьяне вредятъ ему или обманываютъ его. Да, обманываютъ, насмѣхаясь надъ нимъ, какъ вотъ какой-то Шершовъ, купившій у отца лѣсъ. Я это чувствую, угадываю! И всѣ смѣются надъ нимъ. Владиміръ, сынъ tante Бетси, самъ мнѣ говорилъ. Здѣсь вѣдь люди безцеремонны, все прямо въ глаза говорятъ... А отецъ самъ доволенъ собою, какъ всегда былъ доволенъ собою, носится точно на крыльяхъ, съ громомъ и шумомъ возвѣщая всѣмъ и каждому о своей пошлости, глупости, пустотѣ...

Рома въ волненіи всталъ и заходилъ по бесѣдкѣ. Развѣ онъ не знаетъ отца? Когда можно было бесѣдовать въ блестящихъ салонахъ о французскомъ театрѣ, о коннозаводствѣ и скачкахъ, объ ученьяхъ и парадахъ—отецъ могъ не только быть терпимымъ въ обществѣ, но могъ даже казаться неглупымъ и бойкимъ малымъ. Обо всемъ этомъ такъ легко говорить, особенно когда говоришь объ этомъ почти съ дѣтства. Но когда пришлось зарабатывать хлѣбъ, когда пришлось на дѣлѣ показать свои способности, развитіе, знанія,—онъ оказался ни на что негоднымъ, ничего въ сущности непонимающимъ человѣкомъ, какимъ-то глупымъ, безпомощнымъ младенцемъ. Сколько ихъ такихъ среди блестящихъ паркетныхъ шаркуновъ, умѣющихъ все проѣдать, неумѣющихъ ничего добыть честнымъ трудомъ.

— А мать?—продолжала Анна Ѳеодоровна, увлекаясь:—щеголяетъ, рисуется страданіями! Ничего, ничего въ ней не осталось—ни любви къ мужу, ни материнскаго чувства, ни сочувствія къ ближнимъ, ничего, кромѣ гордаго сознанія, что она страдалица. Почетный титулъ! О, ты не знаешь,—съ оживленіемъ и горечью повысила голосъ молодая дѣвушка:—до чего она дошла теперь. Ей мало того, что она пережила девять тяжелыхъ лѣтъ. Нѣтъ, она ищетъ страданій и въ болѣе далекомъ прошломъ, когда она блестѣла въ

обществѣ, когда проживалось все. Она говоритъ, что она страдала отъ сознанія всѣхъ недостатковъ отца, что она краснѣла за него, что она чувствовала, какъ въ ней съ потерей уваженія къ нему охладѣвала къ нему любовь, и что въ ней происходила страшная борьба, чтобы сохранить себя вѣрной женой, честной женщиной... Сохранить себя вѣрной женой, честной женщиной, когда мужъ не только пошлъ и глупъ, но и развратенъ—это ли не страданія! Да, да, она говоритъ это, говоритъ громко, съ наслажденіемъ. Я слышала, какъ она все это поясняла tante Бетси!

И уже съ гнѣвомъ она заговорила:

— Ты думаешь, мученичество ея кончилось? Кажется, теперь нѣтъ нужды и есть развлеченія — можно толковать по цѣлымъ часамъ съ бабами, выслушивать у нихъ мелкія сплетни, покупая у нихъ разныя разности. Нѣтъ, нѣтъ! Теперь источникъ мученій — я. Да, я! Что я буду дѣлать? Кто меня возьметъ? Сватаютъ жениха, ловятъ его, отвратительнаго урода, старика, глупца! Сама страдала безъ любви къ мужу отъ сознанія его глупости и изъ участія ко мнѣ хочетъ создать для меня такое же положеніе! И это отецъ, это мать! Нѣтъ, я не только не могу ихъ любить, я иногда, кажется, просто ненавижу ихъ!

Она закрыла лицо руками и расплакалась неутѣшными слезами, уже не сдерживая ихъ, не стыдясь ихъ. Братъ снова присѣлъ къ ней, обнялъ ея талью, чувствуя къ ней глубокую жалость, подавляя слезы, уже катившіяся по его щекамъ.

— Полно, полно, милая!—нѣжно шепталъ онъ.—Ты же не пойдешь замужъ безъ любви, найдешь другой исходъ!

Она опять оживилась, охваченная гнѣвнымъ чувствомъ.

— Исходъ? Какой? — страстно заговорила она. — Я думала, передумывала, и всѣ думы кончались однимъ: выйти за кого бы то ни было замужъ, лишь бы были средства жить въ довольствѣ, широко, блестяще! О, ты меня совсѣмъ не знаешь! Во мнѣ ничего, ничего нѣтъ, кромѣ желанія жить такъ, кромѣ сознанія, что иначе я не умѣю жить. Никакихъ другихъ стремленій, никакихъ другихъ вкусовъ, никакихъ другихъ идеаловъ не привили они ко мнѣ. Я знаю, другіе имѣютъ какія-то другія цѣли, другіе идеалы, другія наслажденія. Вотъ Наташу интересутъ здоровье какихъ-то бабъ и мужиковъ, какого-то Пегасика; tante Бетси и ея Владиміръ радуются, что на ихъ кирпичъ пошелъ большой спросъ во всей губерніи, и цѣна на него повысилась; у

Иволгиныхъ, говорятъ, домъ похожъ на маленькую игрушку, и они въ восторгѣ, что, перевязавъ всѣ гнойныя раны бабъ и мужиковъ, они могутъ наслаждаться затишьемъ отдыха за книгой, за фортепіано, разыгрывая сонаты и распѣвая дуэты... Меня это смѣшитъ, во мнѣ это пробуждаетъ презрѣніе. Я знаю, что это, можетъ-быть, лучше, честнѣе, возвышеннѣе моего идеала, но...

Она оборвала рѣчь и порывисто встала.

— Я низкая, мелочная личность... и ужаснѣе всего то, что я сознаю это...

— Анна!—воскликнулъ Романъ.

— Да, да, не спорь! Ты меня не знаешь, вовсе не знаешь! Ты, можетъ-быть, и себя не знаешь...

Она посмотрѣла на него почти съ насмѣшкой. Казалось, ей хотѣлось затоптать въ грязь себя, его, всѣхъ людей.

— Ты вотъ пришелъ ко мнѣ съ лаской, со словомъ участія. Можетъ-быть, тебѣ самому нужно было подѣлиться съ кѣмъ-нибудь переполнившимъ чашу горемъ; съ Наташей ты еще не близокъ; къ Иволгинымъ нельзя же бѣжать сегодня же; ну, и пришелъ ко мнѣ. Я тебѣ благодарна, мнѣ тоже надо было высказаться. Очень ужъ я измучилась молчать. Но, если бы ты зналъ меня, ты не пришелъ бы ко мнѣ...

Какая-то необъяснимая, какъ бы внѣшняя сила все болѣе и болѣе толкала ее теперь бичевать себя, глумиться надъ собою вслухъ, топтать себя въ грязь.

— Ты вотъ говоришь объ исходѣ. Я нашла его. Въ твоей смерти нашла...

Онъ широко открылъ глаза. Ему казалось, что она сходитъ съ ума. Желчныя ноты ея голоса болѣзненно отдавались въ его ушахъ.

— Какъ же! Не было бы тебя, я была бы богатою невѣстою, нашлись бы женихи по вкусу, не какіе-нибудь уродливые старики. Ты мнѣ мѣшаешь!

И точно испугавшись своихъ словъ, испугавшись произведеннаго ими впечатлѣнія на Романа, она провела рукой по лбу и, опустившись на скамью, заговорила снова упавшимъ голосомъ:

— Теперь это прошло, не вернется... Я все высказала тебѣ, чтобы ты зналъ, до чего дошла я, до чего довели меня... Въ душѣ я понимаю, что и не отнимешь ты у меня ничего, если бы нужны были средства для моего счастія, что и не пошла бы я за того, кто женился бы не на мнѣ,

а на деньгахъ, хоть бы это былъ самый блестящій женихъ... И все-таки...

Она смолкла и съ опущенными на колѣни руками засмотрѣлась въ темнѣвшее пространство, подергивавшееся легкимъ сырымъ туманомъ, точно обрывками облачковъ, надъ широкимъ полемъ.

— Неужели и самые низкіе, самые подлые люди сознаютъ, что они и думаютъ, и поступаютъ низко и подло?—въ раздумьи проговорила она.—Или это только моя особенность? Когда я думала о томъ, что ты мѣшаешь мнѣ, я сознавала, что это низко и подло, и продолжала вѣчно возвращаться къ этой мысли. Когда я всматриваюсь въ жизнь, я сознаю, что есть лучшіе и болѣе чистые идеалы, чѣмъ мой идеалъ, и не люблю ихъ, не стремлюсь полюбить ихъ, не хочу полюбить ихъ — да, да, не хочу! — точно я сознаю, что, достигнувъ ихъ, я умерла бы отъ скуки, а достигнувъ своего, я впервые зажила бы настоящею жизнью...

Романъ ходилъ взадъ и впередъ по бесѣдкѣ, почти не слушая ее. Его всего охватила мысль о томъ, что онъ стоитъ на дорогѣ сестры. Впервые въ жизни его навели на эту мысль. Какъ страшно сознавать, что стоишь на чьей-нибудь дорогѣ преградой, что тебѣ желаютъ смерти. Сознавать, что твоя жизнь безполезна для другихъ и тяготитъ самого тебя. Въ такомъ положеніи нужно наложить на себя руки. Жить подло, когда сознаешь, что ты можешь только мѣшать другимъ и не можешь наслаждаться самъ. Откуда-то въ памяти встали слова Дезульеръ: «C'est ne vivre plus que de vivre inutile»... Болѣзненно настроенный мозгъ Романа работалъ теперь въ этомъ направленіи настойчиво, неудержимо, упорно, точно подталкивая его на самоубійство, точно торопя къ развязкѣ. Смущенная молчаніемъ брата, Анна Ѳеодоровна взглянула на него. Онъ былъ мертвенно блѣденъ, смотрѣлъ мрачно, его губы передергивала нервная судорога. Она съ испугомъ окликнула его:

— Рома?

— А?—вскрикнулъ онъ, вздрогнувъ всѣмъ тѣломъ, и остановился, обводя кругомъ тревожными глазами, точно не сознавая, гдѣ онъ и кто съ нимъ говоритъ.

— Что съ тобой?—тревожно спросила она.—Ты разсердился? Тебѣ дурно?

Онъ машинально провелъ рукой по глазамъ:

— Нѣтъ, нѣтъ, это со мной бываетъ теперь, послѣ

тюрьмы... Забудусь, унесусь куда-то мыслями, потомъ пугаюсь, когда заговорятъ...

Онъ сдѣлалъ надъ собой усиліе и ласково улыбнулся ей:

— Такъ что же... умирать, чтобы ты была счастлива?

— Нѣтъ, живи теперь, чтобы мнѣ было легче,—отвѣтила она и, взявъ его за голову руками, поцѣловала его въ лобъ.— Намъ не сумѣли дать даже этого счастья—братской дружбы; мы набрели на него только случайно сегодня...

Она припала къ его плечу головой, охваченная страстной жаждой чьей-нибудь ласки.

— Если бы ты зналъ, какъ мнѣ хорошо въ эту минуту,— тихо сказала она.—Я впервые сознаю, что меня кто-то любитъ, и что я кого-то люблю...

Былъ уже совсѣмъ вечеръ, когда они вернулись къ дому, оба задумчивые, затихшіе, грустно счастливые. Еще издали они замѣтили Наташу. Она сидѣла на ступеняхъ террасы, задумчиво расплетая и заплетая конецъ своей косы, заброшенной на грудь. Ея лицо было серьезно; оно приняло сосредоточенное выраженіе. Они окликнули ее, спросивъ, что она дѣлаетъ.

— Въ комнатахъ душно,—коротко отвѣтила она.

— Чай пора пить,—сказала Анна Ѳеодоровна.

Дѣйствительно, въ комнатѣ, смежной съ террасой, Антонина Аркадьевна уже приготовляла чай, держа въ зубахъ папиросу. На столѣ горѣли свѣчи. Братъ и сестра вошли въ комнату.

— Наташа въ саду?—спросила мать.

— Да, на террасѣ.

— А я ужъ думала, что она опять убѣжала! Странно, вы ушли вдвоемъ, оставили ее одну. Она не нашла ничего лучшаго, какъ уйти въ деревню.

Въ эту минуту въ дверяхъ появилась сама Наташа. Услышавъ, что на нее жалуются, она проговорила:

— Я вовсе не потому хотѣла идти туда, что осталась одна, но у Анисьи мой крестникъ, я думала отнести ему рубашку.

Антонина Аркадьевна обернулась къ ней и холодно сказала:

— Я повторяю тебѣ, Наташа, что у тебя могутъ быть тамъ десятки крестниковъ и все-таки ходить туда тебѣ неприлично. Крестниковъ ты можешь позвать сюда, если ты непремѣнно хочешь ими любоваться и дарить ихъ.

И, обратившись къ остальнымъ присутствующимъ, она продолжала насмѣшливымъ тономъ:

— Милыхъ вещей наслушается и насмотрится въ этихъ избахъ! Своеобразное развитіе получитъ въ восемнадцать лѣтъ среди этихъ пьяныхъ и развратныхъ людей

Наташа вспылила.

— Ничего не наслушаюсь и не насмотрюсь, потому что я и прежде ходила туда. И Вѣрочка ходитъ туда, и Борисъ Николаевичъ. И покойный дядя никогда мнѣ не запрещалъ...

Антонина Аркадьевна сухо прервала ее:

— Мы всѣ здѣсь хорошо слышимъ, и потому не для чего возвышать голоса...

У Наташи навернулись на глаза отъ досады слезы:

— Я не возвышаю голоса, а если мнѣ прикажутъ сидѣть здѣсь и не видать...

Романъ коротко прервалъ ее:

— Здѣсь, Наташа, никто не имѣетъ даже права приказывать тебѣ.

Мать съ удивленіемъ взглянула на него, точно не понимая его словъ.

— Ты не ребенокъ и совершенно свободна,—закончилъ Романъ и, обращаясь къ матери, проговорилъ: — Вы вѣдь никогда не жили въ деревнѣ и потому не знаете, что здѣсь нельзя жить, не сближаясь съ народомъ. Вамъ только потому и кажутся все какіе-то ужасы, что вы сидите въ четырехъ стѣнахъ...

— Ты не пріѣхалъ ли меня учить, какъ слѣдуетъ жить?— насмѣшливо и холодно прервала мать своимъ обычнымъ тономъ, усмирявшимъ всѣ вспышки Ромы въ дни его дѣтства.—Я думала, что за эти два года...

Ее прервалъ громкій говоръ въ сосѣдней комнатѣ.

— Нѣтъ, нѣтъ, онъ у меня накланяется теперь,—громко говорилъ Ѳеодоръ Романовичъ.—Слава Богу, что выслѣдили. Это все Шершовы навели на слѣдъ.

— Онъ-съ, Ѳеодоръ Романовичъ,—послышался мягкій и пѣвучій голосъ Аквилонова:—въ ногахъ валяется, говоритъ, что угодно съ нимъ дѣлайте, только бы не въ судъ.

— А! не въ судъ? не въ судъ? Что-жъ такъ? Вѣдь теперь у нихъ свои суды, новые суды...

И уже глумящимся тономъ Ломовъ прибавилъ:

— Какое же я имѣю право незаконно дѣйствовать? Прежде бы я его просто на конюшнѣ выпоролъ, ну, а теперь я не смѣю,—долженъ волей-неволей въ судъ обратиться, на вора жаловаться. Можетъ-быть, еще оправдаютъ,

можетъ-быть, еще скажутъ, что не онъ у меня, а я у него укралъ. Вѣдь все возможно!..

Въ столовой воцарилось молчаніе. Въ сосѣдней комнатѣ послышались быстрые шаги Ѳеодора Романовича. Онъ вошелъ въ столовую и тотчасъ же заговорилъ:

— Нашли, наконецъ, нашли!

— Что?—торопливо спросила жена.

— Да все тѣ же бревна. Нѣтъ, у меня не такъ легко воровать. Шила въ мѣшкѣ не утаишь! У меня сейчасъ формальное слѣдствіе. Они еще не привыкли къ этому, концовъ не умѣютъ прятать, ну, пусть поучатся. А покуда я имъ покажу, съ кѣмъ они имѣютъ дѣло.

Онъ заходилъ по столовой, прихлебывая чай и ораторствуя о трехъ украденныхъ бревнахъ. Эти бревна дали ему занятій, разговоровъ, хлопотъ и волненій на цѣлую недѣлю. Объ этихъ бревнахъ ежедневно говорила и Антонина Аркадьевна, когда бабы приносили ей продавать холстъ, яйца, куръ. Для мужа и жены деревенская жизнь начала хоть немного дѣлаться разнообразною: у нихъ были теперь, кромѣ разобраннаго у сада забора, засѣянный крестьянами клокъ господской земли, украденныя три бревна и еще открытіе, что кто-то на деревнѣ въ пьяномъ видѣ грозился подпустить имъ краснаго пѣтуха. Въ этомъ для Ѳеодора Романовича теперь былъ весь смыслъ его дѣятельности. Какъ онъ ободрился послѣ разоренья при помощи возможности болтать съ членами конкурса по дѣламъ Прецкаго банка и Русина, съ разными адвокатами и дѣльцами, такъ теперь онъ нашелъ въ деревнѣ занятіе въ мелкой войнѣ съ крестьянами, точно въ этомъ и состояла его роль землевладѣльца. Анна Ѳеодоровна, знавшая, что теперь не будетъ конца надоѣвшимъ ей толкамъ, встала и, простившись со всѣми, вышла изъ столовой.

— И знаешь, кто выслѣдилъ? —проговорилъ Ломовъ.— Шершовъ! Все онъ, все онъ! Я никакъ не думалъ, что этотъ человѣкъ принесетъ мнѣ столько пользы. Это голова, о, какая голова!

И Ѳеодоръ Романовичъ снова началъ толковать о достоинствахъ Шершова пространно, горячо волнуясь и увлекаясь. Наташа сидѣла съ глазами, полными слезъ. Антонина Аркадьевна, волнуясь вмѣстѣ съ мужемъ, наконецъ обратилась къ ней:

— Всѣ эти воры и грабители—отцы твоихъ крестниковъ!

— Неправда, неправда!—воскликнула Наташа, едва сдер-

живая рыданія.—Никто, кого я знаю, не былъ воромъ никогда, никогда! Они не виноваты,—что многіе изъ нихъ... мужиковъ... бѣдные...

Она встала и пошла изъ столовой.

— Милое институтское воспитаніе,—насмѣшливо сказала ей вслѣдъ Антонина Аркадьевна.—Мы съ перваго дня уже сцены дѣлаемъ!

Романъ съ шумомъ отодвинулъ стулъ.

— Хорошо еще ей, что она можетъ уйти совсѣмъ и навсегда,—проговорилъ онъ мрачно.

Мать что-то хотѣла возразить, но Ѳеодоръ Романовичъ остановилъ ее. Онъ далъ выйти сыну и тотчасъ же обратился къ женѣ наставительнымъ тономъ на «вы».

— Эхъ, сколько разъ я вамъ говорилъ, что надо имѣть побольше такта! У васъ этого никогда не было и не будетъ!.. Ну, она съ душкомъ, какъ всѣ дѣвчонки изъ институтовъ. На это надо смотрѣть сквозь пальцы. Ее нельзя вооружать. Будетъ время, когда она войдетъ въ нашу семью, тогда другое дѣло. Дѣлайте тогда, что угодно. А покуда вы должны помнить, что намъ нужно, чтобы эта партія состоялась. Иначе... вотъ я получилъ деньги съ Шершова за клокъ лѣса, а гдѣ онѣ? Часть уже ушла. Вѣдь все нужно заводить, лошадей, скотину, экипажи...

И онъ заговорилъ пространно обо всемъ, что имъ нужно и на что нѣтъ денегъ.

Романъ, между тѣмъ, нагналъ Наташу и ласково замѣтилъ ей:

— Наташа, не обращай на нихъ вниманія и дѣлай то, что нравится тебѣ...

Она на минуту остановилась у дверей своей комнаты.

— Я и не намѣрена обращать вниманія на ихъ приказанія,—твердо отвѣтила она, уже вполнѣ овладѣвъ собою и какъ бы удивляясь его словамъ. — Я расплакалась не о себѣ. Мнѣ стало жаль крестьянъ.

И, какъ бы желая пояснить ему свои отношенія къ его семьѣ, прибавила:

— Ты сдѣлалъ возраженіе матери, сказавъ, что я свободна... Если бы ты не сказалъ этого,—это сказала бы я...

Она протянула ему руку, ласково проговоривъ:

— Прощай, голубчикъ!

Въ выраженіи ея лица, въ ея голосѣ слышалось, что это вполнѣ свободный и самостоятельный человѣкъ, сознающій благо своей свободы и своей самостоятельности. Въ ея душѣ,

очевидно не было ни страха за свое будущее, ни сомнѣній относительно своихъ поступковъ, ни колебаній насчетъ того, какъ вести себя. Романъ какъ-то невольно подумалъ:

— Счастливица!

Онъ долго не могъ уснуть, думая объ отцѣ, о матери, о сестрѣ, о Наташѣ, о себѣ. Жалобы сестры глубоко запали ему въ душу. Онъ вспоминалъ ихъ одну за другою. Да, она очень несчастна. У нея одинъ исходъ—замужество; другихъ идеаловъ у нея нѣтъ. Ему вдругъ вспомнились ея слова, что она желала ему смерти, чтобы сдѣлаться богатой невѣстой. Это опять привело его въ возбужденное состояніе. Жизнь довела до того, что цѣною смерти брата думала купить счастіе. Бѣдная! Теперь она знаетъ, что онъ все отдастъ ей, если это будетъ нужно для ея счастія. А онъ? До чего онъ дошелъ? Онъ даже не можетъ сказать, чтобы хоть цѣной чьей-нибудь смерти онъ могъ сдѣлаться счастливымъ. У нея есть хоть узкій идеалъ счастья — у него нѣтъ и этого. Ни во что не вѣритъ, ни на что не надѣется! И это на двадцать четвертомъ году жизни! Слѣдствіе чего это? Не слѣдствіе ли полученнаго имъ воспитанія, не научившаго его ничего любить, кромѣ своей барской роскоши, барскихъ привычекъ, барскихъ удобствъ? Не потому ли явились эта безнадежность и безвѣріе, что онъ одновременно узналъ и то, что въ мірѣ есть многое достойное любви, и тѣ книги, тѣ теоріи, гдѣ отрицаніе убиваетъ всякія надежды, всякую вѣру въ лучшее будущее для человѣчества? Не повредило ли ему то, что онъ созналъ безплодность разныхъ отраслей труда, прежде чѣмъ онъ втянулся въ какую-нибудь излюбленную дѣятельность, привыкъ къ ней, какъ роковымъ образомъ привыкаютъ къ разврату, къ кутежамъ, къ пьянству? Или просто путемъ наслѣдственности къ нему перешла отъ отца способность говорить обо всемъ и ничего не дѣлать? Онъ не могъ рѣшить этихъ вопросовъ, онъ сознавалъ только, что никакой родъ дѣятельности не манитъ его, что всякая дѣятельность кажется ему толченіемъ воды въ ступѣ, переливаніемъ изъ пустого въ порожнее, верченьемъ въ бѣличьемъ колесѣ, что прежде нужно все въ мірѣ перевернуть вверхъ дномъ, разрушить. Труды и усилія человѣчества представлялись какой-то работой муравьевъ: тысячи ихъ трудятся, создавая свой муравейникъ, но стоитъ пройти мимо шалуну-мальчишкѣ, и онъ палкой разворотитъ все, что созидалось съ такими усиліями тысячами тружениковъ. Что осталось отъ Карфагена и его цивилизаціи? Гдѣ въ Греціи

слѣды древняго спартанскаго генія? Какіе результаты дала первая историческая стачка—стачка евреевъ, отказавшихся отъ рабскаго труда, не тѣ ли, что стачки повторялись и потомъ и подавлялись распорядителями судьбою бѣлыхъ негровъ? Сохранилось ли на практикѣ гдѣ-нибудь ученіе христіанства въ своей первоначальной чистотѣ? Пять тысячъ лѣтъ тому назадъ сказаны слова о необходимости любить ближняго, какъ самого себя,—а братья ненавидятъ братьевъ попрежнему? Не медицина ли оказала могучее вліяніе на человѣчество, живущее теперь меньше прежняго, сдѣлавшееся менѣе выносливымъ, болѣе слабосильнымъ, изнервничавшееся до того, что пессимизмъ сталъ чуть не повальной болѣзнью, а сами медики съ ужасомъ говорятъ, что алкоголизмъ и слѣдствіе заразы отъ разврата грозятъ въ будущемъ еще большими бѣдствіями? Мысль о разстроенныхъ нервахъ заставила его сдѣлать скачокъ отъ судебъ человѣчества къ своей судьбѣ. Вся бѣда въ томъ, что у него разстроены нервы. Этимъ наградили его отецъ и мать, воспитаніе, переворотъ въ жизни, тюрьма. Прежде всего нужно успокоить ихъ, тогда, можетъ-быть, все предстанетъ въ иномъ, болѣе привлекательномъ свѣтѣ. О, если бы полюбить,—полюбить такую дѣвушку, какъ Наташа, чистую, здоровую, свѣжую. Полюбить? Онъ уже и полюбилъ. Вопросъ не въ томъ, а въ томъ, полюбитъ ли она-то его? Онъ грустно улыбнулся: давно ли онъ говорилъ, что у его сестры есть исходъ, а у него нѣтъ; а вотъ теперь и нашелся, все тотъ же вѣчный исходъ — любовь. А что если и любовь не спасетъ? Если и она не принесетъ спокойствія духа, бодрости, надеждъ, стремленій? Онъ тогда только отравитъ жизнь другому существу, не исправивъ своей жизни? Имѣетъ ли онъ право ставить на карту чужое существованіе? Ради чего? Ради гадательнаго спасенія самого себя? Вдругъ и она, Наташа, придетъ когда-нибудь къ тому же заключенію, къ какому пришла его сестра: «о, если бы онъ не стоялъ на моей дорогѣ?» Ему стало жутко, точно эти слова уже говорила Наташа. Возбужденное воображеніе работало быстро. Фантазіи казались дѣйствительностью. Онъ содрогнулся. Да, да, лучше умереть. Его охватилъ при этой мысли такой ужасъ, какъ будто онъ уже занесъ на себя руку. Лобъ покрылся холоднымъ потомъ, члены оцѣпенѣли, глаза остановились съ расширенными зрачками, вглядываясь во мракъ. Черезъ нѣсколько минутъ онъ очнулся, какъ бы отъ обморока. Онъ потеръ лобъ, припоминая, что съ нимъ случилось. «Нерв-

ничаю все, нервничаю,—проговорилъ онъ.—Пить, развратничать я рано началъ. Организмъ былъ и безъ того слабъ. Слава Богу, что тюрьма отучила хоть отъ этого. Теперь это не повторится. Надо беречь себя, надо подготовиться. Еще жизнь впереди, все можетъ измѣниться».

Онъ мало-по-малу сталъ засыпать, баюкая себя какими-то смутными надеждами на лучшее. Онъ уснулъ, повидимому, спокойно. Но подъ утро въ комнатѣ стало душно. Ему снилось, что онъ снова въ тюрьмѣ; но онъ не одинъ; въ углу стоитъ его мать и говоритъ съ кѣмъ-то насчетъ того, что нужно зарѣзать ея сына; онъ отчетливо слышитъ ея слова и силится крикнуть ей, что онъ все слышитъ, и не находитъ силъ для крика; между тѣмъ этотъ кто-то подкрался къ нему съ ножомъ и начинаетъ его душить, занося надъ его горломъ ножъ; онъ сталъ отбиваться, бороться, вскочилъ...

— Его надо зарѣзать!—отчетливо раздалось приказаніе матери.

Рома испуганно осмотрѣлся, протеръ глаза. Да, онъ не спитъ, это онъ слышалъ наяву. Въ его окна смотритъ уже бѣлый день. Господи, что же это такое? Тотъ же голосъ повторяетъ.

— Я тебѣ говорю, что его надо зарѣзать, а эту пеструшку оставить на выкормку.

Онъ узналъ опять голосъ матери. Онъ быстро подошелъ къ окну и распахнулъ его. Внизу на надворномъ крыльцѣ Антонина Аркадьевна, окруженная бабами, принесшими на продажу разные хозяйственные предметы, отдавала приказаніе Степану Потапычу, державшему въ рукахъ пѣтуха и курицу. У Ломова отлегло отъ сердца, точно онъ въ самомъ дѣлѣ думалъ до этой минуты, что зарѣзать собирались именно его.

КНИГА ТРЕТЬЯ.

I.

У Елизаветы Андреевны Кожуховой справлялось семейное торжество — годовщина рожденія ея старшаго сына. Елизавета Андреевна каждый годъ повторяла сыну передъ приближеніемъ этого дня:

— Не въ пору ты родился—на заводѣ теперь самое горячее время.

Тѣмъ не менѣе, торжество справлялось каждый годъ неизмѣнно. Въ этотъ разъ оно казалось тѣмъ необходимѣе, что Елизавета Адреевна особенно сильно разсчитывала нанести въ этотъ день окончательный ударъ Валерьяну Александровичу Апухтину.

— Надо же пристроить бѣдную Ниночку,—говорила она и прибавляла: — Да и намъ пригодится имѣть близкимъ родственникомъ нашего предводителя.

Ѳеодоръ Романовичъ и Антонина Аркадьевна знали отлично планы tante Бетси и обрадовались ея приглашенію провести у нея этотъ день. Обрадовались предстоящему празднику и остальные члены семьи, но не ради сближенія съ Апухтинымъ; они были бы даже болѣе довольны, если бы пиръ былъ безъ Апухтина; ихъ радовала просто возможность развлечься. Деревенская жизнь навѣвала на нихъ, настоящихъ петербуржцевъ, привыкнувшихъ къ шуму и суматохѣ улицъ, томительную скуку своимъ однообразіемъ, своимъ затишьемъ. Дѣла у нихъ не было и не могло быть, развлеченій тоже. Это была не жизнь, а изныванье отъ праздности.

Въ первое же утро по пріѣздѣ Романа въ деревню его разбудилъ голосъ матери, отдававшей приказаніе Степану

Потапычу зарѣзать пѣуха. Этотъ голосъ сталъ будить Романа ежедневно. Надворное крыльцо было какъ разъ подъ окнами его комнаты. Романъ вставалъ, подходилъ къ окну, открывалъ его и смотрѣлъ внизъ. Внизу на крыльцѣ обыкновенно стояла мать въ блузѣ, съ непричесанными волосами, немного обрюзгшая и опустившаяся, и вела бесѣды съ окружавшими ее бабами. Бабы приносили ей на продажу яйца, куръ, масло, творогъ, холсты, иногда все это въ микроскопическихъ дозахъ, очевидно, не потому, что это приносимое было лишнимъ въ домѣ, а потому, что былъ нуженъ до зарѣза какой-нибудь грошъ на уплату разныхъ долговъ, недоимокъ, сборовъ и податей. Онѣ иногда не просто предлагали купить приносимое, а кланялись и молили Христомъ Богомъ, точно нищія, просящія подаянія. Нужда во многихъ семьяхъ въ Ломовскомъ доходила до крайнихъ предѣловъ. У Антонины Аркадьевны какъ-то само собою вошло въ привычку отказываться съ перваго слова отъ покупокъ:

— Ничего, ничего сегодня не куплю! Все есть,—говорила она.

Бабы опять начинали уговаривать и просить.

— Смѣшныя вы! На что мнѣ все это? Бросить, что ли, заплативъ деньги!—говорила Антонина Аркадьевна.

Упрашиванья повторялись, наконецъ прямо произносилось послѣднее слово:

— Помоги!

Тогда Антонина Аркадьевна начинала для развлеченія попрекать бабъ:

— Когда нужно—помоги, а то такъ судиться хотите изъ-за земли. Засѣяли нашъ участокъ и правы!

Высчитывались всѣ вины крестьянъ. Бабы вздыхали, не то сознавая свои провинности, не то просто ожидая конца укорительныхъ рѣчей. Иногда выискивалась какая-нибудь шустрая бабенка, успѣвшая цивилизоваться гдѣ-нибудь въ городѣ въ качествѣ стряпки, и не безъ лукавства бойко замѣчала:

— Матушка-барыня, да развѣ баба отвѣтчица за мужика!

— Ахъ, всѣ вы заодно тамъ!—восклицала Антонина Аркадьевна и опять начинала высчитывать крестьянскія вины.

Бабы не отставали.

Тогда призывался Степанъ Потапычъ, начиналось совѣщаніе съ нимъ, нужны ли предлагаемые продукты.

— Яицъ нужно намъ?—спрашивала Антонина Аркадьевна.

— Яйца всегда нужны,—коротко и мрачно отрѣзалъ Степанъ Потапычъ.

Онъ постоянно былъ теперь не въ духѣ. Съ одной стороны, Марѳа Власьевна раздражалась здѣсь больше обыкновеннаго, даже когда онъ не пилъ, а съ другой—самъ онъ сердился на хозяйство господъ: «коляску выписали новую, бѣговыя дрожки купили, да полкурицы завели въ усадьбѣ и думаютъ, что такъ и надо вести дѣла; развѣ это называется господскимъ хозяйствомъ». Онъ помнилъ старыя господскія хозяйства и почти стыдился за нынѣшнее хозяйство своихъ господъ. Разъ онъ проворчалъ цѣлый день, когда ему пришлось по случаю пріѣзда неожиданныхъ гостей обѣгать всю деревню, чтобы раздобыть на обѣдъ куръ. Такой стыдъ и срамъ было не легко перенести.

— Ну, а творогъ понадобится?—продолжала спрашивать барыня.

— Творогъ всегда нуженъ,—тѣмъ же тономъ отвѣчалъ онъ.

Она сердилась.

— Поди и справься, есть ли у насъ; можетъ-быть, вовсе и не нужно. Ты вѣдь радъ все скупить.

— Что же справляться, если нужно...

— Тебѣ говорятъ, справься...

— Справлюсь, чего не справиться, а что нужно, такъ это и такъ знаю...

Она бросала на него строгій взглядъ, точно говоря: «Что это ты, ужъ не женѣ ли вздумалъ подражать грубостями? Такъ ты запомни, что тебѣ не позволятъ того, что спускается ей».

— Ступай и посмотри!—приказывала она.

Онъ шелъ смотрѣть и возвращался съ короткимъ отвѣтомъ:

— Смотрѣлъ! Нужно!

Бабы каждый разъ въ подобныхъ случаяхъ вздыхали облегченными вздохами, хотя каждый разъ онѣ могли впередъ знать, что скажетъ Потапычъ. Тогда начинался торгъ. Выторговывались гроши, копейки. Все это затягивалось нестерпимо долго, перерывалось вводными разговорами; Антонина Аркадьевна уже знала деревенскія исторіи, имена десятковъ изъ деревенскихъ жителей, интересовалась сплетнями.

Романъ слушалъ эти разговоры и чувствовалъ, что мать затягиваетъ свои бесѣды съ бабами для того, чтобы поразнообразить хоть чѣмъ-нибудь свою жизнь, хоть чѣмъ-нибудь разогнать охватившую ее сонливую апатію. Какъ

когда-то въ Петербургѣ она смотрѣла по цѣлымъ часамъ на проходившихъ мимо оконъ грязныхъ мастеровыхъ, на тащившихся съ ношами бабъ, на игравшихъ въ бабки уличныхъ ребятишекъ, такъ теперь она здѣсь, въ деревнѣ, толкуетъ съ бабами. Иногда къ ней утромъ приходятъ не продавщицы, а просто такъ, какія-то бабы пожалиться на свою судьбу, разсказать ей про какое-нибудь «озорство» мужиковъ. Она выслушивала и ихъ, интересовалась ихъ разсказами. Ее прозвали даже «жалостливой», «болѣзной», «сердешной» барыней.

Эти бесѣды каждое утро длятся безъ конца; Мароа Власьевна иногда два-три раза докладываетъ барынѣ, что чай поданъ, и всѣ «встамши», а Антонина Аркадьевна все не можетъ оторваться отъ разговоровъ. Она давно, еще въ столицѣ, отвыкла выѣзжать и теперь ее не манило къ сосѣдямъ, даже къ Иволгинымъ, жившимъ въ трехъ верстахъ отъ Ломовыхъ. Ей было даже видимо лѣнь одѣваться, чесать волосы, хотѣлось ходить подольше въ утренней блузѣ, съ кое-какъ приглаженными сухими волосами, падавшими прядями около щекъ...

Умывшись и одѣвшись, Романъ сходилъ на террасу, гдѣ обыкновенно пили чай. Тамъ уже горячился и волновался Ѳеодоръ Романовичъ. Повидимому, онъ былъ дѣятеленъ, воодушевленъ, слѣдилъ за всѣмъ въ хозяйствѣ. Но это было только одно говоренье и притомъ говоренье съ чужого голоса. Дѣло за него дѣлали уже давно Шершовъ и Аквиловъ. Шершовъ выяснялъ ему всевозможныя выгоды того или другого рода хозяйства, доказалъ преимущества отдачи земли въ аренду не за деньги, а за отработки, открылъ закулисныя мелочи положенія тѣхъ или другихъ изъ мужиковъ-работниковъ, давая этимъ возможность во-время и въ пору закабалить повыгоднѣе работника. Старикъ охотно дѣлился своею опытностью кулака и міроѣда, когда зналъ, что обучаемый имъ ученикъ не можетъ столкнуться съ нимъ на одной узенькой дорожкѣ. Ѳеодоръ Романовичъ называлъ его своею правою рукой, своимъ повѣреннымъ, своимъ министромъ и, въ сущности, самъ того не замѣчая, игралъ при Шершовѣ ту же роль, какую онъ игралъ когда-то при Русовѣ. Онъ отдавалъ приказанія Шершову, не подозрѣвая даже, что эти приказанія продиктованы ему самимъ Шершовымъ. Онъ чувствовалъ себя особенно хорошо, не имѣя нужды ломать головы, какъ поступить въ томъ или другомъ случаѣ, не чувствуя необходимости хлопотать и заботиться обо всемъ лично,

и въ то же время получивъ возможность говорить много и пространно о дѣлахъ, о порядкахъ, о положеніи помѣщика, о положеніи крестьянъ. Шершовъ не уславливался съ Ломовымъ даже относительно цѣны за руководство его дѣлами, и когда Ломовъ разъ заговорилъ объ этомъ въ порывѣ благодарности за дѣйствія Шершова, старикъ отвѣтилъ просто:

— Не обидишь!

Даже Аквилоновъ, ежедневно заходившій къ Шершову, попить чайку, попрежнему подобострастный, попрежнему трусившій такъ, что «поджилки дрожали», передъ покрикивавшимъ на него бариномъ, удивлялся, какъ это Шершовъ не получаетъ опредѣленнаго вознагражденія. Старикъ сухо сказалъ:

— Баринъ хорошій! Такіе-то нынче выводятся!

И, не объясняя ничего болѣе, мелькомъ продолжалъ разспросы о дѣлахъ на господскомъ дворѣ. Конюшни бы тамъ перестроить надо. Тоже заборъ у сада надо бы возстановить. Сказалъ бы Ѳеодоръ Романовичъ, ребята мигомъ бы все обтяпали. Аквилоновъ на другой день подобострастно и боясь, что вотъ-вотъ его прогонятъ за его продерзость, повторялъ барину слова Шершова. Тогда Ломовъ, осѣненный внезапною новою идеею, замѣчалъ Шершову, что нужны тѣ или другія поправки, и «ребята» Шершова мастерили, что было нужно, не торгуясь, довольные всѣмъ, что дадутъ, потому что отецъ приказывалъ имъ быть довольными и тогда, если ничего не дадутъ. Разъ одинъ изъ сыновей Шершова, отправляясь на работу, рѣшился замѣтить отцу:

— Какъ бы не обчелъ!

Старикъ посмотрѣлъ на него, какъ смотрятъ на глупыхъ и непонятливыхъ людей.

— Вотъ погоди,—царь тебя въ министры позоветъ, а ты съ нимъ торгуйся, чтобы не обчелъ.

— Далеко до царя-то ему!—коротко отвѣтилъ сынъ.

— Тебѣ-то до министра, видно, рукой подать,—такъ же коротко отвѣтилъ отецъ.

И, поднявшись кряхтя съ лавки, онъ проговорилъ, крестясь широкимъ крестомъ:

— Пока Богъ не обижалъ—все было; теперь каменную стѣну далъ, ну, и благодари его денно и нощно, а не разсуждай.

Онъ грузно пошелъ въ свою комнату, вздыхая и шепча:

— Охъ, грѣхи наши, грѣхи тяжкіе!

Шершовъ шелъ покуда еще ощупью, наобумъ впередъ къ

увеличенію своего благосостоянія. Онъ еще не сознавалъ вполнѣ ясно, какимъ путемъ онъ извлечетъ изъ этого барина выгоды, но онъ уже предчувствовалъ, угадывалъ, что передъ нимъ открывается новое поприще для наживы. Онъ даже по-своему привязался къ Ломову, какъ привязываются къ откармливаемому на праздникъ животному. Онъ до того часто повторялъ всѣмъ и каждому, что Ломовъ «баринъ хорошій», что даже Аквилоновъ пріободрился и повеселѣлъ.

Аквилоновъ былъ типомъ запугавшагося неудачника, Макара, сознававшаго, что на него валятся и должны валиться всѣ шишки. Онъ каждый день просыпался съ мыслью, что сегодня стрясется надъ нимъ какая-нибудь бѣда. Ежедневно онъ вставалъ съ мыслью, что нынче его выгонятъ, и къ вечеру вздыхалъ о томъ, что если не выгнали нынче, то значитъ завтра выгонятъ. Очень ужъ много онъ былъ выгоняемъ въ жизни и очень мало вѣрилъ въ свою пригодность къ чему бы то ни было. Онъ самъ о себѣ говорилъ, что у него «нѣтъ никакихъ качествъ» и сокрушался. Только Шершовъ его и поддерживалъ, ободряя его. Ему онъ повторялъ про Ломова, что это баринъ хорошій, Ломову онъ говорилъ про Аквилонова, что это «не человѣкъ, а песъ вѣрный, только малодушія у него много». Аквилоновъ, наконецъ, до того «осмѣлился», какъ онъ самъ выражался, что рѣшился однажды ухмыльнуться во весь ротъ, когда Ломовъ спросилъ его, «что это за дѣвка живетъ у Парфена на мельницѣ».

— Это-съ... не дѣвка она, а вдова... дочь Парфена,— отвѣтилъ Аквилоновъ.

И, робѣя еще болѣе, онъ прибавилъ:

— Красивая-съ!

— Да, да,—разсѣянно сказалъ Ломовъ, глядя въ сторону.— Бойкая бабенка, кажется?..

Аквилоновъ хотѣлъ что-то сказать и поперхнулся отъ испуга, начавъ усердно шарить что-то среди бумагъ на письменномъ столѣ. Наконецъ онъ собрался съ силами и, все еще не поднимая глазъ отъ стола и роясь въ бумагахъ, выпалилъ:

— Она-съ очень веселая...

Ломовъ взглянулъ на него вопросительнымъ взглядомъ. Аквилоновъ смотрѣлъ опять куда-то въ сторону и торопливо говорилъ, точно боясь, что послѣ у него не хватитъ храбрости все высказать:

— Конечно, бабенка молодая, вдовая, скучно одной, отецъ

ничего не говорить... Она-съ, Өеодоръ Романовичъ, гулящая...

Ломовъ опять посмотрѣлъ на него. Аквилоновъ, чувствуя, что у него нутро дрожитъ, теперь думалъ: «вотъ-вотъ сейчасъ погонитъ». Но Ломовъ не погналъ его, а всталъ и какъ-то по-мальчишески заходилъ по комнатѣ, раскачиваясь и вертясь на каблукахъ. По его лицу пробѣгала улыбка. Онъ вдругъ остановился передъ Аквилоновымъ, похлопалъ его по плечу и спросилъ:

— Такъ, гулящая?

Аквилоновъ заторопился:

— То-есть не то, чтобъ... А купецъ тутъ одинъ былъ, такъ говорили люди... Человѣкъ молодой, всяко бываетъ... Конечно-съ, на какого-нибудь вахлака не позарится... А только это точно, что веселая...

Ломовъ разсмѣялся.

— Ну, хорошо, такъ и будемъ знать...

Онъ началъ что-то насвистывать. А потомъ, дня черезъ два, онъ случайно заѣхалъ на мельницу, да такъ и пробылъ тамъ съ сутки. Вернувшись домой, онъ позвалъ Аквилонова и, трепля его по плечу, весело отдалъ ему приказаніе съѣздить въ городъ и купить кое-какихъ вещей—на платье шерстяной красной матеріи, шелковый платокъ съ узорами, бусъ. Аквилоновъ, подобострастно и немного застыдившись, выслушалъ приказаніе, ничего не спрашивая, ни на что не намекая. Но Өеодоръ Романовичъ самъ замѣтилъ:

— А дочь-то Парфена точно веселая!

Аквилоновъ захихикалъ тихо и робко и тотчасъ же сдѣлалъ упорно сосредоточенный видъ. Когда онъ вернулся съ покупками, Ломовъ отдалъ привезенный остатокъ денегъ ему. Аквилоновъ чуть-чуть не поцѣловалъ ему руки; въ немъ пробудилось какое-то новое чувство къ Ломову, что-то въ родѣ нѣжности. Онъ сталъ каждый разъ суетиться и радостно улыбаться, когда тотъ ѣхалъ на мельницу, точно ѣхалъ не Ломовъ, а онъ самъ.

Дѣти Шершова не сразу угадали, почему ихъ отецъ, непокорливый, самолюбивый, суровый, сдѣлался чуть не рабомъ Ломова, но дѣти Ломова сразу угадали, что Өеодоръ Романовичъ попалъ опять въ руки продувного мошенника. Ихъ почти оскорбляло это сознаніе: въ былыя времена Русовъ, фатоватый краснобай въ лайковыхъ перчаткахъ, провелъ его; теперь Шершовъ, грубый мужикъ съ заскорузлыми руками, водитъ его за носъ. Это было тѣмъ досаднѣе, что отцу

нельзя было открыть глаза, нельзя было даже заговорить съ нимъ противъ Шершова: «Шершовъ богобоязненный человѣкъ; Шершова семья примѣръ степенности и домовитости; Шершову все село кланяется; Шершовъ настолько богатъ, что ему не зачѣмъ гнаться. Да кромѣ того, его, Ѳеодора Романовича, и обмануть трудно: онъ знаетъ всѣ тонкости сельскаго хозяйства, онъ слѣдитъ за всѣмъ». И Ѳеодоръ Романовичъ начиналъ говорить безъ конца, забрасывая слушателей удивительными терминами: «супесокъ», «суглинокъ», «трехпольная система», «отработная система», «сѣвооборотъ», «чрезполосица», «тукъ», все это смѣшивалось въ той формѣ, въ какой, вѣроятно, смѣшивались слова только при вавилонскомъ столпотвореніи. Нѣкоторыя слова сдѣлались у него даже любимыми и онъ повторялъ ихъ кстати и некстати, какъ это дѣлаютъ съ иностранными словами люди, не говорящіе на иностранныхъ языкахъ и щеголяющіе заученными словцами. И чѣмъ веселѣе ораторствовалъ Ломовъ-отецъ съ самаго ранняго утра, тѣмъ болѣе тоскливое выраженіе лицъ сестры и Наташи подмѣчалъ Рома, появляясь къ чаю.

Обыкновенно онъ заставалъ Анну Ѳеодоровну за безконечной вышивкой, иногда опускаемой вышивальщицею на колѣни въ какомъ-то нѣмомъ отчаяніи. Въ саду, около куртинъ передъ домомъ, виднѣлась фигура Наташи. Молодая дѣвушка осматривала посаженные ею цвѣты, нѣтъ ли на нихъ новыхъ ростковъ, новыхъ бутоновъ. Въ чертахъ ея молодого, свѣжаго лица нѣтъ выраженія тоски и отчаянія, наложившихъ свою печать на лицо Анны Ѳеодоровны, но и она серьезна и озабочена, и можно сразу угадать, что не мысли объ этихъ цвѣтахъ придали ей такое выраженіе. Ее томитъ сознаніе, что она живетъ не такъ, какъ хотѣлось бы жить, какъ живетъ Вѣра Николаевна, погрузившаяся вполнѣ въ интересы деревни, въ нужды окружающаго люда. Заслышавъ голосъ Ромы, здоровающагося съ отцомъ, съ матерью, съ сестрой, Наташа зорко глядитъ на него. Каковъ онъ сегодня? Не сдѣлался ли еще блѣднѣе? Не встревоженъ ли болѣе обыкновеннаго? Нѣтъ ли на его лицѣ нервныхъ подергиваній, такъ пугающихъ иногда ее? Ей каждый разъ при этихъ передергиваніяхъ кажется, что онъ хочетъ зарыдать. Бѣдный, бѣдный мальчикъ, если бы она могла хоть ему помочь. И вдругъ ей дѣлается совѣстно и странно, почему она зоветъ его мысленно «мальчикомъ». Какой же онъ «мальчикъ»: ему двадцать четвертый годъ или больше

даже! Но что-жъ годы? Онъ живетъ, какъ мальчикъ, безъ дѣла, безпомощный, непрактичный, по-дѣтски капризничающій. Онъ подходитъ къ ней.

— Здравствуй, Наташа!—говоритъ онъ.

Она сжимаетъ его руку и спрашиваетъ тихимъ голосомъ, скороговоркой:

— Хорошо ли спалъ? Что нервы? Тюрьму не видалъ ли во снѣ.

Ее особенно поражало, когда онъ въ первое время разсказывалъ, что ему все снится каждую ночь, будто онъ еще въ тюрьмѣ.

Онъ отвѣчаетъ:

— Нѣтъ, не снилось... Но все та же тоска, тоска...

— Вотъ сейчасъ напьемся чаю и уйдемъ,—утѣшаетъ она его.

Онъ усмѣхается, какъ усмѣхаются взрослые на наивныя утѣшенія ребенка. Онъ знаетъ, куда они уйдутъ.

На террасѣ, между тѣмъ, ходитъ взадъ и впередъ и неумолкаемо болтаетъ Ѳеодоръ Романовичъ. Антонина Аркадьевна, куря папиросы, тоже разсказываетъ о новостяхъ, услышанныхъ утромъ. Всѣ, Романъ, Анна Ѳеодоровна, Наташа, молчатъ, ждутъ, когда кончится эта незанимательная для нихъ болтовня, знакомая всѣмъ чуть не наизусть.

Иногда Антонина Аркадьевна является къ чаю не въ духѣ и какимъ-то страннымъ тономъ говоритъ мужу:

— Ты, кажется, вчера очень поздно вернулся домой.

— Нѣтъ, то-есть да, въ часъ, должно-быть,—растерянно отвѣчаетъ онъ, смотря въ сторону.

— У tante Бетси былъ?—допытывается жена.

— Нѣтъ, такъ тутъ заѣхалъ по дѣламъ,—скороговоркой произноситъ Ломовъ и начинаетъ торопливо другой разговоръ.

Она смотритъ на него съ холоднымъ презрѣніемъ. Онъ дѣлаетъ видъ, что не замѣчаетъ ея взгляда, но и она и онъ знаютъ, что онъ хорошо видитъ и понимаетъ эти взгляды.

«Что происходитъ между ними?»—думаютъ Рома и Анна Ѳеодоровна. Отвѣта нѣтъ. Тѣмъ не менѣе очевидно, что въ отношеніяхъ супруговъ явилось что-то новое, какое-то глухое недовольство.

Чай, наконецъ, отпитъ, столъ прибранъ.

Наташа торопитъ Анну Ѳеодоровну и Романа гулять. Они нехотя соглашаются на ея доводы:

— Погода чудесная, все въ цвѣту, сидѣть на одномъ мѣстѣ грѣшно.

Они идутъ всѣ трое.

— Опять въ село? — спрашиваетъ Анна Ѳеодоровна, выходя изъ сада.

— Да, да, я ужъ все приготовила.

Наташа быстро-быстро начинаетъ объяснять, что въ селѣ у Анисьи боленъ ребенокъ, что какая-то бабушка Прасковья просила чайку, что Гришутка совсѣмъ обносился и чуть не голый ходитъ. Она, смѣясь, показываетъ разные сверточки и узелочки, напиханные ею въ карманъ, въ зонтикъ, въ корзинку съ ручкой.

— Только я не пойду ходить съ тобою по избамъ,—замѣчаетъ Анна Ѳеодоровна.—Воздухъ тамъ положительно нестерпимъ.

Наташа спѣшитъ немного наивно оправдать мужиковъ.

— Что-жъ дѣлать, Нина, мужики бѣдны!

— Я не о томъ. Но я не выношу этого воздуха. У меня въ прошлый разъ голова разболѣлась на цѣлый день и стало тошно.

— Это отъ непривычки, съ перваго раза.

Анна Ѳеодоровна усмѣхается въ отвѣтъ на ея «наивности» и говоритъ шутливо:

— Для меня это будетъ всегда «съ перваго раза».

Они доходятъ до села. Наташа забѣгаетъ въ двѣ-три избы знакомыхъ крестьянъ. Ея голосъ звенитъ въ этихъ избахъ. Ея спутники ждутъ ее, скучая, гдѣ-нибудь на завалинкѣ. Потомъ она выбѣгаетъ къ Аннѣ Ѳеодоровнѣ и Роману, раскраснѣвшаяся, радостная, и говоритъ:

— Вѣдь я не долго? не соскучились?

И на возвратномъ пути она идетъ уже какъ-то преобразившись, всему радуясь, всѣмъ восхищаясь. Ей хочется расцѣловать каждаго грязнаго ребенка, ее забавляетъ каждый цыпленокъ съ желтенькимъ пушкомъ, она кличетъ каждую вахластую собачонку. Жизнерадостная, она теперь любитъ всѣхъ и все за то, что эти всѣ и все даютъ ей столько счастья.

— Счастливица! — говоритъ ей Романъ. — Ты, кажется, убѣждена, что теперь все въ мірѣ пошло хорошо, потому что ты дала кому-то чаю и кого-то нарядила въ новую рубашку.

Она съ удивленіемъ смотритъ на него.

— Я вовсе этого не думаю,—отрицательно качаетъ она

головой.—Но отчего же не помочь, если можешь и если это такъ пріятно?

Онъ спрашиваетъ ее, читала ли она когда-нибудь, какъ смотрятъ многіе ученые на благотворительность? Нѣтъ? Очень жаль, потому что не мѣшаетъ знать. И онъ начинаетъ пояснять. Благотворительность еще нигдѣ и никогда не спасла никого отъ нищеты, не улучшила нигдѣ общественнаго положенія бѣдняковъ. Бѣдняки очень часто развращаются благотворительностью, превращаясь изъ работниковъ въ попрошаекъ, унижаясь и теряя свое человѣческое достоинство. Они пріучаются къ опекѣ, къ безпечности. Даже больше: благодаря поддержкѣ слабыхъ и неспособныхъ, благотворительность косвенно вліяетъ на вырожденіе людей — сильные гибнутъ безъ поддержки со стороны, слабые, поддерживаемые искусственно, плодятся и производятъ новыя, ни на что негодныя поколѣнія. Объ этомъ предметѣ есть цѣлые трактаты, серьезные, ученые, доказательные.

Онъ говоритъ подробно, Наташа слушаетъ и не можетъ спорить. Она не читала еще этихъ книгъ, она не знаетъ, насколько онѣ серьезны и доказательны, она даже не знаетъ: вѣрно ли Рома передаетъ ихъ смыслъ.

— Что же надо дѣлать? — простодушно спросила она однажды.

Онъ улыбнулся горькой усмѣшкой.

— О, если бы кто-нибудь рѣшилъ этотъ вопросъ — міръ былъ бы спасенъ. Въ рѣшеніи этого вопроса—все

Она засмѣялась.

— Ты все о міровыхъ вопросахъ! Что же я въ нихъ понимаю.

Его сердило, когда онъ слышалъ такіе отвѣты.

— А ты думаешь, что на все надо смотрѣть съ точки зрѣнія своего муравейника, своего болота?

Она промолчала.

— А главное,—сказалъ онъ немного насмѣшливо: — это то, что отъ этихъ филантропическихъ посѣщеній бѣдняковъ пахнетъ идилліей, тѣми сказочками, гдѣ разсказывалось, какъ добрая фея посѣщаетъ бѣдняковъ и раздаетъ имъ свои дары.

Наташа вспыхнула и вспылила, задѣтая за живое.

— Зачѣмъ ты смѣешься надъ этимъ? Это вовсе не смѣшно! Я знаю съ дѣтства нѣсколькихъ женщинъ здѣсь. Я крестила у четверыхъ. Я помогаю имъ, какъ знакомымъ, вотъ и все.

Онъ хотѣлъ что-то сказать, но она продолжала горячиться.

— Значитъ и ты былъ мальчикомъ изъ бабушкиныхъ сказокъ, когда тебя пригрѣвали Анисья Гавриловна, Борисъ Николаевичъ и Вѣра Николаевна? Зачѣмъ же ты ходилъ къ нимъ, принималъ ихъ ласки? Зачѣмъ разыгрывалъ комическую роль?

И увлекаясь все болѣе и болѣе, она продолжала дѣтски задорнымъ тономъ:

— Приласкать человѣка, посѣтить его въ горѣ, дать ему необходимое, все это смѣшно, идиллія, сказки, сентиментальность! Ты это говоришь, потому что они, мужики, чужіе тебѣ, не любишь ты ихъ. А попробуй самъ прожить такъ, чтобы къ тебѣ никто, никто никогда не пришелъ съ утѣшеніемъ, съ помощью. Вѣдь это сентиментальность; это не разрѣшитъ никакихъ міровыхъ вопросовъ!.. О, ты совсѣмъ не знаешь, что значитъ любить!

Онъ уже забылъ сущность дѣла и только любовался ею, ея разгорѣвшимся личикомъ, горячностью ея рѣчи, наивными скачками въ опроверженіяхъ и возраженіяхъ. Ему хотѣлось обнять и расцѣловать ее, говоря ей:

— Полюби меня, и я узнаю, что значитъ любовь къ людямъ.

Анна Ѳеодоровна, не вмѣшиваясь въ споръ, съ чувствомъ тоски думала: «счастливое дитя». Ей было горько, что она никогда не была такимъ счастливымъ ребенкомъ, что она никогда не испытала и не испытаетъ именно этихъ волненій. Она понимала, что Наташа счастлива, но она сама не сдѣлала бы теперь ни шагу, чтобы быть такъ счастливой. Что ей эти мужики? что ей ихъ горе? У нея есть свое горе, свои опасенія и ей-то никто не поможетъ. Они, эти мужики, нуждаются только въ кускѣ хлѣба; ее кускомъ хлѣба не спасешь, не осчастливишь...

Всѣ трое возвращались съ прогулки домой прямо къ завтраку. Завтракъ проходилъ опять среди болтовни Ѳеодора Романовича и какихъ-нибудь новостей, сообщаемыхъ Антониною Аркадьевной. Иногда Ѳеодоръ Романовичъ уѣзжалъ изъ дома до завтрака «по дѣламъ», «по имѣнію». Тогда Антонина Аркадьевна вздыхала съ видомъ мученицы. Отчего? Молодежь не могла понять этого. Затѣмъ, кончивъ завтракать, Анна Ѳеодоровна принималась за безконечную вышивку, называя ее мысленно «проклятою». Наташа тоже вязала кружево или читала. Рома уходилъ въ свою комнату,

брался за книги, отбрасывалъ одну, отталкивалъ другую, иногда просто думалъ: «такъ жить нельзя!» Но какъ же жить? Отвѣта не было. Его ни къ чему не манило, никуда не тянуло. Впрочемъ, нѣтъ: отвѣтъ былъ, какъ жить, но этимъ отвѣтомъ не разрѣшалось ничего: «жениться на Наташѣ». При этой мысли онъ осыпалъ мысленно дѣвушку страстными и нѣжными названіями, чувствовалъ, что его лицо разгорается отъ страсти. Но какой-то злой демонъ тутъ же шепталъ ему:

— И жить съ нею такъ же, какъ ты живешь теперь, безъ дѣла, среди хандры, среди вѣчныхъ сомнѣній?

Иногда, какъ бы спасаясь отъ самого себя, онъ сбѣгалъ внизъ, бралъ книгу и читалъ вслухъ Наташѣ и Аннѣ Ѳеодоровнѣ какой-нибудь романъ. Наташа увлекалась этими чтеніями, порой высказывала громко:

— Какъ это хорошо!

Анна Ѳеодоровна слушала молча, разсѣянно, задумываясь, очевидно, о чемъ-то другомъ. Рома угадывалъ это чутьемъ, по ея позѣ, по ея устремленнымъ въ пространство глазамъ, по упавшимъ на колѣни рукамъ съ вышивкой. Это его расхолаживало. Нервный и впечатлительный, онъ самъ начиналъ чувствовать, что въ сущности и его самого плохо приковываетъ къ себѣ книга. Взглядывая мелькомъ на сестру, онъ начиналъ сбиваться, читалъ плохо, дѣлая пропуски, наконецъ, рѣшительно говорилъ:

— Довольно!

Наташа выражала сожалѣніе, просила почитать еще.

— На самомъ интересномъ мѣстѣ остановился. Почитай еще?

— Завтра дочитаемъ. У насъ вѣдь много свободнаго времени,—отвѣчалъ Рома, и въ его тонѣ слышалась иронія надъ тѣмъ, что у нихъ много свободнаго времени.

Если Наташа уходила съ террасы, онъ обращался къ сестрѣ:

— Анна, ты не слышала?

Она вздрагивала, приходила въ себя и въ недоумѣніи спрашивала:

— А? что?.. Что-нибудь случилось?

— Нѣтъ, я спрашиваю: слышала ли ты, что я читалъ?

— А-а!—протяжно говорила она.—Меня мало это занимаетъ, Рома, въ послѣднее время... Или—все знакомое, или—скучно уже очень... тоскливо.

И грустно улыбаясь, она добавляла:

— Этого и безъ романовъ слишкомъ довольно...

— Да!—вздыхалъ онъ:—слишкомъ довольно!

— Скажи, что произошло между отцомъ и матерью?

— Развѣ я знаю!

Она пожимала плечами:

— Неужели же придется вѣчно, вѣчно такъ томиться!

— Я не выдержу,—рѣшительно говорилъ онъ.

Если на другой день Наташа упрашивала Рому продолжать чтеніе, онъ соглашался неохотно. Во время чтенія ему все казалось, что это или давно знакомо, или скучно, тоскливо. «И зачѣмъ эти волненія по поводу несуществующихъ лицъ, это нервничанье по поводу небывалыхъ страданій, когда жизнь и такъ полна несчастныхъ людей, дѣйствительнаго горя? Мы плачемъ надъ романами, надъ драмами, надъ трагедіями, ослабляемъ себя этими волненіями надъ выдуманными мукамъ, и насъ не хватаетъ на серьезное участіе къ живымъ людямъ, къ тѣмъ, кому нужны наши утѣшающія слезы? Это страшное зло, доведшее насъ до того, что мы можемъ хныкать надъ книгою или въ театрѣ и быть въ жизни чуть не злодѣями и въ одно и то же время». Ему вспоминались чувствительныя барыни, плачущія надъ романами и въ театрахъ и не только не признающія человѣческаго достоинства въ бѣднякахъ, но чуть не истязающія слугъ, обирающія на свои прихоти другихъ. Ему дѣлалась противна читаемая имъ книга, дѣлались противны другія книги...

Всѣ оживали на время, если къ обѣду, случайно или нарочно, наѣзжалъ кто-нибудь изъ сосѣдей—все же хоть какое-нибудь разнообразіе. Романъ вслушивался въ бесѣды этихъ людей и, въ концѣ концовъ, начиналъ ощущать тяжелое чувство: и эти недовольны всѣмъ и всѣми, и они жалуются на безденежье, на паденіе курса, на застой въ хлѣбной торговлѣ, на земскія неурядицы, на стѣсненія съ одной стороны и на неумѣнье съ другой, на недостатокъ людей? И еще Европа то и дѣло угрожаетъ войной, когда у насъ нѣтъ средствъ сводить концы съ концами и безъ войны. Что если насъ расколотятъ? Англія косится на насъ. Пруссіи и Австріи нельзя вѣрить. Франція—она если воспользуется войной, то для себя, а не ради насъ. Да еще и рѣшится ли она воевать съ Пруссіей. А наша западная окраина? Она вся переполнена нѣмцами. Русскіе помѣщики, эти якобы обрусители, всѣ бѣгутъ оттуда, нигдѣ нѣтъ такого абсентеизма, какъ тамъ. Какая же можетъ быть на-

дежда на твердость этой почвы въ случаѣ войны? Все это говорилось вкривь и вскось, наобумъ, по передовымъ статьямъ послѣднихъ нумеровъ газетъ, полученныхъ въ деревнѣ, консерваторами для того, чтобы обвинить либераловъ, либералами для того, чтобы прижать къ стѣнѣ консерваторовъ. Молодые и старики, либералы и консерваторы, умные и глупые, всѣ сходились на одномъ пунктѣ: «такъ дѣла идти не могутъ», — сходились на этомъ потому, что подобными фразами легче всего отдѣлываться въ спорахъ. А какъ должны идти дѣла — этого никто не говорилъ, не умѣлъ сказать. Ругать гораздо легче, чѣмъ находить средства къ тому, чтобъ не было причинъ ругать. «Гдѣ же исходъ изъ этой всеобщей безтолковщины, изъ этого всеобщаго недовольства?»—поднимался въ душѣ Ромы мучительный вопросъ. А гости, наговорившись за обѣдомъ, садились тотчасъ же съ Антониной Аркадьевной и Ѳеодоромъ Романовичемъ повинтить и начинались такіе страстные споры, какъ будто отъ хода винта зависѣло не только благо игроковъ, но и судьба отечества. Сколько тутъ было глубокомысленныхъ соображеній, сколько высказывалось умѣнья, сколько расходовалось умственныхъ силъ! Въ этомъ занятіи проходили цѣлые часы, цѣлые вечера; по разговорамъ игроковъ можно было догадаться, что они играли и вчера, и третьяго дня. «И они еще жалуются, что нѣтъ людей, нѣтъ рукъ! Безстыдные тунеядцы, возведшіе игру въ дѣло! Мужикъ и бѣднякъ бьется и работаетъ въ потѣ лица, а они убиваютъ всѣ свои духовныя силы на игру!» Гости становились противны и въ сущности хотѣлось только одного: «скорѣй бы они уѣхали». Это же чувство охватывало и Наташу, и Анну Ѳеодоровну: было неловко разойтись по своимъ комнатамъ, было скучно въ теченіе нѣсколькихъ часовъ слышать одни и тѣ же «пасъ», «пасъ», «одна пики», «двѣ бубны», «пасъ», «пасъ», «три пики», «четыре бубны», «пасъ», «пасъ».

Иногда, правда, изрѣдка, избавителями являлись Иволгины: они сидѣли съ молодежью, наводили разговоры на болѣе или менѣе живыя темы, возбуждали споры. Даже Анна Ѳеодоровна радовалась ихъ приходу и все рѣже и рѣже разражалась противъ Бориса Николаевича строптивыми выходками. Впрочемъ, онъ самъ дѣлалъ все, чтобы не вызывать этихъ выходокъ. Онъ былъ въ обращеніи съ нею всегда насторожѣ. Она чувствовала это. Иногда это немного раздражало ее; иногда она мысленно называла его

за это «человѣкомъ съ тактомъ»; иногда ее вдругъ поражала мысль, что это не тактъ, а просто холодность, не заботливость расположеннаго человѣка, а отчужденіе мало интересующагося ею лица. Но вѣдь когда-то онъ интересовался ею? Теперь, кажется, это прошло безслѣдно. Тѣмъ не менѣе она пришла къ заключенію, что Иволгины и въ особенности онъ, Борисъ Николаевичъ, единственныя лица во всемъ сосѣдствѣ, способныя подняться выше мелкихъ сплетенъ и интереса винта. Болѣе всего привлекало ее къ этимъ людямъ, что ихъ ровное настроеніе духа дѣйствовало успокоительно, являясь противовѣсомъ ея собственной тоскѣ и раздраженію Ромы. Иные разговоры Иволгина западали глубоко въ ея памяти. Разъ онъ случайно увидалъ томъ стиховъ Некрасова, взялъ книгу, зачитался. Наташа пристала къ нему:

— Что же читаете про себя! Прочтите вслухъ!

Онъ сконфузился, точно уличенный въ шалости. Почему-то ему всегда казалось, что кто-то смѣется, видя его увлеченіе поэзіей. Самому ему это не казалось смѣшнымъ, но другимъ—онъ былъ убѣжденъ въ этомъ—другимъ это должно было казаться смѣшнымъ.

— Нѣтъ... всѣ же это читали,—отговаривался онъ.

— Ну, вотъ! Читали и еще послушаютъ!—воскликнула Наташа.—Вы же вотъ перечитывали!.. Миленькій, прочтите!

Онъ сконфузился еще болѣе отъ этого нѣжнаго эпитета и поторопился прочесть что-нибудь. Онъ началъ читать «Рыцаря на часъ». Немного сбиваясь и путаясь, волнуясь и сердясь на себя за мальчишеское смущенье и за то, что онъ началъ читать, онъ мало-по-малу все-таки увлекся, и его голосъ дрогнулъ, когда онъ говорилъ:

Въ эту ночь я хотѣлъ бы рыдать
На могилѣ далекой,
Гдѣ лежитъ моя бѣдная мать...

И его голосъ точно внезапно окрѣпъ, сталъ звучнѣе, мужественнѣе, властнѣе при чтеніи слѣдующихъ стиховъ, дойдя до изумительной гармоничности, когда онъ произносилъ:

Повидайся со мною, родимая!
Появись легкой тѣнью на мигъ!
Всю ты жизнь прожила нелюбимая,
Всю ты жизнь прожила для другихъ.
Съ головой, бурямъ жизни открытою,
Весь свой вѣкъ подъ грозою сердитою,
Простояла ты,—грудью своей
Защищая любимыхъ дѣтей.

И все полнѣе и могучѣе лились изъ этой широкой мужской груди мучительные звуки призыва. Анна Ѳеодоровна ощутила легкій холодокъ, пробѣжавшій по спинѣ, при звукахъ проникнутыхъ отчаяньемъ словъ:

Выводи на дорогу тернистую!
Разучился ходить я по ней,
Погрузился я въ тину нечистую
Мелкихъ помысловъ, мелкихъ страстей.
Отъ ликующихъ, праздно болтающихъ,
Обагряющихъ руки въ крови
Уведи меня въ станъ погибающихъ
За великое дѣло любви!

На террасѣ воцарилось на нѣсколько минутъ молчаніе. Всѣ не то были подавлены охватившимъ ихъ чувствомъ, не то хотѣли продлить въ себѣ это ощущеніе, какъ бы отозвавшее и ихъ на-время отъ ликующихъ и праздноболтающихъ къ какому-то лучшему міру идей, стремленій, чувствъ.

Анна Ѳеодоровна очнулась первая и мимовольно замѣтила Иволгину какимъ-то особеннымъ ласковымъ голосомъ:

— Вы хорошо читаете!

— Я люблю это стихотвореніе,—отвѣтилъ Иволгинъ.

— Но что же ты не дочиталъ до конца?—сказалъ Рома, уже овладѣвшій собою и готовый издѣваться надъ тѣмъ, что на минуту увлекло и его.

— У меня въ книгѣ конецъ даже вымаранъ мною,—отвѣтилъ Иволгинъ.—Я не люблю его.

Рома загорячился.

— А въ немъ-то и есть правда, горькая правда? Остальное все дѣланное, фальшивое, ложное...

— Когда эта правда сдѣлается правдой для меня лично, я перестану жить,—твердо отвѣтилъ Иволгинъ, не слушая его, и, какъ бы испугавшись, что его заподозрятъ въ рисовкѣ, поспѣшно добавилъ съ насильственной улыбкой:—или, по крайней мѣрѣ, перестану читать подобные стихи.

Рома въ нервномъ возбужденіи заговорилъ:

— Нѣтъ, это правда для всѣхъ насъ, для нашего поколѣнія! Громкія фразы и полное безсиліе на дѣлѣ. Въ каждомъ сидятъ два человѣка: герой и пошлякъ—герой по мысли и пошлякъ по дѣлу. Это характерная черта всѣхъ насъ, русскихъ, въ настоящее время. Въ томъ весь трагизмъ переживаемой нами эпохи. Впрочемъ, и не мудрено. Вѣдь и матери, въ родѣ рисуемой Некрасовымъ, не существуетъ. Некрасовъ выдумалъ эту мать.

Иволгинъ сухо перебилъ его:

— Позволь тебя поправить: ты, вѣрно, хотѣлъ сказать, что ты не встрѣчалъ такихъ матерей. Но вѣдь ты еще вообще мало знаешь жизнь...

И, не слушая возраженій снова загорячившагося Ромы, онъ продолжалъ, увлекаясь своею мыслью:

— Я именно за то и цѣню Некрасова, что онъ указалъ на значеніе матери, что онъ указалъ на хорошую русскую женщину. Въ этомъ его безспорное воспитательное значеніе, какъ бы кто ни смотрѣлъ на его, вообще, неровный талантъ. Онъ, конечно, не разъ заставилъ молодыя женскія сердца волноваться и, можетъ-быть, не одна дѣвушка задумывалась о томъ, подходитъ ли она къ типу хорошей русской женщины, способна ли она быть хорошей русской матерью, нѣтъ ли въ ней заклейменныхъ поэтомъ чертъ «Маши», загубившей мужа-труженика... Будить эти чувства, будить эти мысли—это уже великая заслуга! Я знаю, что поэзія не дидактика, не педагогика, но если она имѣетъ и благотворное воспитательное значеніе, то слава ей!

Онъ увлекся и тотчасъ почувствовалъ какое-то стѣсненіе. Зачѣмъ это онъ говоритъ? Что за проповѣдничество? Какое дѣло имъ до всего этого? Еще подумаютъ, что онъ хочетъ «развивать» Наташу? Развѣ имъ понятно искреннее увлеченіе такими предметами, какъ поэзія? Зачѣмъ вообще онъ ходитъ къ нимъ? Ничего у него нѣтъ съ ними общаго; все, что, какъ ему казалось, было между ними общаго, теперь порвалось. Для чего же онъ бываетъ здѣсь? О, если бы онъ могъ переломить себя и не ходить... не ходить...

Онъ взглянулъ мелькомъ на Наташу. Его взглядъ встрѣтился съ ея взглядомъ. Оба они отчего-то смутились.

Съ минуту царствовало неловкое молчаніе.

Смущенный своимъ увлеченіемъ, снова сердящійся на себя за это увлеченіе, Иволгинъ перешелъ въ шутливый тонъ:

— Вотъ погоди, влюбишься, тогда узнаешь, есть ли хорошія русскія женщины, самъ станешь воспѣвать ихъ и думать только о томъ, чтобы твоя хорошая русская женщина полюбила тебя.

Рома невольно бросилъ взглядъ на Наташу. Она, его хорошая русская женщина, была тутъ. На нее онъ возлагалъ надежды, ждалъ ея поддержки, жаждалъ перерожденія черезъ нее. Анна Ѳеодоровна усердно вышивала, точно эта вышивка поглотила всѣ ея мысли. Но на ея щекахъ игралъ

румянецъ. Она это чувствовала и досадовала на себя за это. Вдругъ онъ, Иволгинъ, догадается, что въ ея головѣ неотступно вертится мысль о томъ, за какую женщину считаетъ онъ ее или, лучше сказать, задатки какой женщины видитъ онъ въ ней? О, конечно, считаетъ за пустую барышню, способную думать только о тряпкахъ, готовую продать себя за возможность имѣть эти тряпки? Но какое право имѣетъ онъ такъ думать? Развѣ онъ не видѣлъ, что она стремилась къ наукѣ, что она запасалась знаніями, что она выказала способность къ работѣ? Опять въ ея душѣ поднялось гнѣвное чувство противъ него, и тотчасъ же мелькнула мысль, что все это она сама приписала ему, что онъ ничего этого не высказалъ про нее, что онъ деликатенъ съ нею, какъ заботливая мать съ больнымъ ребенкомъ. Неужели онъ ее все попрежнему любитъ? Она мелькомъ взглянула на него. Онъ перелистывалъ въ раздумьи книгу. Серьезное, спокойное, почти строгое лицо его было олицетвореніемъ мужественной красоты. Онъ неожиданно, какъ бы очнувшись отъ сна, закрылъ книгу и всталъ, проговоривъ:

— Пора идти!

Въ этомъ движеніи, въ этомъ «пора идти» было что-то, показавшееся Аннѣ Ѳеодоровнѣ такимъ рѣшительнымъ, такимъ властнымъ, что въ ея головѣ мелькнула мысль: «вотъ настоящій мужчина». Снова она разсердилась на себя и мысленно съ ироніей проговорила: «Я, кажется, скоро буду находить, что онъ и ходитъ не такъ, какъ другіе. Все это отъ скуки, отъ однообразія, отъ безлюдья. Нѣтъ, нѣтъ, надо скорѣе вырваться изъ этой тюрьмы. А то, пожалуй, не то что въ Иволгина влюбишься, а въ какого-нибудь сына Шершова».

Она очень обрадовалась, когда представился случай развлечься на празднествѣ у tante Бетси. Цѣлую недѣлю толковали у Ломовыхъ о поѣздкѣ на это празднество, приготовляли и осматривали наряды, посылали Аквилонова въ городъ для закупки какихъ-то мелочей. Даже Рома и тотъ повеселѣлъ—все же увидитъ новыя лица, услышитъ новые разговоры...

II.

Ломовы выѣхали рано утромъ, чтобы избѣжать жары. Проѣзжая мимо дома Иволгиныхъ, они замѣтили въ саду Бориса Николаевича. Въ лѣтней блузѣ онъ возился около

цвѣтовъ съ лопатою въ рукѣ. Ѳеодоръ Романовичъ приказалъ кучеру пріостановиться.

— А вы что же? Не ѣдете еще?—крикнулъ онъ Иволгину, привѣтствуя его рукою изъ коляски.

— Куда?—отозвался Иволгинъ, подходя къ рѣшеткѣ сада и раскланиваясь со всѣми.

— Къ Елизаветѣ Андреевнѣ. У нихъ вѣдь пиръ.

— Нѣтъ, не ѣду,—отвѣтилъ Иволгинъ.

И, смѣясь, прибавилъ:

— Если кто-нибудь заболѣетъ, пришлютъ... Не люблю я этой сутолоки, особенно въ деревнѣ. Скучно ужъ очень.

— Ахъ, вы медвѣдь, медвѣдь!—пошутилъ Ѳеодоръ Романовичъ.—Только бы сидѣть въ своей берлогѣ.

Иволгинъ засмѣялся.

— Во всякомъ случаѣ, могу сказать одно въ свое оправданіе: моя берлога полна цвѣтовъ и свѣта, потому ее и жаль покидать безъ толку.

Онъ съ любовью бросилъ взглядъ на свой домикъ и садъ. Онъ и Ломовы перекинулись еще нѣсколькими фразами и простились. Экипажъ покатился далѣе по ровной, мягкой, пыльной дорогѣ. Глаза Наташи, Анны Ѳеодоровны и Ромы при словахъ Иволгина о его берлогѣ невольно устремились на его домъ, весь утонувшій въ зелени и цвѣтахъ, блестѣвшій свѣжею масляною краской и чистыми крупными стеклами оконъ, и имъ невольно пришло на мысль, что точно—такую берлогу можно полюбить.

Еще не успѣло изгладиться изъ памяти впечатлѣніе, вызванное домикомъ Иволгина, какъ начался неприглядный пейзажъ, возвѣщавшій вступленіе во владѣніе Елизаветы Андреевны. Изъ всѣхъ окрестныхъ имѣній ея имѣніе отличалось бѣдностью живописныхъ мѣстечекъ: плоское, однообразное, оно наводило уныніе ранней весной и поздней осенью, когда поля и нивы были лишены растительности. Теперь, правда, они красовались въ полномъ своемъ лѣтнемъ убранствѣ и, надо сказать, что трава, и хлѣба были здѣсь лучше, чѣмъ гдѣ-нибудь въ другихъ окрестныхъ имѣніяхъ. Было видно, что всѣмъ здѣсь распоряжается опытная и дѣятельная рука. Но засѣянныя пространства скоро смѣнились какой-то странной равниной съ сѣрой и зеленоватой глиной, съ глубокими ямами, наполненными водой съ длинными, большею частью, низкими, то почернѣвшими отъ копоти, то сѣрыми деревянными строеніями; тутъ же лежали груды вырытой глины, груды необожженныхъ и обожжен-

ныхъ кирпичей. Только изрѣдка болѣе или менѣе яркими пятнами на всемъ этомъ пустырѣ выдавались кочки, покрытыя жидкими кустами и мохомъ. Все это пространство кишѣло народомъ, мужиками и подростками, бабами и дѣвочками; одни мяли глину, другіе носили ее на деревянныхъ и рогоженныхъ носилкахъ, третьи таскали кирпичъ. Весь этотъ рабочій людъ былъ въ грязныхъ холщевыхъ и пестрядинныхъ рубахахъ, порткахъ и сарафанахъ; синій и сѣрый цвѣта были почти исключительно господствующими, какой-нибудь красный платокъ на бабѣ рѣзалъ глазъ яркимъ пятномъ на однообразно-скучномъ фонѣ. Вся эта мѣстность, почти лишенная растительности, какъ бы покрытая сплошь жидкою грязью съ ея неуклюжими и наскоро сколоченными бараками, съ ея людьми-муравьями, копошившимися среди этой грязи, сдѣлавшимися такими же сѣро-зелеными, какъ она, наводила уныніе. Но именно она-то и была излюбленнымъ мѣстомъ пребыванія Елизаветы Андреевны Кожуховой.

Еще издали Ломовы замѣтили на дворѣ двухколесный кабріолетъ, напоминавшій тѣ домодѣльные кабріолеты, въ какихъ ѣздятъ колонисты. Онъ стоялъ у плоскаго дощатаго мостика, перекинутаго черезъ канаву, отдѣлявшую кирпичный заводъ отъ проѣздной дороги. Въ кабріолетѣ сидѣлъ здоровый, кровь съ молокомъ, парень лѣтъ четырнадцати, въ плисовой безрукавкѣ, въ нарядной ямщицкой шапкѣ на бекрень. Изъ-подъ шапки выбивались густыя кольца темно-рыжихъ кудрей. Завидѣвъ кабріолетъ, Ломовы переглянулись между собою. Неужели tante Бетси и сегодня на заводѣ? Рома замѣтилъ въ это время идущую къ мостику въ сопровожденіи приказчика женщину средняго роста, плотную, коренастую, съ обвѣтреннымъ краснымъ лицомъ, съ такими же красными руками. Она напоминала не то работящую бабу, не то здоровеннаго мужика по манерамъ и походкѣ. На ней былъ какой-то полумужской костюмъ: изъ-подъ короткой шерстяной юбки виднѣлись мужскіе сапоги; суконная кофта напоминала покроемъ мужской пиджакъ; черезъ плечо была привѣшена черная кожаная сумка со связкою большихъ ключей, гремѣвшихъ слегка на ходу. Только голова вмѣсто шапки украшалась яркимъ краснымъ шелковымъ платкомъ, подвязаннымъ концами подъ подбородкомъ. Изъ-подъ этого платка выбивались темно-рыжіе волосы, напоминавшіе цвѣтомъ волосы парня, сидѣвшаго въ кабріолетѣ.

— Tante Бетси!—проговорилъ Рома.

Экипажъ Ломовыхъ остановился. Tante Бетси, еще издали завидѣвъ родственниковъ, привѣтливо крикнула:

— А вы къ намъ?

Она потомъ обернулась къ приказчику, отдала дѣловымъ тономъ послѣднія приказанія и пошла къ экипажу Ломовыхъ.

— Не подаю рукъ, перепачканы!—сказала она по-французски.—Поѣзжайте! Я за вами.

Ѳеодоръ Романовичъ предложилъ ей мѣсто въ коляскѣ, она улыбнулась.

— Вся въ кирпичѣ и въ глинѣ! Мы съ Яшей еще васъ обгонимъ.

Она быстро усѣлась подлѣ наряднаго красавца-парня, взяла вожжи, и сытая лошадка быстро двинулась легкой иноходью впередъ. Парень сложилъ на груди руки съ видомъ человѣка, совершающаго прогулку въ экипажѣ.

Ѳеодоръ Романовичъ вскользь замѣтилъ по-французски женѣ:

— Бравый малый! И сходство...

Она пожала плечами, остановила мужа глазами и отвернулась въ сторону, бросивъ мимолетный взглядъ на «дѣтей». Ѳеодоръ Романовичъ вдругъ ни съ того, ни съ сего завертѣлся въ коляскѣ, съ неловкой торопливостью началъ говорить о выгодахъ, доставляемыхъ Елизаветѣ Андреевнѣ заводомъ, точно желая замять какой-то сдѣланный имъ промахъ.

За заводомъ опять шли засѣянныя поля, потомъ небольшой лѣсъ или паркъ, сквозь паркъ мелькнула сверкающая на солнцѣ поверхность рѣки,—и, круто повернувъ въ сторону съ большой дороги, Ломовы очутились передъ усадьбой Елизаветы Андреевны.

Это былъ почти городской каменный домъ, прочный, немудреный по архитектурѣ, съ массой хозяйственныхъ пристроекъ, амбаровъ, кладовыхъ, службъ, помѣщеній для извѣстной части нанимаемыхъ на лѣто рабочихъ. Вдругъ трудно было окинуть глазами всю эту массу построекъ. Но сразу бросалась здѣсь въ глаза прочность всего этого: толщина стѣнъ, увѣсистость замковъ, объемъ засововъ, желѣзныя крыши, все говорило о домовитости, о томъ, что тутъ ничего не заводили на короткое время, на скорую руку. Рядомъ съ этимъ поражали чистота и порядокъ. Сновавшія на дворѣ бабы были одѣты въ однообразные красные съ желтыми, синими и бѣлыми разводами «форменные» сара-

фаны, немного напоминавшіе по узорамъ восточные рисунки. Когда экипажъ Ломовыхъ въѣхалъ во дворъ, нарядный парень уже сбросилъ съ себя плисовую поддевку и ямщицкую шапку и, оставшись въ кумачевой рубахѣ, распрягалъ лошадь. Tante Бетси стояла на крыльцѣ и отдавала приказанія бабамъ и мужикамъ, крича черезъ весь дворъ:

— Кринокъ, Авдотья, съ третьей полки не трогать до вечера. На второй полкѣ все, что нужно до обѣда. Ермолай, ступай къ Матренѣ за свѣчами и передай Панфилу. Онъ ужъ знаетъ, куда надо вставить. Въ верхнемъ этажѣ откройте окна.

И, завидѣвъ Ломовыхъ, она сказала:

— Я сейчасъ преображусь; Володя, Саша и Коля дома...

Ломовы вышли изъ экипажа. Почти тотчасъ же къ нимъ вышли навстрѣчу трое молодыхъ людей, всѣ, какъ близнецы, похожіе другъ на друга, только одинъ былъ лѣтъ двадцати трехъ, другой лѣтъ двадцати, третій лѣтъ семнадцати. Коренастые, широкоплечіе, румяные, съ темно-рыжими, коротко остриженными густыми волосами, съ быстрыми глазами, они напоминали мать, но были свѣжѣе, привлекательнѣе ея. Радушно привѣтствуя родственниковъ, поминутно показывая при улыбкѣ ряды ослѣпительно-бѣлыхъ и крѣпкихъ зубовъ, они сильно пожимали и трясли руки пріѣзжихъ, такъ что Анна Ѳеодоровна поморщилась отъ легкой боли въ пальцахъ.

— Вы, вѣроятно, къ maman пройдете освѣжиться?—проговорилъ старшій братъ Владиміръ, обращаясь къ дамамъ.— Пылища страшная, и опять становится душно. Не запомнить такого лѣта!

Потомъ онъ обратился къ Ѳеодору Романовичу:

— Вы, дядя, не купаетесь?

— Нѣтъ,—отвѣтилъ Ѳеодоръ Романовичъ.

— А ты?—обратился Владиміръ къ Ромѣ.

— Я, пожалуй,—отвѣтилъ Романъ.

— Отлично. Мы еще не купались. А сегодня послѣ и не удастся.

Черезъ минуту всѣ три брата и Рома уже шли усыпанными ярко-краснымъ пескомъ дорожками по саду, чистому и нарядному не по роскоши цвѣтовъ, а по господствовавшему въ немъ порядку, къ рѣкѣ. Сходъ къ рѣкѣ—это было единственное живописное мѣсто во всей усадьбѣ: садъ доходилъ до самаго берега, и отсюда начинался живописный песчаный обрывъ, потомъ внизу вилась вдоль берега про-

ложенная Богъ вѣсть какъ и кѣмъ живая дорога, покрывавшаяся по веснѣ разливомъ рѣки; кое-гдѣ она поднималась выше на пригорки, поросшіе кустарниками, а потомъ опять прядала внизъ почти въ уровень съ водою. Около такихъ пригорковъ въ кустарникѣ надъ водой обыкновенно раздѣвались купающіеся. Спустившись изъ сада по проложенной наискось по откосу тропинкѣ къ водѣ, молодежь стала быстро раздѣваться. Черезъ нѣсколько минутъ они были уже въ водѣ, и Романъ могъ бы позавидовать атлетическимъ формамъ, здоровью и силѣ своихъ родственниковъ. Казалось, эти красивыя и богатырскія фигуры были вылиты изъ бронзы, и это сравненіе какъ бы подкрѣплялось еще болѣе, когда подъ лучами солнца золотились ихъ ноги и руки, покрытыя, точно бронзировкой, рыжеватыми волосами. Они ныряли и плавали съ изумительною ловкостью и силой. Младшій изъ нихъ, дурачась, сталъ показывать, какъ плаваютъ бабы.

— А ты почему знаешь?—спросилъ Романъ.

— Да онѣ же вонъ тутъ купаются обыкновенно. Мы смотрѣть ходимъ,—отвѣтилъ Коля.

Онъ громко засмѣялся и показалъ свои ослѣпительно бѣлые, ровные и здоровые зубы.

— Щенокъ, въ нынѣшнее лѣто просвѣтился туда же,— снисходительно усмѣхнулся братъ Владиміръ.

И, обратившись къ Роману, тихо и серьезно замѣтилъ:

— Я, впрочемъ, очень радъ, что онъ развивается вполнѣ правильно. А то тамъ у нихъ въ городскихъ пансіонахъ чортъ знаетъ что творится и какія глупости творятъ мальчишки. Срылъ бы съ лица земли ваши города со всѣмъ, что въ нихъ есть.

— И построилъ бы ихъ въ деревняхъ? — съ улыбкой сказалъ Романъ.

— Вовсе бы упразднилъ. Нужна только деревня.

Владиміръ одѣлся, закурилъ папиросу и пошелъ впередъ съ Романомъ.

— Ахъ, бѣда нынче нашему брату, молодому здоровому человѣку,—проговорилъ онъ тѣмъ же серьезнымъ тономъ.— Невѣсты даже порядочной не сыщешь.

Романъ невольно вспомнилъ толки Иволгина о хорошей русской женщинѣ.

— Плюгавыя, худосочныя, малокровныя, — продолжалъ Владиміръ нѣсколько презрительно и гадливо.—Заучиваются еще по своей волѣ, на разныхъ курсахъ чахнутъ, а того

но понимаютъ, что дѣвушка-одеръ ни на что не нужна— ни въ жены, ни въ матери.

— Такъ не безграмотными же имъ оставаться— сказалъ Романъ.

— Конечно нѣтъ, — отвѣтилъ Владиміръ.—Если бы на безграмотныхъ и неотесанныхъ было удобно жениться нашему брату, такъ тутъ здоровыхъ крестьянскихъ дѣвокъ вдоволь. Но и засаживать дѣвчонокъ такъ, какъ ихъ у насъ засаживаютъ въ пансіонахъ, гимназіяхъ и институтахъ, это, братъ, мое почтеніе: можетъ-быть, онѣ тамъ всему научатся, но здоровья-то ужъ потомъ никогда не нагуляютъ. Здоровье же—это все. Безъ него какимъ педагогикамъ и физіологіямъ ни учись, а здоровыхъ дѣтей не создашь. Гниль только плодить будешь. А здоровья-то и нѣтъ у этихъ ученыхъ дѣвицъ. Что-жъ мудренаго, если, какъ выражается нашъ Геліотроповъ, «интеллигенція выродится при такомъ подборѣ».

И засмѣявшись, онъ замѣтилъ:

— Кстати, ты не видалъ еще нашего Геліотропова?

— Кто это?

— Киникъ нашъ. Сперва пописывалъ что-то въ провинціальныхъ газетахъ, потомъ былъ сельскимъ учителемъ, теперь волостной писарь. Со ступеньки на ступеньку внизъ шелъ... Мы тебѣ его покажемъ, когда будетъ позволительно. Maman, понятно, не допускаетъ его къ себѣ, ну, а на нашей половинѣ иногда можно потѣшаться. Субъектъ тоже замѣчательный. Начитался вашихъ Дарвиновъ и заньянствовалъ.

— Что ты за чепуху говоришь! — досадливо сказалъ Ломовъ.

— Какую чепуху? это правда. Дарвины по его званію не полагаются, ну, вотъ онъ и заньянствовалъ, начитавшись ихъ. Да погоди, онъ тебѣ это все самъ объяснитъ...

Ихъ нагнали младшіе Кожуховы, громко смѣясь и болтая между собою, и всѣ четверо прошли черезъ садъ въ господскій домъ.

Внутри этотъ домъ, какъ и снаружи, очень мало напоминалъ деревенскіе старинные дома. Все здѣсь было устроено по-городскому, по-новому, но заботливо и прочно. Эти коренастые люди, казалось, надѣялись здѣсь прожить долгіе-долгіе годы, любуясь на свое коренастое,—они вѣрили, что оно будетъ такимъ, — потомство. Если бы въ окна не смотрѣли вѣтви деревьевъ, если бы въ отворенныя

окна не плылъ свѣжій воздухъ, не напоминавшій города, если бы сюда не долетали изрѣдка откуда-то мычаніе скота, ржаніе лошадей, голоса пѣтуховъ съ птичника, то можно бы было подумать, что находишься въ жилищѣ довольно богатыхъ людей въ столицѣ.

Въ просторной столовой съ липовыми стѣнами и потолкомъ, съ липовой мебелью, съ такими же буфетомъ и затѣйливыми полками для фарфора, всѣ уже собрались вокругъ чайнаго стола. Хозяйка успѣла уже передѣться въ шелковое платье темно-зеленаго цвѣта, гладко охватывающее ея полный станъ. Разливая чай, она видимо стѣснялась оборками изъ кружевъ на рукавахъ и часто отодвигала ихъ къ локтю. Точно такъ же ее стѣсняла длина платья, когда ей приходилось встать и пройти по комнатѣ: она приподнимала юбку спереди, чтобы ходить, не спотыкаясь и не путаясь въ ней. Ея широкіе шаги невольно заставляли подумать, что это мужчина въ юбкѣ. Тѣмъ не менѣе, она еще сохранила слѣды извѣстной своеобразной ловкости и любезности, говорившихъ о привычкѣ вращаться въ хорошемъ обществѣ. Ея русскій языкъ былъ нѣсколько вульгаренъ, но зато по-французски, по-нѣмецки и по-англійски она выражалась безукоризненно. Молодые люди вошли въ столовую въ ту минуту, когда, продолжая начатый разговоръ, Елизавета Андреевна горячо говорила Ѳеодору Романовичу:

— Что ты мнѣ говоришь о ворахъ и грабителяхъ; отъ нихъ замки есть, на нихъ есть судъ. Лѣнтяи и дураки вотъ наше наказаніе. Я по крайней мѣрѣ прежде всего смотрю, не лѣнтяй ли и не болванъ ли нанимающійся. А воры...

Она засмѣялась и въ этомъ смѣхѣ послышались нотки, напоминающія смѣхъ ея сыновей, немного вульгарный, немного циничный.

— Всѣ мы воры, если плохо лежитъ...

Антонина Аркадьевна немного поморщилась. Елизавета Андреевна, можетъ-быть, замѣтила, а можетъ-быть и не замѣтила эту гримасу и продолжала тѣмъ же тономъ:

— Вѣдь эксплоатація то же воровство, а вѣдь уже кто изъ насъ не станетъ выторговывать рабочаго подешевле: хоть бы отъ этой работы цѣлые капиталы перепали въ нашъ карманъ. Своя рубашка ближе къ тѣлу. На этомъ все держится.

Она опять засмѣялась:

— Вонъ Владиміръ нашъ читалъ, какъ надо жить по мнѣнію графа Льва Николаевича Толстого, если не желаешь быть эксплоататоромъ и воромъ. Носить посконь, сермягу и лапти.

Владиміръ съ небрежнымъ выраженіемъ вмѣшался въ разговоръ, говоря немного свысока:

— Все это пустыя фразы! Говорить легко, но исполнять трудно. Другимъ рекомендуютъ, сами не дѣлаютъ. Жареные рябчики сами въ ротъ не влетаютъ. Надо изъ-за нихъ поработать. Ну, волей-неволей и эксплоатируютъ всѣ другъ друга, кто кого смога, тотъ того и за рога...

— Отъ трудовъ праведныхъ не нажить палатъ каменныхъ,—вставилъ свое слово Александръ.

Младшій братъ похвасталъ своею гимназическою ученостью и проговорилъ:

— Homo homini lupus!

Вся семья пѣла въ одинъ голосъ. Самоувѣренно, съ пренебреженіемъ къ противникамъ, съ твердой вѣрой въ правоту своихъ мнѣній. Нельзя было уловить въ ихъ рѣчахъ ни одного диссонанса. Видно было, что они спѣвались долго и заботливо.

Антонину Аркадьевну коробило отъ этой откровенности: «и себя, и другихъ называютъ ворами и не смущаются: совсѣмъ одичали и озвѣрились въ деревнѣ».

— Однако, ты сама говорила, что у тебя рабочіе благоденствуютъ,—замѣтила она:—а теперь клевещешь на себя.

Елизавета Андреевна сдѣлала гримасу.

— Умной бабой считаютъ, потому и идутъ охотно ко мнѣ, а я въ качествѣ умной бабы стараюсь, чтобы имъ было сноснѣе у меня, чѣмъ у другихъ. Иначе или дѣло плохо дѣлалось бы, или народъ разбѣгался бы...

— То-есть ты переплачиваешь имъ противъ другихъ,— съ усмѣшкой сказала Антонина Аркадьевна, желая скорѣй покончить этотъ щекотливый разговоръ.

— Вовсе нѣтъ: забочусь больше, вотъ и все.

И, поясняя свою мысль, она прибавила:

— Въ хозяйствѣ не то важно, сколько тратится, а то, какъ тратится—съ толкомъ или безъ толку. Въ этомъ все.

Она вздохнула.

— Это тоже наука. Недаромъ же я семнадцать лѣтъ ее въ этой школѣ проходила. Вонъ посмотри, какихъ атлетовъ откормила по этой методѣ.

Она не безъ гордости указала на сыновей...

Семнадцать лѣтъ тому назадъ Елизавета Андреевна ушла отъ своего «флигель-адъютанта», какъ она до настоящаго времени называла своего мужа, хотя онъ уже давно былъ генераломъ. Росла она въ богатой помѣщичьей семьѣ, была прекрасно образована, хорошо знала деревню, откуда во время дѣвичества выѣзжала только на три мѣсяца въ году по зимамъ. Про ея отца говорили, что онъ «крутенекъ»; про ея мать говорили, что она «хозяйственный человѣкъ». Дочь наслѣдовала характеръ ихъ обоихъ: была и крутенька, и хозяйственна. Въ одинъ изъ пріѣздовъ въ Москву она понравилась юному флигель-адъютанту Кожухову, и одна изъ ея бабокъ быстро скрутила молодыхъ людей, прежде чѣмъ Елизавета Андреевна дала себѣ ясный отчетъ, любитъ или не любитъ она своего жениха. Съ перваго же года супружеской жизни молодая женщина поняла, что если она и не чувствуетъ отвращенія къ мужу, какъ къ блестящему красавчику и ловкому свѣтскому кавалеру, то и не любитъ его, какъ слѣдуетъ любить мужа, по ея понятіямъ, то-есть уважая его, прося его совѣтовъ, опираясь на него, отчасти даже побаиваясь его.

— Это былъ мой первый любовникъ, — говорила она на своемъ нѣсколько черезъ мѣру откровенномъ языкѣ.

Тѣмъ не менѣе, она оставалась вѣрна этому любовнику десятокъ лѣтъ, покуда въ одинъ прекрасный день онъ не только надѣлалъ неоплатныхъ долговъ, но и завелъ любовницу изъ балета. Были эти любовницы у него и прежде, но Елизавета Андреевна, вѣроятно, не знала о нихъ или знала, но не боялась ихъ, такъ какъ у мужа не было еще долговъ. Тутъ же Елизавета Андреевна сразу, не давъ мужу даже времени опомниться, захватила своихъ дѣтей и уѣхала въ «Глинки». Это имѣніе было подарено ея дѣтямъ бабкою. Мужъ не протестовалъ, такъ какъ за него платились долги при помощи продажи другихъ имѣній жены, и онъ выпутывался довольно счастливо изъ скверной исторіи разоренья. Прощаясь съ женой, онъ даже нашелъ въ душѣ то утѣшеніе, что она «уѣзжаетъ только на время», что «она вернется». Но она не вернулась и не могла вернуться.

«Глинки» были запущены, почти не приносили дохода; пришлось самой взяться за все, чтобы «поставить на ноги» имѣніе, и при этомъ приходилось поставить на ноги дѣтей. Лѣтъ черезъ пять ея «флигель-адъютантъ» неожиданно посѣтилъ семью: она, Елизавета Андреевна, не смутилась, не испугалась. На что она ему безъ денегъ и съ дѣтьми?

Но онъ, увидѣвъ ее, и смутился, и испугался. Онъ засталъ ее какъ разъ въ кухнѣ, когда она учила судомойку, какъ нужно мыть берестою и пескомъ столы и скамьи. Онъ смутился и сконфузился. Эти рабочія руки со слѣдами мозолей, это обвѣтренное на холодѣ и на зноѣ лицо съ оперхнувшею и красноватою кожею, эти мужскіе неуклюжіе сапоги отбили у него всякую охоту не только разыгрывать роль перваго любовника, но даже доискиваться, какъ живетъ его жена, не завела ли она второго любовника. Онъ уѣхалъ дней черезъ пять, даже не поссорившись съ нею, а какъ уѣзжаютъ отъ конторщика, отъ управляющаго, отъ экономки, отъ довѣреннаго лица, оставшись довольными веденіемъ ввѣреннаго имъ дѣла по управленію имѣніемъ и по воспитанію дѣтей. Но если бы онъ и вздумалъ разыграть роль ревниваго мужа, то, вѣроятно, его ревнивые подозрѣнія и розыски не нашли бы точки опоры, по крайней мѣрѣ тамъ, гдѣ онъ сталъ бы искать.

Оставшись на двадцать седьмомъ году «соломенной вдовой», Елизавета Андреевна прожила такъ, что ни одинъ изъ ея сосѣдей не могъ похвалиться ея расположеніемъ. Правда, ходили какіе-то темные и смутные слухи о трехъ приказчикахъ, но эти слухи опровергались тѣмъ, что каждый изъ этихъ приказчиковъ за первую вину былъ удаленъ изъ имѣнія въ двадцать четыре часа. Злые языки находили тоже большое сходство между сыновьями Елизаветы Андреевны и Яковомъ Безроднымъ, исполнявшимъ теперь роль постояннаго спутника Кожуховой въ ея поѣздкахъ на заводъ и по имѣнію, и жившимъ въ домѣ вмѣстѣ съ господами, въ качествѣ не то вѣрнаго слуги, не то ихъ товарища. Но въ то же время всѣ знали, что Якова Безроднаго привела въ усадьбу какая-то бѣдная женщина, когда ему было лѣтъ пять, и выкланялась у Елизаветы Андреевны, чтобы послѣдняя взяла его на воспитаніе. Кожухова согласилась оставить мальчика у себя; онъ жилъ при домѣ, его обучили грамотѣ, ознакомили съ крестьянской работой, подарили ему участокъ земли, чтобы онъ, подросши, не остался бездомнымъ нищимъ, сыновья Кожуховой обращались съ нимъ если не такъ, какъ съ братомъ, то съ фамильярностью благодѣтелей, любящихъ баловня-воспитанника, вотъ и все. Сама Кожухова и ея дѣти любили по-своему воспитанника, тѣмъ не менѣе ему доставалось не мало, когда онъ иногда, ни съ того, ни съ сего, поднималъ голову, или, какъ выражались въ домѣ, «когда

на него чортъ садился». Вообще у Кожуховой была извѣстная опредѣленная манера обращенія съ людьми: пока они служили у нея или были подчинены ей, они не смѣли «дуть въ свой носъ», какъ выражалась она. Дѣти, заставившія ее бросить «перваго любовника», когда онъ готовъ былъ пустить ихъ по-міру,—эти дѣти испытали вполнѣ ея систему отношенія къ людямъ и узнали, что у матери тяжелая рука. Эти быстрыя расправы не мѣшали имъ и любить ее чисто животною любовью, и слѣпо подражать ея образу дѣйствій. Можетъ-быть, тутъ не было какихъ-нибудь возвышенныхъ чувствъ, но сознаніе, что они перегрызутъ каждому другъ за друга горло, было очень сильно развито въ этихъ людяхъ, какъ бы отлитыхъ въ одну форму.

Тотчасъ послѣ чаю вся молодежь отправилась бродить по конюшнямъ и постройкамъ скотнаго двора. Братья Кожуховы любили похвастать своимъ скотомъ и его помѣщеніями. Подъ тѣмъ или другимъ предлогомъ они заманивали каждаго, кого только можно было туда заманить.

— Иной человѣкъ не живетъ такъ, какъ наша скотина,— съ гордостью пояснялъ Владиміръ.

— Ну, бѣдняки иногда отъ лѣни да глупости не умѣютъ устроить себѣ порядочнаго логова, — подхватилъ Александръ.—А вы возьмите богачей—у Валерьяна Александровича Апухтина и конскій заводъ, и деньжищъ прорва, а его конюшни спасуютъ передъ нашими, даромъ, что мраморомъ украшены. Лошади не это нужно.

— Такъ мы же сами пять разъ на дню все провѣримъ и просмотримъ,—подхватилъ Николай. — Вы повѣрите ли, кузина, Володька разъ ночью какъ спалъ, такъ и побѣжалъ въ конюшни, услыхавъ, что лошади бьются.

— Нѣтъ, вы взгляните на эту прелесть,—обратилъ Александръ вниманіе присутствующихъ на одну изъ лошадей.

Онъ провелъ рукою и похлопалъ по крупу граціознаго животнаго. Въ его лицѣ, въ его ласкѣ было что-то такое, какъ-будто онъ ласкалъ любимаго ребенка, обожаемую дѣвушку. Ѳеодоръ Романовичъ, попавъ въ свою сферу, къ лошадямъ, ораторствовалъ о достоинствахъ разныхъ породъ лошадей, о Хрѣновскомъ заводѣ, объ орловскихъ рысакахъ, о битюгахъ, объ арабскихъ коняхъ, о шведкахъ. Владиміръ горячо прервалъ его.

— Что вы намъ говорите, дядя, о породахъ! Не диво, когда кровныя лошади хороши. Заплатятъ люди тысячи за

своихъ лошадей и хвастаютъ ими. У насъ все свое, помѣси; раздобывали гдѣ могли жеребцовъ, а вотъ какихъ коней выхолили. Это все дѣло нашихъ рукъ, вотъ что дорого.

— У насъ и коровы,—сказалъ Николай:—не чистыя тирольки или дургамки. Мы при грошевыхъ сравнительно загратахъ своихъ русскихъ коровъ облагородили. И ростъ увеличили, и молочность...

Прошли къ воротамъ посмотрѣть ихъ помѣщенія; скотины здѣсь не было, такъ какъ она была вся въ полѣ. Порядокъ былъ и здѣсь образцовый, «хоть танцуй», какъ сказалъ съ увлеченіемъ Николай. Владиміръ усмѣхнулся и съ благодушной ироніей замѣтилъ:

— Николай нынче особенно возлюбилъ коровникъ.

Николай раскраснѣлся.

— Что такъ?—спросилъ Ѳеодоръ Романовичъ.

— Должно-быть, потому что... вотъ говоритъ, что тутъ хоть танцуй.

Онъ взглянулъ на младшаго брата съ плутоватой и отцовски поощрительной улыбкой и перевелъ глаза на молодую бабенку въ красномъ «форменномъ» сарафанѣ и въ бѣломъ съ домодѣльными прошивками и кружевами передникѣ. Ѳеодоръ Романовичъ не безъ лукавства подмигнулъ племянникамъ, какъ бы говоря: «понимаю, понимаю». Бабенка, должно-быть, замѣтивъ, что господа говорятъ о ней, застѣнчиво вертѣла кружевной кончикъ передника и въ то же время особенно торопливо поясняла барышнямъ, какія коровы гдѣ стоятъ. Ея бойкіе глаза были смиренно закрыты длинными рѣсницами, а губы, яркія и сочныя, то и дѣло показывали два ряда зубовъ, какъ бы созданныхъ для щелканія крѣпкихъ орѣховъ. Выходя изъ коровника сзади всѣхъ, Николай выставилъ локоть и, проходя мимо бабенки, задѣлъ имъ ея плечо и грудь.

Послѣ осмотра помѣщеній для скота прошли на птичникъ. Здѣсь было поразительное множество разныхъ породъ куръ, индюшекъ, утокъ, гусей. Кожуховы и здѣсь знали всѣ мелочи. Это ноская курица; эти индюшки на откормъ назначены; этого откормыша скоро на столъ подадутъ; а вонъ тюремный узникъ, арестованный за убійство. Кожуховы показали необычайно большого пѣтуха съ крупными шпорами, постоянно калѣчившаго или убивавшаго въ дракѣ своихъ противниковъ. Наконецъ осмотръ птичника тоже кончился, и Кожуховы выразили сожалѣніе, что теперь по-

чти нечего смотрѣть, въ оранжереяхъ и парникахъ—все выставлено на воздухъ.

— Я и такъ ногъ не чувствую подъ собой,—съ улыбкой сказала Анна Ѳеодоровна.

— Ахъ, такъ пойдемте скорѣй, кузина, къ гимнастикѣ. Тамъ отдохнете въ гамакѣ,—сказалъ Александръ.—Вы вѣдь любите его.

— А вы не устали?—спросилъ Владиміръ у Наташи.

— Нѣтъ, я вообще много хожу,—отвѣтила она.

— И отлично дѣлаете. Моціонъ укрѣпляетъ здоровье.

Она засмѣялась.

— Ну, мнѣ, кажется, нечего укрѣплять его еще...

Его глаза безцеремонно остановились на Наташѣ съ плотояднымъ выраженіемъ. Онъ какъ бы осматривалъ ее. Это покоробило Рому. Въ душѣ шевельнулось какое-то злое чувство, уже накипѣвшее съ самаго перваго его разговора въ это утро съ Владиміромъ о братѣ Колѣ. «Циники и животныя,—мелькнуло въ его головѣ.—Только и живутъ для брюха».

Всѣ дошли до площадки въ саду, гдѣ была устроена гимнастика, гигантскіе шаги, трапеціи, качели, воздушныя лѣстницы. Сбоку въ тѣни былъ гамакъ и нѣсколько скамеекъ со спинками. Здѣсь было пріятно отдохнуть, въ тѣни было прохладно, отъ куртинъ съ цвѣтами вѣяло ароматомъ. Братья опять заговорили, что этотъ уголокъ они устроили сами...

— Когда живешь въ деревнѣ, нужно все устраивать такъ, чтобы было удобно, чтобы не было ни въ чемъ недочетовъ,—говорилъ немного педантичнымъ тономъ Владиміръ.—Въ городѣ что понадобилось, то и достанешь. Здѣсь надо все, что нужно или можетъ понадобиться, завести у себя дома, чтобы не чувствовать позывовъ къ городу. Впрочемъ, мы такъ обжились здѣсь, что насъ и при меньшемъ комфортѣ никуда не тянуло бы. Вонъ Колька только и живетъ всю зиму мыслью о возможности удрать сюда на каникулы...

Владиміръ сталъ почти съ ненавистью говорить о городѣ: притонъ паразитовъ, поѣдающихъ плоть и кровь трудящейся Россіи; вертепы мелкаго разврата, губящіе лучшіе соки подрастающихъ поколѣній; канцелярія, не имѣющая понятія о нуждахъ народа и создающая для него свои законы. Романа даже удивили желчныя и рѣзкія ноты въ голосѣ Владиміра и его жесткія выраженія.

— Да тебѣ-то что до народа? Ты-то народъ, что ли?—оборвалъ онъ Владиміра, раздраженный его тономъ.

— Народъ! А ты думаешь кто?—отвѣтилъ Владиміръ.

— Ну да, еще недавно говорилъ, что вы народъ эксплоатируете.

Владиміръ захохоталъ.

— Ахъ, ты насчетъ сентиментовъ? Ну, да, эксплоатируемъ народъ; а онъ, гдѣ можно, эксплоатируетъ насъ.

— Такъ на ножахъ и живете?—насмѣшливо спросилъ Рома.

— Насторожѣ! — коротко отвѣтилъ, какъ отрѣзалъ, Владиміръ.

И снова онъ сталъ распространяться о томъ, что въ жизни чувствительность и сентиментальничаніе не ко двору. Борьба за существованіе вездѣ. Человѣкъ только долженъ разумно ее вести: не давать маху, не зѣвать и не пробовать загрызть другихъ, а то какъ разъ въ первомъ случаѣ его надуютъ, а во-второмъ самого загрызутъ.

«Гдѣ уже васъ-то загрызть»,—съ отвращеніемъ думалъ Романъ.

— Всѣ, братъ, люди—алчущіе и только,—сказалъ наставительно и свысока Владиміръ.

— Ужъ не правды ли?—съ ироніей спросилъ Рома.

— Гдѣ тамъ: правды! Просто хлѣба. Правды что-то въ тысячелѣтія никто не нашелъ, а безъ хлѣба и двухъ дней, пожалуй, не проживешь. Будетъ онъ у всѣхъ—будетъ и правда.

Въ домѣ, между тѣмъ, Елизавета Андреевна бесѣдовала съ Антониной Аркадьевной о дѣлахъ, изрѣдка отдавая слугамъ хозяйственныя приказанія. Она не трогалась съ мѣста и не волновалась, видимо сознавая, что у нея все въ порядкѣ. Она утѣшала Ломову насчетъ Нины. Сегодня будетъ къ обѣду Апухтинъ. Навѣрное будетъ это рѣшительный день для нею. Онъ уже намекалъ, что онъ очарованъ Ниной. Теперь онъ очаруется еще болѣе: сегодня она очень эффектна въ своемъ оригинальномъ нарядѣ. На Аннѣ Ѳеодоровнѣ было платье цвѣта суроваго полотна, все отдѣланное узкими воланами съ бьэ изъ яркаго серизоваго канауса. Рукава, сшитые изъ прошивокъ такого же цвѣта, какъ платье, позволяли видѣть не только форму руки, но и ослѣпительно бѣлую кожу. Изъ-подъ такихъ же прошивокъ сквозила часть груди, а оборки съ серизовыми бьэ, охватывавшія шею и потомъ расходившіяся въ стороны на груди около вставки изъ прошивокъ, и далѣе сходившіяся опять вмѣстѣ къ тальи, скрадывали извѣстную худоща-

вость молодой дѣвушки. Маленькіе завитки черныхъ волосъ снизу у затылка очень эффектно лежали на серизовомъ шелку бьэ.

— Одного я боюсь,—мелькомъ замѣтила со вздохомъ Антонина Аркадьевна:—говорятъ, Апухтинъ очень недалекъ.

Елизавета Андреевна съ удивленіемъ широко открыла глаза.

— Да вѣдь Нинѣ не профессоръ и не учитель нуженъ, а мужъ? При чемъ же тутъ умъ?

— Ахъ, ты не знаешь, что значитъ не уважать мужа,— начала Ломова, затронутая за живое.

— Перестань, перестань! Все это глупости! Мой «флигель-адъютантъ» былъ очень и очень не глупъ, а что толку? Если бы онъ былъ глупъ, было бы даже лучше, забрала бы его въ руки и заставила бы плясать по своей дудкѣ.

— И осталась бы жить съ мужемъ, не чувствуя къ нему уваженія?

— Мужъ вовсе не для того нуженъ! Ну, уважаешь его— прекрасно, не уважаешь—на нѣтъ и суда нѣтъ.

Антонина Аркадьевна опять вздохнула.

— Ты говоришь все это, потому что ты не испытала этого, не краснѣла за мужа...

— Краснѣть за мужа? Да развѣ я его воспитала? Нѣтъ, это все пустяки. Страшно, когда мужъ, какъ твой, нелѣпо устроитъ свои дѣла и разорится. Ну, такъ это можетъ сдѣлать и глупый, и умный, и глупаго можно скорѣе связать по рукамъ и по ногамъ.

Она положила свою руку на руку Антонины Аркадьевны и дружески пожурила ее:

— Ты сама во всемъ виновата! Не умѣла взять его въ руки, не умѣла самостоятельно распоряжаться. Я тебя не обвиняю, я знаю, что вы, женщины изъ городскихъ барышень, вовсе не знаете практическихъ дѣлъ, но фактъ остаетея фактомъ. Мой «флигель-адъютантъ» былъ не изъ тѣхъ, кого пеленать можно, а все же я выпуталась изъ бѣды и уволила его отъ себя...

— Что-жъ, по-твоему мнѣ надо было идти на скандалъ развода?

— Какой же тутъ скандалъ: мать спасаетъ дѣтей отъ мота-отца? Это подвигъ, а не скандалъ. А если бы даже и скандалъ—мнѣ-то что до этого? Принимать люди не стали бы? Вопросъ: пошла ли бы я сама къ нимъ? Ну, у тебя не было скандала, а каково ты провела эти девять лѣтъ?

кто пришелъ удивляться твоей вѣрности мужу? кто подалъ тебѣ руку помощи?

Антонина Аркадьевна сдвинула брови. Она не привыкла, чтобы ей давали наставленія.

— Хорошо тебѣ говорить, когда тебѣ дали на дѣтей «Глинки». А съ чѣмъ бы я ушла отъ мужа, куда ушла бы?

— Какъ куда? А въ Ломовское, къ дядѣ? Вѣдь оно теперь было бы твое или дѣтское, помимо твоего мужа. Теперь же онъ не сегодня, такъ завтра можетъ опять все промотать. Уже часть лѣса продалъ! И кому? Шершову! Извѣстному кулаку! Шершовъ уменъ, это правда, но все же кулакъ. Какъ же можно было ему продать? Это называется хозяйствомъ! Да я хлѣбъ съ водой ѣла, покуда не поставила имѣнія какъ слѣдуетъ. Покойный Петръ, бывало, за меня боялся, что не выдержу, да говорилъ:—«Поймутъ ли только дѣтки то, что мать для нихъ переноситъ».

Въ ея головѣ прозвучала мягкая нотка при упоминаніи о Петрѣ, первомъ приказчикѣ, руководившемъ ею въ ея первыхъ шагахъ по управленію «Глинками». Антонина Аркадьевна какъ будто смутилась при упоминаніи Кожуховой объ этомъ человѣкѣ. Но Кожухова, охваченная на минуту воспоминаніями, продолжала:

— Многимъ я обязана этому человѣку. Собака не могла бы быть преданнѣе. А что за свѣтлый умъ былъ, что за смѣтка! Да, десять сельскохозяйственныхъ академій пройди, такихъ ясныхъ понятій о сельскомъ хозяйствѣ не пріобрѣтешь. Энергіи и неутомимости непочатый уголъ. Притомъ неподкупная честность.

Антонина Аркадьевна мелькомъ замѣтила:

— Однако, ты ему отказала же.

— Ахъ, что ты говоришь: отказала, отказала! Скорѣе не я ему отказала, а онъ самъ ушелъ!..

Она сдвинула брови, и по ея вѣчно-спокойному самодовольному лицу скользнула тѣнь.

— Странный человѣкъ былъ,—въ раздумьи проговорила она.—Одного такого только и видѣла. Съ чего ушелъ? Сталъ попивать, говорить въ пьяномъ видѣ разныя глупости, и это такъ смутило его, что онъ оставилъ меня. Пошелъ куда-то на богомолье, въ монастырь—и умеръ...

Она вздохнула и задумалась.

Передъ ея глазами пронесся образъ этого полнаго силъ и энергіи «страннаго человѣка», привязавшагося къ ней, какъ можетъ привязаться къ госпожѣ влюбленный въ нее

рабъ. Она явилась въ деревню молодой бѣжавшей отъ мужа и спасавшей благосостояніе дѣтей женщиной. Она, неутомимая, энергичная, простая въ обращеніи, вмѣстѣ съ Петромъ, подъ руководствомъ Петра «поднимала» Глинки. Только они, да ночь темная знали, какъ тѣсно связала ихъ эта общая, упорная, неустанная работа. Шесть лѣтъ они шли рука объ руку. Она дѣлалась все бодрѣе и энергичнѣе, а на него начали находить минуты мрачной зловѣщей тоски. Что его томило? Усталость отъ работы? Горькое сознаніе, что вѣчно онъ будетъ только ея приказчикомъ? Раскаянье за грѣхъ или страхъ, что этотъ грѣхъ узнаютъ когда-нибудь люди? Никто не зналъ душевныхъ тайнъ «страннаго человѣка» и только видѣли всѣ, что Петръ иногда ходитъ угрюмый, какъ осенняя ночь, посматривая мрачно на господскихъ дѣтей, точно раздумывая, будутъ ли они такъ любить мать, какъ онъ ее любитъ. Для нихъ вѣдь она надрывается; они для нея—все. Что-то близкое къ чувству ненависти къ этимъ дѣтямъ поднималось въ его душѣ... Наконецъ, Елизавету Андреевну посѣтилъ ея «флигель-адъютантъ». Петръ напился въ этотъ день впервые пьянымъ и среди дворни произошелъ невообразимый переполохъ: Петръ грозился въ людской зарѣзать барина и кричалъ, что баринъ ей не мужъ. Его пришлось замкнуть гдѣ-то въ кладовой. На слѣдующій день онъ ходилъ съ опущенной головой и потупленными глазами. Елизаветѣ Андреевнѣ удалось переговорить съ нимъ «о дѣлахъ», и онъ какъ будто успокоился. Но дня черезъ три еще разъ напился и еще отчаяннѣе кричалъ: «какой онъ ей мужъ; зарѣжу!» Но «флигель-адъютантъ» уѣхалъ, наконецъ. Все должно было, повидимому, войти въ прежнюю колею. Однако, не вошло. Петръ сталъ иногда попивать и каждый разъ въ пьяномъ видѣ бушевалъ: «попробуй онъ воротиться: зарѣжу». Протрезвившись, онъ становился мрачнѣе прежняго и какъ-то совѣстливо сторонился отъ барыни.

— На пьянаго-то и смотрѣть, поди, противно,—говорилъ онъ хмуро.

Это его мучило, терзало, а тоска гнала къ вину. Человѣкъ, справлявшійся съ самыми сложными, сельскохозяйственными задачами и поражавшій всѣхъ ясностью и глубиною своихъ взглядовъ, не могъ справиться съ вопросами любви и ревности, съ мыслью о томъ, что онъ только любовникъ, а тотъ мужъ, что онъ только приказчикъ, а господскія дѣти—все, что чѣмъ болѣе они подрастаютъ, тѣмъ

опасливѣе должны быть его отношенія къ ней. Наконецъ, онъ разъ, очнувшись послѣ пьянства, услыхалъ отъ прислуги, что̀ именно онъ говорилъ въ пьяномъ видѣ. Онъ поблѣднѣлъ, какъ полотно.

— Послѣ этого какіе же господа держать станутъ,—проговорилъ онъ.

Въ этотъ же день Елизавета Андреевна услыхала отъ него:

— Не слуга я ужъ здѣсь.

По ея тѣлу пробѣжала теперь дрожь отъ воспоминанія объ этомъ днѣ, объ этой минутѣ. Она провела машинально рукой по лицу, точно оно еще и теперь горѣло отъ чьихъ-то жгучихъ слезъ, отъ безумныхъ поцѣлуевъ. Ей было и сладко, и жутко передъ этимъ порывомъ безумія мужицкой любви. Иногда она удивлялась, какъ онъ тогда не задушилъ и ее, и себя. Передъ этимъ днемъ блѣднѣло все, что пережилось въ послѣдующія девять лѣтъ, когда о Петрѣ уже не было почти никакихъ извѣстій. Въ эти девять лѣтъ взяла надъ всѣмъ верхъ животная сторона прозаической натуры—эти заботы о комфортѣ, о домовитости, о накопленіи богатства, и развился тотъ цинизмъ по горло сытаго человѣка, признающаго только интересы брюха, только наслажденія здоровой сытости.

— Мнѣ ужасно грустно,—начала Антонина Аркадьевна:—что у Нины что-то произошло съ Иволгинымъ. Съ нимъ она, конечно, была бы счастливѣе.

— Безъ любви-то счастливѣе съ молодымъ?—воскликнула Кожухова.—Ну, нѣтъ, безъ любви лучше ужъ быть замужемъ за старикомъ. Свободнѣе, по крайней мѣрѣ.

Ломова поморщилась.

— Нина будетъ, во всякомъ случаѣ, честной женой.

Кожухова пожала плечами.

— Это все условныя понятія! Но ужъ съ молодымъ-то жить безъ любви истинное горе.

— Да онъ же ее любилъ!

— Полно! Любилъ бы, силой бы взялъ.

— Что ты говоришь!

— А то же! Онъ не тряпка, а мужчина и при томъ въ немъ не одинъ чортъ сидитъ!

Антонина Аркадьевна пожала брезгливо плечами.

— Ты его не знаешь! Это бѣшеный въ минуту увлеченія человѣкъ.

— Онъ-то? бѣшеный человѣкъ? онъ ходячая холодность.

Кожухова сдѣлала гримасу.

— Хорошо ты его знаешь! Это просто сдержанность сознающей себя силы. Онъ вѣчно насторожѣ, чтобы не прорваться. Наши теперешніе земцы только недавно познакомились съ нимъ и навѣкъ сдѣлались его врагами. Его вѣдь почти всѣ ненавидятъ изъ нынѣшняго состава нашихъ земцевъ. Ну, да онъ ихъ еще согнетъ въ дугу. Это они чуютъ. По внѣшности всѣ вѣжливы съ нимъ, какъ трусы съ сильнымъ врагомъ, а внутри— да каждый радъ бы его утопить.

И уже тономъ пренебреженія она замѣтила:

— У него вѣдь свои идеи, фантазіи разныя, правда! за народъ готовъ въ огонь и въ воду, но все это покуда на подкладкѣ идеализма и чувствительности. Пока дѣтей на шеѣ нѣтъ—это удобно, а какъ надо будетъ кормить ихъ, такъ пойметъ, что приходится или свою семью уморить съ голоду, или другихъ поприжать...

И тутъ она добавила, какъ бы давая хорошій аттестатъ Иволгину:

— Впрочемъ, Владиміръ и Александръ его очень уважаютъ; они съ нимъ идутъ рука объ руку по земскимъ дѣламъ...

Уже къ завтраку мало-по-малу начали наѣзжать сосѣди. Такъ какъ въ комнатѣ дѣлалось душно, несмотря на открытыя окна, то всѣ сгруппировались на обширной крытой террасѣ. Эта терраса со стеклами кругомъ зимою служила мѣстомъ, куда выставлялись цвѣты, требующіе низкой температуры. Тогда здѣсь вставлялись вторыя рамы и образовывалось нѣчто въ родѣ прохладнаго зимняго сада. Теперь на галлереѣ-террасѣ стояло не мало цвѣтовъ, съ потолка по угламъ спускались красивыя вазы съ висячими растеніями; по серединѣ красовался большой фонарь съ цвѣтными стеклами, окруженный свѣчами. Мягкая мебель, качалки, небольшіе китайскіе разборные столики стояли въ живописномъ безпорядкѣ. Около козетокъ и качалокъ были ковры изъ толстой зеленой шерсти, казавшіеся кусками мягкаго моха. Когда заходила рѣчь о возможности устраиваться съ комфортомъ безъ особенныхъ затратъ, Кожухова обыкновенно указывала на эти ковры.

— Послѣдняя дѣвчонка сумѣетъ ихъ связать, если только умѣетъ чулки вязать; а между тѣмъ, и красиво, и удобно, и тепло зимою.

Она, какъ и ея сыновья, любила щегольнуть своею практичностью.

— Видите эту мебель — это все дома дѣлано. Липа и дубъ свои, рисунки выписала изъ Петербурга, нашла двухъ-трехъ столяровъ въ деревнѣ, вотъ вамъ и мебель. Да къ тому же и въ деревнѣ теперь развились столяры.

И, смѣясь, она добавляла:

— Теперь дерутъ не хуже столичныхъ мастеровъ, а мнѣ, конечно, за грошъ все сдѣлали... въ благодарность, что научила дѣлу...

Дѣйствительно, у нея была замѣчательная практическая смѣтка. Не это ли обольстило въ ней Петра? Она и людей подбирала такихъ, чтобы въ нихъ была та же способность. Она умѣла ихъ упорно эксплоатировать въ свою пользу, но кто выдержалъ искусъ въ ея школѣ, суровой, требующей энергіи, заставляющей напрягать всѣ силы, тотъ благодарилъ за науку. Отъ нея уходили люди, или сдѣлавшись заправскими работниками, или кулаками, или опустивши руки, измаявшись, упавъ духомъ въ этой кабалѣ безъ передышки и безъ поблажекъ. Какъ великій полководецъ на войнѣ во время сраженій, она не считала павшихъ, лишь бы достигнуть извѣстныхъ цѣлей. Правда, полководецъ воюетъ не ради своихъ интересовъ, а ради болѣе широкихъ задачъ. Но правда и то, что своеобразное воспитательное значеніе суровой школы въ обоихъ случаяхъ было одно и то же: многіе падали, нѣкоторые закалялись. Въ селѣ «Малыхъ Глинкахъ» это хорошо знали: во всѣхъ зажиточныхъ домахъ Елизавета Андреевна превозносилась до небесъ, въ то же время съ добродушнымъ юморомъ называясь «жохой-бабой», «кулакомъ-барыней», «выжигой». Зато въ бѣдныхъ семьяхъ говорилось: «подь къ Лизаветѣ Андреевнѣ, она соки повыжметъ», «тебѣ бы Лизавету Андреевну въ свекрови дать», «у жида, у попа, да у Лизаветы Андреевны батракъ однимъ глазомъ спитъ». Въ то же время богатыхъ мужиковъ называли «Лизаветы Андреевниными выкормками».

III.

Время между завтракомъ и обѣдомъ тянулось очень долго. Всѣ бродили, точно тоскливо ища и не находя себѣ мѣста. Пріѣзжающіе гости толковали о мѣстныхъ новостяхъ, уже всѣмъ извѣстныхъ и облетѣвшихъ не только уѣздъ, но и губернію. Дамы говорили о послѣднихъ полученныхъ модныхъ журналахъ, о скукѣ въ деревнѣ, о предстоящей зимѣ, о выборахъ.

— Ну, и жары же стоятъ — говорили въ одномъ углу.

— Да, батенька, могу признаться! — раздался отвѣтъ.

Послышалось громкое пыхтѣніе, точно кто-то отдувался.

— Этакъ все просто выгоритъ!

— А сѣнокосъ начнется, того и гляди, дожди одолѣютъ.

— Это ужъ вѣчно такъ.

Оба собесѣдника повздыхали, недовольные погодой и тупо глядя въ безоблачное небо, такъ и сверкавшее, такъ и искрившееся лучами солнца.

— Нѣтъ, вы видѣли нынѣшнія шляпки?—говорила одна дама пѣвучимъ голоскомъ.—Это Богъ знаетъ что.

— Ахъ, не говорите! Скоро совсѣмъ мужскіе костюмы станутъ носить,—отвѣтила другая дама.

— Нѣтъ, это недолго такъ продлится. Это не можетъ такъ продлиться! — воскликнула какая-то худая дѣвица. — Говорятъ, кринолины скоро войдутъ въ моду.

— Ну, тоже хорошо! Вотъ-то замѣна!—послышались голоса протеста.

Въ сторонѣ какая-то старуха замѣтила шопотомъ своей сосѣдкѣ:

— Сама истлѣла, такъ и хотѣлось бы, чтобы хоть бочки стали напяливать, лишь бы пошире казаться.

Молодыя дамы продолжали разсуждать:

— Да ужъ и не знаешь, чего ждать. Въ Америкѣ вонъ дамы съ бѣлыми мышами въ театръ ѣздятъ!

— Что вы? Не можетъ быть!

— Я же сама читала!

— Это Богъ знаетъ что такое!

И онѣ были тоже недовольны модой.

На нѣсколько минутъ всѣ заинтересовались пикантной новостью: у прокурора жена сбѣжала, говорятъ, съ какимъ-то офицеромъ. Кто-то даже сострилъ:

— По другому вѣдомству пошла!

Но тотчасъ же упалъ интересъ и къ этой темѣ, такъ какъ кто-то серьезнымъ тономъ объявилъ, что по вчерашнимъ свѣдѣніямъ жена прокурора снова вернулась къ мужу, и онъ разсказываетъ, что она просто ѣздила къ умирающей бабушкѣ. Попробовали заспорить о томъ, что у прокурорши нѣтъ никакой бабушки, но споръ не поддержался, такъ какъ всѣ хорошо знали, что бабушки точно нѣтъ.

Рома думалъ: «и здѣсь также скука, спѣться не могутъ». Ему вспомнилось, какъ въ театрахъ передъ началомъ оперъ и концертовъ музыканты и пробуютъ, и настраиваютъ инструменты,—то взвизгнетъ скрипка, то послышатся яркіе

звуки арфы, то вдругъ ни съ того, ни съ сего пронесется глухой вздохъ мѣднаго инструмента. Все покуда не клеилось. Четверо стариковъ поспѣшили избрать благую часть и засѣсть въ винтъ до обѣда.

— Водки ждутъ!—мелькомъ замѣтилъ Владиміръ Ромѣ.— До нея всѣмъ тошно!

Дѣйствительно, общество начало оживляться уже отъ одного предчувствія приближенія закуски и обѣда, заслышавъ гдѣ-то звонъ посуды. Елизавета Андреевна немного волновалась: не заставилъ бы ждать Апухтинъ. Не дождавшись его, неловко сѣсть за столъ. Всѣ это чувствовали и тихонько разспрашивали, здоровъ ли онъ, не случилось ли съ нимъ чего-нибудь. Онъ былъ теперь для каждаго дороже отца родного.

Наконецъ явился и онъ.

Это былъ высокій и лысый господинъ съ двойнымъ подбородкомъ, съ жирной шеей, какъ бы подпертой туго накрахмаленнымъ воротничкомъ сорочки. Онъ ходилъ медленно, точно съ трудомъ нося выпяченный впередъ животъ. Этотъ животъ, эта медленная походка и тупое выраженіе тусклыхъ, широко открытыхъ глазъ придавали ему внушительный видъ государственнаго человѣка. Присутствующіе заволновались при его появленіи, отъ того ли, что эта была крупная по положенію и по богатству личность, или просто отъ того, что съ его приходомъ должно было совпасть начало обѣда. Онъ раскланялся со всѣми съ любезностью и находчивостью человѣка, знакомаго со свѣтомъ, находя для каждаго двѣ-три милыя фразы,—пустячки, говорящіе, что онъ помнитъ каждаго присутствующаго и болѣе или менѣе интересуется имъ. У одной изъ дамъ онъ освѣдомился «о ея миленькомъ кадетикѣ», хотя этого кадетика онъ видѣлъ разъ въ жизни десять лѣтъ тому назадъ; у одного молодого человѣка онъ спросилъ «о драгоцѣнномъ здоровьѣ его почтенной матушки», хотя эту матушку онъ только и зналъ потому, что когда-то было цѣлое дѣло о переселеніи ея крестьянъ на болото; у одной барышни онъ съ благодушной фамильярностью старика спросилъ, «когда она успѣла вырасти», и съ той же милой фамильярностью сказалъ ея матери, что «онъ не вѣритъ, точно ли это ея дочь, а не младшая сестра-погодокъ». Подойдя къ Аннѣ Ѳеодоровнѣ, онъ довольно тихо проговорилъ ей:

— Вы виновница моего пріѣзда сюда!

Она вспыхнула и ей, вдругъ вспомнившей слова Ивол-

гина объ Апухтинѣ, показалось очень глупымъ и то, что онъ говоритъ, и выраженіе его устремленныхъ на нее круглыхъ и выпуклыхъ глазъ.

— Да, да!—продолжалъ онъ любезно.—Я простудился и долженъ былъ бы сидѣть дома. Но я зналъ, что вы здѣсь, и хотѣлъ принести повинную за то, что не былъ еще у васъ въ домѣ. Далекіе выѣзды мнѣ запрещены моимъ деспотомъ-докторомъ..,

— Я думаю, мой отецъ не имѣетъ права считаться визитами съ вами, — сдержанно замѣтила Анна Ѳеодоровна.

— Я былъ бы счастливъ, если бы мы сдѣлались настолько близкими, чтобы могли отбросить эти свѣтскія приличія,—проговорилъ Апухтинъ.

У Анны Ѳеодоровны сжалось сердце. Господи, Господи, неужели онъ будетъ ея мужемъ! Ей казалось, что ей тѣсно въ присутствіи этой колоссальной фигуры, что ей хочется отодвинуться отъ него куда-то подальше къ стѣнѣ. Такъ невольно отстраняешься отъ идущаго по звѣринцу слона, хотя и знаешь, что онъ тебя не задавитъ.

— Господа, прошу къ столу!—раздался голосъ Елизаветы Андреевны.

Она торопилась, покуда Апухтинъ не отошелъ отъ Анны Ѳеодоровны. Онъ предложилъ ей руку. Елизавета Андреевна уже взяла подъ руку Ѳеодора Романовича. Владиміръ подошелъ къ Наташѣ, чтобы вести ее къ столу. Рома опять почуствовалъ, что его душитъ злоба на Владиміра. Что это онъ ухаживаетъ за Наташей? Ужъ не думаетъ ли объясниться ей въ любви? Этого только недоставало!

У стола съ закусками уже слышался шумъ, напоминавшій жужжанье вспугнутыхъ пчелъ. Слышались отдѣльныя фразы:

— Вамъ чего прикажете, очищенной или померанцевой?

— Я придерживаюсь отечественнаго.

— Хватимъ по второй!

И пережевывая торопливо куски хлѣба и закусокъ, кто-то совѣтовалъ кому-то:

— Нѣтъ, вы выпейте рябиновки и закусите груздями. Это все у васъ какъ рукой сниметъ. Мнѣ одинъ докторъ это предписалъ отъ желудка и простуды. Сперва рябиновки, потомъ груздей. Не поможетъ, еще хлобысните.

Ѳеодоръ Романовичъ съ румянцемъ на худыхъ щекахъ уже припиралъ къ стѣнѣ какого-то молодого, длиннаго и тощаго франтоватаго господина съ прической à la Капуль, выражая ему свое несочувствіе къ земству.

— Я вамъ указываю на факты: въ Аккерманскомъ уѣздѣ на двадцать восемь тысячъ обязательныхъ расходовъ содержаніе управленія обходится въ семь тысячъ восемьсотъ рублей; въ Кишиневскомъ, на пятьдесятъ три тысячи обязательныхъ расходовъ, на управленіе и канцелярію идетъ десять тысячъ четыреста рублей. Это какъ вы думаете, кто въ барышахъ? Кромѣ этихъ-съ прямыхъ «содержаній» еще косвенными путями изъ разныхъ обязательныхъ и необязательныхъ расходовъ останется у господъ заправилъ кое-что въ рукахъ.

— Даромъ служить никто не обязанъ,—отвѣтилъ франтоватый молодой человѣкъ, торопливо пережевывая что-то.

— Такъ-съ, такъ-съ! Ну, а подвигъ ветлужскаго земства? На земскія деньги построили общественный клубъ въ городѣ Ветлугѣ. Это для поднятія крестьянскаго благосостоянія, что ли? Это-съ вѣдь въ газетахъ сообщено, это фактъ!

— Я не спорю, что темныя стороны есть. Я вамъ только указалъ, что земство, несмотря на всѣ неблагопріятныя условія, двинуло впередъ образованіе народа, — отбивался молодой человѣкъ, торопливо работая челюстями.

— Позвольте, позвольте! Двинуло? куда двинуло? Будемте стоять на почвѣ фактовъ: въ Бирскомъ уѣздѣ предсѣдатель получаетъ двѣ тысячи четыреста рублей, два члена управы тоже двѣ тысячи четыреста рублей вмѣстѣ, канцелярія семь тысячъ, а учителю даютъ двѣсти пятьдесятъ рублей, а законоучитель получаетъ шестьдесятъ—шестьдесятъ-съ въ годъ!

— Позвольте, зачѣмъ же вы берете...

— Нѣтъ-съ, вы мнѣ позвольте. Вы говорите, вы двинули народное образованіе, а вотъ въ Уржумскомъ уѣздѣ сорокъ школъ поддерживали свое существованіе единственно благодаря учителямъ. Эти люди изъ нищенскаго содержанія удѣляли деньги на квартиру и отопленіе земскихъ школъ. Въ Богодуховскомъ уѣздѣ у школы не было книгъ, она просила вспомоществованіе, а ей классныя скамьи прислала управа. Классныя скамьи! Да-съ! Это курамъ на смѣхъ! Возьмите тоже аккерманское земство: на пособіе сельскимъ школамъ дается четыреста рублей, а пособіе прогимназіи равняется пяти тысячамъ триста семидесяти пяти рублямъ.

— Вы ужъ и копейки наизусть не запомнили ли?—пошутилъ молодой человѣкъ, отдѣлываясь отъ разговора и садясь за столъ.

Ѳеодора Романовича, однако, было трудно остановить, когда онъ садился на своего конька.

— Я-съ вамъ привожу нѣкоторыя цифры, потому что читаю отчеты земствъ, я вотъ еще вчера просматривалъ то, о чемъ говорю, а многіе господа-земцы даже не разрѣзаютъ никакихъ отчетовъ,—говорилъ онъ, торопливо затыкая конецъ салфетки за воротникъ сорочки.—Недаромъ-съ церковно-приходскія школы сразу вошли въ силу и нѣкоторыя земства, къ стыду своему, обрадовались этому. Дешевле, молъ, стоитъ будетъ.

— Можетъ-быть, это протестъ?—вставилъ молодой господинъ.—Можетъ-быть, причины лежатъ...

— Противъ кого же протестъ?—горячо перебилъ его Ломовъ.—Кому онъ страшенъ? На комъ онъ отзовется?

Молодой человѣкъ молчалъ, видимо думая объ одномъ, чтобъ Ломовъ отвязался. Онъ даже заговорилъ съ своей сосѣдкой о томъ, что Петербургъ много потерялъ своей привлекательности съ той поры, какъ въ немъ нѣтъ итальянской оперы.

— Это просто позоръ,—говорила дама, никогда не бывавшая въ Петербургѣ и никогда не слыхавшая итальянской оперы.—Во всѣхъ европейскихъ столицахъ есть итальянская опера, а у насъ теперь нѣтъ.

— Да у насъ денегъ не хватило! — горячо воскликнулъ молодой человѣкъ и залиберальничалъ.—Вообще теперь въ театрѣ идетъ сумбуръ, разные безпорядки, искусство положительно падаетъ...

Но Ломовъ все продолжалъ приставать къ нему.

— Нѣтъ-съ, это не протестъ, а желаніе сложить съ себя лишнюю обузу,—продолжалъ Ѳеодоръ Романовичъ.—Недаромъ же изъ вашихъ школъ бѣжали нѣкоторые учителя въ урядники. Это вѣдь не сказки, а тоже фактъ. Нищета, нераціональная постановка учебной части, придирки всѣхъ и каждаго къ учителю—тутъ поневолѣ сбѣжишь.

— Да при чемъ же тутъ земства? Тутъ...

— Нѣтъ-съ, нѣтъ-съ, пойдемте дальше. Я знаю-съ, что вы хвалитесь не однимъ устройствомъ народнаго образованія, а и устройствомъ врачебной помощи. Ну-съ, ваши врачи или цѣлыми днями играютъ въ винтъ и пляшутъ по дудкѣ господъ изъ управы, кулаковъ и міроѣдовъ, не заботясь о мужикѣ, или на ножахъ съ господами изъ управы и въ концѣ концовъ бѣгутъ, видя полную невозможность дѣлать дѣло. Рѣдкій врачъ уживается у васъ подолгу...

— Ну, тоже, если такіе крикуны, какъ вашъ почтенный сосѣдъ Борисъ Николаевичъ Ивелгинъ, — замѣтилъ черезъ

столъ какой-то толстенькій старичокъ съ простодушнымъ упитаннымъ лицомъ:—такъ и скатертью дорога.

Онъ началъ разсказывать, какъ Иволгинъ, посѣтивъ земскую больницу, говорилъ, что тутъ надо повернуть все вверхъ дномъ: и то дурно, и другое негодно, и третье нужно ввести. Всѣ, кто завѣдывалъ больницей, чуть не ворами были имъ изображены, всѣхъ, оказалось, чуть не подъ судъ надо было упечь. Послушать бы его, такъ въ Сибири мѣста бы не хватило. И, добродушно смѣясь, онъ закончилъ:

— И напорется самъ на чужіе роги, если попадетъ въ распорядители.

Тѣмъ же добродушнымъ тономъ онъ сталъ объяснять, что нельзя же требовать, чтобы мужицкая больница была такой же, какъ не-мужицкая больница.

— Вѣдь мужикъ въ избѣ со скотомъ живетъ, а не въ такихъ вотъ палатахъ, — указалъ онъ пухлой рукой кругомъ.—Ну, мужику и больница иная нужна, и требованій къ ней нельзя строгихъ предъявлять. Какъ смѣете, говоритъ, вмѣсто медикаментовъ отъ бабъ цѣлебныя травки скупать? А иному и травка поможетъ. Всяко бываетъ.

— Такъ лучше ужъ и вовсе закрыть больницы!—запальчиво воскликнулъ Ѳеодоръ Романовичъ.—Вотъ я на-дняхъ читалъ, какъ въ одномъ земствѣ ораторы подняли вопросъ о закрытіи двухъ существовавшихъ больницъ. Поднялся врачъ и началъ доказывать ихъ необходимость. Его оборвали, сказавъ, что онъ некомпетентенъ въ этомъ вопросѣ, такъ какъ его прямая выгода въ существованіи больницъ. Порѣшили закрыть.

— Да, можетъ-быть-съ, онѣ и точно не нужны были,— замѣтилъ добродушный собесѣдникъ-старикъ.

— Очень можетъ быть, кстати можно бы и школы тутъ же закрыть, и подѣлить оставшіяся деньги на прибавки жалованья предсѣдателю и членамъ управы,—возразилъ Ѳеодоръ Романовичъ не безъ ѣдкости.—Но я не кончилъ-съ. Интереснѣе всего былъ финалъ. На слѣдующее засѣданіе явились тѣ же противники двухъ больницъ и, въ порывѣ раскаянья, стали просить о разрѣшеніи содержать временныя койки въ помѣщеніи этихъ же самыхъ больницъ... временныя койки!..

Послышался легкій смѣхъ. Всѣ радовались, предполагая, что споръ кончился. Надоѣли всѣмъ и такъ эти дѣла. Дамы опять завели рѣчь о нарядахъ, о модахъ, объ удовольствіяхъ.

— Но вы все-таки неосновательно прорѣзали,—доказывалъ добродушному толстяку его сосѣдъ, угрюмый и сухопарый старикъ, продолжая споръ о винтѣ.

— Не могъ я не прорѣзать, никакъ не могъ!—оправдывался добродушный толстякъ.—Это, можетъ-быть, неправильно, но это моя система. Я по своей системѣ играю.

— Общія правила есть...

— А у меня своя система.

Ѳеодоръ Романовичъ не выпускалъ, однако, изъ рукъ своей жертвы и продолжалъ спорить съ молодымъ франтомъ, уже каявшимся, что онъ сѣлъ рядомъ съ Ломовымъ:

— Вы, конечно, слышали объ увольненіи врача только вслѣдствіе того, что имъ былъ недоволенъ фельдшеръ, родственникъ экономки одного изъ заправилъ? Эта вѣдь грязь закулисныхъ интригъ черезъ газеты прошла. А въ Саратовѣ? Врачъ служилъ восемнадцать лѣтъ и вдругъ ни съ того, ни съ сего его увольняютъ. Тоже вѣдь фактъ, подтвержденный газетами. Это дѣло? Ну-съ, а подача прошеній объ увольненіи цѣлыми группами врачей, не сладившихъ съ земскими воротилами? А хлопоты льговскаго земства, чтобы получить право увольнять врачей безъ вмѣшательства ревизіонной комиссіи? Да вѣдь дѣло-съ дошло до того, что роменское земство созналось въ своей некомпетентности въ врачебномъ дѣлѣ и просило губернатора взять регулированіе этого дѣла и распоряженіе ассигнуемыми на него деньгами! Того же потребовали два врача въ Петербургѣ на съѣздѣ—потребовали для всѣхъ земствъ! Это-съ знаменательно! Знаете ли вы, къ чему это ведетъ? Къ тому-съ, что сегодня у земства изъ рукъ уйдутъ школы къ попамъ, завтра уйдетъ врачебная часть къ губернской власти, а затѣмъ-съ останутся пенсіонеры у мужиковъ, облегченные отъ бремени обязанностей и хлопотъ.

— Ахъ, странно, право, ведете вы свою обвинительную рѣчь противъ земства!—нетерпѣливо сказалъ франтоватый молодой человѣкъ.—Вы ловите газетный фактъ и основываете все на немъ. Въ газетахъ обличенія дурного, въ газетахъ только темныя стороны.

Раздался неожиданно басовитый утробный смѣхъ Апухгина. Всѣ стихли и обернулись къ нему. До этой минуты онъ тихо бесѣдовалъ исключительно съ Анной Ѳеодоровной.

— Я присоединяю къ фактамъ, переданнымъ Ѳеодоромъ Романовичемъ, только одинъ. Обязательное страхованіе скота. Ха-ха-ха!

У него слегка затрясся круглый двойной подбородокъ, хотя остальная часть лица вовсе не имѣла выраженія смѣющагося человѣка. Послышались вопросы, что это за исторія.

— Да вы, конечно, всѣ знаете, господа, финалъ этого великаго изобрѣтенія,—проговорилъ Апухтинъ.—Это перлъ. Господа земцы одной изъ губерній придумали введеніе обязательнаго страхованія скота. Каждый долженъ былъ застраховать весь имѣющійся у него скотъ. Но не думайте, что застраховывался скотъ отъ падежа вообще. Это было бы понятно. Но нѣтъ-съ, были избраны и опредѣлены привилегированныя болѣзни. Падетъ скотина отъ привилегированной болѣзни—выдать деньги; падетъ отъ непривилегированной болѣзни—не выдавать. Ну-съ, выбрали агентовъ, назначили имъ оклады и успокоились. Теперь представьте себѣ слѣдующую картину: скотъ падаетъ повсемѣстно, ветеринаровъ нѣтъ на десятки верстъ, крестьяне ничего не смыслятъ въ болѣзняхъ, кто же подтвердитъ, что та или другая сидорова корова пала съ привилегіей? Спрашиваю васъ: кто? Агенты? Да прежде, чѣмъ они доскачутъ на одно мѣсто, въ другомъ же и трупы скота сгніютъ. Ну-съ, и такъ за палый скотъ могъ получить не крестьянинъ, а только господа земскіе заправилы. Съ января по октябрь было собрано пятьдесятъ одна тысяча рублей. Изъ этихъ денегъ за палый скотъ выдано было пять тысячъ четыреста рублей, а на администрацію ушло тридцать три тысячи! Хорошо?

И сдѣлавъ серьезную мину, Апухтинъ закончилъ:

— На слѣдующемъ ежегодномъ земскомъ собраніи было прямо заявлено, что вся губернія приметъ въ колья—да, приметъ въ колья сборщиковъ страховки. Хорошо-съ?

— Въ одномъ земствѣ уже и приняли ихъ въ колья,—послышались голоса.

— Судили виновныхъ,—поясняли другіе.

— Съ нововведеніями это всегда повторяется,—разъяснялъ кто-то.

Ѳеодоръ Романовичъ, не слушая противниковъ и не давъ молодому франтоватому господину открыть рта для возраженія, горячо заговорилъ:

— Не мудрено, что при такомъ хозяйствѣ мы очутились среди массы нищихъ. За 1882 годъ изъ поступленій губернскаго и уѣзднаго сборовъ поступило всего двадцать девять милліоновъ при недоборѣ въ шестнадцать съ половиной милліоновъ. Въ Новгородской губерніи при поступ-

ленія въ восемьсотъ шестьдесятъ двѣ тысячи недоимокъ было на восемьсотъ шестьдесятъ пять тысячъ. Въ Курской губерніи при сборѣ въ пятьсотъ пятьдесятъ четыре тысячи недоимокъ было на семьсотъ пятьдесятъ одну тысячу.

— Вы ошибаетесь, это не слѣдствіе земскаго хозяйства, а слѣдствіе всеобщаго разоренія, — загорячился молодой франтъ.—Въ одномъ взаимномъ поземельномъ кредитѣ заложено имѣній на полтораста милліоновъ и только какая-нибудь одна пятая часть этихъ имѣній принадлежитъ не дворянамъ. Тутъ ужъ земское хозяйство не при чемъ. Всѣ мы не умѣемъ жить.

Добродушный толстякъ, хихикая, вставилъ свое словцо:

— Ну, иногда и не отъ нужды закладываютъ. Вотъ одинъ крупный землевладѣлецъ заложилъ милліонное имѣніе да изъ мрамора дворецъ себѣ воздвигъ въ Италіи. Глядишь, на шеѣ и платежи въ взаимный поземельный кредитъ, и расходы на поддержаніе дворца, а имѣніе все въ прежней чахоткѣ.

На него никто не обратилъ вниманія. Всѣ гости, уже порядочно выпившіе, шумно говорили на перебой.

— Взаимный поземельный кредитъ дѣйствительно скоро высосетъ всѣ соки изъ дворянъ,—замѣтилъ мрачный сосѣдъ добродушнаго толстяка.—Я въ числѣ многихъ другихъ подалъ записку о необходимости перевода заложенныхъ имѣній въ дворянскій банкъ.

— Въ пятьдесятъ милліоновъ подарка требуете?—спросилъ молодой франтъ съ ироніей.

— Да-съ, въ пятьдесятъ милліоновъ подарка требую!—настойчиво сказалъ мрачный господинъ.—Дворянство подороже стóитъ, а его благосостояніе погибнетъ, если его не поддержатъ теперь. Оно попало въ лапы паука, и тотъ высосетъ всѣ его соки. Да-съ, я это говорилъ и повторяю еще. Я еще готовлю записку объ освобожденіи дворянства отъ всякихъ подоходныхъ налоговъ. Да-съ!

Въ порывѣ раздраженія онъ взялъ щепотку табаку,—сердито нюхнулъ его и стряхнулъ пальцы въ сторону сосѣда, запыливъ ему грудь сорочки.

— Ну, не всѣ же заложили свои имѣнія!—раздался мягкій голосъ какой-то дамы.—Правда, теперь, когда дворянскій банкъ будетъ... кредитъ дешевый...

Она бросила нерѣшительный взглядъ на сидѣвшаго противъ нея мужа. Тотъ поморщился и поторопился отвѣтить:

— Та же петля на шеѣ!

Послышались голоса протеста: какъ петля на шеѣ? почему?

— Всякое закладываніе имѣнія петля на шеѣ,—уклончиво отвѣтилъ онъ.

— Ахъ, ты всегда такъ!—воскликнула недовольнымъ тономъ жена.

— Вы возьмите одинъ только пунктъ проекта о томъ, что продать имѣніе можно только дворянину или нужно выкупить его.

— Это въ пользу дворянъ: желаніе не обезземелить ихъ,—вставилъ наставительно Апухтинъ.

— Да-съ? Ну, а если нужно до зарѣзу продать? Гдѣ вы сейчасъ найдете покупщика-дворянина? Не дворянинъ же за то, что онъ заплатитъ всю сумму чистоганомъ, дастъ гораздо меньше, въ прямой убытокъ вамъ.

— Ну, если продавать имѣнія, такъ на это есть крестьянскій банкъ,—замѣтилъ добродушный толстякъ.—Черезъ него всегда можно выгодно сбыть землю. Крестьянинъ до земли жаденъ. Охъ, какъ жаденъ! Онъ переплатитъ, а купитъ землю. Это для дворянъ выходъ. Хе-хе-хе! Теперь дворянинъ можетъ обернуться, заложивъ имѣніе въ дворянскій банкъ, а тамъ, глядишь, земля еще подорожаетъ, ну и всучивай ее мужичкамъ черезъ крестьянскій банкъ.

— Да, въ конецъ запутаются со своею жадностью къ землѣ мужики со всякими этими банками,—сказалъ господинъ, не желавшій согласиться на просьбы жены заложить имѣніе и признававшій всякій долгъ петлей на шеѣ.—Какое крестьянское хозяйство при нашемъ неумѣньи вынесетъ уплату ежегодныхъ процентовъ на капиталъ и погашеніе части капитала? да еще при вздорожаніи земли. Вѣдь, купивши землю, нужно еще и удобрить ее, и руки приняять, и орудія завести. Это чистая петля на шеѣ.

— У тебя все петля на шеѣ!—возразила съ упрекомъ его жена.—Ты все стоишь на своемъ! Такъ жить нельзя, если въ каждомъ оборотѣ видѣть петлю на шеѣ.

Мужъ только вздохнулъ, какъ мученикъ, выносящій привычную пытку.

— Однако, покупаютъ же крестьяне земли?—замѣтилъ кто-то.

— Да, покупаютъ, потому что, какъ сказалъ Иванъ Ивановичъ, крестьянинъ жаденъ на землю. Вотъ купили же крестьяне изъ взаимнаго поземельнаго кредита имѣніе на югѣ, заложенное въ сотню тысячъ, съ заводами и другими

ненужными имъ постройками. Ну-съ, а подойдетъ время платежей—и закряхтятъ. Вѣдь ужъ и такъ иногда льготы приходится дѣлать. Они видятъ одно: земля есть. Ну, и бросаются на нее, а что послѣ выйдетъ—этого они не знаютъ. Вы бы посмотрѣли въ взаимномъ поземельномъ кредитѣ, когда они дѣлаютъ свои взносы—любопытно! Конечно, тутъ очень важную роль играетъ то обстоятельство, что арендная плата на землю все поднимается. При томъ же земля отдается крестьянамъ на короткіе сроки. Вотъ почему крестьяне и жадны до земли: какъ бы ни были тяжки условія покупки, все же это—собственность...

И, помолчавъ немного, онъ прибавилъ:

— Грустнѣе всего то, что это собственно и не крестьяне покупаютъ, а чаще всего міроѣды: изъ трехъ сотъ покупщиковъ заправилами являются какой-нибудь десятокъ или два десятка кулаковъ. Остальные же прямо превратятся въ ихъ батраковъ.

Франтоватый молодой человѣкъ обрадовался и оживился при словѣ «міроѣдъ».

— Да, да, это вѣрно! Крестьянинъ не отъ земскихъ порядковъ страдаетъ, а отъ міроѣдства,—горячо заговорилъ онъ.—Міроѣды—вотъ наше зло, вотъ наша язва.

— А! ширма либераловъ! — воскликнулъ запальчиво Ѳеодоръ Романовичъ.—Міроѣды! за нихъ теперь всѣ прячутся. «Мы не виноваты, это все они!» Я когда пріѣхалъ сюда, мнѣ тоже сейчасъ это пугало либерализма показали. Ну-съ, и что же? Я увидалъ не міроѣда, а старика-патріарха, отца пяти сыновей. Онъ ихъ держитъ въ рукахъ, и потому его семья процвѣтаетъ, онъ богатъ, жизнь нравственна...

— У меня около имѣнія живетъ Прокофій Семеновъ Милый, такъ у того двѣнадцать сыновей,—вставилъ добродушный толстякъ.—Онъ такъ и говоритъ: «Потуда я и богатъ, покуда двѣнадцать душъ крѣпостныхъ есть». Хе-хе-хе! Даровые работники.

— Да-съ, даровые работники, крѣпостные! И отлично! Это столпы нравственности, а не міроѣды, — горячился Ѳеодоръ Романовичъ.—Нѣтъ-съ, міроѣдовъ прежде не было при крѣпостномъ правѣ, когда дворянинъ былъ все.

— Вы старыхъ приказныхъ забыли,—насмѣшливо замѣтилъ молодой спорщикъ.—Они были тогда все.

— Ахъ, вы хотите за новые суды встать. Дарю ихъ вамъ безъ спора!—замѣтилъ Ѳеодоръ Романовичъ. уже весь

красный отъ выпитаго вина, и крикливо продолжалъ:— Только замѣчу, что старые приказные чуть не въ опоркахъ ходили, а новые господа адвокаты ѣздятъ на рысакахъ, состоянія въ сотни тысячъ кляузничествомъ составили. А составъ судовъ...

Онъ обернулся къ Апухтину:

— Кажется, у всѣхъ въ памяти исторія одного застрѣлившагося предсѣдателя окружного суда, оставившаго записку, что онъ убиваетъ себя, чувствуя весь позоръ своей жизни. Это вѣдь всѣ газеты облетѣло. А тотъ предсѣдатель, что изволилъ въ балаганъ обратить судебное засѣданіе, такъ что дѣло дошло до замѣчанія отъ сената...

Владиміръ, наклоняясь близко-близко къ Наташѣ, шепталъ ей:

— Всѣ сами хороши и всѣхъ ругаютъ.

— Это вѣдь такъ легко,—отвѣтила она.

— Но скучно до тошноты... Ужъ хоть бы дѣло дѣлали, ну, тогда туда-сюда, а то вѣдь сами лежебоки...

— Вамъ, я думаю, это особенно противно, какъ человѣку дѣла,—сказала она.

— Да. Мы потому и стоимъ въ сторонѣ... Здѣсь, въ уѣздѣ, въ сущности, только мы да Иволгины и можемъ похвалиться тѣмъ, что не дармоѣдствуемъ...

При упоминаніи объ Иволгинѣ лицо Наташи покрылось румянцемъ.

— И всѣ эти говоруны подъ пьяную руку, и консерваторы, и либералы, одинаковую чепуху городятъ,—продолжалъ Владиміръ:—все изъ газетъ, изъ слуховъ выводы дѣлаютъ... Одни земство, другіе правительство ругаютъ, точно въ земствѣ одни люди служатъ, а въ правительствѣ другіе. Люди вездѣ люди и вездѣ у нихъ одни и тѣ же недостатки.

Рома мрачно посмотрѣлъ въ сторону Владиміра и Наташи: «О чемъ они шепчутся? Съ чего она раскраснѣлась?»

— Да позвольте, вы говорите объ общемъ паденіи нравовъ, а не о судѣ,—запальчиво воскликнулъ молодой франтоватый господинъ въ отвѣтъ на послѣднія слова старика Ломова.

— Да-съ, объ общемъ паденіи нравовъ, явившемся вслѣдствіе того, что разнуздали общество!—уже кричалъ Ѳеодоръ Романовичъ съ пылающимъ лицомъ.—И оно будетъ еще сильнѣе, когда общество, отданное на судъ невѣжественнаго, грубаго, спившагося и распущеннаго народа.

будетъ видѣть, что можно и убивать, и поджигать, и грабить безнаказанно. Сегодня оправдаютъ жену, убившую мужа, завтра оправдаютъ мужа, убившаго жену, послѣзавтра пойдутъ убивать васъ, меня... У насъ еще въ памяти Засуличъ...

— Господа, господа, за здоровье новорожденнаго!—раздался торопливый возгласъ добродушнаго старика.

— Урра!—крикнуло нѣсколько голосовъ.

Задвигались стулья встававшихъ, чтобы чокнуться бокаломъ съ Владиміромъ. Онъ всталъ и сталъ обходить столъ, благодаря гостей, дошелъ до матери и поцѣловалъ ей руку, а потомъ губы.

— Уйми ты дядю!—наскоро шепнула она ему.—Это Богъ знаетъ что!

— Напился!—коротко отвѣтилъ Владиміръ.

Понемногу все стихло, слышался только звонъ ножей, вилокъ, посуды. Ѳеодоръ Романовичъ опять началъ разговоръ о современномъ положеніи дѣлъ, но Владиміръ крикнулъ ему черезъ столъ:

— Дядя, дамы жалуются, что ихъ вмѣсто обѣда пригласили на земское собраніе! Надоѣло оно!

— Да, да, пощадите насъ!—со смѣхомъ сказала барыня, подговаривавшая мужа заложить имѣніе.—Развѣ мы понимаемъ что-нибудь въ политикѣ?

— Браво, браво!—крикнулъ чей-то пьяный голосъ.

— Я ничего не имѣю противъ мнѣнія дамъ и поднимаю бокалъ за русское дворянство!—громко воскликнулъ Ѳеодоръ Романовичъ.

— Урра!—крикнули дружно гости.

— За почтеннаго представителя нашего мѣстнаго дворянства!

— Урра!

Апухтинъ кланялся, выражая на лицѣ скромное: «за что же? такая честь!»

Зазвенѣли бокалы. Когда подошелъ къ Апухтину Ѳеодоръ Романовичъ, тотъ размякъ и нѣжно обнялся съ нимъ.

— Я васъ полюбилъ, я вамъ вполнѣ сочувствую! Это... эта горячность, эта принципіальность... Ну, меня тронули!—говорилъ онъ, и его крупное лицо вдругъ приняло видъ глуповатаго младенческаго лица; разлившійся по вздутымъ щекамъ румянецъ и темя, покрытое пушкомъ, дополняли это сходство.

Обмѣнявшись любезностями съ гостями, онъ опустился опять на стулъ возлѣ Анны Ѳеодоровны и заговорилъ:

— Я очарованъ вашимъ отцомъ! Онъ горячъ, какъ юноша. Конечно, онъ увлекается, но я сочувствую его основамъ. Дворянство имѣетъ великое значеніе и его надо хранить, какъ зеницу ока. Наше великое несчастіе, что оно не остается покуда строго замкнутымъ сословіемъ. Замкнутость необходима! Въ него вторгались часто посторонніе элементы и вносили въ него нерѣдко разложеніе. Этому нужно положить предѣлъ. Запереть плотину. Да, именно, такъ: запереть плотину! Я хорошо знаю, какія посторонніе примѣси входили у насъ часто въ дворянское сословіе. Я вѣдь немного спеціалистъ по этому вопросу.

Онъ благодушно усмѣхнулся, какъ бы сознаваясь въ маленькой слабости.

— Занятія генеалогіей—мои спеціальныя занятія. Когда я окончу свой трудъ, я надѣюсь, что мнѣ удастся показать многія прискорбныя явленія, въ родѣ исторіи созданія рода князей Еловыхъ почти на нашихъ глазахъ, то-есть на моихъ, а не на вашихъ,—добавилъ онъ съ любезной улыбкой.—Вы, конечно, встрѣчали или слышали въ Петербургѣ про существованіе князя Еолова-Тихменева?

Анна Ѳеодоровна отвѣтила утвердительно.

— А какъ основался этотъ родъ? покойный Еловъ-прадѣдъ самъ по себѣ былъ дитя любви. Сынъ какого-то итальянца-бандита или лазароне, повара или парикмахера, кто его знаетъ. Но у него были вліятельныя родственницы—если только у подобныхъ дѣтей могутъ быть родственники—со стороны матери. И вотъ-съ этого мальчика вытянули за уши до званія гвардейскаго прапорщика или поручика. потомъ нашли ему невѣсту, перезрѣлый плодъ вымиравшей семьи графа Тихменева. Графа Тихменева возвели при помощи протекціи въ княжеское достоинство, а за это потребовали руки его дочери Еолову, и такъ создался новый насчитывающій уже четыре поколѣнія родъ князей Еловыхъ-Тихменевыхъ, потомковъ Богъ знаетъ кого.

Его лицо съ опущенными углами губъ выражало презрѣніе къ этимъ потомкамъ Богъ знаетъ кого.

— Я понимаю, еслибъ княжескіе титулъ и фамилію Тихменева передали тогда кому-нибудь изъ старыхъ дворянъ, родственниковъ старика. О, да, это понятно. Но производить въ князья мальчишку безъ имени, безъ національности, безъ родины—этого я не понимаю... Когда-нибудь, когда я

буду имѣть счастіе видѣть васъ у себя, я вамъ покажу много интересныхъ родословныхъ деревъ, составленныхъ мною. О, это стоитъ изучить: это исторія, это романы. Тутъ проходятъ цѣлыя вереницы событій, лицъ, семейныхъ отношеній, паденій и возвышеній родовъ, фавориты, временщики...

Онъ сжалъ зубы и приподнялъ брови, на минуту задумавшись о чемъ-то.

— Только много труда приходится употреблять на это дѣло, разъясняя темныя мѣста и пробѣлы. Матеріалы иногда спутаны, иногда совершенно искажаютъ истину. Кто дѣйствительные Рюриковичи? Кто родня Гедемину? Князь Петръ Долгорукій многое перепуталъ, много исказилъ умышленно, преслѣдуя личныя цѣли. Да, впереди еще много кропотливой работы, очень много.

Онъ вздохнулъ, задумавшись о томъ, какъ много впереди кропотливой работы. Потомъ какъ бы опомнился и любезно замѣтилъ:

— Но виноватъ! Вы еще не знакомы съ этимъ дѣломъ, и оно не можетъ особенно интересовать васъ. О, я васъ втяну въ него когда-нибудь. Честное слово!

И уже совсѣмъ по-свѣтски, мило и любезно онъ сталъ ее разспрашивать, не скучаетъ ли она здѣсь послѣ Петербурга, много ли выѣзжаетъ, любитъ ли прогулки. Анна Ѳеодоровна вздохнула свободнѣе, чувствуя, что ея собесѣдникъ о генеалогіи больше не заговоритъ. Она отвѣтила ему, что въ деревнѣ ей еще не привычно жить, что гуляетъ она мало.

— Ну, катаетесь верхомъ?—спросилъ Апухтинъ.

— Отецъ еще не пріобрѣлъ мнѣ верховой лошади,—отвѣтила она, немного смутясь.

— Позвольте служить вамъ,—предложилъ онъ.

Она сконфузилась еще болѣе.

— Мой заводъ славится верховыми лошадьми, и въ данную минуту у меня на конюшнѣ стоятъ совсѣмъ безъ дѣла выѣзженныя подъ дамское сѣдло лошади. Я могу похвалиться ими. Это тоже моя маленькая слабость. Лошадь—это старинный, испытанный другъ человѣка. Съ ея помощью онъ могъ охранить свои большія стада, добраться до оазисовъ въ пустынѣ, быстрѣе совершить путь къ цивилизаціи. Недаромъ говорятъ арабы, что когда Богъ захотѣлъ создать лошадь, онъ сказалъ южному вѣтру: «Я хочу изъ тебя выдѣлить новое существо. Сгустись!» Вѣтеръ сгустился, ангелъ Гавріилъ взялъ его полную горсть и подалъ Богу; Богъ со-

творилъ лошадь... Люблю я эти наивныя легенды, имѣющія глубокое историческое значеніе...

Онъ опять перешелъ къ вопросу объ имѣющихся у него верховыхъ лошадяхъ:

— Я ими могу похвастать. Особенно Мустафа III, это не лошадь, а послушнѣйшій изъ людей. Три поколѣнія у него на нашемъ заводѣ считаются: Мустафа I, Мустафа II и онъ, Мустафа III. Всѣ три одинъ, какъ другой: если вамъ показать портретъ Мустафы I, вы не повѣрите, что это не Мустафа III. Я нашелъ отличіе въ нихъ—вы не найдете, по крайней мѣрѣ, сразу.

Въ столовой давно уже становилось нѣсколько душно. Боясь за Апухтина, не выносившаго сквозного вѣтра, хозяйка не рѣшилась открыть оконъ. Теперь духота стала уже положительно нестерпимой. Эта духота, хаосъ оглушительнаго говора всѣхъ разомъ, отрывочныя фразы: «а мы еще съ вами сразимся на зеленомъ полѣ», заставили всѣхъ нетерпѣливо ждать сигнала для перехода изъ столовой въ другія комнаты. Наконецъ, хозяйка, видя, что нѣкоторыя лица стали особенно красны, а нѣкоторые языки уже отказывались повиноваться своимъ владѣльцамъ, попросила гостей на террасу къ кофе и чаю. Начался шумъ двигавшихся стульевъ, шарканье ногъ, шелестъ платьевъ, покрякиванье плотно наѣвшихся гостей. Добродушный старикъ похлапывалъ слегка ладонями по своему животу, какъ бы стараясь привести въ немъ все въ надлежащій порядокъ. Всѣ лица были красны, нѣкоторые изъ мужчинъ чувствовали, что подъ ними полъ качается, какъ корабельная палуба во время бури. Молодой франтоватый господинъ протолкался къ Ромѣ и захватилъ за пуговицу сюртука.

— А я и не зналъ, что вашъ отецъ такой ярый противникъ земства и новыхъ порядковъ! Это, батенька, караулъ закричишь съ такими горячими антагонистами. Вы такой же?

Рома не былъ съ нимъ знакомъ и немного смутился отъ его фамильярнаго тона.

— Я не раздѣляю всѣхъ мнѣній отца, но согласитесь, что нынче нѣтъ человѣка, не жалующагося на существующее...

— Согласенъ, согласенъ! Я первый все и всѣхъ ругаю и кляну!—воскликнулъ молодой франтъ.— Да я бури цѣлыя поднимаю въ земствѣ, я, я всѣхъ будоражу. Но во имя чего? Во имя чего? Не во имя уничтоженія существующаго, а во имя расширенія и усовершенствованія существующаго, во имя прогресса и свободы. Это я понимаю!

Онъ схватилъ Рому за пуговицу жилета.

— Людей нѣтъ—вотъ наша бѣда! Одинъ въ полѣ не воинъ. Господинъ Апухтинъ генеалогіей занимается, когда отечество требуетъ живого дѣла, живого слова! Господинъ Вальковъ...

— Кто это?—спросилъ Рома.

— Вы не знаете? А вотъ тотъ добродушный старецъ-купидонъ съ улыбочкой на щекахъ-подушкахъ, тотъ, что свои словца вставлялъ въ мой споръ съ вашимъ отцомъ. Да-съ, такъ этотъ господинъ Вальковъ, членъ земской управы, говоритъ: «я съ большинствомъ согласенъ; мнѣ что-жъ, мнѣ только бы служить по выборамъ»,—и спитъ-съ, спитъ на каждомъ засѣданіи, если не составитъ гдѣ-нибудь партіи въ винтъ. Да-съ, такихъ проѣвшихъ все господъ много сидитъ на шеѣ у земства, считая земскую службу за синекуру. Ну-съ, а міроѣды, кулаки во время общественнаго бездѣйствія и нагрѣваютъ свои руки.

— Значитъ и вы противъ земства?

— Я противъ людей!

Онъ опять затеребилъ пуговицу сюртука у Ромы.

— Вы помните: «законы святы да исполнители лихіе супостаты», вотъ вѣчная пѣсня Россіи. Да что я говорю: Россіи!—не Россіи, а всего человѣчества! До «Ябеды» Капниста было то же и послѣ «Ябеды» Капниста осталось то же; до Гоголя клеймили общественныхъ дѣятелей и послѣ него клеймили ихъ; Щедринъ обличалъ ихъ, и послѣ него нужно будетъ обличать ихъ,—и все остается попрежнему. Дайте намъ людей, людей, людей!

Молодой франтъ кричалъ это точно «караулъ».

Рома смотрѣлъ совсѣмъ хмуро. Шумъ, вино, отрывки споровъ, все разстроило его и безъ того разстроенные нервы. Откуда-то въ памяти возставалъ назойливый вопросъ: «о чемъ Владиміръ шептался съ Наташей?» Онъ рѣзко сказалъ:

— Новыхъ подлецовъ?

— То-есть какъ это?—спросилъ его озадаченный собесѣдникъ.

— Да вѣдь вы же говорите, что у васъ подлецъ подлеца погонялъ и погоняетъ, откуда же взяться лучшимъ?

— А! вы съ этой точки зрѣнія! Такъ я вамъ вотъ что скажу: давайте мнѣ подлецовъ, да только бы они дѣло дѣлали, и мы все двинемъ впередъ. Бѣда не въ этомъ. Люди вездѣ люди. Во Франціи тоже много подлецовъ, въ Америкѣ грабежъ идетъ открытый. Но тамъ грабятъ и дѣлаютъ

дѣло. У насъ грабятъ и пальца о палецъ не стукнутъ. Это-съ слѣдствіе нашего тысячелѣтняго пребыванія подъ опекой. Мы не привыкли къ самопомощи, къ самостоятельности, къ самоуправленію. Вотъ наше зло. Отъ этого зла только и могутъ спасти данныя намъ новыя учрежденія, новое послѣдовательное расширеніе ихъ въ будущемъ. Вотъ почему я стою за нихъ и только за нихъ.

Владиміръ подошелъ звать собесѣдниковъ на свою половину курить.

— Кто этотъ фертъ?—отрывисто спросилъ Рома у своего троюродного брата, отставъ немного отъ своего собесѣдника.

— Александръ Ивановичъ Рѣпнинъ!—отвѣтилъ Владиміръ.

— Вотъ тотъ, что сейчасъ говорилъ со мною.

— Ну да, Рѣпнинъ. Изъ Питера сюда пріѣхалъ, промотавшись въ пухъ и прахъ. По земству пріютился. Впрочемъ, настоящая-то его профессія кустарь...

— Какъ кустарь?—въ недоумѣніи спросилъ Романъ.

— По женской обработкѣ. Въ Питерѣ у васъ онъ уже двухъ вдовствующихъ купчихъ обработалъ, а здѣсь точитъ зубы на обработку уже на законныхъ основаніяхъ эмансипированной дочери лѣсопромышленника Землякова. «Я, говоритъ, за эмансипацію женщинъ, а вашъ отецъ тиранъ». Ничего, клюетъ!..

— Чортъ знаетъ, что у васъ за люди тутъ!—гадливо воскликнулъ Ломовъ.

— Ну, возьми его по принадлежности! Это питерскій продуктъ. У васъ ихъ тамъ много по Невскому ходитъ такихъ-то. Эта петербургская саранча, налетающая на деревню.

И, сдѣлавъ гримасу, онъ прибавилъ:

— Ну, да, авось, мы съ Борисомъ Николаевичемъ ей крылья пообшибемъ въ будущемъ...

— Съ Иволгинымъ?—съ удивленіемъ спросилъ Романъ.

— Да.

— Что у тебя съ нимъ общаго?

Владиміръ удивился.

— Какъ: что? Онъ знаетъ деревню, я тоже.

— Вы совсѣмъ разные люди...

Владиміръ усмѣхнулся и не безъ высокомѣрія проговорилъ:

— Съ разныхъ точекъ къ одной цѣли идемъ, вотъ и все. А на мужика одинаково смотримъ: онъ только хочетъ ради справедливости, чтобы мужику было хорошо, а я знаю, что и мнѣ выгоднѣе будетъ, когда мужику будетъ хорошо. Онъ фантазеръ, а я практикъ...

Кто-то чуть не подъ ухомъ Ромы крикнулъ:

— Да на какомъ основаніи вы три бубны объявили? Какой чортъ васъ дергалъ?

— А вы какъ мнѣ отвѣчали? Прорѣзали? прорѣзали? Это ужъ вы Ивану Ивановичу предоставили бы, прорѣзать-то. Онъ это потому дѣлаетъ, что у него такая система. А вы-то что? Ну-съ, и пеняйте на себя.

— А даму-то вы въ карманъ, что ли, хотѣли спрятать? Развѣ я зналъ, что и она у васъ въ рукахъ.

— Позвольте, да вѣдь чѣмъ же бы я тогда заручился? Мнѣ заручиться нужно было.

— Заручиться! заручиться! что вы мнѣ поете: заручиться!..

Съ террасы доносился визгливый хохотъ дамъ и громкіе возгласы молодыхъ людей. Въ кабинетѣ Владиміра раздавались на перебой крики и смѣхъ десятка молодежи, и сквозь клубы дыма отъ папиросъ и сигаръ виднѣлись ходящія и лежащія фигуры въ разстегнутыхъ жилетахъ, безъ сюртуковъ. Лица у всѣхъ были красны, глаза посоловѣли. Никто не слушалъ другъ друга и всѣ говорили.

— Рѣпнинъ, Рѣпнинъ, про денщиковъ, игравшихъ съ горничной въ фанты!—командовалъ кто-то.

— Къ чорту армейскій анекдотъ! Разсказывай гражданскій, почему дамы охотнѣе всего ѣздятъ въ судъ.

— Надрызгались!—брезгливо сказалъ Владиміръ Ромѣ.

Онъ былъ вполнѣ трезвъ и только раскраснѣлся болѣе обыкновеннаго. Кто-то спросилъ его:

— А гдѣ Коля?

Владиміръ усмѣхнулся.

— Вѣрно, въ коровникѣ порядокъ водворяетъ.

IV.

Часовъ въ одиннадцать вечера почти всѣ гости понемногу разъѣхались. Только играющіе въ карты засѣли на всю ночь, да въ кабинетѣ Владиміра шелъ еще дымъ коромысломъ. Здѣсь была уже формальная попойка. Владиміръ не отпустилъ Рому и сказалъ Ѳеодору Романовичу и Антонинѣ Аркадьевнѣ, что онъ оставляетъ его въ плѣну. Рому тянуло скорѣе уѣхать домой. У него сильно шумѣло въ головѣ, стучало въ ушахъ и его охватывалъ какой-то страхъ: чего онъ боялся—онъ самъ не сознавалъ? Это съ нимъ часто бывало и прежде, когда изрѣдка запивалъ. Вино дѣйствовало прямо на сердце. Защемитъ ему сердце, сожмется оно будто отъ тупой боли, и вдругъ всего охватитъ безотчетный

страхъ. То же было и теперь. Но, тѣмъ не менѣе, его не отпустили домой.

Среди хаоса, царившаго въ кабинетѣ Владиміра, вдругъ послышалось:

— А, Иннокентій Андреевичъ, милости просимъ!

— Геліотроповъ!—шепнулъ Владиміръ Ромѣ.

Въ комнату съ чернаго хода вошелъ человѣкъ средняго роста, худой, изжелта-блѣдный, съ висящими, какъ мочало, длинными и прямыми волосами. Эти волосы почему-то сразу напоминали волосы утопленника, только что вытащеннаго изъ воды. Геліотроповъ неловко раскланялся со всѣми, его бѣгающіе конфузливые глазки какъ бы старались не встрѣчаться со взглядами присутствующихъ. Это было не выраженіе хитрости или трусости, а выраженіе совѣстливости, стыдливости. Очевидно, онъ хорошо зналъ, зачѣмъ его позвали сюда, стѣснялся, совѣстился, но не придти—это было ему не подъ силу, такъ какъ онъ зналъ тоже заранѣе, что здѣсь онъ можетъ выпить вволю. Ромѣ онъ сразу показался жалкимъ и забитымъ существомъ. «Несчастный чувствуетъ, должно-быть, что ему навязываютъ роль шута»—подумалъ онъ и протянулъ ему руку. Геліотроповъ съ чувствомъ пожалъ ее, точно его осчастливили.

— Слышалъ о васъ много! Пострадали! Что дѣлать, это участь всѣхъ имѣющихъ свои убѣжденія!—проговорилъ онъ немного витіевато и посмотрѣлъ на Рому, какъ смотрятъ влюбленные на любимую женщину.

Онъ былъ горячимъ поклонникомъ всѣхъ «пострадавшихъ» и почему-то причислялъ себя къ ихъ лагерю.

Владиміръ торопливо сталъ его угощать, наливая рюмку за рюмкой. Не въ пьяномъ видѣ Геліотроповъ не представлялъ никакого интереса. Конфузливый и пришибленный, онъ стушевывался добровольно принижался, не оспаривалъ никого. Мимо такихъ людей проходятъ, не обращая на нихъ вниманія, да и они сами, повидимому, желаютъ только того, чтобъ на нихъ не смотрѣли. Въ пьяномъ видѣ онъ совершенно преображался, а хмелѣлъ онъ съ первыхъ же рюмокъ. Рома не выдержалъ и шепнулъ Александру Кожухову:

— Останови Владиміра, зачѣмъ спаивать этого несчастнаго.

Александръ засмѣялся, показавъ свои бѣлые зубы.

— Погоди, онъ еще задастъ тебѣ гонку, этотъ несчастный! Онъ еще льва станетъ изображать, тогда только уходи, чтобы не растерзалъ.

Романъ брезгливо пожалъ плечами.

Геліотроповъ, между тѣмъ, приблизился снова къ нему, нѣсколько смѣлѣе, но все еще съ видомъ влюбленнаго. Онъ заговорилъ о превратностяхъ судьбы.

— Играетъ случай!—сказалъ онъ дидактично.—Фортуна въ повязкѣ на глазахъ! Я самъ вотъ: не кончилъ курса въ семинаріи и не пошелъ въ попы по принципу. Писательствомъ возмнилъ поучать общество. Бороды еще не было. Осѣкся: пиши, что другіе прикажутъ, не говори того, что хочешь высказать; тамъ издатель, тоже редакторъ, въ третьемъ мѣстѣ другіе опекуны. Отрясъ прахъ съ ногъ! Въ сельскіе учителя потомъ пошелъ: просвѣтить народъ вздумалъ. Тоже принципъ! Научилъ десятковъ пять оболтусовъ читать по складамъ и уразумѣлъ, что не въ этомъ суть. Не въ этомъ? А въ чемъ? Скажите вы мнѣ, въ чемъ? Не знаете? гдѣ же вамъ и знать!

По его лицу скользнула насмѣшливая улыбка. Онъ уже не смотрѣлъ на Рому влюбленными глазами. Въ этихъ маленькихъ глазкахъ были теперь и иронія, и ненависть.

— Народу проповѣдь нужна или защита. Да-съ, проповѣдь нужна или защита. Думалъ идти въ попы—не хватило силъ; пропагандистомъ быть—семья завязалась у меня, тутъ какая тебѣ пропаганда. Баба моя никакой пропаганды такой не знаетъ. Пошелъ въ волостные писаря—защищать народъ и вразумлять его насчетъ его законныхъ правъ.

Онъ остановился и уже безъ приглашенія налилъ себѣ рюмку.

— Все это, конечно, однѣ идеи и больше ничего,—проговорилъ онъ.—Какъ не кинь—вездѣ клинъ.

И, переходя въ глумящійся, саркастическій тонъ, прибавилъ:

— Вонъ вы тоже по своему мальчишеству бунтыремъ хотѣли быть, перевернуть міръ.

Рома, быстро впадавшій во время хмеля въ сентиментальное настроеніе и такъ же быстро дѣлавшійся забіякой, сдвинулъ брови и отрывисто, грубо отвѣтилъ:

— Ничего я не хотѣлъ переворачивать! Вы ошибаетесь!

— А, дворянчикъ! Обидѣлся, что я шучу! А я вотъ захотѣлъ и пошутилъ! Да, и буду вышучивать! Одѣнусь въ шутовскій колпакъ—и баста! Ну, что вы со мной сдѣлаете?

Онъ принялъ задорную позу, подбаченясь правой рукой. Владиміръ поспѣшилъ на выручку къ Ромѣ, поблѣднѣвшему отъ гнѣва.

— Вы лучше объясните, Иннокентій Андреевичъ, почему изо всего ничего не выходитъ,—сказалъ онъ, подливая Геліотропову вина.—У васъ вѣдь на это свои взгляды.

Геліотроповъ насмѣшливо улыбнулся.

— Что-жъ я не ходячая утроба, какъ вы. У васъ брюхо прежде всего. Имъ впередъ прете. Что оно доложитъ вамъ, то вы и дѣлаете. Я смыслю головой...

— Знаю, знаю,—сказалъ Владиміръ...—Въ чемъ же вся бѣда-то?

— Головы не приспособлены, вотъ въ чемъ вся бѣда,—серьезно замѣтилъ Геліотроповъ и, откинувъ высокомѣрно и вызывающе голову назадъ, обвелъ все общество прищуренными глазами.

Казалось, онъ былъ убѣжденъ, что онъ высказалъ великую истину и что этой истины никто не зналъ до него.

Романъ очнулся отъ тяжелыхъ думъ объ этомъ безцѣльномъ и пошломъ шутовствѣ.

— Что вы говорите?—спросилъ онъ разсѣянно.—Головы не приспособлены? Что вы хотите сказать?

— Да то вотъ, что никакихъ этихъ вопросовъ дѣдъ мой Онуфрій Хитоновъ и отецъ мой Андрей Фаворовъ не вѣдали? Дарвиновъ и Спенсеровъ не изучали,—заговорилъ Геліотроповъ.—Ну, и наслѣдовалъ я отъ нихъ голову, ни къ чему этому не приспособленную... По Дарвину это и должно быть такъ. А каково мнѣ съ неприспособленной головой усвоить, что вотъ земля черезъ періодъ въ 21.000 лѣтъ совсѣмъ измѣняется? *Черезъ каждую 21.000!* Чтобы одно это усвоить—неприспособленной головѣ нужно треснуть. Тутъ умъ за разумъ зайдетъ... А ты посчитай однихъ вопросовъ сколько, вонъ хоть бы женскій вопросъ: женщина человѣкъ? Такъ. Значитъ ей нужны всѣ человѣческія права? Хорошо! А дай ихъ ей—пролетаріевъ безъ дѣла на человѣческомъ рынкѣ мретъ и безъ того много съ голода, тогда же вдвое будетъ. А будетъ предложеніе на рынкѣ вдвое больше—понизится вдвое и заработная плата. Пойдемъ дальше. И теперь уровень развитія низокъ, а тогда, когда вторгнутся въ дѣятельность всѣ эти уже вовсе неприспособленные умы, — пониженіе умственнаго развитія будетъ еще больше. Это вѣдь все незыблемыя истины, законы!

И, уже совсѣмъ увлекшись своими идеями, онъ началъ перебирать въ томъ же родѣ всѣ «вопросы», приходя къ заключенію по каждому, что какъ ни кинь—все клинъ.

Романъ сидѣлъ, опустивъ голову на ладони рукъ, не слу-

шая полупьяныхъ парадоксовъ Геліотропова. Въ его отуманенной головѣ вертѣлась какая-то новая мучительная мысль, навѣянная словами Геліотропова. Наконецъ, онъ встряхнулъ головою и сказалъ:

— Нѣтъ, чепуху это вы говорите о неприспособленности нашихъ мозговъ! Можетъ-быть, вашъ дѣдъ и отецъ были именно такими, а у насъ... мой прадѣдъ волтеріанцемъ уже слылъ, а дѣдъ въ декабрьскихъ событіяхъ участвовалъ.

— Ну, такъ что же?—насмѣшливо и задорно спросилъ Геліотроповъ.—Вы думаете, вашему прадѣдушкѣ труда стоило научиться кощунствовать у господина Вольтера? Господинъ Вольтеръ, братъ, и самъ все отрицалъ съ такимъ легкимъ сердцемъ, шутя и остроумничая, что даже Екатерина—ужъ на что умная была баба—только и видѣла въ немъ, что веселость да шутливость. Ну, а дѣдушка вашъ—видѣлъ онъ неурядицу, видѣлъ бѣдственное положеніе общества, но въ отчаяніе ему не отъ чего было приходить, потому что исправить все тогда казалось легко—дать конституцію и все пойдетъ, какъ по маслу. Насъ же конституціей этой не успокоишь. Знаемъ мы, что и она о двухъ концахъ. На конституціи плевать намъ. Давай панацею! сейчасъ давай панацею, чортъ тебя побери!

Геліотроповъ выпилъ и, не замѣчая мрачнаго выраженія лица своего собесѣдника, въ томъ же вызывающемъ тонѣ спросилъ его:

— А что же вы о родителѣ своемъ мнѣ не упомянули. Онъ-то чѣмъ былъ?

Романъ уже поднялся съ мѣста и тревожно ходилъ по комнатѣ, весь поглощенный тяжелыми мыслями.

— Родитель-то вашъ что дѣлалъ?—настойчиво допрашивалъ его Геліотроповъ.

— Мой отецъ служилъ въ кавалеріи,—отвѣтилъ Ломовъ.

— Такъ-съ! По конской части. Тамъ, кажись, и приспособлять мозговъ не къ чему было.

И опять, довольно нагло и задорно, сталъ допрашивать:

— А покойные Петръ Васильевичъ и его сынокъ тоже изъ близкихъ вамъ были? Дяденькой и кузеномъ приходились вашему папенькѣ?

— Да.

Геліотроповъ захихикалъ вызывающимъ смѣхомъ.

— Дяденька-то Петръ Васильевичъ, обойденный чиномъ, заперся отъ людей въ деревню и въ умопомраченіи словно былъ въ послѣдніе годы. А сынокъ его скутился, за гра-

ницу удралъ, католичество принялъ и умеръ, переѣзжая отъ скуки изъ города въ городъ, какъ вѣчный жидъ.

Онъ закончилъ совсѣмъ серьезно.

— Вотъ оно что. Неприспособленный мозгъ значитъ не вынесъ и не переварилъ новой умственности!

И уже совсѣмъ высокомѣрнымъ тономъ онъ началъ говорить:

— Да-съ, я горжусь своимъ открытіемъ насчетъ неприспособленности головъ. До меня никто не говорилъ! Я первый... фи-ло-софъ!

Онъ засмѣялся.

— «Шутъ» скажете? На здоровье! Говорите! А головы все-таки неприспособленныя! Какъ ни вертите. У всѣхъ неприспособленныя! Да-съ! Съѣли грибъ?

Онъ, подмигивая, прищелкивая языкомъ, какъ бы дразня всѣхъ, еще выпилъ и не безъ юмора продолжалъ:

— А знаете, что навело меня на эту геніальную, можно сказать, мысль? Нѣмецкія габерсупы. Великія открытія всегда такъ дѣлаются. Открытіе закона тяготѣнія помните? Ньютона знаете?.. А-а! знаете!.. Ну-съ, такъ вотъ что... Когда ушелъ я изъ семинаріи, судьба забросила меня въ нѣмецкую семью на кондиціи. Ну, стали меня кормить габерсупами, бирсупами, шеколаденсупами, вассерсупами,—совсѣмъ у меня животъ подвело, а они, мои нѣмцы, ничего, ходятъ, какъ встрепанные, и румяны, и веселы. Тутъ я и задумался о новой пищѣ и неприспособленныхъ къ ней желудкахъ. У нихъ были приспособлены къ ней желудки, а у меня нѣтъ. У нихъ дѣдушки и бабушки эти супы ѣли, а у насъ все больше капусту... Ну, а въ наше время извѣстно—отъ желудка до головы рукой подать, вмѣстѣ срослись.

Всѣ захохотали. Геліотроповъ, видя, что ему не противорѣчатъ, впалъ изъ задорнаго тона въ область плоскихъ площадныхъ шутокъ. Съ его пьянаго и разнузданнаго языка уже лились грязнымъ потокомъ сальныя рѣчи. Казалось, что всякое сальное выраженіе, всякая скабрезная картина кажутся ему еще недостаточно циничными, и онъ подыскиваетъ что-то еще болѣе грязное и чудовищное.

Романа всегда коробила всякая вульгарность, всякая скабрезность. Но онъ уже не слушалъ Геліотропова: идея Геліотропова о неприспособленныхъ мозгахъ пала на хорошую почву, вполнѣ подходящую для воспринятія ея. Роману, омрачившемуся болѣе обыкновеннаго подъ вліяніемъ винныхъ паровъ, казалось, что многое, о чемъ онъ думалъ и

передумывалъ, вдругъ стало ему ясно послѣ рѣчей этого пропойцы. Дѣйствительно, всѣ эти Шопенгауеры и Гартманы, Байроны и Леопарди, Ниппены и Золя, всѣ разнохарактерные и разнородные проповѣдники отчаянія и пессимизма, всѣ буддисты на европейскій ладъ находили нерѣдко, что счастіе, братство, любовь, свобода, справедливость, все это пустыя слова—и все же всѣ эти люди, разрабатывая свои идеи, жили часто съ такимъ спокойствіемъ, съ какимъ живутъ люди, изслѣдующіе древности и занимающіеся раскопками какихъ-нибудь пещеръ. Эти люди приходили къ страшнымъ выводамъ и жили бодро, весело здорово, трудясь надъ подыскиваніемъ новыхъ фактовъ, новыхъ доказательствъ для подтвержденія своихъ «что ни дѣлай, а лучше не будетъ», «единственнное благо—уничтоженіе, нирвана»—и въ то же время лихорадочно, страстно участвуя въ общественной и политической дѣятельности. Это были приспособленныя головы. А онъ—ему даже и пробовать не хочется бороться, стремиться жить. У Ромы кружилась голова, и онъ грузно опустился на диванъ.

— Будь приспособленныя головы—развѣ мы пили бы съ горя!—точно гдѣ-то вдали слышался голосъ Иннокентія Андреевича.—Развѣ французы, нѣмцы, англичане пьютъ съ горя? Русскіе пьютъ съ горя, потому неприспособленныя головы! А то пили бы, потому что вкусъ къ вину есть, потому что хотимъ пить и пьемъ; а теперь пьемъ съ гор-ря!

Кто-то будто заплакалъ. Геліотроповъ, что ли? Рома открылъ мутные глаза. Въ эту же минуту послышался взрывъ смѣха. «Нѣтъ, смѣются, значитъ никто не плачетъ, плакалъ бы кто-нибудь—не стали бы смѣяться»,—пронеслось смутно въ отяжелѣвшей головѣ Ромы. Онъ опять закрылъ глаза.

— А жена васъ бьетъ за это? Сильно бьетъ?—слышится вопросъ.

— Сильно!—отзывается плачущій голосъ.

— Да вѣдь вы же левъ? Какъ же льва бить? — опять кричатъ голоса.

— Левъ! левъ! -пронзительнымъ крикомъ проносится въ комнатѣ.

Рома вздрагиваетъ, съ трудомъ открываетъ глаза и видитъ Геліотропова, на четвереньках скачущаго съ рычаніемъ по комнатѣ. «Что это, сонъ? Пьянъ я?»—думаетъ Рома и силится протереть глаза. Руки не повинуются ему. Онъ какъ бы сквозь сонъ видитъ, какъ Геліотроповъ рветъ, сбрасываетъ съ себя одежду. Что это?

— Я левъ, левъ! Ррр!—раздается крикъ и рычаніе.

— Уберите этого скота! Очень пріятно смотрѣть на этотъ голый скелетъ!—слышится брезгливый голосъ Владиміра.— Вѣчно дойдетъ до безчинства? Скотъ.

Кого-то тащатъ, почти раздѣтаго, безчувственнаго, точно трупъ. Кто-то говоритъ:

— А Ромушка того! Слабеха!

Его толкаютъ:

— Рома, Рома, ложись спать!

Онъ открываетъ глаза: его поднимаютъ подъ руки, ведутъ спать, по комнатѣ, засыпанной чѣмъ-то, окурками, кусками фруктъ, осколками битаго стекла, залитой виномъ, кое-гдѣ лежатъ уснувшіе пьяные люди, а въ окна свѣтитъ уже лѣтнее утро. Полусознательно, полубезсознательно, Рома закрылъ глаза, охваченный стыдомъ передъ этимъ свѣтомъ утра, точно оно представлялось ему какимъ-то живымъ, смотрящимъ ему въ глаза существомъ. Грудь сдавливаютъ рыданія, безотчетныя, пьяныя...

Онъ спалъ крѣпко, но не долго. Когда онъ очнулся съ тяжелой, отуманенной головой, съ горькимъ вкусомъ во рту, Владиміръ уже ходилъ по комнатѣ въ одномъ бѣльѣ и въ туфляхъ, коренастый, румяный, здоровый. Онъ былъ, повидимому, сильно взволнованъ. Дверь отворилась и вошелъ Яша. Его лицо, напоминавшее лицо трехъ братьевъ Кожуховыхъ, но болѣе красивое вслѣдствіе густыхъ вьющихся волосъ, было насуплено и хмуро.

— Ты что-жъ это во-время не отнесъ сапогъ въ людскую?—крикнулъ Владиміръ.

Яша молча поставилъ сапоги.

— Какъ они вычищены?—крикнулъ Владиміръ.

— Не я чищу,—отвѣтилъ Яша отрывисто.

— А! не ты!

Раздался звукъ пощечины.

— Не деритесь, Владиміръ Сергѣевичъ!—запальчиво крикнулъ Яша.

— А! не деритесь! На еще!

Раздалась вторая пощечина.

Рома вскочилъ и сѣлъ на постели, глядя широкими глазами на Владиміра, возмущенный этой сценой. Яша стоялъ съ сжатыми кулаками, съ стиснутыми зубами.

— Опять на тебя нашло? Чортъ сѣлъ? Не драться? Ну, хорошо! Я сейчасъ пойду къ матери и прикажу вышвырнуть тебя изъ дому.

Яша тяжело и прерывисто дышалъ, точно послѣ долгой ходьбы. Его молодая широкая грудь высоко подымалась подъ рубашкой. Въ его большихъ глазахъ сверкали слезы.

— Этого ты хочешь?

Яша молчалъ, только его широкая грудь продолжала еще порывистѣе подниматься подъ нарядной рубахой.

— Что-жъ ты, онѣмѣлъ?

— Виноватъ! — тихо и глухо проговорилъ Яша, дѣлая надъ собой, повидимому, страшное усиліе.

— Ступай! принеси воды мыться!

Яша торопливо вышелъ.

— Какъ тебѣ не стыдно!—съ негодованіемъ проговорилъ Романъ.

— Ахъ, что ты понимаешь!—воскликнулъ Владиміръ, ходя бытро по комнатѣ.

— Чего тутъ понимать, когда ты дерешься,—съ отвращеніемъ произнесъ Ломовъ.

— И все же ничего не понимаешь,—запальчиво отвѣтилъ Кожуховъ.—Вотъ у насъ приказчикъ Петръ былъ, такъ тотъ спился съ горя, что мой отецъ баринъ, а онъ приказчикъ. Этотъ тоже готовъ запить съ горя, когда на него найдетъ. Каждый разъ, какъ гости, такъ на другой день точно на него чортъ сядетъ. Чортъ самолюбія въ душѣ сидитъ. Его надо выбить... Не въ комнаты же мальчишку съ гостями сажать.

— Да, но и бить... Это чортъ знаетъ что!—негодующимъ тономъ сказалъ Ломовъ.

Владиміръ посмотрѣлъ на него съ какимъ-то презрѣніемъ, какъ на глупца.

— А ты бы его по головкѣ гладилъ: капризничай, молъ, сколько влѣзетъ. Онъ бы тебѣ на голову сѣлъ, да и за дурака бы тебя счелъ...

Явился Яша съ водой въ кувшинѣ. Владиміръ, какъ ни въ чемъ не бывало, сталъ умываться.

— Мать не уѣзжала на заводъ?—полоща ротъ, спросилъ его Владиміръ.

— Нѣтъ-съ, не уѣхали-съ, — особенно торопливо отвѣтилъ Яша.

Владиміръ поднялъ голову отъ рукомойника и брызнулъ водой съ руки въ лицо Якова.

— Ишь какой вѣжливый сдѣлался: «нѣтъ-съ! не уѣхали-съ!»—передразнилъ онъ его.

Потомъ, взявъ полотенце и вытирая усердно лицо, спросилъ:

— По какой больнѣе ударилъ?

Яша вспыхнулъ.

— По обѣимъ больно, Владиміръ Сергѣевичъ.

— А ты не дуйся! Волчонокъ зубастый!

Онъ бросилъ ему на руки полотенце и шутливо растрепалъ ему волосы.

— Со двора-то вышвырнуть?

Яша бойко отвѣтилъ:

— Не вышвырните!

Онъ поспѣшно началъ прибирать умывальникъ, выказывая необычайное усердіе. Владиміръ совсѣмъ уже въ хорошемъ настроеніи духа спросила его:

— А какъ ребятъ будешь своихъ учить?

— Какъ вы меня!

— И моихъ будешь такъ же учить?

— Буду-съ!

— Ну, молодецъ, крестнымъ отцомъ возьму къ первому. Нарву такихъ тебѣ розогъ для крестника, что любо-дорого.

И, обращаясь къ Ромѣ, онъ замѣтилъ:

— Меня, братъ, самого такъ учили, потому такимъ и вышелъ. Ты вотъ видѣлъ, вчера вы всѣ надрызгались, а мы мѣру знаемъ. Коля разъ попробовалъ натрескаться, такъ мать приказала его протрезвить... на конюшнѣ...

Яша засмѣялся.

— Помнишь?—спросилъ Владиміръ, мелькомъ взглянувъ на него.

— Помню-съ!—отвѣтилъ Яша, продолжая смѣяться.

Рома торопился умыться и одѣться. Его охватывало что-то въ родѣ страха, становилось какъ-то жутко.

— Если лошадь тихая — учи ее ласкою, — спокойнымъ дидактическимъ тономъ продолжалъ, между тѣмъ, Владиміръ:—если норовъ покажетъ—отстегай не на животъ, а на смерть, чтобы помнила, а потомъ стихнетъ—опять приласкай...

Рома ничего не отвѣчалъ. Ему были противны и Владиміръ съ его лошадиной педагогикой, и Яша съ его суетливою услужливостью. Когда Яша ушелъ, онъ сквозь зубы проворчалъ, расчесывая у зеркала свои волосы:

— Смотри только, чтобы онъ не перегрызъ горла тебѣ въ минуты обученія не на животъ, а на смерть.

— Ну, что же, помѣряемся силами, кто еще кого загрызетъ... Только ты ошибаешься... Сила силу уважаетъ и любитъ... Онъ вонъ сегодня цѣлый день будетъ ко мнѣ ластиться, да еще какъ...

И опять съ высокомѣрнымъ пренебреженіемъ къ своему родственнику онъ прибавилъ:

— Ты бы, конечно, пальцемъ его никогда не тронулъ, да и не просидѣлъ бы за то около него шести недѣль, какъ мы всѣ просидѣли около него, когда онъ былъ въ тифѣ.

Онъ показалъ на свои мощныя руки.

— Онъ вонъ знаетъ, что на этихъ рукахъ я самъ переносилъ его съ постели на постель, когда это приказалъ докторъ. А вы, нѣженки, кислятина, похныкать да поминдальничать—вотъ все, на что вы способны.

Его тонъ, его лицо, все дышало сознаніемъ, что онъ поступаетъ такъ, какъ слѣдуетъ, что онъ стоитъ неизмѣримо высоко надъ другими людьми. Ломову хотѣлось только скорѣй уйти, куда-то далеко отъ этихъ людей, отъ ихъ самодовольства, отъ ихъ счастья. Онъ не спрашивалъ, правы они или не правы, онъ сознавалъ только, что онъ не могъ бы жить съ ними.

Напившись чаю, онъ пошелъ домой. Его хотѣли отвезти, онъ отказался. Ему хотѣлось отшагать пѣшкомъ десять верстъ, освободиться отъ угара въ головѣ, отъ тяжкихъ впечатлѣній.

— Кланяйся Наташѣ,—сказалъ Владиміръ, провожая его до дороги.—Охъ, ужъ не будь ты мнѣ родственникомъ, отбилъ бы я ее. Вотъ уже не тщедушная институтка. Такъ и пышетъ отъ нея здоровьемъ.

Рома взглянулъ на него сердитыми глазами.

— Съ чего ты выдумалъ, что ее надо отбивать у меня? Я еще, кажется...

— Ну, ну, разсказывай!—перебилъ его Владиміръ.—Я же слышалъ отъ твоего отца, когда онъ говорилъ моей матери, что ее готовятъ тебѣ въ жены. Что-жъ, это отецъ не глупо придумалъ: и приданое ея можетъ поднять ваше имѣніе, и сама она подниметъ расу, авось дѣтишки въ нее будутъ.

— Ты бредишь! — воскликнулъ Рома, даже и не подозрѣвавшій, что за его спиною составились планы его женитьбы. - О какихъ планахъ отца ты говоришь!

— Ну, ну, знаемъ, знаемъ. И чего скрытничаешь?

Владиміръ пожалъ плечами.

— Да я же тебѣ говорю,—началъ Ломовъ.

— Ну, хорошо, хорошо,—прервалъ его Кожуховъ нетерпѣливо.—Прощай! Мнѣ пора въ поле.

Ломовъ остался стоять на дорогѣ, точно его ударило

чѣмъ-то. Какъ? Наташу хотятъ выдать за него замужъ? Не спрашивая ни его, ни ее? Подстраиваютъ все такъ, чтобы они обвѣнчались? Что, если она не повѣритъ его любви и будетъ думать, что онъ тоже изъ расчетовъ нѣженъ съ нею? Поправить имѣніе ея деньгами! Вотъ что имъ нужно... О, они способны отравить послѣднія его надежды на личное счастье. Онъ теперь вѣчно будетъ насторожѣ съ Наташей, онъ будетъ бояться, что она заподозритъ его въ неискренности.

Онъ пошелъ понуро, какъ удрученный страшнымъ горемъ. Неужели все на свѣтѣ такъ гадко, какъ кажется ему? Или онъ носитъ въ самомъ себѣ задатки, не позволяющіе ему видѣть хорошихъ сторонъ? Вѣдь бываютъ же люди съ глазами, не видящими зеленаго цвѣта? «Неприспособленная голова», — мелькнуло въ его мозгу. Да, ни къ чему неприспособленная голова, ни къ дѣятельности, ни къ вѣрѣ, ни къ любви, ни къ счастію. Прежде чѣмъ научился увлекаться, сталъ анализировать; прежде чѣмъ испыталъ сладость любви, отравилъ себя ядомъ ненависти.

Онъ прошелъ нѣсколько верстъ, усталъ, очутился передъ постоялымъ дворомъ, пустыннымъ, точно вымершимъ. Машинально онъ присѣлъ на завалинкѣ, безцѣльно уставился глазами на пустынную дорогу. На ней не было ни души, никакого движенія. Только около плетня рылись и копошились въ пыли куры, да пѣтухъ, похаживая въ раздумьи, изрѣдка тыкалъ носомъ въ землю. Изъ избы вышелъ мужикъ. Постоялъ, посмотрѣлъ на сидящаго Ломова.

Рома очнулся.

— Нельзя ли чего-нибудь выпить?

Мужикъ ушелъ, вернулся, вынесъ ему водки.

Рома выпилъ, несмотря, что пьетъ. Почувствовался скверный вкусъ сивухи. Ломовъ отплюнулся. Онъ отдалъ шкаликъ, расплатился. Онъ посидѣлъ еще, опять безцѣльно глядя на пустынную дорогу, на тѣхъ же роющихся въ пыли куръ, на того же скучающаго пѣтуха. Потомъ всталъ, такъ же безцѣльно оглядѣлся, вошелъ въ избу.

— Мнѣ еще... и закусить... хлѣба, что ли...

Онъ говорилъ, глядя въ сторону, въ темный уголъ, какъ виновный, избѣгая встрѣчи съ заспанными глазами мужика. Ему дали еще водки и ломоть хлѣба. Онъ выпилъ, закусилъ. Потомъ еще конфузливѣе, еще отрывистѣе, спросилъ еще водки, объясняя сбивчиво что-то насчетъ жары и усталости. Мужикъ односложно согласился, что точно жара, и

сладко зѣвнулъ во весь ротъ: а-а-а. Какъ-то торопливо опрокинувъ шкаликъ въ ротъ, Ломовъ расплатился и быстро вышелъ...

Полдень дѣлался все болѣе и болѣе жаркимъ, и Ломовъ, изнуренный жаромъ, захмелѣлъ почти сразу отъ выпитой сивухи. Шатаясь, онъ побрелъ впередъ, сбившись съ пыльной дороги на кочковатую опушку лѣса. Ему не стало ни легче, ни веселѣе. Только мысли путались и стали безсвязны.

«Хорошъ сынокъ Ѳеодора Романовича!.. Что-жъ, и отецъ выпиваетъ въ день много... Сколько онъ рюмокъ выпиваетъ? Двѣ за завтракомъ, три за обѣдомъ... А чортъ возьми, чего считать! Пьетъ, сколько влѣзетъ!.. Однако, хорошо домой явиться пьянымъ. Вотъ сразу и оттолкнешь Наташу... Мать заохаетъ... Анна... бѣдная, бѣдная Анна! Какъ ей-то тяжело жить!.. Слонъ-женихъ!.. Слонъ?.. Гдѣ же тутъ въ деревнѣ слоны показываются? Это въ Петербургѣ, въ Зоологическомъ саду... А въ Москвѣ? Слонъ когда-то въ Москвѣ взбѣсился... Пастеръ»...

Романъ началъ не безъ удивленія соображать:

«При чемъ тутъ Пастеръ?.. Анна, слонъ и Пастеръ»...

Онъ споткнулся и упалъ. Толчокъ заставилъ его открыть мутные глаза и осмотрѣться: кругомъ него была высокая, сочная трава, надъ нимъ зеленый сводъ деревьевъ густого лѣса, пронизанный, какъ золотыми нитями, лучами яркаго солнца. Онъ закрылъ снова глаза и заснулъ...

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ.

I.

Въ первыхъ числахъ іюля стали перепадать мелкіе теплые дожди и нѣкоторое время приходилось по цѣлымъ днямъ сидѣть дома тѣмъ, кого работа не обязывала разбирать погоды. Эта погода, а еще болѣе легкая простуда и сильное нервное разстройство заставили Романа Ломова проводить все время въ своей комнатѣ. Настоящую причину этой болѣзни зналъ только Иволгинъ. Рома не скрылъ отъ него ни кутежа въ домѣ Кожуховыхъ, ни своего посѣщенія придорожнаго кабачка, ни долгаго сна въ пьяномъ видѣ въ лѣсу. Борисъ Николаевичъ серьезно пожурилъ его и предписалъ ему полный покой.

Когда докторъ вышелъ отъ него послѣ перваго визита, Наташа встрѣтила его въ коридорѣ тревожными вопросами:

— Что? Какъ? Нѣтъ ли опасности?

Борисъ Николаевичъ, всегда сдержанный, немного разсердился.

— Ничего опаснаго, если не считать опаснымъ глупости, дѣлаемыя человѣкомъ. Въ руки бы нужно забирать подобныхъ людей. Даютъ себѣ поблажку, а потомъ хнычутъ!

Наташа, въ свою очередь, разсердилась на Иволгина.

— Развѣ Рома виноватъ, что у него слабъ характеръ, что вся жизнь его такъ глупо сложилась? Потомъ и эта тюрьма не прошла даромъ.

— Эхъ, вы, женщины! — проговорилъ раздражительно Иволгинъ.—Въ тюрьмѣ нужно посидѣть или безпутнымъ сдѣлаться, чтобы подкуцить васъ въ свою пользу...

И вдругъ, точно спохватившись, точно стыдясь своихъ

словъ, точно сознавая, что онъ бьетъ беззащитнаго, онъ началъ объяснять ей:

— Ему покой нуженъ, надо позаботиться, чтобы его Ѳеодоръ Романовичъ не очень раздражалъ своей болтовней. Пусть посидитъ у себя въ комнатѣ...

Онъ заторопился. Его ждутъ на фабрикѣ. Въ селѣ тоже масса больныхъ. Дня мало, чтобы управиться съ дѣломъ. Въ его движеніяхъ была какая-то неестественная поспѣшность. Казалось, ему хотѣлось только поскорѣй уйти отъ Наташи.

Наташа простилась съ нимъ и на минуту остановилась наверху у перилъ лѣстницы, слѣдя глазами за удаляющимся Иволгинымъ. Какой онъ странный сегодня, мелькнуло въ ея головѣ. Раздраженъ, озабоченъ, порывистъ. Не скрываетъ ли онъ отъ нея серьезности болѣзни Ромы? Нѣтъ ли у него самого какого-нибудь горя? Отчего же онъ не скажетъ? Надо будетъ спросить его. Вѣдь они все равно, что братъ и сестра. Братъ и сестра? Отчего же онъ какъ будто сторонится отъ нея за послѣднее время? Кажется, она ничѣмъ не разсердила его? Нѣтъ, онъ всегда прямо и просто высказывалъ ей все, когда бывалъ недоволенъ ею. Эти отношенія установились между ними давно. Она вспомнила, что когда-то онъ ее, еще ребенкомъ, носилъ на рукахъ, игралъ съ нею, и по ея лицу разлился яркій румянецъ, точно стало чего-то стыдно. Да, тогда она была ребенкомъ, теперь онъ хорошо дѣлаетъ, что онъ иначе относится къ ней, не какъ къ дѣвочкѣ. Ей вспомнились его прежнія ласки, поцѣлуи. Щеки залилъ еще болѣе густой румянецъ, точно онъ, Иволгинъ, ласкалъ и цѣловалъ ее только вчера, а не давно, въ дѣтствѣ.

Она очнулась отъ своихъ смутныхъ думъ и торопливо пошла къ Ромѣ. Она даже забыла постучать къ нему въ дверь и вошла къ нему въ комнату безъ стѣсненія, безъ церемоній, какъ родная сестра къ брату. Онъ въ легкой коломянковой одеждѣ лежалъ на постели, прикрывшись плэдомъ. Она подошла къ нему и заботливо спросила его, лучше ли ему, не надо ли ему чего. Не хочетъ ли онъ, чтобы она ему почитала? Ей все равно нечего дѣлать. Онъ ласково поблагодарилъ ее. Добрая, она все заботится о немъ.

— Кому же и заботиться о тебѣ, какъ не мнѣ,—просто сказала она.—У papa и maman заботы по хозяйству, Нинѣ самой тяжело живется и потому ей не до другихъ, я одна— и дѣла. и печалей нѣтъ...

Она взяла книгу, присѣла около него, стала читать.

Онъ любовался ея свѣжимъ здоровымъ личикомъ, спокойствіемъ его выраженія, чистотой ея голоса. Да, да, такая женщина могла бы его спасти. Самъ онъ одинъ не сумѣетъ спастись, а она спасетъ его. Свили бы они уютное гнѣздышко и, не вмѣшиваясь въ сутолоку общественной жизни, зажили бы для себя. Это узкій эгоизмъ, но что же дѣлать, если кромѣ этого узкаго эгоизма нѣтъ выхода. Безъ вѣры въ дѣло нельзя дѣлать дѣла... Что-то ребяческое было въ этихъ мечтахъ. Такъ дѣти думаютъ: «когда вырасту большой, поѣду на необитаемый островъ, поселюсь тамъ, какъ Робинзонъ»...

Съ этого дня Наташа почти ежедневно проводила нѣсколько часовъ въ комнатѣ Романа. Это не ускользнуло отъ вниманія Антонины Аркадьевны, и она сообщила объ этомъ Ѳеодору Романовичу.

— Отлично, отлично! Можетъ-быть, эта болѣзнь сблизитъ ихъ,—сказалъ онъ, потирая руки.—Скорѣй бы кончали! Намъ до зарѣзу нужны деньги. Теперь горячее время начинается...

Онъ нахмурился.

— Это просто удивительно, куда уходятъ деньги. Давно ли получилъ отъ Шершова и все ушло...

— Еще бы, когда надо было всѣмъ обзаводиться,—со вздохомъ замѣтила Антонина Аркадьевна.

Денегъ дѣйствительно уже не было, хотя собственно хозяйство отъ этого не улучшилось. Деньги ушли, главнымъ образомъ, на наряды, такъ какъ нельзя же было выѣзжать къ сосѣдямъ въ затрапезныхъ одеждахъ; онѣ потратились на покупку ландо и подходящихъ къ экипажу лошадей, такъ какъ нельзя же было ѣздить въ допотопныхъ колымагахъ на деревенскихъ клячахъ; онѣ употребились на бѣговыя дрожки, потому что развѣ можно сельскому хозяину обойтись безъ бѣговыхъ дрожекъ; часть этихъ денегъ была послана въ Петербургъ для выкупа разныхъ мелочей изъ столоваго серебра, изъ дамскихъ серегъ и браслетовъ, изъ мужскихъ цѣпочекъ и булавокъ, всего того, за что уже переплатилась масса процентовъ въ разныя кассы ссудъ. На это ушло столько, что Марѳѣ Власьевнѣ не только не изъ чего было заплатить долгу, но даже пришлось въ послѣдній мѣсяцъ удержать ея жалованье, а также жалованье Степана Потаповича. Антонина Аркадьевна опять струсила въ виду безденежья. Неужели придется снова продавать

еще участокъ лѣса? Неужели нужно будетъ снова закладывать имѣніе? О, она знаетъ, что значитъ заложить имѣніе! Все, все опять пройдетъ между рукъ и явится только новый долгъ.

— А вдругъ изъ этого ничего не выйдетъ?—проговорила она съ тревогой.

— Изъ чего это?—спросилъ Ѳеодоръ Романовичъ.

— Изъ нашихъ предположеній о женитьбѣ Ромы. Его не поймешь. Ласковъ и нѣженъ онъ съ Наташей, но любитъ ли онъ ее?

Ѳеодоръ Романовичъ загорячился.

— Кого-жъ ему больше любить? Никого здѣсь нѣтъ. Оба молоды. Дѣло должно сдѣлаться.

Онъ сдѣлалъ презрительную гримасу.

— Я только удивляюсь этой молодежи нынѣшней. Крови у нихъ нѣтъ, вода въ жилахъ. Вздыхаютъ, киснутъ и только! Да я не знаю, что бы я надѣлалъ въ его положеніи...

Въ головѣ Ломовой мелькнула злая мысль: «ты и не въ его положеніи Богъ знаетъ что дѣлаешь». На ея лицѣ выразилось презрѣніе къ мужу. Онъ ничего не замѣтилъ и не безъ цинизма добавилъ.

— Сидятъ запершись вдвоемъ—и книжки читаютъ, книжки читаютъ! Въ эти-то годы!..

Антонина Аркадьевна на минуту смутилась. Въ самомъ дѣлѣ, до чего можетъ у нихъ дойти? Позволительно ли оставлять молодую дѣвушку у постели молодого человѣка? Вѣдь все же они ея попечители, замѣняютъ ей родителей, должны заботиться о ея нравственности. Но что-жъ дѣлать, если въ этомъ бракѣ все спасеніе семьи? «О, до чего доводитъ нужда», вздохнула она съ видомъ мученицы. У нея явилась новая причина считать себя страдалицей и утѣшаться этимъ. Она поднимала глаза къ небу, видя, что Наташа идетъ къ Ромѣ. Она тревожно всматривалась въ молодую дѣвушку, когда та возвращалась отъ Ромы. Мысленно она не безъ мелодраматизма повторяла себѣ, что они толкаютъ молодую дѣвушку на край пропасти—и все это ради этихъ проклятыхъ денегъ!..

Наташа и не подозрѣвала, конечно, какія «мученія» доставляютъ Антонинѣ Аркадьевнѣ ея посѣщенія комнаты больного Ромы. Но самой ей эти посѣщенія принесли нѣкоторыя непріятности. Почти каждый разъ, когда она поднималась въ верхній этажъ, случалось какъ-то такъ, что внизу

шмыгала, стуча башмаками, мамка. Наташа сначала не обращала вниманія на эту «случайность», но разъ, когда она только-что хотѣла отворить дверь въ комнату Ромы, мамка рѣзко окликнула ее:

— Что это вы, Наталья Алексѣевна, къ молодому барину такъ входите? Хоть бы постучали да позволенія спросили!

Наташа не безъ удивленія посмотрѣла на нее.

— Да онъ же знаетъ, Мареа Власьевна, что это я,— отвѣтила она.

— Знаетъ! знаетъ! Какъ не знать, если то и дѣло шмыгаете къ нему,—рѣзко сказала мамка.—А все же молодой барышнѣ какъ будто и стыдно бы къ молодому человѣку такъ безцеремонно-то ходить...

Наташа вспылила.

— Глупости вы выдумываете! Не мѣшайтесь не въ свое дѣло!

— Ну, ужъ извините, Наталья Алексѣевна, я-то постарше васъ и порядки-то получше знаю,—отозвалась мамка.—Можетъ-быть, это у васъ въ институтѣ все пустяки, а не у насъ въ господскомъ домѣ...

Наташа вошла въ комнату Ромы. Мареа Власьевна застучала башмаками, захлопала дверями и не выдержала— пошла жаловаться Антонинѣ Аркадьевнѣ.

— Оставь ее!—оборвала на полусловѣ Ломова.

— Какъ оставить? А дѣвочка-то погибнетъ, что ты тогда скажешь? — воскликнула старуха. — Богу-то кто отвѣтъ дастъ? Ты? Матери у нея нѣтъ, отца тоже. Сироту поберечь надо!

— Ахъ, мамка, ты надоѣла! Погибнетъ, погибнетъ! Чего ты каркаешь? Никто не погибнетъ. Ну, если любятъ другъ друга—поженятся и слава Богу.

Мареа Власьевна наморщила узкій лобъ и сжала зубы.

— То-есть это какъ же? Барышня сперва на постели около жениха посидитъ, а потомъ замужъ пойдетъ? Что-то и у насъ, по-нашему простому сословію, такихъ-то не берутъ замужъ, что раньше свадьбы у жениховъ днюютъ и ночуютъ. И ты-то, кажется, не бѣгала до свадьбы въ спальню къ Ѳеодору Романовичу...

Антонина Аркадьевна совсѣмъ разсердилась.

— Говорю я тебѣ, что ты ничего не понимаешь!

— Да ужъ точно изъ ума выжила, ничего не понимаю,— проворчала старуха.—Нечего сказать, пошли у насъ по-

рядки. Мужиковъ готовы въ Сибирь сослать, сироту призрѣнную на грѣхъ толкаемъ... Гдѣ мнѣ что-нибудь понять...

Ломова вышла изъ себя и необычайно рѣзко замѣтила:

— Ты, однако, ужъ черезчуръ забываешься, старуха! Я вѣдь терплю, терплю...

Марѳа Власьевна оборвала ее.

— И прогонишь?.. Хорошо, хорошо... Можетъ-быть, сама еще допрежъ того уйду,—коротко сказала она.—Не ко двору я теперь...

Она поспѣшно вышла изъ комнаты безъ обычнаго хлопанья дверьми, не стуча башмаками. Ея лицо точно вдругъ осунулось. Въ ея головѣ не укладывалось теперь все совершавшееся въ домѣ: ни это не помѣщичье, не господское хозяйство, ни эти «сутяжническія» отношенія къ мужичкамъ, ни это допущеніе молодой дѣвушки въ спальню молодого человѣка. У нея были свои «крѣпостническіе» взгляды, порядки, убѣжденія. Они теперь перевернулись вверхъ дномъ. Послѣ этого разговора она стала тише, сосредоточеннѣе, молчаливѣе и въ то же время мягче съ мужемъ. Ему она теперь все повторяла:

— Пора намъ, старикъ, съ тобою на покой! По богомольямъ бы ходить, грѣхи отмаливать.

Только Наташу она не оставила въ покоѣ и не только слѣдила за нею, но входила по нѣсколько разъ въ комнату Ромы подъ разными предлогами, когда тамъ сидѣла Наташа. Разъ Наташа чуть не разбила головы мамкѣ, при выходѣ изъ комнаты Ромы: оказалось, что мамка стояла у дверей.

— Что это вы, Наталья Алексѣевна, на людей налетаете!—ворчливо сказала старуха, потирая лобъ.

— А вы зачѣмъ тутъ притаились?—спросила Наташа.

— Мнѣ нечего таиться! Другіе, можетъ-быть, должны таиться, а мнѣ нечего. Слава Богу, честно жизнь прожила. А что я къ Ромушкѣ шла, такъ тутъ дива нѣтъ. Вы-то ужъ больно быстро летать стали, въ ажитаціи...

И совсѣмъ злобно она добавила:

— Барышня тоже!

Наташа даже не отвѣтила ей, хотя ее и коробило отъ этого непонятнаго ей соглядатайства.

Но молодые люди читали книжки и, повидимому, никакихъ ужасовъ не предвидѣлось. Иногда къ Наташѣ и Роману присоединялась Анна Ѳеодоровна, ежедневно совершавшая теперь прогулки на Мустафѣ III. Порой она являлась въ

комнату не переодѣвшись, въ черной амазонкѣ, со шляпой и хлыстомъ въ рукахъ. Наташа смотрѣла на нее восторженными глазами: «Какая она красавица!» Дѣйствительно въ этомъ узкомъ и гладкомъ черномъ костюмѣ, съ бѣлыми стоячими воротничками и съ гладкими бѣлыми манжетами Анна Ѳеодоровна была стройна, граціозна, поражала бѣлизной кожи, правильными чертами лица, какъ бы выточеннаго рукой искуснаго художника изъ слоновой кости. Наташа передъ ней была просто свѣжей и здоровой дѣвочкой съ заурядным типомъ лица, уже покрывшагося густымъ налетомъ загара. Но когда она восхищалась Анной Ѳеодоровной, та нерѣдко думала, что она отдала бы полжизни за свѣжесть, за здоровье, за возрастъ Наташи. Будь она теперь на мѣстѣ Наташи, не пришлось бы ей дрожать за свое будущее, видѣть въ бракѣ съ Апухтинымъ все спасеніе...

Какъ-то разъ Наташа читала «Молотова». Вошла Анна Ѳеодоровна, поболтала нѣсколько минутъ съ братомъ и Наташей и, увидавъ въ окно, что Мустафа III подведенъ къ крыльцу, сказала, что она отправляется на прогулку. Она вышла. Наташа принялась снова за прерванное чтеніе. Она читала, не замѣчая, что Романъ, лежа на постели, не сводилъ съ нея глазъ и любовался ею. Съ каждымъ днемъ ему все труднѣе и труднѣе становилось воздерживаться отъ объясненія съ нею, отъ признанія ей въ любви. Онъ испытывалъ совершенно новое чувство, глядя на нее: ему казалось, что стоитъ ей сказать: «я твоя», и онъ воскреснетъ, переродится. Эта увѣренность возрастала и крѣпла съ каждымъ днемъ. Чахоточные больные такъ ждутъ весны: стоитъ ей придти—и они будутъ здоровы; она приходитъ—и они смежаютъ на вѣчный сонъ свои глаза.

— Наташа, оставь книгу! — тихо и ласково проговорилъ онъ.

Она опустила книгу.

— Усталъ?—заботливо, какъ мать, спросила она.

— Нѣтъ... Мнѣ такъ хорошо сегодня, на душѣ такъ ясно и спокойно... Ни книгъ, ни людей, ничего не нужно, только бы ты была со мною.... ты одна...

Онъ взялъ ея руку.

— Наташа, знаешь ли ты, какъ я тебя люблю? Я жизнью бы готовъ пожертвовать за тебя... всею жизнью...

Она испугалась его волненію и мягко и ласково замѣтила ему:

— Опять волнуешься?

— Нѣтъ, нѣтъ! Это что-нибудь не такъ! Развѣ онъ могъ бы быть ея мужемъ? Разные вкусы, разныя стремленія! Это нелѣпость, нелѣпость!

Она встала и заходила по комнатѣ, не въ силахъ справиться съ охватившимъ ее волненіемъ. Она страшно испугалась за Иволгина, точно онъ сейчасъ долженъ былъ идти подъ вѣнецъ съ Анной Ѳеодоровной. Съ чего? Ей самой это показалось на минуту смѣшно. Тѣмъ не менѣе въ ней происходило какое-то безотчетно тяжелое настроеніе, какъ будто произошла какая-то непріятность, какъ-будто ожидалась какая-то утрата.

Вошла Анна Ѳеодоровна. Наташа взглянула на нее, и на этотъ разъ граціозная фигура молодой дѣвушки почти разсердила ее. Пожалуй, и въ самомъ дѣлѣ Иволгинъ увлекся ея внѣшностью. Боже мой, какъ онъ будетъ несчастливъ. Она же ему не пара, совсѣмъ не пара! И вдругъ мысль молодой дѣвушки остановилась на задумчивости Иволгина за послѣднее время, на его иногда непонятныхъ ей нетерпѣливыхъ выходкахъ. Она точно прозрѣла. Да, да, онъ любитъ. Любитъ и мучается, не встрѣчая взаимности! О, развѣ такая дѣвушка стоитъ любви: ее боготворитъ молодой, красивый, умный, добрый человѣкъ, а она идетъ за безобразнаго стараго глупца ради того только, что первый бѣденъ, а второй богатъ. Какъ это гадко, какъ это низко! У нея что-то сдавило горло, точно подступили слезы.

— Ты мало сегодня каталась,—замѣтилъ Романъ сестрѣ.

— Да. Скучно!—разсѣянно отвѣтила она.

Она начала слегка бить по платью хлыстикомъ.

— А вы все читали?

— Да,—отвѣтилъ Романъ и лукаво улыбнулся, взглянувъ на Наташу.

Та сидѣла точно въ полуснѣ, не видя его улыбки.

— Кончили «Молотова?»

— Нѣтъ еще...

Разговоръ опять оборвался. Вдругъ Анна Ѳеодоровна обратилась къ Наташѣ:

— А у Иволгина большой голосъ?

— У Иволгина?.. Голосъ?.. Да! да!—какъ-то растерянно отвѣтила Наташа, какъ бы очнувшись отъ сна, и, овладѣвая собою, скороговоркою заговорила:—ты развѣ не знала? Почему ты это говоришь? Ты слышала его... сегодня?

Анна Ѳеодоровна иронически улыбнулась, пожимая плечами.

— Ѣхала мимо... Онъ пѣлъ... Вечернюю звѣзду изъ Тангейзера... Точно оперный пѣвецъ.

Наташа горячо вступилась за него, точно его обижали:

— Да, да, онъ поетъ, какъ оперный пѣвецъ, лучше многихъ оперныхъ пѣвцовъ. Что же изъ этого? Что?

Ломова, не замѣчая волненія Наташи, продолжала тѣмъ же насмѣшливымъ тономъ:

— Всѣ таланты! Добродѣтельный докторъ, отличный садовникъ, неподражаемый чтецъ, превосходный пѣвецъ.

Ломова презрительно пожала плечами.

— Слишкомъ ужъ много талантовъ. Embarras des richesses.

Наташа, волнуясь и горячась, неожиданно спросила ее:

— Ты поссорилась съ нимъ?

Анна Ѳеодоровна лѣниво подняла на нее удивленные глаза.

— Я? Я его даже не видала!.. И что за вопросъ? Я съ нимъ ни ссорюсь, ни мирюсь... Что же между нами общаго?

Опять ироническая улыбка проскользнула по губамъ Ломовой, опять ея плечи передернулись съ презрѣніемъ.

У Наташи какъ будто отлегло на сердцѣ. Она даже не обидѣлась за Иволгина, слыша, какимъ высокомѣрнымъ тономъ говорятъ о немъ. Ея душа наполнилась радостью. «Да, да, между ними нѣтъ ничего общаго. Она, Нина, никогда не полюбитъ его, никогда не пойдетъ за него. О, какое это счастье для него! Она погубила бы его. Но вѣдь онъ будетъ страдать, встрѣтивъ отказъ? Что жъ, это пройдетъ». Она неожиданно остановилась на мысли: неужели любовь проходитъ? Опять ей защемило сердце. «Нѣтъ, нѣтъ, любовь не проходитъ, не должна проходить!» Ее одинаково смущало теперь и то, что любовь можетъ проходить, и то, что любовь не проходитъ. Она совершенно растерялась отъ этихъ новыхъ для нея противорѣчій.

— Ты слышала, наши въ воскресенье ѣдутъ къ Апухтину?—спросилъ Рома сестру.

Анна Ѳеодоровна вздрогнула, поднявъ опущенный взглядъ.

— Къ Апухтину? Да, слышала.

Она усердно начала смахивать хлыстомъ пылинку съ платья.

— Ты поѣдешь?

Она опять подняла голову. Ея лицо приняло выраженіе страданія и насмѣшки.

— Вѣдь для меня же и ѣдутъ, — отвѣтила она. — Какъ же мнѣ не ѣхать.

— Анна, неужели ты...—началъ Романъ.

Она не дала ему кончить и засмѣялась нервнымъ смѣхомъ.

— Ахъ, какую кислую мину ты дѣлаешь, Рома! Точно лимона попробовалъ. Это просто смѣшно!.. Нѣтъ, я не поѣду, я ни на что не соглашусь... Или останусь старой дѣвой, или...

Она встала, смѣясь уже чуть не истерическимъ смѣхомъ.

— Или выйду по страстной любви за какого-нибудь бродячаго пѣвца-красавца... Знаешь, изъ тѣхъ, что ходятъ съ шарманками... Нѣтъ, ты совсѣмъ ребенокъ... задаешь дѣтски-наивные вопросы...

Она взяла шляпу, приподняла шлейфъ амазонки и вышла изъ комнаты.

— Бѣдная, бѣдная сестра! — проговорилъ тихо Романъ, когда за нею затворилась дверь. — Сегодня мнѣ еще болѣе ее жаль, потому что я самъ счастливъ. Тебѣ, Наташа, тоже жаль ее? Да? Загубить всю жизнь съ нелюбимымъ человѣкомъ—это ужасно...

— Да,—разсѣянно отвѣтила Наташа и встала съ мѣста.

— Куда?

— Мнѣ надо, сейчасъ обѣдъ. Нельзя же все сидѣть у тебя.

— Скоро, милая, мы постоянно, вѣчно будемъ вмѣстѣ... вдвоемъ...

Онъ прижалъ ея руку къ своимъ губамъ, сухимъ отъ внутренняго жара. Она нервно вздрогнула, пораженная какой-то новой мыслью.

«Вѣчно будемъ вмѣстѣ, вдвоемъ». «Почему? Зачѣмъ? Ахъ да, вѣдь я дала ему слово выйти за него замужъ...»

И, перебивая самоё себя, она продолжала думать:

«Не можетъ быть, чтобы Иволгинъ любилъ хоть когда-нибудь Нину! Это надо выяснить, непремѣнно надо». Увлекаясь этой мыслью, она соображала, какъ лучше это выяснить! спросить ли его самого и Вѣру Николаевну? и ни на секунду не остановилась на мысли: зачѣмъ ей-то это знать?

II.

На слѣдующій день Анна Ѳеодоровна возвращалась домой съ прогулки верхомъ. Лошадь шла шагомъ по мягкой

пыльной дорогѣ. Всадница ѣхала, опустивъ руки и голову, ни на что не обращая вниманія, погрузившись въ свои думы. Съ той поры какъ Апухтинъ любезно предложилъ ей пользоваться его Мустафой III, она ѣздила верхомъ почти каждый день, иногда даже несмотря на мелкій дождь, на грязь и лужи на дорогѣ. Ѣздила она одна: у Наташи не было лошади, да она была и не охотница ѣздить верхомъ; Романъ былъ нездоровъ и тоже былъ плохимъ наѣздникомъ. Волей-неволей Аннѣ Ѳеодоровнѣ приходилось совершать прогулки одной. Именно это одиночество навѣвало на нее грустныя думы. Опустивъ поводья, она раздумывала о томъ, что и далѣе будетъ одна, всегда одна. Мужъ—старикъ, что онъ будетъ для нея? Отецъ, опекунъ, соглядатай? Но что же будетъ между ними общаго? Дѣти? Она была уже не такъ молода, наивна и неопытна, чтобы надѣяться имѣть дѣтей. А кромѣ дѣтей какая же можетъ быть связь между нею и старикомъ пятидесяти-пяти лѣтъ? Онъ, вѣроятно, даже не влюбленъ въ нее. И старъ, и холоденъ, и апатиченъ для этого. Просто надоѣло жить одинокимъ вдовцомъ, нужна для пріемовъ гостей женщина. Вотъ и все. Она красива, хорошо образована, можетъ быть ловкой хозяйкой въ свѣтской гостиной, — это и заставило его остановиться на ней. Комнатное украшеніе понадобилось. Впрочемъ даже, можетъ-быть, и лучше, если у нихъ не будетъ духовной связи, она будетъ рѣже видѣть мужа. Въ ея воображеніи рисовался образъ этого старика, толстаго, лысаго, съ отвислымъ подбородкомъ, съ брезгливо-опущенными углами дряблыхъ губъ, съ тусклыми круглыми и выпуклыми глазами. Онъ будетъ имѣть право приходить къ ней во всякое время, оставаться съ нею день и ночь, требовать ея ласкъ и ласкать ее. Всѣ эти жертвы принесутся ею за право жить богато, блестѣть въ обществѣ, возбуждать зависть. Выдержитъ ли она эту жизнь, не собьется ли съ честнаго пути, не падетъ ли? Нѣтъ, нѣтъ, она сумѣетъ побороть все и не дойти до униженія. А если вдругъ явится человѣкъ, молодой, умный, добрый, красивый? Передъ ней вдругъ, какъ живой, воскресъ образъ Иволгина. Она почти съ гнѣвомъ шептала про себя: «онъ, вѣчно онъ!» Ей казалось, что онъ просто преслѣдуетъ ее. Читалъ тогда съ такимъ паѳосомъ при ней. Похвасталъ, что его берлога полна цвѣтовъ и свѣта. Заманивалъ своими возвышенными взглядами на женщину. Вчера пѣлъ, когда она проѣзжала мимо его дома. Точно нарочно увле-

каетъ ее, напоминаетъ ей о себѣ. Что бы она ни начинала думать, вѣчно приходитъ на память онъ, все онъ! Неужели она любитъ его, любитъ теперь, когда онъ не дѣлаетъ ей даже намека на любовь, какъ будто избѣгаетъ ея? А можетъ-быть, онъ только боится снова встрѣтить ея равнодушіе, услышать ея отказъ? О, если такъ, значитъ онъ не умѣетъ любить! Кто любитъ, тотъ готовъ на все, силой завоевываетъ счастье. Пусть же онъ увидитъ, что она идетъ замужъ за другого. Пусть терзается. Когда она будетъ женою другого, она станетъ кокетничать съ нимъ, она заставитъ его сказать ей «люблю» и отвѣтитъ, какъ Татьяна Онѣгину... нѣтъ, не такъ, просто скажетъ съ удивленной усмѣшкой: «я васъ никогда не любила и не люблю». Это будетъ ея месть, страшная для него. А каково ей будетъ самой? Оттолкнетъ его и останется одна, одна навсегда! Опять передъ ея глазами всталъ другой образъ — образъ Апухтина. Онъ казался ей почти отвратительнымъ. Ее охватывалъ страхъ, при мысли, что она должна будетъ отдаться этому человѣку. Удовлетворять ли ее блескъ, роскошь, богатство за приносимую ею жертву? Въ ней поднялось чувство брезгливости. Она безсознательно, съ выраженіемъ отвращенія на лицѣ, сжала плечи, точно къ ней уже простирались объятія этого старика, и тотчасъ же, злобно издѣваясь надъ собою, подумала: «и еще не онъ самъ идетъ ко мнѣ, а я ловлю его». Ей вспомнились подробности проведеннаго съ Апухтинымъ дня у Кожуховыхъ: ее умышленно толкали къ нему, оставляли съ нимъ наединѣ, ждали, вотъ онъ бросится къ ея ногамъ. Онъ же оставался любезнымъ собесѣдникомъ и только. Можетъ-быть, онъ понялъ все и умышленно остерегался попасть въ разставленныя сѣти. У нея навертывались на глаза слезы. Молодость брала свое, сердце жаждало именно теперь, какъ никогда, любви, молодой, поэтической, страстной. И чѣмъ ближе становился рѣшительный день, тѣмъ мрачнѣе дѣлалось у нея на душѣ. Нынче пятница — черезъ два дня она, отецъ и мать поѣдутъ къ Апухтину. Онъ станетъ показывать свой домъ, посвящать ее въ интересы геральдики, смотрѣть на нее глупо-счастливыми глазами, какъ смотрятъ на изящную, выгодно покупаемую вещь, попроситъ позволенія у отца пріѣхать къ нимъ съ серьезнымъ предложеніемъ, отецъ и мать не сумѣютъ даже скрыть радости подъ маской свѣтскаго равнодушія, выдадутъ себя, ее. Торгаши! Она почувствовала омерзеніе къ Апухтину,

къ отцу, къ матери, къ себѣ. Да, да, она не лучше ихъ! Всѣ у нихъ не лучше! Опять ее душили слезы. Онъ подъѣхала къ дому, грустная, задумчивая, подавленная. Сойдя при помощи Степана Потаповича съ лошади, она приказала позвать кучера и въ задумчивости какъ-то машинально гладила лоснящуюся шею своего любимца, точно Мустафа III былъ единственнымъ ея другомъ, повѣреннымъ ея тайнъ. Около нея кто-то проговорилъ.

— Вотъ я напророчилъ вамъ, что станете любить животныхъ, какъ мы своего Пегасика.

Она подняла голову и увидала Иволгина, шедшаго къ Ромѣ. Ея глаза сверкнули гнѣвомъ. Онъ, опять онъ! Издѣвается надъ нею, слѣдитъ за нею! Она неожиданно съ бѣшенствомъ стегнула Мустафу хлыстомъ, такъ что бѣдное животное, вздрогнувъ, метнулось въ сторону. Этотъ ударъ хлыстомъ былъ полученъ Мустафою за кого-то другого. Почти безъ силъ Анна Ѳеодоровна прижалась къ колонкѣ крыльца, ослабѣвшая, безпомощная, блѣдная, близкая къ обмороку.

— Какое право имѣете вы преслѣдовать меня, слѣдить за мною! — воскликнула она, почти плача отъ гнѣва, отъ смущенія, отъ стыда.

Она сама не знала въ эту минуту, что она говоритъ, что дѣлаетъ.

— Я? Преслѣдую васъ? — проговорилъ тоже смущенный Иволгинъ.

Онъ даже не могъ сообразить сразу, что произошло. Но, тотчасъ же овладѣвъ собою, онъ произнесъ:

— Я, кажется, дѣлаю все, чтобы вы не имѣли права упрекать меня ни въ чемъ. Но если я виноватъ, допустивъ невинную шутку, простите. Я все-таки считалъ себя въ вашемъ домѣ немного своимъ человѣкомъ...

Онъ сухо поклонился и хотѣлъ пройти на крыльцо. Въ его головѣ носились воспоминанія о прошлыхъ столкновеніяхъ съ Анной Ѳеодоровной. Онъ досадовалъ на себя за то, что заговорилъ съ нею теперь. Для чего? Какой бѣсъ подтолкнулъ его на это? Она, съ выраженіемъ душевнаго страданія, потирая рукою лобъ, силясь улыбнуться, пересиливая себя, прерывающимся голосомъ заговорила:

— Я сама не знаю, что со мной... Я немного нездорова... Нервы разстроены... Это все ваша деревня... Ахъ, здѣсь съ ума сойти можно...

Она опять попробовала улыбнуться:

— Полѣчите...

— Я къ вашимъ услугамъ,—серьезно отвѣтилъ онъ.

Она протянула ему руку.

— Вы къ Ромѣ?

— Да.

— Зайдите отъ него ко мнѣ... въ садъ... Я серьезно начинаю бояться за себя.

У нея, какъ въ лихорадкѣ, пробѣгала по тѣлу дрожь. Въ головѣ было смутно, въ глазахъ стоялъ туманъ. Она ничего не могла сообразить, ничего не видала. Только одинъ обольстительно прекрасный образъ носился передъ нею. Онъ теперь неотразимо, властно звалъ и манилъ ее къ себѣ, обѣщая ей спасеніе. Она прошла въ садъ, охваченная этимъ лихорадочнымъ волненіемъ. Она сама не знала, зачѣмъ позвала Иволгина. Она не знала, что она ему скажетъ. Она упорно старалась не думать объ этомъ. Казалось, она инстинктивно боялась думать объ этомъ: подумаетъ и скажетъ не то, что надо, не скажетъ ничего. А сказать надо, теперь или никогда. Такъ жить нельзя. Тяжело дыша, она проводила рукой по горящему лицу и безсознательно шептала: «что же онъ, скоро ли?» Казалось, ее охватилъ страхъ, что вотъ-вотъ пройдетъ еще минута, и все погибнетъ. Что? Развѣ она знала что? Вдругъ она заслышала шаги. У нея подкосились ноги, и она присѣла на скамью. Ей нужно было сдѣлать большое усиліе, чтобы овладѣть собою и заговорить съ Иволгинымъ шутливымъ тономъ.

— А, вотъ и вы, докторъ! Я серьезно хочу посовѣтоваться съ вами.

Звукъ ея голоса былъ горловой, отрывистый. Ея лицо горѣло, въ глазахъ былъ лихорадочный огонь. Въ головѣ Иволгина мелькнула мысль объ истерикѣ.

— Въ воскресенье мы должны ѣхать... непремѣнно должны ѣхать, и вдругъ я расхвораюсь... Это совсѣмъ не кстати...

Она подняла на Иволгина свои лихорадочно блестѣвшіе глаза. Грудь ея тревожно дышала.

— Мы званы къ Апухтину... Кстати, вы слышали, что я...

У нея оборвался голосъ, не договоривъ начатой фразы. Она стиснула отъ досады на себя зубы.

— Я выхожу за него замужъ...

— Нѣтъ,—отвѣтилъ онъ:—не слыхалъ.

— Да, да, выхожу,—заторопилась она, говоря объ этомъ,

какъ о рѣшенномъ вопросѣ. — Правда, онъ не молодъ, не красивъ, даже... помните, вы говорили, что онъ даже не далекъ. О, злой языкъ! Но вѣдь не всѣмъ же быть геніями. Слава Богу, что онъ добрый и честный человѣкъ. Вѣдь этого нельзя отрицать? Да?

Иволгинъ молчалъ, дожидаясь, когда она кончитъ, чтобы спросить, что у нея болитъ, на что она жалуется. Казалось, онъ даже и не подозрѣвалъ, для чего она заговорила объ Апухтинѣ. Ее раздражило его молчаніе, и она внезапно, рѣзко оборвавъ свою рѣчь объ Апухтинѣ, спросила.

— Что же вы молчите? Что же вы не скажете своего мнѣнія, не посовѣтуете?

Онъ очнулся и, смотря ей прямо въ лицо, съ недоумѣніемъ спросилъ:

— Какое же я имѣю право вмѣшиваться въ ваши дѣла?

Она вспылила.

— А, вы злопамятны! — проговорила она съ горькимъ раздраженіемъ.—Вы вспомнили теперь, въ эту минуту, что я вамъ сказала тогда, тамъ въ Петербургѣ!

Онъ торопливо возразилъ ей:

— Не считайте меня такимъ мелочнымъ. То давно забыто. Я просто сказалъ вамъ это потому, что дѣйствительно не имѣю права вмѣшиваться въ вашу судьбу и притомъ въ такомъ вопросѣ. Я уже давно пересталъ быть прежнимъ юношею, не понимавшимъ, что можно и чего нельзя говорить свѣтской молодой дѣвушкѣ, не имѣя на это права въ качествѣ родственника, друга, близкаго...

Онъ говорилъ это тѣмъ мягкимъ и сердечнымъ тономъ, какимъ онъ говорилъ постоянно въ минуты душевнаго спокойствія. Что-то неотразимое было для Анны Ѳеодоровны теперь въ этихъ звукахъ, мягкихъ, ласкающихъ, почти женственныхъ. Они напоминали ей тѣ годы, когда онъ, восторженно смотря на нее, давалъ ей дружескіе совѣты. Тогда ее сердилъ и оскорблялъ этотъ «фамильярный» тонъ, теперь она пожертвовала бы всѣмъ, чтобы имѣть право слышать всегда этотъ «задушевный» голосъ. Она съ трудомъ удерживалась отъ признанія, отъ восклицанія: «да вѣдь я же люблю тебя». Только гордость, не смолкавшая въ ней и теперь, останавливала ее отъ этого признанія и она только тихо, упавшимъ голосомъ замѣтила.

— А развѣ мы не друзья?

Онъ взглянулъ на нее, какъ бы немного удивленный ея вопросомъ, и тотчасъ же отвѣтилъ:

— Если вы хотите, если вы требуете моего мнѣнія, — хорошо. Я на вашемъ мѣстѣ не рѣшился бы связать свою судьбу съ нелюбимымъ человѣкомъ. Какія бы удобства ни сулило вамъ это замужество, оно не вознаградитъ васъ за отсутствіе любви. Безъ любви нѣтъ семейной жизни, семейнаго счастія, семейнаго мира...

Онъ заговорилъ горячо о несчастныхъ союзахъ безъ любви. Они мало того, что оставляютъ пустоту въ душѣ, они наполняютъ душу сознаніемъ своего собственнаго униженія. Да, человѣкъ чувствуетъ, что онъ унизилъ себя, связавъ на вѣки свою судьбу съ судьбою нелюбимаго существа. Тутъ теряется вѣра въ свое нравственное я, въ стойкость этого я. Чтобы освободиться отъ этого горькаго сознанія, нужно заглушить голосъ своей совѣсти, нужно идти дальше въ сдѣлки съ нею. Это паденіе со ступеньки на ступеньку является роковымъ, неизбѣжнымъ въ подобныхъ случаяхъ... И чѣмъ краснорѣчивѣе говорилъ онъ, тѣмъ яснѣе сознавала она, что онъ разбираетъ вопросъ теоретически, вовсе не волнуясь тѣмъ, что хочетъ выйти замужъ именно *она*. Это была лекція неглупаго человѣка, полная здраваго смысла и логики, но не страстный порывъ влюбленнаго, говорящаго любимой дѣвушкѣ: «какъ ты можешь идти за другого, когда я люблю тебя». У нея уже поднималась грудь отъ негодованія на него, отъ сознанія, что она чуть не унизилась передъ нимъ признаніемъ въ любви. Она слышала только, что онъ упрекаетъ и обличаетъ ее. Какъ онъ смѣетъ бичевать ее? Кто ему далъ право? Наглецъ! Развѣ она для того спрашивала его совѣта, чтобы онъ топталъ ее въ грязь?

Онъ, ничего не подозрѣвая, закончилъ:

— И счастливъ тотъ, у кого хватитъ силъ не вступить въ такой союзъ, или кого спасетъ случай отъ такого союза.

Ея лицо вспыхнуло гнѣвомъ, точно онъ нанесъ ей послѣднее личное оскорбленіе. Ей казалось, что онъ благодаритъ судьбу за спасеніе его самого отъ такого союза—отъ союза съ ней. О, этого только недоставало! Вотъ они, цивилизованные мѣщане, невоспитанные разночинцы, этотъ средній классъ! Въ ея воображеніи хаотически пронеслись образы Хрущевыхъ, Зеленова, сцены грязныхъ любовныхъ заигрываній и интрижекъ, весь этотъ омутъ, гдѣ она вращалась нѣсколько лѣтъ, «треплясь по улицамъ». Она всѣмъ, всѣмъ пожертвуетъ, чтобы вырваться навсегда изъ этого круга, чтобы вступить въ болѣе возвышенный кругъ обще-

ства, гдѣ все облагорожено, даже сама глупость, даже самъ развратъ. Она нервно сжала въ рукѣ хлыстикъ, точно боясь, что она ударитъ имъ Иволгина, какъ нѣсколько минутъ тому назадъ она хлестнула своего Мустафу III. Она поднялась.

— А что же ваша болѣзнь?—спросилъ онъ.

— О, я теперь здорова!—сорвалось у нея съ языка.

Она нервно стиснула зубы отъ досады на себя: «привыкла въ ихъ кругу дѣлать промахи и безтактности!» И, овладѣвъ собою, она съ ироніей, стараясь казаться равнодушной, добавила:

— Мнѣ просто хотѣлось поговорить съ кѣмъ-нибудь постороннимъ о занимавшемъ меня вопросѣ. Вотъ и все. Мнѣ казалось, что я не все взвѣсила. Одной вѣдь это не всегда легко. Но вы мнѣ не сказали ничего новаго. Выяснили только, что мой бракъ не будетъ идилліей. Но я вообще не вѣрю въ идилліи... аркадскихъ пастушковъ... въ шалашахъ, безъ хлѣба...

И, смѣясь нервнымъ смѣхомъ, она прибавила:

— Это ужъ надо предоставить такимъ дѣтямъ, какъ Наташа и Рома...

Иволгина точно ударили обухомъ по головѣ. Онъ поблѣднѣлъ и быстро, совсѣмъ забывшись, спросилъ:

— Наташѣ и Ромѣ? Что вы хотите этимъ сказать? При чемъ тутъ она, Наташа?

Ломова быстро остановила на немъ пристальный взглядъ, впиваясь этимъ взглядомъ въ его лицо, смутно угадывая что-то.

— Они же не сегодня, такъ завтра будутъ объявлены женихомъ и невѣстой,—рѣзко отвѣтила она, не спуская съ него глазъ.

Онъ, не замѣчая злого выраженія ея глазъ, не замѣчая ея волненія, машинально провелъ рукой по лбу, точно ощущая, что на его лицѣ проступилъ холодный потъ. Потомъ по лицу прошла какая-то судорожная гримаса досады на нее, что она говоритъ это, на себя, что онъ вѣритъ этому.

— Не шутите такими вещами,—сказалъ онъ сухо и холодно.

— А вы думаете, что я шучу?—спросила она, все такъ же пристально всматриваясь въ него и злорадно усмѣхаясь.— Вы думаете, что это шутка?

— Это нехорошая шутка,—продолжалъ онъ такъ же холодно.—Рома не пара Наташѣ... Несчастный, изломанный

подростокъ... Онъ вплоть до могилы останется такимъ, не возмужавъ, не окрѣпнувъ... Такіе люди вплоть до могилы остаются Петеньками и Ваничками... А она—у нея впереди все, развитіе, дѣятельность, жизнь... Пошлите ее въ крестьянскую избу, въ больницу — пойдетъ вездѣ, только бы было живое дѣло для людей, среди людей...

Онъ очнулся отъ невольнаго увлеченія и, подавивъ охватившую его злобу, уже вполнѣ сдержанно закончилъ:

— Нѣтъ, нѣтъ, никогда она не будетъ его женою...

Онъ увлекся, забылся, не замѣчая пристальныхъ взглядовъ Анны Ѳеодоровны. А можетъ-быть, они и не занимали, не пугали его.

— Вотъ какъ! — протяжно произнесла она, и опять какое-то злое чувство шевельнуло ея сердце.

Она засмѣялась.

— Вы помѣшаете?

Онъ рѣзко отвѣтилъ:

— Да, если будетъ нужно!

Ее даже испугали этотъ вызовъ, этотъ тонъ, точно Иволгинъ сказалъ, что онъ помѣшаетъ этому браку, хотя бы пришлось пожертвовать чьею-нибудь жизнью. Во всей его фигурѣ, въ его голосѣ было что-то властное, мужественное, энергичное. Ее охватилъ на мгновенье непонятный страхъ, и тутъ же въ ея головѣ мелькнули разомъ разныя мелкія-мелкія соображенія о деньгахъ Наташи, о томъ, что эти деньги нужны для приготовленій къ свадьбѣ и ей, Аннѣ Ѳеодоровнѣ, о томъ, что Иволгинъ можетъ повредить не только Ромѣ, но и ей самой, такъ какъ нужно же ей кое-какое приданое. Она сердилась на себя за это, сознавая, что все это пошло, низко, мелочно, и стискивая зубы отъ тайнаго бѣшенства на себя.

Они молча дошли до дома и сухо простились другъ съ другомъ. Въ душѣ Анны Ѳеодоровны было теперь одно желаніе, чтобы Рома скорѣй женился на Наташѣ наперекоръ Иволгину. А! Иволгинъ любитъ эту дѣвчонку,—ну, пусть и узнаетъ, что значитъ обмануться въ своихъ надеждахъ. Опять эту душу охватывала злоба и только злоба.

Анна Ѳеодоровна послѣ сдѣланнаго ею открытія долго не могла успокоиться. Ей казалось, что ее теперь уже не столько волновала ея собственная судьба, сколько судьба Ромы и Наташи. Она увѣряла себя, что она рада, удержавшись отъ признанія въ любви и узнавъ вполнѣ Иволгина. Она не могла бы быть счастлива съ этимъ человѣ-

комъ. Это мелочной мѣщанинъ; въ его средѣ она вся ушла бы въ омутъ мелкихъ расчетовъ; она опошлилась бы тамъ. Уже и теперь, послѣ долгихъ лѣтъ бѣдности, она часто ловитъ себя на мелочныхъ расчетахъ, на мѣщанскихъ соображеніяхъ... Но что если Иволгинъ точно помѣшаетъ браку ея брата? Несчастный Рома. Она увѣряла себя, что она заботится о братѣ, только о братѣ, и въ глубинѣ души сознавала, что она только желаетъ несчастія Иволгину. Вотъ онъ примѣрный человѣкъ! Сперва хотѣлъ обольстить ее. Теперь Наташа на очереди. Пройдетъ еще два-три года и явится новая дѣвочка на сцену. Ищетъ неопытныхъ жертвъ! Надо помѣшать ему видѣться съ Наташей. Какъ досадно, что Рома и Наташа не ѣдутъ къ Апухтину. Ужъ не взять ли ихъ съ собою? Правда, они будутъ лишніе, но оставлять ихъ здѣсь—вдругъ Наташа уйдетъ къ Иволгинымъ? Впрочемъ, нѣтъ, она одна не пойдетъ. Притомъ же, можетъ-быть, даже и хорошо, что они останутся одни. Можетъ-быть, Рома рѣшится сдѣлать Наташѣ предложеніе. Что онъ медлитъ? Не подтолкнуть ли его?

Она зашла въ субботу къ Роману, когда онъ былъ одинъ, заговорила о своей будущей свадьбѣ.

— Анна, я не могу еще примириться съ этою мыслью,— сказалъ братъ.

— Другого выхода, Рома, нѣтъ, — отвѣтила она. — Надо же смотрѣть на вещи трезво. Я бѣдная невѣста—и только!

Онъ упрекнулъ ее.

— Анна, ты же знаешь, что я готовъ отъ всего отказаться въ твою пользу.

Она засмѣялась.

— Что-жъ, напечатай объ этомъ въ газетахъ. А безъ того никто не узнаетъ, такъ какъ все, послѣ смерти отца и матери, твое. Да это пустяки! Я не боюсь этого брака, проживу и безъ любви. Въ мои годы, мой другъ, поэзія отходитъ на второй планъ, а на первый выдвигается проза. Меня болѣе заботишь ты...

Не слушая ее, онъ тихо замѣтилъ:

— Иволгинъ былъ...

— Не говори о немъ!—перебила она его.

И продолжала, не давая ему возможности договорить:

— Меня заботитъ твоя судьба. Неужели ты не любишь еще?

Онъ загадочно улыбнулся, какъ ребенокъ, скрывающій важную тайну.

— Отецъ былъ вѣдь правъ, предназначая тебѣ Наташу,— продолжала сестра.—Она милая дѣвочка... она...

Рома не выдержалъ:

— Она, Анна, моя невѣста!

— Что ты говоришь? Вы объяснились? Да?

Она порывисто сжала руку брата, охваченная чувствомъ радости, торжествуя побѣду надъ Иволгинымъ.

— Если бы ты зналъ, какъ я рада, какъ я рада!

— Добрая моя!—проговорилъ онъ, цѣлуя ея руку.

На минуту что-то кольнуло ее въ сердце. Онъ называетъ ее доброю, онъ думаетъ, что она радуется только за него. Нѣтъ, нѣтъ, что ей за дѣло до него, до кого бы то ни было! Стòятъ ли люди того, чтобы о нихъ заботиться, радоваться ихъ радостями, скорбѣть ихъ скорбями? Нужно жить для себя и только для себя. Стать на пьедесталъ надъ житейскою грязью и надъ людьми и глядѣть съ презрѣніемъ на все, происходящее тамъ, внизу. Ее охватило холодомъ. Подавляя это чувство, она заторопилась разспросами:

— Когда же свадьба? Не откладывай! Надо ловить свѣтлое счастье молодости.

Онъ былъ того же мнѣнія. Но все будетъ зависѣть отъ Наташи. Онъ не станетъ самъ торопить ее. Впрочемъ, едва ли она станетъ откладывать свадьбу. Зачѣмъ? Цѣли нѣтъ.

Анна Ѳеодоровна вышла отъ Ромы съ прояснившимся выраженіемъ лица. Но въ этомъ торжествующемъ выраженіи было что-то злое, насмѣшливое, холодное.

Сначала она хотѣла все разсказать матери, потомъ подумала, что лучше не говорить. Еще начнутся толки, Иволгинъ можетъ ускорить атаку. Но что онъ можетъ сдѣлать если Наташа дала слово? Она, значитъ, любитъ Рому, а не его. Безъ любви Наташа не дала бы слово. А! Борисъ Николаевичъ радуется, что не женился на ней, Аннѣ Ѳеодоровнѣ; онъ нашелъ болѣе молодую и болѣе выгодную невѣсту! Ну, теперь посмотримъ, какъ-то онъ перенесетъ пораженіе.

Она долго стояла въ своей комнатѣ передъ зеркаломъ, неспѣшно раздѣваясь, постепенно сбрасывая съ себя всѣ принадлежности одежды, всматриваясь пристально и серьезно въ свое отраженіе. Неужели она такъ подурнѣла, такъ постарѣла, что Наташа, не отличающаяся ничѣмъ, кромѣ молодости, могла вытѣснить ее изъ сердца этого человѣка?

Нѣтъ, нѣтъ, она еще хороша. Ея черты лица правильны и строги, ея фигура точно сдѣлана изъ бѣлаго мрамора, ея чернымъ волосамъ могла бы позавидовать любая дѣвушка. Она усмѣхнулась не безъ гордости, сознавая свою красоту. На минуту она остановилась на мысли: «Не потому ли онъ охладѣлъ къ ней, что она оттолкнула его тогда?» О, нѣтъ! Это должно было еще болѣе возбудить его страсть. Препятствія не останавливаютъ такихъ мужчинъ. Нѣтъ, просто онъ видитъ, что Наташа выгодная невѣста. Деньги на первомъ планѣ. Онъ не лучше другихъ! А она, Нина, развѣ не ради денегъ выходитъ замужъ? Она выпрямилась при этой мысли и гордо закинула назадъ голову. Ну да, ради денегъ, ради удобствъ. Но она и не рисуется, не обманываетъ никого. Самъ ея женихъ, вѣроятно, понимаетъ, что она видитъ въ бракѣ съ нимъ выгодную партію. Тутъ не можетъ быть и рѣчи объ обманѣ, не можетъ быть громкихъ фразъ о бракѣ по страсти. Это расчетъ, но разумный, честный, благородный расчетъ. Она опять попадетъ въ свѣтъ, но уже не какой-нибудь Ломовой, принимавшейся туда, покуда у ея отца были деньги, а женой камергера, дворянскаго предводителя, крупнаго землевладѣльца. У нея будетъ собираться избранное общество; ея знакомства будутъ добиваться, какъ чести; ея салонъ будетъ центромъ для выдающихся людей... О, теперь она ни на что не промѣняла бы этого союза. Она наканунѣ счастія!

— Да, да, наканунѣ счастія! — шептала она, чувствуя, что ее что-то душитъ, что въ горлѣ перехватываетъ духъ.

Молодое сердце, еще жаждавшее любви, билось и сжималось отъ боли наперекоръ холодному разсудку.

— О, нервы, нервы, проклятые нервы! — повторяла она, падая съ истерическими рыданіями лицомъ въ подушку...

Рано утромъ Ломовы — мужъ, жена и дочь — уѣхали къ Апухтину. Рома и Наташа остались одни и рѣшили идти къ Иволгинымъ къ обѣду. Анна Ѳеодоровна знала, что Вѣра Николаевна пригласила молодыхъ людей къ себѣ, но смотрѣла на это спокойно. Не можетъ же Наташа дать слово и взять его назадъ.

III.

Домъ Иволгиныхъ напоминалъ скорѣе дачу, чѣмъ обыкновенный деревенскій помѣщичій домъ. Со стороны небольшого сада съ клумбами цвѣтовъ, онъ былъ украшенъ террасой и балкономъ съ маркизами изъ полотна. На террасѣ,

на балконѣ, на окнахъ красовались цвѣты, по большей части недорогіе, но заботливо выхоленные, чистые и свѣжіе. Эти чистота и свѣжесть бросались въ глаза прежде всего, такъ какъ ими отличались не только цвѣты, но и сѣренькая окраска дома, и окраска свѣтло-зеленыхъ ставенъ, и темно-желтыя ступени и полъ террасы. Все это блестѣло на солнцѣ и говорило о чьей-то заботливой рукѣ, старавшейся придать всему веселый видъ. Со стороны просторнаго двора, чисто выметеннаго, домъ былъ совершенно простъ, но такъ же свѣтелъ и пригляденъ. Дворъ со всѣхъ сторонъ былъ застроенъ конюшнями, хлѣвами и помѣщеніями для прислуги. Съ лѣвой стороны отъ воротъ къ барскому дому была сдѣлана пристройка, идущая въ самую глубину двора. Въ эту пристройку вело особое крыльцо. Теперь на этомъ крыльцѣ въ томительномъ ожиданіи терпѣливо сидѣла цѣлая группа мужиковъ, бабъ и дѣтей, чуть не въ рубищахъ, понуривъ головы подъ палящими лучами полуденнаго солнца. Нѣкоторые растянулись на землѣ, положивъ головы на первую ступеньку крыльца, и дремали. Одинъ изъ мужиковъ сталъ медленно развязывать тряпки, обматывавшія его больную руку. Размотавъ ихъ, онъ началъ разсматривать больную руку, какъ что-то постороннее, сосредоточенно тыча пальцемъ въ распухнувшее тѣло, сомнительно покачивая головою, точно удивляясь и этой страшной опухоли, и цвѣту руки, и тому, что онъ всюду ощущаетъ боль отъ прикосновенія къ ней. Его сосѣди мало-по-малу тоже заинтересовались его рукою и, столпившись около него, стали разсматривать ее. Завязался отрывистый разговоръ о рукѣ. Съ какихъ поръ болитъ? съ чего началось? И самъ мужикъ съ больной рукой, и его собесѣдники говорили о ней, какъ о какомъ-то совсѣмъ имъ постороннемъ предметѣ, любознательно и равнодушно. Въ сторонѣ отъ этой группы столпились бабы около мальчугана лѣтъ пяти, стоявшаго потупясь между колѣнями какой-то старухи. Его, покрытаго какой-то подозрительной сыпью, тоже осматривали, какъ больную руку мужика, и также говорили о немъ, разспрашивая «баушку», — съ чего это съ младенцемъ приключилось. Старуха «баушка», сморщенная и шамкающая, утирая пальцемъ слезы, жалобнымъ голосомъ нараспѣвъ разсказывала подробности и о самомъ, то-есть объ отцѣ ребенка, запропавшемъ въ Питерѣ, и о самой, то-есть о матери ребенка, деньденской работающей на «хвабрикѣ», и о томъ, какъ сама просила ее, «баушку», показать «рабенка» Борису Николаевичу:

— Ты, бабушка, безпремѣнно сведи мальчонку къ Борису Миколаевичу.

Ну, она, баушка, и привела, что будетъ—Создатель одинъ знаетъ. Бабы давно уже знали, что ребенокъ и родился съ какой-то сыпью, что лѣчили его и знахарки, и повитуха, и какой-то прохожій странникъ, что и купали его въ крещенской водѣ, и парили въ русской печкѣ, и поили декохтомъ,—тѣмъ не менѣе онѣ снова выслушивали съ любопытствомъ исторію болѣзни, разспрашивали о всѣхъ знакомыхъ подробностяхъ и даже пробовали пальцами больныя мѣста мальчугана, задумчиво ковырявшаго пальцемъ какія-то заплаты на сарафанѣ «баушки» съ видомъ безотвѣтной жертвы, выставленной напоказъ. Онъ такъ привыкъ, что его смотрятъ и ощупываютъ, что оставался къ этому вполнѣ равнодушнымъ. Съ такимъ тупо-равнодушнымъ видомъ являются въ балаганахъ и музеяхъ передъ толпою вывозимые напоказъ безрукіе и безногіе «уроды». Иногда только прорывались въ этихъ группахъ вздохи:

— На хвабрикѣ, видно, Борисъ Миколаевичъ задержался...

— Народъ-то тамъ нынче больно шибко мретъ.

— Помощника, вишь, Борисъ Миколаевичъ просилъ у Тарасовыхъ. Затѣмъ и ѣздилъ по веснѣ въ городъ. Одному не разобраться.

— Экія деньги собираютъ, а народъ мретъ...

— Говорятъ, намеднись, бунтовать хотѣли. Управитель-то грозился, что половину народу разсчитаетъ...

— А куды-жъ народу-то идти?

— Дѣловъ, вишь, нѣтъ!

— У кого-жъ нонѣ дѣла?

Наступило короткое тяжелое молчаніе. Потомъ опять кто-то заговаривалъ:

— На селѣ тоже хворь. Все горломъ больше тоскуютъ.

— Борисъ Миколаевичъ говорилъ: сумнительно очень. Пунтъ фельдчерскій надо, говоритъ, тутъ учредить.

— Учреждятъ! Жди!

— И все больше на ребятишекъ моръ...

Въ это время на пыльной дорогѣ, ведущей къ дому, показались бѣговыя дрожки. Въ толпѣ сидѣвшихъ на крыльцѣ крестьянъ послышались голоса:

— Ѣдетъ!

— Какъ быдто и не одинъ...

— Съ Ломовскимъ бариномъ...

Началось движеніе и нѣкоторые даже поднялись съ мѣстъ.

Только теперь можно было замѣтить, по движенію, по выраженію лицъ, по отрывочнымъ фразамъ, какъ томительно было ожиданіе этихъ людей.

Борисъ Николаевичъ, спустивъ у сада Романа, въѣхалъ во дворъ. Изъ флигеля прислуги выбѣжалъ мальчуганъ лѣтъ четырнадцати, и Борисъ Николаевичъ, соскочивъ съ дрожекъ, сдалъ ему лошадь. Онъ наскоро поклонился ожидавшимъ его больнымъ, проговоривъ:

— Сейчасъ, сейчасъ!

И скрылся въ домъ.

Не прошло и пяти минутъ, какъ дверь на крыльцо пристройки растворилась и въ ней показался Борисъ Николаевичъ. Онъ былъ въ томъ же лѣтнемъ костюмѣ, въ которомъ пріѣхалъ домой съ фабрики, только на немъ теперь былъ надѣтъ бѣлый передникъ отъ самой шеи до колѣнъ. Мужики и бабы зашевелились, нѣсколько человѣкъ разомъ пошло къ дверямъ.

— Не всѣ вдругъ, не всѣ,—сказалъ Борисъ Николаевичъ:—по очереди, кто прежде пришелъ, тотъ и иди!

Борисъ Николаевичъ замѣтилъ черезъ толпу молодую бабенку съ здоровымъ бойкимъ лицомъ, въ красномъ платкѣ на головѣ, только что вошедшую во дворъ; онъ кивнулъ ей головой и спросилъ, зачѣмъ пришла она. Она немного зарумянилась и проговорила:

— Я къ Вѣрѣ Миколаевнѣ.

— А!—сказалъ онъ.—Терешка совсѣмъ здоровъ?

— Совсѣмъ! Что ему теперь!

— Ну, и слава Богу.

Онъ обернулся назадъ и крикнулъ:

— Вѣра, тебя тутъ нужно!

Затѣмъ, кивнувъ бабенкѣ головой, пошелъ съ нѣкоторыми изъ больныхъ въ пристройку. Больныя бабы заговорили съ молодой женщиной. Что она пришла? Зачѣмъ?

— Все за тѣмъ же, Терешку вотъ моего вылѣчилъ Борисъ Миколаевичъ. Курицу да яичекъ принесла. Пока ходилъ, не хотѣлъ брать. А что-жъ, мы не бѣдные. Вотъ принесла.

— Чего бѣдные! За ребенка все отдашь...

— Ходилъ, такъ не хотѣлъ брать. Теперь что-жъ, мы отъ души.

Она погладила рукой курицу, находившуюся у нея подъ мышкою. На крыльцо вышла Вѣра Николаевна. Она поздоровалась съ бабами и привѣтливо улыбнулась молодой жен-

щинѣ. Та съ поклономъ, съ нѣкоторымъ смущеніемъ, стала просить ее принять курицу и яйца. Вѣра Николаевна, улыбаясь, поблагодарила ее. Молодая бабенка стала приговаривать.

— Не обидь! Чѣмъ богаты!

Иволгина сказала ей, чтобы она отдала свои приношенія на кухню, и снова сказала ей:

— Спасибо!

— Не на чемъ! Борису Миколаевичу спасибо!

Бабенка, кланяясь, съ веселымъ лицомъ направилась къ кухнѣ. Вѣра Николаевна заговорила съ одной изъ бабъ.

— Вѣра,—раздалось изъ пристройки.—Иди-ка сюда!

Иволгина торопливо пошла на зовъ брата. Кто-то изъ толпы осторожными шагами на цыпочкахъ подошелъ къ одному изъ оконъ пристройки и искоса сбоку заглянулъ въ него. Потомъ такъ же на цыпочкахъ отошелъ отъ окна, тихо говоря:

— Руку рѣжетъ Ивану Ѳедотову.

— Ишь ты!

— И Ломовскій баринокъ тамъ... Держитъ...

— Руку-то?

— Руку.

Нѣсколько любопытныхъ приподняли головы, стараясь увидать, что дѣлаютъ съ Иваномъ Ѳедотовымъ.

— Оставь, братцы! Заругается,—предостерегъ кто-то любопытныхъ.

— Мы только отсель...

— Иванъ-то сблѣднѣлъ...

— Сблѣднѣешь! Рука-то своя...

Какой-то парень, тщедушный, узкогрудый, захирѣлый, съ густой шапкой всклокоченныхъ кудрей, уныло сидя на крыльцѣ, сшутилъ:

— Родительское благословеніе!

— Ишь, помираешь, а зубы скалишь,—наставительно замѣтила ему «баушка», приведшая больного ребенка.

— Давно бы померъ, баушка, очереди жду за тобою.

Старуха отплюнулась. Парень опять безнадежно опустилъ голову, опять на его лицѣ выразилось тупое уныніе.

Минутъ черезъ пять на крыльцо вышелъ мужикъ съ больной рукой, нѣсколько поблѣднѣвшій, отирая рукавомъ крупныя капли пота со лба: его волосы точно прилипли теперь къ этому блѣдному лбу. Грудь дышала усиленно и тяжело, какъ будто онъ отдувался отъ усталости. За нимъ

слѣдомъ, почти шатаясь, вышелъ Романъ Ломовъ, блѣдный, какъ полотно, съ широко открытыми глазами, съ нервной дрожью въ тѣлѣ. Можно было подумать, что ему тоже сейчасъ сдѣлали операцію. Мужикъ съ больной рукой прошелъ прямо къ горшку-рукомойнику съ водой, привѣшенному на трехъ веревкахъ къ крышѣ крыльца, и выпилъ нѣсколько большихъ глотковъ воды черезъ носокъ. Потомъ перекрестился и пошелъ со двора, отвѣтивъ обступившимъ его больнымъ:

— Сперва свѣту не взвидѣлъ, а теперь словно гора свалилась; то жгло, а теперь только грѣетъ ее, руку-то, словно въ банѣ...

Ломовъ успѣлъ уже пройти въ садъ и присѣсть на ступеньки террасы. Видъ темной брызнувшей изъ раны крови, тяжелый запахъ гноя, ощущеніе на пальцахъ какихъ-то теплыхъ брызговъ, все это еще мутило его, поднимало тошноту. Онъ сорвалъ стебелекъ цвѣтущаго левкоя и поднесъ его къ носу и тутъ же, съ какимъ-то нервнымъ подергиваніемъ въ лицѣ, отбросилъ его отъ себя, всталъ и заходилъ по террасѣ. Ему было досадно, обидно, противно за свою слабость, за свою изнѣженность, за свою брезгливость. Утро онъ провелъ въ фабричной больницѣ съ Иволгинымъ. Ужъ тамъ видъ тифозныхъ, ихъ тяжкій бредъ произвели въ немъ головокруженіе. Онъ старался не смотрѣть на пораненныя руки и ноги, которыя перевязывалъ при помощи фельдшера Иволгинъ. Здѣсь же — этотъ ребенокъ, унаслѣдовавшій отъ рожденія заразу отъ отца, и этотъ мужикъ съ больной рукой окончательно довели его до обморока. Онъ захотѣлъ пересилить себя, побѣдить свое брезгливое чувство и взялся помочь Иволгину при операціи руки мужика, но чуть не помѣшалъ дѣлу, такъ какъ его собственная рука дрожала сильнѣе руки больного. Борисъ Николаевичъ какъ-то особенно рѣзко замѣтилъ ему:

— Эхъ, что за нѣжности! Не умѣешь, такъ не берись ни за что!

И позвалъ сестру, выдававшую вмѣстѣ съ Наташей въ сосѣдней комнатѣ имѣвшіяся въ домѣ немудреныя лѣкарства нѣкоторымъ больнымъ.

Она, женщина, совершенно спокойно и невозмутимо принялась помогать брату. Что-жъ, они привыкли! Это ихъ постоянное дѣло. Цѣлыми днями только и дѣлаютъ, что возятся съ больными. А какое же его дѣло? Что онъ будетъ дѣлать въ деревнѣ? Ужъ не хозяйничать ли, какъ его отецъ?

Онъ сдвинулъ брови и закусилъ нижнюю губу при воспоминаніи о хозяйничаньи отца. Вѣчная ругань съ народомъ, вѣчные споры изъ-за гроша, беззастѣнчивыя угрозы, что люди даромъ изъ-за хлѣба будутъ работать и за то кланяться станутъ...

— Ну, что? Не лежишь въ обморокѣ?—послышался голосъ Бориса Николаевича.

Рома очнулся и немного сконфуженно заговорилъ:

— Я и самъ не знаю, что со мной сдѣлалось! Чортъ знаетъ, что за слабость...

Борисъ Николаевичъ добродушно перебилъ его, потрепавъ по плечу:

— Это всегда такъ съ непривычки. Я въ медицинской академіи упалъ безъ чувствъ въ препаровочной, когда впервые попалъ туда и увидалъ это разрѣзанное человѣческое мясо, эти выбритыя головы, отдѣленныя отъ туловищъ, эти туловища безъ головъ. Потомъ же во время экзаменовъ, какую-то восьмидесятилѣтнюю старуху, совсѣмъ разложившуюся, кромсалъ совершенно спокойно. Всякій черный трудъ требуетъ привычки...

— Обѣдъ поданъ,—раздался голосъ Вѣры Николаевны.

Иволгинъ и Ломовъ прошли съ террасы въ просторную комнату, замѣнявшую и залъ, и гостиную, и столовую. Мебель была мягкая, влѣво отъ входа съ террасы стоялъ рояль, посрединѣ былъ накрытъ обѣденный столъ. Зимой Иволгины обѣдали въ настоящей столовой, но лѣтомъ тамъ было слишкомъ душно и потому обѣдъ подавался или здѣсь, или на террасѣ. За столомъ здѣсь уже сидѣли Варвара Николаевна и Наташа.

— Что это ты, братъ, не ѣшь?—спросилъ Иволгинъ, видя, что Ломовъ почти не дотрагивается до ѣды.

— Аппетитъ пропалъ послѣ сегодняшнихъ впечатлѣній,— отвѣтилъ тотъ. — Одна ваша фабрика способна отбить отъ ѣды. Это вертепъ какой-то съ обреченными на каторгу людьми.

— Да, не легкій трудъ и притомъ проклятыя санитарныя условія,—отвѣтилъ Иволгинъ.

Онъ заговорилъ о недостаткахъ устройства ихъ фабрики: лѣтомъ тутъ еще только сквозной вѣтеръ и чрезмѣрный трудъ изводятъ людей, а зимой—это просто адъ. Вентиляція плоха, вездѣ грязь, зараженный воздухъ. Рабочій людъ скученъ до послѣдней возможности. Все хотѣлось подешевле да повыгоднѣе устроить... Каждое улучшеніе приходится

брать съ собой. Но рядомъ съ этимъ идетъ еще худшая нравственная сторона: фабричные рабочіе, мужчины, женщины и дѣти. самый несчастный развращенный народъ. Оно и понятно: всѣ работаютъ вмѣстѣ, всѣ ведутъ безрадостную жизнь, всѣ лишены нравственной поддержки и нравственнаго развитія, какъ же тутъ не развратиться. Надо побыть въ ихъ положеніи, чтобы понять, что пьянство и развратъ здѣсь неизбѣжны.

— И какъ ты можешь служить здѣсь на фабрикѣ при этихъ условіяхъ!—воскликнулъ Рома.—Сознавать, что вся обстановка эта губитъ людей, и вѣрить въ пользу своихъ примочекъ и микстуръ...

Борисъ Николаевичъ усмѣхнулся.

— А какъ же не вѣрить? Вотъ недавно рабочій вывихнулъ руку—я ее вправилъ и теперь онъ снова работаетъ, а не по-міру ходитъ...

— Большая разница!

— А ужъ объ этомъ ты его спроси. Можетъ-быть, онъ тутъ и видѣлъ нѣкоторую разницу...

Романъ сдѣлался мрачнымъ и ничего не возразилъ Иволгину. Иволгинъ заговорилъ о положеніи крестьянъ вообще, о томъ, сколько нужно употребить усилій, чтобы сдѣлать это положеніе хотя немного сноснѣе. Онъ обращался почти исключительно къ Наташѣ, и она слушала его съ разгорѣвшимся личикомъ. Ей было все понятно и близко, что говорилъ онъ. Онъ какъ-то особенно пристально вглядывался въ ея лицо. Казалось, старался что-то прочесть въ ея глазахъ, въ ея душѣ. Обѣдъ кончился, и всѣ перебрались въ садъ. Иволгинъ сѣлъ на нижнюю ступень террасы. Остальные усѣлись тутъ же около стола. Вѣра Николаевна разливала кофе.

— Просто теряешь голову, когда думаешь, гдѣ спасенье, какимъ путемъ должно идти человѣчество къ лучшему будущему,—проговорилъ Ломовъ. — Проходятъ сотни и сотни лѣтъ, а проклятые вопросы остаются все тѣми проклятыми вопросами и даже нельзя утверждать, сдѣланъ ли хоть шагъ впередъ...

Иволгинъ молчалъ и рисовалъ на пескѣ какіе-то узоры сорваннымъ прутомъ. Казалось, онъ вовсе не думалъ о томъ что говорилъ Ломовъ.

— А тебя, повидимому, не волнуютъ эти вопросы?—спросилъ Романъ, раздраженный его молчаніемъ.

— Теперь нѣтъ. Насущнаго дѣла много. Прежде, когда

учился, читалъ кое-что объ этомъ. Теперь не до того, нѣкогда. Медицина такъ шагаетъ впередъ, что едва успѣваешь въ свободное время слѣдить за всѣмъ новымъ въ одной этой области.

— И потому и не думаешь ни о чемъ другомъ, вертясь, какъ бѣлка въ колесѣ?

— Да вѣдь жить же надо?—лѣниво отозвался Иволгинъ.

— Какъ жить? Вотъ въ чемъ вопросъ. Что дѣлать? Что нужно? Къ чему стремиться? Не есть ли все только верченье въ бѣличьемъ колесѣ, работа муравьевъ, натаскивающихъ кучу, чтобы ее разворотилъ и уничтожилъ первый шалунъ-мальчишка?

Иволгинъ опять молчалъ, чертя прутомъ по песку. Ему было лѣнь говорить, переливать изъ пустого въ порожнее. Казалось, онъ думалъ: «Все я знаю, что ты мнѣ скажешь, и все это не интересуетъ меня».

— Тебя эти вопросы никогда не занимали?—настойчиво допрашивалъ Романъ.

— Кто же не былъ юнъ и кто же, будучи не совсѣмъ глупцомъ, не думалъ въ юности объ этомъ?

— И значитъ все это съ юностью прошло, со всѣмъ этимъ покончено?

— Да, покончено,—задумчиво и устало произнесъ Иволгинъ.

Потомъ, поднявъ голову и глядя въ упоръ на Рому ясными голубыми глазами, онъ началъ тихимъ, мягкимъ голосомъ:

— Я тебѣ не вѣрно сказалъ, что я *кое-что* читалъ по этимъ вопросамъ. Нѣтъ, я читалъ много, даже очень много. И ни одна книга, ни одинъ философъ не дали мнѣ отвѣта на «проклятые вопросы». Это было во времена моей юности—юности увлекающагося, немного смѣшного идеалиста. Я доходилъ часто до отчаянія въ это время и, не найдя отвѣта на проклятые вопросы, пришелъ къ мысли, что жить такъ не стоитъ. Кто мыслилъ и учился въ нашъ вѣкъ господствующаго пессимизма, тотъ непремѣнно переживалъ эпоху отчаянія... одни поверхностно, другіе болѣе глубоко и страстно...

Онъ на минуту смолкъ, потомъ продолжалъ:

— Ты помнишь, какой я былъ восторженный, когда мы познакомились? Именно въ это время я много читалъ, много думалъ объ общихъ вопросахъ. Отвѣта на вопросъ: «что дѣлать?» не находилось нигдѣ. Его и нѣтъ нигдѣ.

Но я искалъ его, стремился къ нему. Въ это время, когда меня начинало иногда охватывать мрачное отчаянье, во мнѣ, какъ мнѣ казалось тогда, пробудилось свѣтлое чувство любви.

Наташа устремила на Иволгина разгорѣвшіеся глаза. У нея забилось тревогою сердце. Сейчасъ она узнаетъ все! Рома рѣзко спросилъ:

— Мою сестру полюбилъ?

— Теперь, когда она невѣста, я могу прямо отвѣтить: «да», — сказалъ Иволгинъ. — Но это была не любовь. Я просто влюбился въ ея красоту, въ проявляемую ею энергію. Свѣтская дѣвушка, не упавшая духомъ, попавшая въ нищету, стремящаяся къ наукѣ и труду. Это ли не идеалъ хорошей и здоровой натуры? Ты не можешь представить, какъ я былъ счастливъ тѣмъ, что могъ смотрѣть на нее, слѣдить за нею, надѣяться на что-то.

Онъ съ мягкой улыбкой добавилъ:

— Ты помнишь, я цѣловалъ иногда тебя. Въ эти минуты я мысленно посылалъ свои поцѣлуи ей. Я высказывалъ тебѣ свои идеи, а мнѣ казалось, что слушаетъ меня она. Можетъ-быть, это было глупо и смѣшно, но я не стыжусь этого. Я пережилъ хорошее чувство, и оно избавило меня на время отъ отчаянія, отъ пессимизма, къ чему я былъ уже близокъ тогда. Тамъ въ вашемъ столичномъ болотѣ быстро заражаешься дряблостью, малодушіемъ, отчаяніемъ... Потомъ разрывъ нашъ совершился на твоихъ глазахъ. Мнѣ казалось, что мнѣ остается только пустить пулю въ лобъ. Можетъ-быть, я и не сдѣлалъ бы того, но мнѣ тогда казалось, что я это сдѣлаю. Все это была вѣчно старая, вѣчно новая исторія юношеской любви...

Онъ на минуту смолкъ.

— Что же дальше?—спросилъ Романъ.

Иволгинъ очнулся и продолжалъ:

— Неожиданная смерть сестры и матери разомъ оттѣснила все на задній планъ: и сомнѣнія въ возможности счастія для человѣчества, и отчаяніе отвергнутой любви. Мнѣ только хотѣлось въ послѣдній разъ прильнуть губами къ губамъ сестры и матери, а что должно было произойти послѣ... Я тогда даже не задавалъ себѣ того вопроса, потому что не вѣрилъ въ существованіе для себя этого «послѣ».

Онъ остановился опять, подавленный тяжелыми воспоминаніями. Казалось, онъ снова переживалъ полузабытыя

утраты. Наташа чувствовала, что у нея въ глазахъ стояли слезы за него.

— Когда похоронили сестру и мать,—продолжалъ Борисъ Николаевичъ:—я ощущалъ въ себѣ такой упадокъ силъ, что никакихъ мыслей о самоубійствѣ не было — я не могъ поднять на себя руку. Кто не испыталъ этого, тотъ сочтетъ это фразою. Но это было такъ. Вѣдь на самоубійство тоже нужна своеобразная энергія, способность къ порыву и возбужденію. Во мнѣ была только апатія. Все равно — вотъ все, что я ощущалъ тогда. Я уѣхалъ за границу и тамъ...

Онъ вдругъ сдвинулъ брови, точно почувствовалъ боль въ сердцѣ.

— Я хотѣлъ бы зачеркнуть въ своей памяти воспоминаніе объ этой порѣ моей жизни. Я продолжалъ тамъ учиться — безцѣльно, почти безсознательно, но все же учиться. Но въ свободные часы я прожигалъ жизнь, грязно, безумно, ища забвенія, можетъ-быть, смерти, не отъ самоубійства, а среди грязи и разгула, среди тины и распущенности европейскаго столичнаго омута. Я самъ не зналъ, какъ я скатился въ эту пропасть. Она была гадка, но мнѣ въ то время было все равно... Я не могу и не хочу передавать всѣхъ подробностей этихъ дней моей жизни. Но когда я пережилъ ихъ, я сталъ снисходительнѣе къ ошибкамъ людей, я пересталъ быть ихъ судьею. Только въ то время я понялъ, что я не сильнѣе, не лучше другихъ, что я только стоялъ ранѣе въ счастливыхъ условіяхъ и потому... чуть не святымъ себя считалъ...

Онъ замолчалъ. Нѣсколько минутъ никто не прерывалъ молчанія.

— Жить снова захотѣлось, что отрезвился? — наконецъ, спросилъ не безъ ироніи Романъ.

— Нѣтъ. Заставили отрезвиться и жить,—отозвался Борисъ Николаевичъ.—Жизнь, какъ ни вертись и ни мудрствуй, руководится тѣмъ, что мы называемъ случайностями. У Вѣры умерли сынъ и мужъ. Она звала къ себѣ, она писала, что я нуженъ для нея.

— И этого было достаточно, чтобы ты успѣлъ со всѣмъ примириться, сталъ благодушествовать?

Романъ загорячился. Онъ не понималъ и не понимаетъ возможности подобныхъ примиреній. Это только признаки неглубокости натуры. Такъ легко серьезные психическіе перевороты не дѣлаются... Иволгинъ не торопился прерывать его. Когда Романъ сказалъ послѣднюю фразу:

— Я не думалъ, чтобы душевные перевороты могли происходить такъ быстро.

Иволгинъ отвѣтилъ съ улыбкой:

— Ты не дослушалъ конца и возражаешь на то, чего я не говорилъ...

И тѣмъ же тономъ человѣка, вспоминающаго прошлое, онъ продолжалъ:

— Съ этого дня я пересталъ играть своею жизнью, увидавъ, сколько жестокости съ моей стороны было въ этомъ прожиганіи жизни. Я рѣшился жить, потому что было бы подло наносить ударъ сердцу, пригрѣвшему меня съ дѣтства. Что бы тамъ ни было за гробомъ—нирвана или бытіе,—я не хотѣлъ уйти туда съ упрекомъ любимаго человѣка, любимой сестры. Но стоило мнѣ только вернуться сюда, чтобы во мнѣ пробудился стыдъ за себя, за свое малодушіе, за свое бездѣйствіе. Передъ лицомъ труженика-народа сидѣть сложа руки не приходится. Я же никогда не былъ ни отъявленнымъ негодяемъ, ни лѣнтяемъ по натурѣ. Ну, и сталъ работать, по мѣрѣ силъ и умѣнья... А вполнѣ ли я успокоился—это слишкомъ серьезный вопросъ, чтобы толковать о немъ ни съ того, ни съ сего. Довольно сказать, что я рѣшился, насколько возможно это для меня, принимать жизнь, какъ она есть...

Иволгинъ замолчалъ. Казалось, онъ былъ радъ, что могъ покончить этотъ разговоръ. На его лицѣ осталось выраженіе грусти, какого-то затаеннаго недовольства жизнью. Чувствовалось, что онъ, принимая ее, какъ она есть, жаждетъ чего-то высшаго, лучшаго, не довольствуясь работой муравья и не имѣя силъ и средствъ на иное болѣе широкое дѣло. Охваченный тоской, онъ собирался уже встать. Но отъ Романа было не такъ легко отдѣлаться.

— Изъ всего, что ты сказалъ, я вижу только, что болевой процессъ сомнѣній былъ въ тебѣ не глубокъ,—въ раздумьи сказалъ Романъ.

— Можетъ-быть,—коротко согласился Иволгинъ.

Потомъ, какъ бы задѣтый за живое, не въ силахъ сдерживать своего раздраженія, онъ спросилъ уже совсѣмъ рѣзко:

— Въ тебѣ онъ, вѣрно, глубже, и ты не успокоишься никогда, пока не разрѣшишь проклятыхъ вопросовъ о человѣчествѣ, о Богѣ, о загробной жизни, о будущемъ?.. А въ ожиданіи этого разрѣшенія будешь сидѣть, сложа руки?

— Что-жъ дѣлать: я медицинѣ не учился, вывихнутыхъ рукъ вправлять не могу,—отвѣтилъ Романъ насмѣшливо.

Въ его душѣ тоже шевельнулось смутное враждебное чувство къ Борису Николаевичу.

— Да развѣ только и свѣта въ окошкѣ, что медицина?— проговорилъ Иволгинъ.

— Что-жъ, въ земствѣ прикажешь служить? Ты, вотъ, говорятъ, со всѣми переругался...

— Я?—удивленно спросилъ Иволгинъ.—Да, я со всѣми почти переругался, но эти всѣ — нынѣшній составъ нашего уѣзда. Чистая случайность.

Онъ всталъ, взволнованный и раздраженный. Онъ самъ не отдавалъ себѣ отчета, что его раздражило. Но побѣдить этого раздраженія не могъ. Наташа и Вѣра Николаевна почти съ испугомъ замѣтили, какъ исказилось его лицо, какъ поднималась его грудь.

— Ты ужъ не думаешь ли идти по слѣдамъ Ѳеодора Романовича?—заговорилъ Иволгинъ. -Бранить земство, потому что многіе земцы паршивыя овцы, точно земцы изъ другой глины сдѣланы, чѣмъ всѣ остальные люди. Въ твои годы это рано еще! Если у насъ есть что хорошее, такъ это новыя учрежденія. Пусть въ нихъ теперь многое, даже все дурно, но каждый изъ насъ, если въ немъ есть хоть искра любви къ родинѣ, долженъ жизнь свою положить на истребленіе этого дурного, на развитіе ихъ въ ширь и въ глубь. Гдѣ вѣчно только все ломаютъ, тамъ не создаютъ ничего прочнаго. Теперь нужна дружная созидающая работа. Мы живемъ въ роковую пору, когда бездѣйствіе— преступленье. И молодое дерево требуетъ ухода именно тогда, когда оно молодо, когда оно не окрѣпло еще...

— Ну, братъ, одинъ въ полѣ не воинъ! — воскликнулъ Ломовъ.

— Не говори этихъ пошлыхъ фразъ, замаскировывающихъ лѣнь и апатію!—сурово оборвалъ его Борисъ Николаевичъ, и на его лицѣ выразилось презрѣнье.—Если бы мнѣ всю жизнь пришлось быть однимъ воиномъ въ полѣ, я бы и тогда не промѣнялъ этой роли на роль труса и дезертира. Ты помнишь, что говоритъ гётевскій Прометей о томъ, что онъ не возненавидитъ жизни, не уйдетъ въ пустыню изъ-за того, что не всѣ цвѣтущіе сны созрѣвали. Это голосъ настоящаго человѣка, голосъ настоящаго человѣчества, бросающій вызовъ судьбѣ.

— Ну, мы не Прометеи!—насмѣшливо сказалъ Романъ, задѣтый за живое.

— А что же? Вырождающіеся барчуки, ноющіе въ жизни,

въ романахъ, въ поэзіи о міровыхъ вопросахъ и міровой неурядицѣ, скрывающіе подъ покровомъ пессимизма нежеланіе стукнуть пальца о палецъ, благо у нихъ есть еще наслѣдственное, благо они еще могутъ урывать тѣмъ или другимъ способомъ куски у общественнаго пирога, благо имъ ворожатъ тетушки и бабушки, пристраивая ихъ на теплыя мѣста, а труженикъ-мужикъ проливаетъ потъ и содержитъ ихъ, какъ содержатъ щедрые богачи своихъ содержанокъ? Это мы, что ли?..

— Если тебѣ непремѣнно хочется перейти на личности,— запальчиво и рѣзко воскликнулъ Романъ:—то у меня лично есть оправданіе, что я лично еще и не могу ничего дѣлать.

Иволгинъ на минуту остановился, стараясь насколько возможно овладѣть собою.

— Не можешь? — проговорилъ онъ нѣсколько мягче.— Полно, Рома! Ты знаешь, что это одна отговорка.

— Отговорка? И ты рѣшаешься это говорить? Ты?—запальчиво воскликнулъ Ломовъ.

— Да. Ты, и не будучи поднадзорнымъ, искалъ бы какого-то крупнаго мірового дѣла и, не находя его, не дѣлалъ бы ничего. На что эта вѣчная игра въ прятки съ самимъ собою и съ людьми? Ты помнишь, когда ты толковалъ о желаніи послѣ Правовѣдѣнія поступить въ университетъ, я спрашивалъ тебя: «точно ли тебя влечетъ туда наука, а не желаніе убѣжать отъ дѣла ты прикрываешь ширмою науки?» Вѣдь я едва ли ошибался тогда: наука занимала часы, а цѣлые дни посвящались говорливому бездѣльничанью... И теперь, кто тебѣ помѣшаетъ взяться за работу, ну, хоть бы за статистику? Статистиковъ не мало бывало изъ поднадзорныхъ. Это лучшая, правда, не легкая, не шуточная школа для ознакомленія съ народомъ, съ его нуждами, съ его потребностями. Земство оказываетъ великую услугу, дѣлая это дѣло, и тутъ уже появились дѣятели вполнѣ достойные уваженія. Вотъ тебѣ поле дѣятельности. Узнай все касающееся народа и, можетъ-быть, ты придешь къ заключенію, какъ и чѣмъ можно хоть немного послужить ему. Вспомни графа Толстого.

Рома перебилъ его ироническимъ смѣхомъ.

— И въ эти отчеты статистиковъ никто никогда не заглядываетъ! Ихъ вороха гніютъ безъ пользы въ управахъ, идутъ на обертки...

— Это еще вопросъ. А если бы и такъ? Что-жъ изъ этого? Каковы бы ни были результаты честнаго труда, для

человѣка нужно сознаніе, что онъ-то лично сдѣлалъ по своему разумѣнію свое дѣло. Въ этомъ все. Такъ смотрѣли на дѣло всѣ трудящіеся люди, и та мысль поддерживала ихъ. Ты вотъ носишься со всѣми сомнѣніями и отрицаніями. Что-жъ ты думаешь, Байронъ меньше тебя былъ пессимистомъ? Однако, онъ пошелъ освобождать Грецію. Этою мыслью живетъ весь народъ. Онъ тоже говоритъ: «плетью обуха не перешибешь», «лбомъ стѣну не пробьешь», «выше лба глаза не растутъ». Это крикъ отчаянья, пессимизма. Но онъ, создавшій эти поговорки, идетъ въ поле весною со своимъ плугомъ, сохою, бороною и снова, и снова бороздитъ скупую землю съ надеждой, что авось нынче удастся...

— Да, пьянствуетъ съ горя,—вставилъ Романъ.

Иволгинъ гнѣвно сдвинулъ брови.

— Да, пьянствуетъ иногда съ горя! Вычитали и запомнили господа эту фразу. А вамъ не нужно и этого горя, чтобы спиться съ круга отъ бездѣлья! благо вамъ на прокормъ много дается тружениками... Мужика спаиваютъ кабатчики, потому что это доходъ даетъ, а вы—вы у нищаго суму отнимаете, чтобы пропить на шампанскомъ...

Вѣра Николаевна, какъ вѣчная примирительница и водворительница согласія, уже не разъ бросала умоляющіе взгляды на брата. Ее мучила мысль: «за что онъ обижаетъ Рому?» Опять на него напала раздражительность; въ такія минуты онъ самъ за себя не отвѣчаетъ. Она ерзала на своемъ стулѣ, покашливала, начала говорить что-то, перебивая разговоръ брата и Ломова. Но ея не слушали. Теперь она обрадовалась, когда братъ пошарилъ въ портсигарѣ папиросъ, и придралась къ случаю, чтобы окончить споръ:

— Папиросы у меня на этажеркѣ, Борисъ,—торопливо сказала она.—Кстати вели убрать кофе...

Онъ пошелъ въ комнаты. Онъ былъ радъ уйти, кончить этотъ разговоръ. Въ его душѣ бурный приливъ вспыльчивости уже улегся; въ ней шевелилось одно скверное сознаніе, что онъ обидѣлъ, побилъ, въ запальчивости, слабаго ребенка. Съ чего? Онъ вдругъ нахмурился. Ужъ не для того ли, чтобы разочаровать въ немъ Наташу? Нѣтъ, нѣтъ, просто увлекся и хватилъ черезъ край. Онъ даже забылъ о ея существованіи, когда говорилъ съ Ромой. Но прежде не случалось же этого? Отчего же теперь? Потому что Романъ теперь, повидимому, стоитъ на его дорогѣ? Ну, а если онъ точно станетъ на его дорогѣ, что тогда? Онъ сжалъ

рукою лобъ, какъ бы стараясь подавить мысль о томъ, что онъ ни передъ чѣмъ не остановится, когда придется устранить Ломова. Да, ни передъ чѣмъ! Какъ-то обидно злобно въ головѣ мелькало: «хоть бы черезъ его трупъ пришлось перешагнуть».

Въ саду, между тѣмъ, Вѣра Николаевна спѣшила съ добродушной хлопотливостью загладить произведенное братомъ впечатлѣніе. Она обернулась къ Ломову.

— Братъ сегодня взволнованъ! Самъ на себя не похожъ! Въ Ломовскомъ свирѣпствуетъ дифтеритъ въ той части, что къ заводу, за мостомъ. Братъ боится эпидеміи. Это вѣдь случается нерѣдко... Бѣдные крестьяне! И помочь-то трудно. Совсѣмъ голову потеряешь.

Романъ сидѣлъ уже на ступеняхъ крыльца, опершись локтями въ колѣни и опустивъ на ладони лицо.

— Въ такіе дни Борисъ всегда и рѣзокъ, и несправедливъ къ людямъ,—торопилась она объяснить дѣло.—Всѣ у него виноваты и самъ онъ прежде всего. Ужъ такой характеръ! Вы, Рома, не сердитесь на него. Онъ добръ, но возбуждается такъ легко. Горячъ очень!

Рома очнулся и поднялъ голову. Его взглядъ напоминалъ взглядъ человѣка, внезапно пробужденнаго отъ сна. Вѣра Николаевна и Наташа чуть не вскрикнули, такъ былъ блѣденъ Ломовъ.

— Сердиться? Развѣ я имѣю право сердиться? — глухо проговорилъ онъ.

Онъ горько улыбнулся.

— Борисъ только высказалъ громко все то, что я передумалъ о себѣ самъ... Да, такъ жить нельзя... такимъ жить нельзя...

Иволгину и Наташу охватило холодомъ отъ этихъ словъ, отъ звуковъ этого голоса. Имъ на минуту показалось, что онъ говоритъ о самоубійствѣ.

— Это хорошо, когда другіе скажутъ о тебѣ то, что ты самъ о себѣ думалъ тайкомъ, украдкой, лукавя самъ съ собою,—продолжалъ онъ все такъ же глухо.

И, поднимаясь со ступеней, онъ съ нервнымъ смѣхомъ замѣтилъ:

— Помните слова Гоголя о публично данной пощечинѣ? Это Борисъ далъ мнѣ ее...

Наташу охватила жалость къ Ромѣ. Зачѣмъ Борисъ Николаевичъ такъ жестоко обошелся съ нимъ? Еще за минуту она мысленно соглашалась съ каждой фразой Иволгина.

Она думала, что и она будетъ такъ же, какъ онъ, смотрѣть на жизнь и трудъ. Она любовалась его воодушевленіемъ. Она была готова вставить въ споръ и свое слово въ его духѣ, заодно съ нимъ. Ей хотѣлось пожурить Рому, какъ журятъ капризнаго и лѣнящагося ребенка. Теперь въ ея умѣ проносилась только одна мысль: «Зачѣмъ, зачѣмъ Борисъ Николаевичъ высказалъ все это. Рома и такъ глубоко несчастливъ. Это жестоко со стороны Бориса Николаевича». Она почти сердилась на него. Рома такой слабый, маленькій. Почему-то онъ казался ей даже не мужчиной, а ребенкомъ. На дѣтей нужно дѣйствовать лаской, кротостью; Иволгинъ въ эту минуту появился снова на террасѣ со шляпой въ рукахъ.

— Иду въ Ломовское,—сказалъ онъ:—еще увидимся?

— Не знаю, — проговорилъ Рома. — Ты вѣдь долго проходишь?

— Да, больныхъ много... Боюсь я, что настоящая эпидемія начнется... У земскаго врача въ другой волости работы по горло, а я одинъ здѣсь едва ли что подѣлаю. Фельдшерскаго пункта здѣсь даже нѣтъ...

Онъ пожалъ всѣмъ руки и пошелъ. Наташа какимъ-то растеряннымъ, испуганнымъ взглядомъ взглянула на Иволгину.

— Вѣдь это заразительная болѣзнь? Да? Это очень опасно?

Вѣра Николаевна утвердительно кивнула головой.

— Какъ же?—растерянно сказала Наташа, охваченная страхомъ за Иволгина.—Онъ можетъ самъ заразиться.

— На то онъ и докторъ, чтобы лѣчить,—сказалъ Романъ и впервые почувствовалъ чуть не ненависть къ Иволгину.

Наташа вспылила.

— Онъ не обязанъ здѣсь лѣчить!.. Онъ рискуетъ собою... Хорошо тебѣ говорить, сидя на мѣстѣ...

Въ ея голосѣ звучали рѣзкія ноты, помимо ея воли. Онѣ кольнули Ломова въ самое сердце. А! она тоже, и она! Онъ мрачно взглянулъ на нее. Она не замѣтила ни впечатлѣнія, произведеннаго ея словами, ни взгляда Ромы. Ее всю охватилъ только страхъ за Иволгина. Она теперь уже ни о чемъ не думала, кромѣ его. Онъ подвергаетъ себя добровольно опасности, онъ можетъ заразиться, умереть! Она преувеличивала опасность, она позабыла, что тысячи врачей посѣщаютъ дифтеритныхъ больныхъ, и поняла только какіе-то вычитанные въ газетахъ отдѣльные случаи, когда

врачи заражались дифтеритомъ. И онъ, Иволгинъ, можетъ заразиться. Зачѣмъ она не попросила его взять ее съ собою? Она была бы спокойнѣе. Вѣдь если бы она была его женою, она пошла бы съ нимъ? Да, да, пошла бы всюду, гдѣ ему угрожала бы опасность. Все, все дѣлила бы она вмѣстѣ и радость, и горе, и тревоги... Она вдругъ точно очнулась отъ забытья. Что это пришло ей въ голову? Вѣдь она нѣсколько дней тому назадъ дала слово Ромѣ? Она почти со страхомъ взглянула на это блѣдное, нервно подергивавшееся лицо. Неужели она точно будетъ его женою? Какъ могла она согласиться на это? На всю жизнь, на всю жизнь...

— Наташа, что съ тобою?—спросила Вѣра Николаевна, замѣтивъ, какъ поблѣднѣла молодая дѣвушка.

— Очень ужъ за Бориса Николаевича боится,—ядовито замѣтилъ Ломовъ.

Наташа заволновалась, загорячилась.

— А ты ни за кого не боишься!—рѣзко сказала она.— Ни за друзей, ни за враговъ?.. Если бы я пошла туда, ты и тогда обезпокоился бы только потому... чго не съ кѣмъ бы было говорить дома...

Ея голосъ прерывался отъ рыданій.

— Наташа, Наташа, милая, что съ тобой!—заговорила заботливо Вѣра Николаевна, подходя къ ней, какъ нѣжная мать.

— Это же... ужасно... ужасно... Всѣ точно... враги,—прерывающимся голосомъ шептала молодая дѣвушка.

Рома сдѣлалъ надъ собою усиліе и какъ могъ спокойно произнесъ:

— Ну, и у тебя нервы... Я же пошутилъ... Для тебя же, чтобы ты не волновалась...

Онъ говорилъ почти шутливымъ тономъ, но чувство впервые пробудившейся во всей силѣ глубокой ревности душило его.

IV.

Вся семья Ломовыхъ возвратилась отъ Апухтина въ самомъ радостномъ настроеніи. У Апухтина не домъ, а дворецъ: мраморъ, бронза, статуи, картины, бархатъ, шелкъ, лакеи въ ливрейной одеждѣ, выдрессированные, какъ въ лучшихъ домахъ въ столицѣ. Однѣ конюшни могли удивить своею обстановкою, поглотившею столько денегъ, что на нихъ можно бы поднять благосостояніе цѣлой деревни. Та-

кой роскоши уже давно не видали Ломовы и, встрѣтивъ ее въ домѣ Апухтина, они испытывали такое чувство, какъ будто передъ ними открылись двери потеряннаго ими рая. Но не это главное, а то, что Апухтинъ не выдержалъ и прямо намекнулъ Ѳеодору Романовичу насчетъ своихъ плановъ. Онъ, какъ это часто бываетъ съ людьми его лѣтъ и въ его положеніи, боялся отказа и потому спѣшилъ предварительно ощупать почву. Юноши не боятся отказа: онъ не дѣлаетъ ихъ комичными; старикъ можетъ показаться смѣшнымъ, когда на его предложеніе отвѣтятъ «нѣтъ». Ломовъ понялъ это тотчасъ же, какъ только Апухтинъ заговорилъ со вздохомъ о томъ, что въ его домѣ есть все, кромѣ хозяйки, кромѣ доброй феи, достойной наслаждаться и распоряжаться всѣми этими благами. Хозяинъ, все такъ же вздыхая, прибавилъ, что онъ уже не такъ молодъ, чтобы вѣрить слѣпо въ возможность ввести въ свой домъ эту добрую фею. Его жирное лицо приняло нѣсколько смѣшное чувствительное выраженіе. Ломовъ поспѣшилъ разогнать «мрачныя мысли» хозяина. Апухтинъ долго и крѣпко пожималъ ему руку.

Потомъ Апухтинъ показывалъ Аннѣ Ѳеодоровнѣ свою роскошную библіотеку, гдѣ одна книга была новѣе и наряднѣе другой, точно это была выставка лучшихъ произведеній переплетныхъ дѣлъ мастеровъ. Показавъ «плоды» своихъ занятій по генеалогическимъ изслѣдованіямъ, Апухтинъ замѣтилъ, вздыхая, что онъ боится наскучить Ломовой этой «прозой» учености. Она подняла на него свои выразительные глаза, пристально всматривавшіеся въ людей вслѣдствіе нѣкоторой близорукости, и тихо, но твердо отвѣтила, что она уже пережила тотъ возрастъ, когда люди видятъ и любятъ одну «поэзію» въ жизни. Онъ поспѣшилъ любезно заспорить съ нею по этому поводу, не согласиться съ ея мнѣніемъ на этотъ счетъ. «Поэзія—о, что можетъ быть выше этого!» Она, все такъ же выразительно смотря на него, сказала, что она немного иначе смотритъ на дѣло—любитъ поэзію, но считаетъ правду выше поэзіи. Она сама теперь именно тѣмъ и счастлива, что считаетъ для себя невозвратно прошедшимъ время «пустыхъ иллюзій», «фантастическихъ грезъ», «эффемерныхъ увлеченій». Вмѣсто всего этого для нея настала пора сознанья «истинно хорошаго», «истинно добраго». Она даже пококетничала, назвавъ себя «совсѣмъ старухой». Они были вдвоемъ, они бесѣдовали въ элегическомъ тонѣ, они были взволнованы сознаніемъ, что для

нихъ настаетъ рѣшительная минута, и потому ни ему, ни ей не пришла въ голову горько-ироническая фраза: «теперь не время гнаться за журавлемъ въ небѣ, а надо захватить синицу въ руки». Можетъ-быть, даже они и не знали ничего объ этой поговоркѣ про журавля и синицу. Валеріанъ Александровичъ, всматриваясь въ молодую дѣвушку замаслившимися глазами, тихо спросилъ ее, позволитъ ли она ему быть у нихъ во вторникъ. Она, протягивая ему руку, сказала, что онъ всегда будетъ у нихъ милымъ и дорогимъ гостемъ. Онъ поднесъ эту нѣжную, точно выточенную изъ мрамора, выхоленную въ бездѣйствіи руку къ своимъ отвислымъ губамъ. Оба съ облегченнымъ сердцемъ почувствовали разомъ, что они «объяснились», что все дальнѣйшее будетъ рядомъ простыхъ формальностей...

— Кончено, кончено!—мысленно повторяла она, и по ея лицу скользила надменная улыбка.

Ее охватила такая радость, что ей показалось, что въ эту минуту она даже любитъ его. Когда человѣка, случайно упавшаго въ воду, спасаютъ—онъ не разбираетъ, какъ смотритъ его избавитель отъ смерти, и бросается ему на шею.

Когда Анна Ѳеодоровна возвращалась съ Апухтинымъ изъ библіотеки въ парадную гостиную, застланную ковромъ, съ покрытыми штофомъ стѣнами, съ золоченой мебелью, съ картинами старинныхъ мастеровъ, съ массой тропическихъ растеній, съ дорогими мраморными статуями, она думала только одно: «это все мое!» И она шла сіяющая, торжествуя, счастливая и гордая. Ни на секунду она не задумалась о томъ, что она продаетъ себя за эти вещи, какъ послѣдняя падшая женщина, но зато она думала съ гордымъ пренебреженіемъ къ людямъ о томъ, что она теперь, если бы ей захотѣлось, могла бы купить всѣхъ и каждаго. Развѣ есть между ними не продажные? Вся разница въ томъ, кто въ какую сумму оцѣниваетъ себя. Ей почему-то вспомнился Иволгинъ и какъ-то странно въ воображеніи нарисовался не его образъ, а образъ старшаго сына Шершова. Почему? Она сама не знала. Просто капризъ воображенія. Она даже усмѣхнулась. Никогда она не любила Иволгина, просто «смазливое» лицо остановило на минуту ея вниманіе, раздражило воображеніе. Она пожала плечами. Мало ли такихъ лицъ!..

Торопливые вопросы отца по дорогѣ домой немного оскорбили ея гордое сознаніе своихъ достоинствъ, своей власти.

Чего тутъ разспрашивать? Точно тутъ могутъ быть сомнѣнія? Все зависѣло отъ нея, а не отъ кого-нибудь другого? Она, конечно, согласна, потому что это блестящая партія и притомъ она, Ломова, чѣмъ больше узнаетъ этого мягкаго и деликатнаго человѣка, тѣмъ болѣе любитъ его. Она никогда не думала встрѣтить на пути своемъ такого истиннаго джентльмэна. Она сказала даже, что ей особенно пріятно то, что онъ предпочитаетъ всѣмъ языкамъ англійскій языкъ. Это вполнѣ гармонируетъ съ его вкусами, привычками, идеалами. Антонина Аркадьевна инстинктивно испугалась, что у нея отнимается одна изъ причинъ ея «мученичества» и поспѣшила со вздохомъ выразить сожалѣніе о томъ, что Апухтинъ старъ. Анна Ѳеодоровна съ увлеченіемъ возразила, что онъ ей напоминаетъ благородное лицо Бёкля. Мать не могла вспомнить сразу, кто былъ Бёкль. Вѣроятно, какой-нибудь извѣстный англійскій министръ. Анна Ѳеодоровна прибавила, что и занятія Апухтина, чисто кабинетныя, долголѣтнія, напоминаютъ ей занятія Бёкля. Кто зналъ Бёкля, покуда онъ не напечаталъ своего труда? Считали лѣнивымъ, недалекимъ, невыдающимся человѣкомъ. А потомъ? Европейская знаменитость, одно изъ свѣтилъ нашего вѣка!..

Ѳеодоръ Романовичъ потиралъ руки и волновался. Въ этомъ волненіи была не одна радость, но была и тревога. Какъ только онъ остался дома наединѣ съ женою, онъ заговорилъ, ходя по комнатѣ и жестикулируя:

— Гора съ плечъ свалилась, гора! Я въ восторгѣ! Одно меня смущаетъ, но это въ сущности пустяки.

— Да, да, и я говорю, что онъ старъ!—торопливо согласилась Антонина Аркадьевна, радуясь предлогу поныть.

— Старъ, старъ! Я вовсе не о томъ,—перебилъ мужъ.— Дѣло въ томъ, что нельзя же ее выдать замужъ въ одной сорочкѣ!..

— Ужъ не приданаго ли онъ потребуетъ?—съ ироніей замѣтила Ломова, удивляясь его несообразительности.—Что за мысли всегда у тебя!

Его укололъ этотъ пренебрежительный тонъ. Что за мысли у него? У него всегда самыя вѣрныя мысли. Онъ видитъ то, чего не замѣчаютъ другіе.

— Не приданаго, не приданаго, а того, чтобы жена не пришла къ нему въ лохмотьяхъ,—горячо проговорилъ онъ.— Надо хоть кое-какой гардеробъ сдѣлать, бѣлье... Или вы думаете, что ей легко будетъ съ перваго дня просить у

мужа на бѣлье? Это вамъ не пришло въ голову, хотя вы и мать? Вы сказали: что за мысли приходятъ мнѣ въ голову? Я вамъ отвѣчу: что за мысли у васъ въ головѣ?

Онъ былъ очень радъ, что могъ попрекнуть жену за ея несообразительность. Да, но онъ, а она страдаетъ отъ этого недостатка. Онъ никогда не упускалъ случая указать на это. Потомъ переходя въ свой обычный тонъ, онъ заговорилъ:

— И наконецъ нужно принимать его передъ свадьбой. Нужно сдѣлать хоть одинъ или два обѣда. Поздравленія начнутся со всѣхъ сторонъ. Все это потребуетъ расходовъ. А теперь время горячее, рабочимъ нужно платить, затраты дѣлать. До поздней же осени еще далеко. Деньги же только тогда и могутъ явиться. Предлагать Шершову еще участокъ лѣса? Да онъ, можетъ-быть, и не нуженъ ему. Можетъ-быть, и денегъ больше нѣтъ у старика. Даже навѣрное, нѣтъ. Къ господамъ Тарасовымъ идти—слуга покорный. Я еще никому не кланялся.

— Да на что тутъ кланяться? Странные у тебя взгляды,— возразила Ломова.

— Ахъ, что вы понимаете!—воскликнулъ Ломовъ.

И, остановившись передъ женой, онъ неожиданно спросилъ:

— Хоть вамъ не говорилъ ли Романъ Ѳеодоровичъ, чѣмъ кончится его канитель? Намѣренъ онъ жениться на Наташѣ? Или такъ они и будутъ киснуть?

— Развѣ я знаю!

Онъ заходилъ по комнатѣ.

— Это сынъ! это сынъ! Что онъ думаетъ, на что надѣется, ни мать, ни отецъ не знаютъ. Молодое поколѣніе—сидитъ около женской юбки и только вздыхаетъ! Я ровно ничего не понимаю! Еще если бы какую-нибудь крестьянскую дѣвку завелъ, тогда...

— Избавь меня отъ своихъ грязныхъ соображеній,— остановила его жена, дѣлая брезгливую гримасу.

Въ ней вдругъ поднялось что-то противъ мужа.

— Ахъ, матушка, мы ужъ не ребята,—раздражительно проговорилъ Ломовъ:—и знаемъ, что не можетъ же такъ жить молодой человѣкъ двадцати четырехъ лѣтъ. Это наконецъ не только было бы смѣшно, но и нелѣпо. Я думаю, я тоже былъ молодъ...

Она въ волненіи встала и взглянула на него съ презрѣніемъ.

— Ты, кажется, намѣренъ разсказывать мнѣ о моихъ предшественницахъ?—сказала она, мѣряя его уничтожающимъ взглядомъ.—Я разъ и навсегда просила тебя не посвящать меня въ твою закулисную жизнь. Кажется, довольно того, что я всегда дѣлала и *дѣлаю видъ*, что я ничего не замѣчаю.

Въ ея голосѣ зазвучали укоряющія ноты. Она особенно подчеркнула слова *дѣлаю видъ*. Ѳеодоръ Романовичъ внезапно засуетился и растерянно, какъ пойманный школьникъ, началъ оправдываться:

— Мнѣ же не девяносто лѣтъ. Ты должна понять. Мы мужчины. И охота тебѣ вѣрить всякимъ сплетнямъ. Если я...

Она остановила его.

— Ты бы долженъ былъ подумать, что у насъ сынъ и дочь.

Она тоже заходила по комнатѣ, закуривъ папиросу. Потомъ отвернулась лицомъ къ окну, чтобы не видѣть мужа. Онъ казался ей противнымъ. Онъ, покусывая свои бѣловатые усы, смущенно толкался изъ угла въ уголъ. Что она знаетъ? Кто разсказалъ? Наконецъ, что-жъ тутъ такого, что онъ ѣздитъ на мельницу? Она же давно ему не жена. И сама виновата. Не желала имѣть болѣе дѣтей. Что-жъ, онъ не могъ такъ жить, соломеннымъ вдовцомъ. А теперь... Онъ взглянулъ искоса на жену: ея крупная, полная, обрюзглая фигура, въ обвисломъ капотѣ, вызвала на его лицѣ гримасу: неужели она была когда-нибудь хороша собою? Неужели онъ ее когда-то любилъ? Самъ не зная отчего, онъ усмѣхнулся глупою улыбкою, растянувшею его ротъ. Ему вспомнился цѣлый рядъ женщинъ до женитьбы, послѣ женитьбы. Наканунѣ свадьбы онъ порвалъ съ одною изъ нихъ. Черезъ мѣсяцъ послѣ свадьбы онъ вернулся къ ней и шутливо называлъ ей себя «блуднымъ сыномъ». Онъ готовъ былъ теперь засмѣяться вслухъ отъ прилива шаловливыхъ воспоминаній. «Однако, какъ я помолодѣлъ, какъ помолодѣлъ здѣсь въ деревнѣ», школьнически, весело мелькнуло въ его головѣ, и онъ бойко повернулся на каблукахъ, весело прищелкнувъ пальцами. Антонина Аркадьевна очнулась отъ своихъ думъ, слегка вздрогнувъ при этомъ стукѣ каблуковъ и щелканьи пальцами. Она обернулась и взглянула на мужа вопросительнымъ взглядомъ. Ѳеодоръ Романовичъ сконфузился, какъ мальчишка, отъ этого брошеннаго на него взгляда.

— Почему ты заговорилъ о Ромѣ?—спросила жена небрежнымъ и холоднымъ тономъ.

— А? О Ромѣ?—переспросилъ Ломовъ, точно упавъ съ неба.

— Ну да, ты же заговорилъ о его женитьбѣ,—напомнила она.

— Да, да,—произнесъ Ломовъ, оправляясь отъ игривыхъ представленій и отъ внезапнаго смущенія.—Все наше спасеніе теперь въ займѣ у Наташи извѣстной суммы денегъ. Такъ неловко же занять, пока она не невѣста. Будетъ объявлена невѣстой—тогда другое дѣло: все наше—ея. Притомъ деньги надо будетъ взять и ей на приданое. Это будетъ предлогъ.

— Опять долги! — воскликнула Антонина Аркадьевна, боявшаяся теперь ихъ, какъ огня.

— Какой же это долгъ?—удивился мужъ.—Ея состояніе—состояніе Ромы; наше имѣніе—ея имѣніе... тутъ все общее... Гдѣ же долгъ? Но надо ускорить, ускорить все это...

Ѳеодоръ Романовичъ опять увлекся и заговорилъ, какъ имъ нужны деньги. Но игривыя мысли ужъ не покидали его, и въ его головѣ все проносились чьи-то слова: «а матеріи на платье подаришь?» Потомъ показалось, что «осмѣлившійся» Аквилоновъ, хихикая, замѣчаетъ: «а она-съ бабенка веселая»; Ломовъ усмѣхнулся. Онъ заявилъ наскоро женѣ, что онъ завтра же поговоритъ съ Ромой, что ему стоитъ только лично взяться за дѣло, и оно тотчасъ же сладится. Антонина Аркадьевна заявила, что она умываетъ въ этомъ дѣлѣ руки, такъ какъ Рома способенъ даже за заботы о немъ сдѣлать сцену. Она даже со вздохомъ прибавила, что она не знаетъ, въ кого онъ вышелъ такимъ вульгарнымъ. Въ глубинѣ души она повторяла, что онъ въ отца. Она всю жизнь страдала отъ вульгарныхъ выходокъ его отца. Еще бы! заводилъ любовницъ Богъ знаетъ гдѣ. Вотъ и теперь. О, навѣрное о мельницѣ недаромъ говорятъ. Она сама своими ушами слышала. Наконецъ, чѣмъ объяснить его частыя отлучки? Недаромъ онъ такъ развязенъ въ послѣднее время. Вертится на каблучкахъ. Точно помолодѣлъ. А она? О, удѣлъ всѣхъ страдающихъ рано старѣть, рано сходить въ могилу...

На другой день утромъ Ѳеодоръ Романовичъ еще не успѣлъ переговорить съ Ромой съ глазу на глазъ, какъ Романъ куда-то исчезъ тотчасъ послѣ утренняго чаю. Анна Ѳеодоровна, не видя ни Наташи, ни брата, побродила по дому, глядя съ презрительными гримасами на его обстановку, казавшуюся ей теперь такой неприглядной, такой

жалкой, и, мечтая о предстоящей ей роскоши, рѣшилась поѣхать кататься на Мустафѣ III. Проѣзжая по дорогѣ шагомъ среди полей и луговъ, она думала, что скоро она вырвется изъ этой глуши. Путешествіе за границу, зимній сезонъ въ Петербургѣ: выѣзды и пріемы, салонъ съ блестящими представителями изъ высшихъ сферъ административной, умственной и художественной дѣятельности, все это, какъ въ калейдоскопѣ, проходило и мѣшалось въ ея воображеніи. Съ брезгливой и иронической гримасой смотрѣла она на все окружающее ее, на этотъ міръ стоящихъ на низшей ступени развитія людей-животныхъ, неприглядныхъ и грязныхъ, въ горѣ и въ радости не пробуждавшихъ въ ней ничего кромѣ отвращенія. Этотъ народъ ей былъ такъ же чуждъ, какъ дикари какихъ-нибудь австралійскихъ островов.

На дорогѣ она встрѣтила брата. Онъ шелъ мрачный и погруженный въ думы, его лицо нервно подергивалось, какъ это у него бывало въ минуты сильной душевной тревоги. Она окликнула его.

— Ты откуда?—спросила она.

— Такъ... бродилъ,—отвѣтилъ онъ отрывисто.

— Я думала, ты съ Наташей.

— Нѣтъ.

— А она гдѣ?

— Почему я знаю,—рѣзко отвѣтилъ онъ.

Она пристально взглянула на него. Что случилось? Поссорились? Какъ же такъ? Изъ-за чего? Ей пришелъ на память Иволгинъ. Ужъ не туда ли ушла Наташа?

— Не къ Иволгинымъ ли пошла она?—спросила она и тотчасъ же прибавила:—Не хорошо, что она къ нимъ ходитъ во всякое время одна...

— Развѣ мы можемъ запретить? — отрывисто проговорилъ онъ.

— Не мы, а ты,—поправила сестра.—Ты ея женихъ и тебѣ вовсе не все равно, куда она ходитъ... Къ тому же Борисъ Николаевичъ способенъ на все...

Въ другое время Романъ вспылилъ бы и вступился бы за Иволгина. Теперь онъ промолчалъ.

— Онъ, кажется, очень искренно ненавидитъ всѣхъ насъ и очень нѣжно смотритъ на Наташу или на ея деньги, — продолжала она. — Я говорила въ субботу еще съ нимъ и поняла очень многое. Ахъ, бѣдный Рома, какъ грустно, что приходится вести борьбу съ подобными людьми.

Его лицо искажалось нервными гримасами.

— Не разсказывай ничего, я все самъ знаю! — отвѣтилъ онъ.

Онъ пошелъ прочь. Она продолжала прогулку. Странно! ее теперь вовсе не занимали ни Роза, ни Наташа, ни Иволгинъ. Она обмѣнялась нѣсколькими фразами съ братомъ, но ее вовсе не заинтересовали вопросы: точно ли Наташа у Иволгиныхъ? Дѣйствительно ли Иволгинъ хочетъ отбить ее у Ромы? Что будетъ съ Ромой, если Наташа измѣнитъ? Все это заслонялось однѣми мечтами о своемъ будущемъ, о близости бѣгства отъ всѣхъ этихъ людей, окружающихъ ее теперь. Что они ей? На что они ей? Никогда у ней не было ничего общаго съ ними. Правда, въ послѣднее время они какъ будто нѣсколько сблизились. Но вѣдь въ тюрьмѣ люди свыкаются съ науками, тараканами, мышами, только бы избавиться отъ ужаса одиночества. Здѣсь тоже своего рода тюрьма...

Рома же шелъ по направленію къ своему дому. Его грудь тяжело дышала. Теперь ему стало ясно многое, что за минуту было еще смутно. Въ субботу сестра говорила съ Иволгинымъ. Вѣроятно, проговорилась о намѣреніяхъ его, Романа. Вчера Иволгинъ при Наташѣ со злобою старался затоптать его въ грязь. До этой поры онъ никогда не говорилъ съ нимъ такъ рѣзко и грубо. Онъ готовъ бы былъ убить его, Романа, чтобы овладѣть Наташей. Это очевидно. Вотъ грязный источникъ этого благороднаго порыва, этихъ безпощадныхъ обличеній! Мало ему того, что онъ самодовольный мѣщанинъ, онъ хочетъ отнять для себя послѣдній проблескъ свѣта у того, у кого нѣтъ ничего, кромѣ надежды на этотъ проблескъ. Безсердечный, сухой эгоистъ! Всѣ люди таковы! А Наташа? Да, она побѣжала вѣрно къ нему. Справиться, не умеръ ли онъ отъ дифтерита. Какъ же, подвергаетъ свою драгоцѣнную жизнь опасности! Рисуется своей любовью къ народу. А что ему народъ? Роману вспомнились всѣ мелочи вчерашняго вечера. Ревность охватила его всего. Ему казалось, что онъ скорѣе задушитъ Наташу, чѣмъ уступитъ ее. Воображеніе, вѣчно склонное къ преувеличеніямъ, рисовало мрачныя картины и еще болѣе усиливало бурю въ сердцѣ Ломова.

На минуту онъ не повѣрилъ своимъ глазамъ, увидавъ, что Наташа идетъ впереди него. Ему казалось, что онъ бредитъ. Нѣтъ, нѣтъ, это точно она. Идетъ ровной поступью, спокойная, счастливая. Видѣла его, своего друга,—

живъ, здоровъ — какъ же ей не быть счастливой? Сдѣлавъ усиліе, онъ нагналъ ее почти у самаго дома, запыхавшись на ходу.

— Ты куда ходила? — крикнулъ онъ, грубо хватая ее за руку.

Она вздрогнула отъ испуга и отшатнулась. Неожиданность была такъ велика, что было трудно не растеряться. Никогда еще не было съ ней ничего подобнаго. Онъ, какъ безумный, сдавливалъ ея руку.

— Что съ тобой! — проговорила она и рванула руку. — Ты съ ума сошелъ?

— Ну да, ну да! Сошелъ съ ума!—кричалъ онъ съ исказившимся лицомъ. — Но говори, гдѣ ты была? У Иволгиныхъ? Моя невѣста, моя будущая жена не имѣетъ права бѣгать къ постороннимъ мужчинамъ!

Онъ хотѣлъ опять стиснуть ея руку. Она отстранила его. Ея лицо было гнѣвно и сурово. Что съ нимъ? Какое право имѣетъ онъ кричать на нее? За что? Ужъ точно не сошелъ ли онъ съ ума?

— Я тебѣ могла бы не отвѣчать,—сказала она, смотря на него, какъ на безумнаго: — но я тебѣ отвѣчу. Я была не у Иволгиныхъ, а въ деревнѣ. Ты очень хорошо знаешь, что я тамъ бываю каждый день.

У него разомъ отлегло отъ сердца. Онъ почти съ сіяющимъ лицомъ шагнулъ къ ней. Она опять отстранила его.

— Но если бы я даже была у Иволгиныхъ, у Бориса Николаевича Иволгина, — продолжала она, отрывисто и въ волненіи произнося слова: — то я не простила бы тебѣ и тогда этой выходки. Слышишь!.. Я твоей матери разъ и навсегда сказала, что не позволю стѣснять мою свободу, и то же повторяю тебѣ... Я не преступница, и сторожей мнѣ не надо!.. Кто не вѣритъ мнѣ, тѣ мнѣ не друзья...

Она двинулась впередъ, чтобы уйти отъ него. Ее охватило волненіе. Ея грудь тяжело дышала.

— Наташа!—воскликнулъ онъ уже молящимъ голосомъ, идя за ней. — Наташа! Пойми ты, что я безумно люблю тебя! Что я ревную тебя ко всѣмъ. Вотъ у tante Бетси мнѣ только показалось, что за тобой ухаживаетъ Владиміръ, такъ у меня въ глазахъ потемнѣло. Вчера ты заплакала, испугавшись за Бориса, а во мнѣ все перевернулось... У меня же ты одна. На что мнѣ жить безъ тебя?.. Ну да, я безумецъ, безумецъ! Но вѣдь это любовь... Развѣ можно любить и не ревновать?

Она шла къ дому. Ея молодая грудь тяжело поднималась отъ волненія, отъ негодованія. Ей не хотѣлось ни объясняться съ нимъ, ни смотрѣть на него.

— Наташа, что же ты молчишь? Наташа!—молилъ онъ, точно безпомощный ребенокъ, тащась по ея слѣдамъ.

Она, какъ бы пересиливъ себя, на минуту остановилась и прерывающимся голосомъ произнесла.

— Ты бы хоть подумалъ о томъ, чего я стану ждать отъ нашего брака, если мнѣ уже теперь приходится переживать такія сцены?

И съ мимовольною безпощадной жестокостью женщины, сознающей приносимую ею жертву, она добавила:

— Или ты думаешь, что съ меня мало того, что ты будешь вѣчно жаловаться, вѣчно отравлять и мнѣ, и себѣ жизнь своими сомнѣніями?

Онъ отшатнулся отъ нея въ испугѣ. Ея слова отозвались въ немъ чисто физическою болью. Потомъ его охватила бѣшеная злоба.

— А, такъ ты уже предчувствуешь, что я отравлю тебѣ жизнь?—воскликнулъ онъ съ ѣдкою горечью.—Тогда зачѣмъ же идти за меня замужъ? Зачѣмъ было давать слово? Изъ состраданія, изъ сожалѣнія? Отдаешь жизнь, какъ подаяніе нищему? О, я не хочу никого губить, я не требую жертвъ! Бери назадъ свое слово, бери!

Она не обрадовалась, не опечалилась. Въ сердцѣ была одна тупая боль. Она сознавала, что еще минута, и онъ уже будетъ обнимать ея ноги, моля ее не брать назадъ слова, и хуже всего было сознаніе того, что она, любя другого—она уже вполнѣ понимала это—будетъ не въ силахъ взять назадъ свое слово. Съ озлобленнымъ и гнѣвнымъ Ромой она могла бороться, могла быть суровой до жестокости; его дѣтски безпомощныхъ слезъ она не могла видѣть, чтобы не поддаться на нихъ. Она на минуту закрыла глаза рукою, точно не желая видѣть ни его, ни свѣта дня, ни дома, куда входила. Ей все опостылѣло здѣсь, хотѣлось только бѣжать, бѣжать. За нею послышался молящій, точно рыдающій голосъ:

— Наташа! Наташа!

Она услышала эту дѣтскую мольбу, эти рыданія въ голосѣ и, какъ подкошенная, опустилась на ступени лѣстницы, ведущей во второй этажъ Ломовскаго дома, обезсилѣвшая, безпомощная.

— Господи! Чего ты хочешь отъ меня! — воскликнула

она, тихо плача. — Жизнь хочу посвятить теперь тебѣ, а ты хочешь, чтобы она была еще отравленною! Это жестоко, жестоко!

Онъ уже цѣловалъ ея руки, припадалъ головой къ ея колѣнямъ.

Она безсознательно гладила его волосы, какъ мать, гладящая по головкѣ своего больного ребенка. Она думала теперь только о томъ, что его, несчастнаго, искалѣчили люди, обстоятельства, судьба, а она, сильная и здоровая, наперекоръ имъ всѣмъ спасетъ его, сдѣлаетъ полезнымъ человѣкомъ. Самолюбивыя и самонадѣянныя мечты молодости взяли на минуту верхъ надъ всѣми остальными чувствами и соображеніями. А тотъ, Иволгинъ? Что-жъ, вѣдь и онъ жертвуетъ собою людямъ. Она, подобно ему, пожертвуетъ собою этому больному человѣку. Справится ли она со своею задачею? Да, у нея много силы, здоровья, энергіи. И развѣ можетъ быть такой нравственно больной человѣкъ, чтобы нельзя было помочь ему въ эти годы?.. Это были молодыя мечты о томъ, чего еще не испыталъ человѣкъ. Подвигъ, невѣдомый еще покуда, казался по силамъ. Иволгинъ ей еще не сказалъ «люблю», и она думала, что она сохранитъ къ нему всю жизнь то же чувство, какое питаетъ къ нему теперь, — восторженное обожаніе, безмолвное благоговѣніе. Вѣдь питали же такія чувства юныя дѣвушки къ великимъ подвижникамъ христіанства? Вѣдь обожали же такъ молодыя дѣвушки великихъ героевъ?.. Это была любящая дѣвушка-ребенокъ; любимая женщина еще не просыпалась въ ней...

Послѣ обѣда Ѳеодоръ Романовичъ прошелъ въ комнату сына. Романъ, уже совершенно успокоившійся, лежалъ по обыкновенію на постели и мечталъ. Въ послѣднее время онъ какъ-то особенно пристрастился къ этому сладкому бездѣлью лежа. Приходъ отца заставилъ его очнуться отъ грёзъ и лѣниво подняться съ постели.

— Мнѣ нужно переговорить съ тобою,—началъ Ѳеодоръ Романовичъ, ходя по комнатѣ.

Рома удивился. О чемъ? Что случилось? Онъ такъ рѣдко говорилъ съ отцомъ.

— Такъ жить въ твои годы нельзя, мой милый, — развязно и дружески началъ Ѳеодоръ Романовичъ. — Это ненормально!

Рома немного покраснѣлъ и сталъ защищаться.

— Я думаю, ты знаешь, что я не по своей волѣ такъ

живу. Меня не возьмутъ теперь никуда на службу... по крайней мѣрѣ теперь...

Ѳеодоръ Романовичъ перебилъ его.

— Я не о службѣ! Слава Богу, ты и безъ службы можешь прожить. Все это пустяки!.. Я насчетъ твоей внутренней жизни. Я понимаю, что въ Петербургѣ гдѣ-нибудь иные остаются и всю жизнь холостяками. Знаемъ мы, что это значитъ! Но здѣсь, въ твои годы, такъ нельзя жить. Развѣ, какъ Коля, заведешь интрижку съ какой-нибудь коровницей...

Онъ засмѣялся смѣхомъ легкомысленнаго юноши. Рому покоробило отъ этого мальчишества отца.

— Для интрижекъ, я думаю, не въ однѣхъ коровницахъ найдется матеріалъ,—коротко замѣтилъ Романъ.

Отецъ мелькомъ взглянулъ на него, прищуривъ одинъ глазъ. Развѣ и онъ знаетъ о мельницѣ? Чортъ возьми, какъ здѣсь все скоро узнается! Что-жъ, онъ не ребенокъ, онъ понимаетъ, что это такъ естественно.

— Конечно, конечно!—согласился онъ.—Но все это не то, не то... Это шалости, а не любовь... Тебѣ нужно бы сдѣлать приличную партію... жениться... Что ты думаешь, напримѣръ, о Наташѣ.

Лицо Ромы опять покрылось румянцемъ. Ему было больно и обидно, что отецъ упомянулъ о Наташѣ.

— Вы оба молоды, находитесь всегда вмѣстѣ, естественно, что вы можете полюбить другъ друга, — продолжалъ Ѳеодоръ Романовичъ.—Она дѣвушка хоть куда... здоровая, краснощекая.

Рома оборвалъ его, не выдержавъ и желая предупредить какія-нибудь пошлости.

— Я и женюсь на ней.

Ѳеодоръ Романовичъ не ожидалъ такого короткаго и опредѣленнаго отвѣта. Онъ обрадовался, остановился передъ сыномъ, глядя на него широко открытыми глазами.

— Да? Отлично!—заговорилъ онъ скороговоркой, потирая руки. — Что-жъ ты скрытничалъ? Это превосходно, двѣ свадьбы разомъ!

Онъ дружески протянулъ сыну руку.

— Ты не можешь представить, какъ это кстати!

Онъ опять заходилъ по комнатѣ быстро, въ радостномъ волненіи.

— Надо только торопиться! Я тебѣ долженъ сказать, что этотъ бракъ сильно выручаетъ насъ. Да, выручаетъ! Мы

вѣдь все еще не вполнѣ встали на ноги. Расходы, расходы и расходы въ настоящемъ, а доходы только въ будущемъ. Ты можешь представить, что мнѣ въ послѣдніе дни уже пришлось занять черезъ Шершова тысячу рублей и, конечно, за адскіе проценты. Здѣсь вѣдь не въ Петербургѣ, здѣсь труднѣе добыть деньги и притомъ въ концѣ лѣта.— На минуту онъ остановился и мелькомъ замѣтилъ:—кстати, не говори объ этомъ матери. Она не знаетъ.

Онъ передернулъ пренебрежительно плечами и заходилъ снова по комнатѣ, говоря:

— Эти женщины вѣчно себѣ создаютъ разные ужасы. А того не хотятъ знать, что надо же жить на что-нибудь. Ѣсть, пить, одѣваться—это ихъ дѣло; откуда мужья должны добывать деньги на все это — это до нихъ не касается. Женская логика!.. И чего тутъ ужасаться? Точно какой-нибудь долгъ въ тысячу рублей начало конца... Но старикъ Шершовъ разсмѣшилъ меня, до слезъ разсмѣшилъ! Прошу у него тысячу рублей — говоритъ: нѣтъ. «Есть, говоритъ, двѣсти рублевъ. Возьми ихъ и выкрутись». Прелестно! Это «выкрутись»—одинъ восторгъ! Мнѣ нужна тысяча, а онъ совѣтуетъ взять двѣсти и выкрутиться. «За что, говоритъ, проценты-то тебѣ жидовскіе давать, я-то, говоритъ, такъ тебѣ дамъ». Милѣйшій старикъ! Онъ мнѣ такъ даетъ! Я, видишь ли, его баринъ, и потому онъ мнѣ такъ даетъ! Насилу уговорилъ его достать за какіе бы то ни было проценты. Ну, конечно, раздобылъ... Но что значитъ тысяча рублей? Теперь нужны затраты на приданое Нинѣ, на пріемы. Нельзя же передъ свадьбой не сдѣлать пріемовъ гостей.

Онъ ходилъ юношески бодро по комнатѣ, ворочаясь на каблукахъ и весело болтая. Такимъ безпечно веселымъ и развязнымъ онъ бывалъ въ лучшіе годы своей юности. Онъ казался и поздоровѣвшимъ, и помолодѣвшимъ. Его лицо было менѣе прежняго желто и уже слегка окрашивалось румянцемъ. Убавилось желчи, прибавилось крови. Рома ничего не понималъ, для чего отецъ все разсказываетъ ему.

— Но я не понимаю, при чемъ тутъ моя женитьба?— спросилъ онъ наконецъ.

— Какъ при чемъ?—удивился Ѳеодоръ Романовичъ, озадаченный вопросомъ сына. — У Наташи есть капиталъ. Взять въ долгъ теперь у нея—нѣтъ, спасибо, я уже знаю, что значитъ путаться въ долгахъ. Я могу перехватить тысячу рублей на два—на три мѣсяца, но путаться въ дол-

гахъ — благодарю покорно. Но разъ твой союзъ съ Наташей — дѣло рѣшенное, мы можемъ взять у нея изъ капитала необходимую сумму денегъ. Это уже не заемъ: имѣніе въ сущности твое, а значитъ и ея; деньги, взятыя у нея, такъ или иначе вернутся къ ней же.

Онъ взялъ сына подъ руку, не замѣчая хмураго выраженія его лица, и началъ пояснять далѣе:

— Я очень, очень радъ, что вы полюбили другъ друга и что вашъ бракъ заключается не по расчету. Грѣшный человѣкъ, я мечталъ объ этомъ бракѣ даже и тогда, когда не зналъ, чѣмъ все кончится. Хотѣлъ даже поговорить съ тобою, но какъ-то не удалось. Это и къ лучшему. Понимаешь, все же тутъ есть извѣстная... извѣстная... ну, поэзія, что ли... когда любишь, не думая о деньгахъ...

И, интимничая, трепля сына по плечу, онъ спросилъ не безъ шаловливаго лукавства:

— Это твоя болѣзнь помогла? Да? Понимаю! понимаю! Книги вмѣстѣ читали? Ха-ха! Книги читали!

Рома хотѣлъ что-то возразить, охваченный гадливымъ чувствомъ. Ѳеодоръ Романовичъ перебилъ его:

— Знаю, знаю! Не конфузься! Я тоже читывалъ съ барышнями книги! Мой другъ, любовь вѣчно старая, вѣчно новая исторія! Ахъ, ахъ, это все повторяется!.. Я такъ и думалъ, что это чтеніе книгъ во время болѣзни лучшій путь къ сближенію! А то, признаюсь, я начиналъ нѣкоторое время побаиваться за тебя. Право! Тутъ Володька что-то очень началъ засматриваться на нее. Помнишь, тогда, на обѣдѣ? Эти Кожуховы вѣдь совсѣмъ животныя по натурѣ. Она кругленькая, кровь съ молокомъ—имъ это и нужно... Потомъ Борисъ Николаевичъ книжки тутъ сталъ съ чувствомъ при ней читать. Дѣвочкѣ не трудно вскружить голову. Онъ же не глупъ, красивъ, статенъ... О, знаю я эти женскія натуры!.. Ты же—а! я долженъ тебѣ это сказать! немного вялъ, киселъ. Да, да! Не спорь! Не сердись. О, ты не въ меня! Я бралъ все съ бою! И вѣрь мнѣ, не случись этой болѣзни—ты бы еще не сразу завоевалъ призъ! Нѣтъ, нѣтъ! Но, къ счастію, все сладилось само собою. Душевно радъ за тебя. Поздравляю!.. И что же, очень она тебя любитъ? Да?

Онъ дружески потрепалъ по плечу сына, подмигивая ему однимъ глазомъ, какъ бы вызывая на откровенность, на объясненіе подробностей.

Романъ нѣсколько разъ порывался оборвать, остановить отца и чувствовалъ, что его что-то давитъ, угнетаетъ. Онъ

еще не давалъ себѣ отчета, что̀ его смущаетъ: пошлый тонъ отца, сальные намеки, новыя точки зрѣнія на обсуждаемый фактъ; онъ чувствовалъ только, что онъ чѣмъ-то возмущенъ и не можетъ разобраться въ своихъ впечатлѣніяхъ. Ему стало бы легче, если бы онъ могъ вспылить, загорячиться, но этого не было—одна подавленность охватывала его душу. Отецъ заговорилъ опять:

— Только какъ ты хочешь, чтобы мы сдѣлали. Кто переговоритъ съ нею о деньгахъ: ты, я или мать? Это какъ тебѣ кажется удобнѣе?

Рома очнулся.

— Я вовсе не думалъ объ этомъ,—проговорилъ онъ.

Ѳеодоръ Романовичъ загорячился.

— Да ты пойми, что это необходимо! Необходимо теперь же, не сегодня, такъ завтра! Мы совсѣмъ на мели. Надняхъ весь уѣздъ—что я говорю!—вся губернія узнаетъ, что Апухтинъ женится на Нинѣ, пріѣдутъ поздравлять, нужны обѣды, придется самимъ выѣзжать, понадобится приданое. У насъ ничего, ничего буквально нѣтъ!

Онъ торопливо заходилъ по комнатѣ, горячась и волнуясь.

— Нельзя же кое-какъ все устроить, да и на это кое-какъ нѣтъ денегъ. Наконецъ, позволь, позволь: ты тоже женишься? Да? Вѣдь пріѣдутъ и ради тебя съ визитами, съ поздравленіями? Вѣдь и Наташѣ надо будетъ шить приданое? Вѣдь не пойдете же вы такъ завтра въ церковь, какъ къ обѣднѣ, вѣнчаться...

Романъ смотрѣлъ какъ-то разсѣянно на дворъ, остановившись у окна. По двору шмыгала прислуга, бродило двѣ пары куръ, въ растворенномъ сараѣ мальчишка-подростокъ чистилъ забрызганный грязью экипажъ. Начинало вечерѣть, и сквозь теплый воздухъ съ запада проплывали свѣжія и сыроватыя струйки. Осень приближается. Дни дѣлаются все короче и короче, меньше свѣта, больше тьмы. Скоро станутъ спадать листья. Все начнетъ мертвѣть и застывать. Настанетъ зима и—конецъ жизни...

— Какъ же ты надумалъ?—послышался вопросъ надъ ухомъ Ромы.

Романъ вздрогнулъ. Онъ ничего не надумалъ, потому что онъ вовсе и не думалъ именно о томъ, о чемъ надо было думать. Какъ же это такъ? Что съ нимъ дѣлается? Въ душѣ нѣтъ ни волненья, ни гнѣва, ощущается просто подавленность. Онъ разсѣянно отвѣтилъ, желая только отдѣлаться отъ отца:

— Надо подождать... Завтра, послѣзавтра рѣшимъ... Я скажу...

Отецъ что-то опять заговорилъ, горячо доказывая необходимость скорѣе ковать желѣзо, подбадривая сына, пошличая. Рома сталъ искать шляпу.

— Ты куда?—спросилъ отецъ.

— Такъ пройтись...

Они простились.

Рома вышелъ изъ дома, пошелъ безцѣльно впередъ. Въ головѣ хаотически проносились отрывки мыслей, какъ тучи, гонимыя и разрываемыя бурей. Этотъ бракъ ихъ устраиваетъ. Взять деньги, чтобы задавать обѣды, дѣлать приданое для Нины. Потомъ взять еще и еще, безъ конца, покуда есть что брать. Обобрать все, потомъ заложить имѣніе. Проѣсть и это. Затѣмъ опять нищета. Нищета не однихъ ихъ, а и Наташи съ мужемъ-тунеядцемъ... Иволгинъ это сказалъ, что онъ тунеядецъ? А! онъ радъ бы растоптать его, Рому, какъ червяка! Что значитъ для человѣка человѣкъ, когда на карту поставлено личное счастье? А она — кого она любитъ? Его, Рому? Или того, Иволгина? «Жизнь тебѣ отдаю, а ты хочешь еще, чтобы она была отравленною». Не любитъ, не любитъ она! Не умѣетъ любить! Всѣ они, здоровые люди, — жестокіе люди. Теперь еще придти къ ней и сказать: «дай денегъ, онѣ нужны для сестры». «А, такъ вотъ почему, скажетъ, ты сватаешься за меня». Отъ нея можно этого ждать: у нея нѣтъ сердца; она ласкаетъ и голубитъ, но это минуты вспышекъ. Жаль отогнать пинкомъ собачонку, когда та визжитъ. И соглашалась замужъ выйти, потому что онъ былъ нездоровъ. Какъ отецъ сказалъ: «это твоя болѣзнь васъ сблизила; такъ ты бы ничего не добился». Правда, правда! Вчера сказала: «а ты ни за кого не боишься, ни за враговъ, ни за друзей». Сколько холодной злобы было въ голосѣ. А сегодня... Что она говорила сегодня? Попрекнула, что приноситъ жертву. Развѣ она, развѣ вообще всѣ они, эти самодовольные люди, способны на жертвы? Примирились съ жизнью, принимаютъ жизнь, какъ она есть! Грязь, молъ, кругомъ, ну, и надо купаться въ грязи. Борьба за существованіе, ну, и перегрызай другъ другу горло...

Чей-то звонкій и молодой женскій голосъ съ визгливымъ хохотомъ крикнулъ:

— Отвяжись, лѣшій!

— Не отпущай, Митюха, не отпущай!—крикнули другіе тоже молодые, но мужскіе голоса.

— Не поддавайся, Марья, не поддавайся! — звонко и визгливо поощряли свою подругу молодыя дѣвушки.

— Да полноте вы, озорники, умаяли дѣвку! — вмѣшался старушечій голосъ.

Подъ этотъ говоръ Романъ какъ бы пробудился отъ сна. Онъ осмотрѣлся: онъ шелъ по деревнѣ, кое-гдѣ сидѣли группы мужиковъ и бабъ, гдѣ-то слышались звуки гармоники, пѣсни и смѣхъ деревенской молодежи съ фабрики. Мягкія лѣтнія сумерки уже спустились на землю, окутывая все фантастическимъ полусвѣтомъ. Еще немного и должна была воцариться тьма. Въ природѣ было все спокойно, безмятежно, тихо. Отдыхающій отъ тяжелой дневной работы народъ, неприглядный, бѣдный, оборванный, казался тоже невозмутимо спокойнымъ, почти довольнымъ. Ломову внезапно стало жутко; его охватило горькое сознаніе одиночества. И люди, и стремленія, и образъ жизни, все здѣсь было чуждо ему. Онъ лѣниво и вяло сталъ думать: какъ онъ зашелъ сюда? о чемъ думалъ? Изъ сознанія исчезъ весь промежутокъ времени, прошедшій съ той минуты, какъ онъ разстался съ отцомъ. Онъ тревожно потиралъ свой лобъ, вспоминая передуманное имъ по дорогѣ. Ничего не вспомнилось. Какъ же это такъ? Вѣдь онъ что-то соображалъ, обдумывалъ? Ужъ не сходитъ ли онъ съ ума? Его вдругъ всего охватилъ страхъ: но это былъ не серьезный страхъ при мысли о сумасшествіи, а дѣтскій малодушный страхъ при мысли: «Что же я завтра скажу отцу?»

— Что это вы, Романъ Ѳеодоровичъ, все въ меланхоліи обрѣтаетесь?—послышался знакомый Ломову робкій и вкрадчивый голосъ.

Онъ оглянулся: предъ нимъ стоялъ Аквилоновъ...

КНИГА ПЯТАЯ И ПОСЛѢДНЯЯ.

I.

На дворѣ стоялъ пасмурный день. Надъ землей медленно ползли свинцовыя облака, моросилъ мелкій спорый дождь, напоминавшій объ осени. Былъ еще августъ, но въ эту сѣренькую погоду казалось, что наступаетъ уже конецъ сентября. Кое-гдѣ на дворѣ уже валялись желтые листья, занесенные изъ сада вѣтромъ и прибитые дождемъ къ землѣ. Стекла большихъ венеціанскихъ оконъ портретной галлереи ломовскаго дома были покрыты, какъ бы слезами, дождевыми каплями. Эти капли дрожали, сливались вмѣстѣ, скользили по стекламъ длинными струйками. На дворѣ было безлюдно, пусто. Даже куры и тѣ забрались куда-то подъ крышу и присмирѣли; отряхивая мокрыя перья и ежась какъ бы отъ холода, онѣ усаживались въ излюбленныя ямки, вырытыя ими въ землѣ, и на цѣлые часы замирали въ однѣхъ и тѣхъ же позахъ. Только въ каретномъ сараѣ шла торопливая работа; тамъ мальчикъ-подростокъ и кучеръ запрягали лошадей въ экипажъ, поплевывали на руки и затягивали ремни. Въ домѣ тоже происходила суета, было слышно хлопанье дверей, раздавались чьи-то поспѣшные шаги, кто-то торопилъ кого-то: «барину пальто вычисти», «во-время не могли сдѣлать, а то на охоту идти, такъ и собакъ кормить», «неси ротонду барышнѣ», «поворачивайся же, господа ждутъ». Очевидно, тутъ шли сборы къ отъѣзду куда-то.

Романъ, исхудалый и блѣдный, съ обведенными синими кругами и ввалившимися глазами, точно онъ вынесъ долгую и тяжелую болѣзнь, ходилъ въ раздумьѣ взадъ и впередъ по галлереѣ; въ его движеніяхъ не было обычной торопли-

вости, выраженіе лица было спокойно, почти вяло, какъ у человѣка усталаго; иногда онъ останавливался передъ портретами предковъ со стороны отца и матери и подолгу всматривался въ нихъ, какъ бы стараясь уловить въ ихъ чертахъ что-то такое, чего онъ не замѣчалъ въ нихъ прежде—общія черты съ собою, съ отцомъ, съ матерью. Постоявъ передъ однимъ портретомъ, онъ медленно отходилъ отъ него съ какой-то гримасой на лицѣ, ходилъ снова взадъ и впередъ по галлереѣ, потомъ, какъ бы случайно, останавливался передъ другимъ портретомъ, взглядывался въ него и отворачивался снова. Нѣтъ, онъ ничего не находилъ общаго между ними и собой; ничего не наслѣдовалъ онъ отъ этихъ чисто животныхъ, толстыхъ, самодовольныхъ физіономій. Жили эти люди полною животною жизнью, вскормленные и вспоенные крѣпостнымъ трудомъ, на всемъ готовомъ, гоняясь только за отличіями и чинами ради удовлетворенія своего честолюбія и отдаваясь всецѣло всѣмъ капризамъ и причудамъ ради удовлетворенія своихъ страстей и похотей. Они, владѣльцы сотенъ и тысячъ крѣпостныхъ душъ, могли такъ жить, могли пальца о палецъ не стукнуть и не умереть съ голода. За нихъ и для нихъ работали другіе. Давно прошли тѣ времена, когда можно было такъ жить. Настала иная пора, но еще не освоились съ ней, не приноровились къ ней люди. Онъ, Романъ, не можетъ такъ жить, какъ жили его предки, хоть бы онъ и хотѣлъ; теперь волей-неволей приходится много и упорно работать или погибнуть, въ концѣ концовъ, съ голода, какъ едва не погибла его семья, не умѣвшая работать. Какъ жалка и безпомощна была она въ роковые дни разоренія. Послѣдній невѣжественный крестьянинъ нашелъ бы въ ея положеніи исходъ, средство прокормиться, она не нашла ничего; она только пыталась жить на чужой счетъ, христарадничать. Мало того, она не умѣла даже распоряжаться и тѣмъ, что у нея было. Она и теперь стоитъ на краю пропасти, потому что не умѣетъ работать и распоряжаться имѣющимся въ рукахъ—имѣнье въ ея неумѣлыхъ рукахъ растаетъ, какъ ледъ весною, расплывется по чужимъ рукамъ. Оно, это имѣнье, уже начинаетъ таять: тутъ проданъ участокъ лѣса на срубъ, тамъ перехвачена тысяча, а можетъ-быть, и больше изъ будущихъ доходовъ, далѣе совершается продажа еще чего-то,—Романъ не интересуется, что продаютъ, но онъ чуетъ, что имѣніе таетъ и таетъ.

— Всѣхъ ждетъ теперь, въ наше время, этотъ конецъ,

кто не умѣетъ работать,—шепталъ онъ мрачно.—Но какъ работать? что дѣлать? Идти по дорогѣ Кожуховыхъ, сдѣлаться помѣщикомъ-чернорабочимъ, помѣщикомъ-кулакомъ? Взяться за земскія дѣла, подобно хлыщу Рѣпнину, ничего не зная, ни о чемъ не думая, опекая не просящаго опеки мужика за столько-то ежегоднаго содержанія? Вступить на путь юриста, сознавая, что лжешь, и на мѣстѣ прокурора, обвиняющаго всѣхъ и каждаго, во что бы ни стало, и на мѣстѣ адвоката, обѣляющаго всѣхъ и за все, тоже во что бы то ни стало? Учить дѣтей мужика безъ твердаго убѣжденія, что ему нужна эта полуграмота по привилегированнымъ установленнымъ программамъ, по составленнымъ безъ его спроса консерваторами или либералами теоріямъ?

Ему вспомнились различныя поприща труда и ни одно изъ нихъ не возбуждало сочувствія, не манило къ себѣ, не пробуждало одушевленія. Сомнѣнія и отрицанія выдвинулись прежде всего на первый планъ и охлаждали всякіе порывы. Откуда въ немъ это настроеніе? Это духъ времени, ничѣмъ недовольнаго, ничѣмъ не увлекающагося, лишеннаго вѣры и идеаловъ, опустившаго руки въ уныніи и апатіи. Старые кумиры сброшены съ пьедесталовъ; новые еще не созданы. Молитвословіе смолкло и смѣнилось кощунствомъ. Только въ такое смутное время и могли явиться теоріи, отрицающія необходимость науки, искусствъ, прогресса, цивилизація и проповѣдующія одни лапти, посконь, сермягу: произведенія искусства—то же, что развратъ и обжорство; судъ—мы не имѣемъ права судить, потому что сами мы не знаемъ правды; бороться со зломъ—у насъ нѣтъ и на это права, а есть только право подставлять другую щеку, когда насъ ударили уже по одной; чтобы не быть воромъ и убійцей—нужно сдѣлаться нищимъ; чтобы не быть несправедливымъ—нужно дойти до смиренія водовозной клячи; не требовать ничего, не протестовать ни противъ чего, не бороться ни съ чѣмъ и смириться, смириться, смириться до обезличенія!

Романъ сжалъ руками голову.

— Все это просто, все это такъ сверхчеловѣчно!

Въ его памяти воскресли слова: «раздай нищимъ имѣніе свое», и тутъ же, какъ горькій и роковой приговоръ, прозвучала фраза: «человѣку это невозможно, а Богу возможно».

— Что же и толковать о томъ, что̀ невозможно человѣку? Это праздныя рѣчи, безсодержательные совѣты! Но какъ же жить, что дѣлать, если сердце не лежитъ ни къ чему, если въ душѣ какая-то страшная пустота?

Предки его ни о чемъ этомъ не разсуждали, не мучились этимъ, скользили по этимъ вопросамъ. Это не они ему дали, это навѣяли измѣнившіяся условія жизни. Это перешло къ нему даже и не отъ отца съ матерью, такъ какъ они никогда не мучились никакими сомнѣніями, жили съ легкимъ сердцемъ.

— Но и не дѣлали тоже ничего,—закончилъ онъ мысленно и сдвинулъ брови.

— Отчего?

Онъ остановился передъ портретомъ бабки со стороны матери. Его внезапно поразило сонное, тупое выраженіе этихъ глазъ, тусклыхъ, стеклянныхъ. Такъ иногда смотритъ его мать, когда она сидитъ у окна, ничего не дѣлая, вялая и апатичная, съ висящими около щекъ непричесанными сухими прядями волосъ, въ утренней повисшей на ней, какъ мѣшокъ, широкой блузѣ.

— Прикрываешь барскую лѣнь покровомъ пессимизма,— вспомнились ему слова Иволгина.

Ломовъ даже не разсердился на Иволгина при этомъ воспоминаніи. Ему, казалось, теперь было все равно, кто и что о немъ говоритъ. Онъ просто вспомнилъ слова Бориса Николаевича и сталъ думать о нихъ такъ, какъ будто они были сказаны не о немъ. Неужели Иволгинъ правъ? Неужели онъ, Рома, ничего не наслѣдовалъ отъ предковъ, кромѣ ихъ восточной лѣни? Неужели онъ ничего не дѣлаетъ не потому, что въ каждой дѣятельности онъ видитъ только сдѣлки со своею совѣстью, а только потому, что ему лѣнь дѣлать что-нибудь.

Онъ опять неторопливо, усталой походкой, заходилъ по галлереѣ, раздумывая, доискиваясь. Да, лѣнь у нихъ въ роду: сестра, отецъ, мать, всѣ въ сущности ничего не дѣлаютъ, не умѣютъ дѣлать, не хотятъ дѣлать. Въ памяти вынырнула случайно фраза Геліотропова «неприспособленныя головы». Да, да, неприспособленныя къ упорному труду: жили вѣчно на чужой счетъ, на содержаніи у крестьянъ, обстоятельства столкнули на путь самостоятельнаго добыванія хлѣба,—и они оказались неприспособленными. Скорѣе по-міру пойдутъ, честь и совѣсть продадутъ, чѣмъ примутся за упорный, неустанный трудъ.

Онъ вспомнилъ одну исторію падшей женщины: онъ съ этой женщиной познакомился во дни своего перваго, мелкаго и дешеваго развратца въ Петербургѣ. Она, немного выпивъ, жаловалась на свое растреклятое житье: «Съ кѣмъ, съ кѣмъ

ни приходится сходится; чего, чего ни приходится выносить; иной не то, что ласковаго слова не скажетъ, а норовитъ изувѣчить».—«Что же она не займется чѣмъ-нибудь?»—«Да, нешто тоже сладко горбъ гнуть надъ работой».—Вотъ логика, вотъ нравственность праздности!.. По его лицу скользнула усмѣшка. Мать и отецъ жили на счетъ Марѳы Власьевны, а дѣла все-таки не дѣлали. Сестра попробовала работать, но это было не желаніе заработать хлѣбъ, а желаніе «совершить подвигъ» и бѣжать изъ дому отъ скуки. Она сама откровенно сознавалась ему въ этомъ. Трудъ изъ-за денегъ, упорный трудъ былъ ей противенъ, какъ что-то унизительное. Онъ въ университетъ пошелъ, чтобы спастись отъ обязательнаго канцелярскаго труда; вмѣсто посѣщенія лекцій посѣщалъ какіе-то кружки, гдѣ вмѣсто дѣла шла болтовня, читалось мало, спорилось много.

Онъ всматривался въ лицо бабки съ иронической улыбкой.

— Вотъ оно, это лѣнивое животное, влившее отраву въ нашъ родъ.

Глаза глядятъ какъ бы спросонья — ни мысли, ни огня, ни доброты, ни злобы нѣтъ въ нихъ; а сколько мяса въ этой фигурѣ—и сколько выставлено его на показъ, точно оно и только оно играло роль въ жизни этого существа.

— Женщина гарема, женщина спальни, женщина постели!

Онъ стоялъ передъ ея портретомъ и глумился, надругался надъ нею, холодно и ядовито осыпая ее площадною бранью, какъ послѣднюю падшую женщину, какъ уличную непотребную проститутку. Его тѣшило это, точно она слышала его брань, его издѣвательство, его упреки. Что-то близкое къ помѣшательству было въ этомъ порывѣ бѣшенства.

Вдругъ его брови сдвинулись, онъ отвернулся отъ портрета бабки и остановился передъ окномъ, пораженный внезапно случайной тяжелой мыслью:

— Если это наслѣдственное — значитъ спасенья нѣтъ? Отъ привычекъ можно избавиться; отъ наслѣдственности никуда не убѣжишь, не спасешься. Она—это плоть и кровь; она заткана въ насъ, какъ бываютъ затканы узоры въ тканяхъ; уничтожьте эти узоры и вы разрушите всю ткань. Связь наслѣдственности съ организмомъ—роковая связь. Да на что же теперь спасеніе?

Онъ горько усмѣхнулся, точно его лицо подернулось конвульсіями...

— А я тебя искала! — раздался неожидано позади его гармоничный и мягкій голосъ Анны Ѳеодоровны.

Онъ вздрогнулъ и обернулся: передъ нимъ стояла сестра, нарядная, красивая, сіяющая сознаніемъ своей красоты. На ней было сѣрое платье, блестящее, какъ полированная сталь; ослѣпительно бѣлыя кружева охватывали шею и руки. Поверхъ платья была накинута черная бархатная тальма на сѣрой атласной подкладкѣ, съ такой же подкладкой въ сборчатомъ клокѣ. Отъ нея вѣяло ароматомъ тонкихъ духовъ. Ея лицо, теперь вполнѣ спокойное, было изумительно прекрасно, точно оно преобразилось. Это было лицо греческой богини, невозмутимое и ясное, не посящее слѣдовъ мелочныхъ заботъ и будничныхъ тревогъ. Казалось, она стояла теперь выше всего этого, смотря холодными и равнодушными глазами на людей-муравьевъ, снующихъ и роющихся озабоченно въ пыли и въ грязи ради дневного пропитанія. Они могли возбуждать въ ней жалость и брезгливость, но они уже не могли смущать ея покоя, нарушить ея душевной гармоніи. Она сознавала, что теперь она уже можетъ во всякую данную минуту отвернутся отъ нихъ. Сознавать возможность этого — это значитъ быть счастливой. Люди не нужны—что же можетъ быть выше этого счастья?

— Ты такъ и рѣшилъ не ѣхать?—спросила она брата.

— Да, не ѣду!—отвѣтилъ онъ.

— Что за охота обрекать себя на скуку!

— А тамъ, ты думаешь, мнѣ было бы веселѣе?

Она чуть-чуть пожала плечами, натягивая длинныя, сѣрыя перчатки.

— Конечно, не было бы веселѣе, если ты носишь въ самомъ себѣ скуку!—разсѣянно отвѣтила она и слегка вздохнула.—Ахъ, Рома, Рома, ты самъ губишь себя. Такъ жить нельзя.

Она понизила голосъ и съ снисходительной заботливостью спросила его:

— У тебя что-то произошло съ Наташей? Да?

— Ничего,—отвѣтилъ онъ коротко.—Я просто понялъ, что она мнѣ не пара...

— Ты порвалъ съ нею? Не можетъ быть!

— Не порвалъ, а просто само собою все порвалось... Впрочемъ, и порываться было нечему тамъ, гдѣ не было связи...

Онъ усмѣхнулся, видя, что сестра смотритъ на него грустнымъ взглядомъ.

— Но ты ошибаешься, если думаешь, что это очень печалитъ меня,—проговорилъ онъ небрежно.—Никогда мы не

любили другъ друга и были бы очень несчастны, если бы поженились...

Она пожала плечами:

— Ничего не понимаю!

— Понять же вовсе не трудно. Это было минутное взаимное недоразумѣніе. Вотъ и все.

Въ эту минуту изъ каретнаго сарая выѣхалъ экипажъ и подъѣхалъ къ крыльцу. Въ коридорѣ послышался голосъ Ѳеодора Романовича, спрашивавшій, гдѣ Анна Ѳеодоровна. Неужели еще не одѣлась? О, эти женщины! Одѣваются цѣлый часъ! Всегда нужно ихъ ждать. Она заторопилась.

— Пора ѣхать! Ахъ, мнѣ, право, жаль, что ты остаешься тутъ одинъ... Тамъ же будетъ народъ...

— Не безпокойся,—полуиронически отвѣтилъ Романъ.— Я тутъ съ предками бесѣдую...

Она съ гримасой взглянула на портреты.

— Ты для этого и проводишь теперь здѣсь цѣлые часы, для бесѣдъ съ мертвецами?—мелькомъ замѣтила она и стала прощаться съ нимъ.

Она слегка коснулась губами его блѣднаго лба. На него повѣяло ароматомъ духовъ.

— Тебя сегодня не узнать, такъ ты хороша,—сказалъ онъ, невольно залюбовавшись ею.

— Я счастлива, Рома,—отвѣтила она.

По ея лицу скользнула свѣтлая улыбка. Ей было пріятно сознавать себя счастливой, ей было пріятно, что другіе улавливали въ ней отраженіе этого счастія.

Онъ проводилъ ее до дверей, потомъ вернулся въ окну, посмотрѣлъ, какъ усѣлись въ экипажъ отецъ, мать, сестра. Врѣзаясь глубоко въ мокрый песокъ легкими колесами, экипажъ проѣхалъ по двору, выѣхалъ въ ворота и скрылся изъ виду. Въ теченіе нѣсколькихъ минутъ было слышно, какъ прислуга прибирала все въ домѣ послѣ господъ, сварливо переругиваясь между собою. Потомъ на дворѣ по направленію къ людскимъ, шлепая по лужамъ, прошли эти слуги, очевидно, окончившіе уборку въ господскомъ домѣ. На дворѣ и въ домѣ все затихло...

— Вотъ я и одинъ,—подумалъ Романъ, и въ его головѣ мелькнуло сознаніе, что онъ всегда былъ и остается одинокимъ.

Неужели всѣ люди, въ концѣ концовъ, приходятъ къ горькому сознанію своего одиночества или это только особенность его натуры? Особенно сильно чувствовалъ онъ свое

одиночество въ послѣдніе дни. Въ его памяти воскресли всѣ событія этихъ послѣднихъ дней. Онъ пережилъ столько въ эти дни, сколько не переживалъ никогда. Тѣмъ не менѣе, онъ былъ почти спокоенъ, вѣрнѣе апатиченъ, холоденъ, безучастенъ, какъ человѣкъ, принявшій безповоротное рѣшеніе, не волнуемый болѣе ни сомнѣніями, ни колебаніями...

Онъ сѣлъ верхомъ на стулъ, сложилъ на его низенькой спинкѣ руки, оперся на нихъ подбородкомъ и сталъ смотрѣть во дворъ, безцѣльно, безсмысленно, останавливая взглядъ на разныхъ предметахъ, переводя его такъ же равнодушно на другіе. По двору изъ господскаго дома прошелъ обычной походкой, какъ кошки проходятъ по мокрой землѣ, боясь коснуться до нея лапками, Аквилоновъ. Плюгавый, смиренный, робкій, осторожный, онъ годился въ натурщики для статуи «ничтожества». Сколько нужно было съ дѣтства попирать ногами, топтать въ грязь, бить, сѣчь человѣка, чтобы довести его до полнаго сознанія своей неспособности, своего ничтожества, своей ненужности, чтобы превратить его въ жалкое пресмыкающееся, чтобъ сдѣлать его подлецомъ изъ трусости? Чтобы не подохнуть съ голоду, онъ пошелъ бы на все, что можетъ придумать человѣкъ для униженія человѣка? При видѣ его, лицо Романа снова исказилось конвульсивной улыбкой.

— А! факторъ!—съ презрѣніемъ прошепталъ Ломовъ.

Потомъ онъ сталъ припоминать, какъ онъ встрѣтилъ Аквилонова тогда, остановившись въ раздумьи въ деревнѣ.

Это было не особенно давно, но Роману казалось, что отъ этого дня его отдѣляетъ нѣсколько мѣсяцевъ, нѣсколько лѣтъ. Да, именно въ этотъ день съ нимъ случился какой-то странный переломъ, оставившій глубокій слѣдъ въ душѣ. Кто изъ нихъ тогда первый заговорилъ—онъ, Ломовъ, или Аквилоновъ? Должно-быть, онъ, Аквилоновъ. Да, онъ.

— Что это вы, Романъ Ѳеодоровичъ, все въ меланхоліи обрѣтаетесь?—вспомнился Роману подобострастный вопросъ Аквилонова.

Да, именно съ этой фразы начался ихъ разговоръ. Романъ обрадовался, что съ нимъ заговорили, такъ какъ ему казалось тогда, что онъ сходитъ съ ума.

— Радоваться нечему,—отвѣтилъ Ломовъ.

— Въ ваши-то годы-съ! — воскликнулъ Аквилоновъ.— Самая, такъ сказать, пора для человѣка-съ! Ахъ, я на вашемъ мѣстѣ, то-есть вотъ бы какъ жилъ, припѣваючи!

Потомъ Аквилоновъ, пугливо, точно боясь, что его уда-

рять по щекѣ, пнуть ногою, сталъ сообщать, что «папенька-съ вашъ совсѣмъ-съ иного нрава, живой человѣкъ». Пока онъ, опасливо хихикая, осторожно не договаривая начатыхъ фразъ, оглядываясь кругомъ при каждомъ словѣ, сообщалъ сыну «о нравѣ папеньки», Рома все только думалъ объ одномъ: «Запить бы, запить бы». Ломовъ теперь отчетливо и ясно помнилъ, какъ сверлила тогда его мозгъ эта неотступная мысль. «Запить бы, запить бы»,—больше онъ ничего не хотѣлъ.

Потомъ онъ задалъ неожиданно и рѣзко Аквилонову вопросъ:

— Гдѣ бы кутнуть напропалую?

Тотъ даже чуть не присѣлъ отъ страху и, дрожа всѣмъ тѣломъ, не попадая зубомъ на зубъ, началъ божиться, что онъ «ей-Богу не знаетъ! гдѣ же здѣсь въ деревнѣ!» А затѣмъ, боясь уже не того, что ему можетъ достаться за спаиванье барчука, а того, что барчукъ разсердится за его несговорчивость, и, можетъ-быть, того, что онъ, Аквилоновъ, упустилъ удобный случай содрать лишнюю копейку съ барчука, Аквилоновъ началъ оговариваться, путаясь и заикаясь:

— Оно, конечно, люди-съ вездѣ люди, на двухъ ногахъ ходятъ... Если захотѣть-съ... собственно въ деревнѣ, оно и не того-съ, такъ вѣдь на то городъ есть... далеко ли?.. Рукою подать...

Аквилоновъ началъ уже смѣлѣе, увлекаясь самъ фривольными представленіями, разсказывать о томъ, куда и какъ можно закатиться въ городѣ. Самому ему не приходится; гдѣ же въ его положеніи, съ хлѣба на квасъ живетъ; а хорошо кто можетъ развернуться, а-ахъ хорошо! У него даже глаза замаслились отъ одного представленія того, какъ это хорошо. Они шли между колыхавшейся по обѣ стороны дороги ржи, среди вечерняго аромата, доносившагося въ стынущемъ воздухѣ изъ лѣсу, подъ бездоннымъ безоблачнымъ небомъ, сверкавшимъ миріадами яркихъ звѣздъ,—шли, обсуждая этотъ важный вопросъ о попойкѣ и разгулѣ; Ломовъ мучительно думалъ только объ одномъ: «скорѣй бы»; Аквилоновъ только трусливо соображалъ:

— Папенькѣ можно-съ сказать, что встрѣтился вамъ старый пріятель, и все такое для отвода глазъ, потому-съ въ деревнѣ это очень просто—заѣхали въ гости и заночевали, а гдѣ—разслѣдовать никто не станетъ... Такъ-то-съ, просто напрямки неловко объяснить. Хотя, положимъ, вы въ возрастѣ, а все же оно не того. Лучше, какъ не знаютъ...

Потомъ, оживившись, Аквилоновъ закончилъ:

— А ужъ будете-съ благодарны! Оно, конечно-съ, здѣсь провинція, а все же-съ... Я ужъ васъ направлю-съ... Спасибо скажете, помяните мое слово-съ...

— Въ долгу не останусь,—проговорилъ Романъ.

— Папенька-съ вашъ, Өеодоръ Романовичъ, тоже благодарили... Я-съ человѣкъ бѣдный... Стараюсь по мѣрѣ силъ услужить... Потуда меня и держатъ, покуда услужить во время могу...

И онъ услужилъ Роману.

Черезъ четыре дня Рома очнулся дома безъ часовъ и безъ цѣпочки, безъ портсигара и безъ копейки денегъ. Глядя на него, можно было подумать, что онъ перенесъ тяжкую болѣзнь. Онъ не только осунулся, поблѣднѣлъ, но даже какъ будто сгорбился, — ходилъ разбитыми шагами. Тѣмъ не менѣе, никогда онъ еще не былъ такъ спокоенъ и вялъ, какъ теперь. Физическое утомленіе сказалось на работѣ мозга, парализовало эту работу. Постоянное его нервное возбужденіе, казалось, исчезло безслѣдно и смѣнилось апатіей, усталостью, равнодушіемъ.

Домашніе были предупреждены Аквилоновымъ, что Романъ Өеодоровичъ заѣхали въ гости: стараго пріятеля нашли въ окрестности, наказывали сказать, что погостятъ у этого пріятеля.

— Скажи, говорятъ, папенькѣ, чтобы не сумнѣвались. Пріятеля, молъ, говорятъ, встрѣтилъ и хочу побыть у него, такъ какъ онъ наѣздомъ. А чтобы, говорятъ, папашенька не сумнѣвались.

Аквилоновъ, охваченный трусостью, что его выгонятъ, если узнаютъ его продѣлку, такъ долго и на всѣ лады варьировалъ фразу о томъ, чтобы не сомнѣвались, что всякій отецъ усумнился бы; но на этотъ разъ осебенныхъ сомнѣній не зародилось, такъ какъ отецъ былъ Өеодоръ Романовичъ. Өеодоръ Романовичъ только злился, что сынъ уѣхалъ къ пріятелю какъ разъ въ то время, когда надо было переговорить о деньгахъ съ Наташей.

— И какого дьявола онъ тамъ встрѣтилъ?—рѣзко говорилъ онъ женѣ, поджидая сына.

— Боже, если это опять какой-нибудь соціалистъ!—приходила въ отчаяніе Антонина Аркадьевна.

— Откуда имъ здѣсь взяться! У васъ всегда такія идеи! Соціалисты въ нашей глуши! Для какого дьявола?

— Да ты же слышалъ, что онъ проѣздомъ. Навѣрное съ прокламаціями!

— Ну!

— Да иначе зачѣмъ бы ему попасть въ деревню? Конечно, съ прокламаціями!

Ѳеодоръ Романовичъ зашагалъ большими шагами и заволновался.

— Этого сюрприза только недоставало! Тутъ деньги нужны до зарѣзу, а онъ къ пріятелю укатилъ... комплоты устраивать...

Что было потомъ? Сцена съ отцомъ. Изъ-за чего? Да изъ-за денегъ. Романъ объявилъ отцу, что онъ раздумалъ жениться на Наташѣ и потому—пусть вывертываются они, какъ знаютъ, изъ тяжелаго положенія. Поднялась цѣлая буря. Но точно ли онъ раздумалъ тогда жениться на Наташѣ? Нѣтъ, онъ просто сказалъ первую попавшуюся фразу, чтобы не принимать участія въ «грабежѣ» Наташи, какъ онъ называлъ этотъ заемъ. Во всѣ дни своего отсутствія изъ дома онъ менѣе всего думалъ объ отвѣтѣ отцу относительно денегъ. Онъ пилъ и кутилъ именно для того, чтобы не думать объ этомъ. Глупыя птицы прячутъ подъ крыло голову и думаютъ, что ихъ не видятъ; онъ дѣлалъ то же— онъ старался не думать объ отвѣтѣ отцу и воображалъ, что этимъ онъ избавится отъ отвѣта. Всегда онъ поступалъ такъ. Такъ въ сущности поступали въ ихъ семьѣ всѣ въ роковыя минуты тяжелыхъ обстоятельствъ. Не лучше они какого-нибудь Аквилонова въ тяжелыя минуты! Увидавъ отца, онъ сказалъ то, что въ эту минуту пришло въ отуманенную голову. Но эта подвернувшаяся на языкъ фраза остановила его мысль на этомъ вопросѣ и дала извѣстное направленіе мысли. Онъ спасаетъ Наташу отъ грабежа. Это жертва съ его стороны, такъ какъ отецъ поднялъ изъ-за этого цѣлую бурю. Она, Наташа, даже не подозрѣваетъ его подвига. Да развѣ она вообще знаетъ, понимаетъ, цѣнитъ его? Она воображаетъ, что только она можетъ приносить ему жертвы. Приноситъ жертву, а въ эти четыре дня вѣрно цѣлые часы проводила у Иволгиныхъ, любовалась на ненагляднаго Бориса Николаевича. Измучаетъ она его, Романа, за принесенную ему жертву. О, эти святыя женщины, требующія поклоненія за ихъ святость! Горе тому, кого свяжетъ судьба неразрывными узами съ ними!.. Иволгинъ то же будетъ рисоваться своимъ благородствомъ: могъ бы отбить у него, у Ромы, невѣсту и не отбилъ, щадя его, какъ слабаго врага!..

Всѣ они вѣдь только о томъ и думаютъ, что они жертвуютъ собою ему, Ромѣ. Анна даже проговорилась разъ, когда онъ пріѣхалъ въ деревню, что не будь его—не пришлось бы ей выйти за Апухтина. Тоже жертву приноситъ изъ-за него! Еще бы! Не будь его, была бы она богатою невѣстою... А мать, а отецъ, развѣ они не говорятъ трагическимъ тономъ, что ихъ лишаетъ спокойствія мысль объ участи ихъ сына? А теперь, когда Анна выйдетъ замужъ, они будутъ говорить, что они живутъ въ деревнѣ ради сына, что они не продаютъ имѣнія ради сына... О, сколько великихъ жертвъ. Въ душѣ его пробудилась внезапно глухая и холодная враждебность ко всѣмъ близкимъ. На нѣсколько мгновеній ему стало даже страшно, точно онъ сознавалъ, что онъ сходитъ съ ума... Онъ пробовалъ сказать себѣ, что вѣдь онъ же любилъ Наташу. Любилъ? Какая же это любовь, когда Наташа не пробуждала въ немъ даже чисто животной страсти? Да, ни разу, ни разу не пробудила она въ немъ ничего подобнаго.

— Точно передъ Мадонной все на колѣнкахъ стоялъ,— съ ироніей подумалъ онъ.

Ему вспомнились четыре дня безобразнаго кутежа: женщина, бравшая съ него деньги, возбуждала его больше, чѣмъ Наташа. Его охватилъ страхъ: неужели онъ такъ развратился, что только эти женщины могутъ возбуждать его? Ему пришло въ голову странное сравненіе: чтобы онъ сдѣлался дѣятелемъ, нужны какой-нибудь крупный переворотъ, крупное событіе, война, что ли, когда, какъ охмелѣвшій, не спрашивая, что изъ этого выйдетъ, не терзаясь сомнѣніями, бросишься невольно въ сраженіе; чтобы возбудить его животную страсть, нужны вино, оргія, вакханка, разнузданность, все то, что заставляетъ смолкнуть умъ и возбуждаетъ только животную страсть. Но вѣдь онъ же хотѣлъ жениться на Наташѣ? Какъ же онъ, не любя, предложилъ ей руку? Ахъ, да,—онъ думалъ, что она спасетъ его отъ отчаянія. Онъ увлекался не любовью къ ней, а мыслью о своемъ собственномъ спасеніи. Онъ и думалъ не о наслажденіяхъ любви, не о сладкихъ поцѣлуяхъ, а о томъ только, что она его спасетъ отъ гибели. Эта мысль подавляла все остальное; онъ надѣялся, что она его спасетъ, и протягивалъ къ ней свои руки. Спасетъ! Она-то, она-то! Да она доведетъ его до отчаянія, играя роль загубленной жертвы, играя роль святой, спасающей грѣшника. «Я тебѣ жизнь жертвую, а ты еще хочешь, чтобы она была отравленною». Вотъ

что она будетъ повторять ему. Сколько въ ней, въ этой доброй дѣвушкѣ, таится жестокости, безпощадности. Она можетъ довести до отчаянія, — нѣтъ, хуже, она не до отчаянія его доведетъ, а до запоя, до состоянія Геліотропова, дрожащаго подъ кулаками жены-бабы. Та тоже, говорятъ, день и ночь попрекаетъ мужа его пьянствомъ и бездѣльничествомъ, хвалясь, что она баба честная и трудящаяся, что безъ нея вся семья погибла бы съ голода. Нѣтъ, лучше смерть...

— Чему обрадовался? — усмѣхнулся онъ съ горечью, вспомнивъ минуту, когда онъ дошелъ до этой мысли.

— Да, да, смерть, смерть!—радостно говорилъ онъ тогда, точно вдругъ разрѣшилъ всѣ вопросы.—Успокоеніе, уничтоженіе, нирвана. Одна минута и всѣ цѣпи сняты, всѣ раны залѣчены, всѣ тревоги смолкли. Ни люди, ни обстоятельства, ни судьба не могутъ помѣшать. Онъ выше всего этого, такъ какъ спасеніе въ его волѣ. Захотѣлъ и сбросилъ всѣ цѣпи, всѣ тревоги, всѣ невзгоды. Другого выхода для него нѣтъ. На свѣтѣ есть три категоріи людей: непосредственныя, примитивныя и грубо-матеріалистическія натуры—люди животные, алчущіе только хлѣба; люди стоящіе на высшей ступени развитія, живущіе и умственною и духовною жизнью—эти алчутъ и правды, а не одного хлѣба; наконецъ, есть люди, сознавшіе, что правды нѣтъ на землѣ и не можетъ быть—эти алчутъ только смерти. Если послѣдніе и живутъ, то это не жизнь, а томленіе съ отрицаніемъ всего существующаго строя, всѣхъ людскихъ отношеній, съ сознаніемъ въ глубинѣ души, что нельзя уже сломить ни этого строя, ни этихъ отношеній, съ праздной проповѣдью того, что невозможно людямъ и возможно только Богу. Онъ принадлежитъ къ этой послѣдней категоріи людей, и его единственный исходъ—смерть.

Съ горькой конвульсивной усмѣшкой онъ подумалъ, какъ всѣ они, его близкіе, обрадуются его смерти. Иволгинъ женится на Наташѣ; Анна откажетъ Апухтину; отецъ и мать не станутъ мучиться, что у нихъ неудачный сынъ. И никто, никто изъ нихъ даже не пойметъ, что онъ умеръ ради нихъ, для нихъ? Не все ли ему равно? Онъ-то знаетъ, что онъ имъ приноситъ въ жертву себя. Они говорятъ о жертвахъ: онъ приноситъ жертву... Какъ же это такъ? Развѣ онъ ихъ любитъ? Нѣтъ, нѣтъ, онъ ихъ ненавидитъ, ненавидитъ уже за одно то, что они не даютъ ему ничего и берутъ у него все—жизнь. Въ головѣ на мгновеніе опять воцарился хаосъ:

можно ли ненавидѣть враговъ и жертвовать имъ жизнью? Нѣтъ, онъ жертвуетъ жизнью не имъ, а изъ-за нихъ, изъ-за подобныхъ имъ, — жить съ ними онъ не можетъ, опуститься до нихъ въ немъ нѣтъ способностей, идти на какія бы то ни было сдѣлки, онъ даже не пытался ни разу...

— Сознаніе своего собственнаго достоинства!—внезапно съ гордостью во взглядѣ проговорилъ онъ. — Да, да, вотъ что осталось мнѣ отъ предковъ.

Онъ обернулся назадъ и почти съ любовью взглянулъ теперь на эти лица, гдѣ еще нѣсколько минутъ тому назадъ онъ не находилъ ничего, кромѣ животности. Да, сознаніе собственнаго достоинства заставило вонъ этого старика бѣжать въ деревню изъ Петербурга, гдѣ интриганы добились того, чтобы не признавали его заслугъ; то же чувство во времена Екатерины побудило вонъ того серьезнаго барина сдѣлаться опаснымъ волтерьянцемъ; нѣтъ сомнѣнія, что безъ этого чувства его дѣдъ со стороны матери не былъ бы въ опалѣ. Да, это были не холопы, выносящіе удары палокъ, идущіе на сдѣлки, вступающіе въ компромиссы... Онъ, безсознательно повинуясь какому-то безотчетному чувству, старался теперь увѣрить себя въ томъ, во что еще такъ недавно не вѣрилъ, помня, что еще какихъ-нибудь полтораста лѣтъ назадъ одна изъ его прабабокъ со стороны матери была въ числѣ тѣхъ благородныхъ дѣвицъ, слышавшихъ ежедневно отъ Анны Іоанновны приказаніе: «Дѣвки, пойте», а одинъ изъ прадѣдовъ со стороны отца былъ битъ плетьми и сосланъ въ Сибирь по капризу Бирона, что основаніемъ ихъ бывшаго благосостоянія послужили смазливое лицо и гигантскій ростъ одного изъ родичей во времена разныхъ временщиковъ, а начало ихъ фамильныхъ протестовъ совпало съ высылкой того же красавца въ двадцать четыре часа изъ столицы при восшествіи на престолъ Павла Петровича.

Дождь давно уже пересталъ, разгоняемыя вѣтромъ облака клубились по небу, багровые лучи заката заливали яркимъ и холоднымъ свѣтомъ окна портретной галлереи, когда Романъ поднялся съ мѣста. Онъ устало потянулся, расправляя затекшія руки и ноги, и побрелъ изъ галлереи къ лѣстницѣ, ведшей въ верхній этажъ. Въ этой почти старческой фигурѣ, въ этой утомленной поступи было трудно сразу узнать Романа Ломова, еще такъ недавно кипятившагося и волновавшагося изъ-за каждаго пустяка...

II.

Въ домѣ Ломовыхъ царствовала нѣкоторое время тревога, но не по поводу того, что Романъ смотрѣлъ такъ, что, по выраженію Марѳы Власьевны, «краше въ гробъ кладутъ», а по поводу его отказа отъ руки Наташи. Это неожиданное извѣстіе поразило, какъ громомъ, Ѳеодора Романовича. Планы относительно займа у Наташи денегъ разрушились разомъ.

Всѣ дѣлали предположенія:

— Вѣрно, повздорили!

— Ужъ не встрѣтилъ ли онъ дѣйствительно кого-нибудь изъ прежнихъ друзей и опять не идетъ ли по пути къ тюрьмѣ?

— Не завелъ ли гдѣ-нибудь интрижку тайкомъ и не знаетъ, какъ выпутаться?

Догадкамъ не было конца, но на нихъ не останавливались долго, такъ какъ были вопросы поважнѣе. Денегъ было нужно до зарѣза. Достать негдѣ. На это сердились всѣ—и Антонина Аркадьевна, и Анна Ѳеодоровна, и Ѳеодоръ Романовичъ. Предложеніе было уже сдѣлано Апухтинымъ, согласіе дано, черезъ мѣсяцъ - черезъ два должна была состояться свадьба. Но какъ же безъ гроша денегъ? У кого занять? Tante Бетси не дастъ теперь, въ такую горячую пору. Иволгинъ—объ этомъ и думать нечего, у него вѣрно и нѣтъ, да кромѣ того Анна Ѳеодоровна при одномъ намекѣ на это вспылила. У Наташи деньги было можно взять только въ случаѣ свадьбы, такъ какъ онѣ лежали покуда не у нея. Ѳеодоръ Романовичъ рвалъ и металъ, и лучше всѣхъ это зналъ Аквилоновъ. Даже робкое замѣчаніе Аквилонова «о мельницѣ» вызвало только ругань:

— До мельницъ теперь!

Аквилоновъ, опять поддавшійся своему малодушію, то-есть мысли, что вотъ-вотъ его выгонятъ, опять принявшій видъ трусливаго пса передъ поднятымъ арапникомъ, только усиленно вздыхалъ и слезно жаловался Шершову.

— Опять житья нѣтъ и что только дальше будетъ—одному Господу Богу извѣстно!

— А что?

— Самъ-то опять на стѣну лѣзетъ, рветъ и мечетъ, хоть святыхъ вонъ выноси.

— Ну-у!

— Ей-Богу. Это у него всегда, когда денегъ нѣтъ. Теперь онѣ до зарѣзу нужны, а взять негдѣ.

Аквилоновъ подробно разъяснялъ положеніе дѣлъ ломовскихъ господъ.

Шершовъ слушалъ, попивая чай, и сводилъ благодушно разговоръ на лѣто, точно его вовсе не интересовали Ломовы.

— Благодать нынче лѣто; кабы у меня лѣтъ двадцать съ костей, Богъ знаетъ чего натворилъ бы я въ экое лѣто.

Теперь же онъ творилъ одно: почти ежедневно по вечерамъ онъ сталъ собирать къ своей избѣ стариковъ и бесѣдовалъ, какъ бы хорошо было скупить лѣсъ у ломовскихъ господъ, почитай что весь можно бы купить. Ну, да что обо всемъ толковать, а хоть бы Покатиловскій лѣсъ купить. Покатиловскимъ лѣсомъ назывался лѣсъ, примыкавшій къ землѣ ломовскихъ крестьянъ.

Мужички вздыхали.

— Гдѣ-жъ намъ такое дѣло обтяпать.

— То-то и бѣда, что не обтяпать! А кабы удалось, такъ и горевать бы было нечего. Это на всю жизнь. И дѣтямъ, и внукамъ осталось бы.

— Какъ не остаться. Извѣстно, осталось бы.

Говорили объ этомъ дѣлѣ день, другой, третій. У шершовской избы были настоящія сходки. Какъ настанетъ вечеръ, такъ всѣ и соберутся вздыхать и соображать, что вышло бы, если бы этотъ самый господскій лѣсъ да былъ крестьянскимъ лѣсомъ. Сначала собирались только старики; потомъ начали приходить и молодые. На селѣ только объ этомъ и говорили. Вопросъ о лѣсѣ взволновалъ всѣхъ даже болѣе, чѣмъ лѣтъ пять тому назадъ взволновалъ ломовцевъ слухъ о наймѣ рабочихъ за дорогую плату въ турецкую землю. Тогда нѣкоторые скептики подшучивали и спрашивали у собиравшихся въ турецкую землю:

— Гдѣ же вашъ турка?

Ну, а про Покатиловскій лѣсъ нечего было и спрашивать—вонъ онъ стоитъ, рукой до него подать, у всѣхъ онъ на виду. Находились такіе, что ходили смотрѣть на этотъ лѣсъ, хотя знали они его съ колыбели. Постоятъ, посмотрятъ на него, покачаютъ головами и пойдутъ, вздыхая.

Наконецъ Шершовъ заявилъ, что онъ можетъ «для мужичковъ» малую толику денегъ достать. Понемногу расплатятся. Изъ мужичковъ, въ свою очередь, нашлись такіе, что тоже заявили о возможности внести со своей стороны малую толику. Говорили они это опасливо, съ оговорками, словно боясь, что ихъ ограбятъ, но все же говорили, мысленно пересчитывая свои припрятанные въ тряпицахъ, въ

горшечкахъ, подъ половицами гроши. Тогда опять собрались считать капиталы: кто сколько можетъ внести и сколько долженъ достать Шершовъ за себя и другихъ. Шершовъ повздыхалъ: «много денегъ нужно ему внести. Достанетъ ли онъ! Денегъ нынче не легко достать».

— Гдѣ легко! Благодѣтели-то такіе по дорогамъ не ходятъ.

— А ужъ лѣсъ-то какой! На вѣки бы хватило.

— Чего не хватить.

Начинались новые толки о достоинствахъ Покатиловскаго лѣса.

— Только бы продалъ его Ѳеодоръ Романовичъ, — со вздохомъ говорилъ Шершовъ.

Онъ за эти дни словно немного осунулся; лицо приняло, вмѣсто обычнаго суроваго выраженія, выраженіе озабоченности и тревоги, почти тоски.

— Тоже и Тарасовымъ этакій-то лѣсъ съ руки,—разсуждалъ онъ тревожно.

— Чего не съ руки, — соглашались мужики. — Ты ужъ обхлопочи скорѣй...

— Буду, буду хлопотать,—отвѣчалъ Шершовъ, вздыхая.— Въ какое время только придешь...

И опять въ головѣ мелькала тревожная мысль о томъ, что самъ Ломовъ вовсе еще и не думалъ продавать Покатиловскій лѣсъ. Можетъ, и не согласится вовсе...

Впервые со встрѣчи съ Ломовымъ, его охватывала боязнь; онъ былъ не увѣренъ въ себѣ. Дѣло было настолько близко и важно для него, что онъ потерялъ всю свою самоувѣренность. Сидя дома, онъ часто впадалъ въ глубокое раздумье, вздыхалъ и взглядывалъ въ передній уголъ. Его старуха-жена, не видавшая его никогда въ такомъ состояніи духа, тревожилась за его здоровье и съ сомнѣніемъ бросала на него робкіе взгляды.

— Занедужился, молчитъ только! — говорила она работницѣ.—Къ Борису Миколаевичу сходилъ бы, что ли. Тоже человѣкъ сырой!

Но дать какой-нибудь совѣтъ мужу она не смѣла...

Сыновей же Шершова разбирала злость на отца. Какъ только заговорили о покупкѣ лѣса, они тотчасъ же смекнули, что лѣсъ продается; что отецъ не сдуру говоритъ объ этомъ. Не любилъ онъ пустыхъ словъ на вѣтеръ бросать. Говорилъ только о дѣлѣ. Они это знали хорошо. Въ ихъ семьѣ вообще разговаривали мало, только о самомъ необходимомъ. И какъ только они пришли къ этой мысли,

такъ тотчасъ же проснулось въ нихъ жадное желаніе захватить все въ однѣ свои руки. Чего отецъ обчество тянетъ за собой? Покупалъ бы одинъ, сколько можетъ, если Ломовскій баринъ продаетъ землю. Сколько можетъ! Все онъ можетъ купить! Пороется—денегъ найдетъ. Не знали они, гдѣ и сколько у него припрятано, но твердо вѣрили, что стоитъ ему захотѣть—и деньги найдутся. Они съ дѣтства привыкли не протестовать противъ распоряженій отца, но теперь жадность къ землѣ и жажда захватить все разомъ въ свои руки заставили ихъ даже усумниться въ практичности отца. Тоже старъ онъ—изъ ума, можетъ, выживаетъ. У нихъ, по ихъ выраженію, все нутро поворачивалось при мысли, что все не однимъ имъ достанется. Опять одинъ изъ нихъ вскользь замѣтилъ отцу, что лучше бы ему одному все купить. Старикъ только поглядѣлъ на смѣльчака насмѣшливыми глазами. Въ этомъ взглядѣ не было гнѣва, свѣтилась только насмѣшка: «Дуракъ, молъ, много ты понимаешь». Повиновеніе отцу настолько вошло въ плоть и въ кровь дѣтей Шершова, что этого взгляда было достаточно для прекращенія дальнѣйшаго разговора. Но между собою сыновья Шершова продолжали раздражительно осуждать затѣю отца, твердя одно:

— Покупалъ бы одинъ! Что ему міръ-то. Спасибо не скажетъ!

— Скажетъ, да шубы-то изъ него не сошьешь...

— Благодѣтель нашелся!.. Своя семья велика, такъ о другихъ-то нечего думать...

— Они-то о насъ не подумаютъ, приди бѣда!

Этотъ глухой ропотъ повторялся въ каждомъ углу, гдѣ сходились молодые Шершовы. Эти лихіе красавцы-парни смотрѣли теперь мрачно, какъ заговорщики, и ощущали чуть не ненависть къ своей родной деревнѣ, къ своимъ односельчанамъ, ругали послѣднихъ не хуже Ѳеодора Романовича. Всѣ другія чувства были подавлены сознаніемъ, что у нихъ, у Шершовыхъ, вырываютъ изъ рукъ большой клокъ земли. Это имъ казалось чуть не грабежомъ.

Дня черезъ два—черезъ три послѣ окончательныхъ переговоровъ съ мужиками старикъ Шершовъ пошелъ кланяться Ѳеодору Романовичу за мужичковъ. Долго онъ колебался, идти ли на поклонъ одному или взять депутатовъ. Рѣшительный во всякое другое время, теперь онъ останавливался съ вопросами надъ каждой мелочной подроб-

ностью затѣяннаго дѣла. Наконецъ онъ рѣшился идти одинъ. Еще испортятъ глупые люди дѣло.

Въ это время Ломовъ совсѣмъ потерялъ голову, изобрѣтая, гдѣ бы достать денегъ. Въ его головѣ роились самые нелѣпые планы. Раздраженный и мрачный, онъ встрѣтилъ Шершова довольно сухо. Еще бы! Шершовъ еще недавно на сдѣланный ему вопросъ, нельзя ли гдѣ-нибудь достать денегъ, наотрѣзъ сказалъ, что не такое теперь время, чтобы доставать деньги.

Шершовъ, смиренно остановившись у дверей ломовскаго кабинета, особенно усердно оправляя кушакъ, сталъ объяснять цѣль своего посѣщенія.

— Прислали, самъ не посмѣлъ бы,—заговорилъ онъ, переступая съ ноги на ногу, точно онъ былъ не смѣлѣе Аквилонова. — Лѣсомъ они больно обижены, мужички-то. Проси, говорятъ, Покатиловскій лѣсочекъ продать. Можетъ, Ѳеодоръ Романовичъ смилостивится.

Онъ смолкъ, уставившись тревожными глазами на лицо Ѳеодора Романовича.

Ѳеодоръ Романовичъ даже испугался сначала. Какъ? продать Покатиловскій лѣсъ? Да это лучшій лѣсъ въ имѣніи. Что же изъ лѣса и останется въ имѣніи, если Покатиловскій продать? Лучше ужъ все имѣніе разомъ продать. Этого только недоставало. Шершовъ упавшимъ голосомъ согласился.

— Точно что лѣсокъ хорошій! Что ужъ тутъ и говорить!.. Конечно, не при рѣкѣ онъ... Какъ его сплавлять станешь, если на сторону продавать?.. А лѣсочекъ точно что хорошій. У мужичковъ-то глаза на него разгорѣлись, потому лѣсомъ они обижены, а этотъ лѣсочекъ къ ихъ землицѣ притулился... Думали,—конечно, народъ глупый,—что милость божескую имъ окажетъ баринъ, благодѣянье на всю жизнь... то-есть по гробъ... Дѣти и тѣ поминать вѣкъ будутъ...

Старикъ говорилъ не только по обычаю степенно, а съ дрожью въ голосѣ. Онъ самъ чувствовалъ, что у него «все нутро дрожитъ», такой страхъ охватывалъ при мысли, что такое дѣло можетъ сорваться, не выгорѣть. Давно уже не испытывалъ онъ ничего такого, что онъ испытывалъ теперь. Это было вполнѣ сильное ощущеніе, точно неудача вела къ разоренію, точно на карту ставилась вся жизнь. Слова, срывавшіяся съ языка, какъ-то сами собою выходили такими мягкими и жалостливыми, голосъ пѣвучимъ

сдѣлался. Его почти всегда суровые глаза смотрѣли теперь на Ѳеодора Романовича съ робкой мольбой, почти съ любовью.

Ломовъ уже ходилъ по комнатѣ торопливо, въ большомъ волненіи, усиленно затягиваясь папироской, и удивлялся немного самъ себѣ: чего онъ испугался? Деньги сами въ руки лѣзутъ, а онъ испугался? Положимъ, лѣсъ прекрасный, другого лѣса въ сущности и нѣтъ въ имѣніи, все остальное дрянь, но что же онъ будетъ дѣлать съ этимъ лѣсомъ? Любоваться имъ, что ли? Вѣдь надо же будетъ продать—на срубъ или совсѣмъ съ землею—не все ли равно? «Жаль, что не при рѣкѣ, сплавлять нельзя», вспоминались ему слова Шершова. Да, точно, не при рѣкѣ, сплавлять нельзя. Вотъ вѣдь тутъ и поди: есть лѣсъ, а на что онъ, когда не при рѣкѣ и сплавлять нельзя? Вообще преневыгодно расположено его имѣніе. Въ сущности, все бы продать слѣдовало и уѣхать въ Петербургъ. Жить можно изъ процентовъ. Проценты не велики, но это нѣчто опредѣленное, а доходы съ имѣнія—кто ихъ знаетъ, каковы они будутъ. Много ли даетъ имѣнье хлѣба. Случись засуха, градъ, жучокъ—и останешься безъ хлѣба. Тоже куда его продашь и за сколько? Спросу за границу на нынѣшній годъ нѣтъ, по желѣзнымъ дорогамъ на станціяхъ видимо-невидимо свалено хлѣба. Капиталъ гніетъ. У насъ все такъ. Вотъ и лѣсъ—хорошій лѣсъ, а не при рѣкѣ. Что-жъ дѣлать съ нимъ?

Онъ вдругъ остановился передъ Шершовымъ. Тотъ стоялъ понуро, со страхомъ ожидая отвѣта. Въ головѣ старика проносились мысли: «осерчалъ», «не продастъ». Онъ такъ привыкъ къ горячности Ломова, что молчаніе послѣдняго смущало его болѣе всякихъ криковъ.

— А, видно, мужички-то у васъ не нищіе?—шутливо замѣтилъ Ломовъ, трепля по плечу Шершова.

— На взглядъ сѣры, — отвѣтилъ скромно Шершовъ и почувствовалъ, что въ немъ что-то дрогнуло, точно отъ внезапнаго проблеска свѣта.—И то сказать, вѣдь не одинъ покупаетъ, обчествомъ, съ міру по ниткѣ—голому рубашка... По грошу съ каждаго—рубль выходитъ...

Ломовъ заходилъ опять молча по комнатѣ, что-то соображая. Въ его головѣ вертѣлись отдѣльныя слова: «крестьянскій банкъ», «дворянскій банкъ», «общество поземельнаго кредита», «канитель». «Всякій залогъ имѣнія—петля на шеѣ», откуда-то выныривали въ памяти слова, слышанныя

имъ на обѣдѣ у Кожуховой. Да, точно, это петля на шеѣ. Знаетъ онъ по опыту, во что обходятся банковыя операціи. При словѣ «операціи» онъ даже поморщился, точно дѣло шло объ анатомической операціи. Онъ опять остановился передъ Шершовымъ.

— Когда же думаютъ? Долго у васъ эти дѣла дѣлаются «обчествомъ»-то?

Шершовъ заторопился разубѣдить его:

— Нѣтъ, чего долго! Мужички давно надумали... Сумлѣвались только какъ-будто, что ты-то... Тоже не всякій нынче для мужика-то радѣетъ. Баре выводиться стали. Все больше ободрать мужичка хотятъ... Не прежніе годы!..

— Я что-жъ, я готовъ сдѣлать доброе дѣло,—отозвался Ломовъ, довольный уже всѣмъ и всѣми.

Шершовъ широко вздрогнулъ всею грудью. У него точно гора съ плечъ свалилась. На минуту, охваченный порывомъ радости, онъ готовъ былъ до земли поклониться Ломову.

— Только ужъ если дѣлать дѣло, такъ скорѣй,—небрежно проговорилъ Ломовъ, сознавая вполнѣ оказываемое имъ мужичкамъ благодѣяніе.—У меня теперь хлопотливое время, и мнѣ не до другихъ. Своихъ дѣлъ не оберешься. Вотъ по которыхъ поръ...—Онъ провелъ рукой по горлу.

— Да мужички мигомъ все. Чего имъ думать! Ты ужъ будь покоенъ! Все оборудуютъ! Имъ благодѣяніе, такъ чего волочить...

Шершовъ кланялся и говорилъ необычайно торопливо, захлебываясь отъ волненья. Онъ точно помолодѣлъ, такъ прояснилось его лицо. Ему казалось, что ноги его стали необычайно легки: хотѣли бѣжать, двигаться. Торговались недолго. Шершову даже удалось поприжать Ломова и купить дешевле, чѣмъ предполагалось.

Не прошло и часу, какъ онъ, торопливый и оживленный, какъ бы налитый ртутью, опять съ поклонами принесъ задатокъ. «Для спокойствія», какъ онъ выразился; Ломовъ, тоже сіяющій, ласково потрепалъ его по плечу. Шершовъ съ любовной улыбкой кланялся ему въ сотый разъ. Была минута, когда имъ обоимъ хотѣлось обняться по-братски и расцѣловать другъ друга, такой любовью были они проникнуты одинъ къ другому. Тутъ не было ни притворства, ни лжи.

Вечеромъ у избы Шершова было такое сборище народу, что было тѣсно. Всѣ напирая другъ на друга, говорили на

перебой, у всѣхъ точно отлегло отъ сердца. Этакое дѣло сдѣлали. Лѣсъ покупаютъ. Какой еще лѣсъ-то—Покатиловскій! Дѣды помнятъ, какъ этотъ лѣсъ въ ихъ молодые годы стоялъ. Радовались даже тѣ, кто не вносилъ ни гроша, а давалъ по раскладкѣ росписки на имя Шершова. Шершовъ и Парфенъ съ мельницы явились главными вкладчиками. Толпа готова была не расходиться до поздней ночи. Говорить было уже не о чемъ, а всѣ еще говорили, повторяя одно и то же. До утра они могли бы проговорить такъ-то; слишкомъ ужъ были переполнены ихъ сердца. Многіе даже подвыпили на радостяхъ. Впрочемъ, пьянства и пьяныхъ не было. Событіе было настолько крупно, что поднимало духъ и безъ водки. У всѣхъ словно крылья отросли, хотѣлось двигаться, говорить, смѣяться. Шершовъ былъ доволенъ не менѣе остальныхъ односельчанъ, онъ былъ героемъ этого дня, такъ какъ и онъ, и крестьяне сознавали, что безъ него сдѣлка не удалась бы, и его вѣчно серьезное лицо приняло теперь благодушное, почти веселое и привѣтливое выраженіе. Онъ подшучивалъ и острилъ, толкуя съ мужиками, и даже самые ненавистные для него изъ ихъ среды на этотъ разъ не возбуждали въ немъ ничего, кромѣ жалости къ нимъ—къ «непутевымъ шаромыжникамъ», какъ онъ называлъ буйную деревенскую голытьбу.

Когда онъ вошелъ въ свой домъ, его глаза не безъ отеческой ласки остановились на сыновьяхъ, ожидавшихъ его къ ужину.

— Ишь, данники все наши,—сказалъ онъ семьѣ, кивая головой на улицу. Теперь арендуй я, либо купи все Ломовское—рабочихъ нанимать не надо.

И, охваченный полнымъ душевнымъ довольствомъ, онъ продолжалъ откровенничать:

— Купи я одинъ лѣсъ и не усторожить бы, а теперь весь міръ, что твоя цѣпная собака, другъ за другомъ слѣдить будетъ. Да и деньги-то всѣ убивать на одно дѣло не приходится, потому сегодня лѣсъ господа продаютъ, а завтра, смотришь, неровенъ часъ, и всю землю да и съ усадьбой захотятъ продать.

Онъ усмѣхнулся.

— Убьешь все теперь, а придетъ часъ—пожалуй, Парфенъ съ мельницы господскую усадьбу купитъ да и прочую землю. Голыми руками съ нимъ биться не станешь, у него же изъ господскаго кармана много къ доченькѣ въ мѣ-

шокъ рублей перепадаетъ... Стыда да совѣсти нѣтъ, такъ скоро мошну набьютъ...

Старикъ брезгливо сплюнулъ и продолжалъ:

— Тоже и деньги теперь понемногу вернутся, да еще люди добрые за благодарность поработаютъ... Эхъ, дѣтки, дѣтки!

Онъ распоясался и вздохнулъ полной грудью. Старуха-хозяйка и босоногая работница уже набрали все на столъ для ужина. Шершовъ грузно опустился на лавку. За нимъ усѣлись и его жена-старуха, и его сыновья, и работница.

— Что за лѣто-то нынче — благодать-то какая. Шестьдесятъ годовъ слишкомъ живу, а такой благодати не запомню. Ровно самъ помолодѣлъ. Все Божье соизволеніе. Мы Его помнимъ—Онъ насъ помнитъ!

По его лицу расплывалась мягкая улыбка.

— Мужички, Христовы работнички, чай сегодня всю ночь спать не будутъ. Оченно ужъ ихъ эта покупка ободрила. Ничего, пошлетъ Господь Богъ, и больше будетъ. На все Его святая воля.

Онъ вздохнулъ.

— Эхъ, кабы народъ-то не пилъ, чего бы натворить-то съ умомъ можно! Каждый рубль, умѣй только имъ обернуться во-время, что тебѣ принесетъ! Страсть!.. А дѣловъ впереди вотъ сколько, выше головы, и на все деньги занадобятся. У кого будутъ—тотъ и панъ.

Семья по обыкновенію молчала. Но это было не мрачное молчаніе недовольныхъ, а молчаніе учениковъ, ловящихъ каждое слово своего великаго учителя. Теперь сыновья Шершова уже не сѣтовали на отца, не упрекали его въ душѣ за его образъ дѣйствій. Они только дивились его смѣтливости, его практическому смыслу, его дальновидности.

Старикъ кончилъ ужинъ, перекрестился широкимъ крестнымъ знаменіемъ и, вставъ съ лавки, потянулся во весь ростъ, все еще могучій, здоровый, сильный. Сыновья тоже почтительно поднялись съ мѣстъ. Онъ внушалъ имъ своеобразное уваженіе, какъ человѣкъ, стоящій неизмѣримо выше всѣхъ остальныхъ людей. Они не безъ гордости называли себя «шершовскими сыновьями», а не просто Шершовыми. Онъ мелькомъ спросилъ:

— Спать?

— Рано еще,—отвѣтили они нерѣшительно.

— Что-жъ, погуляйте, погуляйте... Чего не гулять, пока молоды... Пить—не пейте, а гулять—гуляйте съ Богомъ...

Едва замѣтно улыбаясь съ снисходительной лаской любящаго отца, онъ прошелъ грузными шагами въ свою каморку. Лица здоровыхъ и дюжихъ парней озарялись широкими улыбками. Въ ихъ фигурахъ, въ выраженіи ихъ лица было что-то общее съ Кожуховыми. Тѣ улыбались такими же широкими улыбками и скалили здоровые бѣлые зубы. Старуха-мать проворно помогала работницѣ убирать посуду, добродушно и отрывисто шептала:

— Охъ, дѣтки, дѣтки!.. Все для васъ!.. Отецъ-то!.. Все онъ, все онъ!..

Она тоже не чувствовала подъ собою ногъ отъ счастія, хотя и не понимала вовсе сущности и размѣровъ сдѣлки, устроенной мужемъ. Она, ограниченная и смиренная женщина, понимала только, что мужъ «прикупилъ лѣсу, и въ то же время все общество облагодѣтельствовалъ». Недаромъ на селѣ точно праздникъ. Больше она ничего не знала и не желала знать. Ея ограниченный и узкій умишко не страдалъ любопытствомъ. Она даже боялась знать «лишнее», такъ какъ это приносило только заботы и тревоги.—Меньше знаешь—меньше бредишь. Но старуха еще болѣе возгордилась бы своимъ мужемъ, если бы узнала, что онъ облагодѣтельствовалъ не только ломовскихъ мужиковъ, но и ломовскихъ господъ.

У ломовскихъ же господъ былъ дѣйствительно праздникъ. Забывъ чрезъ полчаса, какимъ путемъ пріобрѣтены деньги, эти господа—мужъ, жена и дочь—уже распоряжались задаткомъ, даннымъ за лѣсъ. Столько-то нужно на бѣлье, столько-то на платья, тогда-то нужно сдѣлать обѣдъ, въ такой-то день не худо устроить балъ. Все распредѣлилось и внезапно всѣхъ поразила мысль «какъ же такъ все и издержать?» Значитъ, надо сократить смѣту, убавить тутъ, урѣзать тамъ. Да развѣ это возможно? Все, внесенное въ смѣту, необходимо и нельзя поступиться ничѣмъ. Всѣ пріуныли и опустили головы.

Ломовъ очнулся первымъ и захохоталъ гомерическимъ смѣхомъ:

— Да вѣдь это только задатокъ!

— Да, да, вѣдь это задатокъ! Значитъ, можно еще прибавить на приданое, еще значитъ день для пріема гостей!—воскликнули разомъ мать и дочь.

— Еще бы! еще бы!—воскликнулъ Ломовъ.—Но это прелестно: разсчитываемъ, какъ распредѣлить деньги, и за-

были, что это только задатокъ. Это просто анекдотъ! Право, анекдотъ!

Онъ заходилъ по комнатѣ, продолжая громко смѣяться, какъ мальчишка.

— Нѣтъ, мы отъ радости потеряли головы! Это мило! Ха-ха-ха!

— А потомъ? Что будетъ потомъ?—испугалась Антонина Аркадьевна, смущенная тѣмъ, что она радуется безъ огорченія.—Затратимъ все, а потомъ...

— Дѣлайте только все какъ можно приличнѣе,—нетерпѣливо замѣтила Анна Ѳеодоровна, перебивая мать, сердясь, что та «черносалопничаетъ»,—это выраженіе, мелькнувшее въ ея головѣ, такъ понравилось ей, что она чуть не произнесла его вслухъ.—Я же потомъ возвращу все съ благодарностью. Кажется, въ этомъ нельзя сомнѣваться.

— Ну, да, конечно, это же понятно!—воскликнулъ отецъ, небрежно пожимая плечами.—Стоитъ ли говорить о пустякахъ!

— Ахъ, я боюсь, не скупъ ли Валеріанъ Александровичъ!—вздохнула мать, чувствуя потребность вздыхать хоть о чемъ нибудь.

— Что за идея!—съ гримасой пренебреженія воскликнула Анна Ѳеодоровна.

— Антонинѣ всегда такія идеи приходятъ въ голову,—насмѣшливо замѣтилъ Ломовъ, на минуту останавливаясь посрединѣ комнаты и разводя руками.—Всегда! Апухтинъ скупъ! Это просто смѣшно!

— Мы же его не знаемъ съ этой стороны,—возразила Ломова, отстаивая свои «идеи».

— Я думаю, если мнѣ птичьяго молока понадобится, онъ и его постарается достать для меня,—не безъ самоувѣренности проговорила Анна Ѳеодоровна и приподняла надменно голову.

— Да, да, тутъ разсчитывать и утягивать гроши нечего—это все вернется, если бы понадобилось,—рѣшилъ Ломовъ, пожимая плечами.—Смѣшно даже толковать о такихъ пустякахъ! Да, наконецъ, и почему можетъ понадобиться? Мы, кажется, не нищіе?

— Ахъ, кто знаетъ будущее!—вздохнула Антонина Аркадьевна.

— Я, мама!—засмѣялась Анна Ѳеодоровна вызывающимъ смѣхомъ.—Я знаю, что я буду богата, а буду богата я—не будете бѣдными и вы.

— Милая, милая!—привѣтливо улыбалась ей мать грустною улыбкой страдалицы.—Ты судишь, какъ ребенокъ!

— Что вы придумываете,—загорячился Ломовъ.—Ребенокъ! ребенокъ! Нина говоритъ не какъ ребенокъ, а какъ женщина, понимающая, что она будетъ имѣть права распоряжаться своими средствами. Это не ребяческія мечты, а серьезное сознаніе своихъ правъ...

Семья мысленно обирала Апухтина и въ увлеченіи золотыми надеждами не замѣчала оборотной стороны медали...

Не участвовали въ этой семейной радости только Романъ и Наташа. Имъ даже не сообщили о продажѣ лѣса, о полученіи задатка. На нихъ всѣ нѣкоторое время дулись, не зная, кто виноватъ въ разрывѣ между ними—Наташа или Романъ. Можетъ-быть, эта «капризная дѣвчонка» раздражила его; можетъ-быть, этотъ «хамелеонъ» самъ повздорилъ съ нею. Знали всѣ только одно, что предполагаемый союзъ разстроился именно въ то время, когда понадобились деньги отъ Наташи. Это не могло не оставить въ сердцахъ близкихъ тѣни неудовольствія. Но этого неудовольствія, повидимому, не замѣчали ни Наташа, ни Романъ.

Съ Наташей творилось нѣчто странное.

На третій день исчезновенія Романа изъ дому, она зашла къ Иволгинымъ. Вѣра Николаевна была занята по хозяйству, а Борисъ Николаевичъ большими шагами тревожно ходилъ по саду, погруженный въ какія-то тяжелыя думы. Наташа вошла въ домъ, прошла на террасу и на минуту остановилась, смотря на Иволгина. Ей показалось, что его лицо какъ будто осунулось за эти дни; между сдвинутыми бровями залегла легкая морщинка. Лицо выражало серьезную, напряженную сосредоточенность. На минуту Наташѣ оно показалось даже суровымъ. Никогда она не видала его такимъ. Что съ нимъ? Не случилось ли какой-нибудь бѣды? У Наташи сильно забилось сердце. Онъ не замѣтилъ ея прихода. Она робко, сама не зная, чего боясь, окликнула его:

— Борисъ...

Онъ очнулся, не далъ ей договорить, рванулся къ ней съ крикомъ:

— Наташа! Наташа! Пришла!

Не давъ ей времени опомниться, отстраниться, онъ сжалъ ее въ мужественныхъ, сильныхъ объятіяхъ и сталъ, какъ безумный, покрывать поцѣлуями ея голову, ея лицо. Казалось, онъ встрѣтилъ дорогое существо, уже давно считав-

шееся потеряннымъ и погибшимъ для него, и обезумѣлъ отъ радости этой встрѣчи. Этотъ порывъ захватилъ ее врасплохъ, какъ нежданная буря. Она чувствовала, что на ея лицо упадаютъ горячія капли слезъ и, не протестуя, не сопротивляясь, жалась къ нему, точно по-дѣтски ища защиты отъ кого-то на его широкой, мужественной груди. Ея лицо горѣло, какъ въ огнѣ, сердце замирало отъ счастія. Всѣ ея ощущенія были новы; ничего подобнаго не испытывала она прежде. Она не отстраняла его, не спрашивала, не протестовала. Въ головѣ не было никакихъ вопросовъ: Какъ? Почему? Что случилось? Съ чего это онъ такъ вдругъ бросился къ ней, по какому праву онъ цѣлуетъ ее, даже не объяснившись въ любви, развѣ можетъ такъ относиться мужчина къ дѣвушкѣ? — ничего этого она не думала, ни о чемъ этомъ она не спрашивала. Ей было ясно одно, что онъ любитъ ее, что онъ не уступитъ ея никому. Что говорилъ онъ, что отвѣчала ему она,—они оба не знали въ эту минуту, не могли припомнить послѣ.

На террасѣ, наконецъ, послышались шаги. Оба обернулись.

— Вѣра, Вѣра, куда ты? Не уходи! — крикнулъ Иволгинъ, видя, что сестра, вышедшая на террасу, спѣшитъ удалиться.—Пришла она! Видишь!

Онъ указалъ Вѣрѣ Николаевнѣ на Наташу. И оба, онъ и Наташа, разомъ бросились къ Вѣрѣ Николаевнѣ обнимать ее. Толстуха, добродушно смѣясь, отбивалась отъ нихъ:

— Задушите! Пустите! О, безумные!

— Оставь ее, оставь, Наташа!—говорилъ Борисъ Николаевичъ, привлекая Наташу опять къ себѣ.

Они всѣ трое опустились на ступени террасы.

— Господи, я думалъ, что я съ ума сойду сегодня, когда этотъ дуракъ, Ѳеодоръ Романовичъ, сказалъ мнѣ, что его сынъ женится на тебѣ,—заговорилъ Борисъ Николаевичъ.— Разсказываетъ это мнѣ, а самъ сіяетъ: «у насъ двѣ свадьбы разомъ. — Романъ женится на Наташѣ, Нина выходитъ за Анухтина. Поздравляйте!» А у меня на языкѣ одно: «провалились бы всѣ вы къ чорту...»

Наташа вздрогнула. Она теперь только вспомнила о Романѣ.

— Хорошъ онъ пришелъ домой,—замѣтила Вѣра Николаевна.—Право, я думала, что все Ломовское вымерло отъ дифтерита.

— Понятно,—горячо продолжалъ Иволгинъ:—это извѣ-

стіе само по себѣ было хорошо, а тутъ еще ты не приходила нѣсколько дней, начались сомнѣнія. Думаю: «а что, если въ самомъ дѣлѣ? И для чего я медлилъ? Чего ждалъ?..» Я не зналъ, что и дѣлать. Вѣра говоритъ: «сходи самъ». Какъ же идти, когда съ Романомъ почти порвалъ, когда Анна Ѳеодоровна ненавидитъ, когда, наконецъ, этотъ болванъ сказалъ, что сынъ женится на тебѣ? Писать? Звать тебя на объясненіе... А! да что я толкую,—порывисто прервалъ онъ себя.—Ты пришла, ты здѣсь, и никому, никому я тебя не отдамъ!..

Онъ сжалъ опять ее въ объятіяхъ. Она упавшимъ голосомъ прошептала:

— Но вѣдь онъ точно просилъ моей руки...

— Просилъ? Ты, конечно, отказала?

— Ахъ, нѣтъ, нѣтъ!..

Она замахала по-дѣтски рукой:

— Оставь это, оставь! Никогда я не выйду за него!..

По лицу Иволгина скользнула на минуту тѣнь.

— Но какъ же? Ты дала слово? Да?

— Да, да,—прошептала она, кивая головой.

— Господи, что же это такое!—воскликнулъ онъ, всплеснувъ руками.

— Ничего, ничего, — заторопилась она успокоить его, видя его отчаяніе.—Ты выслушай, какъ все было. Ей-Богу же, это ничего! Ты только выслушай! Ахъ, какой ты!

Она прижалась къ нему еще ближе и торопливо стала разсказывать, немного сбивчиво, наивно, по-дѣтски. Иволгинъ предписалъ ему, Ромѣ, спокойствіе во время болѣзни Ромы. Ну, а онъ сталъ просить ея руки, это Рома-то. Что-жъ, убить его можно было отказомъ? Ему вѣдь было запрещено волноваться. Самъ Иволгинъ запретилъ, самъ онъ. Она и сказала: «да». Жаль, жаль ей стало его. Ахъ, какъ жаль! Она вовсе и не думала, къ чему это поведетъ. А потомъ онъ вздумалъ ревновать и сдѣлалъ сцену ей. Она разсердилась и оттолкнула его. Онъ сказалъ: «бери свое слово назадъ!» Господи, какой онъ жалкій, жалкій! И всѣ они жалкіе: никого не любятъ, кромѣ себя, а себѣ помочь не умѣютъ.

— Ну, и ты взяла твое слово назадъ? — торопливо допрашивалъ Иволгинъ.—Да? взяла?

— Ничего я не брала, а онъ уѣхалъ куда-то и теперь его нѣтъ...

Борисъ Николаевичъ задумался. Въ головѣ былъ какой-то хаосъ.

— Ты сердишься?—робко спросила она.—Ей-Богу, ей-Богу, я не знала, что ты меня любишь...

Она горько заплакала.

— Все говорили: въ Нину влюбленъ!

Онъ невольно засмѣялся, услышавъ это восклицаніе, и прижалъ къ своей груди ея головку.

— Дѣвочка моя, дѣвочка! Развѣ я смѣю на тебя сердиться. Я самъ все это надѣлалъ. Не рѣшался переговорить, ждалъ, когда все само собою случится.

— А еслибъ не случилось?—спросила она, отирая слезы.

— Не могло не случиться, если ты любила... Не случилось бы, значитъ, ты не любила бы, а безъ любви...

Онъ покачалъ головой.

— Мнѣ было бы мало знать, что ты любима мною, мнѣ нужна взаимность...

— А глупостей все же натворилъ! — съ добродушнымъ упрекомъ сказала Вѣра Николаевна.—Я говорила тебѣ, что я выспрошу ее. Нѣтъ, не хотѣлъ, не позволялъ. Все еще поэзіи хочется, а взялъ бы просто сваху...

Всѣ весело засмѣялись.

— Ну, да что думать!—рѣшилъ Иволгинъ. Ты моя, и конецъ. Время укажетъ, что дѣлать.

Они были слишкомъ счастливы, чтобы останавливаться на вопросѣ о затрудненіяхъ. Имъ хотѣлось думать и говорить только о своемъ счастьи...

Наташа вернулась домой такой радостной и сіяющей, что Анна Ѳеодоровна остановила на ней особенно внимательный, подозрительный взглядъ. Что съ ней? Съ чего она такъ сіяетъ? Ломовой стало точно досадно. Она тоже была счастлива, но это счастье высказывалось только въ особенно гордомъ взглядѣ, въ надменномъ выраженіи лица. У Наташи счастье было радостью, улыбкой, свѣтомъ.

На другой день Романъ, возвратившись домой, тоже обратилъ вниманіе на выраженіе лица Наташи и какъ бы чутьемъ угадалъ, что эта радость вызвана не имъ, не его возвращеніемъ домой.—Наташа пожала его руку разсѣянно, она не спросила даже, гдѣ онъ былъ, очевидно, что онъ мало интересовалъ ее. Теперь ей, дѣйствительно, не было до него никакого дѣла. Онъ попробовалъ тоже холодно отнестись къ ней,—можетъ-быть, она встревожится, придетъ къ нему. Нѣтъ, она не шла къ нему, даже какъ будто избѣгала его. Онъ начиналъ раздражаться. Тогда позвалъ его Ѳеодоръ Романовичъ. Началось горячее объясненіе о

деньгахъ. Рома произнесъ неожиданно для самого себя фразу:

— Мои планы разстроились; я не женюсь на Наташѣ.

Онъ желалъ только какъ-нибудь выпутаться изъ затрудненія. Когда онъ послѣ бурнаго разговора съ отцомъ встрѣтилъ опять Наташу, онъ вознегодовалъ на нее: она даже не подозрѣваетъ, что онъ принесъ ей жертву. Дѣйствительно, она вовсе не думала о немъ. То-есть начинала думать и тотчасъ же переходила мыслью къ Иволгину. Если бы Рома вздумалъ теперь ныть передъ нею и молить ее о любви— она не тронулась бы его мольбами. Она сама не понимала, какъ это сдѣлалось, почему. Она знала одно, что теперь она не въ состояніи пожертвовать собой для Ромы. Теперь она знала, что значитъ любить и быть любимой. Принести въ жертву другому это счастье уже не было силъ. Она улыбалась, думая объ Иволгинѣ. Эта улыбка начала бѣсить Романа: онъ жертвуетъ собою ей, а она радостна, сіяетъ. Онъ сталъ иронизировать:

— А ты, Наташа, сегодня особенно весела!

— Съ чего же мнѣ хмуриться?—спросила она.

«Только бы не занылъ»,—мелькнуло у нея въ головѣ. Она уже боялась не того, что она расчувствуется, а того, что скучно это нытье. Она себя тутъ же мысленно упрекнула: «развѣ онъ виноватъ, бѣдный, что онъ такой». Этотъ упрекъ зазвучалъ въ ея душѣ, какъ фальшивая нота. Она даже разсердилась на себя, что она его не жалѣетъ. «Сама передъ ними виновата, сама готовлюсь внести въ его жизнь новое горе и сама же не жалѣю его». Она пересилила себя и дружески спросила:

— Гдѣ ты пробылъ эти дни? Ты какъ будто похудѣлъ, точно нездоровъ.

— А тебѣ это не все равно? — насмѣшливо спросилъ онъ.

— Ты такъ думаешь?—обиженно спросила она, чувствуя, что онъ угадалъ правду.

— А ты какъ думаешь?—еще насмѣшливѣе спросилъ онъ.

Ей стало страшно разувѣрять его: «а вдругъ онъ повѣритъ? Опять заплачетъ, бросится цѣловать ея руки». Онъ слѣдилъ за нею презрительнымъ взглядомъ, наслаждаясь смущеніемъ. «Никогда она его не любила; себя они, эти здоровые люди, только и любятъ».

— И для чего ты маскируешься передо мною? Говорила бы все прямо, что есть на душѣ,—замѣтилъ онъ.

— Да вѣдь ты все равно не повѣришь,—отвѣтила она.— Ты вездѣ видишь ложь.

— А тебѣ хотѣлось бы, чтобы я въ каждой лжи видѣлъ правду?

Она нетерпѣливо пожала плечами.

— Такъ говорить нельзя!

— Напрасно ты и принуждаешь себя говорить, — замѣтилъ онъ.

Онъ повернулся къ ней спиною и пошелъ прочь.

Между нимъ и ею вдругъ порвалась всякая связь. Эта связь и прежде была слишкомъ слаба—это была не любовь: онъ видѣлъ въ ней возможность спастись отъ пустоты жизни; она жалѣла въ немъ больного человѣка; этого было слишкомъ мало, чтобы сдѣлать прочнымъ ихъ союзъ. Теперь онъ уже, съ настойчивостью нервно больного человѣка, убѣждалъ себя не въ томъ, что она спасетъ его, а въ томъ, что она его сдѣлаетъ еще болѣе несчастнымъ. «Какъ Геліотропова жена заѣдаетъ, такъ и она меня заѣла бы. Та тоже изъ здоровыхъ. Охъ, ужъ эти здоровые люди. Въ мясники бы имъ идти!» Онъ сталъ придираться къ ней на каждомъ шагу, мелочно, обидно, вызывая на ссору.

Разъ онъ ворвался къ ней въ комнату и раскричался:

— Ты взяла у меня томъ Спенсера?

— Ты мнѣ самъ его далъ на прошлой недѣлѣ, — сказала она.

— Я далъ для чтенія, а не для того, чтобы онъ валялся у тебя. Лучше бы ужъ не брали серьезныхъ книгъ, если не можете ихъ осилить.

— Я его читала... но въ эти дни...

— Читала! читала! Много, должно-быть, поняла. Давай книгу!

Она молча подала ему книгу. Онъ почти вырвалъ ее изъ рукъ дѣвушки, смотря на нее злыми глазами.

— У васъ все казовые концы! Все для виду! Въ головѣ двѣ мыслишки, а туда же Спенсеровъ на столѣ держите...

Она не противорѣчила, она почти радовалась, что онъ кричитъ и ругается. «Кончено, все кончено»,—радостно проносилось въ ея головѣ. Онъ, раздраженный ея молчаніемъ, вышелъ изъ комнаты, хлопнувъ дверью.

— Кукла, тоже живетъ для внѣшности; рисуется своими добродѣтелями, умомъ! — съ злобой говорилъ онъ про нее, возвращаясь въ свою комнату и швыряя въ уголъ книгу.

Къ обѣду въ этотъ день пріѣхали гости и въ томъ числѣ

Кожуховы. Во время послѣобѣденнаго кофе Владиміръ Кожуховъ, сидя среди молодежи на террасѣ, заговорилъ объ оздоровляющемъ вліяніи деревенской жизни. По обыкновенію, онъ свелъ все на себя, на братьевъ:

— Вотъ мы какіе! Я кочерги сгибаю! Александръ точно изъ бронзы отлитъ...

Романъ вскипятился и рѣзко перебилъ его:

— Да, такъ она, эта пресловутая ваша деревня, оздоровляетъ, что въ животное можно превратиться. Въ каждомъ здоровомъ человѣкѣ мясникъ сидитъ.

Онъ взглянулъ злымъ взглядомъ на Наташу. Она отвернулась въ сторону.

— Я говорю это потому, что и мнѣ въ жизни, къ моему несчастію, приходилось сталкиваться съ такими здоровыми людьми. Бездушнѣе ихъ я никого не встрѣчалъ. Они играютъ съ ближними, какъ кошки съ мышами; попасть въ ихъ мягкія лапки значитъ изойти кровью... И все это сдѣлаютъ они—и истерзаютъ, и задушатъ—съ благодушіемъ здоровья и сытости!

Въ головѣ Наташи мелькало: «Это онъ все про меня; отъ меня у него сердце исходитъ кровью; я его истерзала. Господи, что же это такое?»

Владиміръ захохоталъ.

— Удивительная у тебя способность все преувеличивать и дѣлать изо всего драму... Комаръ укуситъ—сейчасъ трагическіе жесты и восклицанія: «эти кровопійцы высасываютъ кровь, отравляютъ жизнь, дѣлаютъ невозможнымъ существованіе!..» Ахъ, чудачина!

И понизивъ голосъ, чтобы его не услыхали хозяева, на другомъ концѣ террасы, онъ прибавилъ шутливымъ тономъ:

— Геліотроповъ сказалъ бы, что по Дарвину это неизбѣжный и роковой законъ наслѣдственности. Вѣдь дядя и тетя тоже грѣшатъ этимъ, любятъ все преувеличивать. Дядя вѣчно на огнѣ поджариваетъ себя, а тетя въ мелодраму впадаетъ...

Романъ запальчиво проговорилъ:

— Я тебя попросилъ бы быть поосторожнѣе!

— А развѣ ты самъ этого не знаешь?—спросилъ Владиміръ, глядя на него съ выраженіемъ наивнаго удивленія.— Да и что тутъ обиднаго? Я готовъ это повторить въ глаза дядѣ и тетѣ. Это не пороки, не преступленія, а мелкія человѣческія слабости. У каждаго свои. Вонъ у Геліотропова слабость все подъ дарвинскіе законы подводить: чих-

нуть захочешь—онъ и тутъ Дарвина тащитъ въ свидѣтели, потому что тотъ объ этомъ тоже что-то говорилъ...

Романъ смолкъ и внезапно упалъ духомъ. Въ головѣ уже проносилась мысль: «да, да, это наслѣдственное! Отецъ вѣчно горячился, дѣлалъ изъ мухи слона и не шелъ дальше этой праздной болтовни. Мать рисовалась трагизмомъ своего положенія и праздно будировала на всѣхъ и на все. Онъ, Романъ, тоже говоритъ, сердится, волнуется и ничего не дѣлаетъ, не можетъ, не хочетъ дѣлать. Да, да, не хочетъ. И онъ еще думалъ жениться, плодить такихъ же людей, какъ онъ самъ!» Испуганный этой мыслью, онъ уже шелъ далѣе—онъ бичевалъ себя за то, что онъ сватался за Наташу. «Погубилъ бы и ее и навѣрное погубилъ бы дѣтей. Хороши были бы они, выродившіяся дѣти выродившагося отца!» Въ его головѣ былъ хаосъ, и онъ не могъ разобраться въ этомъ хаосѣ—чего онъ хочетъ, кого онъ обвиняетъ, къ чему стремится. Его заставилъ очнуться отъ этихъ думъ хохотъ гостей. Владиміръ разсказывалъ имъ про Геліотропова.

— Его нельзя назвать сумасшедшимъ, но въ то же время это и не нормальный человѣкъ.

— Да гдѣ вы нынче найдете нормальныхъ людей?—замѣтилъ кто-то изъ окружающихъ.—Всѣ немного тронуты. Вѣкъ ужъ такой—«нашъ нервный вѣкъ».

— Слово даже новое придумали «психопаты». Развратенъ человѣкъ—психопатъ; воръ онъ—психопатъ; лѣнтяй—психопатъ...

— Все оправданія для всякихъ мерзостей. Право, скоро наказывать и сажать въ тюрьму будутъ здоровыхъ за то, что они не поддаются больнымъ...

— Вожжи распустили, потому и нервничаютъ,—сказалъ Владиміръ докторальнымъ тономъ.—Заставилъ бы я разныхъ нервныхъ субъектовъ и психопатовъ поголодать, многіе пришли бы въ себя.

— Ну, вы этого не говорите!—послышалось возраженіе.—Иной съ голоду умретъ, а не образумится...

— Ну, это самый лучшій конецъ для подобныхъ господъ.

— Какой это?

— Смерть!—рѣзко отвѣтилъ Владиміръ.—Дурная трава изъ поля вонъ. Мы покровительствуемъ хилымъ и дряблымъ и губимъ этимъ здоровыхъ и сильныхъ.

По тѣлу Романа пробѣжала дрожь: «о, какъ они легко это рѣшаютъ, эти здоровые люди».

Онъ съ ненавистью взглянулъ на окружающихъ, точно они изрекли смертный приговоръ именно ему. И нѣтъ имъ дѣла до него. Они веселятся, а у него на душѣ непроглядный мракъ!.. И вчера были здѣсь гости, и сегодня, и завтра опять устроятъ какой-нибудь пиръ. Будутъ веселиться, пока не проживутъ всего... О, онъ хорошо знаетъ своихъ отца и мать. Промотали когда-то сотни тысячъ. Теперь промотаютъ и это имѣніе. Начало уже положено: продажа лѣса, займы денегъ, потомъ залогъ имѣнія, все это въ недолгіе годы доведетъ до разоренія, а что будетъ дальше? Снова нищета, безъ умѣнья работать, безъ желанья работать. Его охватилъ страхъ передъ нищетою и тутъ же пришли на память только что сказанныя слова о томъ, что иной съ голоду умретъ, а не образумится. Отецъ, мать и онъ самъ были изъ этой породы людей: будутъ голодать, а работать не научатся. Откуда-то выплыли прочитанныя имъ мысли графа Льва Николаевича Толстого о разныхъ обѣднѣвшихъ дворянахъ: «этимъ людямъ ничѣмъ нельзя помочь, никакъ нельзя спасти ихъ».

— Надо кончить все разомъ!—почти вслухъ проговорилъ онъ и, блѣдный, какъ мертвецъ, поднялся съ мѣста.

Всѣхъ точно изумило внезапное движеніе Ромы, его полушопотъ произвелъ странное впечатлѣніе, какъ бредъ сумасшедшаго, а его смертельная блѣдность бросилась всѣмъ въ глаза.

— Ты нездоровъ?—участливо спросилъ Владиміръ.

— Я? Нѣтъ, нѣтъ, я здоровъ!—отвѣтилъ Романъ и съ горькой улыбкой прибавилъ.—Впрочемъ, это мало заботитъ другихъ, а меня еще менѣе...

Онъ въ тяжеломъ раздумьи спустился со ступеней террасы въ садъ и медленно, пошатываясь, съ понурой головой, какъ одряхлѣвшій старикъ, исчезъ за деревьями. Ему хотѣлось только уйти подальше куда-нибудь отъ людей, отъ шума, отъ разговоровъ, прилечь, успокоиться, забыться...

III.

Среди пріемовъ и выѣздовъ никто въ домѣ Ломовыхъ не замѣчалъ, что дѣлалось съ Романомъ. Только Мареа Власьевна иногда останавливала свои старческіе глаза на Ромушкѣ и качала сокрушительно головой, заботливо поджимая тонкія губы. Когда въ домѣ все затихало, она задумчиво направлялась въ отведенную ей и ея мужу комнату на людской половинѣ и, продолжая качать сокруши-

тельно головой, присаживалась на стулъ около окна, подпирала лицо рукою и думала тяжелыя думы. Въ послѣднее время у нея становилось все больше и больше этихъ тяжелыхъ думъ. Убравшись на кухнѣ, являлся къ себѣ въ уголъ и Степанъ Потаповичъ, кряхтя и шаркая ногами, хмурый и усталый отъ работы, становившейся ему уже не по силамъ. И Марѳа Власьевна и Степанъ Потаповичъ сильно опустились за послѣднее время—«притомились», какъ говорили они сами. Бѣгать въ барскій домъ и въ кладовыя черезъ дворъ, спускаться и подниматься по лѣстницѣ въ просторномъ господскомъ домѣ, подавать кушанья въ садъ на террасу, обходить Ломовское, если внезапно понадобится курица или яйца, все это было уже тяжело для стариковъ, и они быстро дряхлѣли. Оставшись съ глазу на глазъ со своимъ мужемъ, Марѳа Власьевна подолгу бесѣдовала съ нимъ и сообщала свои наблюденія старику Потаповичу. Разговоръ обыкновенно начинался съ того, о чемъ болѣе всего сокрушалась Марѳа Власьевна,—съ Романа.

Особенно сильно смутилъ старуху видъ Романа въ тотъ день, когда всѣ господа уѣхали въ гости, а Романъ остался бродить по портретной галлереѣ. Старуха, сидя въ своей коморкѣ, долго вздыхала о Ромушкѣ и тотчасъ же заговорила о немъ, какъ только вошелъ къ ней Степанъ Потаповичъ.

— Видѣлъ ты Ромушку-то? А?—проговорила она мужу.— Хорошъ? Въ гробъ краше кладутъ. А отецъ и мать—ничего, чуть не пляшутъ. Свое дитя умираетъ, а они...

Степанъ Потаповичъ, не отвѣчая женѣ, кряхтя, стянулъ съ себя сюртукъ, потомъ сталъ закуривать коротенькую носогрѣйку. Затѣмъ, потянувшись, онъ прилегъ на постель, чтобы дать отдыхъ усталымъ костямъ. Ни старики Ломовы, ни Рома не интересовали его.

Жена понизила голосъ:

— Про мельницу-то слышалъ? Это Аквилоновъ, паскудная его душа, сосваталъ. Сдается мнѣ, что и Ромушку онъ оплелъ. Что-то уже очень онъ эти дни юлилъ около Ромушки. Чѣмъ занимается! Охъ, ужъ эти тихоходы—либо воръ, либо подлецъ!.. И Ѳеодоръ-то Романовичъ хорошъ, кого въ наперсники взялъ, кому довѣрился!.. Сперва мужичковъ повоевать хотѣли, теперь на—передъ ними безчинства на мельницѣ завели на старости лѣтъ. Съ кѣмъ? Съ послѣдней непутящей бабенкой. У нея и допрежь Ѳеодора

Романовича десятки перебывали, да и теперь, поди... И Парфенъ-то хорошъ тоже,—чѣмъ промышляетъ? дочерью... Тьфу! А хозяйство...

Степанъ Потаповичъ усмѣхнулся насмѣшливой улыбкой, затронутый за больное мѣсто.

— По крестьянскимъ избамъ куръ собираемъ, зато въ шелку ходимъ!

Онъ съ негодованіемъ сплюнулъ и потомъ, потягиваясь, зѣвнулъ:

— А-ахъ, ха-ха! Анбиціи нѣтъ!

— Ровно и не господа стали!

— Кабы старые господа изъ гроба встали да на такое хозяйство поглядѣли, душа бы перевернулась...

— Перевернется!—согласилась Марѳа Власьевна.—Зато экипажи изъ Москвы выписаны, зато наряды изъ столицы привезены! Не глядѣли бы мои глаза на все, что здѣсь творится! И какъ это у меня сердце отъ нихъ отлегло, какъ я отъ нихъ отвратилась—и сама я себѣ дивлюсь!

Степанъ Потаповичъ попрекнулъ ее, слегка стуча пальцемъ по столику, стоявшему тутъ же около постели, и глядя укоризненными глазами на жену, сидѣвшую по другую сторону стола:

— А я тебѣ не говорилъ, что благодарности отъ нихъ не жди?

— Ахъ, ты старый, старый! Да нешто я благодарности ждала отъ господъ? Душа моя за нихъ болѣла, вотъ что!

Въ ея голосѣ прозвучала нота горечи:

— Ты пойми, грудью я своей выкормила Антонинушку. Можетъ, больше матери о ней заботилась. Мать по баламъ, я при ней ночи просиживала. А ты благодарность. Не она была мнѣ нужна...

Марѳа Власьевна подгорюнилась, подперла щеку рукой.

— А теперь ровно чужіе, ровно чужіе! Скажи мнѣ, что съ ними ни вѣсть какая напасть приключилась—и будетъ мнѣ все равно... Такое во мнѣ теперь равнодушіе... Сама себѣ я дивлюсь... Право!..

Она опять понизила голосъ и обернулась къ мужу:

— Знаешь, деньги-то я наши спросила. Ей-Богу, спросила!

— Ну?—недовѣрчиво проговорилъ онъ.

— Поморщилась Антонина-то Аркадьевна, поморщилась и говоритъ: «что это ты, мамка; у насъ такіе расходы, а ты денегъ требуешь». Знаешь, тонъ-то ея, свысока это. А я и брякнула: «потому, говорю, матушка, и требую, что у

васъ расходы большіе». Какъ ножомъ отрѣзала и стыда во мнѣ нѣтъ и жалости нѣтъ. Говорю тебѣ, стали мнѣ ровно чужіе. Ну, распѣтушилась, распѣтушилась она, а я говорю: «стара я, чтобы по-міру ходить, потому и прошу своихъ денегъ».

— Ну!—спросилъ мужъ, качая головой и дивясь на жену. Никогда онъ не думалъ, что она спроситъ деньги у господъ.

— Отдали... Не всѣ, а отдали!—закончила Мареа Власьевна со вздохомъ.—На богомолье послѣднихъ дней намъ хватитъ... Что за ними осталось, то, говорятъ, Ниночка послѣ замужества отдастъ... Избушку бы съ огородомъ купить и конецъ... Стали бы кое-какъ въ огородѣ копаться, да Богу молиться...

Степанъ Потаповичъ мелькомъ взглянулъ на Мареу Власьевну.

— Отходить задумала?—коротко спросилъ онъ, давно уже толковавшій о покоѣ.

Онъ за послѣдніе мѣсяцы умаялся гораздо больше ея. Мареа Власьевна сама это видѣла и сокрушалась за мужа, тѣмъ болѣе, что онъ почти не пилъ теперь. Какъ совершился этотъ переворотъ—трудно рѣшить. Компаніи подходящей для пьянства не было, что ли? Далеко въ кабакъ было ходить, можетъ-быть? Или чистый воздухъ повліялъ на старика? Наконецъ, не сказывалась ли въ этомъ просто физическая усталость? Какъ знать! Самъ Степанъ Потаповичъ объяснилъ, повидимому, все дѣло своей старческой слабостью и говорилъ: «теперь не о хмелѣ, а какъ бы до постели». Но такъ или иначе, а переворотъ, свершившійся въ Степанѣ Потаповичѣ, радовалъ Мареу Власьевну. Чѣмъ болѣе озлоблялась она противъ господъ, тѣмъ нѣжнѣе она становилась къ мужу. Они всегда любили другъ друга и всегда ссорились чуть не до драки. Теперь причина ссоръ исчезла. Миръ, невѣдомый имъ въ лучшіе годы ихъ жизни, мало-помалу водворялся между ними и сулилъ имъ тихую старость.

— Состарѣлись мы съ тобой, — проговорила она съ лаской.—Вонъ тебя ужъ и къ водкѣ не тянетъ, въ добрый часъ молвить.

— Безъ нея еле ноги таскаю,—отвѣтилъ мужъ и опять спросилъ:—Такъ, значитъ, рѣшили отойти-то. А?

— Вотъ дождемся, какъ выйдетъ Ниночка замужъ, и конецъ... Ромушку мнѣ только жаль, ахъ, какъ жаль!.. Ровно сироту круглаго!

Степанъ Потаповичъ повеселѣлъ. Давно онъ уже подговаривалъ Марѳу Власьевну оставить домъ Ломовыхъ. Давно его кости просили покоя. Теперь, повидимому, желанный день былъ близокъ.

— А съ Натальей-то Алексѣевной, видно, дѣло у него вышло табакъ?—пошутилъ онъ.

— Не напоминай ты мнѣ про нее!—оборвала она мужа,— не мути ты души моей! Какъ вспомню о ней, все нутро поворачивается. Не глядѣла бы на нее. Ну, зачѣмъ еще этотъ грѣхъ на душу взяли? Мало было такъ грѣховъ, что ли? Нѣтъ, надо было еще сироту взять да погубить...

Еще болѣе серьезнымъ тономъ, размахивая руками, она продолжала:

— Мнѣ она что? Чужая! И не люблю я ее. А у меня за нихъ сердце переворачивается. Стыдъ и срамъ, что дѣлаютъ. Взяли дѣвочку, дѣвочка—огонь, а они ее къ молодому человѣку въ опочивальню отправляютъ. Да гдѣ-жъ это видано? И не говори имъ! Не мое, видишь, дѣло! Молодого человѣка на грѣхъ толкаютъ, а я молчи. Сама-то, Антонина-то, раскричалась даже, какъ я замѣтила, что не слѣдъ дѣвочку безъ призора оставлять... Ну, да еще Ромушка блаженный, мертвецъ, какъ есть мертвецъ; его опасаться нечего, а Борисъ Николаевичъ не то.

Она понизила тонъ.

— Теперь къ нему бѣгаетъ, Наталья-то Алексѣевна, а имъ и горя мало. Заняты туалетами, такъ до нея и дѣла нѣтъ. А Богу-то кто отвѣтъ дастъ?—Они, чай!

И уже совсѣмъ таинственно она начала объяснять:

— Намеднись стыдить я ее начала. Говорю: «не пристало барышнѣ такъ-то одной ходить». Такъ куда тебѣ. «Вамъ, говоритъ, Марѳа Власьевна, нѣтъ дѣла до того, какъ и куда я хожу». Тонъ, знаешь, этакій приняла. Допрежь сего этого у нея не было, характеръ проявила, какъ за живое задѣли... Я-то давно знала, что въ ней сидитъ. Ласкова она, ласкова, что говорить, а въ свой носъ дуетъ, мала птичка, а ноготокъ востеръ. Не мое, видишь, дѣло! Что-жъ, она и права: не моя барышня! Какое мнѣ до нея дѣло? Я и не о ней, а о томъ, что на нашъ домъ мараль пойдетъ. Изъ какого дома барышня по мужчинамъ бѣгаетъ да шашни заводитъ?—отъ господъ Ломовыхъ! Они сироту взяли да не доглядѣли за ней. Это хорошо? Это резонтъ? И что нынче за порядки? Средь бѣлаго дня барышня одна къ мужчинамъ ходитъ. Да гдѣ это было

прежде видано? Ну, хочетъ молодой человѣкъ жениться— обратись къ родителямъ, къ сродственникамъ, къ попечителямъ, а тутъ нà—сами себѣ дѣвушки жениховъ высватываютъ...

Осуждая новые порядки, вздыхая и охая, Марѳа Власьевна заявила, что чуетъ ея сердце, что все у нихъ не добромъ кончится.

Это предсказаніе могло бы вызвать смѣхъ, если бы оно дошло до кого-нибудь въ ломовскомъ домѣ. Тамъ всѣ ликовали и ждали только добра.

Апухтинъ былъ по уши влюбленъ въ Анну Ѳеодоровну, какъ можетъ влюбиться только мальчишка или старикъ. Вѣсть о сдѣланномъ имъ Ломовой предложеніи быстро разнеслась по уѣзду и по губерніи, и всѣ, у кого въ домѣ были невѣсты, не безъ зависти поздравляли Ломовыхъ. Сознаніе сдѣланнаго промаха мучило дѣвушекъ-невѣстъ и ихъ матерей, даже не предполагавшихъ прежде, что Апухтинъ, старикъ Апухтинъ когда-нибудь можетъ еще разъ жениться. Всѣ считали его бирюкомъ, сухимъ человѣкомъ, неспособнымъ ни на какія увлеченія, кромѣ занятій генеологіей и конскимъ заводомъ. И вдругъ всѣ узнали, что онъ влюбился, что онъ сдѣлалъ предложеніе Ломовой! Какъ тутъ было не завидовать? Чѣмъ яснѣе высказывалась зависть, тѣмъ сильнѣе сознавала свое торжество Анна Ѳеодоровна: она брала крупный призъ, тѣмъ не менѣе этотъ призъ былъ такого рода, что ей было нужно постороннее удивленіе передъ нимъ, какой-то ободрительный шумъ, доказывающій ей самой, что побѣда точно велика. Браки по любви даютъ сами по себѣ сознаніе счастія; браки по расчету приносятъ тѣмъ болѣе наслажденія, чѣмъ больше вокругъ нихъ слышится завистливаго шипѣнья, ехидныхъ толковъ. Но не одни жители уѣзда и губерніи были взволнованы вѣстью о предстоящей свадьбѣ—въ Москвѣ эта вѣсть еще болѣе взволновала извѣстный кружокъ.

У Апухтина въ Москвѣ жила сестра, Дарья Александровна Апухтина, сердитая на весь міръ и чопорная старая дѣва. Она упала въ обморокъ, узнавъ о намѣреніи брата, и тотчасъ же послала за своимъ племянникомъ и племянницей, жившими не по средствамъ и потому ожидавшими смерти дяди для поправленія своихъ дѣлъ. Здѣсь сразу полился цѣлый потокъ ядовитыхъ и язвительныхъ фразъ:

— Онъ съ ума сошелъ! Его надо отдать подъ опеку! Надо образумить его! Этого такъ нельзя оставить!

И среди этихъ безсмысленныхъ и неосуществимыхъ угрозъ, вылившихся въ первую минуту подъ вліяніемъ сильнаго озлобленія, начались вопросы:

— Какая это Ломова? Кто такая? Какая-нибудь авантюристка?

— Разумѣется, авантюристка? Идетъ за старика, за некрасиваго старика,—на это нужно много наглости.

Племянница, Варвара Александровна Шидловская-Рожнова, наивная и глуповатая женщина-куколка, порхавшая по баламъ и театрамъ, влюбленная по уши въ своего красавчика мужа-кутилу, плакала, что ея семейное счастіе будетъ разбито, такъ какъ ея «Володька» привыкъ жить хорошо, и дядя всегда имъ помогалъ.

— Володька не можетъ же жить на жалованье! Гроши какіе-то даютъ!—надувши губки, жаловалась она.—Володька принадлежитъ къ такому кругу, гдѣ нельзя жить кое-какъ, это всю его карьеру испортитъ...

— Да, наконецъ, надо же прямо говорить,—замѣтилъ ея братъ, Александръ Александровичъ Апухтинъ, надутый и чванный карьеристъ изъ «моментовъ»:—она его уморитъ и все можетъ перейти къ ней, если у нея будутъ дѣти.

— Ахъ, развѣ у такихъ бываютъ дѣти!—съ презрѣніемъ воскликнула тетка.—Это дѣвушка съ улицы!

— Но она можетъ прибрать старика къ рукамъ,—сообразилъ племянникъ:—и заставить его продать всѣ родовыя имѣнія, чтобы оставить капиталъ ей. Этого ему нельзя запретить.

— Это будетъ низко, низко со стороны дяди!—воскликнула племянница.

— А мое-то положеніе будетъ теперь хорошо,—продолжала озлобленно старуха.—Вѣдь нашъ почтенный Викторъ Ивановичъ начнетъ теперь меня эксплоатировать. До этого времени занималъ у дяди, а теперь ко мнѣ и къ вамъ будетъ обращаться.

— Ну, нѣтъ, слуга покорный,—сухо замѣтилъ племянникъ.—Мнѣ и такъ стыдно, что онъ мнѣ двоюродный братъ. Разоряться же на него я не намѣренъ. Помогать ему, чтобъ онъ маралъ еще болѣе наше имя своимъ неприличнымъ поведеніемъ...

Молодой человѣкъ сдѣлалъ презрительную гримасу, говоря о неприличномъ поведеніи своего двоюродного брата. Самъ онъ былъ вполнѣ приличнымъ офицеромъ и привыкъ вращаться въ лучшихъ кружкахъ Москвы. Его двоюродный

братъ, Викторъ Ивановичъ Апухтинъ, былъ для него, какъ и для всей семьи, настоящимъ enfant terrible. Слухи о его продѣлкахъ и школьничествахъ облетали всю Москву, то говорили, что онъ якшается съ опасными людьми, то толковали о его любовныхъ похожденіяхъ, то разсказывали, что онъ истратилъ большія деньги на спасеніе кого-то, то указывали на крупный его проигрышъ,—и что было досаднѣе всего, такъ это то, что этому «мальчишкѣ», какъ называла его родня, прощали все, какъ онъ только являлся куда-нибудь.

— И на что Виктору вѣчно нужны деньги? Его мать богата и высылаетъ ему Богъ знаетъ сколько,—замѣтила наивнымъ тономъ племянница Апухтина.—Онъ намъ бы могъ еще помогать. Володька иногда затрудняется ради какихъ-нибудь ста рублей, а Викторъ швыряетъ тысячи... какихъ-то нищихъ-санкюлотовъ, говорятъ, недавно спасъ...

— Ахъ, ради Бога не говори о немъ, мнѣ стыдно вспомнить, что онъ носитъ нашу фамилію,—брезгливо оборвалъ сестру братъ.—Если онъ кончитъ Сибирью, то нужно будетъ еще благодарить за это Бога. Еще на-дняхъ мнѣ говорили о такой его выходкѣ на балу у князя Владиміра Николаевича, что мнѣ пришлось только удивляться, какъ онъ остался цѣлъ... Нѣтъ, лучше не говорить о немъ... Но кто эта Ломова, вотъ что интересно...

Затѣмъ начались рысканья по Москвѣ, чтобы узнать, не знаетъ ли кто-нибудь Ломовыхъ. Въ Москвѣ никто ихъ не зналъ. Вѣроятно, впрочемъ, что и въ Петербургѣ никто не отвѣтилъ бы на этотъ вопросъ; Ломовыхъ не знали и тамъ. Потомъ сестра Апухтина засѣла за письмо къ брату, написанное по-французски. Письмо состояло изъ двухъ мелко исписанныхъ листовъ почтовой бумаги и состояло наполовину изъ увѣщаній, обращенныхъ къ брату во имя «неба» и во имя «Господа Бога» не губить себя и подумать о своихъ дорогихъ родныхъ. Валеріану Александровичу выставлялось на видъ, что на немъ лежитъ священный долгъ поддержать Сашу, то-есть Александра Александровича Апухтина, и Варюшу, то-есть Варвару Александровну Шидловскую-Рожнову, во-первыхъ потому, что ихъ покойный отецъ, да проститъ его Господь Богъ, разстроилъ ихъ состояніе, попавъ *тоже* (въ письмѣ это слово было подчеркнуто) на старости лѣтъ въ руки авантюристки, а во-вторыхъ, потому, что Саша подаетъ блестящія надежды и съумѣетъ выдвинуть впередъ ихъ имя, и Варюша такой наивный ребенокъ,

что было бы грѣшно загубить ея судьбу, обречь ее и ея мужа на лишенія.

Получивъ письмо сестры, Апухтинъ даже не дочиталъ его: онъ торопился къ Ломовымъ и былъ въ самомъ радужномъ настроеніи, менѣе всего гармонировавшимъ съ душеспасительнымъ началомъ письма. Начало письма показалось Апухтину просто скучнымъ, пожалуй, немного обиднымъ.

— Старая дѣва, что она понимаетъ!—проговорилъ онъ пожимая плечами и бросая на столъ недочитанное письмо сестры.—Говорятъ о моихъ годахъ... что значитъ для мужчины пятьдесятъ пять лѣтъ?.. Я еще совсѣмъ молодцомъ смотрю...

Онъ усмѣхнулся и съ необычайною живостью въ самомъ веселомъ настроеніи, сталъ кончать свой туалетъ, стоя передъ зеркаломъ и молодцовато выпятивъ впередъ грудь и животъ. Онъ точно смотрѣлъ молодцомъ, несмотря на свою тучность. Письмо, заброшенное на столъ, такъ и осталось недочитаннымъ.

Весь этотъ день Апухтинъ провелъ у Ломовыхъ и вернулся домой къ ночи. Его коляска, проѣхавъ по двору, остановилась у подъѣзда его дома; онъ съ помощью лакея вышелъ изъ нея и ужъ хотѣлъ пройти къ себѣ въ кабинетъ, когда лакей доложилъ ему, что сейчасъ пріѣхалъ Викторъ Ивановичъ.

— Викторъ Ивановичъ?—переспросилъ Апухтинъ не безъ удивленія.

— Точно такъ,—отвѣтилъ лакей.

Апухтинъ пожалъ плечами. Въ его головѣ мелькнула мысль: «сумасшедшій! вѣчно не предупредитъ и налетитъ, какъ снѣгъ на голову». Юный безалаберный племянникъ съ дѣтства возмущалъ его своимъ легкомысленнымъ поведеніемъ и покорялъ его сердце своимъ чистосердечіемъ. Онъ и старикъ вѣчно ссорились, чтобы мириться, и вѣчно мирились, чтобы тотчасъ поссориться. То и дѣло Валеріанъ Александровичъ получалъ письма отъ сестры о продѣлкахъ этого enfant terrible семьи,—то Викторъ проигрался, то связался съ какой-то падшей женщиной и вывозитъ ее съ собой въ ложи въ театръ, умышленно скандализируя всю свою родню и все избранное общество, то онъ сидитъ на гауптвахтѣ за дерзости, то пропадаетъ среди какихъ-то лохматыхъ господъ,—но, жалуясь на этого «неприличнаго выродка семьи», и старуха тетка, и Александръ Александровичъ, и Варвара

Александровна въ затруднительныхъ обстоятельствахъ не брезгали выпрашивать черезъ него отъ Валеріана Александровича субсидіи себѣ, зная, что именно ему ни въ чемъ не можетъ отказать «избалрвавшій на свою голову» дядя. «Что ему надо?—мелькнуло въ головѣ Апухтина.—Самъ промотался или за Александра, или за Варю пріѣхалъ хлопотать? Или опять накуралесилъ, и надо выручать его?» Но прежде чѣмъ онъ сообразилъ что-нибудь, на лѣстницѣ послышался веселый громкій голосъ племянника:

— А я, mon oncle, къ вамъ на бракосочетаніе прискакалъ.

Передъ старикомъ стоялъ статный, красивый молодой человѣкъ, въ разстегнутомъ военномъ мундирѣ, съ густой шапкой черныхъ вьющихся волосъ, похожій скорѣй на мальчугана-школьника, чѣмъ на взрослаго серьезнаго человѣка. Онъ, не давъ дядѣ времени опомниться, заключилъ его въ свои объятія.

— Пусти! пусти! задушишь!—отбивался старикъ, стараясь смотрѣть строгимъ и недовольнымъ.—Шальной человѣкъ! не писалъ, не предупреждалъ и прискакалъ.

Но юноша не слушалъ и тискалъ старика-дядю, звонко смѣясь и показывая блестящіе бѣлые зубы.

— Молодецъ! право молодецъ вы!—говорилъ онъ.—Вотъ такъ штуку выкинули! Ma tante потонула въ слезахъ. Варя тоже заливается слезами...

— Довольно! довольно!—съ досадой остановилъ его въ смущеніи старикъ.—Здѣсь же люди.

— Да развѣ они у васъ выучились по-французски?—засмѣялся Викторъ.

— Ты невыносимъ!—раздражительно сказалъ Валеріанъ Александровичъ, освобождаясь изъ его объятій.—Пойдемъ.

Они прошли въ комнаты.

— Дядя, я приказалъ подать чай и закусить,—замѣтилъ племянникъ.—Голоденъ я, какъ собака...

— Ну, хорошо, хорошо,—отвѣтилъ дядя.—Я сейчасъ приду въ столовую.

Викторъ Ивановичъ направился къ столовой, и черезъ минуту тамъ уже раздавался его звонкій смѣхъ: онъ вертѣлся и тормошилъ степенную старушку, ключницу Апухтина, улыбавшуюся въ отвѣтъ на его шутки и приговаривавшую только:

— Викторъ Ивановичъ, батюшка, вѣдь вы теперь уже не кадетикъ...

— Умру кадетомъ, Марья Савишна; сто лѣтъ проживу и умру кадетомъ!—увѣрялъ онъ ее самымъ искреннимъ тономъ.

Наконецъ въ столовую явился и переодѣвшійся Валеріанъ Александровичъ... Экономка спросила его, желаетъ ли онъ чаю. Онъ отвѣтилъ утвердительно. Она стала хозяйничать.

— А вы знаете, дядя, я вѣдь бѣжалъ изъ Москвы,—началъ по-французски Викторъ Ивановичъ, набивая ротъ ѣдой.—Ваша свадьба какъ нельзя болѣе пришлась кстати: предлогъ къ бѣгству.

— Долги опять?—мелькомъ спросилъ Валеріанъ Александровичъ.

— А, ба! Я отъ долговъ никогда не бѣгалъ еще!—возразилъ съ гримасой племянникъ.—Нѣтъ, опять женщина! Господи, когда это кончится!—съ комическимъ отчаяніемъ воскликнулъ онъ.—Вообразите, опять соблазнила новая жена Пентефрія, забрала въ руки, спеленала, начала водить на помочахъ. Я, дядя, убѣжалъ: объявилъ, что вы женитесь, что вы меня приглашали на свадьбу, что я долженъ ѣхать,—и удралъ.

Онъ передохнулъ, торопливо съѣлъ кусокъ холоднаго цыпленка и заговорилъ снова:

— Вы мнѣ не писали, вы меня не приглашали на свадьбу, недобрый человѣкъ, но когда начались у насъ слезы и обмороки, то волей-неволей мнѣ сообщили тайну.

Старикъ Апухтинъ опять нахмурился. На его лицѣ выразилось недоумѣніе. Какія слезы? какіе обмороки?

— Слезы? Обмороки? Что ты хочешь этимъ сказать?—спросилъ онъ, пожимая плечами.

— Какъ, что?—спросилъ племянникъ, недоумѣвая въ свою очередь.—Вы же женитесь—какъ же не плакать и не падать въ обморокъ?

Апухтинъ снова нетерпѣливо пожалъ плечами, начиная серьезно сердиться.

— Говори, какъ слѣдуетъ! кажется, можно отбросить въ сторону шутки хоть теперь,—отрывисто сказалъ онъ.

— Дядя, да вѣдь это же комедія, настоящая комедія!—расхохотался Викторъ.

— Я тебя еще разъ прошу говорить безъ гаерства!—уже совсѣмъ раздражительно произнесъ Валеріанъ Александровичъ.—Что у васъ тамъ случилось? Кто плачетъ? О чемъ? Если началъ говорить, то объясняй толкомъ.

Викторъ вспыхнулъ. Онъ воспламенялся, какъ порохъ, когда съ нимъ говорили грубо и рѣзко.

— Я вовсе не затѣмъ пріѣхалъ, чтобы разсказывать, что случилось, такъ какъ это вамъ извѣстно и безъ меня,—запальчиво отвѣтилъ онъ.—Или вы думаете, что я наушничать явился?

Онъ отодвинулъ отъ себя приборъ и заходилъ по комнатѣ, засунувъ руки въ карманы панталонъ.

— Этого только недоставало, чтобы вы считали меня способнымъ на мерзости. Это чортъ знаетъ что такое!

Онъ быстро сталъ застегивать сюртукъ.

— Ты это что?—спросилъ Валеріанъ Александровичъ.

— Ѣду обратно! что мнѣ тутъ дѣлать?

Онъ въ эту минуту былъ совсѣмъ похожъ на распѣтушившагося мальчугана. Старикъ усмѣхнулся, пожимая плечами.

— Садись и говори!—сказалъ онъ.

— Ничего я не буду говорить!—отрывисто отвѣтилъ племянникъ.

— Такъ зачѣмъ же ты пріѣзжалъ?

— На свадьбу къ вамъ, познакомиться съ будущей моей теткой ѣхалъ, а не сплетничать. Что дѣлается у насъ, вы знаете безъ моихъ докладовъ изъ письма.

— Изъ какого письма?

— Извѣстно, изъ какого—письма ma tante.

— Я его не читалъ...

Викторъ Ивановичъ внезапно остановился, въ недоумѣніи посмотрѣлъ на дядю и не выдержалъ, расхохотался.

— О, дядя, дядя! Гдѣ же ваша аккуратность, дѣловитость, точность? О, стыдъ! Вы, должно-быть, влюблены, какъ кадетъ!

Валеріанъ Александровичъ сконфузился и могъ только проговорить:

— Дуракъ! дуракъ! Съ тобой положительно нельзя говорить серьезнымъ людямъ! положительно, нельзя.

Но племянникъ уже душилъ его въ объятіяхъ и тормошилъ его, приставая, чтобы онъ разсказалъ, хороша ли его невѣста, любитъ ли она его, блондинка или брюнетка, какъ онъ полюбилъ. Старикъ впервые послѣ долгихъ лѣтъ чувствовалъ себя въ роли пойманнаго въ шалости школьника и не зналъ, какъ выпутаться изъ этого допроса. Ему, немолодому, серьезному человѣку, было неловко признаваться въ любви передъ этимъ мальчуганомъ. Онъ попробовалъ сдѣлать сердитый видъ, но на него сыпались горячіе поцѣлуи; онъ постарался равнодушно отвѣтить, что надо же ему въ его положеніи въ губерніи имѣть хозяйку въ домѣ,

но его обрывали на первомъ словѣ, заявляя, что онъ говоритъ неправду, что онъ влюбленъ, влюбленъ, какъ мальчишка. Совсѣмъ растерянный, но въ то же время счастливый, Валеріанъ Александровичъ, наконецъ, пробормоталъ:

— Ну, влюбился, влюбился! Отстань!

— Браво, браво! нашего полку прибыло!—захлопалъ руками Викторъ, прыгая по комнатѣ.—Ахъ, дядя, сколько глупостей я теперь могу надѣлать, потому что вы ихъ надѣлаете еще больше!

Прошло болѣе получаса, когда старику удалось успокоить бурное настроеніе племянника и разспросить его обо всемъ, что произошло въ семьѣ Апухтиныхъ въ Москвѣ. Викторъ Ивановичъ наотрѣзъ отказался разсказывать и заставилъ дядю прежде всего отыскать письмо тетки. Затѣмъ они вмѣстѣ прочли это посланіе. Только теперь Валеріанъ Александровичъ понялъ сущность дѣла: оскорбительные намеки на его невѣсту, какъ на авантюристку; боязнь, что онъ лишитъ наслѣдства Александра и Варвару; неприличныя замѣчанія о томъ, что въ его лѣта очень рискованно жениться, такъ какъ молодая жена можетъ запачкать честь ихъ фамиліи, тогда какъ на эту фамилію и безъ того кладутъ пятна нѣкоторые ея члены своимъ легкомысленнымъ и невозможнымъ поведеніемъ.

— Это въ мой огородъ!—перебилъ дядю Викторъ Ивановичъ со смѣхомъ.

Но Валеріану Александровичу было не до шутокъ. Его лицо горѣло отъ негодованія. Онъ отбросилъ съ презрѣніемъ это письмо и заходилъ по комнатѣ.

— Какъ это пошло, какъ это мелко! — бормоталъ онъ, ощущая гадливое чувство.

Онъ былъ слишкомъ богатъ, слишкомъ джентльмэнъ, чтобъ быть мелочникомъ, корыстолюбцемъ, интриганомъ. Всѣ эти качества пробуждали въ немъ отвращеніе, какъ прикосновеніе къ потной и грязной рукѣ. Виктора Ивановича охватило раскаяніе: зачѣмъ онъ пріѣхалъ? не пріѣхалъ бы онъ, дядя и не зналъ бы ничего этого, бросивъ письмо. Теперь же вышло такъ, точно онъ, Викторъ, вздумалъ наушничать. Быстро поддающійся всякимъ впечатлѣніямъ, онъ смотрѣлъ теперь сконфуженнымъ и началъ неумѣло выгораживать родныхъ. Это они взволновались подъ первымъ впечатлѣніемъ. Это пройдетъ. Нечего думать объ этомъ. Теперь они сами, конечно, стыдятся за это письмо. И чортъ дернулъ его, Виктора, говорить объ этихъ пустякахъ. Вообще онъ

такой вѣтреникъ, что ему уши рвать еще надо. Вѣчно надѣлаетъ глупостей. Онъ наивно путался, обѣляя родныхъ и обвиняя себя. Старикъ, наконецъ, овладѣлъ собою, подошелъ къ нему и положилъ на его плечи руки, ласково смотря ему въ глаза.

— Полно, мальчикъ! Ты сдѣлалъ мнѣ большую услугу и не повредилъ никому, — сказалъ онъ мягко. — Не волнуйся!

Онъ опять заходилъ по комнатѣ, взявъ племянника подъ руку.

— Никого я не лишу наслѣдства, никого не ограблю, даже сердиться ни на кого не буду, — проговорилъ онъ. — За что? Все это въ порядкѣ вещей... Но этотъ разговоръ открылъ мнѣ глаза на мои обязанности. Я влюбился и потерялъ голову, забылъ, что я могу умереть не сегодня, такъ завтра и оставить жену, если не нищей, то все же недостаточно-богатой для того, чтобъ поддерживать тотъ образъ жизни, къ какому она привыкнетъ, живя со мной...

Онъ мягко улыбнулся.

— Когда-нибудь она сама скажетъ тебѣ спасибо, узнавъ, что ты навелъ меня случайно на мысль о необходимости обезпечить ее на случай моей смерти.

Онъ покачалъ раздумчиво головой.

— И какъ это не пришло мнѣ прежде въ голову? Люблю дѣвушку, дѣлаю ее своею женой и не заглядываю въ будущее, точно меня и не касается то, что будетъ съ ней послѣ моей смерти. Это непростительный эгоизмъ.

Старикъ говорилъ тихо и мягко. Викторъ слушалъ его вполнѣ серьезно и наконецъ неожиданно спросилъ:

— Дядя, она вполнѣ достойна васъ? да?

Старикъ взглянулъ на его лицо — на этомъ лицѣ отражалось нѣжное чувство любви, сыновней любви къ доброму отцу.

— Я надѣюсь, — отвѣтилъ Валеріанъ Александровичъ, пожимая руку молодого человѣка.

Уже начало свѣтать, когда они разошлись.

Старикъ Апухтинъ долго еще не могъ уснуть. Мысли о духовномъ завѣщаніи, о будущей жизни съ женой бродили въ его головѣ. Среди этихъ думъ мелькала мысль о Викторѣ, какъ о виновникѣ того, что будущее Анны Ѳеодоровны будетъ обезпечено. «C'est un brave garcon!» повторялъ старикъ и досадовалъ, что разныя внѣшнія условія, обычаи и приличія не даютъ ему права оставить все свое имущество этому «мальчику», лишивъ наслѣдства всю остальную родню. Передумывая все это, онъ мягко улыбнулся.

— Впрочемъ,—прошепталъ онъ:—что же думать объ этомъ... Ему самому это, вѣроятно, и въ голову не приходило никогда. Завѣщай я ему все — онъ разорвалъ бы духовное завѣщаніе и послалъ бы меня къ чорту за оскорбленіе... Странный мальчуганъ, весь еще въ броженіи. Что-то изъ него выйдетъ?..

Потомъ его мысли снова перешли къ Ломовой. Онъ озабоченно думалъ о томъ, что ей грозятъ впереди мелочныя столкновенія съ его родней. Нужно будетъ сдѣлать все, чтобы избавить ее отъ этого.

Дня черезъ два онъ былъ снова у Ломовыхъ и улучилъ свободную минутку, чтобъ поговорить съ Анной Ѳеодоровной наединѣ. Осторожно и съ оговорками онъ замѣтилъ Ломовой, что онъ тотчасъ же послѣ свадьбы долженъ позаботиться объ ея обезпеченіи.

— Какъ ни грустно въ такіе дни думать о смерти,—замѣтилъ онъ ей:—но долгъ каждаго порядочнаго человѣка предвидѣть ея возможность и сдѣлать необходимыя на этотъ случай распоряженія. Я только тогда и буду вполнѣ спокоенъ, когда буду увѣренъ, что моя смерть не поставитъ васъ въ стѣснительное положеніе.

Анна Ѳеодоровна слегка вспыхнула, точно ее задѣли за больное мѣсто, и проговорила сдержанно, но немного надменно:

— Если бы меня постигло это несчастіе, то вѣрно меня менѣе всего заботилъ бы вопросъ о томъ, придется ли мнѣ жить на тѣ маленькія средства, на какія я жила, слава Богу, до сихъ поръ, или я буду располагать болѣе крупнымъ состояніемъ.

Апухтинъ взялъ ея руку и поднесъ къ своимъ губамъ.

— Не сердитесь на меня за то, что я хочу, чтобы вы были вполнѣ независимы и обезпечены даже и тогда, когда я уже не увижу этого,—просто сказалъ онъ.—Надо смотрѣть на вещи трезво. Мы уже не дѣти. Смерть является часто безъ предостереженій, и къ ней нужно быть всегда готовымъ. Если на васъ тяжело отзовется этотъ ударъ, то для чего же еще усиливать его разными мелкими непріятностями, неразлучными съ перемѣной матеріальныхъ средствъ. Вѣрьте мнѣ, что самое горе чище, когда съ нимъ не связаны вопросы о деньгахъ, о перемѣнѣ въ средствахъ, о лишеніи матеріальныхъ удобствъ.

На минуту онъ остановился, потомъ заговорилъ снова.

— Я, какъ и вы, не думалъ вовсе объ этомъ до пріѣзда Виктора. Викторъ напомнилъ мнѣ о моихъ обязанностяхъ.

— Викторъ Ивановичъ? — не безъ удивленія спросила Анна Ѳеодоровна, уже познакомившаяся съ племянникомъ Валеріана Александровича и увидавшая въ немъ только «мальчика».

— Да, онъ; это милый, благородный юноша! Къ несчастію, не всѣ мои родные похожи на него. При моей жизни вамъ не придется сталкиваться съ ними, если вы не захотите этого сами, но въ случаѣ моей смерти вамъ, оставшись безъ правъ по духовному завѣщанію, пришлось бы считаться съ этими людьми. Я этого не желалъ бы, какъ ради васъ, такъ и ради нихъ. Эти тяжбы изъ-за наслѣдства всегда оскорбительны, всегда унизительны для обѣихъ сторонъ.

Онъ наклонился немного ближе къ ней.

— Я сказалъ вамъ все откровенно. Вы не сердитесь на меня?

Въ его голосѣ было что-то отечески нѣжное, заботливое. Выраженіе его лица было мягко и добродушно. Въ эту минуту это былъ симпатичный, благородный и добродушный старикъ. Лицо Анны Ѳеодоровны прояснилось улыбкой. Она сознавала, что этотъ человѣкъ—будетъ и думать, и жить только ею и для нея.

— Я не сержусь,—отвѣтила она, ласково взглянувъ на него, и прибавила съ кокетливой улыбкой:—но я не хочу, чтобы вы говорили о смерти. Никогда, никогда! Это уговоръ!

— Хорошо,—сказалъ онъ, глядя на нее уже влюбленными глазами.—Этотъ уговоръ мнѣ тѣмъ легче исполнить, что теперь мнѣ хочется думать только о жизни, безконечно долгой, безконечно счастливой.

Его лицо, за минуту передъ тѣмъ серьезное и задумчивое, опять приняло выраженіе слащавости и глуповатаго умиленія,—выраженіе влюбленнаго старика. Анна Ѳеодоровна поспѣшила прервать продолженіе нѣжныхъ изліяній. Она все еще не могла привыкнуть къ нему, когда онъ смотрѣлъ на нее именно такъ, какъ въ эту минуту...

Когда Апухтинъ уѣхалъ, Анна Ѳеодоровна долго ходила въ волненіи по своей комнатѣ, стараясь думать о разныхъ пустякахъ и невольно думая только о томъ, что сегодняшній разговоръ разогналъ единственную тучку, омрачавшую ея будущее. Правда, она сама до этого объясненія не думала о томъ, что будетъ, если Апухтинъ умретъ: торжество было слишкомъ велико, чтобы омрачать его мрачными предчувствіями. Но теперь слова Апухтина выяснили ей, что, выходя замужъ за него, за старика, могущаго умереть вне-

запно не сегодня, такъ завтра, она рисковала остаться вдовой и получить только незначительную часть наслѣдства. На минуту ей стало жутко. Но она тотчасъ же опомнилась и приняла равнодушный видъ. Теперь этого несчастія вѣдь не случится, и послѣ смерти мужа она будетъ богата, будетъ имѣть возможность не возвращаться подъ родительскій кровъ, не зависѣть отъ милостей брата. Ей не хотѣлось думать объ этомъ, но она думала объ этомъ теперь помимо своей воли. Сознаніе, что она никогда, никогда не будетъ болѣе въ стѣснительныхъ обстоятельствахъ, поднимало ея духъ, радовало, веселило ее. И среди этихъ думъ ни на секунду не сжалось болѣзненно ея сердце при мысли, что ея будущій мужъ можетъ скоро умереть...

Черезъ день, когда у Ломовыхъ были снова оба Апухтины, къ нимъ заѣхала Кожухова. Здороваясь со всѣми, она замѣтила Аннѣ Ѳеодоровнѣ, оглядывая ее зоркимъ взглядомъ.

— Ты съ каждымъ днемъ хорошѣешь и расцвѣтаешь.

— Я вполнѣ счастлива и довольна, ma tante,—отвѣтила Анна Ѳеодоровна.

— Да? Я рада за тебя,—проговорила тетка.

Старикъ Апухтинъ слышалъ эти короткія фразы и находился въ блаженномъ состояніи. Уѣзжая отъ Ломовыхъ, онъ крѣпко поцѣловалъ руку Анны Ѳеодоровны, тихо проговоривъ ей:

— Вы сегодня сдѣлали меня еще счастливѣе, чѣмъ я воображалъ.

Она вопросительно взглянула на него.

— Я не объясняю вамъ причины,—пояснилъ онъ свои слова.—Вы сами ее угадаете.

Она угадала и улыбнулась.

— Развѣ вы сомнѣвались?—спросила она мелькомъ.

— О, нѣтъ, нѣтъ! Но я такъ счастливъ, что случайно уловилъ эти слова...

Она сознавала, что она окончательно вскружила ему голову. Это поднимало въ ней гордость, чувство торжества. Это чувство иногда испытываютъ артистки въ минуты шумнаго успѣха, забывая о томъ, кто имъ рукоплещетъ — невѣжды, нравственные и умственные уроды или истинные цѣнители. Она тоже не разбирала вопроса о томъ, точно ли счастіе быть обожаемой старикомъ, некрасивымъ, смѣшнымъ въ своей влюбленности.

Она прошла въ свою комнату и стала раздѣваться передъ зеркаломъ, смотря на свое отраженіе съ выраженіемъ гор-

дости и торжества. Да, точно, она расцвѣла за послѣднее время. Когда она явится въ свѣтъ, всѣ будутъ поражены ея красотой, около нея будетъ масса поклонниковъ. Она думала объ этомъ такъ, какъ будто она готовилась выйти на театральные подмостки.

Свадьба Анны Ѳеодоровны должна была состояться въ сентябрѣ. Апухтинъ нетерпѣливо торопился жениться. Это приводило всѣхъ въ восторгъ, и если о чемъ тужили, такъ о томъ, что послѣ свадьбы Анны Ѳеодоровны семьѣ придется остаться въ деревнѣ. Нельзя же бросить здѣсь Ромy одного. Женился бы онъ на Наталѣ, тогда другое дѣло. А теперь ради него придется жить и зимой въ деревнѣ. Его исторія еще слишкомъ свѣжа въ памяти петербуржцевъ, чтобы думать опредѣлить его тамъ или ввести въ общество. Нужно дать время забыть ее. Да, наконецъ, позволятъ ли ему теперь вернуться въ столицу, не рано ли хлопотать объ этомъ? Ѳеодоръ Романовичъ и Антонина Аркадьевна, не стѣсняясь, при сынѣ высказывали свои сѣтованія на то, что имъ придется изъ-за него проскучать зиму въ деревнѣ. Въ душѣ Ромы поднималось горькое чувство. «Поперекъ дороги у всѣхъ стою», думалось ему, и снова появлялась мысль, что надо все покончить разомъ. Нѣсколько разъ онъ уже мрачно задумывался въ своей комнатѣ, держа въ рукахъ бритву или ножъ. И каждый разъ по его тѣлу пробѣгала дрожь при мысли о самоубійствѣ. Онъ отбрасывалъ эти искушающія орудія смерти и бросался на постель, восклицая:

— Нѣтъ, нѣтъ, даже на это не хватитъ силъ.

Иногда онъ чувствовалъ къ себѣ почти презрѣніе; иногда въ умѣ проходила оправдывающая слабодушіе мысль, что надо жить наперекоръ всему. Въ памяти откуда-то всплывали выученные еще въ дѣтствѣ стихи Грессе:

Malgré tout le jargon de la philosophie,
Malgré tout les chagrins, ma foi, vive la vie!

И тутъ же онъ уличалъ себя:

— Ищу оправданія своей трусости!

IV.

Въ уѣздный городъ, находившійся недалеко отъ Ломовскаго, въ самые послѣдніе дни августа ежегодно стекались массы богомольцевъ не только со всей губерніи, но и съ разныхъ концовъ Россіи. Въ эти дни въ подгородномъ мужскомъ монастырѣ праздновали годовщину появленія чудо-

творной иконы. По этому поводу устраивался крестный ходъ къ мѣсту ея появленія. Довольно долго въ давніе годы изъ-за этой иконы или нѣкоторыя пререканія между городскимъ соборомъ и монастыремъ, такъ какъ икона явилась подъ самымъ городомъ, и соборъ хотѣлъ поставить ее у себя. Однако монастырю удалось отстоять икону за собою. Городское духовенство должно было удовлетвориться тѣмъ, что его приглашали участвовать въ крестномъ ходѣ и въ службахъ, совершаемыхъ въ этотъ день въ монастырѣ и на мѣстѣ явленія иконы. Извѣстные доходы перепадали въ эти дни и городу, но, тѣмъ не менѣе, масса богомольцевъ наполнила главнымъ образомъ монастырь, его гостиницу и монастырскую слободку. Всѣ окрестные помѣщики, не говоря уже о народѣ, съѣзжались на этотъ праздникъ, продолжавшійся три дня. Задолго до него о немъ уже толковали въ обществѣ мѣстныхъ землевладѣльцевъ. Эти толки побудили и Ломовыхъ ѣхать въ монастырь, тѣмъ болѣе, что туда собирались и Кожуховы. Апухтинъ и его племянникъ тоже любезно согласились ѣхать съ Ломовыми. Иволгины, поддаваясь просьбамъ молодыхъ Кожуховыхъ, рѣшились въ свою очередь присоединиться къ остальному обществу. Правда, Бориса Николаевича соблазняло не столько общество Кожуховыхъ, сколько возможность побыть съ Наташей. Онъ и она сговорились встрѣтиться въ монастырѣ и провести день вмѣстѣ, проектируя заранѣе, что они отдѣлятся отъ общества въ монастырѣ и вдвоемъ будутъ присутствовать на богомольи. Сборы къ этой поѣздкѣ оживили всѣхъ. Молитвенное настроеніе едва ли охватывало кого-нибудь изъ нихъ, но всѣмъ улыбалась эта поѣздка, какъ развлеченье отъ скуки, какъ веселое partie de plaisir, какъ возможность провести день-другой не по обычному шаблону. Отказался ѣхать одинъ Романъ. Его даже удивило, зачѣмъ ѣдутъ всѣ остальные члены ихъ кружка. Но когда толки о поѣздкѣ стали дѣлаться все болѣе и болѣе возбужденными, когда начались приготовленія къ дорогѣ, когда онъ услыхалъ, что на богомолье отправляется и Марѳа Власьевна, и Степанъ Потаповичъ, и Шерповы, и Аквилоновъ, его охватилъ какой-то безотчетный страхъ: кругомъ все точно вымретъ, и онъ останется одинъ на два, на три дня. Это его пугало.

Съ нѣкотораго времени онъ сталъ серьезно бояться одиночества, охраняя себя инстинктивно отъ мрачныхъ намѣреній. Молодая жажда жизни все сильнѣе и сильнѣе сказывалась въ немъ, чѣмъ чаще являлась мысль о самоубійствѣ.

Раза два-три онъ, оставшись одинъ, уже направлялся къ придорожному кабачку, гдѣ онъ уже разъ напивался пьянъ послѣ памятнаго ему пира у Кожуховыхъ. Здѣсь онъ снова напился, ища забвенія въ винѣ. На время это поднимало его упавшія силы и, захмелѣвъ, онъ храбрился:

— Что я въ самомъ дѣлѣ, напустилъ на себя мрачности?— разсуждалъ онъ.—Живутъ же другіе, какъ скоты живутъ... пьютъ, ѣдятъ, спятъ... ну, и будемъ такъ жить... Нирвана еще не уйдетъ...

Онъ начиналъ разсуждать о томъ, какъ кто живетъ кругомъ. Разбиралъ по косточкамъ внутреннюю жизнь всѣхъ окружающихъ его людей. Всѣ, въ сущности, довольны своею судьбою, беззаботно проводятъ дни, даже искренно веселятся. Пожалуй, въ душѣ смѣются надъ нимъ. Да, и смѣются! Онъ съ особенной злобой вспомнилъ беззаботное лицо Виктора Ивановича Апухтина. Этотъ человѣкъ сразу пробудилъ непріязненное чувство въ душѣ Ромы. Безшабашно веселый, полный неперебродившихся силъ, онъ, познакомившись съ Ромой, шутливо спросилъ его:

— Что это вы точно лимоновъ наѣлись?

Рому покоробило отъ этого фамильярнаго тона, и онъ отвѣтилъ дерзостью. Викторъ Ивановичъ не разсердился, повидимому, удивился только и тономъ товарища замѣтилъ:

— Да не кипятитесь! Вѣдь я же пошутилъ, потому что не понимаю, какъ можно въ наши годы напускать на себя такую меланхолію... Мнѣ вотъ еще школьничать хочется, веселиться, жить...

Рома раздражительно пожалъ плечами и насмѣшливо отвѣтилъ:

— Всякому свое! Вы вонъ, кажется, въ солдатики играете съ дворовыми ребятишками.

— Какъ же! какъ же!—съ веселымъ смѣхомъ воскликнулъ Апухтинъ.—Цѣлое войско у меня. Я его, еще будучи ребенкомъ, сформировалъ и все новыхъ рекрутовъ потомъ набиралъ въ него... Забавный народъ эти ребятишки... Право, если бы я остался безъ гроша, или опростился, я пошелъ бы въ сельскіе учителя. Очень ужъ я люблю эту дѣтвору.

Дѣйствительно, Викторъ Ивановичъ въ каждый пріѣздъ къ дядѣ, еще во времена своего кадетства, забавлялся съ дворовыми ребятами, составляя изъ нихъ войско и обучая ихъ маршировкѣ, гимнастикѣ, стрѣльбѣ, штурмамъ крѣпостей и тому подобному. Эта забава повторялась имъ и теперь,

несмотря на то, что старикъ Апухтинъ наставительно замѣтилъ ему:

— Ты же уже не ребенокъ!.. Это... это... ну, однимъ словомъ, роняешь себя...

Викторъ Ивановичъ только засмѣялся и отвѣтилъ, что ему гораздо интереснѣе возиться съ ребятишками, чѣмъ сплетничать въ кругу взрослыхъ. Это, впрочемъ, не мѣшало ему быть въ дружескихъ отношеніяхъ съ Иволгиными и Кожуховыми, очень любившими молодого Апухтина, хотя и называвшими его школьникомъ. Рома дѣлалъ гримасы, когда Иволгинъ и Кожуховы говорили при немъ о своихъ симпатіяхъ къ Виктору Ивановичу.

— Шутъ гороховый, потому и любятъ его,—бормоталъ онъ, выходя изъ кабака.—Шутамъ вообще везетъ... Ну, что-жъ, попробую и я шутить... Отчего не шутить, если и вся жизнь—пустая и глупая шутка?.. Будемъ шутомъ среди шутовъ... Вотъ Геліотроповъ тоже превратился въ шута и ничего—поятъ его господа Кожуховы...

Но хмель проходилъ быстро, тогда упадокъ силъ дѣлался еще ощутительнѣе, болѣла голова, все тѣло было какъ бы разбитое, въ мозгу роились снова невеселыя думы, все бѣсило его—и цвѣтущій видъ Наташи, и самодовольное выраженіе лица сестры, и болтовня отца, вертѣвшагося на каблучкахъ, и новые мотивы нытья у матери, тосковавшей о томъ, что она не скоро увидитъ тріумфы Нины въ Петербургѣ. Ему было тяжело съ этими людьми, но покуда онъ былъ съ ними, въ немъ брали надъ всѣмъ верхъ раздраженіе на нихъ, желаніе надѣлать имъ дерзостей и колкостей; безъ нихъ же оставался только упадокъ силъ, угнетенное состояніе духа и мысль о смерти. Онъ началъ подмѣчать въ себѣ пугавшіе его симптомы возвращенія къ одной и той же мысли съ однихъ и тѣхъ же словъ. Начиналъ онъ думать всегда съ одного и того же, съ мысли, что жить не стоитъ; потомъ являлся страхъ передъ смертью, желаніе жить наперекоръ всему, потребность подбодриться или виномъ, или раздраженіемъ на людей среди людей; затѣмъ временное возбужденіе смѣнялось опять упадкомъ силъ, угнетеннымъ состояніемъ духа, и тотъ же процессъ мыслей начинался снова. Это было страшное верченье мысли въ одномъ и томъ же бѣличьемъ колесѣ. «Ужъ не схожу ли я съ ума?» спрашивалъ онъ самъ себя и слѣдилъ за своими дѣйствіями, за ходомъ своей мозговой работы. Въ ходѣ мысли не было никакихъ перемѣнъ, повторялось все то же,

все то же. Его охватывалъ страхъ. Сойти съ ума—о, лучше ужъ смерть! Нѣтъ, надо развлекаться, надо искать разсѣянья. Онъ опять заходилъ въ кабачокъ, къ Кожуховымъ, къ Иволгинымъ. Но всѣ эти встрѣчи бѣсили его. Борисъ Николаевичъ пробуждалъ въ немъ теперь почти ненависть. Для Иволгина это время было самымъ счастливымъ временемъ жизни. Сознаніе, что онъ любимъ Наташею, подняло его духъ. Не объявляя еще никому о своихъ планахъ, онъ переживалъ чудную пору чистой любви—тайныхъ рукопожатій, мимолетныхъ разговоровъ при всѣхъ, тайкомъ отъ всѣхъ, въ укромномъ уголкѣ, прогулокъ вдвоемъ гдѣ-нибудь въ глухой аллеѣ, поэзіи, переживаемой только разъ въ жизни. Рядомъ съ этимъ у Иволгина явилась оживленная дѣятельность: онъ и Кожуховы сильно агитировали въ уѣздѣ, подготовляя выборную кампанію по земству. Кожуховъ старшій и Иволгинъ были твердо убѣждены, что они останутся къ концу этого года побѣдителями на выборахъ, и подготовляли для себя надежную почву. Заходя къ Иволгину, Романъ почти каждый разъ заставалъ здѣсь кого-нибудь изъ земцевъ среди оживленныхъ толковъ и споровъ.

— Вы точно переворотъ приготовляете,—говорилъ онъ.

— А ты думаешь какъ? Переворотъ и готовимъ,—замѣчалъ Иволгинъ.

— Отечество спасаете?

— Ну, положимъ, не отечество, а нашъ уѣздъ почистимъ-таки, и то хорошо.

Владиміръ Кожуховъ съ обычнымъ дидактизмомъ говорилъ:

— Нельзя же, Рома, до старости оставаться будирующимъ мальчикомъ, нужно и дѣло дѣлать...

Романъ горячился, доказывалъ, что то, что называютъ серьезнымъ дѣломъ, въ концѣ концовъ есть переливанье изъ пустого въ порожнее, черпанье воды рѣшетомъ. Всѣ снисходительно умолкали, не возражая ему, или начинали безцеремонно бесѣду о своихъ дѣлахъ. На него, несмотря на его годы, смотрѣли, какъ на мальчика...

Романъ презрительно смотрѣлъ на оживленное мужественное лицо Иволгина, на здоровяка Владиміра, и мысленно повторялъ, что ему тошно видѣть этихъ, какъ говорилъ, «самодовольныхъ людишекъ».

А тутъ подвертывался Викторъ Ивановичъ и, звонко смѣясь, уличалъ его:

— Ахъ, вы непослѣдовательный человѣкъ! Меня ругаете за школьничества и игру въ солдатики, а Бориса Николае-

вича и Володю обличаете за стремленіе къ переворотамъ. Какъ же на васъ угодить?

— А вы думаете, что это не та же игра въ солдатики?— съ ироніей произносилъ Романъ.

Викторъ Ивановичъ вопросительно взглядывалъ на него и простодушно спрашивалъ:

— Такъ что же дѣлать?

Романъ пожималъ плечами, не зная, что отвѣтить. Онъ со своей точки зрѣнія могъ бы отвѣтить только одно:

— Не жить вовсе.

А жить хотѣлось, и онъ шелъ къ этимъ людямъ, чтобы хотя злиться на нихъ.

О немъ почти забыли во время приготовленій къ богомолью, такъ какъ знали, что онъ не поѣдетъ туда, когда онъ внезапно заявилъ, что онъ тоже ѣдетъ... Выѣхать на богомолье рѣшили подъ вечеръ, когда спадетъ немного жаръ. Ѣхать на разсвѣтѣ было бы слишкомъ утомительно и для людей, и для лошадей. Экипажи подъѣхали къ крыльцу барскаго дома часу въ девятомъ, и вся компанія тотчасъ же начала размѣщаться въ экипажахъ. Подъ козлы кучеровъ и позади колясокъ слуги торопливо привязывали корзинки съ провизіей, посуду, вино. Послѣ нѣсколькихъ минутъ неизбѣжной суматохи, полной веселаго шума и гама, толкотни и недоразумѣній, все было прилажено, всѣ были на своихъ мѣстахъ и раздалось желанное:

— Трогай!

Кучера подобрали вожжи, крикнули съ присвистомъ: «Ну, ну, голубчики!»—и коляски скрипя, колыхаясь, грузно покатились по мягкой деревенской дорогѣ, поднимая столбы легкой пыли. Изъ Ломовскаго дорога шла сначала лѣсомъ, до большого тракта, въ прохладной тѣни, наполненной ароматомъ и влажностью. Потомъ на большомъ трактѣ лѣсъ разомъ кончился, и по обѣ стороны пути потянулись поля, поля и поля. Здѣсь было относительно свѣтло, и воздухъ не остылъ послѣ дневного зноя. Сразу выѣхавъ на этотъ широкій просторъ, кучера должны были сдержать лошадей и умѣрить ихъ шагъ, такъ какъ вся лента большой дороги сплошь захлебнулась отъ пѣшеходовъ, телѣгъ, тарантасовъ, одноколокъ, какихъ-то допотопныхъ колымагъ, можетъ-быть, выдвигавшихся изъ сараевъ только разъ въ годъ, именно на эти дни. Кто-то въ коляскѣ, гдѣ сидѣлъ Романъ, замѣтилъ, что здѣсь какъ на Невскомъ проспектѣ въ четыре часа пополудни зимою. Замѣчаніе было справедливо только

относительно многолюдства, но не относительно характера массы, наполнявшей пространство. Шелъ и ѣхалъ почти исключительно народъ, особенно много было дѣвокъ и бабъ, иногда босыхъ, но въ пестрыхъ и яркихъ одеждахъ, эти босоногія щеголихи несли обувь въ рукахъ; изрѣдка ѣхали многочисленныя купеческія семьи, набившіяся въ повозки, какъ сельди въ бочкѣ; еще рѣже приходилось обгонять господскіе экипажи. Порой коляски обгоняли цѣлыя партіи слѣпцовъ съ длинными палками въ рукахъ, съ дѣтьми-поводырями. Подчасъ, онѣ обгоняли какія-то ручныя телѣжки, гдѣ подъ грудой пестраго тряпья вырисовывались странныя формы живыхъ существъ юродивыхъ-уродовъ, дѣтей-калѣкъ, полумертвыхъ больныхъ. Кое-гдѣ близъ дороги лежали, отдыхая, человѣческія фигуры съ видомъ изнеможенія отъ усталости. У всѣхъ пѣшеходовъ были въ рукахъ, на палкахъ и за плечами узелки съ провизіей, съ разными дарами. Въ одномъ мѣстѣ коляски обогнали немолодую женщину, несшую живого теленка, очевидно по обѣту въ даръ монастырю. Мѣрное укачиванье коляски, пестрящее въ глазахъ движеніе толпы, теплый и неподвижный, пропитанный ароматомъ воздухъ ночи, все это нагоняло сонъ, и скоро всѣ въ коляскахъ смолкли, точно погрузились въ безмолвное созерцаніе. Даже въ этомъ экипажѣ, гдѣ сидѣли Рома, Кожуховы, Иволгинъ и молодой Апухтинъ, немилосердно смѣшившій общество своими шутливыми наблюденіями, мало-по-малу разговоръ притихъ, и сладкая дремота охватила всѣхъ...

Не спалъ только Рома...

Прижавшись въ самый уголъ коляски, онъ глядѣлъ задумчивыми глазами на эту несмѣтную толпу богомольцевъ. Иногда, какъ бы утомясь смотрѣть на нее, онъ поднималъ глаза къ темному небу, сверкавшему теперь милліонами яркихъ мигающихъ звѣздъ. Какое-то смутное, томящее чувство охватило его всего. Онъ позабылъ всѣ свои обманутыя надежды, позабылъ слышанныя еще недавно слова Наташи, разбившія его послѣднія надежды, все это отошло куда-то далеко передъ развернувшейся передъ нимъ необъятной картиной народа, идущаго молиться. Въ головѣ какими-то отрывками мелькали клочки идей, фразъ, изреченій. Откуда-то выплыли слова Некрасова: «Храмъ воздыханья, храмъ печали, убогій храмъ земли моей, моленій жарче не слыхали ни римскій Петръ, ни Колизей». Потомъ вспомнилъ слова Христа: «Пріидите ко Мнѣ всѣ труждающіеся и обремененные, и Азъ упокою вы». Затѣмъ мелькнула мысль:

«Когда-то и я ходилъ здѣсь на богомолье». И ярко, ярко изъ тьмы прошедшаго возстала картина этого хожденія на богомолье, съ теплой вѣрой въ груди. Когда это было? Когда въ послѣдній разъ онъ ѣздилъ съ Иволгинымъ въ Ломовское. Это было сравнительно такъ недавно; отъ этого, казалось, отдѣляла его цѣлая вѣчность. Тогда онъ вѣрилъ или хотѣлъ вѣрить. А губы невольно шептали: «И долго я рыдалъ и бился о плиты старыя челомъ, чтобы простилъ, чтобъ заступился, чтобъ осѣнилъ меня крестомъ Богъ угнетенныхъ, Богъ скорбящихъ, Богъ поколѣній, предстоящихъ предъ этимъ скуднымъ алтаремъ». А теперь—partie de plaisir, чтобы посмотрѣть, какъ молится народъ!

Ему, Ромѣ, не о чемъ было молиться, некому было молиться.

Онъ поднялъ глаза къ звѣздному небу, ища тамъ чего-то среди этихъ звѣздъ. Въ головѣ какъ-то невольно мелькнули названія созвѣздій, опредѣленіе ихъ величины, разныя гипотезы о нихъ, вся эта проза ученыхъ изслѣдованій, сухая, голая, трезвая и скучная. Въ душѣ была какая-то страшная пустота, царилъ какой-то холодъ. Не было ни надеждъ, ни вѣры, ни поэзіи. Въ дѣтствѣ ему говорила мамка: «Звѣздочки—божьихъ ангеловъ глазки, смотрятъ онѣ, спитъ ли Ромушка; увидятъ, что не спитъ, а капризничаетъ, пойдутъ къ Боженькѣ и пожалуются, и разсердится Боженька на Ромушку». Въ дѣтствѣ онъ полюбилъ разсказъ Полонскаго о томъ, какъ «начнетъ обходъ свой мѣсяцъ», чтобы «узнать, кто тамъ молится, кто плачетъ, кто и какъ себя ведетъ». Потомъ была пора, когда онъ подъ вліяніемъ Иволгина съ восторгомъ читалъ Фетовскія ночи, восклицая сотни разъ: «о, этотъ мѣсяцъ волшебникъ». Далѣе ему вмѣстѣ съ Гейне казалось не разъ, что и звѣзды, и мѣсяцъ глядятъ на него съ тоскою и шепчутъ: «отчего ты такъ блѣденъ, Рома?»...

— Ребячество!—почти вслухъ проговорилъ онъ.

А тоска снова захватила душу: ребячество прошло и не замѣстилось ничѣмъ, осталась пустота въ умѣ, въ сердцѣ, въ душѣ...

Откуда-то съ болота потянуло холодкомъ и сыростью, и по сторонамъ задымился туманъ, точно упавшія на землю бѣловатыя облака. По тѣлу Ромы пробѣжала легкая дрожь. Отъ холодка или отъ тяжелыхъ думъ? Самъ онъ не могъ дать себѣ въ этомъ отчета. Онъ перемѣнилъ положеніе и разбудилъ этимъ движеніемъ Владиміра.

— Что? Развѣ пріѣхали?—спросилъ очнувшійся Кожуховъ, зѣвая и протирая глаза спросонья.

— Нѣтъ еще,—отвѣтилъ Рома.

— Славно вздремнулъ!—проговорилъ Владиміръ, снова, сладко зѣвая и немного потягиваясь.—А ты спалъ?

— Нѣтъ.

— Не дѣло! Днемъ будешь походя спать. Мнѣ вотъ хоть часъ нуженъ, чтобъ уснуть мертвымъ сномъ, а тамъ я опять хоть цѣлыя сутки на ногахъ могу быть...

Онъ посмотрѣлъ кругомъ.

— Экая ночь-то благодатная!.. Вотъ, вотъ, смотри, звѣзда черкнула... Опять... другая...

И, охваченный весь прелестью этой звѣздной ночи, онъ сталъ будить спящихъ:

— Довольно вамъ дрыхнуть-то! Ну, шевелитесь! Ночь такая, что грѣхъ спать...

Всѣ проснулись, позѣвывая, недоумѣвая, зачѣмъ ихъ разбудили. Викторъ Ивановичъ сообразилъ первый:

— Это ему скучно одному, такъ хочетъ, чтобы его развлекали! Привередливая дама!

Послышался смѣхъ. Достали папиросы, зачеркали спичками, начали курить.

— Да вы бы благодарить должны меня, что я не далъ вамъ пропустить такую ночь,—сказалъ Владиміръ:—а они еще насмѣхаются! О, неблагодарные!

— Да вѣдь водочки и закусончика не будетъ, такъ что же и не спать, сказалъ бы покойный Геліотроповъ,—шутливо замѣтилъ Александръ Кожуховъ.

— Да, ему вся жизнь представлялась въ видѣ возможности попользоваться водочкой и закусончикомъ,—въ тонъ брату проговорилъ Николай.—Поди, теперь скучно и въ могилѣ-то безъ этихъ благъ.

Романъ обернулся къ братьямъ Кожуховымъ, смотря на нихъ широко открытыми глазами, ничего не понимая.

— Что вы говорите? Покойный? Въ могилѣ?—заговорилъ онъ въ недоумѣніи.

— Да развѣ ты не зналъ, что онъ умеръ?—съ удивленіемъ спросилъ Владиміръ.—Вчера похоронили...

— Скоропостижно?

— Да. Обыкновенный конецъ пропойцъ... А я думалъ, что ты зналъ. Объ этомъ у насъ не мало говорили. Еще бы такая смерть...

— Послѣдовательная,—вставилъ Николай Кожуховъ.—Какъ жилъ, такъ и умеръ.

Владиміръ сталъ разсказывать:

— Четвертаго дня его жена ушла стирать бѣлье на рѣку; онъ остался съ дѣтьми. Малолѣтнія они у него. Ну, и воспользовался онъ случаемъ для выпивки. Предъ этимъ уже пилъ нѣсколько дней сряду. Пошелъ въ кабакъ, продалъ всю свою одеженку, напился всласть, пришелъ домой и сталъ изображать предъ дѣтьми дикаря. Раздѣлся до-нага, надѣлъ на спину женинъ передникъ, вмѣсто звѣриной шкуры, сталъ прыгать на четвереренькахъ по избѣ. Ребятишки хохотали отъ души. Потомъ онъ повалился на полъ и зарычалъ. Любили дѣти его за эти шутки. Чего-чего онъ передъ ними не продѣлывалъ—и львовъ изображалъ, и комедіи разыгрывалъ, и пѣтухомъ пѣлъ. Извѣстно, шутъ. Когда онъ пересталъ рычать, они стали его теребить и тормошить, чтобы онъ продолжалъ тѣшить ихъ. Но онъ уже больше не могъ никого тѣшить, отшутивъ свою послѣднюю шутку. Когда жена вернулась съ рѣки—онъ совсѣмъ закоченѣлъ.

Разсказъ былъ сжатъ, сухъ, холоденъ. Отъ этого тона онъ казался Роману еще страшнѣе.

Николай Кожуховъ вставилъ:

— Жилъ шутомъ—шутомъ и умеръ.

— И слава Богу, что умеръ, женѣ хоть развязалъ руки,—спокойно проговорилъ Владиміръ.—Она баба сильная, здоровая, крѣпкая. Вчера, когда его хоронить понесли, шла за гробомъ съ двухлѣтнимъ ребенкомъ на рукахъ: грудь высокая, лицо строгое, губы сжаты, въ глазахъ ни слезинки, суровость одна во взглядѣ, такъ что мнѣ невольно вспомнилась некрасовская «здоровая крестьянка». Такія не пропадаютъ, были бы руки развязаны, а онъ вѣдь только поперекъ дороги у нея стоялъ...

И, резонируя по привычкѣ, Владиміръ впалъ въ педантическій тонъ, заговаривалъ о людяхъ-тунеядцахъ, о чужеядныхъ человѣчества, жестоко и безпощадно нападая на всякія стремленія нѣкоторыхъ писателей «обѣлить» или «поставить на пьедесталъ» какихъ-нибудь Любимовъ Торцовыхъ, или отыскать душу Мармеладовыхъ.

— Гордѣи Торцовы дѣлаютъ подлости, но у нихъ есть хоть то оправданіе, что они стремятся къ своимъ выгодамъ,—закончилъ наставительно Владиміръ.—Любимы же Торцовы не могутъ и этого сказать въ свое оправданіе, потому что они дѣлаютъ подлости только подъ вліяніемъ пьянства, а пьяный тунеядецъ всегда подлецъ уже потому, что онъ долженъ ѣсть и пить, то-есть грабить работящаго и трезваго. Гордѣи могутъ грабить народъ, Любимы будутъ пропивать

эти же награбленныя деньги, пресмыкаясь вдобавокъ ко всему передъ Гордѣями...

Романъ уже не слушалъ, устремивъ глаза въ даль, въ прозрачный сумракъ звѣздной ночи. Передъ нимъ проносились картины. Вотъ исхудалый, голый Геліотроповъ, съ шутовски надѣтымъ на спину женинымъ передникомъ, лежащій на полу, умирающій подъ хохотъ тормошащихъ тятьку дѣтей. Вотъ жена Геліотропова, рыжая, здоровенная, съ сильными руками, шагающая съ суровымъ видомъ за гробомъ мужа, безъ слезинки на глазахъ. Вотъ онъ, Романъ Ломовъ, идетъ, пошатываясь, изъ придорожнаго кабачка и съ пьянымъ смѣхомъ говоритъ: «шутамъ только и жить, ну, и будемъ шутомъ, такъ какъ и вся жизнь пустая и глупая шутка». А подъ самымъ ухомъ Владиміръ Кожуховъ, сильный и здоровый творитъ «поминки» Геліотропову, говоритъ ему «надгробное слово», ругая всѣхъ пьяницъ и тунеядцевъ, и кажется Ромѣ, что Владиміръ ругаетъ не Геліотропова, а его самого, Романа Ломова, тоже ничего не дѣлающаго и тоже чувствующаго позывъ къ водкѣ. Проходятъ передъ нимъ эти картины, кажется ему, что онъ уже не Романъ Ломовъ, а Геліотроповъ, худой, костлявый, спившійся съ круга человѣкъ; его всѣ ругаютъ, а онъ шутитъ надъ самимъ собой злыя шутки о неприспособленныхъ головахъ, не пробуя даже приспособиться, такъ какъ все-равно не приспособишься,—да и стоитъ ли? Роману и жутко, и больно, грудь давитъ, точно рыданія захватываютъ ему горло, душатъ его.

— Ну, пріѣхали!—раздался чей-то веселый голосъ.

— Разъ, два, три!—командуетъ чей-то другой голосъ.— Скачи черезъ бортъ.

Изъ коляски, не открывая дверцы, выскакиваетъ кто-то, за нимъ еще кто-то другой.

— Школьники!—говоритъ Владиміръ Кожуховъ.

Романъ очнулся, сталъ протирать глаза. Онъ не могъ отдать отчетъ себѣ, спалъ ли онъ и видѣлъ страшный сонъ, или на яву пронеслись въ его головѣ мрачные образы. Да, должно-быть, все это было сновидѣніемъ... Но подавленность, тяжесть на сердцѣ уже не проходили. Кругомъ же слышались веселые голоса, всѣ говорили на-перебой, суетились, толкались, дурачились, точно опили, точно ни пиръ попали...

V.

Все общество Ломовыхъ на слѣдующій день поднялось рано утромъ, чтобы отправиться въ монастырскій соборъ къ

службѣ. Одинъ Романъ не поднялся съ постели и, сердито отвернувшись лицомъ къ стѣнѣ, объявилъ будившему его Николаю Кожухову, что онъ придетъ послѣ въ монастырь. Его оставили въ покоѣ. Старики Ломовы, Анна Ѳеодоровна, Вѣра Николаевна Иволгина, Кожухова и Валеріанъ Александровичъ, доѣхавъ до монастыря, направились въ церковь. Одинъ изъ стариковъ-монаховъ, почтительно привѣтствуя ихъ, повелъ все общество на почетныя мѣста. Молодежь прошла изъ города въ монастырь пѣшкомъ и разбрелась по монастырскому кладбищу и двору.

Дорога изъ города въ монастырь вела по мосту, перекинутому черезъ неширокую, мелководную лѣтомъ и многоводную во время разливовъ рѣчку. Около моста была построена часовня на мѣстѣ явленія иконы. Далѣе отъ моста до монастыря раскидывалась широкая площадь, заканчивавшаяся монастырской оградой и справа монастырской слободой, а слѣва небольшимъ лѣскомъ. Въ дни монастырскаго праздника все это песчаное пространство представляло видъ большой ярмарочной площади съ массою телѣгъ, экипажей, подвижныхъ шалашей и пестрѣло группами народа, стекавшагося сюда по мосту и по берегу съ обѣихъ сторонъ. На площади шелъ бойкій торгъ не только образами, картинами, четками и книжками для народа, но и разными другими издѣліями—деревянными и металлическими мелкими вещами, пестрыми лентами и платками, пряниками, орѣхами и бубликами, булками, калачами и другими съѣстными припасами. Окрестные крестьяне привозили сюда даже домодѣльную посуду, глиняную и деревянную, такъ какъ въ эти дни здѣсь былъ сбытъ для всего. У часовни и у монастырскихъ воротъ бойко торговали монахи свѣчами, просфорами, образами, четками и житіями святыхъ. Послушники, юноши и дѣти, припомаженные и нарядные, еще похожіе болѣе на дѣвочекъ, чѣмъ на мальчиковъ, въ своихъ длинныхъ, какъ юбки, одеждахъ, съ перетянутыми тальями и съ падавшими на плечи волнистыми, лоснящимися волосами, сновали въ толпѣ, озабоченные, занятые дѣломъ. Степенные старики-монахи, тоже одѣтые попраздничному, стояли у выручекъ со свѣчами и образами, едва успѣвая получать деньги и давать сдачи, коротко отвѣчая на предлагаемые имъ со всѣхъ сторонъ вопросы. По мѣрѣ приближенія къ монастырскимъ воротамъ толпа дѣлалась все гуще и гуще, а тамъ, въ монастырѣ, уже все пространство захлебнулось народомъ. Когда Романъ, проснувшійся, наконецъ, отъ тяжелаго сна, направился къ мона-

стырю,—пробраться въ монастырскій соборъ было уже положительно невозможно. Въ храмѣ, какъ говорится, яблоку некуда было упасть. Ломовъ, впрочемъ, и не пытался проникать туда. Онъ, въ сущности, самъ не понималъ, зачѣмъ онъ даже пошелъ въ монастырь. Онъ чувствовалъ себя скверно — въ головѣ и въ душѣ была какая-то пустота, что-то безотчетное томило и угнетало его. Такое ощущеніе бываетъ послѣ внезапно-постигнувшаго страшнаго горя или при смутномъ предчувствіи невѣдомой страшной бѣды. Онъ сталъ бродить среди народа по окружавшему монастырскій храмъ кладбищу, тѣнистому и расчищенному, какъ садъ. Тутъ не было мѣстечка, гдѣ не пріютились бы люди, нарядные, съ праздничнымъ выраженіемъ на лицахъ, съ непокрытыми головами, отдыхающіе или молящіеся подъ открытымъ небомъ. Изъ храма чрезъ отворенныя окна доносилось стройное пѣніе монаховъ. Съ колокольни неслись звуки благовѣста. Въ толпахъ народа слышался смутный говоръ, гдѣ-то въ сторонѣ слѣпцы пѣли про убогаго Лазаря, а поводыри ихъ, держа въ рукахъ небольшія деревянныя чашечки, приговаривали: «слѣпенькому, убогому, подайте Христа ради», и, отъ времени до времени, слышалось звяканье денегъ, падавшихъ въ эти деревянныя чашки. Въ воздухѣ среди деревъ стояло немолчное чириканье птицъ и слышался шелестъ листьевъ. Дальше, у монастырскихъ жилыхъ построекъ, изъ подвальнаго этажа, неслись торопливые звуки, говорившіе, что тамъ идетъ поспѣшная стряпня, что-то рубится ножами и сѣчками, скоро-скоро, точно изъ боязни опоздать. Монастырскій храмъ, казалось, горѣлъ внутри, такъ какъ сквозь каждое окно были видны группы горящихъ свѣчей и теплившихся лампадъ. А надъ снопами этого свѣта, надъ колеблющимися язычками горящихъ свѣчей, вились легкія струйки дыма, разсѣивавшіяся и исчезавшія въ вышинѣ. Не меньше было свѣта и снаружи: солнце уже поднялось довольно высоко и заливало всю картину горячими лучами, казавшимися еще ярче отъ рѣжущихъ и безъ того глаза красныхъ и розовыхъ, желтыхъ и бѣлыхъ ситцевъ и кумачей на рубахахъ, сарафанахъ, платьяхъ и платкахъ богомольцевъ, представлявшихся издали, среди темной зелени, букетами какихъ-то фантастическихъ цвѣтовъ. У Романа пестрѣло въ глазахъ, звенѣло въ ушахъ, наконецъ, начала немного кружиться голова отъ этого движенія, отъ этихъ звуковъ, отъ этого блеска. Онъ машинально опустился на одну изъ могильныхъ насыпей,

недалеко отъ церкви, и сталъ безцѣльно смотрѣть въ пространство. Впереди, недалеко отъ него, какая-то совсѣмъ дряхлая старуха въ темной и коротенькой бѣдной одежонкѣ, въ коричневомъ ситцевомъ платкѣ на головѣ, съ выбившимися изъ-подъ него прядями сѣдыхъ волосъ, падавшихъ на костлявое лицо, стояла на колѣняхъ на пескѣ и молилась, шевеля сморщенными губами и медленно осѣняясь высохшею, желтою и сморщенною рукою крестнымъ знаменіемъ; она клала земные поклоны и подолгу оставалась неподвижно распростертой на землѣ. Немного впереди ея мускулистый и здоровый парень съ широкимъ и загорѣлымъ лицомъ, съ блестящими отъ масла волосами, въ красной рубахѣ и въ накинутомъ на плечи кафтанѣ, стоялъ, обратясь лицомъ къ церкви, и быстро крестился, занося руку широкимъ размахомъ на самое темя, потомъ ниже пояса и, наконецъ, чуть не дальше плечъ, и отвѣшивая скорые поясные поклоны; послѣ каждаго поклона онъ встряхивалъ опускавшимися внизъ волосами и быстро смахивалъ ихъ со лба движеніемъ руки. Казалось, ни старуха, ни онъ не замѣчали и не слышали ничего кругомъ, смотря только на окна церкви и на виднѣвшіеся сквозь нихъ образа и свѣчи, ловя одни звуки долетавшаго изъ храма пѣнія. Романъ отвернулся въ сторону, и его взглядъ упалъ на старика, сѣдого, какъ лунь, одѣтаго почти въ лохмотья, но опрятнаго и благообразнаго; старикъ сидѣлъ на могилѣ, держа обѣими руками за верхній конецъ палку и опершись на нихъ подбородкомъ; его потухшіе глаза смотрѣли впередъ, тоже на церковь; онъ казался неподвижной статуей и только его шевелившіяся губы говорили, что и онъ молился. Откуда-то до Ломова долетѣло, какъ вырвавшійся невольно вздохъ: «ахъ, заступница наша, мать Пресвятая Богородица, помилуй насъ грѣшныхъ», — онъ обернулся и увидѣлъ худощавую, загорѣлую бабу, кормившую грудью ребенка,—она задумчиво качала головой и тоже что-то шептала, шевеля тонкими, сухими и потрескавшимися губами. О чемъ молились эти люди, несчастные, бѣдные, измученные трудомъ? На что они надѣялись въ жизни, принесшей имъ столько невзгодъ, что давно можно было придти въ отчаяніе?.. Рому охватила безотчетная тоска, точно онъ попалъ въ толпу людей, говорящихъ на непонятномъ для него языкѣ о непонятныхъ для него предметахъ. Онъ всталъ, пошелъ безцѣльно впередъ, одинокій въ толпѣ, и остановился, наконецъ, пораженный чѣмъ-то. Около одной стѣны жилыхъ монастырскихъ помѣщеній на солнеч-

номъ припекѣ стояла ручная телѣжка. Въ ней лежалъ подъ грудой пестраго тряпья глухонѣмой уродъ съ непомѣрно-большой головой, съ всклокоченными, уже наполовину сѣдыми волосами, падавшими на суровое старческое лицо, съ маленькимъ туловищемъ, высохшими руками и ногами, несоразмѣрно короткими по отношенію къ головѣ. Все это дѣлало его видъ ужаснымъ. При взглядѣ на него, Роману вспомнился Пегасъ Иволгина съ отнявшимся задомъ и сохнущими задними лапами. Уродъ что-то рычалъ, безостановочно извиваясь на своемъ ложѣ подъ тряпьемъ и все время, безъ отдыха, шевелилъ пальцами правой руки, какъ бы растирая имъ большой палецъ, принявшій, должно-быть, отъ этого постояннаго однообразнаго движенія черезчуръ большой размѣръ. Романъ почувствовалъ почти физическую боль, смотря на постоянное движеніе тѣла и руки этого уродливаго существа. Онъ обратился къ стоявшей возлѣ телѣжки бабѣ и замѣтилъ ей:

— Его солнце печетъ! Въ тѣнь бы его отвезти.

— Нешто онъ понимаетъ!—отвѣтила равнодушно баба и, перемѣнивъ тонъ, привычно-плаксивымъ голосомъ попросила:

— Подайте убогому на хлѣбъ!

— Что засмотрѣлся?—раздался голосъ позади Романа. — Хорошъ субъектъ?

Это былъ голосъ Кожухова.

— И живутъ же подобные люди!—проговорилъ Романъ, обращаясь къ Кожухову.

— Ну, много онъ понимаетъ!

Въ эту минуту мимо молодыхъ людей бойко прошло къ стоявшей около юродиваго урода бабѣ какое-то существо— человѣкъ, крупный по формамъ туловища, головы и рукъ, но совершенно лишенный ногъ. Онъ шелъ быстро на рукахъ, широко раскидывая ихъ и раскачивая туловище. Приблизившись къ бабѣ, онъ быстро и сердито заговорилъ съ нею хриплымъ голосомъ.

— А вотъ этотъ не только живетъ, такъ еще и пользуется всѣми благами жизни,—замѣтилъ Владиміръ, указывая на безногаго мужика.—Пьяница и развратникъ, какихъ свѣтъ не производилъ.

— Ну?—недовѣрчиво произнесъ Ломовъ.

— Я его давно знаю, мерзавца, первѣйшій буянъ и Донъ-Жуанъ. Впрочемъ, почему же и не пользоваться благами жизни, денегъ добываетъ много — есть изъ чего пожить. Этого вотъ идіота раздобылъ гдѣ-то и эксплоатируетъ

его въ свою пользу. Приставилъ къ этому свою прежнюю возлюбленную. Промыселъ тоже...

Романъ съ отвращеніемъ взглянулъ на красное лицо безногаго нищаго, смотрѣвшаго нахально и въ то же время сурово на покорно выслушивавшую его ругань бабу.

— Нашихъ не видалъ?—спросилъ Владиміръ.

— Нѣтъ!

— Растерялись всѣ. Старшіе всѣ въ церкви. Братья куда-то съ Викторомъ затерялись. Наташу только и видѣлъ съ Борисомъ Николаевичемъ — ждутъ у часовни на рѣкѣ крестнаго хода...

Романа точно чѣмъ-то кольнуло, когда онъ услышалъ, что Наташа находится вдвоемъ съ Иволгинымъ.

— Утомилась совсѣмъ наша барышня, смотря на богомолье,—продолжалъ Владиміръ.—Я подошелъ, говорю: «устанете вы». А она: «ахъ, нѣтъ, я бы цѣлый день смотрѣла на все это, всѣ точно сроднились, слились здѣсь въ одномъ общемъ чувствѣ».

И, не воздержавшись отъ обычнаго дидактизма, онъ разсудительно замѣтилъ:

— Это она, конечно, идеализируетъ дѣйствительность, но благо тому, кто еще не потерялъ способности идеализировать пошлую прозу жизни. Безъ этого жизнь...

Романъ уже не слышалъ его и безсознательно шелъ куда-то, пробираясь черезъ толпу. Онъ вышелъ за монастырскія ворота, сталъ спускаться по песчаной площади къ часовнѣ у рѣки. Тамъ вокругъ часовни, сверкавшей сотнями свѣчей, ползли вереницей, на колѣняхъ, женщины и мужчины, держа свѣчи, крестясь и шепча молитвы. Одна изъ этихъ ползавшихъ на колѣняхъ женщинъ держала на рукахъ ребенка съ повисшими, какъ плети, ногами, съ безпомощно упавшею ей на плечо головою. По ея лицу струился ручьями, какъ вода, потъ, но она ползла все дальше и дальше. Романъ остановился, пораженный этимъ зрѣлищемъ, и тутъ же увидалъ Наташу и Иволгина. Наташа тихо отирала слезы.

— Что съ тобой?—быстро спросилъ Романъ, охваченный невольной тревогой при видѣ ея слезъ.

На мгновенье въ немъ вспыхнула любовь къ ней, чѣмъ-то огорченной, о чемъ-то плачущей.

— Ты видишь. Эта несчастная мать,—проговорила тихо Наташа растроганнымъ голосомъ.—У ея ребенка вотъ уже годъ, какъ стали сохнуть ноги, и она дала обѣтъ на колѣ-

нахъ обойти сколько-то разъ эту часовню. Сейчасъ говорила съ нами, вѣритъ, что Богъ дастъ ему облегченіе... И что за прелестное дитя! Вѣдь это съ ума можно сойти отъ такого несчастія. Бѣдная, бѣдная женщина.

Романъ уже былъ опять спокоенъ: причина слезъ Наташи не взволновала его, а, напротивъ того, успокоила его невольное волненіе. Онъ не могъ представить себя въ положеніи этой несчастной женщины, какъ это мимовольно сдѣлала Наташа, любящая и любимая.

— Всѣ они жалкіе,—проговорилъ онъ, хмуро косясь на Иволгина:—жалкіе, потому что безпомощные, дальше этого ползанья ни до чего не додумались.

— Смотрите, крестный ходъ двинулся! — сказалъ Иволгинъ, отвлекая вниманіе Наташи отъ Романа.

— Ахъ, да, да!—воскликнула Наташа. — Господи, какая картина.

Дѣйствительно, картина была великолѣпная: изъ монастырскихъ воротъ тянулась лента крестнаго хода; пѣвчіе монахи, священники, образа, хоругви, кресты сопровождались густой пестрой массой народа. Возносясь надъ всѣмъ, виднѣлась чудотворная икона въ богатой ризѣ, несомая на ниспадавшей внизъ богато украшенной пеленѣ. Едва показался въ воротахъ крестный ходъ, какъ навстрѣчу ему поползло множество людей, давшихъ обѣтъ на колѣняхъ проползти подъ иконой. Процессія двигалась медленно и величаво. Нѣкоторые изъ богомольцевъ, между тѣмъ, обгоняли стороною крестный ходъ, чтобы занять поудобнѣе мѣста у часовни. Тутъ уже становилось тѣсно.

— Тебя задавятъ!—обратился Романъ къ Наташѣ, видя, что кругомъ нихъ образуется толпа и что Наташа приподнимается на цыпочки, чтобы лучше видѣть, что происходитъ впереди.

— Ничего; я не боюсь!—мелькомъ отвѣтила она, не глядя на Романа, охваченная любопытствомъ.

— Ну, обопритесь на меня, чтобы лучше видѣть,—сказалъ Иволгинъ и подставилъ ей руку, чтобы ей было легче стоять на цыпочкахъ.

Кругомъ слышались вздохи, шопотъ молитвы, отрывочныя фразы: «заступись, Владычица Пресвятая Богородица», «прости согрѣшенія наши», иногда кто-нибудь ворчливо вздорилъ съ сосѣдями: «чего толкаешь, всѣмъ мѣста хватитъ», «ты бы на голову сѣлъ», порой вырывались восклицанія: «вонъ, вонъ, Никешка и Матрена подъ икону по-

лѣзли», «смотри, смотри, бабушка-то наша какъ на колѣняхъ отмахиваетъ, даромъ что стара». А надъ всѣмъ этимъ гуломъ голосовъ несся въ воздухѣ веселый перезвонъ монастырскихъ колоколовъ, и все яснѣе и яснѣе достигали звуки пѣнія. Чѣмъ ближе становилось пѣніе, тѣмъ чаще и чаще стали подниматься въ воздухѣ руки, творящія крестное знаменье, и праздный говоръ падалъ. При видѣ медленно подвигающейся массы народы, Романъ почувствовалъ что-то въ родѣ страха. Позади его была рѣка, а эта людская волна надвигалась, какъ сплошная стѣна, и, кажется, могла опрокинуть всѣхъ стоявшихъ здѣсь въ воду. Онъ тревожно дернулъ Наташу за рукавъ платья.

— Уйдемъ! задавятъ еще или столкнутъ въ воду!

Наташа какъ будто очнулась отъ сна.

— Въ воду?—спросила она и обратилась къ Иволгину:— Уйти?

Тотъ пожалъ плечами.

— Зачѣмъ! Никуда не столкнутъ!

Романъ гнѣвно взглянулъ на него.

— Если ты такой геркулесъ, что устоишь передъ этой толпой, то Наташа не такъ сильна. И, наконецъ, чего тутъ еще ждать, кажется, довольно насмотрѣлись.

Онъ начиналъ горячиться. Его теперь всего охватила одна мысль; зачѣмъ они здѣсь? Чего они ждутъ, чего смотрятъ? Все это было такъ чуждо ему, такъ подавляло его. Въ душѣ было полное сознаніе, что у него нѣтъ ничего общаго съ этой толпой. Она только пугала его, какъ стихійная сила, какъ грозная туча, идущая, надвигающаяся на него. Уйти, уйти подальше отъ нея, вотъ все, что можно сдѣлать. Онъ говорилъ не помня себя и не замѣчая, что близъ стоящіе люди, уже охваченные теперь всецѣло молитвеннымъ настроеніемъ, взглядывали на него искоса, какъ бы готовясь сказать ему: «молчи».

Наташа тихо замѣтила ему:

— Ты мѣшаешь.

Онъ вдругъ растерялся, услышавъ эту фразу. «Мѣшаетъ? Кому? Ей, Наташѣ? Иволгину? Или кому-нибудь другому?» Теперь ему бросилось въ глаза, какъ плотно прижалась къ Борису Николаевичу Наташа. Онъ вдругъ понялъ все, что раньше только предчувствовалъ. Въ немъ точно что-то оборвалось. Всего охватила полная безнадежность. Въ головѣ вертѣлась одна мысль: «Да, да, онъ имъ мѣшаетъ, всегда мѣшалъ всѣмъ, его за это и гонятъ и тѣснятъ. Надо уйти,

уйти совсѣмъ, навсегда»... Толпа же все сдвигалась, становилась все плотнѣе; Наташа держала подъ руку Бориса Николаевича и жалась къ нему, спокойная, вѣрящая въ его силу. Романа, погрузившагося въ свои думы, мало-по-малу оттѣснили отъ нея. Когда онъ осмотрѣлся, она уже была отдѣлена отъ него толпой, колыхавшейся теперь, точно отъ вѣтра, въ стремленіи къ часовнѣ. Романъ чувствовалъ, что ему тѣсно, душно, и только старался освободиться изъ этихъ живыхъ, движущихся тисковъ, точно боясь за свою жизнь. Какъ-то незамѣтно для самого себя онъ, точно выброшенный, очутился за чертою надвинувшихся людей, почти у моста. «Уйти, уйти, пока опять не притиснули»,—бормоталъ онъ безсмысленно, и побрелъ прочь, не зная куда и зачѣмъ... «Еще помѣшаешь кому-нибудь»,—съ горечью подумалъ онъ. Онъ дошелъ до лѣска, обжигаемый солнцемъ, съ крупными каплями пота на лицѣ. Въ лѣсу на него пахнуло прохладой. Здѣсь была густая тѣнь, полное безлюдье. Забравшись въ чащу, онъ присѣлъ, забылся на нѣсколько минутъ. Въ его головѣ и въ душѣ опять была какая-то пустота, ни о чемъ не думалось, не хотѣлось думать! Безсознательно онъ полѣзъ рукой въ карманъ за папиросами и вмѣсто портсигара вытащилъ случайно складной ножъ. Почти не замѣчая ошибки, онъ сталъ разсматривать его, какъ будто это была какая-то новая для него вещь. Онъ открылъ его и слегка провелъ имъ въ воздухѣ... «Такъ вотъ провести по горлу и мѣшать никому не будешь... Мѣшать! мѣшать! Жестокое слово сказала она, Наташа: «Мѣшаешь!» Нѣтъ, это она не то хотѣла сказать, не то!.. Расплакалась бы, если бы узнала, на какія мысли навело его это слово. Она не злая, она просто здоровый человѣкъ: не понимаетъ она его, нравственно-больного, и потому мучитъ»... Мысль перешла на вопросъ о томъ, чѣмъ будетъ для него вся жизнь, какъ не мукою? «И мука-то будетъ безплодная, потому что онъ знаетъ, что лучше не будетъ, не можетъ быть. Исторія человѣчества—верченье въ бѣличьемъ колесѣ; счастливъ только тотъ, кто не думаетъ ни объ этой исторіи, ни объ этомъ человѣчествѣ, а ловитъ все для себя, что можно словить; счастливъ и тотъ, кто можетъ играть съ собою въ прятки и воображать, что онъ можетъ что-нибудь сдѣлать для блага другихъ. Онъ, Романъ, не созданъ ни для той, ни для другой роли. Не можетъ быть бездушнымъ хищникомъ; не можетъ быть и наивнымъ Сизифомъ, воображающимъ, что при помощи усилій можно поднять въ гору хоть какой-нибудь камень

для созданія блага ближнихъ»... «Надо принимать жизнь такою, какова она есть», вспоминались ему слова Иволгина, и въ душѣ поднялась на минуту злоба: «Фарисействующіе мѣщане! Обидятся, если ихъ назовешь хищниками или докажешь, что они толкутъ воду въ ступѣ. Золотую середину нашли: принимать жизнь такою, какова она есть! О, эти счастливѣе всѣхъ. Чистая совѣсть и гордое сознаніе, что они дѣлаютъ, что могутъ дѣлать что-то для человѣчества»... «А прекратить жизнь можно разомъ. Вотъ такъ». Онъ вдругъ, внезапно, обманывая свою собственную нерѣшительность, провелъ ножомъ по шеѣ, вскрикнулъ отъ боли и выпустилъ изъ рукъ ножъ. Въ головѣ разомъ воцарился какой-то хаосъ: страхъ передъ смертью и жажда смерти, боль на прорѣзанномъ мѣстѣ и стыдъ за свою трусость, желаніе зажать ранку платкомъ и стремленіе снова схватить ножъ и всадить его себѣ въ горло со злобой, съ бѣшенствомъ на самого себя. Онъ упалъ на землю и бился на ней, точно въ припадкѣ истерики, а на его платокъ и на руку, зажимавшую ранку, сочилась кровь. «И умереть-то не умѣю», уже слабо пронеслось въ его головѣ. «Какъ жилъ шутомъ, такъ шутомъ и умеръ», мелькнули въ мозгу презрительныя слова Владиміра про Геліотропова и подняли въ душѣ злобу. «Надо скорѣй, скорѣй покончить, пока еще есть силы», точно кто-то подсказалъ ему и онъ уже слабѣющей рукой, отыскавъ ножъ, нанесъ себѣ еще рану...

Въ воздухѣ въ это время уже немолчно стояли болтливые веселые звуки перезвона на монастырскихъ церквахъ, возвѣщавшіе конецъ обѣдни и крестнаго хода. Вся площадь передъ монастыремъ, монастырскій садъ и дворъ, кухня и столовая захлебнулись народомъ. Повсюду слышался немолчный говоръ, полный оживленія и радости. И надъ всей этой оживленной картиной сверкало въ безоблачномъ небѣ яркое солнце. Никто во всей этой массѣ охваченнаго праздничнымъ настроеніемъ и позабывшаго на время свои тяжелыя невзгоды народа даже и не подозрѣвалъ, что тутъ же рядомъ, въ лѣскѣ, исходитъ медленно кровью человѣкъ, порвавшій нить своего существованія только потому, что онъ, какъ онъ самъ выражался, не умѣлъ или не могъ принять жизнь такою, какова она есть...

РАЗСКАЗЫ.

НАСѢДКА.

I.

Святки. На дворѣ ясный и звѣздный вечеръ съ легкимъ морозцемъ и съ бѣлымъ, только что выпавшимъ, хрустящимъ подъ ногами снѣгомъ.

Въ гостиной деревенскаго дома помѣщика средней руки Бориса Васильевича Панова собрались обычныя посѣтительницы—двѣ молоденькія сестры Соковнины, Луша и Душа, извѣстныя сосѣдямъ подъ именемъ «неряхинскихъ барышень», и Марья Петровна Крестовоздвиженская, сестра матушки-попадьи изъ села Неряхина, сорокапятилѣтняя старая дѣва съ сухимъ и желтымъ лицомъ, съ косичками, свернутыми въ колечки на вискахъ, съ маленькой и жиденькой косой, прикрѣпленной большою, гладкою черепаховой гребенкой, съ бѣгающими, высматривающими глазками и не то презрительной, не то угнетенной улыбочкой. Неряхинскія барышни, толстыя и краснощекія, поминутно громко смѣются безъ всякой видимой причины, открывая свои ровные и бѣлые зубы, и набираютъ горстями орѣхи и пряники. Марья Петровна Крестовоздвиженская все потупляетъ глазки и, поджимая губы, жеманно отказывается отъ лакомствъ, рѣшаясь только послѣ настоятельныхъ просьбъ взять одинъ орѣхъ или пряникъ. Она жуетъ ихъ самымъ деликатнымъ образомъ, совсѣмъ незамѣтно и беззвучно, скрывая свои десны, украшенныя рѣдкими остатками почернѣвшихъ зубовъ, и быстро шевеля губами, какъ кроликъ. Гости сидятъ вокругъ стола на диванѣ и на стульяхъ и, вмѣстѣ съ хозяйкою дома, молоденькою, вертлявою и бойкою брюнеткой, гадаютъ. Гаданье незатѣйливое: на столѣ стоитъ тарелка съ

водой и разложенными по краямъ деньгами, кусочками угля и кирпича и тому подобными предметами. По водѣ плаваетъ скорлупа грецкаго орѣха съ крошечной восковой свѣчкой. Каждый загадавшій ждетъ съ замираніемъ въ сердцѣ, передъ чѣмъ остановится скорлупа: передъ кольцомъ—значитъ, замужъ выйти, передъ деньгами—значитъ, богатой быть, передъ углемъ—значитъ, умереть. Какъ ни просто гаданье, но оно занимаетъ общество, особенно же громко и задушевно смѣются двое дѣтей—мальчикъ лѣтъ девяти и дѣвочка лѣтъ одиннадцати, стоящіе у стола и хлопающіе руками отъ восторга, когда орѣховая скорлупа опрокидывается или упорно остается на серединѣ тарелки и не подплываетъ никуда.

— А что же вы, душечка, Катерина Марковна, не гадаете? Такой сироточкой въ сторонѣ сидите,—нѣжнымъ голоскомъ спросила Марья Петровна, послѣ того, какъ ей вышло предсказаніе «выйти замужъ».

Ея слова были обращены къ дѣвушкѣ лѣтъ тридцати съ небольшимъ, сидѣвшей у рабочаго столика передъ свѣчою и поспѣшно дошивавшей шерстяное платье.

— Мнѣ не о чемъ гадать,—просто и кротко отвѣтила дѣвушка, не отрывая глазъ отъ работы.

— Какъ не о чемъ? Да, вы, душечка, можете обо всемъ гадать... Можетъ-быть, замужъ выйдете...

Дѣвушка улыбнулась.

— Моя пора прошла,—замѣтила она.

— Ахъ, что вы, что вы! Вотъ вы всегда такъ года себѣ прибавляете!—воскликнула Марья Петровна.—Можно, право, подумать, что вы этимъ хотите уколоть кого-нибудь.

— А вы думаете, что мнѣ приноситъ удовольствіе кого-нибудь колоть?—совсѣмъ добродушно и искренно спросила дѣвушка и, поднявъ свою голову, взглянула на Марью Петровну такими ласковыми глазами, что Марья Петровна вдругъ совершенно растаяла и бросилась въ припрыжку ее цѣловать.

— Что вы, что вы! Я такъ, пошутила!—заговорила она, умильно улыбаясь.—Развѣ я васъ не знаю? Вы ангелъ, ангелъ!

— Ну, если бы ангелы такъ выглядѣли, такъ на нихъ не очень-то пріятно было бы смотрѣть,—улыбнулась дѣвушка и снова принялась за шитье.

Она была, дѣйствительно, очень некрасива, хотя ея лицо и дышало свѣжестью и здоровьемъ. Толстыя, неправильно очерченныя губы, широкій, коротенькій носъ, большой ротъ,

все это было грубо,—грубо, какъ ея не по росту широкія плечи, какъ ея большія руки, немного красныя, слишкомъ плоскія, съ коротенькими пальцами. Только волосы этой дѣвушки, свѣтло-русые, гладко зачесанные, были замѣчательно густы и мягки, да прекрасно было выраженіе ея сѣрыхъ большихъ глазъ: откровенность простота и добродушіе свѣтились въ этихъ глазахъ. Она ими и смѣялась, и выражала состраданіе, и высказывала упрекъ. Казалось, все, чего не могли передать ея слишкомъ грубыя, слишкомъ топорныя черты лица, передавалось этими глазами. Природа нерѣдко такимъ образомъ вознаграждаетъ людей за потерю однихъ способностей сильнымъ развитіемъ другихъ.

— И что это вы такъ торопитесь шить, душа моя? Не себѣ ли обновочку?—допрашивала Марья Петровна, разсматривая работу Катерины Марковны.

— Въ самомъ дѣлѣ, Катя, ты бы отдохнула,—замѣтила хозяйка дома, Елизавета Дмитріевна Панова.

— Да я не устала,—отвѣтила Катерина Марковна:—вѣдь скучно же безъ дѣла сидѣть.

— Да, вѣдь ты готова дни и ночи надъ шитьемъ сидѣть,—небрежно проговорила хозяйка.—Нѣтъ, я вотъ совсѣмъ къ этому неспособна. Если бы Катя не была такая трудолюбивая, то я, кажется, осталась бы совсѣмъ безъ платьевъ. Въ городъ рѣдко приходится ѣздить, своихъ швей нѣтъ,—вотъ только она меня и обшиваетъ.

Въ эту минуту вдали начали позванивать колокольчики и бубенчики. Всѣ смолкли, и одна изъ неряхинскихъ барышень даже не рѣшалась придавить положенный между зубами орѣхъ, чтобы не проронить ни одного изъ этихъ едва слышныхъ и заинтересовавшихъ все общество звуковъ. Всѣ ждали, откуда и куда ѣдетъ тройка. Не новые ли гости къ Пановымъ ѣдутъ, и кто это можетъ быть? Наконецъ, звуки стали яснѣе, послышался конскій топотъ. Всѣ бросились къ окнамъ, прильнули лицами къ стекламъ, заслонившись руками съ обѣихъ сторонъ лица отъ комнатнаго свѣта. Мимо оконъ лихо пронеслась тройка и завернула за уголъ дома къ воротамъ.

— Къ вамъ, къ вамъ Пѣтуховы ѣдутъ!—закричали неряхинскія барышни и захлопали въ ладоши.

— А я въ такомъ абилье!—воскликнула сестра матушки-попадьи, натягивая на плоскую грудь полосатый шерстяной платокъ, и застыдилась.

Старшая неряхинская барышня вдругъ залилась неудержимымъ смѣхомъ.

— Чему это вы?—обиженно спросила Марья Петровна.

— Ахъ-ха-ха!.. Ахъ!.. Не могу!..—залилась Луша.

— Это даже очень неделикатно!..

— Охъ, охъ!.. посмотрите, посмотрите!..

— Что же могутъ подумать господа Пѣтуховы?

— Усы... усы... у Души усы!—едва проговорила старшая неряхинская барышня и, махая руками, снова залилась неудержимымъ, звонкимъ смѣхомъ.

Всѣ взглянули на Душу, то-есть на младшую Соковнину, и увидали у нея на верхней губѣ двѣ черныя полосы. Ломая и вертя въ рукахъ уголь во время гаданья, она, должно-быть, провела пальцами по губѣ и оставила на ней эти черныя полосы. Достаточно было замѣтить это дѣтямъ, чтобы ихъ смѣхъ слился со смѣхомъ старшей неряхинской барышни. Хозяйка дома и Катерина Марковна тоже не могли удержаться отъ улыбокъ и только Марья Петровна колко замѣтила, не обращаясь ни къ кому въ особенности.

— Ничего, кажется, нѣтъ смѣшного, если молодая дѣвица и не въ своемъ видѣ! А тутъ еще мужчины!

Мужчины, дѣйствительно, уже входили въ комнату. Это были сосѣди Пановыхъ, два брата Пѣтуховы и гостившій у нихъ на святкахъ гимназистъ Дмитрій Головнинъ. Старшій братъ Пѣтуховъ, Николай, былъ румяный, шарообразный и немного сальный весельчакъ, одѣтый въ просторный потертый пиджакъ и говорившій самъ про себя, что онъ «все въ брюхо растетъ». Младшій братъ Пѣтуховъ, Александръ, былъ строенъ и высокъ, завивалъ свои черные волосы, подкручивалъ тоненькіе усики, носилъ откидные воротнички, открывая тонкую, бѣлую шею съ большимъ кадыкомъ, повязывалъ голубые и красные галстучки, украшался клѣтчатыми жилетами и распространялъ ароматъ не то розоваго масла, не то ванили. Братъ, «росшій въ брюхо», торговалъ лѣсомъ, мѣнялъ лошадей, откармливалъ свиней и про него говорили:

— Сердечный человѣкъ, а ужъ провести, такъ такъ проведетъ, что и на томъ свѣтѣ въ головѣ почешешь.

Младшій братъ все приготовлялъ магистерскую диссертацію и жаловался на множество занятій, совершенно разстраивавшихъ его здоровье, вслѣдствіе чего простенькія провинціальныя барышни звали его «душкой», а болѣе образованныя «Фаустомъ». Гимназистъ, пріѣхавшій съ Пѣтухо-

выми, подавалъ надежду сдѣлаться въ близкомъ будущемъ очень красивымъ молодымъ человѣкомъ, теперь же былъ тощъ, заморенъ, длиненъ, и изъ-подъ обшлаговъ коротенькихъ рукавовъ его мундирчика, изъ котораго онъ сильно выросъ, торчали длинныя и тонкія руки, совсѣмъ посинѣвшія на холоду. Кланяясь, онъ очень неуклюже шаркалъ ногой и при вопросахъ постороннихъ людей, особенно дамъ, сконфуженно откашливался, прежде чѣмъ произнести обычныя «да-съ» или «нѣтъ-съ». Глядя на него, сразу можно было угадать, что онъ провелъ семь или восемь лѣтъ на полномъ пансіонѣ.

— А мы за вами, за вами! — кричалъ еще въ дверяхъ Николай Пѣтуховъ, размахивая на ходу жирными, коротенькими руками. — Возможно ли такъ дѣлать, барынька? Борисъ пріѣхалъ, а вы нѣтъ! Это не по-пріятельски! Прошу покорно, дома гадать изволятъ, а насъ и забыли!..

Онъ говорилъ быстро, немного захлебываясь, и въ то же время пожималъ руки всѣмъ присутствующимъ.

— У меня ребенокъ не такъ здоровъ, не до веселья,— замѣтила хозяйка дома.

— А у меня вотъ и вовсе дѣтей нѣтъ—да я веселюсь,— засмѣялся отъ своей незатѣйливой остроты толстякъ.—Ребенку, барынька, вы не поможете. Вы не докторъ. И не одинъ онъ останется. У него няньки есть.

— Все же безъ меня...

— Да вы, барынька, не отвиливайте.

— Поѣзжай, Лиза! Я останусь, — замѣтила Катерина Марковна.

— Ну, такъ и есть, Катерина Марковна всегда найдетъ предлогъ, чтобы не ѣхать! —сказалъ, махнувъ рукою, толстякъ.

Лизавета Дмитріевна нерѣшительно посмотрѣла на Катерину Марковну; ей очень хотѣлось ѣхать къ сосѣдямъ, и въ то же время она не знала, будетъ ли прилично оставить больного ребенка и притомъ же не родного ребенка, а пасынка.

— Шура уснулъ теперь и, вѣроятно, проснитъ до утра,— промолвила Катерина Марковна, подмѣтивъ нерѣшительность молоденькой женщины.—Я буду съ нимъ. Если ему станетъ хуже, я дамъ знать, тутъ недалеко.

— Я, пожалуй, поѣхала бы, — начала Лизавета Дмитріевна:—только ужъ ты, Катя, побереги его...

— Хорошо, хорошо!

Лизавета Дмитріевна подошла къ Катеринѣ Марковнѣ и, цѣлуя ее, спросила:

— Ты не сердишься, что изъ-за меня останешься дома и не поѣдешь туда?

— Что это ты? Что мнѣ тамъ дѣлать?—съ улыбкой спросила Катерина Марковна и добавила:—Мы вотъ здѣсь съ Марьей Петровной пировать будемъ.

— Да, да, душечка, ужъ я-то васъ не оставлю!—воскликнула Марья Петровна и сочувственно и многозначительно стиснула руку Катерины Марковны, какъ бы желая выразить этимъ рукопожатіемъ, что она сочувствуетъ всѣмъ угнетеннымъ.

Лизавета Дмитріевна еще разъ поцѣловала въ лобъ Катерину Марковну и быстро пошла одѣваться, сопровождаемая Марьей Петровной, любившей помогать своимъ знакомымъ барынямъ при одѣваньи. Это, съ одной стороны, давало ей возможность знать до нитки весь ихъ гардеробъ, а съ другой—доставляло случай хвалить до тѣхъ поръ какой-нибудь подвернувшійся подъ руку платочекъ или воротничокъ, что было бы безбожною жестокостью не отдать этихъ вещей такъ страстно влюбившейся въ нихъ особѣ.

— А вы такъ-таки и не поѣдете?—веселымъ и дружескимъ тономъ допрашивалъ Катерину Маркогну старшій Пѣтуховъ, разводя коротенькими и жирными руками.

— Такъ-таки и не поѣду!—такимъ же тономъ отвѣтила Катерина Марковна.

— И скучать не будете съ церковной крысой?

— И скучать не буду.

— Ну, говорилъ, я и опять говорю, что вы вся въ меня. Я вотъ тоже никогда не видалъ въ лицо скуки. А вѣдь знаете пословицу: кому въ кого родиться, тому на томъ жениться.

— Вотъ я и жду, когда вы посватаетесь.

— Ой, не шутите, а то я и въ самомъ дѣлѣ свататься начну, а тогда ужъ скажете слово, потомъ не воротите.

— А можетъ-быть, я и не захочу его ворочать?

— Ой ли?—спросилъ старшій Пѣтуховъ, и въ его шутливомъ тонѣ послышалось что-то серьезное, что-то недовѣрчивое.

— Право! Только вѣдь вы еще не спросили, какой будетъ отвѣтъ,—засмѣялась Катерина Марковна.

— Вывернулась, вывернулась!—вздохнулъ толстякъ, грозя ей пальцемъ.—Шутница вы, большая шутница!

— Еще бы не быть шутницей передъ лицомъ такого первокласснаго шутника.

— А вы бы хоть разочекъ позабыли, что я шутникъ, да и поговорили бы со мной серьезно.

— А вы развѣ когда-нибудь говорите серьезно?

— А вы какъ объ этомъ своимъ умомъ раскидываете?— спросилъ толстякъ, пристально и не безъ легкой грусти смотря въ ея глаза.—Думаете, что Николай Пѣтуховъ только о бревнахъ, лошадяхъ да свиньяхъ серьезно умѣетъ говорить, что онъ только и родился для того, чтобы на базарной площади всю жизнь проругаться да тамъ и животъ свой положить?

Катерина Марковна, несмотря на всю свою находчивость, не знала, что отвѣчать: продолжать шутить было некстати, говорить серьезно не позволяли ни мѣсто, ни присутствіе постороннихъ лицъ. На выручку къ ней явились неряхинскія барышни; онѣ уже успѣли соскучиться въ обществѣ томно вздыхавшаго младшаго Пѣтухова и потому безъ всякой церемоніи потащили старшаго Пѣтухова къ столу гадать. Этого обстоятельства, повидимому, только и ждалъ гимназистъ, быстро отдѣлившійся отъ группы гадающихъ и подошедшій къ Катеринѣ Марковнѣ.

— А вы опять не ѣдете къ нашимъ! — шопотомъ спросилъ онъ.

— Не ѣду. А что! — ласково взглянула на него Катерина Марковна.

— Я опять скучать буду.

— Тамъ же такъ много гостей, весело будетъ.

— Вы знаете, я такой... такой неуклюжій, — въ смущеніи, краснѣя до ушей, прошепталъ гимназистъ. — Эти неряхинскія барышни и Пѣтуховы вѣчно смѣются такъ громко; мнѣ, право, всегда кажется, что они надо мной смѣются.

— Да вѣдь и при мнѣ они будутъ такъ же громко смѣяться,—улыбнулась Катерина Марковна.

— Что мнѣ за дѣло, смѣются ли надо мной при васъ или нѣтъ,—горячо возразилъ гимназистъ.

— Я и не знала, что я геній, обязанный охранять бодрость вашего духа,—пошутила Катерина Марковна.

— Ну, вотъ!—смѣшался гимназистъ. — Вы все знаете... вы только хотите меня помучить. Тоже начинаете смѣяться надо мной.

— Полноте, Митя! — добродушно замѣтила она и взяла его за руку.—Вы знаете, что я васъ очень люблю.

Эта фраза была сказана просто и искренно: казалось, что ее говорила старшая сестра младшему брату. Но гимназистъ весь вспыхнулъ.

— Гдѣ ужъ любить!—въ волненіи проговорилъ онъ.—Я былъ бы счастливъ, если бы вы только позволяли любить мнѣ васъ... Знаете, я бы теперь, кажется, все, все отдалъ, чтобы остаться здѣсь...

— Какой щедрый: у самого ничего нѣтъ, такъ онъ готовъ все отдать!

— Вотъ вы опять смѣетесь надо мной,—раздражительно сказалъ онъ.—Какъ вамъ не надоѣстъ эта игра въ слова. Вы со мной, точно кошка съ мышонкомъ играете...

— Ахъ, вы сегодня, Митя, изъ рукъ вонъ несносны! Что вы элегію новую написали, что ли?

— Ну да, написалъ! Развѣ я виноватъ, что мнѣ скверно живется, что я не могу не писать?

— Чего вы злитесь? Кто васъ винитъ за писанье элегій? Пишите, у васъ, кажется, есть талантъ, только поменьше жалуйтесь на свою судьбу, а задумывайтесь о судьбѣ другихъ. Ваши огорченія, Митя, право, смѣшны передъ серьезнымъ горемъ другихъ людей.

— Неужели же вы думаете, что я не понимаю этого!—горячо воскликнулъ юноша, и его глаза оживились. — Мнѣ и самому тяжело только потому, что кругомъ всѣ дышатъ такимъ самодовольствіемъ, такъ равнодушно смотрятъ на ближнихъ, такъ грубо оскорбляютъ ихъ. За кого же вы меня считаете, если думаете, что меня тяготятъ только коротенькіе рукава моего мундирчика и моя неуклюжая фигура!

— Митя, Митя, я вовсе этого не думаю,—замѣтила Катерина Марковна серьезнымъ тономъ. — Иначе я васъ не любила бы. Я знаю, что вы добрый и не глупый мальчикъ. У васъ только склонность къ жалкимъ фразамъ и плачевнымъ элегіямъ развита въ ущербъ бодрости и энергіи. И, конечно, коротенькіе рукава мундирчика и неуклюжесть играютъ тутъ нѣкоторую роль, можетъ-быть, даже большую, чѣмъ страданія одной части человѣчества и самодовольствіе другой... Не возражайте, не нѣтушитесь! Байронъ то же мучился незнатностью своего рода и хромой ногой, ну, а вамъ-то и Богъ проститъ эти прегрѣшенія... А элегію-то все-таки оставьте мнѣ.

Юноша и обрадовался, и смутился. Его стихи серьезно читала покуда только одна Катерина Марковна. Онъ очень хорошо зналъ, что она искренно интересуется ими, и это

льстило его самолюбію, сильно развившемуся вслѣдствіе довольно тяжелой жизни и вѣчнаго пребыванія среди чужихъ людей. Вниманіе Катерины Марковны поощряло его продолжать литературныя попытки. Но онъ такъ же зналъ, что Катерина Марковна безпощадно разберетъ каждую написанную имъ строчку, съ свойственнымъ ей юморомъ сдѣлаетъ мѣткія замѣчанія насчетъ обилія слезъ и недостатка искренняго чувства, насчетъ витіеватости фразъ и убожества формы. Обыкновенно послѣ ея критическаго разбора отъ его стихотвореній оставались цѣлыми только заглавіе и подпись.

— Я, право, не знаю,—колебался онъ.—Вы опять станете доказывать, что у меня нѣтъ никакихъ способностей и что я ни на что не гожусь...

— Когда же это я вамъ доказывала, Митя? Вы знаете, что я наизусть помню двѣ строфы изъ вашихъ послѣднихъ пятнадцати элегій.

— Двѣ строфы! И вы говорите, что вы не смѣетесь надо мной!

— А ужъ не думаете ли вы, что я стану заучивать наизусть стихи въ родѣ вашего «воззванія къ человѣчеству»:

Очнись, погрязнувшій въ порокѣ,
Пустой и жалкій родъ людской!
Тебѣ я шлю...

— Полноте, полноте, Катерина Марковна,—захохоталъ юноша.—Вѣдь я самъ теперь понимаю, что это пошлость.

Въ эту минуту въ комнату появилась Лизавета Дмитріевна, совсѣмъ одѣтая, даже въ шубкѣ и башлыкѣ. Неряхинскія барышни заметались изъ стороны въ сторону, наскоро прощаясь съ Катериной Марковной и Марьей Петровной, звонко цѣлуя ихъ на ходу и спѣша надѣть платки, башлыки, шубки. Произошло нѣкоторое смятеніе, возгласы о забытыхъ носовыхъ платкахъ, столкновеніе носомъ къ носу суетившихся лицъ, наступаніе другъ другу на ноги, шумный говоръ, изъ котораго никто не слыхалъ и не понималъ ни слова, и, наконецъ, тройка сытыхъ лошадей, звонко ударяя копытами о мерзлую землю и позванивая колокольчиками и бубенцами, рванулась съ мѣста и пронеслась мимо оконъ дома, взметая мелкій бѣлый снѣгъ.

— Уѣхали!—вздохнула Марья Петровна, прильнувъ лицомъ къ стеклу.—Какъ на пожаръ, скачутъ, того и гляди, что въ снѣгъ вывалятся. Точно поросята набились въ сани. Другъ на другѣ сидятъ.

— Я вотъ тоже люблю быструю ѣзду, — сказала Катерина Марковна, чтобы прекратить нѣсколько ехидныя замѣчанія Марьи Петровны.

— Да, любите, а приходится поневолѣ дома сидѣть!

— Мнѣ никто не мѣшаетъ ѣздить, куда я хочу.

— Не мѣшаетъ, душечка, не мѣшаетъ, а поневолѣ приходится дома сидѣть, когда другія-то рыщутъ отъ больныхъ дѣтей... Тоже не ваше бы дѣло, ангелъ мой, съ чужими дѣтьми нянчиться.

— Развѣ они мнѣ чужія?

Катерина Марковна подняла голову и обратила къ гадавшимъ у стола дѣтямъ свои глаза, полные выраженія самой теплой, самой искренней любви. Она встала и подошла къ дѣтямъ той своеобразною походкою, какою ходила во всемъ домѣ только она одна: Катерина Марковна ходила, не торопясь, не переваливаясь, держа прямо свой полный, но стройный дѣвственный станъ, почти неслышно касаясь пола своими довольно крупными, но красивыми ногами. Она ласково положила свои руки на плечи дѣтей и спросила:

— Нагадались?

— Тетя Катя, мнѣ богатство вышло, — сказалъ мальчуганъ.

— А мнѣ, тетя Катя, ничего не вышло,—вздохнула дѣвочка.

— Сонъ долженъ бы выйти тебѣ, Мима, потому что теперь можно напиться чаю и спать, — тихо замѣтила Катерина Марковна.—Взгляните, какъ она и Костя похожи на мою покойную сестру, — сказала она, указывая Марьѣ Петровнѣ на дѣтей.—А вы говорите, что они мнѣ чужія!

Катерина Марковна вздохнула и пошла отъ стола, обнявъ дѣтей.

— Пойдемте пить чай,—пригласила она Марью Петровну.

— Вы ангелъ, ангелъ! Вы имъ мать, а не кто-нибудь другой, васъ они должны почитать и любить...

— А развѣ вы думаете, что они меня не любятъ?—улыбнулась Катерина Марковна и обратилась къ дѣтямъ съ вопросомъ:—Любите?

Дѣти крѣпко обняли тетку и звонко поцѣловали ее.

— И должны, и должны любить, душечки!—жалобно проговорила Марья Петровна.—И дай Богъ, чтобы и подъ старость холили и лелѣяли свою тетю, свою вторую мать, чтобы хоть на старости лѣтъ она ихъ любовью была счастлива.

— Я и теперь вполнѣ счастлива!

— И, душечка, какое же это счастье! Ну, нужны вы, не могутъ безъ васъ обойтись, вотъ васъ и ласкаютъ, и берегутъ.

— Въ этомъ-то и есть мое счастье, что я нужна, что я полезна кому-нибудь, что я не лишняя.

Всѣ усѣлись къ чайному столу.

— Да, а не будете полезны и станутъ помыкать вами, станутъ ломаться надъ вами, станутъ издѣваться надъ вами... Я, душечка, это не объ васъ собственно говорю, а вообще по человѣчеству такъ бываетъ... Ужъ можетъ ли быть человѣкъ счастливъ, если у него своей семьи нѣтъ? Въ своей-то семьѣ—худъ ли, хорошъ ли, нуженъ или не нуженъ человѣкъ, а все его держатъ и уважаютъ дѣти и младшіе, потому законъ такой. А въ чужой?.. Сама я живу у чужихъ! Отецъ Матвѣй, конечно, человѣкъ добрый, но необразованный и притомъ, знаете, это на него находитъ полоса такая, пьетъ онъ запоемъ. Разумѣется, въ обыкновенное время онъ меня всячески уважаетъ, потому что онъ понимаетъ, что мы съ сестрицей не такое воспитаніе, какъ онъ, получили. Зато ужъ во время запоя... Господи! вы, душечка, даже и предположить, и вообразить себѣ не можете, какія слова у иныхъ людей есть! То-есть самыя такія преобидныя. И такъ какъ я дѣвица, то мнѣ даже этихъ словъ не то что понимать, а и слышать-то не слѣдовало бы... И все это я еще стерпѣла бы, потому что чего же отъ человѣка не въ своемъ видѣ требовать, если бы не сестрица... Она, она мою кровь пьетъ, она меня сушитъ! Сестрица моя, конечно, женщина умная; конечно, ее огорчаетъ, что она въ деревнѣ должна среди мужиковъ-лапотниковъ въ забвеніи изнывать; но мнѣ-то каково ея нападки терпѣть. Отецъ Матвѣй вотъ рыбу уйдетъ ловить лѣтомъ, по цѣлымъ днямъ на бережку сидитъ, удитъ и канты поетъ,—ему и хорошо; зимой тоже онъ либо въ разъѣздахъ, либо въ забвеніи чувствъ находится,—а я все одна съ сестрицей, все одна. Нужда придетъ—меня попрекаютъ, на меня сестрица накидывается; неряхинскимъ барышнямъ обновы привезутъ—меня сестрица пилить начинаетъ; дѣти надоѣдать станутъ... Да что ужъ говорить!.. То-есть я словно урна какая-то передъ сестрицей. Ей-Богу, а развѣ я виновата, что въ нашемъ сословіи недостатки и дѣти! Вѣдь ужъ я тутъ ничѣмъ не виновата. Я тоже помочь, облегчить стараюсь...

— Да, ваше положеніе не веселое,—вздохнувъ, замѣтила Катерина Марковна, задумчиво помѣшивая ложечкой въ чайной чашкѣ и опустивъ голову на ладонь лѣвой руки.

— Ужъ какое веселье, какое веселье, душечка!—глубоко вздохнула Марья Петровна. — И можетъ ли веселье быть, если все изъ чужихъ рукъ смотришь. Только въ замужествѣ нашей сестрѣ и спасенье. А такъ-то мы что: насѣдки на чужомъ гнѣздѣ.

— При чемъ же тутъ замужество, Марья Петровна?—замѣтила Катерина Марковна. — Вотъ вы сами же говорите, что и сестра ваша несчастлива, а вѣдь она замужемъ. Нужда тутъ во всемъ виновата.

— Это, конечно, нужда хоть кого сломитъ. Но все же, душечка, сестрица не въ примѣръ счастливѣе меня. У нея дѣти, она на нихъ хоть злобу сорветъ, ну, и подъ старость кормильцы и поильцы будутъ. А у меня кто?

— Ну, Богъ съ нимъ, съ такимъ счастьемъ, — махнула рукою Катерина Марковна. — Уже лучше черствый хлѣбъ ѣсть, чѣмъ дѣтей по рукамъ и ногамъ связывать, заѣдая ихъ жизнь на старости... Дѣти, не пора ли вамъ спать?— обратилась она къ дремавшимъ дѣтямъ.

Они встали, Марья Петровна тоже поднялась съ мѣста.

— Вы вѣдь у насъ ночуете, — сказала Катерина Марковна.—Въ моей комнатѣ на диванѣ постлана постель...

— Не надо ли вамъ помочь дѣтей уложить?—услужливо спросила Марья Петровна.

— Нѣтъ, тамъ вѣдь нянька есть.

Марья Петровна перецѣловала обоихъ дѣтей и Катерину Марковну и удалилась спать. Дѣти въ сопровожденіи тетки пошли въ дѣтскую и быстро улеглись спать. Катерина Марковна отпустила изъ дѣтской няньку, подошла къ спавшему больному ребенку, посмотрѣла на него, пощупала осторожно его лобъ, помѣстилась около его постельки въ большое кресло, заслонила абажуромъ лампу, чтобы ея свѣтъ не мѣшалъ дѣтямъ, и раскрыла книгу. Невозмутимымъ спокойствіемъ дышала каждая черта ея лица и вся ея фигура. Въ эту минуту она казалась даже красивою: ея губы казались не такими толстыми, ротъ не такимъ большимъ, а въ глазахъ отражалось столько доброты и душевнаго покоя, и отъ всего ея существа вѣяло дѣвственнымъ здоровьемъ. Но проходили минуты за минутами, а Катерина Марковна не переворачивала страницы, точно этой страницѣ не было и конца. Наконецъ, она выпустила изъ рукъ на колѣни книгу и откинулась къ спинкѣ кресла.

— Насѣдка на чужомъ гнѣздѣ... Когда захотятъ, тогда

и выгонять, — тихо прошептала она, обводя глазами мирную и уютную дѣтскую.

— Нѣтъ, нѣтъ, это неправда... И развѣ я виновата, что я не могу свить своего гнѣзда? За что же меня наказывать?.. И съ чего я растосковалась? Мнѣ такъ хорошо, такъ уютно... Ахъ, эта Марья Петровна вѣчно съехидничаетъ... Бѣдная, бѣдная, тяжело ей жить...

Она вздохнула и принялась за чтеніе и еще спокойнѣе, еще свѣтлѣе стало выраженіе ея лица.

II.

Катерина Марковна Коханова жила въ домѣ Пановыхъ съ того времени, какъ у нея умерла мать. А это случилось лѣтъ десять тому назадъ.

Катерина Марковна не могла не перебраться къ своей двоюродной сестрѣ изъ своего стараго гнѣзда, изъ маленькаго помѣщичьяго дома въ деревнѣ Липовкѣ, гдѣ она жила прежде съ матерью, потому что Катерина Марковна была по натурѣ «насѣдка». Ей непремѣнно нужно было за кѣмъ-нибудь ходить, кого-нибудь прятать подъ свое крыло, кого-нибудь защищать. Эту черту характера она унаслѣдовала отъ матери, вѣчно волновавшейся даже безъ всякой видимой причины за участь своихъ «цыплятъ» и упрашивавшей смотрѣть за ними не только нянекъ и горничныхъ, но даже старосту Михѣя. Бесѣдуя съ нимъ о хозяйствѣ, старушка постоянно кончала разговоръ просьбой присмотрѣть за барышнями, «потому что не ровенъ часъ, что-нибудь случиться можетъ». Михѣй глубокомысленно соглашался съ барыней, что «точно не ровенъ часъ», и прибавлялъ къ этому: «ужъ вы не сумлевайтесь, матушка-барыня», хотя трудно было сказать, что могъ бы онъ сдѣлать, если бы этотъ роковой «часъ» дѣйствительно насталъ. Катерина Марковна вышла такой же «насѣдкой», и это уже можно было предсказать ей съ дѣтства, видя, какъ усердно она няньчится съ котятами, со щенками, съ куклами. Какъ ея мать няньчилась со своими дѣтьми — дочерью и племянницей, пока тѣ были малы, такъ Катерина Марковна няньчилась съ нею, когда та состарилась. Когда мать умерла, Катерина Марковна затосковала въ своемъ опустѣломъ домѣ, и ее потянуло въ домъ двоюродной сестры, няньчиться съ дѣтьми этой сестры. Это было тѣмъ болѣе кстати, что Панова уже начинала прихварывать и не могла одна справиться съ ребятишками. Не прошло и года послѣ пе-

реселенія Катерины Марковны въ домъ Пановыхъ, какъ она сдѣлалась въ немъ необходимымъ лицомъ. Тетя Катя должна была и за хозяйствомъ присмотрѣть, тетя Катя должна была и старшую дочь Пановыхъ свезти въ институтъ, тетя Катя должна была и бѣлье дѣтей пересмотрѣть, и уроки ихъ прослушать. Однимъ словомъ, безъ тети Кати шагу въ домѣ не дѣлалось. И всѣмъ — и прежде всего самой Катеринѣ Марковнѣ — это казалось вполнѣ естественнымъ и понятнымъ, такъ какъ вѣдь тетя Катя была «незамужница». Кто первый произнесъ надъ ней этотъ роковой приговоръ — это трудно сказать, вѣроятно, она сама, потому что она не иначе называла себя, какъ «дурнушкой», не безъ юмора подтрунивая надъ своими недостатками. Но какъ бы то ни было, это высказывали всѣ, никогда не задумываясь надъ вопросомъ: «да почему же она незамужница?» Правда, влюбиться въ нее было трудно, но полюбить ее было легко уже потому, что она сама была воплощенная любовь.

Когда Панова умерла, Катерина Марковна сдѣлалась еще болѣе необходимой въ домѣ Панова. Борисъ Васильевичъ Пановъ былъ изъ числа «байбаковъ». Плотный, статный, здоровый, еще очень красивый собой, онъ давно поселился въ своей деревнѣ послѣ неудавшейся карьеры въ столицѣ и не то облѣнился, не то опустился. Онъ съ ироніей говорилъ о разныхъ карьеристахъ, онъ насмѣшливо относился ко всякимъ широкимъ замысламъ, онъ немножко будировалъ противъ всѣхъ, кому бабушка ворожитъ или кто лбомъ стѣну прошибаетъ. Подъ маской наружнаго спокойствія и апатіи у него постоянно проглядывалъ какой-то червячокъ неудовлетвореннаго самолюбія, разбитыхъ надеждъ, недовольства судьбою. Въ его нападкахъ на удачниковъ, на карьеристовъ слышалась желчная жалоба, что его не признали, не поняли, не оцѣнили. Почему это случилось — этого никто не зналъ; можетъ-быть, это случилось просто потому, что онъ самъ цѣнилъ себя выше своей дѣйствительной стоимости. Но какъ бы то ни было, онъ винилъ не себя, а другихъ, и не нашелъ лучшаго средства для отплаты за уязвленное самолюбіе, какъ разлѣниться и сложить руки. Къ хозяйству онъ относился болѣе чѣмъ равнодушно и меньше сидѣлъ надъ счетами, чѣмъ надъ новыми книжками журналовъ и новыми нумерами газетъ, гдѣ нерѣдко встрѣчались его лаконическія замѣтки: «всѣ мы государствами на словахъ ворочаемъ»; а «кварталь-

наго-то забыли?», «попробуйте-ка, суньте-ка носъ!», «эхъ, вы, борцы на перьяхъ!» и т. д. Иногда лежа съ книгой въ рукахъ, онъ оставался почти весь день въ своемъ кабинетѣ, неохотно поднимаясь даже къ обѣду или къ чаю. Послѣ смерти жены онъ почувствовалъ бы себя еще болѣе одинокимъ, если бы волей-неволей ему не пришлось теперь чаще сталкиваться съ Катериной Марковной. Она приходила къ нему говорить о хозяйствѣ, совѣтоваться о дѣтяхъ.

— Какъ тебѣ, Катя, это все не надоѣстъ!—говорилъ онъ ей, лѣниво позѣвывая.

— Вообрази, Борисъ, что это точно мнѣ надоѣстъ, — отвѣчала она съ улыбкой: — и въ одинъ прекрасный день мы всѣ останемся и безъ чаю, и безъ обѣда, и даже—увы!— въ костюмахъ нашихъ прародителей. Мило будетъ?

Потомъ она прибавила:

— Нѣтъ, я вотъ тебѣ удивляюсь, какъ тебѣ не надоѣстъ вѣчно лежать съ этими книгами...

— А ты врагъ книгъ?

— Не такой, какъ ты, но...

— Да развѣ я врагъ книгъ?—не безъ удивленія перебивалъ ее Борисъ Васильевичъ.

— Да какъ же. Я читала твои замѣтки въ журналахъ. Ты ничему не вѣришь, что тамъ пишутъ. Зачѣмъ же и читать?

— А ты вѣришь?

— Нѣтъ, тоже не вѣрю по бо́льшей части. Но зато я и не читаю запоемъ, какъ ты, всего безъ разбора. На это времени много празднаго нужно, а у меня его нѣтъ.

— Охота же тебѣ все самой дѣлать... Вотъ ты даже иногда мужскіе сапоги носишь, чтобы удобнѣе ходить по ледникамъ и кладовымъ.

Она засмѣялась.

— А самолюбіе-то у меня на что? Теперь я знаю, что безъ тети Кати никто шагу ступить не умѣетъ, а брось я все—о тетѣ Катѣ никто и не вспомнитъ.

— Какъ обо мнѣ?—спросилъ Пановъ не безъ желчи.

Она пожала плечами.

— Понимаешь это и все же ничего не дѣлаешь, когда могъ бы быть первымъ въ краѣ,—сказала она.

— Гдѣ намъ!—съ ироніей отвѣтилъ онъ, махнувъ рукою.

— Полно, Борисъ! Ты самъ очень хорошо знаешь, что ты головой выше разныхъ Пѣтуховыхъ, Соковниныхъ.. Впрочемъ, я не вѣрно выразилась! Ты могъ бы быть голо вой выше ихъ, а теперь... теперь они на каждомъ шаг

обманываютъ да обсчитываютъ тебя, подсмѣиваясь, какъ надъ простачкомъ... Этого ты уже успѣлъ добиться. Посмотримъ, чего еще добьешься года черезъ четыре такой жизни.

Иногда она выводила Панова изъ терпѣнія, не безъ юмора, съ неподражаемой серьезностью утверждая, что бездѣятельная и праздная жизнь превосходна, что это и есть идеалъ всѣхъ истинно умныхъ людей.

— Я вотъ сама чувствую, что надо мнѣ на отдыхъ уѣхать, въ Липовку забраться, — говорила она. — Я все больше и больше сознаю, что ты правъ, что вся эта вѣчная возня и суета ни къ чему не ведутъ. Заботишься все о разныхъ пустякахъ, объ обѣдахъ, да тряпкахъ, а что пользы? Только на мелочь размѣняешься, да характеръ испортишь...

Пановъ чувствовалъ, что она смѣется надъ нимъ, и въ то же время не могъ спорить съ нею. Разъ онъ попробовалъ замѣтить ей, что безъ этихъ мелкихъ заботъ все же не проживешь, но она очень наивнымъ тономъ спросила его:

— А вотъ ты прожилъ же?

— Ну... я...—началъ Пановъ и не кончилъ фразы.

Порой она измѣняла свою тактику. Она горячо и настойчиво уговаривала его взяться за дѣло, доказывая ему, что ему-то стыдно зарывать свои способности.

— Что же мудренаго, что у насъ многое идетъ дурно, когда множество людей, подобныхъ тебѣ, умныхъ, добрыхъ и честныхъ, устраняются отъ должностей,—говорила она.— Вѣдь это просто преступленіе передъ обществомъ, это какое-то нравственное самоубійство! И за что ты казнишь себя?

— Какъ казню?

— Ну да! Вѣдь тебя мучитъ твое бездѣйствіе? тебя мучитъ неудовлетворенное самолюбіе? Я вѣдь это читаю въ каждой твоей фразѣ, въ выраженіи твоего лица. Да иначе и быть не можетъ. Если бы я не видала, не чувствовала, что ты мучишься своимъ бездѣйствіемъ, я, право, перестала бы тебя уважать...

Пановъ смотрѣтъ на ея раскраснѣвшееся лицо, на ея блестящіе глаза и думалъ:

«Какъ жаль, что она такъ дурна собою!»

Мѣсяца за два передъ земскими выборами онъ какъ будто оживился. Къ нему завернули нѣкоторые изъ сосѣдей помѣщиковъ, подталкивая его на дѣло. Катерина Марковна очень усердно держала ихъ сторону и подзадаривала его. Наконецъ, онъ объявилъ ей, что онъ рѣшился самымъ

дѣятельнымъ образомъ провалить на выборахъ нѣсколько лицъ и поддержать другихъ. Эта агитація по выборамъ стала казаться ему и занимательной, и необходимой по многимъ причинамъ и объ этихъ-то причинахъ онъ подолгу сталъ бесѣдовать теперь съ Катериной Марковной. Онъ говорилъ даже, что онъ самъ былъ не прочь принять на себя какую-нибудь должность по выборамъ, и въ то же время началъ распространяться о необходимости посерьезнѣе заняться хозяйствомъ.

— Ты, Катя, меня совсѣмъ въ дѣятели превратила, — ласково проговорилъ онъ однажды, цѣлуя ее въ лобъ.

Катерина Марковна только покраснѣла. Онъ былъ удивительно мужественъ и красивъ, когда оживлялся... Когда настали дни выборовъ, онъ уѣхалъ въ городъ. Городская жизнь, столкновенія съ земцами, борьба и интриги, все это вдругъ встряхнуло и разбудило его. Давно онъ не чувствовалъ себя такимъ молодымъ и бодрымъ, какъ теперь. Онъ даже сильно приволокнулся за одной изъ помѣщичьихъ дочерей, смазливой брюнеточкой, не на шутку закокетничавшей съ нимъ. Выборы были удачны. Побѣда осталась за той партіей, къ которой примкнулъ Пановъ. Онъ чувствовалъ, что партія обязана этой побѣдой въ сильной степени ему. Какъ человѣкъ, недурно образованный и много читавшій, онъ загонялъ своихъ враговъ мѣткими нападками и горячими рѣчами. Самого его выбрали въ почетные мировые судьи. Онъ вернулся домой, веселый, сіяющій, оживленный. Перецѣловавъ дѣтей и обнявъ Катерину Марковну, онъ сталъ горячо разсказывать ей о выборахъ.

Она вся сіяла, слушая его и сознавая, что это она пробудила къ жизни дремавшую силу. Впервые Пановъ показался ей не только симпатичнымъ человѣкомъ, но просто красавцемъ. Онъ былъ уже далеко не юношею, но именно это-то и придавало такую законченность и цѣльность всему его существу, формамъ его тѣла, чертамъ лица, выраженію физіономіи. Отъ него вѣяло силой и здоровьемъ.

Наконецъ, онъ весело замѣтилъ ей:

— А я, Катя, влюбился! Жениться думаю!

Это было такъ неожиданно, что она даже смутилась.

— Что-жъ, и прекрасно. Ты еще молодъ... — коротко и отрывисто проговорила она.

— Это не будетъ тебѣ непріятно?

— Почему же?.. Нельзя же тебѣ весь вѣкъ такъ жить...

У нея точно что-то перехватывало духъ.

— А если вы не сойдетесь характерами?

— Ну, что-жъ... Уѣду въ Липовку.

— Уѣдешь?—спросилъ онъ тревожно и съ испугомъ.

— Разумѣется. Не ссориться же мнѣ съ твоей женою. Я чужая...

— Ты чужая?—горячо воскликнулъ онъ.—Ты чужая?.. Его глаза сверкнули какимъ-то огонькомъ.

— Да развѣ ты не понимаешь, что ты здѣсь все! — добавилъ онъ.

— Теперь... Но тогда все будетъ она, а не я,—сказала Катерина Марковна.

У нея сильно щемило сердце.

— Никогда, никогда! Лиза Дурасова почти дѣвочка, милая вертушка, смазливая рожица — и только!— проговорилъ онъ.—А ты...

Онъ ласково взялъ ее за руки и притянулъ къ себѣ. Она испуганно вздрогнула.

— Неужели ты не понимаешь, что ты нужна здѣсь и мнѣ, и дѣтямъ...

Она немного отстранилась отъ него, точно онъ брызнулъ на нее холодной водой. Она провела рукой по лбу и засмѣялась страннымъ горькимъ смѣхомъ:

— Да, да, нужна и тебѣ, и дѣтямъ!—проговорила она.— Разумѣется... разумѣется... я это понимаю... Я постараюсь поладить съ твоею женою...

Она повернула къ нему лицо, и въ ея глазахъ было выраженіе ироніи.

— Такъ ты говоришь, что эта... какъ ты ее назвалъ: Лиза Дурасова?.. смазливая рожица и только?—спросила она.

— Ну, да! Милая вертушка, наивная болтунья,—сказалъ онъ.—Гдѣ ей домомъ управлять!.. Нѣтъ, она лишній цыпленокъ подъ твоимъ крылышкомъ будетъ... Ты и ее сумѣешь пригрѣть, моя добрая...

Онъ опять хотѣлъ притянуть ее къ себѣ, но она отстранилась.

— Полно! — проговорила она съ легкимъ оттѣнкомъ досады.—Тебѣ теперь надо отучаться отъ этихъ нѣжностей, а то молодая жена приревнуетъ.

— Къ тебѣ-то? —съ удивленіемъ сказалъ онъ и вдругъ, точно спохватившись, прибавилъ: — Наши же отношенія чисто братскія!

Не прошло и минуты, какъ онъ уже серьезно сталъ толковать о дѣлахъ. Что нужно приготовить, если онъ точно

женится? Не надо ли реставрировать бѣлье? Гдѣ и какъ устроить спальню? Пожалуй, придется выписать изъ Москвы двѣ односпальныя кровати, такъ какъ не хотѣлось бы ставить въ спальню ту кровать, которая служила ему при первой женѣ? Ему очень тяжелы всѣ эти воспоминанія. Они главнымъ образомъ удерживаютъ отъ второго брака...

— Ты понимаешь, надо все новое, чтобы не было этихъ воспоминаній, — сказалъ онъ, грустно вздыхая. — Мы еще обсудимъ все это какъ-нибудь съ тобою. Ты вѣдь моя руководительница и главный мой совѣтникъ.

— Хорошо,—отвѣтила она коротко.

У нея перехватывало духъ.

Она прошла въ свою комнату, присѣла къ окну и стала безцѣльно смотрѣть въ пространство. Она ни о чемъ не думала, ничего не понимала, что съ ней дѣлается. Въ головѣ была какая-то пустота, точно она что то потеряла. Что?—она этого и сама не знала. Она даже не замѣчала, что изъ ея глазъ градомъ лились слезы. Потомъ, какъ бы замѣтивъ ихъ внезапно, она раздражительно пожала плечами, отерла лицо и проговорила:

— Да развѣ я и надѣялась на что-нибудь другое?.. Развѣ я могла надѣяться на что-нибудь?.. Развѣ я не предвидѣла, что это когда-нибудь случится?.. Но на мнѣ же ему было жениться!..

Она съ горькой иронической улыбкой взглянула на свое отраженіе въ зеркалѣ и опять пожала плечами.

— Особенно красива теперь, съ этимъ покраснѣвшимъ носомъ и подпухшими глазами!..

Она ненавидѣла, презирала себя въ эту минуту...

Она налила воды въ рукомойникъ и стала усердно умывать лицо...

Вечеромъ она насильно переломила себя, и уже сама начала разговоръ о свадьбѣ Панова. Она входила во всѣ мелочи, не забыла никакихъ подробностей. Всѣ хлопоты по передѣлкѣ квартиры, по приготовленію бѣлья она взяла на себя. Она точно хотѣла за что-то наказать себя, взявъ на себя исполненіе этой трудной задачи подготовленія гнѣзда для другой женщины. Когда, по прошествіи двухъ-трехъ мѣсяцевъ, Пановъ вошелъ въ комнату, долженствовавшую съ завтрашняго дня служить спальнею ему и его женѣ, онъ пришелъ въ восторгъ отъ убранства этой комнаты и обнялъ Катерину Марковну.

— Спасибо тебѣ, моя добрая,—сказалъ онъ ей.

— Ну, ты теперь вполнѣ доволенъ?—проговорила она.

— О, еще бы!—отвѣтилъ онъ, цѣлуя ея руки.

— Дай Богъ, чтобы она стоила тебя!—сказала Катерина Марковна и поцѣловала его въ лобъ, какъ цѣлуетъ мать избалованнаго ею, прихотничающаго ребенка.

«Молодая» тоже осталась всѣмъ довольна, поселившись въ домѣ Панова, гдѣ она порхала, какъ птичка, безъ умолку болтая всякіе пустяки и глупости. Оставшись наединѣ съ мужемъ, она замѣтила ему среди поцѣлуевъ:

— Прежде, когда ты мнѣ говорилъ, что у твоей Кати золотое сердце, я ревновала тебя къ ней. А теперь, когда я ее увидала...

Она оборвала фразу и засмѣялась.

— Къ такимъ носамъ не ревнуютъ, птичка? Да?—спросилъ онъ ее, заглядывая ей въ плутовскіе глаза.

— А что за руки, что за ноги!—сказала Елизавета Дмитріевна и выставила свою ножку. — Изъ одной двѣ такія выйдутъ.

Онъ опустился передъ ней на колѣни и сталъ цѣловать ея руки...

Катерина Марковна не спала въ эту ночь и все думала, окажется ли достойной его эта молоденькая вертушка, будетъ ли онъ съ нею счастливъ? А слезы, непрошенныя, досаждающія слезы такъ и лились, и лились изъ глазъ.

Съ слѣдующаго дня въ домѣ все пошло по-старому. Въ немъ только прибавилось однимъ лицемъ, говорившимъ съ надутыми по-дѣтски губками: «Катя, у меня кружево у манишки отпоролось!.. Катя, я разорвала вчера платье!.. Катя, налей мнѣ чаю!..» Да прибавилось число поцѣлуевъ, расточаемыхъ Катеринѣ Марковнѣ, когда она подшивала кружево, зашивала платье, наливала чай капризничающему ребенку.

Катерина Марковна не только не чувствовала себя менѣе прежняго счастливой, но даже была счастливѣе прежняго. Пановъ послѣ женитьбы какъ будто помолодѣлъ, ему понадобилась дѣятельность, онъ сталъ чаще выѣзжать, онъ сталъ усерднѣе хозяйничать. Откуда бы онъ ни возвращался, онъ шелъ къ Катеринѣ Марковнѣ и по цѣлымъ часамъ бесѣдовалъ съ ней о дѣлахъ, о сосѣдяхъ, о новостяхъ дня.

— Мнѣ надо идти по хозяйству распорядиться,—иногда говорила она ему въ этихъ случаяхъ.

— Брось, Катя, все, и дай отвести съ тобой душу,—останавливалъ онъ ее.

И они толковали, острили, смѣялись. Казалось, у нихъ никогда не истощатся темы для разговоровъ. Наконецъ, она настойчиво прогоняла его къ женѣ. Онъ шутливо замѣчалъ, что его жена, вѣроятно, давно уже спитъ.

Иногда, когда онъ отлучался на нѣсколько дней въ городъ, Елизавета Дмитріевна, забравшись съ ногами на кушетку, по цѣлымъ днямъ просиживала безъ дѣла, не то читая, не то дремля, какъ свернувшаяся въ клубокъ кошечка.

— Ахъ, Катя, какая здѣсь скука!—говорила она, вздыхая.

— Вотъ Борисъ завтра пріѣдетъ,—утѣшала ее Катерина Марковна.

— Да и при немъ то же!—возражала молодая женщина, надувая губки.—Я не знаю, какъ ты можешь говорить съ нимъ по цѣлымъ часамъ. О чемъ? О дѣлахъ, о сосѣдяхъ, о земствѣ! Тоска!

— Это потому, что ты ничего не дѣлаешь, Лиза,—замѣчала Катерина Марковна.

— Да что же дѣлать? Ты всѣмъ распоряжаешься...

— Если хочешь, я уступлю тебѣ свое мѣсто...

— Ахъ, нѣтъ, нѣтъ! Ради Бога!..—съ испугомъ говорила Елизавета Дмитріевна.—Ты привыкла къ этому, а я... Вотъ у тебя какія руки стали отъ хозяйства... Тоже сапоги ты надѣваешь, чтобъ по кладовымъ и ледникамъ бѣгать.

Она вдругъ начинала шаловливо смѣяться...

— Я иногда просто думаю, что ты мужчина въ юбкѣ... Право!... Да можетъ-быть, ты и точно мужчина... Вотъ ты и говоришь, какъ мужчина, о дѣлахъ, серьезно... «Нужно расширить права земства, иначе ничего не выйдетъ»... Какія такія права? Я даже не знаю, есть ли какія-нибудь права у земства!.. Нѣтъ, женщина должна быть мягче. идеальнѣе, поэтичнѣе... она должна жить для любви...

Катерина Марковна усмѣхалась.

— Вотъ погоди, я влюблюсь и выйду замужъ...

— Ну, гдѣ же, Катя... Твоя пора прошла...

Елизавета Дмитріевна говорила это такимъ же тономъ, какъ говорятъ человѣку самыя пріятныя для него вещи.

— Разумѣется, если бы ты была богата, тогда дѣло другое,—продолжала она такъ же невозмутимо спокойно.—Женщинѣ вѣдь нужно имѣть или красоту, или богатство, чтобы сдѣлать партію. Это очень грустно, но это такъ...

Катерина Марковна молчала. Ей даже въ голову не приходило желаніе сказать Пановой, что дѣйствительно

даже дуры находятъ умныхъ мужей, если онѣ красивы. Порой Елизавета Дмитріевна дулась на Екатерину Марковну по цѣлымъ днямъ за то, что Борисъ Васильевичъ наканунѣ опять засидѣлся за полночь съ нею, съ Катериной Марковной.

— Право, такимъ дѣловымъ людямъ, какъ Борисъ, и жениться не слѣдуетъ,—жаловалась она Марьѣ Петровнѣ Крестовоздвиженской при Катеринѣ Марковнѣ. — Имъ не жена нужна, а секретарь въ юбкѣ. Я иногда по недѣлямъ не слышу отъ мужа ни одного слова, не встрѣчаю ни одной ласки.

— Ахъ, ангелъ, ангелъ, какое это неглиже съ его стороны! — сочувственно отзывалась Марья Петровна.—Такую птичку, какъ вы, моя щебетунья, оставлять въ забвеніи...

— Умныхъ разговоровъ я не умѣю вести!

— Да развѣ для умныхъ разговоровъ, мой ангелочекъ, мужчины-то женятся? Совсѣмъ даже напротивъ! совсѣмъ напротивъ!

— А у насъ, вѣрно, для этого только и женились!

Потомъ, когда Катерина Марковна выходила изъ комнаты, Елизавета Дмитріевна начинала жаловаться на нее, говоря, что она силой удерживаетъ у себя Бориса Васильевича.

— Конечно, она такъ дурна собою, что ей уже не на что надѣяться... Вотъ она и завладѣваетъ чужими мужьями и разными мальчиками... Вы не замѣтили, какъ она за Митей Головнинымъ ухаживаетъ?.. Вѣдь онъ ей въ сыновья годится, а она...

Елизавета Дмитріевна заливалась смѣхомъ.

— Сорочки ему шьетъ и сама примѣряетъ,—проговорила она.

— Дѣвица-то? Ахъ, страсти какія!—въ ужасѣ всплеснула руками Марья Петровна.

— Какъ же! Все же мужчина!

Потомъ Елизавета Дмитріевна принимала серьезный видъ и говорила:

— Это неприлично просто, но еще покуда ничего. А какой примѣръ будетъ для Оли, когда та нынче весной выйдетъ изъ института? Вѣдь ухаживаній Катерины Марковны за Митей нельзя не замѣтить! Это въ глаза бросается!

— Что говорить, что говорить! — соглашалась Марья Петровна. — Мораль на весь домъ пойдетъ! То-то я замѣ-

чала, что онъ иногда на нее фыркаетъ... Она это станетъ ему что-нибудь, а онъ фыркъ да фыркъ!.. Извѣстно, власть взялъ! Надъ нашей сестрой чуть что—мужчина сейчасъ власть возьметъ!..

Вечеромъ Катерина Марковна узнавала всю сущность этого разговора и коротко обрывала задушевныя изліянія Марьи Петровны:

— Ко мнѣ, Марья Петровна, ужъ ничего не пристанетъ, а сорочки для Мити я и теперь вотъ шью, потому что Митя бѣднѣе нищаго... Нищій хоть христарадничать можетъ, а этому еще учиться нужно...

— Да знаю, знаю я, что вы ангелъ, ангелъ доброты и кротости!—умилялась Марья Петровна.—Я нарочно ее и выпытала, чтобы васъ предупредить...

— Нѣтъ, вы мнѣ не разсказывайте въ другой разъ всѣхъ пустяковъ, какіе приходятъ въ голову Лизѣ,—говорила Катерина Марковна.—Это вѣдь она отъ скуки капризничаетъ...

— Извѣстно, отъ скуки! Со скуки и собака на цѣпи лаетъ, а ужъ человѣку и Богъ велѣлъ! Вѣдь пальца о палецъ не стукнетъ, все вы, все вы дѣлаете!..

Катерина Марковна незамѣтно перемѣняла разговоръ...

III.

На вечеринкѣ у Пѣтуховыхъ шелъ дымъ коромысломъ. Къ нимъ или никто не заглядывалъ въ гости, или среди собравшихся къ нимъ гостей шелъ гамъ, какъ на школьномъ дворѣ въ часы рекреаціи. Вечеринка устроилась случайно. Собравшіеся гости были въ самыхъ простенькихъ нарядахъ. Большинство пришло просто пѣшкомъ, другіе пріѣхали на мужицкихъ саняхъ. Дамъ почти не было, кромѣ Пановой, двухъ неряхинскихъ барышень, хозяйки дома, да ея двухъ дочерей. У Пѣтуховыхъ, въ сущности, не было хозяйки въ домѣ, такъ какъ оба брата были холосты: но на большіе праздники къ нимъ пріѣзжала съ дочерьми невѣстка, вдова ихъ старшаго брата, и тогда почти каждый день у Пѣтуховыхъ шла пляска, задавались нехитрые обѣды, устраивались катанья. Николай Пѣтуховъ говаривалъ въ этихъ случаяхъ: «а у насъ теперь масляница!» Въ такія «масляницы» у нихъ было очень весело. Недостатка въ веселіи не было и въ этотъ вечеръ. Только что успѣли ввалиться въ залъ Пѣтуховы съ барынями, какъ начались танцы подъ фортепіано, и звонкій смѣхъ

гостей, смѣявшихся надъ Николаемъ Пѣтуховымъ, танцовавшимъ за даму въ платочкѣ на головѣ и въ шали на плечахъ. Елизавета Дмитріевна танцовала первую кадриль съ гимназистомъ.

— Какъ же это, Митя, вы рѣшились оставить даму своего сердца одну?—проговорила шутливымъ тономъ Елизавета Дмитріевна.

— Какъ-съ?—спросилъ растерянно гимназистъ.

Она повторила свой вопросъ.

— Вы это о Катеринѣ Марковнѣ?—спросилъ онъ.

— О комъ же больше! Извѣстно, что вы въ нее страстно влюблены.

— Я-съ? Развѣ я могу!—воскликнулъ онъ, краснѣя.

— Нѣтъ, это я шучу! У васъ не можетъ быть такого дурного вкуса,—сказала Панова.—Вамъ начинать...

Онъ неуклюже началъ выдѣлывать па̀ и спуталъ фигуру кадрили.

— А она влюблена въ васъ и ревнуетъ васъ даже къ музамъ,—продолжала подшучивать Панова, когда оба они сѣли снова.

— Чего-съ?—спросилъ онъ.

— Она, я говорю, ревнуетъ васъ даже къ музамъ и хочетъ отучить васъ писать стихи! Я слышала, какъ она васъ критикуетъ. Это просто безбожно такъ смѣяться надъ поэзіей... А вы мило пишете.

— Что вы-съ! — сконфуженно воскликнулъ онъ и покраснѣлъ, какъ піонъ, до ушей.

— Я бы на вашемъ мѣстѣ непремѣнно стала печатать свои стихи.

— Гдѣ же-съ! Я еще...

— Митя, Митя, что же ты не начинаешь, — крикнулъ Николай Пѣтуховъ.—Заснулъ, что ли?

Головнинъ еще перепуталъ фигуру.

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, попробуйте!—совѣтовала ему Панова.—Вы и смотрите поэтомъ...

— Вы все смѣетесь!

— Ужъ будто вы и не знаете себѣ цѣны!

— Да что же я?

— О, какой кокетъ! Добивается, чтобы женщина ему комплименты дѣлала! Такъ нѣтъ же, не дождетесь! Вы противный, уродливый! Вотъ вамъ!

Головнинъ былъ совсѣмъ красенъ. Когда онъ кончилъ

фигуру и опять усѣлся съ своей дамой, она кокетливо взглянула на него.

— Вы повѣрили тому, что я сказала?—спросила она.

— Я-съ...

— Не вѣрьте, Митя! Вы очень милый мальчикъ! Впрочемъ, что я! Какой же вы мальчикъ! Вы уже молодой человѣкъ... Но, право же, смѣшно, когда вы ухаживаете за такой старой дѣвой, какъ Катя. Она вѣдь вамъ въ матери годится...

— Я не ухаживаю-съ...

— Да, но вы шепчетесь по угламъ. Она васъ раздѣваетъ и...

— Это вы пустое-съ, совсѣмъ чушь городите! — горячо воскликнулъ онъ и сконфузился.

— Митя, Митя! Вы съ дамой говорите, а не съ товарищемъ!—сказала Панова.—Я просто хотѣла сказать, что не хорошо давать ей примѣрять на васъ бѣлье, трепать васъ по щекамъ... Я для вашей же пользы. Надъ вами подтруниваютъ, какъ надъ ребенкомъ. Мнѣ, право, жаль васъ...

Она болтала, что ей приходило на умъ. Нельзя же думать о томъ, что болтаешь въ танцахъ. Когда кончилась кадриль, Николай Пѣтуховъ подошелъ къ Пановой и сказалъ:

— Ну, барынька, извините за кавалера! Саврасъ какой-то безъ узды, все путалъ!

— Ахъ, это потому, что онъ танцовалъ со мною, а его сердце и мысли были тамъ!—отвѣтила она съ комическимъ вздохомъ.

— А, вотъ оно въ чемъ дѣло! По Катеринѣ Марковнѣ тоскуетъ! Еще бы, еще бы! Она его совсѣмъ избаловала, точно со своимъ первенцомъ, съ нимъ няньчится.

— Что дѣлать! Любовь!—сказала Панова.

— Не любовь, а доброта Катерины Марковны,—отвѣтилъ Пѣтуховъ, и его тонъ сдѣлался серьезнымъ.—Она всякаго паршиваго щенка, а не то что его, готова приголубить...

— Это должно быть для васъ очень лестно,—со смѣхомъ замѣтила она Головнину.

Она не оставляла его въ покоѣ весь вечеръ. Ее тѣшило его смущеніе, ей было весело дразнить его. Вальсируя съ нею, Митя наступилъ кому-то на ногу и сконфузился по своему обыкновенію.

— Это все уроки Кати,—сказала ему Панова.—Она та-

кая же неловкая... Вамъ, Митя, нужно больше бывать среди молодыхъ дѣвушекъ и женщинъ... тогда не будете смѣшнымъ и не будетъ причинъ конфузиться...

Еще разъ въ этотъ вечеръ она обратилась къ нему:

— А стихи-то попробуете напечатать?—спросила она.

— Помилуйте... какъ же...

— Нѣтъ, нѣтъ, попробуйте и посвятите первое стихотвореніе мнѣ...

— Вамъ?

— Впрочемъ, если не считаете меня достойной—не надо!

Она надула губки. Она была очень мила, когда ребячески надувала губки.

— Нѣтъ-съ, я не то,—началъ Головнинъ.

У него вдругъ засверкали глаза, и онъ спросилъ шопотомъ:

— А вы позволите?..

— Я прошу!

— И все выставить... имя и фамилію?

— Все, все...

Онъ засмѣялся.

— Подумаютъ, что я влюбленъ!—какъ-то по-дѣтски радостно проговорилъ онъ, захлебываясь.

— А вы не хотѣли бы, чтобы это подумали?—спросила она, сощуривъ глаза.

— Напротивъ-съ! совсѣмъ напротивъ-съ!..

И онъ крѣпко стиснулъ ея руку, уже совсѣмъ не съ дѣтскимъ выраженіемъ въ глазахъ.

— Господи, какая скука жить въ деревнѣ, — капризно сказала она. — Никогда, Митя, не живите въ деревнѣ, никогда! Особенно, если женитесь, бѣгите съ женой сейчасъ же въ городъ!

— Я никогда не женюсь!—мрачно отвѣтилъ онъ.

— Это почему?

— Гдѣ же мнѣ! Я бѣденъ! Я...

— Да развѣ мужчинѣ нужны деньги, когда онъ такой...

Она закусила губы.

— Когда что? когда что?—допрашивалъ онъ съ необычайною для него смѣлостью.

— Угадайте! Это вамъ загадка на ночь! Завтра зайдите къ намъ и скажите, разгадали ли!

Онъ хотѣлъ что-то сказать, но она, какъ бабочка, упорхнула отъ его рукъ. Онъ посмотрѣлъ ей вслѣдъ искрящимися глазами.

Гости стали расходиться и разъѣзжаться...

На слѣдущій день Головнинъ зашелъ, по обыкновенію, къ Пановымъ. Когда онъ увидалъ Елазавету Дмитріевну, онъ нѣсколько сконфузился. Ей показалось очень забавнымъ продолжать съ нимъ вчерашнюю игру въ кокетство.

— Ну, а загадку разгадали?—спросила она тайкомъ, какъ будто этотъ вопросъ и точно составлялъ тайну ото всѣхъ.

— Я и вчера зналъ, что вы хотѣли сказать,—отвѣтилъ онъ и бойко взглянулъ ей въ глаза.

— Что же?

— Что я хорошенькій...

— Фатъ!

Онъ посмотрѣлъ на нее съ недоумѣніемъ. Она сказала:

— Я просто хотѣла сказать: такой неглупый и талантливый... А вы вотъ что выдумали! О, да съ вами опасно быть откровенной...

Въ эту минуту въ комнату явилась Катерина Марковна, и собесѣдники смолкли.

— Ну, Митя, сколько новыхъ элегій написали за ночь!—спросила она, здороваясь съ нимъ.

— Онъ, можетъ-быть, посланія къ *ней* писалъ, а не элегіи!—сказала Елизавета Дмитріевна.

— Ну, ему еще за это можно ушонки драть. Рано еще!—отвѣтила Катерина Марковна.

— Рано! Это не бѣда! Бѣда, когда уже поздно!—многозначительно проговорила Елизавета Дмитріевна и подмигнула Головнину.

Онъ неловко потупился. Катерина Марковна не замѣтила этого взгляда и не обратила вниманія на намекъ.

— Помогите-ка мнѣ лучше шерсть размотать,—сказала она, обращаясь къ Головнину.

— Ахъ, Катя, для этого достаточно взять два стула, не утруждая Дмитрія Ивановича,—вступилась за него хозяйка дома.

Катерина Марковна разсмѣялась.

— Ну, ты его сегодня даже въ Дмитрія Ивановича произвела, Лиза,—сказала она.—Впрочемъ, если трудно, я и безъ васъ обойдусь.

— Нѣтъ-съ, я готовъ-съ... Отчего же!—отвѣтилъ Головнинъ и растопырилъ руки, на которыя надѣлся мотокъ шести.

— Поэтическое занятіе!—воскликнула Елизавета Дмитріевна, пожимая плечами, и вышла изъ комнаты.

Не прошло и пяти минутъ, какъ уже Головнинъ шутилъ и смѣялся съ Катериной Марковной, какъ истый школьникъ. Онъ забылъ и Елизавету Дмитріевну, и ея заигрываніе...

IV.

Когда Головнинъ пришелъ прощаться съ Пановыми передъ своимъ отъѣздомъ въ гимназію, Елизавета Дмитріевна опять закокетничала съ нимъ. Она какъ-то особенно грустно вздохнула, прощаясь съ нимъ, и, когда никого не было въ комнатѣ, дала ему поцѣловать свою руку. Онъ нагнулся для поцѣлуя, а она поцѣловала его въ щеку, но такъ близко около губъ, что онъ вспыхнулъ. Она тоже какъ будто сконфузилась и слабо вскрикнула, точно обожглась. Онъ почувствовалъ вдругъ, что она видитъ въ немъ мужчину. Мальчики всегда гордятся этимъ.

Затѣмъ въ домѣ Пановыхъ все пошло по-старому: тѣ же бесѣды Катерины Марковны съ Пановымъ, то же лѣнивое лежаніе Елизаветы Дмитріевны клубочкомъ на кушеткѣ, тѣ же посѣщенія Марьи Петровны и неряхинскихъ барышень, тѣ же наѣзды братьевъ Пѣтуховыхъ съ громкимъ смѣхомъ Николая и съ томными вздохами Александра, и тѣ же мелкія насмѣшки Пановой надъ лицомъ и фигурой Катерины Марковны. Такъ прошло время до Пасхи, однообразно, въ бѣличьей работѣ, въ томительной скукѣ,—и въ домѣ Пановыхъ снова появился Митя, пріѣхавшій на праздники къ Пѣтуховымъ.

Въ эти три мѣсяца онъ необыкновенно выросъ и возмужалъ. Они и точно прошли для него не даромъ. Во-первыхъ, онъ въ эти мѣсяцы сильно просвѣтился по части вечернихъ прогулокъ по Невскому проспекту и знакомства съ дѣвицами легкихъ нравовъ; во-вторыхъ, онъ сдѣлался писателемъ, то-есть успѣлъ напечатать въ одномъ изъ мелкихъ періодическихъ изданій три-четыре стихотворенія. Вслѣдствіе этихъ событій въ его жизни онъ сталъ смотрѣть на людей немного сверху внизъ съ высоты своего величія, а въ обществѣ Пѣтуховыхъ и особенно младшаго Пѣтухова сталъ сальничать. Въ первомъ случаѣ онъ кстати и некстати прибавлялъ: «мы литераторы», а во второмъ замѣчалъ: «мы холостежь». Катерина Марковна сразу замѣтила ему перемѣну и не могла не подшутить надъ нимъ.

— Васъ, Митя, даромъ печатаютъ?—спросила она.

— Какъ это даромъ? За писательскій трудъ всегда платятъ!—отвѣтилъ онъ.

— да какой же вы писатель? Это такъ васъ для поощренія напечатали и, признаюсь, глупо сдѣлали, потому что вы зазнаетесь. И сумѣли что выбрать! Чуть не худшія вещи.

— Что-жъ дѣлать, если цензура свирѣпствуетъ!

Онъ очень серьезно сталъ распространяться о цензурѣ, какъ и слѣдуетъ каждому писателю. Впрочемъ, тутъ было нѣкоторое недоразумѣніе. Когда его стихи не принимались въ редакціяхъ, ему коротко говорили, что «они неудобны къ печати»; онъ утѣшалъ себя въ этомъ случаѣ тѣмъ, что мысленно прибавлялъ, «конечно, по цензурнымъ условіямъ»,— и гордился этимъ.

Оставшись наединѣ съ Елизаветой Дмитріевной, онъ вынулъ изъ кармана одно изъ своихъ напечатанныхъ стихотвореній и подалъ его ей. Она прочла:

На дворѣ трещатъ морозы,—
У меня-жъ въ душѣ весна,
Губки алыя, какъ розы,
Вижу я во время сна.

Вѣтеръ бѣшеный бушуетъ,—
Мнѣ же снится, что она,
Наклонясь, меня цѣлуетъ
Въ тишинѣ, во время сна.

Это стихотвореніе было посвящено ей. Она раскраснѣлась, читая его. Потомъ она поблагодарила поэта и протянула ему руку. Онъ поцѣловалъ ее горячимъ и долгимъ поцѣлуемъ и взглянулъ ей въ глаза, не выпуская ея руки изъ своей. Она какъ-то сразу поняла, что онъ за это время научился цѣловать женскія руки, и немного смутилась. Онъ вздохнулъ.

— Я только теперь начинаю понимать женщинъ,—многозначительно сказалъ онъ.

Она вопросительно взглянула на него.

— Еще такъ недавно я былъ мальчикомъ,—проговорилъ онъ съ серьезнымъ видомъ, вынимая и закуривая папиросу.—А теперь... Я часто думалъ о вашихъ словахъ, когда вы говорили мнѣ, какъ вамъ скучно здѣсь... Да, это ужасно, во цвѣтѣ лѣтъ, такой хорошенькой, какъ вы, и погибать въ глуши, среди разныхъ старыхъ дѣвъ въ родѣ Марьи Петровны и...

Онъ запнулся и кашлянулъ.

— И Кати?—спросила она, лукаво взглянувъ на него.

— Да, отчасти и такъ! Катерина Марковна очень добрый

и любящій человѣкъ, но вѣдь она ходячая проза, — покровительственнымъ тономъ произнесъ онъ, развалившись въ креслѣ и пуская къ потолку дымъ.

Ему теперь непремѣнно хотѣлось быть старше своихъ лѣтъ и покрутить пушокъ надъ верхней губой.

— Но вы же такъ дружны съ ней!

— Какъ вамъ сказать?.. Мнѣ было бы тяжело огорчить ее чѣмъ-нибудь... Она и такъ обдѣлена судьбой... На свѣтѣ нѣтъ ничего хуже положенія старой дѣвы... Я это вполнѣ понимаю... И если ей доставляетъ удовольствіе ласкать меня, то для чего же ее огорчать холодностью?..

Онъ вздохнулъ, какъ человѣкъ, сознающій, что онъ приноситъ жертву.

— Мало ли молодыхъ существъ губятъ даже свою жизнь, оставаясь вѣрными тѣмъ, кто имъ годится просто въ отцы, — произнесъ онъ и многозначительно взглянулъ на Елизавету Дмитріевну.

Она опять смутилась.

— Конечно, эти жертвы не всѣ понимаютъ, не всѣ знаютъ, чего онѣ стоятъ, — сказалъ онъ. — Но мы, поэты, угадываемъ это чутьемъ, сердцемъ...

Въ головѣ Пановой вертѣлась одна мысль, что онъ сталъ просто красавцемъ. Когда онъ на прощаньи снова крѣпко-крѣпко сжалъ ей руку, точно выражая этимъ рукопожатіемъ, что онъ сочувствуетъ ея положенію, она опять смутилась и потупила глаза...

Возвратившись домой и растянувшись на постели въ одной комнатѣ съ Александромъ Пѣтуховымъ, онъ говорилъ, затягиваясь папиросой:

— Какая прелестная бабенка эта Панова! Просто жаль на нее смотрѣть, что она чахнетъ съ этимъ увальнемъ Борисомъ Васильевичемъ. Развѣ она можетъ его любить?

— Что-жъ, онъ не старъ, красивъ! — флегматично отвѣчалъ Александръ Пѣтуховъ.

— Не старъ! Его старшая дочь чуть не ея лѣтъ! А мы-то, холостежь, знаемъ, чѣмъ становится человѣкъ въ такіе годы... Вѣдь онъ тоже пожилъ на своемъ вѣку...

Головнинъ пустилъ въ потолокъ длинную струйку дыма.

— Право, ужасно, что матери не объясняютъ всего этого дочерямъ, — продолжалъ онъ философствовать. — Дѣвушка увлечется, выходитъ замужъ, а черезъ годъ, черезъ два, — чортъ знаетъ, что выходитъ, какая-то замужняя вдова!

Александръ Пѣтуховъ засмѣялся.

— Ну, жилъ бы, какъ нашъ Николай Платоновичъ, съ какой-нибудь бабенкой, — продолжалъ Головнинъ. — Такъ нѣтъ, надо жениться на дѣвушкѣ изъ порядочнаго круга и загубить ея жизнь...

— Ну, утѣшители найдутся, — сказалъ Александръ Пѣтуховъ.

— Да кто у нихъ бываетъ! Развѣ мы съ тобой?

Пѣтуховъ опять засмѣялся. Начался холостой разговоръ...

Въ одно изъ посѣщеній къ Пановымъ, Головнинъ подстерегъ Елизавету Дмитріевну въ темномъ уголкѣ и, схвативъ ея руку, страстно прошепталъ ей:

— Божество мое!

Она и испугалась, и сладко взволновалась. Она еще ни разу въ жизни не извѣдала на практикѣ сладостей любовнаго романа. Извѣдать такой романъ казалось ей любопытнымъ. Она не разъ по цѣлымъ часамъ мечтала объ этомъ во время празднаго лежанья на кушеткѣ. Иногда *онъ* убивалъ ея мужа и *его* за это ссылали на Кавказъ, куда она уѣзжала за *нимъ*, но тамъ происходилъ новый романъ, такъ какъ ее похищалъ отъ него черкесъ и запиралъ ее «въ гаремъ». Но есть ли у черкесовъ гаремы? Если нѣтъ, то все равно: черкесъ увозилъ ее и потомъ продавалъ турецкому султану. Тамъ вѣдь женщины шальвары носятъ? Неужели и ее такъ одѣнутъ? Иногда же романъ кончался болѣе просто: она спасалась отъ мужа бѣгствомъ съ *нимъ* за границу и непремѣнно въ Парижъ. Въ Парижѣ она непремѣнно пробиралась подъ густымъ вуалемъ въ Мабиль и потомъ попадала на балъ къ Наполеону. Она только никогда не могла рѣшить, кто будетъ этотъ *онъ*. И вдругъ этотъ *онъ* стоитъ передъ нею!..

— Пустите!—слабо проговорида она, стараясь безъ особенныхъ усилій освободить свою руку.

— Одинъ только поцѣлуй!—страстно прошепталъ онъ.

И она почувствовала, что ее всю охватили юношескія объятія, а къ ея губамъ прильнули горячія, сухія губы. Она уже не вырывалась и позволяла себя цѣловать.

— Митя, Лиза! — раздался гдѣ-то далеко голосъ Катерины Марковны.—Гдѣ вы? Чай поданъ!

Молодые люди быстро разошлись въ разныя стороны и минутъ черезъ пять явились въ столовую съ разныхъ концовъ. Оказалось, что Елизавета Дмитріевна «задремала въ гостиной», а Головнинъ «зачитался въ кабинетѣ».

— Да вы, кажется, тоже вздремнули, — сказала Катерина Марковна, съ улыбкой смотря на Головнина. — Вы точно послѣ сна красный...

Онъ еще больше вспыхнулъ. Елизавета Дмитріевна потупилась. Оба чувствовали себя не совсѣмъ ловко, какъ напроказничавшіе школьники...

Поздно вечеромъ, когда всѣ уже ложились спать, Марья Петровна Крестовоздвиженская, ночевавшая по обыкновенію въ комнатѣ Катерины Марковны, таинственнымъ шопотомъ разсказывала ей, присѣвъ къ ней на постель въ одной сорочкѣ и юбкѣ:

— Вы это, ангелъ мой, кликнули ихъ, а я и пошла въ «угловую»... искать ихъ пошла... Только это я приблизилась, какъ они шасть въ разныя стороны... шасть!.. Ну, вотъ точно блудливыя кошки, когда на нихъ «брысь» крикнешь!.. Онъ это шмыгъ въ кабинетъ, а она это шмыгъ въ гостиную...

— Это вамъ показалось, Марья Петровна! — сказала Катерина Марковна.—Чего же имъ разбѣгаться? Ну, были вмѣстѣ, такъ что же? Да я и частехонько съ Митей вдвоемъ сумерничаю...

— Ангелъ, ангелъ, да кто же про васъ что подумаетъ? Чистое вы созданіе! А Елизавета Дмитріевна... охъ, глазъ да глазъ нуженъ...

— Лиза честная женщина, — рѣзко перебила ее Катерина Марковна.—Да и Митя еще мальчикъ.

— Митрій-то Ивановичъ мальчикъ? Митрій-то Ивановичъ? Ахъ, ахъ, ты, Боже мой! — воскликнула Марья Петровна. — Да онъ теперь у Пѣтуховыхъ такія штуки съ Александромъ-то Платоновичемъ продѣлываетъ, что... Конечно, я дѣвица и мнѣ по моему понятію даже не слѣдовало бы и знать всѣхъ этихъ карамболей... Но вѣдь среди людей живу, среди людей... всего наслушаешься... Вотъ еще третьяго дня...

— Полноте, Марья Петровна! Намъ-то что за дѣло до этой грязи, если она и точно существуетъ, — прекратила разсказъ Катерина Марковна.

— Это конечно, это конечно... Но я вѣдь только къ тому, чтобы чего-нибудь не вышло...

— Ну, мы отвѣчать не будемъ.

— Кто знаетъ, кто знаетъ, душечка! Вы-то ангелъ чистый, а люди... У, на первой бы осинѣ всѣхъ этихъ безобразниковъ мужчинъ перевѣшала!.. Право!..

Потомъ она перемѣнила тонъ и жалобно начала говорить, что немудрено и испортиться Митѣ: тамъ, въ Петербургѣ, одинъ безъ призора, на вольной волюшкѣ живетъ, а здѣсь...

— Какой же здѣсь ему примѣръ?.. Александръ Платоновичъ, извѣстно, развратникъ, хоть и смотритъ тихоней, а Николай Платоновичъ... Сами знаете про Феню-то... И туда же отцами эти люди называются. И всѣ, всѣ мужчины таковы... Мы еще Бога должны, душечка, благодарить, что мы замужъ не повыходили!.. Тяжела наша доля, тяжела, а какъ пораздумаешь, какъ пораскинешь умомъ, такъ и видишь, что слава тебѣ, Господи, что замужъ за какого-нибудь этакого варвара и кровопійцу не попала... Ей-Богу!.. Кто говоритъ, было время, что первому встрѣчному на шею бы повѣсилась, ну, да вѣдь молодо — глупо, а теперь... Ахъ, ангелъ мой, да теперь озолоти меня какой-нибудь этакій господинъ Пѣтуховъ, такъ я и тогда за него не выйду.

Катерина Марковна уже спала.

V.

Доволенъ ли Борисъ своею супружескою жизнью? Счастливъ ли онъ?

Эти вопросы, послѣ разговора съ Марьей Петровной, все чаще и чаще стала задавать себѣ Катерина Марковна. «Онъ такъ мало общаго имѣетъ съ женою, онъ уходитъ отъ жены къ ней, къ Катеринѣ Марковнѣ, дѣлиться своими планами и надеждами, онъ, кажется, совсѣмъ охладѣлъ къ женѣ. Но это все бы ничего, а если она точно станетъ его обманывать? Митя, конечно, не опасенъ; это мальчикъ. Но за ней ухаживаютъ и другіе молодые люди. Недаромъ же Александръ Пѣтуховъ перемѣняетъ чуть не каждый день галстучки и появляется въ ихъ домѣ и кстати, и некстати. О, это будетъ большое горе для Бориса, если его станетъ обманывать жена. Онъ такой самолюбивый. И какъ странно создано большинство мужчинъ. Имъ прежде всего нужно хорошенькое личико въ женщинѣ, а до остального имъ почти нѣтъ и дѣла, когда они влюбляются. Что это: порокъ ума или сердца? Женщины смотрятъ иначе. Вотъ хоть бы она, Катерина Марковна, развѣ она не такъ же любила бы Бориса Васильевича, если бы его, положимъ, обезобразила оспа? Развѣ женщины не влюбляются въ стариковъ, въ некрасивыхъ людей, въ искалѣченныхъ героевъ?».

Эти мысли теперь часто приходили ей въ голову, и еще болѣе нѣжное чувство шевельнулось въ ея душѣ къ Панову,

чѣмъ прежде. Для этого было довольно одного предчувствія, что онъ, можетъ-быть, несчастливъ. Она ни разу даже не вспомнила при этомъ, что за ея искреннюю привязанность ей, въ сущности, не платили ничѣмъ. При покойной сестрѣ ее запрягли въ хозяйство, во время приготовленій ко второму браку ее заставили убирать спальню для невѣсты, послѣ свадьбы на нее легло еще больше работы, и Пановъ только приходилъ къ ней потому, что ему не съ кѣмъ было поговорить дома по душѣ. Что ей за дѣло до всего этого! Она сознавала, что Пановъ видитъ въ ней друга, и этого было довольно. Какъ другъ, она постарается охранить его отъ всякихъ непріятностей, насколько это будетъ зависѣть отъ нея. Впрочемъ, можетъ-быть, всѣ эти опасенія не что иное, какъ пустая тревога...

Среди этихъ думъ Катерина Марковна не забывала главнаго: ей нужно было весною приготовить все необходимое къ пріѣзду старшей дочери Панова изъ института. Ѣхать за молоденькою институткою пришлось ей же, такъ какъ самъ Пановъ былъ занятъ, а Елизавета Дмитріевна вовсе не знала Москвы.

Съ пріѣздомъ Ольги Борисовны для Катерины Марковны настали еще болѣе отрадные дни: она теперь была вполнѣ похожа на насѣдку, окруженную цыплятами. Четверо дѣтей Панова не отходили отъ нея, и она, смѣясь, называла ихъ «своимъ хвостомъ». Иногда ей даже становилось не то больно, не то совѣстно, что всѣ домашніе, и Пановъ, и дѣти, группируются около нея, оставляя Елизавету Дмитріевну одну. Но не гнать же было ихъ отъ себя? Къ ней льнули не одни они, но и неряхинскія барышни, и Марья Петровна, и Николай Пѣтуховъ. На долю Елизаветы Дмитріевны оставались только такіе молодые люди, какъ Александръ Пѣтуховъ и Митя Головнинъ, выискивавшіе случая къ интрижкѣ.

Головнинъ, окончившій курсъ въ гимназіи, пріѣхалъ къ Пѣтуховымъ почти въ то же время, когда Катерина Марковна привезла домой Ольгу Панову. Онъ теперь уже говорилъ: «мы студенты», хотя онъ еще и не поступилъ въ университетъ. Онъ былъ попрежнему почти постояннымъ гостемъ Пановыхъ и неизмѣннымъ участникомъ игръ въ серсо, въ воланы, въ горѣлки. Жизнь шла, повидимому, невозмутимо-мирно и никакихъ особенныхъ событій не предвидѣлось впереди. Казалось, всѣ жили очень дружно и только иногда Марья Петровна Крестовоздвиженская, сидя на тер-

расѣ дома Пановыхъ и завидѣвъ приближающагося Головнина, не безъ ехидства замѣчала:

— Даже довольно странно видѣть такого молодого человѣка, который слоновъ продаетъ!

— Да что же ему и дѣлать? — вступалась за Митю Катерина Марковна.—Кончилъ курсъ, ну и отдыхаетъ!

— Ахъ, ангелъ, какіе великіе труды совершилъ! У насъ тоже были братья, душечка, тоже учились они, а лѣтомъ всегда на кондиціи ѣздили, потому бѣдному юношѣ первое дѣло нужно о кондиціяхъ думать. Всѣ студенты объ этомъ думаютъ. Молодой человѣкъ безъ кондицій—это ужъ самое послѣднее дѣло...

— Ну, Митю, слава Богу, пріютили Пѣтуховы, пусть погуляетъ, покуда молодъ,—говорила Катерина Марковна.

— Да, вы ужъ, душечка, извѣстная защитница, всесвѣтная заступница. А я на его мѣстѣ все-таки поѣхала бы на кондицію, чтобъ изъ чужихъ рукъ не смотрѣть: тоже чужой-то хлѣбъ не сладокъ, охъ, какъ не сладокъ!

Она имѣла полное право говорить это, такъ какъ она всю жизнь провела на чужихъ хлѣбахъ изъ милости, не стукнувъ пальца о палецъ.

Говоря про Головнина за глаза, Марья Петровна не упускала случая уязвить его и въ глаза. Иногда они просто огрызались другъ на друга, и это служило своего рода потѣхой почти для всѣхъ. Вѣчный миръ надоѣдаетъ, и легонькія схватки разнообразятъ жизнь. Николай Пѣтуховъ положительно натравливалъ ихъ, «молодого пѣтушка» и «старую церковную крысу», другъ на друга, какъ собачонокъ, и хохоталъ до слезъ, когда они начинали воевать. Даже самъ Борисъ Васильевичъ, несмотря на свою серьезность, нерѣдко подшучивалъ надъ ними, потѣшаясь шипѣньемъ Марьи Петровны и задоромъ Мити. Во время одной изъ такихъ схватокъ Головнина съ Крестовоздвиженской за завтракомъ у Пановыхъ старая дѣва, огрызаясь, сказала молодому человѣку:

— Ужъ молчали бы, полуночникъ!.. Смотрѣть-то за вами некому, потому и ходите, какъ тать, около чужихъ домовъ по ночамъ!.. Тоже вчера вышла это я на балконъ подышать благоуханьемъ да полюбоваться луной, а онъ, точно воръ, около палисадника крадется. Развѣ это резонъ? Тоже напугать могли! Здѣсь женскій полъ!..

Головнинъ весь вспыхнулъ.

— Ты это откуда же шелъ?—спросилъ Пановъ.—Въ де-

ревню куда-нибудь заглядывалъ? Смотри, братъ, плохо будетъ! У мужиковъ рука тяжелая.

— Какое въ деревню. Развѣ тутъ по дорогѣ въ деревню?— воскликнула Марья Петровна. — Просто, какъ тѣнь, около дома здѣсь бродилъ...

— Ну, да, около дома! Спрашивали вы меня, что ли?— огрызнулся Головнинъ.—Изъ лѣсу я шелъ... заплутался, потому и поздно шелъ...

— Грибовъ, должно-быть, въ іюнѣ мѣсяцѣ искалъ!—ядовито сказала Марья Петровна, отвернувшись съ презрѣніемъ отъ своего врага.—Тоже найдутъ оправданія! Ужъ если блудить хотятъ, такъ хоть бы концы умѣли прятать!

Хозяйка дома поспѣшила начать другой разговоръ.

Послѣ завтрака Борисъ Васильевичъ замѣтилъ женѣ:

— Что это церковная крыса болтала? Это точно не особенно пріятно, если мальчишка по ночамъ бродитъ около нашего дома. За Олей, что ли, пріударить думаетъ, такъ я... Тоже партія была бы, нечего сказать!

— Ахъ, просто случайно шелъ, вѣроятно, — отвѣтила жена. — Наконецъ, можетъ-быть, у Кати засидѣлся... Она вѣдь все няньчится съ нимъ...

— Ну, ночью не могъ же онъ отъ нея идти!

— Ахъ, кто ихъ знаетъ! Она такъ ухаживаетъ за нимъ, обшиваетъ его... Эти старыя дѣвы, право, хуже институтокъ. Тоже обожать готовы всякаго...

Потомъ она прибавила:

— Но я не понимаю, зачѣмъ шляется къ намъ эта старая сплетница. Катя ее пріучила не только ходить къ намъ, но чуть не жить у насъ. А между тѣмъ изъ ея посѣщеній ничего кромѣ сплетенъ не можетъ выйти! Я увѣрена, что теперь она вездѣ начнетъ трезвонить, что этотъ мальчуганъ ходитъ на свиданія къ Олѣ или Катѣ.

Она засмѣялась.

— Чему ты?—спросилъ мужъ, хмуро слушавшій ее.

— Да, ей-Богу, смѣшно, Боря, если вдругъ станутъ говорить, что Катя и онъ влюблены... Нѣтъ, ты представь эту пару!..

Она залилась шаловливымъ смѣхомъ. Борисъ Васильевичъ съ невольной улыбкой покачалъ головой.

— Тоже выдумала! — проговорилъ онъ. — Нападаешь на нее.

— Я Катю, милый, очень люблю, но у нея всѣ странности старой дѣвы. Она и не замѣчаетъ, какъ смѣшно

смотрѣть на нее, когда она млѣетъ, смотря въ глаза Митѣ. Ты обрати на это вниманіе. Это очень интересно. У нихъ свои секреты есть... Конечно, ее винить нельзя. Тоже любить хочется!

Она опять засмѣялась.

— О, вы, мужчины, противные эгоисты! Мы вотъ не разбираемъ почти наружности и лѣтъ, а вы... Ну, хоть бы какой-нибудь Николай Пѣтуховъ предложилъ ей руку! Такъ нѣтъ, и у Пѣтухова есть вкусъ: взялъ подругу изъ крестьянокъ, зато красавицу.

— Да, красавицу, да не жилицу на свѣтѣ,—сказалъ Пановъ.

— А что? Развѣ она больна?

— Да развѣ тебѣ не говорили? Его Феня на-дняхъ умерла... Послѣ второго ребенка захворала и истаяла́, какъ воскъ... Пѣтуховъ сильно огорченъ...

Разговоръ зашелъ о Пѣтуховѣ, и щекотливая тема была забыта. Но не забыла ея Елизавета Дмитріевна и стала мстить за этотъ разговоръ Марьѣ Петровнѣ, какъ обличительницѣ ночныхъ прогулокъ Головнина.

Месть заключалась въ мелкихъ придиркахъ къ старой дѣвѣ, не разъ доведенной этими придирками до слезъ. Елизавета Дмитріевна, какъ всѣ пустые и мелочные люди, умѣла допекать ближнихъ, нисколько не стѣсняясь, нисколько не церемонясь. Но, умѣя допекать людей, она не умѣла разсчитать, кто просто уйдетъ отъ ея допеканій и кто сдѣлается изъ-за нихъ ея непримиримымъ врагомъ. Удовлетворяя чувство мелочной злобы, она наживала себѣ страшнаго врага въ лицѣ Марьи Петровны, шептавшей сквозь всхлипыванія: «отольются волку овечьи слезы, отольются!»

Не прошелъ даромъ разговоръ о ночныхъ прогулкахъ Головнина и для Катерины Марковны. Борисъ Васильевичъ какъ-то вскользь и осторожно замѣтилъ ей:

— Напрасно, Катя, ты такъ няньчишься съ Митей! Онъ уже не ребенокъ!

Она широко открыла глаза и засмѣялась.

— Такъ что-жъ, что не ребенокъ?—спросила она.

— Мало ли что могутъ выдумать!

— Про меня?

— Да. Ты все же дѣвушка!

— Борисъ, пощади! Ты уморишь меня со смѣху!—проговорила она, заливаясь задушевнымъ смѣхомъ.—Я и Митя—вотъ-то пара. Ха-ха-ха! Да какъ тебѣ могло придти это въ голову!

Онъ покачалъ головой.

— Да ты не смѣйся! Знаю я васъ, женщинъ! Смазливое личико, первый пушокъ на губахъ, ручки онъ у тебя цѣлуетъ,— началъ Пановъ.

— Борисъ, перестань! — уже совсѣмъ серьезно сказала Катерина Марковна. — Я думала, ты шутишь, а ты... Это просто пошлость!.. Какъ тебѣ не стыдно!

— Не сердись, я для тебя же!

— Ахъ, полно! Столько лѣтъ живемъ вмѣстѣ и не могъ узнать, что̀ я за человѣкъ! Ты говоришь, ты знаешь женщинъ. А я тебѣ скажу, что вы, мужчины, совсѣмъ слѣпые, и васъ можетъ обмануть первая встрѣчная дура.

Впервые Катерину Марковну точно за живое задѣли. Ей было больно, и досадно, что онъ, Борисъ, вздумалъ ее предостерегать отъ увлеченія—и кѣмъ же!—Митей! Да развѣ она не имѣла тысячи случаевъ броситься на шею не мальчику, не гимназисту, а... ну, да ему самому, Борису? Развѣ она не была настолько умна, чтобы заставить его, Бориса, если не полюбить ее, то не оттолкнуть въ минуту ея признанія въ любви, забыться хоть на мгновеніе. И онъ ее предостерегаетъ? Что же это—тупость, неделикатность, безтактность?

Нѣтъ, нѣтъ, это какое-то минутное помраченіе ума. Онъ, Борисъ, вѣроятно, уже кается въ своихъ словахъ, ругаетъ въ душѣ себя. Онъ же долженъ хорошо знать ее. Право, стоило бы его помучить за это, сдѣлавъ видъ, что она сердится на него за эту пошлую выходку. Да нѣтъ, о такихъ выходкахъ лучше и не вспоминать, потому что и воспоминаніе о нихъ непріятно. Но надо все же разспросить Митю, какъ онъ попалъ ночью къ ихъ саду. Это точно немного странно. Она задала вопросъ Головнину. Онъ пожалъ плечами и сказалъ, что онъ уже объяснилъ, какъ онъ попалъ.

— Но ты могъ пройти ближайшимъ путемъ, — замѣтила она.

— Ахъ, ну, могъ и не пошелъ! — нетерпѣливо отвѣтилъ онъ.—Право, мнѣ надоѣли эти разспросы! Точно всѣ боятся, что я ихъ репутацію испорчу. Вѣроятно, и Марья Петровна испугалась того же...

Катерина Марковна серьезно посмотрѣла на него.

— У тебя съ нѣкоторыхъ поръ удивительный тонъ, — сказала она.

— Я, Катерина Марковна, не могу передѣлывать себя и

своего тона по вкусу каждаго изъ знакомыхъ,—дерзко отвѣтилъ онъ.

— Я думаю, никто этого и не требуетъ,—сказала она.— Но быть вѣжливымъ съ посторонними — это обязательно для каждаго.

Она отвернулась отъ него и пошла прочь. Въ его голосѣ, въ его взглядѣ, въ его отвѣтахъ съ папиросою въ зубахъ было что-то новое для нея, непріятное, нахальное. Въ этотъ день она увидала въ немъ точно другого человѣка. Обыкновенно послѣ ихъ мелкихъ размолвокъ онъ приходилъ къ ней съ повинной и говорилъ: «тетя Катя, не сердись». Теперь онъ не только не пришелъ просить извиненія или мириться, но при встрѣчѣ съ нею какъ-то вызывающе усмѣхнулся. Сидя въ гостиной, Катерина Марковна слышала, какъ онъ на балконѣ смѣялся надъ отсутствующей Марьей Петровной и особенно громко восклицалъ:

— О, эти старыя дѣвы! эти старыя дѣвы!

Казалось, онъ непремѣнно добивался, чтобы эти слова дошли по своему назначенію. Катеринѣ Марковнѣ было жаль его: она чувствовала, что изъ него начинаетъ вырабатываться очень непривлекательный пустой хлыщъ и фатишка...

И опять ей, какъ занятому, заваленному работой человѣку, некогда было остановиться на этихъ мелочныхъ событіяхъ будничной жизни. Хозяйство, дѣти, шитье, все это требовало полнаго вниманія, все это поглощало каждую минуту. Тетю Катю тормошили всѣ, и тетя Катя должна была угодить всѣмъ. Безъ нея всѣ были, какъ безъ рукъ. Она была дирижеромъ домашняго оркестра.

Она отдыхала только по вечерамъ да ночью. А вечера и ночи стояли превосходные. Іюльскіе дни были слишкомъ сухи и знойны, солнце жгло нестерпимо, и мелкая пыль поднималась при малѣйшемъ движеніи въ воздухѣ. По вечерамъ же и по ночамъ становилось прохладнѣе; свѣжая, поднимавшаяся въ саду и въ полѣ роса дѣлала воздухъ болѣе влажнымъ. Въ это время дышалось легче и свободнѣе, и Катерина Марковна нерѣдко проводила цѣлые часы у себя на боковой террасѣ, не зажигая свѣчи, не то дремля, не то мечтая въ креслѣ. Родившаяся, выросшая и проживавшая всю жизнь въ деревнѣ, она любила природу и природа дѣйствовала на нее благотворно, успокаивая и усыпляя въ ея душѣ всѣ тревоги и волненія.

Въ одинъ-то изъ такихъ вечеровъ слегка задремавшая

Катерина Марковна чуть не вскрикнула отъ неожиданнаго появленія передъ нею Елизаветы Дмитріевны.

— Катя, милая, ради Бога, спаси меня! — въ волненіи прошептала Панова, сжимая ея руку.— Скажи, что это ты была... Понимаешь, ты... а не я... Послѣ все разскажу... Умоляю, ради Бога!

Она торопливо поцѣловала Катерину Марковну и скрылась снова. Катерина Марковна осталась одна, недоумѣвающая, испуганная, растерявшаяся. Она не знала, что дѣлать, какъ объяснить себѣ слова Елизаветы Дмитріевны. Она ждала, что вотъ-вотъ кто-нибудь явится разъяснить ей эту загадку, но минуты шли, а къ ней никто не являлся. Было уже далеко за полночь, когда она вошла въ свою комнату, заперла за собой дверь, зажгла свѣчу, опустила занавѣски и стала раздѣваться. У нея пропалъ сонъ, ее тревожили самыя разнообразныя предположенія. Она заснула только подъ утро.

Утромъ всѣ собрались по обыкновенію въ столовую, и Катерина Марковна не замѣтила ни въ комъ ничего особеннаго. Только Елизавета Дмитріевна, здороваясь съ ней, поцѣловала ее горячѣе обыкновеннаго и крѣпко сжала ея руку. Наконецъ, вышелъ и Борисъ Васильевичъ. Онъ поздоровался съ дѣтьми и съ Катериной Марковной. Этотъ поклонъ сразу бросился ей въ глаза. Онъ былъ холоденъ, сухъ, небреженъ. Она пристально взглянула на Бориса Васильевича: онъ старался не глядѣть на нее и былъ неразговорчивъ. Чаепитіе кончилось, и Катерина Марковна стала перемывать чашки. Съ нею осталась только Елизавета Дмитріевна. Она подошла къ Катеринѣ Марковнѣ и прошептала ей:

— Оставь это, пройдемъ къ тебѣ!

Катерина Марковна какъ-то безсознательно поднялась съ мѣста и послѣдовала за Пановой въ свою комнату.

— Катя, родная, прости меня, прости! — съ рыданіями заговорила Елизавета Дмитріевна, какъ только онѣ переступили порогъ комнаты Катерины Марковны. — Я низкая, низкая женщина! Но что же дѣлать! Онъ убилъ бы меня, онъ выгналъ бы меня!.. Ты же свободная, тебя не смѣютъ...

Катерина Марковна, вся блѣдная и похолодѣвшая, нетерпѣливо проговорила:

— Ради Бога, не плачь и разскажи все! Я теряю голову и ничего не понимаю!

Елизавета Дмитріевна начала разсказывать сбивчиво,

отрывисто. Она увлеклась. Ей такъ скучно живется. Борисъ ее оставляетъ все одну. Она и ненужна ему, какъ жена. Онъ холоденъ къ ней. Еще бы! Онъ столькими годами старше ея. Ему вовсе не слѣдовало и жениться! А ей еще хочется жить. Онъ не что иное, какъ узкій эгоистъ. Онъ только требуетъ, чтобы ему было хорошо, чтобы всѣ жили только для него. А развѣ это легко? Ну, она и увлеклась. Кѣмъ? Митей! Онъ, правда, почти мальчикъ. Она такимъ его и считала и просто играла съ нимъ. Это была шалость. Отъ скуки. Но вышло не такъ. О, онъ совсѣмъ опытный! Онъ довелъ ее до паденія. Давно ли? Ахъ, это продолжается съ самаго его пріѣзда. Этого никто не замѣчалъ. Разъ только эта противная Марья Петровна видѣла, какъ Митя выходилъ изъ сада. Но тогда все обошлось благополучно. Они стали осторожнѣе. А сегодня въ ночь... Она, Елизавета Дмитріевна, не знала, что Борисъ былъ у Пѣтуховыхъ и что онъ возвратится черезъ садъ. Она думала, что онъ уѣхалъ въ городъ. Онъ шелъ мимо большой террасы и услыхалъ ихъ поцѣлуи. Господи, что это было! Она едва успѣла убѣжать въ кусты, а Митю онъ поймалъ. Митя сказалъ ему, что онъ былъ тутъ съ нею... съ Катериной Марковной...

Катерина Марковна поблѣднѣла, и изъ ея груди вырвался какой-то глухой крикъ. Ее точно чѣмъ-то неожиданно пришибло.

— Катя, Катя! Прости, вѣдь меня Борисъ выгналъ бы!— заговорила Елизавета Дмитріевна.

— Не то, не то!—проговорила Катерина Марковна.—Но вѣдь это, значитъ, было между вами заранѣе обусловлено?

— Катя, прости!.. Онъ убилъ бы меня... Ты же дѣвушка... свободная ты...

Катерина Марковна отстранила простертыя къ ней объятія Пановой.

— Ступай,—тихо проговорила она, слабо махнувъ рукой.

Панова бросилась передъ ней на колѣни, схватила ея руки и начала покрывать ихъ поцѣлуями, ползая у ея ногъ.

— Ступай... ступай...—повторила какъ бы безсознательно Катерина Марковна.

— Катя, не выдавай... Милая!.. Я никогда больше... я... видитъ Богъ, никогда. Вѣдь меня онъ выгонитъ... Куда я дѣнусь?.. Отецъ тоже выгонитъ... у меня ничего нѣтъ... Мити тоже... А ты свободна...

Катерина Марковна нервно вздрогнула.

— О, какъ ты меня мучаешь!—проговорила она, какъ бы во снѣ, болѣзненно стиснувъ руки.—Уйди... уйди... никого я не выдамъ...

Елизавета Дмитріевна поднялась съ полу, хотѣла обнять Катерину Марковну и вдругъ какъ-то испуганно отступила. Катерина Марковна была блѣдна, какъ полотно. Ея лицо имѣло такой страдальческій видъ, какъ-будто она переносила страшную, чисто физическую пытку. Елизавета Дмитріевна тихо, съ пугливымъ выраженіемъ лица, вышла изъ комнаты. Катерина Марковна опустилась на стулъ у окна и словно замерла. Въ ея головѣ повторялась теперь только одна мысль:

— Нѣтъ, Борисъ не повѣритъ... никогда не повѣритъ!..

Онъ не только что повѣрилъ; онъ пришелъ къ ней объясняться...

Его болѣе всего бѣсила теперь мысль о томъ, что Катерина Марковна столько лѣтъ, живя въ его домѣ, играла передъ нимъ, передъ Пановымъ, роль недотроги, цѣломудренной Сусанны, не допускавшей ни одной вольности, ни одной скабрезной шутки, а съ этимъ мальчишкой, съ этимъ нищимъ завела шашни! Нашла кому отдать предпочтеніе передъ нимъ, передъ Борисомъ Васильевичемъ!

Онъ, переступивъ черезъ порогъ ея комнаты, смотрѣлъ холодно, сухо и офиціально.

— Катя, я пришелъ къ вамъ поговорить съ вами о дѣлѣ,— началъ онъ.

Она подняла на него глаза, точно не вѣря себѣ, что это онъ стоитъ передъ нею, точно не вѣря, что это онъ говоритъ ей «вы».

— Я не имѣю права вмѣшиваться въ ваши поступки,— продолжалъ онъ тѣмъ же вѣжливымъ тономъ. — Но у меня молодая жена и только что вышедшая изъ института дочь...

— Борисъ!—прошептала она болѣзненнымъ, разбитымъ голосомъ.

— Не оправдывайтесь! — перебилъ онъ ее. — Я не могу обвинять васъ! Не имѣю на это права! у всякаго свой вкусъ, свои взгляды на вещи!.. Вы человѣкъ независимый, свободный. Къ тому же въ ваши годы смѣшно бы имѣть опекуновъ и наставниковъ! Вамъ нравятся мальчики, гимназистики—это ваше дѣло...

По его лицу скользнула злая ироническая улыбка. Ему, видимо, хотѣлось какъ-нибудь больнѣе уколоть эту недотрогу, высказать, какъ можно яснѣе, свое презрѣніе къ ней.

— Я,—продолжалъ онъ:—только не желалъ бы, чтобы на мою семью падала тѣнь... Мы живемъ среди такихъ дикарей, отъ которыхъ только и можно ждать сплетенъ, пересудовъ, вмѣшательствъ въ чужія дѣла... Вы, конечно, помните, что Марья Петровна уже дѣлала какіе-то двусмысленные намеки...

Онъ на минуту перевелъ духъ.

— Мы можемъ разойтись безъ ссоры, безъ скандала,— продолжалъ онъ потомъ. — Правда, я не могу тотчасъ же возвратить вашего капитала, занятаго мною у васъ. Но я вамъ аккуратно буду выплачивать проценты, такъ что нуждаться вы не будете... наконецъ, если вамъ когда-нибудь понадобится помощь, то я...

Она уже давно не слышала его, такъ какъ что же значили для нея теперь подробности, слова, рѣшенія относительно будущаго. Она заливалась слезами и всхлипывала все громче и громче. Ей точно кто-то сдавливалъ горло, и она не то задыхалась отъ недостатка воздуха, не то захлебывалась отъ обилія слезъ. Наконецъ, ея грудь стала сильно, учащенно подниматься, рыданія перешли въ неудержимый страшный хохотъ, громко разнесшійся по дому, точно разомъ разразилось смѣхомъ нѣсколько человѣкъ, и она во весь ростъ упала на полъ въ истерическомъ припадкѣ. Въ комнату прибѣжали дѣти, Елизавета Дмитріевна, прислуга. Всѣ засуетились около общей любимицы.

— Тетя Катя, бѣдная, расхворалась, — сказалъ Борисъ Васильевичъ. — Она хочетъ уѣхать на время въ Липовку, чтобы отдохнуть... Грустно намъ будетъ разстаться съ нею!

Онъ былъ очень радъ, что ему удалось, благодаря своему уму и находчивости, спасти ея репутацію отъ всякихъ подозрѣній и пересудовъ, разъяснивъ при этомъ удобномъ случаѣ всѣмъ, что она точно больна и нуждается въ отдыхѣ. Ему было пріятно сознавать, что онъ держалъ себя съ нею до послѣдней минуты, какъ слѣдуетъ порядочному и развитому человѣку.

VI.

Катерина Марковна дѣйствительно прихворнула: грустныя событія, такъ неожиданно разразившіяся надъ ней, порядкомъ потрясли ее. Тяжелѣе всего было для нея то, что она такъ долго ошибалась относительно любимыхъ ею людей. Она даже не могла понять, какъ она могла въ теченіе столькихъ лѣтъ не узнать ихъ, не понять ихъ.. А все оттого, что

она была «насѣдкой», ей только нужно было няньчиться съ кѣмъ-нибудь, не всматриваясь, каковы тѣ, съ кѣмъ она няньчится, отвѣчаютъ ли они дѣйствительно на ея любовь, достойны ли они этой любви. Ей и теперь, въ сущности, было тяжелѣе всего то, что ей было не съ кѣмъ няньчиться.

— Вотъ я и не въ чужомъ гнѣздѣ! - говорила она, грустно расхаживая по комнатамъ своего домика въ Липовкѣ.—Въ своемъ гнѣздѣ теперь... только одна... безъ своихъ цыплятъ...

Это ее страшно мучило. Теперь у нея не было цѣли въ жизни.

— Я могла бы все разъяснить... Ее, а не меня выгналъ бы онъ... Нѣтъ, Богъ съ ними... Зачѣмъ разстраивать чужую жизнь... И что за примѣръ былъ бы дѣтямъ... Пусть они не знаютъ этой грязи покуда... Богъ съ ними, Богъ съ ними!.. Но Борисъ... Что онъ-то за человѣкъ?.. какъ онъ могъ повѣрить этому?.. Совсѣмъ по-мужски поступилъ... женщина такъ не поступила бы... И сколько безсердечія онъ выказалъ... Одну оставилъ... Ну, хоть бы Костю, или Миму, или Шуру прислалъ погостить... Вѣдь не развратила бы я ихъ дѣтей, если бы я и точно была такая, какой онъ меня представляетъ...

И опять она задумалась надъ вопросомъ, что это—тупость, безсердечіе, грубость мужского сердца? Порой ей казалось, что она ненавидитъ, презираетъ его. Порой онъ ей казался просто пустымъ и жалкимъ человѣкомъ... Но что ей теперь до него за дѣло! Дѣтей ей было только жаль, о нихъ она скучала. А скука была невыносимая, гнетущая. Правда, неряхинскія барышни, Марья Петровна, Николай Пѣтуховъ, всѣ эти люди остались ей вѣрными друзьями и посѣщали ее. Но они не могли наполнить пустоты въ ея сердцѣ, не могли ее заставить забыть безцѣльность ея жизни. Болтовня неряхинскихъ барышень только утомляла ее, а нытье Марьи Петровны тяжело отзывалось въ душѣ. Марья Петровна ничего не знала о сущности совершившихся событій, но чуяла, что случилось что-то необыкновенное. Она не вѣрила ни одному слову изъ того, что ей разсказывала Катерина Марковна про свою усталость и болѣзнь, заставившія ее уѣхать въ Липовку на отдыхъ.

«Статочное ли это дѣло,—резонно разсуждала Марья Петровна:—столько лѣтъ не уставала и вдругъ, на-поди, устала! Не такой человѣкъ Катерина Марковна, чтобы устать. И болѣзнь тоже... Съ чего это ей было вдругъ заболѣть?.. Подвохи тутъ какіе-то подвели... Ну, да я все разузнаю!»

— Тоже хороши родные, ангелъ мой, — говорила она вслухъ.—Здоровы были вы, ангелъ мой,—нужны были; заболѣли—уѣзжайте вонъ. Да другіе ночей бы не спали, ходили бы за вами, благодѣтельницей своей!

— Я сама не захотѣла!—оправдывала родныхъ Катерина Марковна.

— Ахъ, да я силкомъ бы оставила, на колѣнкахъ упросила бы не уѣзжать, а они... Нѣтъ, ужъ говорила я и буду говорить, душечка, что безсердечные они люди, безсердечные и есть!

Николай Пѣтуховъ, то и дѣло заѣзжавшій въ Липовку, которая теперь вдругъ оказалась ему «по дорогѣ», куда бы онъ ни ѣхалъ, тоже, повидимому, ничего не зналъ о сущности происшедшаго и соболѣзновалъ, что Катерина Марковна расхворалась.

— Это ничего, пройдетъ, — говорила она ему, однажды, когда онъ опять завернулъ къ ней «по дорогѣ». — Грустно только, что дѣтей у меня здѣсь нѣтъ.

— Эхъ, барынька, а у меня другое горе, — сказалъ онъ со вздохомъ.—Дѣти есть—матери нѣтъ.

Она вопросительно взглянула на него.

— Что тутъ скрываться. Сами все должны знать,—сказалъ онъ, махнувъ рукою.—Слышали, чай, что тоже не монахомъ жилъ...

— Да,—отвѣтила она.

— Ну, вотъ прижилъ двухъ ребятишекъ, а Феня-то приказала долго жить!

— Что вы? Я и не знала!

— Давно больна была... Теперь вотъ сиротъ оставила намъ съ братомъ... Ну, какія мы няньки?..

— Гдѣ же они теперь?—спросила она.

— Гдѣ же имъ быть, какъ не у меня,—отвѣтилъ онъ.

— Да... но вѣдь прежде...

Она нѣсколько смутилась. Онъ зорко взглянулъ ей въ лицо.

— Что же, барынька, не договариваете?—спросилъ онъ.

— Вы не сердитесь, милый мой Николай Платоновичъ,—заговорила она.—Но мнѣ говорили о вашихъ отношеніяхъ къ Фенѣ и ея дѣтямъ... Вы какъ-то странно смотрѣли на это дѣло...

— Какъ же это я такъ смотрѣлъ на него? — спросилъ Пѣтуховъ.

— Вы жили съ этой дѣвушкой и держали ее гдѣ-то въ избѣ съ дѣтьми...

Пѣтуховъ покачалъ головой.

— Да вы знаете, кто она была?—спросилъ онъ.

— Знаю, крестьянская дѣвушка, но...

— Ну-съ, такъ какъ вы думаете, хорошо бы было ей жить у меня въ домѣ?—проговорилъ онъ.—Что бы она была тамъ? Не барыня, не слуга. Или бы она съ прислугой дружбу водила, или поѣдомъ бы ѣла эту прислугу, ломаясь надъ нею. Тоже и со мною, и съ моими гостями ей и неловко бы было, и скучно. Ну, а построилъ я ей домикъ близъ мельницы, нанялъ ей батрачку, и зажила она сама себѣ госпожей. У нея и знакомые были, и подруги...

Онъ опять махнулъ рукой.

— Да что тутъ говорить, оправдываться! Сдѣлалъ я все, что умѣлъ и могъ сдѣлать, чтобы она была счастлива, насколько можно быть счастливою въ ея положеніи. Ну, а люди, если меня осуждали, такъ чихать я на нихъ, на людей-то, хочу: не ихъ я умомъ живу, а своимъ. Если ужъ меня можно упрекать за что-нибудь, такъ за то развѣ, что сошелся я съ нею, не разсчитавъ, что женой я ее сдѣлать не могу. Ну, такъ вѣдь не схимникъ я, не монахъ, а такой же, какъ и вся наша братья. Бѣсъ-то въ каждомъ изъ насъ сидитъ. Ну, да что объ этомъ говорить. Согрѣшилъ, такъ ужъ покаяніемъ дѣла не поправишь. А вотъ теперь ума не приложу, какъ ребятишекъ вырастить. Славные они у меня такіе карапузики, всѣ въ меня! Малы еще, имъ безъ женскаго ухода нельзя еще быть, а мы съ братомъ... Совсѣмъ мы никуда не годимся въ этомъ дѣлѣ.

Пѣтуховъ говорилъ задушевнымъ, искреннимъ тономъ. Катерина Марковна совсѣмъ оживилась. На ея лицѣ даже румянецъ выступилъ. Еще бы! Тутъ цыплята безъ насѣдки остались. А она-то на что? Да она ихъ всѣхъ заберетъ къ себѣ!

— Отдайте ихъ мнѣ!—сказала она.

Пѣтуховъ отрицательно покачалъ головой.

— Что же это я своихъ дѣтей въ чужой домъ отдавать стану. Плохъ я, можетъ-быть, а все же отецъ...

— Да вѣдь жили же они не при васъ?

— У матери, у матери, барынька, жили, а не въ чужомъ домѣ.

— Да у васъ, милый Николай Платоновичъ, женщины нѣтъ, дѣтямъ женская ласка нужна. Я имъ, право, второй матерью буду. Отдайте!

Она протянула ему дружески руку. Ея лицо раскраснѣлось, глаза сверкали.

— Знаю, знаю, что не второй, а первой, лучшей матерью можете быть,—сказалъ онъ, пожимая ея руку и ласково глядя на нее:—а все же...

Онъ остановился и, наконецъ, махнулъ рукою.

— Ну, была не была, покончу все разомъ!—проговорилъ онъ.—Десять разъ... какое!.. сто разъ начиналъ прежде, за этимъ только и пріѣзжалъ, да все кончить не сподобился, а теперь ужъ кончу... Что-жъ, головы не снимите!..

Онъ подсѣлъ къ ней поближе.

— Барынька, чего вы монахиней-то живете? Обѣтъ, что ли дали?

— Я васъ не понимаю,—проговорила она.

— Да и кто пойметъ, если этакъ-то говорю, обиняками. Не умѣю, видите, по-свѣтскому. Ну, да вотъ что: выходите-ка за меня замужъ. И мужъ будетъ, и дѣти готовыя...

Она улыбнулась.

— Спасибо вамъ за доброе предложеніе, но какая же я невѣста? Нѣтъ...

— Да вы въ философію-то не пускайтесь,—перебилъ онъ ее.—А, какъ я, вотъ скажите: ладно! и конецъ... Ужъ что таиться, скажу всю правду... Я еще въ прошломъ году на святкахъ хотѣлъ свататься, да духу не хватило...

— При жизни Фени?—воскликнула Катерина Марковна.

— Да. А что же? Да меня сама Феня и подсылала къ вамъ. «Я, говорила, ужъ не жилица на этомъ свѣтѣ. Такъ успокой ты меня, женись, пока я жива, чтобы я знала, какая мать у моихъ ребятишекъ будетъ. Сватайся за пановскую барышню, лучшей матери съ огнемъ не сыщешь».

У Катерины Марковны навернулись слезы.

— Такъ какъ же?—спросилъ Пѣтуховъ, заглядывая ей въ лицо.

— Нѣтъ, Николай Платоновичъ, поздно,—тихо отвѣтила она.

Онъ посмотрѣлъ ей прямо въ глаза и вдругъ точно что-то вспомнилъ.

— Послушайте, барынька, я васъ знаю, какъ добраго и умнаго человѣка,—серьезно сказалъ онъ.—Мнѣ больше ничего и не нужно. Я человѣкъ простой, грубый, говорю прямо, безъ экивокъ... Такъ вотъ, если тамъ что-нибудь васъ смущаетъ, такъ мнѣ это все равно...

Она ничего не понимала, что онъ хотѣлъ сказать.

— Я знаю,—продолжалъ онъ пояснять свою мысль:—что

у васъ тамъ не ладно вышло въ домѣ. Тоже слухомъ земля полнится. Знаю, и почему, и какъ...

Она измѣнилась въ лицѣ. Оборотъ разговора былъ совершенно неожиданный для нея.

— Ну, что-жъ, увлеклись... У подлеца рожица смазливая, рѣчи медовыя!—продолжалъ Пѣтуховъ.—Кто безъ грѣха!..

— Николай Платоновичъ!—воскликнула въ волненіи Катерина Марковна, поднимаясь съ мѣста и едва удерживаясь отъ смѣха.

— Да говорю я вамъ, что это мнѣ тьфу!—продолжалъ онъ.—Мнѣ человѣкъ хорошій нуженъ и больше ничего. Я вовсе и не потому началъ объ этомъ, чтобы попрекнуть васъ хотѣлось, а потому, что разговоръ по такой дорогѣ пошелъ. Если это васъ...

Она и смѣялась, и плакала. Ей теперъ все казалось смѣшнымъ: и она сама, и люди съ ихъ толками, и простодушная физіономія выбивавшагося изъ силъ Пѣтухова, и его увѣщеванія. Она точно присутствовала на представленіи какого-то невообразимо нелѣпаго и потому смѣшного водевиля и уже не могла ни думать, ни разсуждать, а могла только смѣяться до колотья, до слезъ. Она боялась, что у нея опять сдѣлается истерика,—истерика отъ неудержимаго, душившаго ее смѣха.

— Перестаньте, перестаньте! — проговорила она, задыхаясь и махая руками.

Но Пѣтуховъ не унимался и хотѣлъ еще что-то сказать, какъ въ комнату совершенно неожиданно бомбой влетѣла Марья Петровна съ блестящими глазами, съ сдвинувшейся на бокъ черепаховой гребенкой, съ свалившимся съ одного плеча ковровымъ платкомъ.

— Да, боровъ вы этакой, право, боровъ!—крикнула она, набрасываясь на Пѣтухова.—Уморить хотите ее, ангела моего чистаго?.. Нате водицы, нате водицы, ангелъ мой!.. Христосъ съ вами, Христосъ съ вами!.. Ахъ, боровъ, право, боровъ!.. И какія страсти выдумалъ! На наше сословіе мерзавцы мараль пустили, а онъ вѣритъ, да еще изъясняетъ... И хорошо еще, что я тутъ за драпирой все слышала... Вдругъ этакія слова бухаетъ дѣвицѣ!.. Ангелъ, ангелъ, успокойтесь!.. У, кабанъ разжирѣлый! Уморить хотѣлъ ангела моего!.. Его Митька съ Лизаветой Дмитріевной шашни велъ, а онъ наше сословіе позоритъ... Выпейте еще водицы... еще, ангелъ!..

Марья Петровна, подслушавшая весь разговоръ, бѣгала

теперь, какъ сумасшедшая, приводя въ чувство Катерину Марковну и ругая «кабана ожирѣлаго». Пѣтуховъ стоялъ съ раскрытымъ ртомъ и, наконецъ, совсѣмъ сконфуженный, взялся за шапку. Марья Петровна, замѣтивъ его трусливую попытку къ бѣгству, силою дернула его за рукавъ и повелительно шепнула ему:

— Просите еще!

Онъ, какъ провинившійся школьникъ, подошелъ къ Катеринѣ Марковнѣ и нерѣшительно взялъ ее за руку.

— Такъ какъ же, родная?—спросилъ онъ ласково.—Вы ужъ не сердитесь!.. Я что-жъ, обломъ!

— Обломъ и есть!—подтвердила Марья Петровна.

И въ ту же минуту она измѣнила тонъ.

— Ангелъ, смотрите, исчахъ вѣдь совсѣмъ!—проговорила жалобно она, обращаясь къ Катеринѣ Марковнѣ.—Совсѣмъ исчахъ отъ томленія!.. И что за сласть вамъ-то, ангелъ мой, такой быть... насѣдкой-то на чужихъ гнѣздахъ?

Катерина Марковна слабо улыбнулась и молча протянула обѣ руки Николаю Платоновичу.

— Ну, ну, ну!—воскликнула Марья Петровна, видя, что онъ обнимаетъ Катерину Марковну.—Точно медвѣдь ломаетъ!

— А ужъ я тебя, церковная крыса, потомъ отблагодарю!—сказалъ Пѣтуховъ, дружески обращаясь къ ней.

— И безъ вашего позволенія поселюсь въ домѣ!—рѣшительно объявила она, вздернувъ голову.

Катерина Марковна ласково протянула ей руку.

— Значитъ, обѣ будемъ не на чужихъ гнѣздахъ насѣдками?—сказала она.

— Ужъ, конечно!—подтвердила Марья Петровна, точно и она выходила замужъ за Николая Платоновича.

У Пановыхъ всѣ ахнули отъ изумленія, узнавъ, что Катерина Марковна выходитъ замужъ. Борисъ Васильевичъ, оставшись наединѣ съ женою, замѣтилъ ей, что онъ считаетъ нужнымъ предупредить Пѣтухова или переговорить съ Катериной Марковной. Но Елизавета Дмитріевна удержала его отъ этого и замѣтила ему, что, можетъ-быть, «все это были одни подозрѣнія». Какія же тутъ подозрѣнія, когда онъ, Борисъ Васильевичъ, все самъ слышалъ! Тогда Елизаветѣ Дмитріевнѣ пришла въ голову мысль, не напрасно ли они обвинили Катерину Марковну; вѣдь, можетъ-быть, Митя былъ на террасѣ съ ихъ бывшей горничной Настей. Настя вообще въ послѣднее время сильно баловалась. Ее

вѣдь и отпустить потому пришлось, что она «въ такомъ положеніи». И какъ это имъ не пришло тогда въ голову. Впрочемъ, все это однѣ догадки. Не можетъ ли Борисъ Васильевичъ осторожно навести обо всемъ справку у Александра Пѣтухова. Митя былъ съ нимъ хорошъ и ужъ, вѣрно, повѣрялъ ему свои тайны. На другой же день послѣ этого разговора Борисъ Васильевичъ пріѣхалъ домой въ сильномъ смущеніи. Дѣйствительно, они ошиблись и оскорбили понапрасну Катерину Марковну. Виновницей была Настя. Это ужасно досадно: они погорячились, а Катерина Марковна безъ этого и теперь бы жила у нихъ. И все изъ-за дрянной дѣвчонки! Александръ Пѣтуховъ это отлично знаетъ и даже, кажется, самъ грѣшенъ въ томъ же, въ чемъ Митя. Кстати пріѣхалъ и Александръ Пѣтуховъ. Онъ еще разъ подтвердилъ свои увѣренія насчетъ невинности Катерины Марковны и виновности Насти. Пановы рѣшили, что надо ѣхать къ Кохановой и попросить у нея извиненія. Тетя Катя, конечно, проститъ.

Такимъ образомъ все уладилось, всѣ успокоились. Только Елизавета Дмитріевна, оставшись на минуту одна съ Александромъ Пѣтуховымъ, шопотомъ спросила его:

— А если ты попадешься?

— Выкручусь!—отвѣтилъ онъ, цѣлуя ея руки.—Къ тому же теперь ты можешь посѣщать насъ хоть каждый день, а наша насѣдка ничего не замѣтитъ...

ПРОКЛЯТЫЙ ДАРЪ.

I.

Въ душную лѣтнюю ночь по мягкой, пыльной дорогѣ среди покрытыхъ мохомъ холмовъ, среди темной зелени хвойнаго лѣса поднимались въ гору, съ сучковатыми палками въ рукахъ, двое юношей, одинъ лѣтъ пятнадцати, другой лѣтъ семнадцати.

Усталые, запыленные, сдвинувъ на затылки бѣлыя шапки, они шли торопливо, такъ какъ ночь уже приходила къ концу, а имъ хотѣлось съ токсовскихъ вершинъ увидѣть восходъ солнца. Кругомъ царила невозмутимая тишина, только кое-гдѣ въ лѣсу слышался начинавшійся предразсвѣтный пискъ пробуждавшихся птицъ. Юноши добрались до вершины горы, миновали погруженную въ сонъ деревню и, наконецъ, пройдя послѣднюю избу, опустились на землю на краю горы. Они сняли фуражки и стали отирать носовыми платками потъ, обильно катившійся по ихъ лицамъ. Снизу на нихъ потянуло сыростью и прохладой. Тамъ, у подножія горы, въ темной пропасти, какъ упавшія на землю облака, бѣлѣясь, дымился туманъ, и едва замѣтно вырѣзывались темныя очертанія озеръ, холмовъ, кустарника, лѣса. Въ воздухѣ было еще темно, но съ каждою минутою эта тьма начинала все болѣе и болѣе рѣдѣть. Глазъ начиналъ различать все дальше и дальше зеркальные блики невозмутимой поверхности небольшихъ озеръ, сѣроватыя извилины дороги. Въ просвѣтлѣвшемъ небѣ стали окрашиваться въ розоватый цвѣтъ легкія облака. Наконецъ, слѣва на самомъ краю горизонта точно вспыхнулъ трепетный огонекъ; его дрожащее пламя стало быстро разрастаться; еще минута—

и уже вся окрестность залилась, затопилась яркимъ, ослѣпительнымъ багровымъ блескомъ. Въ воздухѣ стало совершенно свѣтло, и солнце, какъ громадный огненный шаръ, точно дыша и вздрагивая, постепенно начало подниматься надъ горизонтомъ, разсыпая во всѣ стороны снопы лучей. Казалось, тамъ, на горизонтѣ, все охватилось пожаромъ. Глазъ, ослѣпленный на минуту, могъ уже охватывать все пространство, не имѣвшее теперь, казалось, предѣловъ. Юноши невольно поднялись съ земли и словно замерли передъ величественной картиной восхода солнца. Они, уроженцы столицы, впервые видѣли подобную картину. Какія-то смутныя мысли бродили въ ихъ головахъ, какія-то новыя чувства волновали ихъ сердца. Наконецъ, младшій изъ нихъ, бѣлокурый, краснощекій мальчуганъ, какъ бы очнулся и воскликнулъ:

— Какъ хорошо! Отлично, что мы все-таки поспѣли вовремя! Я никакъ не думалъ, что это такъ славно!

Его товарищъ молчалъ, устремивъ свои черные, свѣтившіеся теперь, глаза вдаль и точно желая уловить, запомнить каждую мелочь этой взволновавшей его картины.

— И видно какъ далеко!—продолжалъ младшій.—Это что же тамъ, Петербургъ, что ли? А вонъ что-то курится. Пожаръ, что ли? Ахъ, нѣтъ, это туманъ дымкомъ вверхъ подымается. Вѣрно, надъ рѣчкой или болотцомъ... А гдѣ же Финскій заливъ? Онъ, должно-быть, вонъ въ той сторонѣ? Его не видать отсюда? Досадно, что некому разсказать, что и гдѣ здѣсь видно. Самъ не разберешь! Жаль только, что здѣсь такая пустыня кругомъ: озера, лѣса, болота. Людей нигдѣ не видно.

Его товарищъ какъ бы очнулся. Онъ встряхнулъ головой, провелъ рукою по уставшимъ отъ яркаго свѣта, зажмурившимся на мгновеніе глазамъ и обернулся лицомъ къ своему пріятелю.

— Что?—спросилъ онъ звучнымъ голосомъ.—Ты говоришь: людей не видно? И отлично! Мнѣ никого не нужно!

Въ эту минуту послышался скрипъ тяжелыхъ дверей на ржавыхъ петляхъ; потомъ зазвучалъ въ воздухѣ неровный сбивчивый звонъ колокольчиковъ; затѣмъ раздалось протяжное мычаніе коровъ. Откуда-то донесся торопливый и отрывистый, точно перекрестная брань, говоръ двухъ чухонокъ. Онъ становился все громче, все торопливѣе...

— Пойдемъ въ лѣсъ. Тутъ въ деревнѣ нечего дѣлать,— проговорилъ только что очнувшійся отъ своихъ думъ черноглазый юноша.

Онъ надѣлъ фуражку и пошелъ по направленію къ лѣсу, покрывающему склонъ горы на тѣневой ея сторонѣ вплоть до озера. Его товарищъ послѣдовалъ за нимъ. Они прошли деревню, свернули направо и добрались до лѣса. Отыскавъ небольшую, удобную для отдыха, площадку, они усѣлись, чтобы поѣсть. Въ ихъ дорожныхъ сумкахъ былъ небольшой запасъ хлѣба, булокъ, вареныхъ яицъ, колбасы.

— Ты говоришь: люди не нужны,—замѣтилъ младшій, съ завиднымъ аппетитомъ принимаясь за ѣду.—Безъ людей, братъ, тоже не проживешь. Такъ-то посади вотъ тебя сюда одного въ лѣсъ, завтра же убѣжишь! Вотъ и теперь, ну, посмотрѣли на восходъ солнца, ну, и довольно—пойдемъ опять домой, потому нечего здѣсь въ лѣсу дѣлать...

Старшій товарищъ ничего не отвѣчалъ и, разсѣянно слушая разсужденія говорливаго пріятеля, лѣниво ѣлъ. Онъ весь былъ подъ впечатлѣніемъ только что видѣнной имъ картины...

— Безъ людей, братъ, языкъ проглотишь!—продолжалъ тараторить болтунъ.—Я вотъ только тогда и веселъ, когда на народѣ. Ужъ на что дѣвчонки—дрянь, какъ есть дрянь, а иной разъ радъ и имъ, только бы не быть...

Товарищъ сдѣлалъ ему знакъ рукою и проговорилъ тихо:

— Тсъ! погоди!

— Что такое?

— Слышишь? Птица...

На минуту оба смолкли, прислушиваясь къ звонкому пѣнію птицы.

— Какая это птица?—спросилъ въ раздумьи неразговорчивый юноша.—Чортъ знаетъ, что такое, живя въ этомъ проклятомъ Петербургѣ, пѣнія жаворонка отъ пѣнія соловья не сумѣешь отличить! А славно пѣла!.. И все, все кругомъ живетъ, движется, поетъ! Ты взгляни... ты прислушайся... Уфъ, Господи. какъ хорошо!

Онъ запрокинулся на спину, подложилъ руки подъ голову и точно замеръ. Надъ его головой въ зеленой рамѣ деревьевъ виднѣлось бездонное синее небо.

— Да, теперь хорошо соснуть! всю ночь не спали,—сказалъ его товарищъ, видя, что пріятель растянулся на травѣ.

Бѣлокурый мальчуганъ послѣдовалъ примѣру товарища и черезъ двѣ-три минуты уже спалъ молодымъ, здоровымъ сномъ. А его пріятель все лежалъ въ той же позѣ, на спинѣ, устремивъ глаза въ бездонное синее небо и чутко вслушиваясь въ звуки, наполнявшіе воздухъ.

— Люди, люди!.. На что мнѣ эти подлые люди?—вдругъ

проговорилъ онъ вслухъ, тяжело вздыхая.—Чѣмъ дальше отъ нихъ—тѣмъ лучше!..

По его лицу скользнула мимолетная тѣнь, брови нервно сдвинулись. Но въ ту же минуту онъ опять сталъ прислушиваться къ пѣнію какой-то птицы, и выраженіе его лица снова сдѣлалось безмятежнымъ. Это было прекрасное, строго правильное, подвижное лицо не русскаго типа. Онъ и не былъ русскимъ, хотя и родился въ Россіи.

Его отецъ, Антонъ Карловичъ Лемъ, былъ баварецъ, мать была не то француженка, не то итальянка. Отъ бѣлобрысаго, голубоглазаго, рыхлаго, налитаго скорѣе пивомъ, чѣмъ кровью, отца юноша не наслѣдовалъ ни одной черты. Впрочемъ, отецъ едва ли имѣлъ основанія положительно утверждать, что это его сынъ. Онъ его считалъ своимъ сыномъ, потому что этотъ юноша родился отъ его жены, дальнѣйшія же подробности происхожденія этого юноши его вовсе не интересовали. Черные вьющіеся волосы, правильный носъ съ тонкими подвижными ноздрями, выразительные черные глаза съ поразительно-длинными рѣсницами и тонкими бровями, ослѣпительно бѣлые зубы, прекрасное очертаніе рта, смуглый цвѣтъ кожи съ легкимъ румянцемъ на щекахъ,—все это у юноши было если не прямымъ наслѣдіемъ матери, то во всякомъ случаѣ досталось ему на долю отъ предковъ съ ея стороны, не оставившихъ ему другого наслѣдства. Стройный, тонкій, ловкій и граціозный отъ природы, онъ смотрѣлъ немного бѣлоручкой, немного щеголемъ, несмотря на свой плохой коломянковый костюмъ, на свои заплатанные сапоги. Про него можно сказать, что не его украшаетъ нарядъ, а онъ придастъ наряду художественную прелесть. Онъ очень часто задумывался, точно уносясь изъ міра дѣйствительности въ область заоблачныхъ грёзъ, точно засыпая наяву. Когда его пробуждали изъ этой задумчивости, онъ постоянно отзывался съ видомъ какого-то высокомѣрія. «Что?»—рѣзко спрашивалъ онъ очнувшись, и въ звукѣ его голоса, въ его взглядѣ было нѣчто такое, что говорило, что онъ смотритъ на говорящаго съ нимъ человѣка свысока, сверху внизъ. Это было безсознательное и мимолетное выраженіе; оно тотчасъ же смѣнялось выраженіемъ вѣжливости и внимательности, но тѣмъ не менѣе оно прежде всего бросалось въ глаза зоркому наблюдателю. Онъ говорилъ вообще очень мало и трудно сказать, больше ли онъ слушалъ. Кажется, онъ больше всего любилъ и молчать, и не слушать, а думать, мечтать,

уноситься куда-то далеко-далеко въ своихъ грёзахъ. Впрочемъ, онъ тотчасъ же забывалъ свои мечты и грёзы, какъ только его слуха касались гармоническіе звуки музыки и пѣнія. Усталость, голодъ, жажда, невзгоды—все забывалось имъ при звукахъ музыки и пѣнія. Онъ самъ былъ уже давно хорошимъ музыкантомъ и могъ проводить цѣлые часы за скрипкой или за фортепіано, забывъ всѣхъ и все.

Онъ страстно любилъ музыку и страстно ее ненавидѣлъ, такъ какъ только въ ней онъ находилъ утѣшеніе и только изъ-за нея страдалъ.

II.

Какъ ясна и прозрачна бездонная лазурь неба, какъ хорошъ и гармониченъ міръ звуковъ, наполняющихъ лѣсъ, какое спокойствіе сходитъ въ молодую душу въ этомъ мірѣ природы, безлюдья, свободы!

Лемъ безсознательно взглянулъ на бѣлокуренькаго спутника. Тотъ сладко спалъ, улыбаясь во снѣ, полуоткрывъ розовыя губы. Ему же не хотѣлось спать, точно онъ боялся пропустить эти минуты спокойствія, точно онъ хотѣлъ сознательно насладиться всею ихъ прелестью. Въ его жизни было такъ мало подобныхъ минутъ.

Его отецъ былъ бѣднымъ и плохимъ музыкантомъ. Судьба довольно долго, чуть не съ колыбели, носила Антона Карловича, какъ вѣтеръ носитъ перекати-поле, по бѣлу-свѣту. Онъ то ходилъ со скрипкой по дворамъ и по кабакамъ; то былъ дирижеромъ крѣпостного оркестра въ барскомъ домѣ, гдѣ обѣдалъ съ дворней и спалъ на чердакѣ; то состоялъ странствующимъ музыкантомъ при маленькой балаганной труппѣ, то игралъ по ночамъ въ танцъ-классахъ, то являлся послѣдней скрипкой въ оркестрѣ цирка. Въ годъ ему приходилось иногда сдѣлать больше перекочевокъ, чѣмъ другимъ во всю жизнь. Нерѣдко сегодня онъ не могъ сказать навѣрное, гдѣ онъ проснется завтра. Гдѣ-то въ дорогѣ, еще въ довольно молодые годы, онъ случайно натолкнулся на порядочно поблекшую, хотя и молодую француженку, завезенную въ качествѣ горничной въ провинцію и брошенную чуть не въ чистомъ полѣ какой-то странствующей и разорившеюся въ конецъ не то актрисой, не то кокоткой. Оба они были въ это время безъ занятій, обоимъ имъ порядкомъ надоѣла бродячая жизнь. Имъ пришлось провести ночь вмѣстѣ въ грязной каморкѣ еврейской корчмы, и съ этой ночи начался ихъ союзъ. Они не влюбились другъ въ

друга; они просто сошлись другъ съ другомъ, потому что подвернулись одинъ другому подъ руку. Можетъ-быть, онъ забылъ бы ее на слѣдующій день, какъ забывалъ сотни другихъ такихъ женщинъ, но она ухватилась за этотъ случай и забрала его въ руки, такъ какъ ей уже давно хотѣлось добыть себѣ постояннаго мужа. Онъ и самъ не зналъ, какъ онъ согласился жениться на ней, на Матильдѣ Ивановнѣ Дельпи. Съ этой минуты онъ пересталъ мыкаться по свѣту: жена перевезла его въ столицу, жена опредѣлила его въ одинъ изъ столичныхъ оркестровъ, жена свила ему постоянное гнѣздо. У нея не было денегъ, но у нея было то, что создаетъ деньги—практическій смыслъ. Она тотчасъ же нашла въ столицѣ сотни своихъ соотечественниковъ и соотечественницъ; при ихъ посильной помощи открыла меблированныя комнаты, наняла двухъ хорошенькихъ горничныхъ—и дѣло было слажено: жильцы нашлись. Эти «комнаты со всѣми удобствами» никогда не стояли пустыми.

Лемъ получалъ скудное жалованье. Добавлять къ этому жалованью онъ могъ очень мало, давая съ грѣхомъ пополамъ уроки и играя иногда по ночамъ въ веселыхъ домахъ. Но, несмотря на это, онъ видѣлъ, что у него есть и свой уголъ, и сносная одежда, и ѣда, и кружка-другая пива, и потому проникся полнымъ уваженіемъ къ практическому уму Матильды Ивановны, удивляясь, какъ она сумѣла такъ хорошо устроить жизнь. Правда, разъ Лемъ ясно слышалъ звуки поцѣлуевъ въ комнатѣ одного изъ жильцовъ, откуда потомъ вышла Матильда Ивановна. Правда и то, что она ужъ слишкомъ усердно хлопотала о красотѣ горничныхъ, откровенно говоря, что иначе и жильцовъ постоянныхъ не будетъ. Но на все это Лемъ не обращалъ вниманія и говорилъ, что у него «хорошая жена».

Она и была хорошею женою: она не дѣлала ему сценъ, когда онъ отъ времени до времени возвращался домой подъ хмелькомъ, или когда она заставала его заигрывающимъ съ одной изъ горничныхъ. Они оба достаточно обились, чтобы не обращать вниманія на такіе пустяки, и стали настолько практичны, чтобы ставить выше всего сознаніе того, что они теперь не голодаютъ. Въ рѣдкой семьѣ встрѣчается такое согласіе, какое было въ семьѣ Лемовъ. Эти мужъ и жена были настоящими союзниками, заключившими наступательный и оборонительный союзъ противъ своего общаго врага—общества. Среди этой счастливой жизни, Лемъ даже разрыхлѣлъ и расплылся отъ пива, а она, Матильда Ива-

новна, загорѣлая, краснощекая, плотная, съ здоровыми руками, упертыми постоянно въ бока, точно она кого-то вызывала на бой, пріобрѣла бойкія и размашистыя манеры не то комиссіонерши, не то рыночной торговки, имѣвшей тоже свой гоноръ, говорившей не безъ презрѣнія: «о, эти глупи русски бабъ» и составившей себѣ вообще такое понятіе о русскомъ народѣ, что это «cochon»—и больше ничего.

Въ домѣ Лемовъ шла, повидимому, самая безалаберная и безпутная жизнь. Тутъ вѣчно толклись посторонніе люди, постоянно слышался громкій говоръ и смѣхъ, всегда раздавалось хлопанье то отворяемыхъ, то затворяемыхъ дверей, вѣчно кто-то гдѣ-то звонилъ, звонилъ и потомъ вдругъ раздавался гнѣвный крикъ: «Да когда же я дождусь кого-нибудь!..» По вечерамъ Матильда Ивановна пребывала то въ циркѣ, то во французскомъ театрѣ; Лемъ послѣ спектаклей проводилъ часъ-другой гдѣ-нибудь въ пивной, въ какомъ-нибудь танцъ-классѣ. Но, присмотрѣвшись къ этой жизни поближе, вы увидали бы, что если господинъ Лемъ и пьетъ много, очень много пива, то пьетъ его почти всегда на чужой счетъ, и что если госпожа Лемъ слишкомъ много бѣгаетъ, болтаетъ и хохочетъ, то въ сущности всегда среди этой болтовни ей удается обдѣлать какое-нибудь дѣльце, кого-нибудь съ кѣмъ-нибудь познакомить, кому-нибудь что-нибудь продать, кого-нибудь куда-нибудь пристроить, получивъ свою долю комиссіоннаго дохода. Семью Лемовъ знали всѣ французскія актрисы, всѣ французскія кокотки, всѣ французскія модистки.

Это умѣнье не выпустить изъ рукъ своего доходило до того, что Лемы чуть не изъ-подъ земли вырыли разныхъ богатыхъ родственниковъ въ Баваріи, во Франціи и въ Италіи, вступили съ ними на всякій случай въ переписку и постоянно поддерживали себя надеждами на наслѣдства. Особенно сильно надѣялись на дядю Матильды Ивановны, бывшаго настоятелемъ одного изъ монастырей около Рима. Этотъ монахъ, бывшій въ глазахъ Матильды Ивановны чуть не кардиналомъ, былъ извѣстенъ всѣмъ ея знакомымъ, и всѣ они говорили:

— Лемовъ ждетъ въ Италіи большое наслѣдство...

Въ «минуту жизни трудную» Матильда Ивановна даже ѣздила разъ сама къ этому дядѣ за пособіемъ, и пособіе получилось. Недаромъ же она называла старика самымъ близкимъ человѣкомъ, и при этомъ постоянно вздыхала:

при воспоминаніи объ этой близости ей всегда вспоминался одинъ случай изъ ея жизни и жизни ея дяди. Разсказывая объ этомъ случаѣ своимъ подругамъ, она всегда прибавляла:

— Ахъ, молодость, молодость! Мнѣ тогда шелъ четырнадцатый годъ...

У Лемовъ было нѣсколько человѣкъ дѣтей, мальчиковъ и дѣвочекъ, черномазенькихъ и бѣлобрысенькихъ, похожихъ и на мать, и на отца, и на постороннихъ людей. На второй день послѣ рожденія того или другого ребенка Матильда Ивановна уже шумѣла въ кухнѣ; на другой день послѣ смерти того или другого изъ дѣтей въ комнатахъ жильцовъ уже раздавался ея грубоватый смѣхъ и восклицанія:

— Oh, gamin! gamin!

Выжили изъ всѣхъ дѣтей только двое сыновей—старшій Германъ и младшій Франсуа.

Герману, золотушному и чахлому блондину, шелъ уже двадцать седьмой годъ; Франсуа, стройному и красивому брюнету, лежавшему теперь на травѣ, минуло семнадцать лѣтъ. Братья были оба несчастны, каждый по-своему, и потому страстно, болѣзненно любили другъ друга. Чѣмъ тяжелѣе дѣлалась ихъ жизнь, тѣмъ болѣзненнѣе они привязывались одинъ къ другому, хотя между ними не было ничего общаго ни въ наружности, ни въ характерѣ. Германъ былъ тихъ, скроменъ, мало даровитъ; Франсуа былъ нетерпѣливъ, непокоренъ, вспыльчивъ, крайне талантливъ.

Въ меблированныхъ комнатахъ Лемовъ вѣчно былъ шумъ и гамъ: въ одной комнатѣ раздавались отрывочные звуки гобоя и валторны, въ другой визжала и ныла скрипка, въ третьей упражнялись въ пѣніи два хориста, и дѣлалъ антраша господинъ изъ кордебалета. Болѣзненнаго Германа этотъ хаосъ звуковъ тяготилъ съ самаго дѣтства, и онъ убѣгалъ куда-нибудь въ дальній уголъ, затыкалъ уши и зубрилъ урокъ. Когда кто-нибудь спрашивалъ, гдѣ Германъ, мать отвѣчала на своемъ собственномъ жаргонѣ:

— Нашъ контуаристъ уткнулся уже въ свои книги.

Такъ чуть ли не съ седьмого года его прозвали «контуаристомъ». Если бы кто-нибудь спросилъ, почему его не учатъ какому-нибудь ремеслу, или музыкѣ, или живописи, всѣ удивились бы и сказали бы:

— Да вѣдь онъ въ контуаристы готовится!

Мальчика отдали въ реформатскую школу, и едва онъ началъ учиться, какъ его мать уже стала обсуждать среди своихъ подругъ и пріятельницъ вопросы, въ какихъ кон-

торахъ выгоднѣе служить, какія жалованья платятъ конторщикамъ вообще, кого нужно будетъ просить о помѣщеніи юноши въ контору. Объ этомъ толковали въ галлереѣ французскаго театра во время антрактовъ; этотъ вопросъ обсуждали въ уборныхъ наѣздницъ въ циркѣ; этотъ вопросъ женщины легкаго поведенія, имѣвшія связи съ биржевыми дѣльцами, поднимали между двумя поцѣлуями въ спальнѣ, хлопоча «о мальчикѣ Матильды». Герману нужно было только подрасти, чтобы получить мѣсто...

Жизнь Франсуа сложилась иначе. Бродя постоянно по коридору и по комнатамъ жильцовъ, онъ какъ-то разъ зашелъ къ одному изъ постояльцевъ, когда у того было нѣсколько молодыхъ людей, пѣвцовъ, музыкантовъ, художниковъ.

— Ба-ба-ба! Вотъ натура для моего Іоанна Крестителя! — воскликнулъ одинъ молодой художникъ, увидавъ пятилѣтняго мальчугана.

— Въ самомъ дѣлѣ подходящій типъ!—отвѣтилъ другой изъ гостей.

— Но какъ сложенъ?

— А вотъ мы сейчасъ посмотримъ!

— Раздѣвай его!

Мальчика окружили, подняли на столъ, раздѣли и начали разсматривать. Онъ былъ такъ изумленъ, что даже не заплакалъ. Ему было только странно, что его поставили голаго на столъ и осматриваютъ, какъ вещь, какъ куклу. Для чего? Что они ищутъ?

— Удивительная пропорціональность членовъ! Взгляните, что за линіи! Просто восторгъ!

— Старикъ Лемъ едва ли былъ такимъ въ дѣтствѣ!

— Старикъ тутъ—дѣло сторона.

Мальчика поворачивали во всѣ стороны, шутливо трепали по голому тѣлу, отпускали непонятныя для него остроты. Было рѣшено, что онъ будетъ Іоанномъ Крестителемъ. Матильда Ивановна, извлекавшая пользу изъ всего, никакъ не воображала, что ей можно еще торговать сыномъ. Она обрадовалась этому открытію и впервые отдала напрокатъ своего сына и получила съ него доходъ. Нѣсколько дней сряду она, хлопая себя по бедрамъ, повторяла одну и ту же фразу:

— Вотъ-то мы были глупы! Съ него давно бы могли рисовать, а мы и не знали! Сколько потеряннаго времени!

На первый разъ она даже не думала о томъ, не продешевила ли она въ этой новой для нея сдѣлкѣ.

По цѣлымъ часамъ простаивалъ теперь мальчикъ въ мастерской художника. Никто не спрашивался, не холодно ли ему стоять тамъ безъ одежды, не устаетъ ли онъ во время сеансовъ. Иногда онъ начиналъ дремать, стоя въ одной позѣ. Тогда его расталкивали и бранили. Порою, когда къ художнику заходилъ кто-нибудь въ гости, о немъ забывали, и онъ, голенькій, полусонный, простаивалъ безъ всякой нужды лишніе часы. Художникъ во все время своей работы имѣлъ привычку насвистывать и напѣвать аріи изъ оперъ и романсы. Это служило единственнымъ утѣшеніемъ для мальчугана. Возвращаясь въ комнату своихъ родителей, Франсуа тоже сталъ напѣвать аріи и романсы.

— Кто это тебя научилъ?—спросилъ его отецъ, услышавъ разъ, какъ онъ напѣваетъ довольно трудный мотивъ.

— Никто не училъ,—отвѣтилъ Франсуа.

— Это онъ слышитъ, какъ monsieur Nicolas поетъ и свищетъ,—замѣтила Матильда Ивановна.

— Вотъ чертовскій слухъ и музыкальная память,—сказалъ Антонъ Карловичъ.

— Что-жъ, его можно музыкантомъ сдѣлать,—рѣшила мать.

Съ этой минуты рѣшились учить пятилѣтняго ребенка музыкѣ. Въ галлереѣ французскаго театра, въ уборныхъ наѣздницъ изъ цирка, въ разныхъ французскихъ магазинахъ новостью дня сдѣлалось открытіе «геніальныхъ» способностей «младшаго мальчика Матильды». Сначала рѣшено было засадить его за фортепіано, а потомъ дать ему въ руки и скрипку: можетъ-быть, который-нибудь изъ двухъ инструментовъ и вывезетъ...

Когда отецъ и одинъ изъ жильцовъ начали обучать мальчика музыкѣ, онъ нерѣдко неутѣшно плакалъ, потому что ему приходилось переносить безчеловѣчныя пытки. Его ругали, били по рукамъ, хлопали по затылку, когда онъ дѣлалъ ошибки. Когда же отецъ и жилецъ уходили, онъ частенько пробирался къ фортепіано и одинъ въ затишьи отыскивалъ подходящіе звуки для передачи знакомыхъ ему мотивовъ. Фортепіано стало его привлекать, какъ пьяницу привлекаетъ кабакъ: онъ и проклиналъ его, и не могъ безъ него жить. Въ минуты отчаянья, когда его били за ошибки или когда ему не удавалось передать запавшій въ его память мотивъ, онъ билъ кулаками фортепіано, пиналъ его ногами, грозилъ ему, какъ живому существу. Ученье подвигалось медленно, продолжало быть источникомъ брани

и пинковъ, стоило многихъ синяковъ и слезъ, а занятія музыкою на слухъ начали давать изумительные результаты, и мальчикъ не только передавалъ извѣстные мотивы, но исполнялъ свои собственныя варіаціи на эти мотивы.

Съ него между тѣмъ уже давно написали Іоанна Крестителя и теперь его брали напрокатъ, потому что онъ долженъ былъ изображать «сына цыганки».

— Какая изумительная красота!—говорили люди, заглядывавшіе въ мастерскую художника.—Стоитъ только перенести все это на холстъ—и картина готова. Тутъ нечего дополнять, нечего подкрашивать!

Его опять поворачивали со всѣхъ сторонъ, любовались имъ и вблизи, и издали. Онъ сталъ сознавать, что онъ красивъ, и началъ принимать художественныя позы. Женщины, видя это, называли его «маленькимъ кокетомъ». Художники восхищались этой граціей, облегчавшей имъ возможность писать съ него. Доходъ Матильды Ивановны съ сына значительно возросъ.

Мальчику шелъ десятый годъ, онъ уже игралъ и на фортепіано, и на скрипкѣ.

Разъ отецъ пришелъ домой и сообщилъ женѣ, что въ циркѣ ставятъ какую-то арлекинаду, гдѣ маленькій арлекинъ долженъ играть на скрипкѣ. Эту роль предлагаютъ Франсуа.

— Признаться сказать, Францъ Грюнъ—онъ вѣдь ставитъ эту арлекинаду—только для Франсуа и выдумалъ эту роль.

— Что ты!—воскликнула Матильда Ивановна.—Впрочемъ, онъ мнѣ обязанъ. Ты знаешь, какъ я его сестру пристроила. Въ коляскахъ теперь ѣздитъ. А вѣдь прежде отъ перваго любовника получила пятьдесятъ рублей деньгами да колечко изъ гостинаго двора, вотъ и все... Но какъ же Франсуа?..

— Надо подъучить двѣ-три пьесы, тогда пожалуй, и можно,—сказалъ Лемъ.

— Ты самъ будешь учить?—недовѣрчиво спросила жена.

— Нѣтъ, Вортъ обѣщалъ подъучить.

Скрипачъ Вортъ, дѣйствительно, сталъ учить мальчика, какъ насвистываютъ птицъ. Мальчикъ, конечно, не сразу бралъ вѣрныя ноты; Вортъ кричалъ на него и топалъ ногами. Тогда являлся отецъ и, разгорячившись, дралъ сына за уши и за волосы. Надо было, чтобы онъ подготовился къ сроку, и потому всѣхъ раздражали опасенія, что онъ не успѣетъ подготовиться.

— Что ты думаешь, тебя ждать станутъ? Другой кто-нибудь найдется! Не ты одинъ въ Петербургѣ! — кричалъ отецъ.

Всѣ знакомыя Матильды Ивановны — перчаточницы, модистки, кокотки всѣхъ разрядовъ—волновались и тревожились сотнями вопросовъ:

— Ну, а если младшій мальчикъ Матильды не подготовится?

— Да вы хорошо ли за нимъ слѣдите?

— Что говоритъ Вортъ?

Матильда Ивановна волновалась еще болѣе и угрожала сыну.

— Ты что думаешь, что мы всегда тебя даромъ кормить будемъ? Каждый долженъ пріобрѣтать себѣ хлѣбъ! Ты мнѣ и не показывайся, если не подготовишься!..

Мальчикъ не плакалъ, не протестовалъ и только напрягалъ всѣ свои способности, чтобы выучиться и избѣжать побоевъ и брани.

Черезъ два мѣсяца онъ игралъ на аренѣ цирка на репетиціи.

Зрительное зало цирка производило странное впечатлѣніе. Дневной бѣлесоватый свѣтъ боролся съ желтоватымъ свѣтомъ нѣсколькихъ лампъ, и въ залѣ царствовали какія-то фантастическія сумерки. Пустыя ложи, кресла и галлереи казались небольшими стойлами, подернутыми пылью и туманомъ. Арена цирка, не прибранная, не выровненная, представляла площадь грязной навозной земли. Воздухъ былъ тяжелъ, пропитанъ запахомъ этой навозной земли. По ней ходили и пробовали гимнастировать и кувыркаться какіе-то люди разныхъ возрастовъ, въ затрапезныхъ пиджакахъ, въ поношенныхъ панталонахъ, въ высокихъ сапогахъ, въ шапкахъ, сдвинутыхъ на затылки, въ пестрыхъ засаленныхъ кашне на шеяхъ. Отъ времени до времени раздавалось щелканье бича, подгонявшаго скакавшую вокругъ арены лошадь, въ воздухѣ стоялъ говоръ на французскомъ, нѣмецкомъ и ломаномъ русскомъ языкахъ. Какой-то немолодой, очень плохо одѣтый человѣкъ, въ сторонѣ отъ всѣхъ, съ невозмутимо-серьезнымъ дѣловымъ видомъ степенно и неторопливо кувыркался черезъ руку на навозной землѣ, повторяя: «Вотъ такъ, и вотъ такъ, и такъ». Онъ, повидимому, совершенно забылся въ этомъ занятіи и производилъ впечатлѣніе помѣшаннаго бѣдняка. Молодой атлетъ съ скуластымъ лицомъ, съ всклокоченными, висѣвшими на

лобъ волосами, помѣстился въ углу ложи нижняго яруса и, сдвинувъ на затылокъ шапку, съ тупымъ видомъ рѣзалъ большимъ складнымъ ножомъ и пожиралъ колбасу съ пеклеваннымъ хлѣбомъ, усиленно и сосредоточенно работая челюстями. За нѣсколько шаговъ было слышно, какъ онъ жевалъ и чавкалъ, сочно перемалывая пищу. Около него вертѣлась какая-то тщедушная, плохо одѣтая, плохо нарумяненная наѣздница; она что-то говорила ему, смѣясь жидкимъ смѣхомъ и отнимая у него ѣду: раза два она попробовала его ущипнуть за ногу, потомъ даже смазала его со смѣхомъ ладонью по лицу, наконецъ, стащила кусокъ колбасы. Трудно сказать, хотѣла ли она обольстить этого Іосифа или хотѣла хоть немного утолить голодъ на счетъ этого обжоры. Онъ продолжалъ жевать и чавкать и только тупо взглядывалъ на нее, когда она слишкомъ громко смѣялась или касалась рукою его и его закуски. Казалось, ничто не могло вывести его изъ его апатіи. Окончивъ ѣсть колбасу, онъ завернулъ ея остатокъ съ хвостикомъ изъ веревочки въ бумагу и засунулъ свертокъ въ карманъ засаленныхъ панталонъ, вытеръ сзади о нихъ свой ножъ, тоже сунулъ его въ карманъ и сталъ рыться въ другомъ карманѣ панталонъ. Черезъ минуту онъ вытащилъ оттуда яйцо, разбилъ его, очистилъ и снова сталъ жевать и чавкать. Наѣздница не отставала отъ него. Не обращая на нее вниманія, онъ поискалъ глазами, куда бы бросить скорлупу отъ яйца. Потомъ обратился къ наѣздницѣ и съ набитымъ ѣдою ртомъ сказалъ:

— Поди, выбрось!

Онъ сунулъ ей въ руку скорлупу отъ яйца. Она засмѣялась и засунула ему скорлупу за пазуху. Онъ лѣниво пробормоталъ:

— Дура!

Въ это время, между тѣмъ, на срединѣ арены обучали Франсуа.

Игралъ онъ хорошо, но въ его манерахъ не было никакого комизма. Дирижеръ арлекинады и клоуны стали обучать его кланяться, ходить, брать скрипку въ руки, вертѣть головою. Онъ долженъ былъ не только хорошо играть, но и быть комичнымъ, смѣшнымъ. Его стали дрессировать, какъ собачонку, пинками и подзатыльниками. Онъ молча покорялся всему, исполнялъ все, что приказывали. Когда онъ кончилъ первую арію, ему неожиданно дали ногою пинка сзади—и онъ растянулся на мягкой навозной землѣ.

Какой-то клоунъ, захвативъ сзади двумя пальцами его штаны, поднялъ его съ земли. Это входило въ программу, и его обругали за то, что онъ не умѣлъ подняться съ земли. Сдѣлали еще репетицію и еще, и, наконецъ, нашли, что такъ «сойдетъ». Правда, у него недоставало навыка, у него было слишкомъ много изящной граціи. Но что же дѣлать: замѣнить его было некѣмъ. Собачонка была съ грѣхомъ пополамъ выдрессирована.

Въ день представленія, онъ въ черной обтянутой одеждѣ, во фракѣ, съ взбитыми и напудренными кудрями, появился на аренѣ цирка передъ тысячеголовой толпой, называемой публикою. Это было въ рождественскіе праздники, и зрительная зала цирка была набита биткомъ. Теперь она была неузнаваема: въ ней все сверкало, блестѣло, казалось подновленнымъ, подкрашеннымъ. Ложи, кресла, скамейки, все это было занято пестрыми группами людей и полно движенія, жизни. Даже навозный запахъ былъ менѣе слышенъ; его какъ-будто перебилъ ароматъ надушенныхъ одеждъ кавалеровъ и дамъ, ароматъ какого-то рѣзкаго, сильно пахучаго куренія. Холодъ, царствовавшій здѣсь утромъ, смѣнился пріятной теплотой, доходившей вверху даже до излишняго жара. Среди персонала цирка не было теперь ни одного оборвыша, ни одного замарашки: всѣ были нарядны, чисты, щеголеваты; на фракахъ мужского персонала цирка красовались банты изъ атласныхъ лентъ, букетики искусственныхъ цвѣтовъ; лица, вмѣсто помятыхъ и желтыхъ, стали цвѣтущими, розовыми, похожими на лица восковыхъ куколъ, красующихся на окнахъ у парикмахеровъ; непригляднаго старческія морщины пожилыхъ клоуновъ скрылись подъ толстыми слоями краски, разрисовывавшей эти лица. Заглянувъ на арену, Франсуа на минуту точно ослѣпъ; все смѣшалось въ его глазахъ, и онъ скорѣе чувствовалъ, угадывалъ, чѣмъ видѣлъ, сколько народу окружаетъ его. Какъ сквозь сонъ, онъ услыхалъ, что его зовутъ, что ему надо начинать, и, чуть не шатаясь, вышелъ на средину арены. Онъ расшаркался, откинувъ лѣвый лацканъ фрака, тряхнулъ скрипкой, приложивъ ее къ плечу, и сталъ играть. Первыя ноты были взяты неувѣренно, не смѣло, не вѣрно, но съ каждой минутой онъ игралъ все лучше, все смѣлѣе! Толпа, публика перестала для него существовать: для него существовала только его скрипка, существовали только музыкальные звуки. Онъ точно именно для того и прицалъ головой къ своей скрипкѣ, чтобы полнѣе насладиться этими

пѣвучими звуками. Едва онъ успѣлъ окончить первую часть музыкальной пьесы, какъ раздались рукоплесканія.

— Браво! Браво! Bis! Bis!—кричали со всѣхъ сторонъ, и сотни, тысячи рукъ стали аплодировать ему.

Изъ ложъ слышались пискливые, картавые дѣтскіе голоса:

— Бла-во! бла-во!

Тамъ хлопали маленькія дѣтскія ручонки.

Этихъ дѣтей родители привезли повеселиться въ рождественскіе праздники въ циркъ. Визгливый голосъ какого-то клоуна на всю залу протянулъ:

— Bi-i-is!

Гдѣ-то наверху раздался громкій смѣхъ.

Франсуа раскланялся и продолжалъ играть.

Наконецъ, раздались послѣдніе звуки его скрипки. Циркъ дрогнулъ отъ рукоплесканій! Но въ эту же минуту нога клоуна пинкомъ сзади сшибла съ ногъ маленькаго виртуоза. Онъ шлепнулся носомъ въ плотный коверъ, лежавшій теперь на аренѣ, и чуть не разрыдался. Онъ совсѣмъ забылъ, что этотъ пинокъ долженъ былъ неизбѣжно послѣдовать за окончаніемъ игры на скрипкѣ, и въ какомъ-то бѣшенствѣ поднялся съ земли, прежде чѣмъ клоунъ успѣлъ его поднять двумя пальцами за штаны. Къ его ногамъ уже летѣли бонбоньерки, яблоки, апельсины, плитки шоколада. Но онъ не обрадовался, не бросился ихъ подбирать, а порывисто вынулъ изъ кармана платокъ и сталъ гадливо стряхивать съ себя пыль, приставшую къ нему въ то время, когда его пинкомъ повалили на землю. Впервые въ жизни ему стало такъ невыносимо тяжело, такъ горько, что онъ былъ готовъ плакать, былъ готовъ убить окружавшихъ его людей.

— Бери, это все тебѣ набросали!—говорилъ ему кто-то, подавая ему цѣлый ворохъ разныхъ сладостей.

— Мнѣ не надо!—отвѣтилъ онъ отрывисто и торопливо пошелъ со сцены.

Его стали вызывать, его заставили повторить пьесу. Онъ выходилъ на арену, игралъ, но все это дѣлалось уже какъ бы со сна, машинально, безсознательно. Его душили слезы, душила злоба.

Отчего? О чемъ?

Онъ самъ не зналъ, что съ нимъ дѣлается, но когда мать пришла въ уборную, чтобы вести его домой, и взяла его за руку, онъ вдругъ съ яростью вырвалъ руку и грубо сказалъ ей:

— Что я маленькій, что ли, чтобы меня за руку водить!

Матильда Ивановна была груба, но не терпѣла грубостей, а тѣмъ болѣе отъ сына.

— Да ты это что? — крикнула она. — Розогъ не пробовалъ?

Онъ только заскрежеталъ зубами, но ничего не отвѣтилъ ей. Натянувъ на себя поношенное теплое пальто, онъ пошелъ вонъ.

— Бери конфеты! — грубо приказала она ему.

— Не нужны мнѣ онѣ! — отвѣтилъ онъ дерзко.

— Ну, дома еще поговоримъ! — крикнула мать. — Mauvais sujet!

Дома они точно поговорили. Разговоръ длился, правда, недолго, но послѣ этого разговора Матильда Ивановна вышла изъ комнаты отъ сына, блѣдная, какъ полотно, тяжело дыша, и подозвала мужа.

— Что съ тобой? — спросилъ онъ.

— Ты осторожнѣе будь съ Франсуа, — многозначительно сказала она, едва переводя духъ.

— А что? — спокойно спросилъ Лемъ.

— Этотъ ребенокъ способенъ убить!

Лемъ широко раскрылъ мутные глаза. Онъ ничего не понималъ.

— Да, да, я знаю, я такою же росла. Я десяти лѣтъ бѣжала отъ бабушки, поджегши ея домъ, — сказала онъ скороговоркой. — Онъ такой же... Нѣтъ, онъ хуже!..

Она выпила большими глотками стаканъ воды. Ея плотная грудь тяжело дышала, широкія ноздри раздувались.

— А вотъ я пойду посмотрю, какой онъ такой, — флегматично, но съ угрозой сказалъ отецъ.

Она нетерпѣливо остановила его.

— Что ты хочешь дѣлать? Сѣчь? А завтра какъ онъ будетъ играть въ циркѣ, если захвораетъ?

— Да я ему кости переломаю!

— Что-жъ, кормить-то и съ переломанными костями придется, а ужъ картинъ писать съ него не будутъ и въ циркъ приглашать не станутъ...

Въ ея голосѣ были и иронія, и злость. Она прошлась по комнатѣ.

— Ты думаешь, я сама бы не исколотила его, если бы...

Она оборвала рѣчь и нервно сжала кулаки.

— И кто это объяснилъ все ему? Кто? — говорила она, нетерпѣливо пожимая плечами и конвульсивно то сжимая,

то разжимая пальцы, точно ей хотѣлось кого-то исцарапать ногтями.

— Что это?

— Да вотъ то, что я говорю,—отвѣтила она.—Онъ вѣдь все это мнѣ сказалъ, все!.. И самъ смотритъ, какъ волкъ, и шепчетъ: «только троньте еще, только троньте еще!..» И блѣдный, точно мертвецъ!.. Vipère!.. Вѣдь онъ теперь сто пятьдесятъ рублей въ нынѣшній мѣсяцъ намъ принесетъ!

Она въ раздумьи покачала головой.

— Не умѣлъ ты съ нимъ обращаться,—проговорила она послѣ минутнаго молчанія.—Грубъ былъ съ нимъ, озлобилъ, оттолкнулъ его..., Онъ вѣдь не то, что Германъ... Тотъ что! C'est la bête du bon Dieu! Простофиля!.. Тотъ не сбѣжитъ, не утопится... Вьючное животное!.. Да отъ того и ждать многаго нечего... А Франсуа... Франсуа десятерыхъ прокормить одинъ можетъ... На него можно надѣяться... Положимъ, дядя Антоніо обѣщаетъ клочокъ земли около монастыря, но у насъ еще мало скоплено на постройку дома... Франсуа поможетъ прикопить побольше... Ты бы послушалъ, что тамъ говорили... И красота, и талантъ... Геній...

Она раздражительно махнула рукой.

— Нѣтъ, съ огнемъ играть не слѣдуетъ. C'est une poule aux oeufs d'or... Его беречь надо... Да его и винить нельзя, если онъ цѣну себѣ знаетъ... Это у него отъ меня... О, я себѣ цѣну всегда знала... На мнѣ нельзя ѣздить... Pas si bête, pas si bête, mon ami!.. Наконецъ, мы не какіе-нибудь мужики... Мнѣ стоитъ написать дядѣ Антонію въ Римъ... У него тамъ всѣ прелаты, всѣ кардиналы свои люди...

Разговоръ на эту тему всегда успокаивалъ волненіе Матильды Ивановны.

Когда на слѣдующее утро всѣ собрались за чайнымъ столомъ, Матильда Ивановна чуть руками не всплеснула. Франсуа былъ неузнаваемъ: лицо желто, глаза точно провалились, вѣки воспалены. У нея точно замерло сердце въ груди отъ страха. Она заботливо спросила сына, здоровъ ли онъ. Онъ коротко отвѣтилъ: «здоровъ». Германъ сидѣлъ тутъ же за столомъ, молча, потупившись, какъ убитый. Когда кончили пить чай, Германъ вышелъ изъ комнаты и знакомъ вызвалъ за собою отца.

— Я вынулъ брата изъ петли вчера! — рѣзко и съ несвойственной ему жесткостью сказалъ онъ.—Вы это помните!

Затѣмъ онъ молча накинулъ верхнюю одежду, надѣлъ шапку и ушелъ въ свою контору. Онъ уже давно служилъ

въ конторѣ одного крупнаго негоціанта. Старикъ Лемъ стоялъ, какъ пораженный громомъ.

III.

На второй день вечеромъ, отводя въ циркъ сына, Матильда Ивановна замѣтила Францу Грюну, распорядителю арлекинады, что было бы лучше, если бы ея сына не пинали ногой послѣ игры, что она этого не допуститъ, такъ какъ это конфузитъ мальчика, да онъ можетъ и ушибиться.

— Наконецъ, онъ не клоунъ какой-нибудь, а настоящій артистъ! — съ гордостью замѣтила она. — Я понимаю, что можно пинать ногой мальчишку, кувыркающагося на заднихъ дворахъ, но Франсуа не уличный фигляръ! Если бы дядя Антоніо это узналъ, онъ никогда не дозволилъ бы этого...

Она говорила рѣзко и грубо, сознавая отчасти, что теперь безъ ея сына не обойдутся, и что она можетъ ставить свои условія. Наконецъ, сестра Франца Грюна черезъ ея посредничество стала ѣздить въ коляскахъ! А это тоже что-нибудь да значитъ. Она всегда знала, когда и гдѣ можно пользоваться своимъ положеніемъ.

Переговоры кончились тѣмъ, что маленькаго скрипача рѣшили торжественно выводить на арену клоуны и съ комическимъ почетомъ уводить его обратно съ арены. Это нисколько не портило арлекинады, вызывая такіе же взрывы смѣха, какъ и пинки ногою, но мальчику стало легче.

Онъ продолжалъ являться въ циркѣ. Ему теперь было очень пріятно, что ему аплодировали, что его ласкали всѣ кокотки, знакомыя съ его матерью. Дома тоже его окружали заботами и ухаживали за нимъ, какъ за царькомъ. Это была дойная корова, требовавшая хорошаго ухода.

Только Германъ, бесѣдуя по ночамъ съ ребенкомъ, говорилъ ему:

— Барыши за тебя сбираютъ, а путно ничему не учатъ. Надо взять хорошаго учителя, тогда дѣло другое. А такъ только загубятъ тебя.

— Они не возьмутъ, — отвѣтилъ мальчикъ съ твердою увѣренностью.—Платить надо много.

Братъ вздохнулъ и, поцѣловавъ ребенка, сказалъ, что онъ устроитъ это дѣло.

Съ этого дня Германъ запрягся въ работу, какъ волъ. Онъ бралъ работу на домъ, онъ давалъ уроки, и черезъ мѣсяцъ для Франсуа былъ уже нанятъ хорошій учитель.

Всѣ свободныя минуты старшій братъ употреблялъ на занятія съ мальчикомъ, обучая его всему, чему онъ могъ бы обучиться въ хорошей школѣ. Германъ дѣлалъ все, чтобы его братъ сдѣлался образованнымъ человѣкомъ.

Германъ былъ длинный нѣмецъ, съ прямыми бѣлесоватыми, какъ сухой ленъ, волосами, съ блѣдными голубовато-сѣрыми глазами, съ сутуловатой спиной и съ тонкими, какъ плети, руками, оканчивавшимися большими кистями красноватаго цвѣта, такъ какъ эти кисти рукъ были отморожены еще въ дѣтствѣ. Въ этой костлявой, неуклюжей фигурѣ былъ умъ нѣжнаго мечтателя и сердце ребенка. У Германа была способность плакать, читая книгу, и вздыхать, смотря на прощальный блескъ умирающаго дня. Рядомъ съ этимъ у него была способность ни при какихъ условіяхъ не истратить лишняго гроша и отчищать собственноручно каждую пылинку съ своего платья, чтобы оно какъ можно дольше оставалось новымъ.

Ежедневно Германъ ходилъ въ одинъ и тотъ же часъ въ контору, гдѣ онъ служилъ. Домъ, гдѣ помѣщалась эта контора на Васильевскомъ острову, походилъ снаружи на опрятно содержимый острогъ. Гладкій, бѣлый, безъ украшеній, съ зелеными жалюзи, съ зелеными занавѣсочками въ широкихъ прямоугольныхъ окнахъ, онъ смотрѣлъ мертвымъ домомъ. Только бронзовая дощечка у парадныхъ совершенно гладкихъ дверей съ надписью «Контора Краузе и К°» говорила, что здѣсь живутъ или, по крайней мѣрѣ, бываютъ люди. Внутри домъ былъ еще скучнѣе. Правильныя, квадратныя, высокія комнаты, гладкія стѣны, конторки и стулья изъ полированнаго ясеня, все здѣсь было чинно, однообразно, неуютно. Въ трехъ комнатахъ, занимаемыхъ конторой, работало всего шесть человѣкъ. Всѣ они были молчаливы, озабочены, погружены въ свои счеты. Ради сбереженія платья, эти люди надѣвали во время занятій сверхъ рукавовъ сюртука черные коленкоровые нарукавники до локтей. Ради той же экономіи они подкладывали подъ себя холщевые платки, чтобы ихъ панталоны не дрались о плетенки стульевъ. Германъ былъ молчаливѣе и усерднѣе ихъ всѣхъ. Работа была сложная: ему приходилось вести переписку съ самыми отдаленными странами, съ самыми разнообразными фирмами; онъ долженъ былъ подводить милліонные итоги различнымъ товарамъ, устрицамъ и апельсинамъ, бархату и бронзѣ, желѣзу и пенькѣ. Сначала онъ часто задумывался подолгу надъ этими счетами. Кто поѣдаетъ столько фруктовъ, устрицъ,

сардинокъ? Кто носитъ эти драгоцѣнныя ткани, бархатъ, атласъ? Кто такіе и какъ живутъ всѣ эти представители фирмъ Дольфусовъ, Гоффовъ, Люи, Рюммелей? Отчего получается столько товаровъ, расходуется столько денегъ, а въ мірѣ что ни шагъ—то голодные и нищіе? Но, съ теченіемъ времени, всѣ эти цифры и имена сдѣлались чѣмъ-то отвлеченнымъ, не имѣющимъ содержанія и значенія; весь этотъ трудъ превратился въ нѣчто механическое, сталъ дѣлаться по извѣстному шаблону: для каждаго письма была своя готовая форма, для каждаго отвѣта были готовыя фразы; для каждой фактуры были впередъ заготовленные бланки; даже различные счета сводились какъ-то машинально, повидимому, безъ всякаго напряженія ума, какъ бы при участіи однихъ глазъ,—такъ грамотные люди пишутъ безъ ошибокъ, вовсе не думая о томъ, гдѣ надо поставить ѣ и гдѣ слѣдуетъ написать е, если бы рука сдѣлала описку—это бросилось бы въ глаза пишущему, какъ клякса, какъ пятно.

Дѣлая свое дѣло, Германъ по большей части думалъ совсѣмъ о другомъ, о своемъ домѣ, о своей семьѣ, о своемъ братѣ. Думая обо всемъ этомъ, онъ постоянно переходилъ къ общечеловѣческимъ вопросамъ, къ тому, что и большинство людей живетъ такъ же, что при такихъ условіяхъ дѣти часто гибнутъ, что долгъ честнаго человѣка стремиться спасти тѣхъ, кого можно спасти. Окончивъ обычныя занятія и не имѣя права уйти изъ конторы раньше опредѣленнаго часа, онъ читалъ. Любимыми его книгами были весь Шиллеръ, «Фаустъ» Гёте, философскія сочиненія, въ особенности сочиненія Шопенгауэра. Антипатію онъ питалъ изъ всѣхъ нѣмецкихъ писателей только къ Гейне, говоря, что Гейне смѣется надъ тѣмъ, надъ чѣмъ нужно рыдать. Смѣха сквозь слезы Германъ не понималъ и даже считалъ его чѣмъ-то неприличнымъ, называя такой смѣхъ «цинизмомъ». Не признавалъ онъ также чтенія газетъ и говорилъ, что это тѣ же домашнія и семейныя сплетни и дрязги, только не словесныя, а печатныя, измельчающія душу современнаго общества. Онъ говорилъ, что газеты измельчатъ сперва читателей, а потомъ уничтожатъ и серьезную литературу, такъ какъ ее некому будетъ читать. Мертвенная тишина, окружавшая его; сгорбленное положеніе надъ конторкой, стѣснявшее его грудную клѣтку и его свободное дыханіе; невеселая домашняя обстановка и выборъ мрачныхъ книгъ съ погибающими Донъ-Карлосами, Маріями Стюартъ, Луизами Миллеръ, Карлами Морами, Фіески, разочарован-

нымъ наукою и доходящимъ до отчаянія Фаустомъ, съ пессимистическими взглядами Шопенгауэра, видящаго счастіе въ небытіи, въ нирванѣ, все это развило въ Германѣ опредѣленные, иногда глубокіе, но крайне мрачные взгляды на жизнь. Величайшимъ благомъ жизни онъ считалъ смерть. Чтобы это благо сдѣлалось намъ еще дороже, чтобы оно доставило намъ истинное наслажденіе, нужно сознавать, что мы умираемъ за что-нибудь или за кого-нибудь,—за идею, за ближняго, за міръ. Кто умеръ такъ, просто потому, что кончилась жизнь, тотъ, конечно, тоже успокаивается отъ мученій, но зато онъ не предвкушаетъ передъ смертью блаженства сознанія, что онъ умираетъ за другихъ. Другого блаженства нѣтъ на землѣ, потому что всѣ другія наслажденія опошливаютъ, очерствляютъ или губятъ нравственно человѣка. Когда Герману пришлось работать до усталости, до болѣзни, ради брата, онъ почувствовалъ, что онъ впервые самъ испытываетъ это блаженство пожертвованія собою для другого. Можетъ-быть, онъ почувствовалъ бы себя даже несчастнымъ, если бы трудъ былъ менѣе тяжелъ, если бы этотъ трудъ не убивалъ его.

Его усилія не пропадали даромъ. Франсуа ловилъ знанія на лету и повеселѣлъ, такъ какъ его теперь не только не били, но даже не посылали добывать деньги въ мастерскихъ художниковъ или паясничаньемъ въ циркѣ. Онъ не понималъ, какъ произошла эта перемѣна въ отношеніяхъ къ нему, и, всегда порывистый, отдавался своимъ занятіямъ съ страстнымъ увлеченіемъ, какъ онъ отдавался всему, не зная чувства мѣры, не останавливаясь на половинѣ дороги.

Такъ прошло года два или три. Какъ-то разъ Франсуа случайно услышалъ за дверью крупный разговоръ отца и брата.

— Да подождите еще! Какой онъ концертантъ! Будетъ еще время, успѣете содрать шкуру,—съ несвойственною ему рѣзкостью говорилъ Германъ.—Ему покуда учиться нужно, а не хлѣбъ добывать. Мало я развѣ плачу вамъ и за него, и за себя.

— Да понимаешь ли ты, что теперь-то и побѣгутъ на него смотрѣть, пока малъ,—отвѣтилъ отецъ. — Подрастетъ, тогда не диво будетъ, что хорошо играетъ. А о своихъ подачкахъ ты лучше бы и не говорилъ. По рублямъ-то суешь, такъ на это васъ и не прокормишь. Вонъ комнату лучшую занимаете теперь...

— Ну, и еще, и еще буду давать, только не губите его

таланта. Ну, повезутъ его по разнымъ городамъ, станутъ показывать, будетъ онъ играть кое-какъ, а дорогое время ученья пропустить. Вы видите, я изъ силъ выбиваюсь, чтобы сдѣлать изъ него настоящаго музыканта, такъ вы хоть бы ради этого пощадили его...

— Стары мы съ матерью, чтобы ждать. Тоже поработали на васъ. Не великая важность, что мѣсяцъ-другой безъ ученья останется. Соберемъ деньги за концерты, тогда и учи его опять, сколько хочешь...

Весь блѣдный, Франсуа распахнулъ дверь, влетѣлъ, подобно урагану, въ комнату и неожиданно спросилъ отца:

— Куда вы меня еще везти хотите?

Отецъ смутился на минуту, но тотчасъ же оправился и ласково проговорилъ:

— Вотъ тутъ, Франсуа, одинъ музыкантъ ѣдетъ концерты давать, такъ онъ соглашается и тебя взять...

— Я поѣду,—отвѣчалъ мальчуганъ.

— Франсуа, а ученье?—съ испугомъ спросилъ Германъ.

— Я и въ это время буду продолжать играть,—отрывисто сказалъ Франсуа.

— Это ни къ чему не поведетъ,—замѣтилъ Германъ.

— Ахъ, оставь меня въ покоѣ!—запальчиво крикнулъ Франсуа, топнувъ ногою.—Хотятъ, чтобы ѣхалъ, ну, и поѣду.

Германъ зналъ, что значитъ, когда вспылитъ Франсуа, тутъ ужъ никакіе доводы не образумятъ его, и только полетитъ на полъ нѣсколько стакановъ да скомкается нѣсколько тетрадей. Германъ покорился молча печальному рѣшенію...

Черезъ двѣ недѣли были заключены условія съ путешествующимъ пѣвцомъ и піанистомъ концертантомъ, скорѣе ловкимъ мошенникомъ, чѣмъ артистомъ, много говорившимъ о своей родной Италіи, при чемъ казалось, что эта Италія находится очень близко отъ жидовскаго квартала гдѣ-нибудь въ Гамбургѣ или Франкфуртѣ. Съ нимъ мальчикъ отправился въ путешествіе. Путешествіе длилось три мѣсяца. Ѣздили преимущественно по маленькимъ нѣмецкимъ городамъ, старались поспѣть на ярмарки. Концертантъ дѣлалъ все, чтобы сколотить копейку. Онъ печаталъ трехъ-аршинныя афиши, гдѣ крупными буквами значилось:

Дитя-Феноменъ, скрипачъ 10 лѣтъ.

Франсуа было уже тринадцать лѣтъ. На другихъ афишахъ печаталось:

Въ послѣдній разъ небывалый концертъ
Скрипача-Малютки.

Послѣдній разъ повторялся съ прибавкою на афишѣ объясненія, что послѣдній концертъ повторяется по востребованію публики. Кромѣ концертовъ концертантъ сталъ возить Франсуа въ частные дома богатыхъ помѣщиковъ, фабрикантовъ, коммерсантовъ. Мальчикъ быстро сообразилъ, что это дѣлается за деньги, и потребовалъ своей доли. Произошла бурная сцена. Франсуа объявилъ наотрѣзъ, что онъ не будетъ играть въ частныхъ домахъ, такъ какъ въ контрактѣ этого условія не было.

— Да какъ ты смѣешь, Halunke!—крикнулъ концертантъ и размахнулся рукою, чтобы дать пощечину мальчугану.

— Только смѣйте! — закричалъ въ бѣшенствѣ Франсуа, отскочивъ отъ него.

Онъ схватилъ со стола ножъ и всталъ въ оборонительную позу. Концертантъ отступилъ отъ него.

— Ты что же это съ ножомъ лѣзешь? Убить хочешь?— крикнулъ онъ.

— И убью!—отвѣтилъ мальчуганъ, задыхаясь отъ гнѣва.

— Да вѣдь ты въ тюрьмѣ сгніешь!

— Вамъ тоже не сладко будетъ зарѣзанному-то

— Чертенокъ! Брось ножъ!

— А вы съ кулаками не лѣзьте!

— Ну, хорошо! Поговоримъ...

Начался торгъ. Пришли къ соглашенію, что за игру на частныхъ вечерахъ четверть платы пойдетъ прямо въ руки Франсуа. Дѣло уладилось къ обоюдному удовольствію обѣихъ сторонъ. У Франсуа начала образовываться порядочная сумма денегъ.

Онъ оказывался такимъ же жаднымъ до нихъ, какъ его патронъ. Патронъ держалъ его впроголодь, но Франсуа, несмотря на дѣтскій аппетитъ, не тратилъ ни гроша изъ своихъ денегъ на лакомства или добавленіе къ столу, отпускаемому концертантомъ. Ложась спать въ тѣсномъ и грязномъ помѣщеніи, занимаемомъ имъ, онъ пересчитывалъ свои деньги. Ему все казалось, что ихъ мало, что ихъ могло бы быть больше. Эти три мѣсяца произвели рѣзкую перемѣну въ мальчикѣ. Онъ выросъ и возмужалъ. Онъ не былъ никогда рѣзвымъ и говорливымъ ребенкомъ; теперь же его сдержанность дошла до послѣднихъ предѣловъ. Онъ къ ней привыкъ, вращаясь среди чужихъ людей, смотрѣвшихъ

на него свысока, когда онъ появлялся не на эстрадѣ, не на подмосткахъ. Онъ понялъ, что онъ безъ этого пьедестала—ничто. Въ то же время онъ привыкъ и самъ смотрѣть сверху внизъ на людей, выходить не сразу на вызовы, не особенно низко кланяться на аплодисменты, выслушивать похвалы равнодушно, какъ нѣчто привычное. Онъ сознавалъ уже, что, стоя на эстрадѣ, онъ выше этихъ людей. Они просто люди, а онъ геній. Иногда онъ рѣшался на рѣзкія самолюбивыя выходки. Въ домѣ одного «господина совѣтника» его оставили на ужинъ и указали ему на отдѣльный столъ: онъ поклонился и ушелъ. Черезъ два дня его пригласили играть въ тотъ же домъ, онъ сказалъ своему патрону, что онъ не поѣдетъ, и не поѣхалъ. Хозяйка этого дома, встрѣтивъ его на слѣдующій день на концертѣ въ домѣ «господина президента», спросила его, отчего онъ не пріѣхалъ наканунѣ къ нимъ.

— Не хотѣлъ,—отвѣтилъ онъ коротко и рѣзко.

— Но я надѣюсь, что вы будете у насъ еще играть,—сказала она.

— Нѣтъ, не буду,—отвѣтилъ онъ еще болѣе рѣзко.

Его патронъ вмѣшался въ разговоръ и объяснилъ «госпожѣ совѣтницѣ», что «молодой человѣкъ» былъ оскорбленъ у нея въ домѣ, гдѣ его хотѣли посадить ужинать за отдѣльный столъ.

— Онъ не привыкъ къ такому обращенію даже въ Россіи!—важно замѣтилъ концертантъ.—Онъ артистъ и сынъ артиста, очень цѣнимаго въ Россіи.

— Ахъ, это вышло просто недоразумѣніе!—воскликнула сконфуженная «госпожа совѣтница» и обратилась къ Франсуа:—Ну, помиримтесь. Я пришлю завтра за вами экипажъ и своего сына...

Франсуа снисходительно простилъ ее...

Онъ началъ мало-по-малу входить въ свою роль геніальнаго ребенка и выслушивалъ, какъ нѣчто должное, похвалы окружающихъ. Его хвалили не за одну игру. Имъ восхищались и потому, что онъ былъ красавецъ. Его цѣловали барыни и дарили ему золотыя бездѣлушки, запонки, цѣпочки, часы. Онъ все пряталъ съ алчностью стараго скряги.

— Это все будутъ деньги,—говорилъ онъ, разсматривая подарки.

Когда черезъ три мѣсяца онъ вернулся домой, онъ наскоро поздоровался съ отцомъ и матерью, оставивъ ихъ разсчитываться и ругаться съ концертантомъ, а самъ прошелъ къ брату и, бросившись къ нему на шею, воскликнулъ:

— Ну, ты теперь изъ-за меня не умрешь! Вотъ деньги, вотъ вещи! Прячь все! Изъ этого будетъ чѣмъ платить учителю и за себя...

Братъ недоумѣвалъ.

— Да, да, я все узналъ... я много думалъ... я понялъ. Это ты изъ-за меня такъ работаешь, не спишь ночей... Ты и учителямъ платилъ, ты и за то платилъ, чтобы меня не посылали ни къ художникамъ, ни въ циркъ... О, если бы ты зналъ, что я тогда хотѣлъ сдѣлать, когда я все узналъ...

Братъ вопросительно взглянулъ на него.

— Я хотѣлъ разбить эту проклятую скрипку и никогда, никогда больше не играть... Да, да, я бы и сдѣлалъ это... Лучше ее разбить, лучше никогда не играть, только бы ты жилъ!.. На что мнѣ этотъ проклятый даръ безъ тебя?

Братъ молча сжалъ его въ своихъ объятіяхъ и прижался тонкими, блѣдными, пересохшими губами къ его свѣженькимъ, розовымъ губамъ. Оба они, каждый по-своему, были экзальтированы, нервны, склонны къ мелодрамѣ...

IV.

Какъ въ глубокой синевѣ неба проплывали легкія облачка, такъ проносились эти воспоминанія теперь въ головѣ Франсуа. Когда въ его памяти промелькнула послѣдняя сцена, когда онъ вспомнилъ, какъ онъ сказалъ брату, что ему ненуженъ этотъ проклятый даръ, если братъ умретъ, его лицо вдругъ запылало румянцемъ.

— Проклятый даръ, проклятый даръ! Да развѣ онъ одинъ у меня! Мнѣ дано много этихъ проклятыхъ даровъ!—прошепталъ онъ, припомнивъ только что случившееся въ его жизни событіе.

Онъ бѣжалъ сюда именно затѣмъ, чтобы забыть это событіе, чтобы утомить себя физически и заглушить усталостью то, что взволновало его юношескую душу.

Послѣдній годъ былъ для него счастливымъ годомъ. Онъ началъ дѣлаться уже не провинціальною извѣстностью, а столичной. Его имя повторялось въ кружкахъ любителей музыки, ему пророчили въ будущемъ славу, его наперерывъ приглашали на разные концерты и въ музыкальныя собранія. Успѣхи начинали его опьянять, и онъ гнался за ними, сіяя гордостью и радостью, когда его окружала рукоплещущая толпа, когда люди наперерывъ старались услужить ему, завербовать его въ число своихъ знакомыхъ. Онъ жадно ловилъ шопотъ одобренія, онъ волновался, слыша похвалы

своему таланту, своей красотѣ. Красотѣ? Да. О ней ему говорили съ дѣтства, ею восхищались уже въ то время, когда онъ не понималъ, чему удивляются эти люди, мужчины и женщины, осматривая его, какъ какое-то чудо. Теперь онъ сознавалъ, что на немъ все чаще и чаще останавливаются женскіе взгляды съ какимъ-то страннымъ смущавшимъ его выраженіемъ, и онъ невольно опускалъ глаза. Но, тѣмъ не менѣе, онъ заботился о фасонѣ своихъ бархатныхъ пиджаковъ, о бѣлизнѣ своихъ откидныхъ воротничковъ, о красотѣ бантовъ бѣлыхъ галстуковъ. Онъ хотѣлъ быть красивымъ, изящнымъ, ловкимъ. И онъ былъ такимъ. Это признавали всѣ и въ особенности женщины. Иногда, среди массы рукопожатій, онъ ощущалъ какія-то страстныя рукопожатія женскихъ рукъ и, поднимая глаза, видѣлъ передъ собой лица, опять и опять смущавшія его страстными взглядами. Наконецъ, онъ помнитъ вечеръ: одна молодая женщина, нарядная, прекрасная, вся пропитанная ароматомъ фіалокъ, предложила ему довезти его съ концерта домой въ своей каретѣ. У него разгорѣлось теперь лицо отъ этого воспоминанія, губы сдѣлались сухи, ему стало жутко и сладко. Въ воображеніи же все ярче и ярче рисовалась картина первыхъ женскихъ поцѣлуевъ, ласкъ, страстныхъ признаній. Въ немъ, почти еще ребенкѣ, никогда даже еще не мечтавшемъ о любви, вызвали сладострастныя чувства, пробудили животные инстинкты, научили его разврату. Онъ былъ тогда похожъ на пьянаго, на обезумѣвшаго человѣка, онъ весь горѣлъ, какъ въ огнѣ, и въ то же время онъ чувствовалъ такое безконечное блаженство. Страстный по натурѣ, отдавшійся съ болѣзненнымъ увлеченіемъ музыкѣ, онъ теперь нашелъ новый источникъ удовлетворенія своей страсти и жадно припалъ къ этому источнику. Весь еще полный этого блаженства, сіяющій и радостный, вернулся онъ домой и бросился въ комнату, гдѣ онъ жилъ съ братомъ. Ему хотѣлось и плакать, и смѣяться, и сжать въ своихъ объятіяхъ брата съ крикомъ:

— Германъ, Германъ, какъ я счастливъ!

Онъ шумно распахнулъ дверь и увидалъ брата полулежащаго на креслѣ съ закрытыми глазами, съ помертвѣлымъ лицомъ, съ похолодѣвшими руками. На столѣ лежалъ платокъ съ пятнами крови, около кресла на полу были кровавыя пятна.

— Германъ, Германъ, что съ тобой?—крикнулъ Франсуа, блѣдный, какъ полотно.—Ты раненъ?

— Воды!—слабо проговорилъ братъ.

Франсуа быстро принесъ воды.

— Не волнуйся... Это ничего... Пошла кровь горломъ, сдѣлалось дурно... Это пустяки!—шепталъ братъ Германъ, глотая воду.

Онъ силился улыбнуться.

— Господи, какой я негодяй! Ты изъ-за меня убиваешь себя работой, а я... а я...

Франсуа смолкъ и порывисто припалъ къ рукѣ брата губами.

— Что ты, голубчикъ!—заволновался братъ.

— Прости меня, прости, что я такой эгоистъ!—страстно говорилъ юноша.—Вотъ я проклиналъ отца и мать, что они эксплоатируютъ меня, а я самъ... Развѣ я не высасываю твою кровь, не убиваю тебя...

— Франсуа!

— Нѣтъ, нѣтъ, будь проклятъ этотъ даръ!.. Къ чорту музыку, къ чорту все, ненужное никому!

Братъ Германъ сжалъ руку Франсуа и съ мягкой улыбкой проговорилъ ему:

— Дитя, ты самъ не знаешь, что̀ ты говоришь... Въ мірѣ все такъ и должно идти: тысячи мелкихъ эгоистовъ стараются эксплоатировать всякую чужую силу и тысячи честныхъ тружениковъ должны погибнуть въ трудѣ, чтобы спасти и воспитать одного генія...

Франсуа широко открылъ глаза, и ему стало точно жутко, точно холодно? Неужели братъ убѣжденъ въ истинѣ этихъ взглядовъ. Неужели именно такъ устроенъ міръ? Нѣтъ, не можетъ быть, у брата такъ, какъ-то случайно, сорвались съ языка эти фразы. Но вотъ ему вспоминаются дни, когда братъ былъ боленъ и почти не выходилъ изъ дома, Франсуа проводилъ все время около его постели, и больной говорилъ съ нимъ, нерѣдко возвращаясь къ той же темѣ. Когда Франсуа сознался ему въ томъ, что̀ съ нимъ случилось, братъ Германъ замѣтилъ:

— Та же эксплоатація чужихъ силъ, чужихъ способностей, чужихъ дарованій. Только ты береги себя. Такихъ женщинъ найдется много. Имъ нужны твои ласки, потому что ты молодъ, здоровъ, красивъ собою. Имъ нѣтъ и дѣла до того, что на нихъ ты можешь растратить все, и здоровье, и молодость, и талантъ. Не мало геніевъ погибло этимъ путемъ...

Потомъ онъ сталъ развивать цѣлую теорію этой эксплоатаціи людьми чужой силы, въ какомъ бы видѣ она ни про-

вылась. Лемы эксплоатировали красоту и правильное тѣлоложеніе Франсуа. Художники тоже эксплоатировали въ этомъ отношеніи ребенка, не справляясь, не устаетъ ли онъ, не оябнетъ ли на ихъ сеансахъ, не вредитъ ли это его развитію, зне отнимаетъ ли времени у ученья. Потомъ у мальчика явились музыкальныя способности, и всѣ, кто могъ, на свой ладъ, стали эксплоатировать эти способности, не заботясь объ ихъ развитіи и усовершенствованіи; если же объ этомъ и заботились, то только во имя бо́льшихъ барышей. Потомъ юноша подросъ красавцемъ, и нашлась уже женщина, воспользовавшаяся его красотой, хотя онъ былъ чуть не мальчикъ. Что ей за дѣло до послѣдствій этого для него; ей хотѣлось насладиться прелестью первыхъ страстныхъ поцѣлуевъ неопытнаго юноши, вотъ и все. И на каждомъ шагу встрѣчается то же. Сотни и тысячи женщинъ губятъ юношей, потому что эти юноши красивы. Сотни и тысячи мужчинъ дѣлаютъ то же относительно женщинъ. Эта эксплоатація чужихъ силъ во имя эгоистическихъ стремленій повторяется во всѣхъ видахъ, во всѣхъ сферахъ. Съ другой же стороны, никакія геніальныя способности не могутъ развиться, если для генія не принесутъ сотенъ жертвъ простые малодаровитые труженики, чернорабочіе. Что вышло бы изъ способностей Франсуа, если бы онъ бѣгалъ въ школу и на уроки, дѣлалъ бы черную работу и терпѣлъ бы лишенія, не имѣлъ бы учителей и не имѣлъ бы возможности въ будущемъ кончить свое образованіе за границей? Простой самоучка-музыкантъ, человѣкъ съ большими способностями и съ полнымъ отсутствіемъ музыкальныхъ знаній, техники, развитія. Братъ Германъ принесъ ему въ жертву себя, но не онъ одинъ долженъ ему принести себя въ жертву. Тысячи тружениковъ должны работать въ потѣ лица, чтобы онъ, Франсуа, могъ собрать на концертѣ деньги въ свою пользу и продолжать свое музыкальное развитіе, не занимаясь чернымъ трудомъ.

— Да, тысячи людей эксплоатируютъ силу, и эта сила эксплоатируетъ, въ свою очередь, тысячи людей. Это вѣчный законъ природы!—говорилъ Германъ.—Я много объ этомъ думалъ, я пришелъ къ убѣжденію, что этотъ законъ господствуетъ вездѣ и во всемъ, что иначе не можетъ и быть.

Эти слова, эти мысли молотомъ стучали въ головѣ Франсуа.

Неужели братъ правъ? Наужели таковы законы природы? Вотъ она, эта природа, вѣчно живая, вѣчно обновляющаяся,

никогда не умирающая. Какъ благодатно дышитъ она ему въ лицо свѣжимъ, ароматнымъ воздухомъ. Какой гармоніей она услаждаетъ его слухъ. Нѣтъ, не могутъ быть у нея такіе страшные законы. Эти законы выдумали люди. Можно жить иначе, не эксплоатируя другихъ, не позволяя эксплоатировать себя. Онъ хотѣлъ вѣрить въ это и вѣрилъ въ эту минуту. Онъ станетъ самъ давать уроки, чтобы не жить на счетъ брата, изнемогающаго подъ бременемъ труда за двоихъ. Ему будутъ платить хорошія деньги. Въ то же время онъ будетъ продолжать свое образованіе, свое развитіе. Онъ чувствуетъ, что онъ сила, и онъ будетъ этой силой, сдѣлается ею, не тяготя никого. Онъ скопитъ деньги и поѣдетъ за границу кончать образованіе и захватитъ съ собой брата. Да, непремѣнно захватитъ его, чтобы поправить, залѣчить его недуги, пріобрѣтенные имъ ради него. Его ждетъ слава, счастье, рукоплесканія и поклоненіе толпы. Вотъ ярко освѣщенная зала, въ ней собрались лучшіе представители цивилизованнаго міра, всѣ они ждутъ только его выхода, онъ выходитъ и стономъ стоятъ въ залѣ рукоплесканія и крики, къ его ногамъ летятъ лавровые вѣнки и цвѣты. Онъ сладко улыбался, видя этотъ радужный сонъ. Его грудь дышала ровно и спокойно. Молодость и природа сдѣлали свое дѣло и разогнали мрачныя думы, успокоили разстроенные нервы...

— Чортъ возьми! Комары спать помѣшали! Всего искусали подлецы!—послышалось вдругъ надъ его ухомъ.

Онъ лѣниво открылъ глаза. Его юный товарищъ уже сидѣлъ и съ ожесточеніемъ скребъ ногтями лицо и руки. Франсуа тоже поднялся и сталъ протирать глаза, точно не сознавая, какъ онъ очутился прямо изъ блестящаго зала здѣсь въ лѣсу.

— И муравьевъ здѣсь сколько, страсть!—продолжалъ товарищъ.—Вонъ сколько передавилъ ихъ,—указалъ онъ прутикомъ на сухую почву.—Къ платью даже пристали. Тоже хорошее мѣсто выбрали. Чуть не на муравейникѣ улеглись...

Франсуа совсѣмъ очнулся и поднялся съ земли во весь ростъ. Его взглядъ какъ-то невольно упалъ на примятое имъ мѣсто на землѣ. Все, что передумалось имъ въ послѣдніе дни, воскресло снова. Въ головѣ опять, какъ молотъ, стучала мысль, что въ мірѣ дѣйствительно одни эксплоатируютъ въ свою пользу силу, а эта сила, въ свою очередь, эксплоатируетъ другихъ, что если комары высасываютъ кровь изъ человѣка, то онъ въ свою очередь ради своихъ удобствъ

на каждомъ шагу давитъ и душитъ другія живыя созданія, какихъ-нибудь несчастныхъ муравьевъ. Это законъ природы. Легко успокаивать себя сознаніемъ, что иначе не можетъ быть, что этого закона нельзя измѣнить. Но какъ примириться съ мыслью, что нужно высосать послѣднюю каплю крови изъ любимаго брата, чтобы сдѣлаться геніальнымъ артистомъ?

Товарищъ весело напомнилъ ему, что пора идти въ обратный путь, и предложилъ предварительно выкупаться. Они стали спускаться по извилистой и неровной песчаной дорогѣ, проложенной въ лѣсу по направленію къ большому озеру. Молодой спутникъ Франсуа шелъ тихо и задумчиво. Они дошли до озера, раздѣлись и бросились въ воду. Кругомъ не было ни души, зеркальная поверхность озера, окруженнаго темнозеленымъ вѣнцомъ лѣса, была невозмутима; ихъ голоса, всплески ихъ рукъ и ногъ отдавались какъ-то гулко въ прозрачномъ воздухѣ и полномъ затишьѣ. Франсуа мѣрно плылъ, сильно подвигаясь впередъ. Въ его горячей, вѣчно работавшей головѣ пронеслась мысль, что вотъ стоитъ отплыть подальше, не хватитъ больше силъ, судороги сведутъ ноги, пойдешь ко дну и конецъ всѣмъ сомнѣніямъ, всѣмъ вопросамъ. Да, достаточно двухъ-трехъ минутъ и все кончится. Онъ инстинктивно попробовалъ достать ногами до дна и вдругъ ушелъ съ головой въ воду. Черезъ мгновенье онъ былъ уже снова на поверхности воды и весь блѣдный, охваченный ужасомъ, брызгая торопливо руками и ногами, спѣшилъ доплыть до берега. Была минута, когда ему показалось, что онъ не доплыветъ, никакъ не доплыветъ; ему казалось, что его руки и ноги перестаютъ уже повиноваться ему; онъ сталъ дѣлать страшныя усилія, чтобы не утонуть, готовый крикнуть о помощи.

— Фу, чуть не утонулъ!—отрывисто въ волненіи проговорилъ онъ, выскочивъ изъ воды и съ трудомъ переводя духъ.

Его всего охватила страстная жажда жить—жить, во что бы то ни стало.

— Ты не балуй, здѣсь глубоко! Пропадешь ни за грошъ!—крикнулъ онъ товарищу, не одѣваясь, присѣвъ на берегу и отдыхая на пескѣ, залитый лучами солнца.

V.

— Ты совсѣмъ ребенокъ, Франсуа, потому ты и мечтаешь объ урокахъ, о томъ, что ты наживешь ими деньги,—говорилъ Германъ, слушая планы Франсуа, возвратившагося

домой.—Правда, твоей игрой восхищаются многіе, но въ учителя тебя не возьметъ еще никто, или возьмутъ тѣ, кто платитъ за уроки гроши. Ты слишкомъ молодъ для роли учителя.

— А вотъ увидимъ,—отвѣтилъ Франсуа.

— Кромѣ того, уроки отнимутъ много времени, а тебѣ нужно учиться и учиться самому. Что ты покуда? Въ сущности, ты вѣдь еще очень неопытный виртуозъ. Тобой восхищаются, потому что ты играешь замѣчательно хорошо для своихъ лѣтъ и для своихъ познаній. Кромѣ того, ты подкупаешь наружностью. За нее прощаютъ многое... Но если ты будешь такъ же играть въ двадцать пять, въ тридцать лѣтъ—тебя заслонятъ сотни, тысячи другихъ музыкантовъ.

— Я же не перестану учиться.

— Полно! Повѣрь мнѣ, кто началъ учить, тотъ пересталъ учиться.

— Это тоже законъ природы?—шутливо спросилъ Франсуа.

— Да, общая участь людей... Ты знаешь, я даже противъ концертовъ, противъ публичной игры въ твои годы... Эти дешевые успѣхи кружатъ голову и приводятъ къ убѣжденію, что ты сдѣлалъ все, что тебѣ больше не къ чему стремиться... Если бы у тебя были дюжинныя способности, я ничего не имѣлъ бы ни противъ уроковъ, ни противъ концертовъ, а изъ тебя можетъ выйти не простой салонный виртуозъ, но артистъ въ полномъ смыслѣ этого слова. Для этого же нужно знать многое...

Германъ сталъ развивать передъ братомъ свой взглядъ на настоящаго музыканта-художника. Тутъ мало знать теорію и практику музыкальнаго искусства, тутъ нужно и общее образованіе, знаніе исторіи и не только исторіи музыки, но всеобщей исторіи, тутъ нужно знаніе взглядовъ на искусство извѣстныхъ критиковъ, тутъ нужна чисто литературная подготовка, потому что музыкантъ долженъ быть знакомъ и съ поэзіей.

— Быть только виртуозомъ,—говорилъ онъ:—это съ одной стороны жить только для сегодняшняго дня и жить безъ увѣренности въ завтрашній день. Кто тебѣ поручится, что твоя рука всегда будетъ такъ же вѣрна, какъ теперь, что какая-нибудь случайность не парализуетъ твоей силы? И не сведется ли на простое ремесло твое искусство, когда ты будешь только выразителемъ чужихъ идей, чужихъ чувствъ? Не явится ли у тебя мучительное желаніе выразить свою

мысль, сказать свое слово? Не будетъ ли эта мысль лишена глубины, не будетъ ли это слово лишено выразительности, если ты будешь мало или односторонне подготовленъ?

Онъ усмѣхнулся своею добродушной, мягкой улыбкой.

— Впрочемъ, что же я тебя убѣждаю,—сказалъ онъ.— Если ты точно артистъ въ душѣ, ты и мѣсяца не выдержишь, чтобы не стремиться все дальше и дальше и чтобъ не отказаться отъ уроковъ.

— Когда безъ нихъ нельзя обойтись?

— Да, даже и тогда... Они тебѣ покажутся хуже каторги, хуже пытки, и ты скорѣе будешь голодать и учиться, чѣмъ учить изъ-за куска хлѣба.

Франсуа нахмурилъ брови.

— Учатъ азбукѣ простые смертные,—сказалъ Германъ:— это наше дѣло, это черное дѣло...

По лицу брата Германа опять скользнула добродушная усмѣшка.

— И жаль мнѣ того ученика, котораго ты будешь учить.

— Это почему?

— Ты его въ концѣ концовъ побьешь.

— Что ты выдумываешь! У тебя все какіе-то особенные законы природы и предвзятыя рѣшенія!

— Это вѣрно, мой милый, и я вовсе не упрекну тебя за это. Это очень естественно. Онъ будетъ терзать твой слухъ диссонансами, тебя будетъ бѣсить его непонятливость, тебѣ захочется, чтобы онъ сразу сдѣлался такимъ же артистомъ, какъ ты, могъ быстрыми шагами идти съ тобою все дальше и дальше. Если же этого не случится, если ты мало-по-малу пріучишься быть терпѣливымъ, втянешься въ это дѣло и сдѣлаешься, наконецъ, ремесленникомъ, такъ какъ настоящій учитель долженъ быть простымъ ремесленникомъ, то горе тебѣ! Ты перестанешь быть тѣмъ, что ты есть или чѣмъ ты можешь быть. Тебѣ, можетъ-быть, покажется страннымъ, что я тебѣ скажу, но это истина. Я вотъ уже нѣсколько лѣтъ читаю корректуру и, каждый день просматривая безграмотный наборъ и безграмотныя рукописи, я иногда становлюсь втупикъ, какъ правильно написать то или другое слово. Провѣряя массы ученическихъ задачъ по математикѣ, я на сотой задачѣ начинаю не сразу усматривать ошибки и соображать, какой нужно подвести итогъ. Сдѣлавшись ремесленникомъ, учителемъ, ты потеряешь частицу тонкости слуха и быстроты его, если можно такъ выразиться.

Но Франсуа все-таки не отказался отъ своего плана и взялъ первый попавшійся урокъ.

Возвратившись домой уже со второго урока, онъ назвалъ своего ученика тупицей. Послѣ третьяго урока онъ говорилъ, что ему дали учить какого-то идіота. На четвертомъ урокѣ онъ такъ затопалъ на ученика ногами, что тотъ разревѣлся. Франсуа самъ бѣсился на себя, но переломить себя, сдержаться отъ вспышекъ не могъ. Но этого мало было. Онъ самъ сознавалъ, что онъ слишкомъ торопится впередъ, слишкомъ нетерпѣливо подгоняетъ ученика, еще не усвоившаго ничего основательно. Это удивляло даже его самого, такъ какъ онъ самъ, изучая что-нибудь, выказывалъ необыкновенное терпѣніе, настойчивость и упорство, не отступая ни передъ какими трудностями, пока не одолѣвалъ ихъ. Онъ могъ сотни разъ повторять одно и то же, пока не добивался до виртуозной передачи труднаго пассажа. Занимаясь же съ ученикомъ, онъ не столько заботился о томъ, чтобы тотъ основательно изучилъ извѣстное правило, сколько о томъ, чтобы тотъ прошелъ эту часть музыкальной азбуки. Сначала онъ еще говорилъ дома объ ученикѣ; потомъ, когда братъ спрашивалъ у него, что дѣлаетъ его ученикъ, онъ отвѣчалъ коротко и презрительно:

— Ничего, пилитъ себѣ!

Онъ чувствовалъ, что онъ ненавидитъ этого ученика, какъ личнаго врага. Ему точно доставляло удовольствіе, наслажденіе возможность доказать этому врагу его бездарность, его тупость. Наконецъ, брату Герману показалось нѣсколько страннымъ, что Франсуа совсѣмъ пересталъ упоминать объ ученикѣ и, повидимому, даже не всегда ходилъ на урокъ.

Германъ спросилъ его, что подѣлываетъ его ученикъ.

— Я вздулъ подлеца смычкомъ по головѣ и ушелъ, — отвѣтилъ Франсуа.

Братъ усмѣхнулся.

— И отлично сдѣлалъ, — сказалъ онъ.

Франсуа немного изумился.

— Я говорилъ тебѣ, что ты слишкомъ артистъ, чтобы быть учителемъ, — отвѣтилъ Германъ: — да и изъ этого мальчишки, вѣроятно, ничего бы не вышло.

— Почему ты такъ думаешь?

— А вотъ, помнишь, когда тебя въ первый разъ прибилъ твой учитель, ты проплакалъ всю ночь и повторялъ только одну фразу: «теперь онъ не станетъ меня больше учить!»

Если бы онъ точно не пришелъ на слѣдующій урокъ, ты побѣжалъ бы самъ просить его со слезами продолжать ученье. Я тогда же рѣшилъ, что музыка твое истинное призваніе. Только оно побуждаетъ человѣка переносить все и жертвовать всѣмъ. А твой ученикъ, вѣроятно, только радуется, что отдѣлался отъ колотушекъ...

Такъ окончились попытки Франсуа давать уроки, но онъ не отказался отъ мысли участвовать въ концертахъ и въ музыкальныхъ вечерахъ. Напротивъ того, онъ не пропускалъ ни одного подобнаго случая. Цѣль была одна: нажить деньги, деньги и деньги. Онъ торговался, какъ маклакъ; онъ пряталъ эти деньги, какъ скряга; онъ грызся изъ-за нихъ съ отцомъ и матерью, какъ грызется собака, отстаивая передъ другими псами попавшую ей въ лапы кость. Что онъ умѣлъ быть кулакомъ, тутъ не было ничего удивительнаго: онъ былъ вскормленъ и вспоенъ своими отцомъ и матерью; удивительнѣе было то, что онъ показалъ не юношескую силу характера, не тратя лишняго гроша, лишая себя часто необходимаго. Вечеромъ, когда онъ ложился спать, онъ мысленно считалъ свои капиталы, и съ свѣтлой улыбкой думалъ: «и я, и братъ скоро уѣдемъ за границу; я тамъ закончу образованіе; онъ снова воскреснетъ, мы будемъ счастливы». Иногда онъ приходилъ въ такой восторгъ, что начиналъ горячо цѣловать полуспящаго брата, шепча ему:

— Погоди, мы будемъ счастливы!

Братъ добродушно улыбался, но онъ сильно кашлялъ.

VI.

Франсуа казалось, что у него все еще мало денегъ для путешествія. День отъѣзда онъ все еще отдалялъ, желая уѣхать съ болѣе достаточными средствами, хотя, повидимому, онъ могъ уѣхать хоть на слѣдующій день, такъ какъ онъ даже списался съ разными тетками и дядями, живущими за границею. Въ Италіи, во Франціи, вездѣ онъ и его братъ могли на первое время найти если не даровой, то дешевый пріютъ. Герману становилось все хуже и хуже. Наконецъ Германъ не выдержалъ и сказалъ Франсуа:

— Нѣтъ, довольно ждать, торопись уѣхать... Мои дни сочтены, а твоя жизнь впереди. Не уѣдешь при моей жизни, послѣ будетъ труднѣе вырваться изъ этого ада... У тебя много страстности, но у тебя нѣтъ силы воли, твердости характера. Когда тебѣ станутъ противорѣчить, ты можешь

убить другихъ и себя, но твердо поставить на своемъ не сумѣешь. Тебѣ нужно уѣхать отсюда до моей смерти...

— Германъ, голубчикъ, что ты говоришь?—воскликнулъ Франсуа.—Развѣ я могу оставить тебя? Развѣ я допущу тебя умереть? Ты еще будешь жить...

Германъ улыбнулся.

— Хорошо, хорошо, но торопись... Здѣсь болѣе нельзя оставаться... Безъ меня они опутаютъ тебя сѣтями.

— Ну, этого-то не будетъ... не удастся сдѣлать...

— Ребенокъ! Развѣ ты можешь предвидѣть все, на что они способны... Если ты не послушаешь ихъ, они найдутъ кого-нибудь, кого ты послушаешь...

— Найдутъ? Кого?

— Развѣ мало женщинъ!.. Нѣтъ, уѣзжай скорѣе!..

— Ну, хорошо! Кое-что у меня сколочено, свѣтъ не клиномъ сошелся; да намъ и хватитъ на первое время... Я списался съ тетушкой Мари въ Парижѣ... Дядя Антоніо пишетъ, что намъ всегда готово даровое помѣщеніе въ монастырѣ...

Германъ съ улыбкой замѣтилъ:

— Извѣстно, на землѣ нѣтъ такого уголка, гдѣ бы у Ломовъ не было родныхъ или друзей... Черезъ однѣхъ кокотокъ со всѣмъ міромъ перероднились...

Потомъ онъ серьезно прибавилъ:

— Но для тебя это счастье... Артистъ безъ знакомствъ и связей гибнетъ...

О себѣ онъ только думалъ: «мои же дни уже сочтены».

Франсуа сталъ собираться въ дорогу, все-таки вполнѣ не сознавая, какъ опасно положеніе Германа. Нѣсколько лѣтъ тотъ выносилъ пытки, оберегая его, и заговорилъ объ отъѣздѣ, когда у него самого не стало силъ. Только послѣ, только отрывочно узналъ Франсуа, что дѣлалось дома въ эти годы. Въ эти годы Германъ былъ неусыпнымъ стражемъ спокойствія Франсуа. Онъ былъ громоотводомъ, отводившимъ отъ него удары семейныхъ грозъ. Каждый разъ, выдержавъ битву съ отцомъ и съ матерью за то, что Франсуа мало даетъ денегъ, что онъ не хочетъ искать мѣста въ театрѣ, что онъ хочетъ ѣхать за границу, Германъ думалъ: «Если бы онъ вынесъ половину этихъ бурь, онъ не могъ бы учиться спокойно».

Потомъ ему приходило въ голову:

— Если бы онъ зналъ, что я выношу за него, онъ давно разбилъ бы свою скрипку, бросилъ бы свое фортепіано

и не учился бы больше, чтобъ спасти меня отъ этихъ сценъ.

Иногда ему приходила въ голову мысль уговорить брата ѣхать за границу безъ него, но тотчасъ же онъ рѣшалъ, что братъ одинъ не поѣдетъ.

— Если бы я хоть притвориться могъ здоровымъ, а такъ онъ не оставитъ меня.

Онъ рѣшился заговорить объ отъѣздѣ только тогда, когда онъ почувствовалъ въ груди смерть.

— Все равно, дорого я не обойдусь ему теперь, не буду долго тяготить его, а тамъ хоть умру спокойно, не видя домашнихъ сценъ и зная, что онъ свободенъ...

Братья рѣшились ѣхать въ Италію, заѣхавъ сперва на недѣльку въ Парижъ. Франсуа непремѣнно хотѣлъ взглянуть на эту столицу Европы. Потомъ братья должны были пробраться въ Римъ. Тамъ Франсуа могъ учиться, а Германъ поправить здоровье. Дядя Антоніо писалъ имъ, что отъ его монастыря до Рима рукой подать. Въ этомъ монастырѣ рѣшено было провести года полтора, чтобы поправить здоровье Германа.

«Я тамъ умру»,—мысленно рѣшилъ Германъ.

Уѣзжая изъ Петербурга, оба брата были полны надеждъ: одинъ надѣялся на жизнь, другой—на смерть.

Въ Берлинѣ Герману сдѣлалось такъ худо, что пришлось позвать доктора.

— Вы куда ѣдете? — спрашивалъ у Франсуа докторъ, приглашенный имъ къ Герману.

— Въ Парижъ,—отвѣтилъ Франсуа.—На недѣлю, на двѣ... У насъ тамъ родные есть...

— Но вашъ братъ тамъ не поправится,—сказалъ докторъ.

Франсуа посмотрѣлъ на него, точно онъ не понялъ его.

— Мы вѣдь недолго тамъ пробудемъ,—сказалъ онъ.

— Все равно, это гибельно повліяетъ на него,—отвѣтилъ докторъ.

— Вы находите его болѣзнь опасной?

— О, очень, очень серьезной...

Франсуа поблѣднѣлъ.

— Можетъ-быть, югъ Италіи могъ бы еще помочь,—сказалъ докторъ.

— Можетъ-быть, можетъ-быть! Значитъ, вы не надѣетесь даже, что онъ и тамъ поправится?

— Я не знаю... все зависитъ отъ организма... Но онъ очень опасно боленъ...

Впервые Франсуа понялъ, что братъ смертельно боленъ. По его тылу пробѣжала дрожь. Вѣдь это все изъ-за него. Не будь его—братъ жилъ бы спокойно, счастливо, не изнемогая отъ усталости. Онъ не измучилъ бы себя и тогда, если бы онъ, Франсуа, былъ обыкновеннымъ смертнымъ, если бы у него не было этого проклятаго дара! Онъ съ ненавистью взглянулъ на свою скрипку. Онъ ее разобьетъ въ куски, если братъ умретъ. Да нѣтъ, докторъ ошибается! Не можетъ быть, чтобы братъ былъ безнадежно боленъ. Надо скорѣй, скорѣй ѣхать въ Италію, употребить всѣ силы, чтобы спасти больного. У нихъ хватитъ средствъ прожить скромно годъ: наконецъ, въ монастырѣ, по словамъ дяди, ихъ пріютятъ даромъ. Ну, а тамъ братъ поправится, непремѣнно поправится...

Франсуа торопился выѣхать изъ Берлина, и на другой же день послѣ отъѣзда онъ былъ обрадованъ происшедшей въ Германѣ перемѣной. Германъ вдругъ какъ будто повеселѣлъ.

— Странное дѣло, — сказалъ онъ Франсуа. — Я сегодня отлично уснулъ, и мнѣ вдругъ сдѣлалось легче... Знаешь ли что: мнѣ кажется, что я ошибался, предполагая, что у меня чахотка... Если бы это была чахотка, грудь не переставала бы болѣть, а теперь у меня нѣтъ никакой боли...

По его лицу скользнула свѣтлая улыбка.

— Какъ это странно все устроено на свѣтѣ, — продолжалъ онъ тихо и задумчиво.—Недавно еще мнѣ очень хотѣлось умереть, а теперь вотъ стало легче, и я чувствую, какъ мнѣ дорога жизнь... И знаешь, что я придумалъ: ты поѣдешь куда-нибудь учиться—въ Парижъ, въ Римъ или въ Миланъ, а я останусь въ монастырѣ... Тамъ меня пріютятъ если не даромъ, та за дешевую плату... Ну, поправлюсь я, тогда соединимся вмѣстѣ...

— Да ты точно теперь чувствуешь себя хорошо?—спросилъ Франсуа, недовѣрчиво вглядываясь въ его исхудалое лицо.

— Отлично... Слабъ я, правда, очень, въ потъ все бросаетъ, но боли нѣтъ нигдѣ... нигдѣ...

У Франсуа тоже воскресла надежда. Онъ нетерпѣливо ждалъ той минуты, когда они доѣдутъ до цѣли. Германъ тоже постоянно заглядывалъ въ путеводитель и справлялся, сколько дней, сколько часовъ оставалось имъ ѣхать. Наконецъ, они доѣхали до Рима, оставалось сдѣлать только небольшой переѣздъ въ экипажѣ до монастыря.

— Не отдохнуть ли здѣсь денекъ?— спросилъ Франсуа.

— Зачѣмъ? Ты видишь, я совсѣмъ бодръ!—сказалъ Германъ и прибавилъ въ раздумьи:—Да, нуженъ былъ только душевный отдыхъ, чтобы все прошло... А я-то все думалъ о чахоткѣ!.. И какъ это я могъ желать смерти, когда можно жить... и жить среди такой природы!

Онъ съ восторгомъ вдывалъ теплый мягкій воздухъ...

— Вотъ и монастырь, — сказалъ онъ, смотря впередъ полупотухшими глазами.

Они подъѣхали къ старинному зданію монастыря. Франсуа выскочилъ изъ экипажа. Не прошло и пяти минутъ, какъ ихъ впустили за каменную ограду. Ихъ родственникъ, дѣйствительно, занималъ въ монастырѣ видное мѣсто. Это былъ не молодой, но здоровый и краснощекій монахъ съ кроткимъ выраженіемъ смиренія на лицѣ, съ чувственными чертами лица. Онъ уже ждалъ молодыхъ родственниковъ и любезно сказалъ, что имъ приготовлено помѣщеніе. Онъ встрѣтилъ ихъ очень ласково и со вздохомъ сказалъ:

— Да, да, ваша мать почти на моихъ рукахъ выросла... Красавица была. Ахъ, какая красавица! Ты, Франсуа, очень похожъ на нее...

Старикъ съ странной улыбкой потрепалъ Франсуа по щекѣ, точно въ его головѣ прошло воспоминаніе, какъ онъ трепалъ по розовой щечкѣ мать этого юноши.

— Совсѣмъ какъ она, совѣмъ такой же, — шепталъ онъ и какъ-то особенно нѣжно поцѣловалъ юношу съ легкимъ вздохомъ.

Какой-то давно потухшій огонекъ снова на минуту вспыхнулъ въ глазахъ старика...

Онъ былъ французъ изъ Марселя, но говорилъ теперь на ломаномъ французскомъ языкѣ, привыкнувъ давно къ итальянскому языку. Братья прошли въ отведенную имъ комнату. Германъ не переставалъ восхищаться воздухомъ, видами, данной имъ комнатой. Онъ только о томъ и говорилъ, что онъ теперь воскресъ, что онъ не понимаетъ, какъ онъ могъ желать смерти, какъ онъ страстно теперь хочетъ жить. И въ то же время онъ съ улыбкой замѣчалъ, успокаивая себя, что у него никогда и не было чахотки, что онъ просто утомленъ.

На слѣдующій же день Германъ сидѣлъ у открытаго окна, весь залитый и согрѣтый яркимъ итальянскимъ солнцемъ. Онъ сидѣлъ съ полузакрытыми глазами, откинувъ голову на спинку кресла. Старикъ дядя зашелъ къ нимъ тот-

часъ послѣ утренней службы и заговорилъ съ Франсуа, посматривая во время разговора на Германа. Тотъ продолжалъ дремать, повидимому, не слыша и не видя никого. Отецъ Антоніо обратился тихо къ Франсуа съ вопросомъ:

— Давно онъ *такъ* нездоровъ?

— О, давно... Ему теперь еще лучше...

Старикъ усмѣхнулся кроткой улыбкой.

— Я никакъ не думалъ, что онъ такъ опасенъ, когда читалъ его и твои письма...

— Но развѣ онъ опасно боленъ... Ему лучше...

— Я думаю, что исповѣдать и пріобщить его нужно сегодня же.

Франсуа вскочилъ въ испугѣ съ широко раскрытыми глазами.

— Тише!—остановилъ его мягкимъ движеніемъ дядя.— Ты можешь его испугать, и онъ умретъ внезапно....

Франсуа, весь блѣдный, весь похолодѣвшій, пробормоталъ:

— Да развѣ вы думаете, что онъ... Ему лучше...

Отецъ Антоніо, набожно поднявъ глаза къ небу, со вздохомъ проговорилъ:

— Мы такъ часто напутствуемъ умирающихъ, что знаемъ безошибочно, долго ли живутъ люди въ такомъ положеніи.

У Франсуа блеснули на глазахъ слезы.

— Но вѣдь онъ надѣется... онъ думаетъ, что онъ будетъ жить... Его убьетъ, если ему сказать объ исповѣди...

Дядя улыбнулся опять той же мягкою улыбкою.

— Мы скажемъ, что исповѣдываться и пріобщаться у насъ долженъ каждый, поселяющійся въ монастырѣ... Эта ложь не оскорбитъ Бога, такъ какъ она дѣлается для спокойствія человѣка...

Потомъ онъ тихо подошелъ къ Герману. Германъ открылъ съ трудомъ глаза и, точно вздохнувъ глубокимъ вздохомъ, медленно прошепталъ:

— Какъ здѣсь хорошо!

Потомъ онъ глубже опустился въ кресла, его вѣки упали на глаза, голова опустилась на грудь, по тѣлу пробѣжала легкая дрожь. Въ эту минуту Франсуа хотѣлъ подойти къ брату. Дядя тихимъ движеніемъ руки остановилъ его, поднялъ къ синему, безоблачному небу глаза и тихо сталъ читать молитву объ успокоеніи души усопшаго...

НЕ НАМЪ СУДИТЬ.

I.

Время было полуденное. На дворѣ стоялъ одинъ изъ свѣтлыхъ солнечныхъ ноябрьскихъ дней съ недавно выпавшимъ ослѣпительно бѣлымъ снѣгомъ, съ легкимъ морозцемъ, безъ малѣйшаго вѣтра. Въ богатомъ, заново отдѣланномъ каменномъ домѣ генерала Истомина, въ Большой Конюшенной, красивый и франтоватый швейцаръ только что смахнулъ пыль съ многочисленныхъ мраморныхъ и чугунныхъ украшеній параднаго подъѣзда, оглядѣлъ еще разъ лѣстницу, все ли въ порядкѣ, и, растопивъ дрова въ каминѣ, удобно усѣлся на стулъ у подзеркальнаго стола, чтобы приняться за обычное чтеніе газетъ. Онъ не успѣлъ прочитать и десяти строкъ о козняхъ князя Бисмарка, какъ входная дверь подъѣзда отворилась, и въ ней показалась фигура какой-то посѣтительницы. Швейцаръ неторопливо обернулъ голову, окинулъ глазами съ головы до ногъ входившую незнакомую ему женщину, какъ бы рѣшая мысленно, кто она и зачѣмъ пришла, и грубовато спросилъ:

— Вамъ кого?

— Къ Аннѣ Ивановнѣ,—коротко отвѣтила незнакомка и пріостановилась, чтобы перевести духъ.

Это была невысокая коренастая старушка съ круглымъ, румянымъ лицомъ, съ бѣлыми, какъ серебро, волосами, въ поношенномъ, крытомъ сатенъ-тюркомъ, старомодномъ салопѣ на лисьемъ мѣху и въ черной, помятой шляпкѣ, походившей на старушечій чепецъ.

— Ихъ превосходительство по дѣламъ сегодня не принимаютъ,—отвѣтилъ швейцаръ, опуская газету на колѣни, но

не поднимаясь съ мѣста.—Приходите завтра до десяти часовъ утра. До десяти часовъ принимаютъ.

Онъ опять хотѣлъ взяться за газету, но старуха и не думала уходить.

— Да я не по дѣламъ вовсе,—отвѣтила она, направляясь къ лѣстницѣ, и прибавила: — Ты, вѣрно, недавно здѣсь? Петръ отошелъ развѣ?

Швейцаръ немного разсердился.

— Никакого я Петра не знаю, а вамъ говорятъ, что не приказано принимать, значитъ нечего и идти. Эхъ, вы! Ну, пройдете здѣсь, тамъ откажутъ. Чего же хотите?..

Онъ съ недовольнымъ видомъ приподнялся со стула, повидимому, готовясь заградить ей дорогу. Она не разсердилась, не прикрикнула на него, а только благодушно, почти весело улыбнулась, что-то сообразивъ. Ея старомодный нарядъ уже не разъ бывалъ причиною разныхъ недоразумѣній между нею и столичными мелкими чиновниками, писарями, лакеями, швейцарами и тому подобнымъ людомъ, раздѣляющимъ человѣчество на разные разряды только по ливреѣ, по формѣ, по платью. Она хотѣла уже объяснить швейцару, кто она, какъ дверь подъѣзда снова отворилась, и въ нее вошелъ, гремя шпорами и саблей, невысокій ростомъ, щеголеватый, какъ модная кукла, гвардейскій офицеръ, съ застывшимъ на лицѣ выраженіемъ пренебрежительнаго высокомѣрія и холоднаго равнодушія. Увидавъ старушку, онъ по привычкѣ немного прищурилъ сѣрые, какъ свинецъ, глаза, чтобы лучше всмотрѣться въ нее, и потомъ протянулъ ей руку.

— Ma tante, вы какъ здѣсь?—проговорилъ онъ.—Давно пріѣхали?

— Да вотъ вчера изъ своего Чернеца прибыла сюда и пробираюсь къ Анютѣ,—отвѣтила старуха, пожимая руку молодого человѣка и всматриваясь въ свою очередь въ его лицо немного выцвѣтшими, но еще зоркими черными глазами.—А ты, Жоржъ, все такой же. Цвѣтешь, не старѣешь...

— Съ чего старѣть?—сказалъ онъ съ усмѣшкой, похожей на легкую гримасу, и заторопилъ ее:—Пойдемте же, Annette будетъ вамъ очень рада.

Она съ озабоченнымъ видомъ, немного сдвинувъ сѣдыя брови, отчего между ними залегла характерная глубокая складка, проговорила по-французски:

— А я по дѣлу нашего Александра. Что это съ нимъ? Совсѣмъ меня, какъ громомъ, поразило извѣстіе о его бѣдѣ.

Молодой человѣкъ, опять сдѣлавъ гримасу, небрежно пожалъ плечами.

— Старая пѣсня, ma tante?

— Ну, для васъ, можетъ-быть, старая, а для меня... Какъ-ни-какъ, а человѣкъ гибнетъ... И какъ это вы здѣсь его не оберегли, не поддержали. Вѣдь на глазахъ у васъ погибалъ. Сколько родни, и руки помощи никто не подалъ.

Она поднималась по лѣстницѣ съ молодымъ человѣкомъ и съ горечью и упрекомъ въ голосѣ ворчала на него, на его родныхъ. Онъ только пожималъ плечами и продолжалъ дѣлать презрительныя гримасы.

— Развѣ на него напасешься денегъ? Развѣ ему можно было помочь? Наконецъ, мы не няньки...

И тутъ же, смѣясь беззвучнымъ ироническимъ смѣхомъ, прибавилъ:

— И развѣ онъ одинъ у насъ вотъ гдѣ сидитъ.

Онъ указалъ на свою шею.

— Сегодня вотъ у Annette цѣлый семейный совѣтъ. Дѣло Ольги Протасовой на очереди. Тоже своего рода bêbe noire семьи...

Старуха встревожилась.

— Что еще? Опять какая-нибудь бѣда? Ну, ужъ семейка у васъ!

— Сейчасъ все узнаете.

Швейцаръ не безъ удивленія смотрѣлъ имъ вслѣдъ, слыша, что старуха говоритъ молодому барину «ты» и, повидимому, мылитъ ему голову. Онъ принялъ ее за одну изъ побирушекъ-черносалопницъ, шляющихся къ генеральшѣ Истоминой, и еще слава Богу, что не успѣлъ ее вытолкать за двери. «Исторію нажилъ бы. А чѣмъ онъ виноватъ? Онъ здѣсь человѣкъ новый: не приказано бѣдныхъ не въ пріемные часы принимать, ну, — и не принимаетъ. А она, можетъ-быть, какая-нибудь родственница генеральши изъ захудалыхъ. Много ихъ, какъ видно, такихъ-то у генеральши. По черной лѣстницѣ все больше ходятъ. Тоже господа нынче! Изъ грязи повыщелкались. Одни въ экипажахъ ѣздятъ, другіе безъ калошъ по лужамъ шлепаютъ». Онъ покачалъ головой, неторопливо поправилъ дрова въ каминѣ, прошелъ опять къ столу, стоявшему подъ большимъ зеркаломъ, не безъ удовольствія посмотрѣлъ на свое отраженіе, поправилъ усы и, попрежнему удобно расположившись на стулѣ, снова принялся за прерванное чтеніе газеты.

Передъ молодымъ гвардейцемъ и его спутницей уже рас-

пахнулась дверь въ бель-этажѣ. Еще совсѣмъ молодой лакей во фракѣ и въ бѣломъ галстукѣ почтительно снялъ верхнюю одежду посѣтителей. Старушка привѣтливо отвѣтила на его поклонъ и ласково спросила:

— Ну, что, Иванъ, еще не женился?

— Никакъ нѣтъ-съ, Надежда Дмитріевна,—отвѣтилъ онъ, немного покраснѣвъ.

— А я думала, что и дѣтей крестить скоро позовешь. Моя Авдотья говорила, что ты писалъ ей что-то о невѣстѣ.

— Денегъ еще надо прикопить...

— Ну, копи, копи. Женитьба не дурное дѣло.

Она улыбнулась и, сунувъ ему въ руку какую-то мелочь, направилась въ комнаты вслѣдъ за племянникомъ, поморщившимся отъ ея фамильярнаго обращенія съ лакеемъ.

Бѣлая зала съ небольшой концертной эстрадой, гостиная съ синей шелковой мебелью, съ массой цвѣтовъ, бронзы, картинъ, столовая съ тяжелой дубовой мебелью, съ рѣзными дубовыми стѣнами и потолкомъ, небольшой зимній садъ, виднѣвшійся изъ столовой сквозь выходившія въ него стеклянныя двери и два окна,—все это говорило о богатствѣ жившихъ здѣсь людей, объ ихъ привычкѣ къ удобствамъ и къ роскоши.

Посѣтители застали хозяйку дома въ столовой. Увидавъ ихъ, она поднялась съ мѣста и легкой походкой, какъ молодая дѣвушка, съ привѣтливой улыбкой подошла къ старушкѣ.

— Ma tante, вы ли это? Какъ всегда, являетесь во-время!—проговорила она и немного наклонила голову, чтобы поцѣловать старуху.

Аннѣ Ивановнѣ Истоминой было лѣтъ подъ сорокъ, но ее все еще звали въ ея кругу «красавицей Истоминой». Бѣлокурая, голубоглазая, несклонная къ излишней полнотѣ, дѣвственно стройная, она принадлежала къ числу счастливыхъ своей душевной ясностью и невозмутимостью, а потому долго не старѣющихся женщинъ. При видѣ старушки, ея лицо слегка озарилось ясною и мягкою улыбкою и на минуту утратило отличавшее его обыкновенно выраженіе привычной свѣтской сдержанности и холодности.

— А ты все такая же,—сказала тетка, любуясь ея лицомъ и съ материнской нѣжностью смотря на нее.

Къ посѣтительницѣ, между тѣмъ, подошли еще двѣ женщины,—немолодыя, но еще бодрыя, съ сѣдыми буклями на вискахъ, съ претензіей казаться миловиднѣе и моложе

своихъ лѣтъ, похожія одна на другую, какъ родныя сестры-погодки. Обѣ онѣ, по родственному, расцѣловались со старушкой, хотя по лицу одной изъ сестеръ, отличавшейся отъ другой только тѣмъ, что на ея головѣ не было ни чепца, ни кружевъ, тутъ же скользнула насмѣшливая, плутоватая улыбка при взглядѣ на старомодный костюмъ старухи.

— Жоржъ сказалъ, что у васъ тутъ совѣщаніе,—замѣтила посѣтительница, развязывая ленту у шляпки.

— Да, да, ma tante! Семейный совѣтъ. Садитесь и рѣшайте!—отвѣтила Истомина, занимая снова свое мѣсто хозяйки у стола.

Обѣ пожилыя дамы тоже присѣли къ столу. Молодой гвардеецъ помѣстился возлѣ одной изъ нихъ, и тотчасъ же между ними завязался оживленный разговоръ въ полголоса.

Надежда Дмитріевна неторопливо сняла шляпку, положила ее на стулъ, повѣсила на рѣзную высокую спинку этого стула небольшой потертый сакъ-вояжъ и, оправивъ бѣлый чепецъ съ густою рюшью и выбившіеся изъ-подъ него бѣлые, какъ серебро, волосы, присѣла къ столу, наъ противъ хозяйки.

— Прежде всего, дай кофе,—сказала она, обращаясь къ Истоминой:—а потомъ говори о вашихъ глупостяхъ.

По лицу пожилой дамы, усмѣхнувшейся при взглядѣ на нарядъ старушки и теперь перешептывавшейся съ молодымъ гвардейцемъ, опять скользнула веселая улыбка.

— И сейчасъ наша Надежда Дмитріевна станетъ насъ всѣхъ распекать,—замѣтила она шутливо, бросая взглядъ на сидѣвшаго рядомъ съ нею офицера.

— И, разумѣется, стану,—отвѣтила старуха.—И тебя первую, потому что у тебя-то, Женя, когда тебѣ сто лѣтъ стукнетъ, все тотъ же вѣтеръ будетъ ходить въ головѣ...

Всѣ слегка усмѣхнулись.

Гвардеецъ передалъ старушкѣ чашку кофе. Истомина предложила ей торта и сладкихъ печеній. Старуха выбрала довольно много печеній и бережно положила ихъ на столъ около себя. Гвардеецъ и его сосѣдка не безъ лукавства переглянулись между собою. Надежда Дмитріевна стала пить кофе, не дотрагиваясь до лежавшаго около ея чашки печенья.

— Ну, такъ о чемъ же совѣщались-то?—спросила она.—Жоржъ говоритъ: Протасовы опять на сценѣ. Опять взялись за трубы и литавры и возвѣщаютъ всѣмъ и каждому: «Мы ближайшіе родственники Истоминыхъ и Драгомановыхъ!» Такъ?

Розовое лицо старушки озарилось на мгновенье слегка иронической и въ то же время грустною усмѣшкою, ея немного выцвѣтшіе черные глаза теперь нѣсколько заблестѣли и пристально вглядывались въ присутствующихъ. Въ этомъ взглядѣ теперь была извѣстная сила, и онъ могъ смутить того, на кого обращался, какъ бы заглядывая въ душу человѣка настойчиво и строго.

— Не смѣйтесь, ma tante! — проговорила Истомина.— Дѣло серьезнѣе, чѣмъ вы думаете.

И съ легкой, едва уловимой, не то грустной, не то иронической улыбкой, она прибавила:

— Даже меня задѣло за живое, а вы знаете, что это не легко сдѣлать...

Старушка ласково взглянула на свою любимицу.

— Милая, предоставь лучше твоей матери говорить за тебя,—добродушно и просто сказала она.—Софья Петровна все это лучше разъяснитъ, а то ты вѣдь только ея слова станешь повторять. Вѣдь не сама же ты ужаснулась того, что произошло...

Она фамильярно обратилась къ пожилой дамѣ съ легкой кружевной наколкой на головѣ:

— Ну, Софья Петровна, какіе же ужасы натворили Протасовы!

Пожилая дама сдѣлала брезгливую гримасу и очень желчно произнесла:

— А тѣ, что Ольга Протасова намѣрена выйти замужъ за фельдшера! Хорошо?

Надежда Дмитріевна поспѣшно воскликнула:

— Ну, слава Богу, хоть одна изъ этой нищей семьи пристроится!

И не давъ времени никому опомниться, съ необычайной для ея лѣтъ живостью забросала всѣхъ вопросами:

— Не пьющій человѣкъ? Какихъ лѣтъ? При мѣстѣ? Есть какія-нибудь средства? Точно любитъ ее?

Всѣ немного смутились, точно оторопѣли. Никто не могъ отвѣтить на эти вопросы. Никого не интересовало справляться о женихѣ Протасовой. Довольно было знать, что онъ фельдшеръ, и что за этого фельдшера готова выйти замужъ родная племянница вдовы генерала, Софьи Петровны Драгомановой, и вдовы коммерціи совѣтника, Евгеніи Петровны Кудрявцевой, двоюродная сестра жены генералъ-маіора, Анны Ивановны Истоминой, и гвардейскаго капитана Юрія Ивановича Драгоманова. На что тутъ были еще

какія-нибудь справки? Софья Петровна первая нарушила минутное молчаніе насмѣшливымъ и злымъ восклицаніемъ:

— Кто же станетъ справляться? Я же тебѣ говорю, что это фельдшеръ, что онъ...

— Ну, не лейбъ-медикъ же за нее присватается,—коротко и рѣшительно перебила ее Надежда Дмитріевна.

— Да, не я допустить ее выйти за фельдшера...—въ свою очередь оборвала ея рѣчь Софья Петровна.

— Ахъ, да я сама вотъ бабка повивальная!—точно отрѣзала Надежда Дмитріевна съ необычайною для нея строптивостью.—Что-жъ изъ этого. У насъ, можетъ-быть, и дворники въ роднѣ есть. Этого ужъ не передѣлаешь, если всѣ изъ мужиковъ недавно вышли.

Всѣ опять смутились. У всѣхъ шевельнулось злое чувство въ душѣ.

Софья Петровна, какъ бы пропустивъ мимо ушей замѣчаніе старухи, загорячилась и заговорила ядовитымъ тономъ:

— Протасовы вездѣ разславляютъ, что они наши родственники, говорятъ объ этомъ на всѣхъ перекресткахъ, умышленно ставятъ это на видъ...

— Ну, да вѣдь нельзя же имъ говорить, что они чужіе. Ужъ какъ ни вертитесь, а Петръ Петровичъ вашъ родной братъ.

— Братъ! братъ! Въ извозъ ѣздилъ, бани гдѣ-то снималъ на аренду, кабакъ держалъ! О, это какая-то кара Божія!—воскликнула запальчиво Софья Петровна.

— Что говорить, совсѣмъ потерянный человѣкъ,—равнодушно согласилась съ нею Надежда Дмитріевна и прибавила:—Потому-то и хорошо, что Ольга нашла жениха. Въ такой семьѣ погибла бы дѣвочка окончательно.

— Жениха-фельдшера! Служитъ въ томъ самомъ полку, гдѣ нашъ Жоржъ служитъ.

Старуха обрадовалась.

— А! такъ, значитъ, ты и узнать можешь, хорошій ли онъ человѣкъ,—обратилась она къ племяннику.—Это хорошо! Нельзя тоже оставить дѣвочку идти за перваго встрѣчнаго, не разузнавъ о немъ ничего.

Молодой человѣкъ вспылилъ, раздраженный наивностью чудачки-старухи.

— Ну, ужъ отъ этого-то меня увольте!—брезгливо проговорилъ онъ.

Старушка не на шутку разсердилась.

— Да что это вы всѣ здѣсь, снявши голову, по волосамъ тужите! Не дали дѣвочкѣ почти никакого воспитанія и образованія, не сумѣли ее поставить въ своемъ домѣ, какъ родственницу, а теперь волнуетесь, что она выходитъ замужъ за человѣка своего круга. Готовили бы ее въ невѣсты какому-нибудь князьку или камеръ-юнкеру, тогда другое бы дѣло, а теперь—да вы должны радоваться, помочь ей, а не разстраивать ея судьбу. Или хотите, чтобы она по Невскому ходила?

Всѣхъ покоробило отъ этого рѣзкаго тона, отъ этой грубоватой правдивости.

Софья Петровна снова загорячилась. Что-жъ, ея сыну изъ полка, что ли, выходить ради какой-то Ольги Протасовой? Или служить въ полку и любезно пожимать руки какому-то фельдшеру, мужу своей двоюродной сестры? Этого только недоставало?

— Надежда Дмитріевна, пожалуй, посовѣтуетъ Annette пригласить эту молодую пару сюда въ домъ,—насмѣшливо, едва удерживаясь отъ смѣха, замѣтила сестра Софьи Петровны, Евгенія Петровна.—Вотъ былъ бы обрадованъ твой мужъ этой новой роднѣ,—обратилась она къ хозяйкѣ дома.

— Мой Викторъ Павловичъ,—начала та немного растерянно:—онъ смотритъ на эти вещи...

Надежда Дмитріевна не дала ей кончить и замѣтила:

— Твой Викторъ Павловичъ настолько порядочный человѣкъ самъ по себѣ, что его нисколько не устрашитъ, что какая-то бѣдная родственница его жены выйдетъ замужъ за фельдшера или за писаря...

И наставительно, какъ старая гувернантка юной воспитанницѣ, прибавила:

— И ты, дружокъ, волнуешься ради этихъ пустяковъ только потому, что другіе волнуются около тебя этими же пустяками. А ты лучше подумай, что ты можешь отъ себя дать въ приданое Ольгѣ. Это будетъ дѣльнѣе и гораздо полезнѣе всѣхъ этихъ пустыхъ толковъ.

И, немного нахмуривъ брови, она озабоченно заговорила:

— Я, къ несчастію, теперь не могу почти ничего сдѣлать для дѣвочки. Узнать объ ея женихѣ я узнаю, а помочь матеріально ей много не могу. Объ Александрѣ приходится подумать, его выручить...

— Ахъ, да, тоже радость!—ядовито воскликнула Софья Петровна.—Тоже милый родственникъ, племянничекъ! Век

селей какихъ-то надавалъ, подлоговъ какихъ-то надѣлалъ, негодяй!

Старуха рѣзко и коротко оборвала ее.

— Не намъ судить его, Софья Петровна! Сами-то тоже не святыми жизнь прожили.

Евгенія Петровна залилась ироническимъ смѣхомъ.

— Ну, пойдетъ Надежда Дмитріевна оправдывать всѣхъ негодяевъ!

Старуха строго взглянула на нее.

— Смѣйся ужъ надъ чѣмъ-нибудь другимъ, а не надъ гибнущими людьми! На твой вѣкъ еще хватитъ для смѣха и другихъ смѣшныхъ исторій, хотя, по правдѣ сказать, пора бы и перестать шутки шутить...

Надежда Дмитріевна встала, подошла къ стулу, гдѣ висѣлъ ея сакъ-вояжъ, взяла его и, возвратясь къ столу, присѣвъ снова на стулъ, стала бережно укладывать въ мѣшокъ сладкія печенья. Евгенія Петровна многозначительно переглянулась съ Жоржемъ, кусая себѣ губы, чтобы не засмѣяться. Онъ пожалъ плечами, и по его лицу скользнула брезгливая усмѣшка.

— Вы, ma tante, что же хотите сдѣлать для Александра?— участливо спросила Надежду Дмитріевну Истомина.

— Спасти его,—коротко и просто отвѣтила старуха.— Нельзя же такъ и бросить человѣка на гибель. Чужого жаль, а онъ, слава Богу, не чужой мнѣ, сынъ моего мужа, на моихъ рукахъ выросъ...

И, заботливо завязавъ тесемкой свой мѣшокъ, она спросила Истомину:

— Твой мужъ дома?

— Да, кажется...

— Я пройду къ нему. Надо съ дѣловымъ человѣкомъ поговорить, а то я не знаю порядковъ-то. А времени тоже немного у меня, дома тамъ больные и ребятки ждутъ. Вездѣ свое горе...

Она поднялась съ мѣста и, надѣвъ шляпку, попрощавшись со всѣми, пошла изъ столовой. Тутъ только зоркіе глаза Евгеніи Петровны замѣтили вполнѣ подробности костюма Надежды Дмитріевны: на ней было надѣто черное шелковое платье, но въ одномъ мѣстѣ шелковая юбка приподнялась и изъ-подъ нея виднѣлась коричневая шерстяная юбка.

— Пари держу, что на ней по обыкновенію два платья,— со смѣхомъ сказала она.

Еще неуспокоившаяся отъ негодованія Софья Петровна передернула плечами и коротко проворчала:

— Ну, да, здѣсь въ шелковомъ платьѣ, а отправится къ какимъ-нибудь Протасовымъ и очутится у нихъ въ шерстяномъ. У нея вѣчно комедія съ переодѣваньями!

— И ровно пять лѣтъ тому назадъ я видѣлъ на ней этотъ же чепецъ и эту шляпку,—вставилъ пренебрежительно Жоржъ.

— И въ молодости въ такихъ же затрапезныхъ нарядахъ ходила,—проворчала Софья Петровна.

— А ты видѣлъ, какъ она собирала въ сакъ-вояжъ печенья?—спросила Евгенія Петровна племянника.—Тамъ у нея цѣлая кладовая. Все это для раздачи разнымъ уличнымъ ребятишкамъ.

Истомина сидѣла въ раздумьѣ на своемъ мѣстѣ, слушая безмолвно эти шутки надъ ея любимой старухой-теткой. На душѣ было теперь еще тоскливѣе, чѣмъ всегда, хотѣлось куда-то уйти отъ этихъ родныхъ, отъ всѣхъ людей своего круга. Но куда уйти? Какъ уйти? Гдѣ лучше? Наконецъ она очнулась, подавляя тяжелый вздохъ, и проговорила вслухъ:

— Но какъ же она думаетъ спасти Александра? Вѣдь, онъ, вѣроятно, задолжалъ десятки тысячъ? Она же не богата.

Никто не отвѣтилъ ей. Всѣ только пожали плечами, какъ бы говоря: «кто ее знаетъ, какъ! И что намъ за дѣло до этого?»

II.

Переступая порогъ съ половины Анны Ивановны Истоминой на половину Виктора Павловича Истомина, посѣтитель сразу попадалъ въ какую-то другую атмосферу. Бархатъ, шелкъ, тропическія растенія, бронзовыя украшенія, масляныя картины въ дорогихъ рамкахъ—все это смѣнялось здѣсь суровою простотой. Въ бильярдной, въ спальнѣ, въ кабинетѣ генерала Истомина мебель была обита простой, давно потемнѣвшей кожей, у оконъ были простыя бѣлыя шторы, кровать въ спальнѣ была желѣзная съ шинелью вмѣсто одѣяла, письменный столъ въ кабинетѣ былъ великъ, но старъ, стоявшія здѣсь лампы были изъ недорогихъ съ незатѣйливыми колпаками изъ желѣза, снизу бѣлыми, сверху зелеными, на столѣ были груды шнуровыхъ книгъ, большіе счеты, длинныя ножницы, въ углу стоялъ массивный несгораемый шкапъ; на стѣнахъ висѣли только

фотографическія группы въ черныхъ багетныхъ рамкахъ. Вся эта половина напоминала скорѣе помѣщеніе дѣлового коммерсанта, не заботящагося о внѣшности, неприхотливаго по вкусамъ, чѣмъ жилище военнаго человѣка, занимавшаго видное положеніе по своему чину и связямъ въ обществѣ.

Викторъ Павловичъ сидѣлъ за письменнымъ столомъ въ разстегнутомъ военномъ сюртукѣ и пощелкивалъ костяшками на счетахъ, когда въ его кабинетъ вошла безъ всякаго доклада, какъ свой человѣкъ, Надежда Дмитріевна. Бѣлокурый, немного облысѣвшій, съ нѣсколько помятымъ, хотя и румянымъ лицомъ, приземистый, молодцоватый и подвижной, онъ походилъ скорѣе на разбитного и шустраго приказчика изъ мѣщанъ, чѣмъ военнаго человѣка. Завидѣвъ Надежду Дмитріевну, онъ торопливо сталъ застегивать сюртукъ и быстро пошелъ ей навстрѣчу своеобразной походкой, мелкими шажками, съ развальцемъ, пощелкивая шпорами.

— Вы? здѣсь? Какими судьбами?—заговорилъ онъ весело скороговоркой, протягивая обѣ руки старухѣ.

— По дѣламъ,—коротко отвѣтила она, дружески пожимая его руки.

— Знаю, знаю, что даромъ не пріѣхали бы! Ну, садитесь, разсказывайте. Кто-нибудь надулъ или...

Она перебила его.

— Изъ-за пустяковъ не потащилась бы сюда.

— Ахъ, проказница, проказница! — засмѣялся онъ и подвелъ ее къ жесткому кожаному дивану.—Ну, усаживайтесь, говорите.

— Прежде всего скажите: не помѣшаю?—спросила она.

— Ну, вотъ еще! Мнѣ вѣдь только наше бабье мѣшаетъ.

Онъ сѣлъ противъ нея и, закуривъ папиросу, приготовился слушать. Онъ очень любилъ и уважалъ тетку своей жены. Раза три-четыре въ былые дни, когда онъ еще далеко не былъ богатъ, она давала ему взаймы безъ росписки за казенные проценты всѣ свои наличныя деньги, и онъ на нихъ сдѣлалъ довольно крупныя биржевыя аферы.

— У васъ здѣсь тысячи связей,—начала она.

— Ну, ужъ и тысячи!—пошутилъ онъ.—Немного поменьше, пожалуй.

— Толкуйте! Вы и въ военномъ вѣдомствѣ со всѣми близки, и на биржѣ, и въ акціонерныхъ компаніяхъ...

— А ваше дѣло гдѣ?—спросилъ онъ.

— Вотъ то-то и бѣда, что это дѣло судебное, а не биржевое. Я пріѣхала ради Александра. Вы слышали, конечно, что онъ запутался? Его нужно спасти.

Викторъ Павловичъ безнадежно махнулъ рукою.

— Ну, я тутъ ничего не могу подѣлать. Я немного знаю суть дѣла: векселя, говорятъ, онъ выдалъ подложные. Дѣло еще не начато, не перешло къ прокурору. Уладить можно безъ суда. Но какъ? Тутъ нужны деньги, деньги и ничего, кромѣ денегъ.

— Сколько?—спросила Надежда Дмитріевна.

— А ужъ этого я сейчасъ не могу сказать. Я сказалъ уже, что я знаю о дѣлѣ только по слухамъ. Во всякомъ случаѣ, нужны не сотни, а тысячи рублей.

— Мнѣ нужно знать точную цифру. Кромѣ того, мнѣ нужно, чтобы кто-нибудь изъ дѣловыхъ людей взялся за переговоры съ мерзавцами, затянувшими его въ долги.

— Такъ; но кто же будетъ платить? — задалъ онъ вопросъ.

— Кому же платить, какъ не мнѣ.

— Вамъ?

Онъ даже руками развелъ, пораженный неожиданностью.

— Вы хотите заплатить за него? Ну, этого я, признаюсь, не ожидалъ отъ васъ.

Онъ взволновался, точно платить приходилось ему, а не ей, и заходилъ скоро-скоро по кабинету, пощипывая рѣденькіе бѣлобрысые усики и постукивая шпорами.

— Человѣка надо подъ судъ упечь, надо сослать въ мѣста не столь отдаленныя, а вы покрыть негодяя хотите.

— А! всѣ мы негодяи!—рѣзко проговорила она.—Только однихъ судятъ, а другіе судятъ!

И, разсерженная его замѣчаніемъ, она загорячилась:

— Отъ десятаго человѣка сегодня я только и слышу, что онъ негодяй! Только то говорили мальчишки да бабенки, такъ имъ и Богъ проститъ ихъ глупость, а тутъ и вы! Дѣла-то вы свои съ кѣмъ дѣлаете? Съ кѣмъ на биржѣ да по подрядамъ сталкиваетесь? Въ акціонерныя-то общества черезъ кого въ директора попадаете? Хороши гуси? Кого изъ нихъ нельзя на скамью подсудимыхъ упечь? Для каждаго, я думаю, статья въ уголовномъ кодексѣ припасена. Вы-то это знаете хорошо, лучше меня. А и вы туда же Александра казнить хотите. Людей не казнить, а спасать нужно, если можно.

Онъ ходилъ по комнатѣ, слегка насвистывая что-то. При

послѣднихъ ея словахъ, онъ остановился передъ нею и спросилъ:

— И думаете, что спасете?

— Надо попробовать.

— Не дорого ли обойдется проба?

— Все равно, деньги у меня лежатъ и могутъ пропасть.

— Съ чего имъ пропадать-то?

Она сдѣлала нетерпѣливое движеніе.

— Ну, а вотъ когда я давала ихъ вамъ безъ росписки, вѣдь могли онѣ пропасть?

— Ахъ, вы чудачка! Сбѣжалъ бы я, что ли, съ ними?

— А умерли бы?

Онъ опять заходилъ по комнатѣ, постукивая шпорами.

— Да, да, тогда могли бы пропасть... Точно, у васъ онѣ всегда могутъ пропасть. Умный вы человѣкъ, а довѣрчивы, какъ...

Онъ поперхнулся, не докончивъ фразы, и только съ фамильярностью товарища похлопалъ ее по плечу. Надежда Дмитріевна не обратила вниманія на его недоконченную фразу и проговорила:

— Ну, такъ вотъ похлопочите по этому дѣлу. Выручите Александра, во что бы то ни стало.

— Да вы сколько рѣшились пожертвовать?

— Сколько? Сколько? Наберется тысячъ пятнадцать.

— У васъ было больше,—вскользь замѣтилъ Викторъ Павловичъ.

Она ничего не отвѣтила и въ раздумьи проговорила:

— Въ случаѣ надобности, мой домишко можно еще продать. Правда, въ одинъ день не продашь, и притомъ, дома у насъ въ Чернецѣ дешевы.

— Но чѣмъ же вы жить будете?

— Ахъ, что обо мнѣ толковать. Вдова моего брата— знаете Александру Николаевну?—пріютитъ, если понадобится. Да, наконецъ, у меня триста рублей въ годъ пенсіи. Много ли мнѣ надо, старухѣ? Да, да, всѣмъ располагайте, что есть. Эти же деньги въ сущности его: отецъ его наживалъ, а не я.

— Да, но вы же были женой его отца, и это ваша законная часть.

Она усмѣхнулась.

— Женой его отца! Даровой гувернанткой для его дѣтей, экономкой въ домѣ, вотъ чѣмъ я была. Кажется, знаете, что его отецъ женился на мнѣ только потому, что выгоднѣе

было повѣнчаться со мной и заставить меня учить его дѣтей и вести хозяйство, чѣмъ нанять меня для тѣхъ же занятій. Я никогда и не пошла бы замужъ, если бы не знала, для чего я нужна...

Онъ ходилъ по комнатѣ, обдумывая уже вопросы, можно ли спасти Александра, какъ ловчѣе приняться за это дѣло, сколько можно выторговать. Страсть къ дѣламъ взяла уже въ немъ верхъ надъ всякими другими соображеніями. Онъ оживлялся, молодѣлъ, умнѣлъ, какъ только являлась возможность обдѣлать какое-нибудь дѣло. Обдѣлываніе чужого дѣла его занимало не менѣе обдѣлыванія своего дѣла. Этой страстью онъ отличался еще во времена своего кадетства, съ любовью соображая, какъ выиграть дюжину стальныхъ перьевъ, что выгоднѣе: продать ли ихъ по перу или разыграть въ лотерею, и какую вещь купить на эти деньги, чтобы сдѣлать потомъ новый оборотъ. Онъ постоянно дѣлалъ вычисленія и выкладки, и даже прослылъ за это математикомъ. Сообразивъ быстро и точно, какимъ путемъ можно уладить дѣло Александра, что можно выторговать у его кредиторовъ и какъ припугнуть ихъ, онъ остановился передъ Надеждой Дмитріевной, бодрый и молодцоватый, какъ юноша, и рѣшительно сказалъ:

— Хорошо, я улажу все.

И тутъ же разсмѣялся, подмигивая старухѣ:

— А ужъ и будутъ же чистить за это насъ съ вами всѣ наши милые родственники.

Она немного нахмурилась, сдвинувъ брови.

— Имъ-то что?

— Какъ что? Да это же все перешло бы въ ихъ руки по частямъ или вдругъ. Гдѣ же брать пригоршнями деньги, какъ не у Надежды Дмитріевны? Кого можно слезами разжалобить, какъ не Надежду Дмитріевну? Они бы Александра на клочки теперь растерзали, если бы знали нашъ комплотъ.

Какое-то гнетущее чувство охватило ее на минуту. Но она пересилила его и бодро поднялась съ мѣста.

— Да, вотъ вы напомнили мнѣ о родныхъ. Надо еще навѣстить Протасовыхъ. Слышали вы? Ольга Протасова за фельдшера выходитъ замужъ.

— Да, слышалъ что-то,—разсѣянно сказалъ онъ.—На дамской половинѣ идетъ какой-то бунтъ по этому поводу.

— Не огорчились?—съ иронической усмѣшкой спросила она.

— Мнѣ-то что?

Она дружески протянула ему руку на прощаньи и, сообразивъ что-то, сказала:

— Поговорите въ этомъ смыслѣ съ Анютой. Евгенія Петровна и Софья Петровна изображаютъ ей это дѣло въ такомъ ужасномъ видѣ, какъ будто послѣ этого брака вы и генеральскій чинъ потеряете, и на биржѣ вашихъ бумагъ принимать не станутъ, и въ акціонерныхъ обществахъ изъ числа директоровъ исключатъ.

Онъ засмѣялся, провожая ее до дверей своего кабинета. На порогѣ, онъ на минуту остановилъ ее и спросилъ.

— Сами вы не повидаетесь съ Александромъ?

— Нѣтъ, нѣтъ, что вы выдумали? Его не надо даже извѣщать объ этомъ. Это значило бы только напортить. Никогда онъ не согласится, если предупредить его, что я хочу заплатить его долги.

— Ну, это еще вопросъ...

Она разсердилась.

— Ужъ я-то его лучше знаю, чѣмъ вы. Это другіе его могутъ считать негодяемъ, а не я.

— Однако...

— Полноте о пустякахъ толковать, когда дѣло идетъ о спасеніи человѣка...

Она съ озабоченнымъ лицомъ, со сдвинутыми бровями, немного поджавъ губы, пошла черезъ рядъ парадныхъ комнатъ, направляясь къ прихожей. Въ прихожей около нея раздался молодой привѣтливый голосъ:

— Крестная!

Она подняла голову, и ея лицо озарилось свѣтлой улыбкой при видѣ молоденькой, свѣженькой и хорошенькой дѣвушки.

— Настюша, здравствуй!

Дѣвушка припала губами къ рукѣ старухи. Та поцѣловала ее въ лобъ.

— Иванъ шепнулъ, что вы здѣсь, — объясняла горничная.—Выбѣжала сюда хоть глазкомъ взглянуть на васъ.

— Ну, какъ служишь?—спросила старушка.

— Хорошо-съ. Анна Ивановна довольны, и, сами знаете, ангелъ онѣ, ангелъ, слова дурного не скажутъ. Грустятъ только все...

— Знаю, знаю,—съ лаской сказала Надежда Дмитріевна.— Веди только сама-то себя хорошо, и все будетъ хорошо.

Она пристально взглянула на молодую дѣвушку.

— А Иванъ-то это на тебѣ хочетъ жениться?

Горничная вспыхнула до ушей и потупилась.

— Не знаю... вѣрно, на мнѣ, если что говорилъ...

— Да, да, писалъ теткѣ Авдотьѣ... Мы такъ и рѣшили съ ней, что на тебѣ хочетъ жениться... Что-жъ, дай Богъ вамъ счастья... Только береги себя.

Дѣвушка застѣнчиво перебирала кончикъ передника.

— Я себя соблюдаю, крестная.

— Да, да, соблюдай, соблюдай, — наставительно сказала Надежда Дмитріевна.—Разъ оступишься—никогда не поднимешься.

Она, застегнувъ у горла крючки салопа, порылась въ сакъ-вояжѣ и что-то сунула въ руку дѣвушкѣ.

— Крестная, зачѣмъ же!—воскликнула та, опять зарумянившись и снова цѣлуя ея мягкую, пухлую руку.

— Ну, ну, бери... У меня еще тебѣ платочекъ приготовленъ, да кое-какіе пустяки... Все пригодится... Пойдешь замужъ, помогу... На-дняхъ заверни.

— Вы у Александры Николаевны остановились?

— Гдѣ же больше? Не у чужихъ же жить.

— Кланяйтесь Александрѣ Николаевнѣ, барышнѣ и молодому барину тоже...

— Хорошо, хорошо...

Надежда Дмитріевна вышла изъ квартиры Истоминыхъ и стала медленно спускаться по лѣстницѣ. Невеселыя думы, поднявшіяся въ ея головѣ при толкахъ объ ея Александрѣ и разсѣявшіяся на минуту при встрѣчѣ съ горничной-крестницей, снова зароились въ ея мозгу. Она уже не обращала теперь вниманія ни на кого и шла по улицѣ, то шевеля губами, какъ бы разговаривая въ полголоса, то поджимая эти губы и сдвигая брови съ выраженіемъ сосредоточенной думы. Ея обыкновенно добродушное круглое лицо было теперь почти сурово. Такъ прошла она почти весь Невскій проспектъ и дошла по бульвару до набережной Невы. Ясный зимній день еще былъ ослѣпительно ярокъ, солнце, уже спускавшееся къ западу, еще сверкало тысячами искръ на бѣломъ снѣгу. Старуха взглянула на прозрачное небо, на яркое солнце, на бѣлую снѣжную скатерть Дворцовой площади, и присѣла отдохнуть на послѣднюю изъ бульварныхъ скамеекъ, вся охваченная умиленіемъ предъ развернувшейся картиной. Природа вплоть до старости оставляла глубокое впечатлѣніе въ ея душѣ. Понемногу у нея на сердцѣ становилось все спокойнѣе и спокойнѣе, свѣтлѣе и свѣтлѣе; настоящее какъ бы ушло куда-то далеко-далеко, цѣлый рядъ

воспоминаній о быломъ сталъ развертываться въ ея памяти, образы дорогихъ лицъ проносились передъ глазами, по лицу уже скользила улыбка, — старческая благодушная улыбка, точно на старушку пахнуло опять ея свѣтлою счастливою молодостью.

III.

Вонъ тамъ за крѣпостью, около Александровскаго парка, затерявшись въ зелени безчисленныхъ садовъ, стоялъ домикъ, гдѣ выросли Надежда Дмитріевна и ея братья, Левко и Дмитро, звавшіе ее «хохлушкой» и называвшіеся ею «хохлами». Отецъ Надежды Дмитріевны, Дмитрій Осиповичъ Потапенко, не выдающійся по уму, не особенно ученый, но дѣтски наивно благоговѣвшій предъ ученостью врачъ-малороссъ, твердо вѣровавшій въ силу медицины, ея мать Наталья Осиповна, простая, безхитростная, хлопотливая хозяйка изъ малороссійскихъ крестьянокъ; ея братья, Левко и Дмитро, студенты-медики, грубоватые, но добродушные, даровитые, но съ хохлацкой лѣнцой, прозаики по виду, но поэты въ душѣ, любящіе музыку, но умѣющіе играть только на гитарѣ, преклоняющіеся передъ литературой, но имѣющіе возможность выискивать ея перлы только въ русской и малороссійской письменности и, наконецъ, она сама, Надежда, хохлушка, учащаяся съ какой-то ненасытной жадностью всему, чему можно было учиться дѣвушкѣ въ то время,—вотъ всѣ лица, составлявшіе семью Потапенко.

Упрямая и настойчивая, самостоятельная, во что бы то ни стало, и выносливая, какъ можетъ быть вынослива только дочь крестьянки и крестьянскаго сына, достигнувшаго до званія врача упорнымъ и усидчивымъ трудомъ, она, Надежда, кончивъ курсъ ученія въ одномъ изъ лучшихъ женскихъ учебныхъ заведеній того времени, уже на зарѣ жизни испытала свѣтлое, благодатное чувство первой страстной любви и весело смотрѣла на Божій міръ, готовясь стать подъ вѣнецъ съ горячо любимымъ человѣкомъ. Приходилось только ждать окончанія имъ курса и полученія званія врача, чтобы соединиться съ нимъ брачными узами. Но случай рѣшилъ иначе: молодой студентъ на одномъ изъ вскрытій поранилъ себѣ руку и въ какіе-нибудь два дня его не стало. Пораженная горемъ, молодая дѣвушка тутъ же, передъ лицомъ этого неостывшаго еще трупа, дала клятву никогда не выходить замужъ. Давая эту клятву, она не рисовалась, обольщалась никакими надеждами и знала, что въ бу-

дущемъ ей предстоитъ тяжелая трудовая жизнь. Вслѣдствіе этого она рѣшилась пройти курсъ акушерства, такъ какъ трудъ повивальной бабки казался ей болѣе самостоятельнымъ, независимымъ и полезнымъ, чѣмъ трудъ гувернантки. Правда, пройти эту школу ей было не легко, такъ какъ при видѣ крови и физическихъ мученій она, еще полная воспоминаній о смерти любимаго человѣка, едва не падала въ обморокъ. Но упорство и настойчивость, встрѣчаемыя развѣ только у малороссовъ да у крестьянъ, заставили ее побѣдить эту «слабость»...

Надежда Дмитріевна улыбалась теперь блаженною улыбкою, вспоминая это время, и, казалось, снова видѣла передъ своими глазами родной домикъ, гдѣ протекла ея юность...

Но вотъ изъ домика на рукахъ выносятъ гробъ. За нимъ идутъ громко, по-крестьянски рыдающая и причитающая женщина, два молодые студента и молодая дѣвушка, а далѣе цѣлое полчище плачущихъ бѣдняковъ, провожающихъ своего «благодѣтеля-лѣкаря». Чѣмъ гуще становится ихъ толпа, чѣмъ больше виднѣется заплаканныхъ лицъ, тѣмъ спокойнѣе, почти веселѣе дѣлается лицо молодой дѣвушки и, оглядывая эту толпу голи, она съ гордостью шепчетъ братьямъ:

— Вонъ какой нашъ батька-то былъ!

Надежда Дмитріевна раскрыла свой сакъ-вояжъ, вытащила изъ него платокъ и отерла слезы, выступившія на ея глаза. Но несмотря на слезы, лицо ея—розовое, старушечье лицо,—улыбалось.

— Эхъ, людишки, людишки! — тихо шепчетъ Надежда Дмитріевна и поднимается съ мѣста, какъ бы не желая вспоминать о дальнѣйшихъ событіяхъ.

Но воспоминанія преслѣдуютъ ее, какъ всегда. Давно уже, несмотря на всю свою кипучую дѣятельность, она душой живетъ въ прошломъ, — только въ немъ. Можетъ-быть, это—слѣдствіе старости; можетъ-быть, это слѣдствіе того, что прошлое было лучше настоящаго.

Послѣ смерти отца, у семьи не осталось ничего, кромѣ маленькаго деревяннаго дома. У Дмитрія Осиповича Потапенко была огромная практика, но онъ нерѣдко не только не получалъ за визиты, а самъ еще давалъ больнымъ.

— На хлѣбъ имъ нужно дать, а не лѣкарство прописывать,—говаривалъ онъ порой про больныхъ и вмѣсто рецепта давалъ деньги.

Объ откладываніи грошей на черный день тутъ нечего было и думать. Что же было дѣлать семьѣ? Надежда Дмитріевна рѣшила, что она пойдетъ въ гувернантки и такимъ образомъ поддержитъ семью до окончанія братьями курса. Практика повивальной бабки не могла дать опредѣленнаго заработка, а за трудъ гувернантки давалось извѣстное жалованье. Братья даже не протестовали, когда она сказала имъ, что они должны основательно кончить курсъ, а не по урокамъ трепаться. Никто не считалъ этого жертвой со стороны молодой дѣвушки, и она сама не видѣла въ этомъ жертвы, хотя ей, самостоятельной, непокорной, упрямой, именно жизнь гувернантки была тяжелѣе и ненавистнѣе всего. Но если въ чужомъ домѣ нельзя было пѣть хохлацкихъ пѣсенъ, нельзя было хохотать раздающимся на всѣ комнаты смѣхомъ, то она вознаграждала себя за эти лишенія въ праздничные дни, дома въ кругу матери, братьевъ и ихъ пріятелей. Если иногда ея самолюбіе сильно страдало въ чужомъ домѣ, то она тотчасъ же не безъ гордости вспоминала, что она и выше, и чище этихъ «людишекъ», поднимающихъ передъ ней головы, и смотрѣла бодро и весело на все окружающее.

Въ домѣ Софіи Петровны Драгомановой, куда она попала гувернанткой, она впервые увидала близко, какъ живутъ другіе люди—богатые люди. Софья Петровна выбивалась изъ силъ, сдѣлалась желчной и раздражительной, стараясь заставить всѣхъ забыть ея происхожденіе отъ бывшаго кабацкаго подносчика, а потомъ откупщика. Мужъ Софьи Петровны, генералъ Николай Платоновичъ Драгомановъ, тоже лѣзъ изъ кожи, чтобы вознаградить себя за званіе покупного мужа и доказать всѣмъ, что онъ дѣлаетъ, что̀ хочетъ, и даже имѣетъ нѣсколько, въ сущности, ненужныхъ ему любовницъ. Сестра хозяйки, Евгенія Петровна Кудрявцева, беззаботная, веселая шутница и насмѣшница, казалось, себя не помнила отъ радости, потерявъ на двадцатомъ году немолодого мужа и получивъ право вести привольную жизнь молодой вдовы, не отдающей никому отчета, признающей, вмѣсто всякихъ законовъ нравственности и приличій, одинъ законъ личныхъ вкусовъ и прихотей. Молодой «хохлушкѣ» было не легко въ этой средѣ, разнузданной, развращенной, поклоняющейся только золотому тельцу. Надъ нею подшучивали, видя, что она не стремится наряжаться; на нее сердились, когда она откровенно говорила, что ея мать вышла изъ крестьянъ—сердились, думая, что она хочетъ напо-

мнить своимъ хозяевамъ ихъ собственное происхожденіе; за ней шпіонили, стараясь поймать ее въ какой-нибудь интригѣ, чтобы замѣшать ее въ ту грязь, въ которой здѣсь всѣ купались сами. Нужно было имѣть ея ровный, бодрый и выносливый характеръ, чтобы перенести все это спокойно и, наконецъ, добиться того, что генеральша Драгоманова, брошенная какимъ-то любовникомъ, сдѣлавшаяся на время «сказкой города» и оскорбленная даже своимъ покупнымъ мужемъ генераломъ, въ порывѣ огорченія, избрала «хохлушку» своею повѣренною и неожиданно излилась передъ ней въ такихъ откровенностяхъ, что молодая дѣвушка, зардѣвшись до ушей, замѣтила ей:

— Софья Петровна, я не понимаю, въ чемъ вы каетесь передъ мною. Каждый отвѣчаетъ самъ передъ своею совѣстью за свои проступки. Кто же имѣетъ право васъ судить?

Съ этого дня Надежда Дмитріевна сдѣлалась «складочнымъ мѣстомъ» для тайнъ всѣхъ членовъ семьи, убѣдившихся въ томъ, что она «нѣма, какъ могила». Цѣлый адъ глупо сложившейся семейной жизни открылся передъ молодой дѣвушкой. Всѣ эти прямые потомки цѣловальника, желавшіе примкнуть къ высшему свѣту, были и смѣшны, и жалки со своими тревогами и огорченіями. Мало того, что они то и дѣло прорывались сами поступками, говорившими о ихъ происхожденіи, у нихъ была еще цѣлая свора худородной и нищей родни, скандализировавшей ихъ и вымаивавшей у нихъ чуть не шантажемъ деньги. Одна эта орда голи могла отравить существованіе высокомѣрныхъ выскочекъ-богачей. Несчастіе этихъ людей состояло въ томъ, что они, поклоняясь золотому тельцу и зная, что всѣ ихъ окружающіе поклоняются ему же, не имѣли смѣлости поставить на видъ передъ всѣми недавно сброшенный ими старый лапоть и старались скрыть его за какими-то проданными имъ гербами обнищавшаго дворянства. Въ одно и то же время они являлись наглецами и трусами. Особенно заинтересовали Надежду Дмитріевну въ этой средѣ двѣ личности— братья Софьи Петровны, Павелъ и Иванъ Протасовы.

Иванъ Протасовъ въ молодости былъ добръ, честенъ, щедръ. Въ какія-нибудь десять лѣтъ у него уже не было ничего изъ отцовскаго наслѣдства, кромѣ долговъ, и онъ, оставленный, какъ это водится всегда, прежними друзьями, почти выгнанный сестрами, вывертывавшійся изъ затруднительныхъ обстоятельствъ, запутывавшійся еще болѣе въ

долгахъ, сталъ быстро опускаться со ступеньки на ступеньку въ бездонную пропасть нравственнаго паденія. Видя, что родные начинаютъ бояться его, стараются отречься отъ него, онъ сталъ нахальнымъ и въ пьяномъ видѣ хвасталъ своими связями, бахвалился тѣмъ, что ему стоитъ только припугнуть родню, и деньги явятся. Вывертываясь изъ затруднительныхъ обстоятельствъ, онъ пріучился лгать и обманывать, и дошелъ до того состоянія, когда человѣкъ уже не умѣетъ самъ отличить въ своихъ словахъ лжи и правды, когда страсть къ обману переходитъ въ манію. Надо было хорошо знать его въ прошломъ, чтобы сколько-нибудь снисходительно относиться къ этому бахвалу и наглецу, лгуну и обманщику.

По мѣрѣ того, какъ падалъ нравственно Иванъ Протасовъ, его братъ Павелъ, сдержанный, суховатый и несообщительный по натурѣ, уходилъ въ себя, какъ всполошившаяся улитка, превращался въ скрягу, становился мизантропомъ, преслѣдуемый, какъ кошмаромъ, страхомъ передъ разореньемъ и участью брата Ивана. Разориться для него значило пасть, утратить человѣческій образъ, сдѣлаться предметомъ поруганія и отвращенія. Только съ деньгами можно сохранить свое достоинство и пользоваться уваженіемъ людей; безъ денегъ человѣкъ — полное ничтожество, хуже послѣдней собаки. Это были идеи душевно-больного человѣка, потрясеннаго до глубины души паденіемъ близкаго ему лица.

Почти каждый день Надежда Дмитріевна слышала въ домѣ Драгомановыхъ что-нибудь новое про двухъ братьевъ Протасовыхъ.

— Нѣтъ, вы вообразите, братъ Иванъ нанялся въ торговыя бани билеты продавать!—ужасались сестры Ивана Протасова.

— Да что же ему дѣлать, если ѣсть нечего?—возражала Надежда Дмитріевна.

— Да, но вѣдь онъ насъ срамитъ! Онъ разсказываетъ, что онъ нащъ братъ!

— Вѣдь это же правда!

Потомъ ей разсказывали съ тѣмъ же ужасомъ, что братъ Иванъ женился на простой бабѣ, торгующей съ сестрою на Толкучкѣ мужицкимъ бѣльемъ.

— Да больше никто за него и не пошелъ бы,—вскользь замѣчала Надежда Дмитріевна:—можетъ-быть, жена остепенитъ его немного.

— Ахъ, да развѣ въ этомъ дѣло? Вы поймите, что эти подонки общества, что эти нищіе станутъ таскать по грязи вашу фамилію, будутъ вымогать у насъ деньги...

Затѣмъ ей разсказывали, что братъ Павелъ возмущаетъ ихъ своею жадностью. На-дняхъ пріѣхали къ нему гости, а онъ даже булокъ къ чаю не подалъ, даже скатерти чистой не приказалъ накрыть.

— И одна свѣча въ столовой горѣла! Въ квартирѣ темно, какъ въ тюрьмѣ. Дровъ для топки печей жалѣетъ.—Плюшкинъ второй.

— Вы знаете, его преслѣдуютъ мысли, что онъ обѣднѣетъ, какъ Иванъ Петровичъ, и что отъ него такъ же всѣ отвернутся,—поясняла Надежда Дмитріевна.

— Ахъ, вы за всѣхъ готовы заступаться!—сердились на нее.

— Я не заступаюсь, а объясняю причину его поведенія. Это душевно больной человѣкъ.

— А вы посмотрѣли бы на его дѣтей, каково имъ жить впроголодь.

— Да, ихъ мнѣ душевно жаль!—со вздохомъ говорила Надежда Дмитріевна.—Отчего бы вамъ не взять ихъ къ себѣ?

— Чужихъ-то дѣтей?

— Да вѣдь это дѣти вашего брата. Онъ ихъ отдалъ бы съ радостью, чтобы имѣть меньше расходовъ.

— Ну, нѣтъ! Вотъ радость няньчиться съ чужими дѣтьми.

И, подсмѣиваясь надъ Надеждой Дмитріевной, ей говорили:

— Вы не возьмете ли ихъ?

— Какъ же мнѣ ихъ взять? Я же у васъ служу,— серьезно замѣчала она.

И все же ей пришлось взять ихъ.

Совершенно неожиданно Павелъ Протасовъ сдѣлалъ предложеніе Надеждѣ Дмитріевнѣ выйти за него замужъ. Сначала она даже испугалась этого предложенія и наотрѣзъ отказала жениху. Но у Павла Петровича Протасова было трое дѣтей. Она ихъ знала, любила, у нея сжималось за нихъ сердце, особенно за младшаго ребенка—трехлѣтняго Сашу, не знавшаго съ колыбели ласкъ матери. Павелъ Петровичъ хорошо разглядѣлъ молодую дѣвушку и понялъ, что легче всего подѣйствовать на нее, говоря ей о заброшенности его дѣтей. Онъ вѣдь на службѣ, или занятъ дѣлами, а они одни, на рукахъ плохой няньки. Ей, Надеждѣ Дмитріевнѣ, стоитъ сказать одно слово — и они будутъ счастливы, у нихъ будетъ мать. Молодая дѣвушка, растро

ганная, чувствуя, что у нея подступаютъ слезы къ глазамъ, спряталась, какъ за вѣрный щитъ, за данный ею обѣтъ не выходить замужъ. Павелъ Петровичъ со вздохомъ замѣтилъ, что тутъ дѣло не въ выходѣ замужъ, а въ томъ, чтобы у дѣтей была мать. Потомъ, сообразивъ что-то, онъ замѣтилъ, что до ея прошлаго ему нѣтъ дѣла. Она не сердилась, не обидѣлась, а только улыбнулась: ей нечего бояться упрековъ за ея прошлое, нечего бояться покраснѣть за него. Онъ понялъ свою ошибку и опять грустно заговорилъ о своихъ дѣтяхъ. Только она можетъ замѣнить имъ мать. Въ душѣ Надежды Дмитріевны началась тяжелая борьба: ей стоитъ сказать слово и у сиротъ будетъ мать, а она прячется за какіе-то обѣты вѣчной дѣвственности. Это нелѣпо, это жестоко. И смѣлая, бодрая, рѣшительная, она разомъ согласилась выйти замужъ за человѣка, котораго всѣ бросили, всѣ боялись. Даже ея братья, знавшіе хорошо силу ея характера, тревожно говорили ей, что она идетъ на каторгу. Она шутливо отговаривалась:

— Ну, вотъ еще! каторга среди милыхъ ребятишекъ!

Ольга Петровна и вся остальная родня Протасова не могли понять, почему онъ вздумалъ жениться, взять въ домъ лишній ротъ. Находчивая и остроумная шутница и насмѣшница Евгенія Петровна первая нашла ключъ къ разгадкѣ. Она говорила, что братъ разсчиталъ, что нанимать въ домъ экономку и гувернантку менѣе выгодно, чѣмъ имѣть жену и, притомъ, жену неприхотливую и способную исполнять эти обязанности. Она даже шутливо предполагала, что Надежда Дмитріевна, соединясь съ Павломъ Петровичемъ, будетъ ходить чумичкой, станетъ ѣсть одинъ картофель, начнетъ стирать бѣлье.

Павелъ Петровичъ не ошибся въ расчетѣ: жена была нетребовательна, экономна и хорошо обучала его дѣтей. Высокій, худощавый, съ сосредоточеннымъ выраженіемъ лица, съ пристальнымъ взглядомъ, высматривавшимъ въ человѣкѣ подлеца, скупой на слова, точно боящійся, что за лишнее слово можно поплатиться карманомъ, онъ не былъ и не могъ быть влюбленъ въ жену, но уважалъ ее и даже, по-своему, любилъ за ея умъ, за ея сдержанность, за простые вкусы, хотя въ теченіе семи лѣтъ супружеской жизни и не спросилъ ни разу, не скучно ли ей сидѣть безвыѣздно въ деревнѣ, куда онъ изъ экономіи перебрался съ семьей, не нужно ли ей что-нибудь изъ одежды, не тяжело ли ей справляться одной и съ хозяйствомъ, и съ дѣтьми. Любовь къ ней не мѣшала ему иногда толковать о томъ, что

нужно бы еще сократить расходы. При этомъ повторялась одна и та же пѣсня о братѣ Иванѣ.

— Прожить, какъ прожилъ все братъ Иванъ, легко,— отрывисто говорилъ онъ.—Какъ придется по міру идти, никто руки не протянетъ. Человѣка только до тѣхъ поръ и любятъ, и уважаютъ, пока у него деньги. Святой будь человѣкъ, а явись въ лохмотьяхъ—никуда его не примутъ. Нашъ братъ, богатый, ну, такъ хоть безъ одежды ходи, а всѣ будутъ ему кланяться; скажутъ только, что онъ чудитъ, бѣдняка же въ лохмотьяхъ—лакей отъ господскаго подъѣзда отгонитъ.

И еще болѣе мрачнымъ тономъ онъ говорилъ о нравственномъ паденіи брата Ивана.

— И до чего бѣдность доводитъ. Вотъ братъ Иванъ— честный, благородный, добрый человѣкъ онъ былъ. А теперь? Кутежи съ веселья превратились въ пьянство съ горя. Голодъ сталъ понуждать къ мелкимъ продѣлкамъ. Всеобщее отчужденіе заставило гнуть спину. Темная подвальная и кабацкая среда погасила проблески ума. Ты вотъ часто говоришь: «помочь надо! спасти надо!» Кому помочь, кого спасти, когда въ немъ уже нѣтъ человѣка? Былъ человѣкъ и нѣтъ его болѣе: остались одно ходячее пьянство, одна ходячая ложь, одна ходячая подлость.

Онъ говорилъ коротко, отрывисто, мрачно объ этой трагедіи человѣческой жизни, и самъ не подозрѣвалъ, что онъ является такой же трагической личностью, не вѣря ни во что святое въ людяхъ, постоянно дрожа передъ призракомъ нужды, урѣзая себя и окружающихъ въ самомъ необходимомъ, имѣя все для того, чтобы жить иначе.

Тѣмъ не менѣе, для Надежды Дмитріевны и эти года были счастливыми годами: ея потребности были ограничены; въ деревнѣ жилось тихо, дѣти любили ее, крестьяне были ея друзьями, а природа давала ей такія минуты истинныхъ наслажденій, какихъ не могли бы дать никакія удовольствія, доставляемыя богатствомъ. Смерть Павла Петровича разомъ измѣнила все. Дѣтьми завладѣли родные ихъ со стороны матери, только и ждавшіе смерти Протасова, воображая, что онъ оставитъ милліоны. Бороться съ ними было невозможно, такъ какъ на ихъ сторонѣ были права на дѣтей, связи въ офиціальныхъ сферахъ и всепобѣждающее богатство. Осиротѣвшая Надежда Дмитріевна осталась одна, получивъ законную долю наслѣдства и пенсію въ двадцат пять рублей въ мѣсяцъ. Ее звали въ Петербургъ Софь

Петровна, Евгенія Петровна, дочь Софьи Петровны, уже вышедшая замужъ за Истомина, но Надеждѣ Дмитріевнѣ было тяжело разстаться совсѣмъ съ провинціальною глушью. Она купила себѣ въ городкѣ Чернецѣ домикъ, благо городокъ былъ въ трехъ верстахъ отъ деревни ея покойнаго мужа, и поселилась здѣсь. Полгода она проводила въ Чернецѣ, полгода въ Петербургѣ у брата Льва Дмитріевича. слѣдя, насколько было возможно, за воспитаніемъ дѣтей своего мужа. Эти дѣти теперь учились въ модныхъ пансіонахъ.

Вспоминая всѣ эти событія своего прошлаго, Надежда Дмитріевна шла, покачивая въ раздумьи головой и шевеля губами. Невеселыя думы тяготили теперь ее. Въ головѣ роились вопросы: «все ли она сдѣлала, чего требовалъ отъ нея долгъ». Насколько могла, она дала кое-какое образованіе двумъ дочерямъ Ивана Петровича Протасова; насколько могла, она слѣдила за развитіемъ дѣтей своего мужа. Что-жъ? Варя, старшая дочь Ивана Петровича, вышла хорошей учительницей и уѣхала въ провинцію на мѣсто; Ольга, младшая его дочь, правда, была лѣнива, мало способна, но все же сдѣлалась сносной швеей и теперь вотъ женихъ выискался у нея, можетъ-быть, и счастлива будетъ; ея дѣвочки, дочери ея мужа, давно уже вышли изъ пансіона и теперь замужемъ за небогатыми, но хорошими людьми; живутъ въ провинціи со своими семьями. А Саша?

— Бѣдный мой мальчикъ! бѣдный мой мальчикъ!—тихо шептала старушка, вспомнивъ о своемъ пасынкѣ, и тихо отерла выступавшія на ея глаза слезы.—Всѣ-то противъ тебя, всѣ... и ничего я не могла сдѣлать для тебя, ничего...

Короткій зимній день уже слегка вечерѣлъ, когда она добралась до двѣнадцатой линіи Васильевскаго острова и вошла въ ворота одного изъ большихъ, неуклюжихъ каменныхъ домовъ, населенныхъ мелкими мастеровыми и фабричными.

IV.

Нащупавъ обитую рогожею дверь въ темномъ подвальномъ коридорѣ, Надежда Дмитріевна вошла въ просторную кухню. Въ подвальномъ низкомъ жилищѣ, съ тяжелыми сводами, съ потемнѣвшими стѣнами, было уже совсѣмъ темно. Заставленная разной рухлядью, табуретами, столами, кадушками, кочергами и ухватами, грязная кухня озарялась только отблескомъ догорающихъ угольевъ въ русской печкѣ да свѣтомъ убогой лампы, горѣвшей въ сосѣдней, тоже просторной, низкой комнатѣ, полной всякаго хлама, старыхъ стульевъ,

дивановъ, кроватей. Воздухъ здѣсь былъ тяжелъ: пахло сыростью, кислыми щами, печенымъ хлѣбомъ. Едва переступила Надежда Дмитріевна порогъ этого помѣщенія, какъ около нея раздались три женскихъ голоса:

— Надежда Дмитріевна!

— Благодѣтельница наша!

— Тетя Надя! тетя Надя!

И нѣсколько рукъ протянулось къ посѣтительницѣ съ объятіями и стремленіемъ снять съ нея шляпку, разстегнуть салопъ, взять у нея сакъ-вояжъ, при чемъ звонкіе голоса перебивали другъ друга восклицаніями:

— Позвольте, тетечка, я салопъ разстегну вамъ! Пожалуйте шляпку!

— Да пройдите въ комнату, благодѣтельница, въ комнату!

— Ахъ, Боже мой, какая радость! Вотъ-то не ждали, не гадали. Истинно, Богъ не безъ милости!

Оглушенная этими возгласами, осыпанная поцѣлуями, старушка могла только проговорить, что прежде всего ей нужно отдохнуть, такъ какъ она устала. Ее потащили изъ кухни въ комнату и разомъ подставили ей стулъ и кресло, поломанные, потертые, связанные веревками.

— Ну, какъ живете?—спросила она, переведя духъ.

— Ахъ, и не говорите, тетя Надя!

— Голову мы потеряли, благодѣтельница! Истинно вамъ говорю передъ Богомъ. Вотъ ужъ правда, что въ аду, вѣрно, лучше будетъ. Работа да голодъ, ссоры да брань,—измаялись мы. А роденька-то, милліонщики-то наши, хоть бы пальцемъ пошевелили.

— Женихъ выискался Олѣ, такъ родные, гдѣ бы помочь, на дыбы лѣзутъ!

Опять крики трехъ женщинъ раздались разомъ, смѣшались въ одинъ хаосъ жалобъ, и Надежда Дмитріевна не могла ничего понять. Она не останавливала этихъ кричащихъ и бѣснующихся женщинъ, зная по опыту, что это было бы безполезно, и что нужно переждать, когда онѣ угомонятся сами. Эти три женщины—маленькая, плюгавая, вѣчно ноющая и пришибленная судьбой жена Ивана Петровича Протасова, Матрена Савишна, ея разбитная, крикливая, какъ всѣ торговки, размахивающая и подпирающая бока руками, старшая сестра Дарья Савишна, и бойкая, шустрая, привыкшая съ дѣтства отстаивать себя и дома, и на улицѣ, дочь Протасовой, Ольга,—имѣли визгливые голоса и обладали способностью трещать разомъ, не обращая

вниманія другъ на друга и помня только одно, что въ ихъ жизни тотъ и правъ, кто кого перекричать можетъ. Въ качествѣ хозяйки этой подвальной трущобы, Матрена Савишна вспомнила первая, что надо попотчевать гостью, и, униженно извиняясь передъ нею за забывчивость по привычкѣ охая и ахая, побѣжала бочкомъ. мелкими шажками въ кухню приготовлять кофе, наказывая на ходу сестрѣ, чтобы та сбѣгала за булочками въ булочную, да сливочекъ въ лавкѣ прихватила.

Оставшись съ глазу на глазъ съ Ольгой, Надежда Дмитріевна обратилась къ молодой дѣвушкѣ съ вопросомъ:

— Замужъ, я слышала, хочешь идти?

— Да, тетя.

— Хорошій человѣкъ?

— Ничего... не пьетъ... мѣсто есть...

Надежда Дмитріевна въ полумглѣ, уже охватившей подвальную комнату, плохо освѣщаемую одинокой лампой съ грязнымъ стекломъ, старалась разглядѣть лицо племянницы, какъ бы ища отвѣта на свои вопросы въ его выраженіи, а не въ ея словахъ. Круглое, розовое, веснушчатое, какъ часто бываетъ у рыжеволосыхъ, съ задорно вздернутымъ носикомъ, это лицо теперь зардѣлось румянцемъ до корня волосъ. Каріе, плутоватые и бойкіе глаза невольно потуплялись и бѣгали по сторонамъ, какъ мыши въ мышеловкѣ, подъ пристальнымъ взглядомъ старухи. Молодая дѣвушка, обыкновенно зубастая, огрызающаяся, привыкшая съ бранью и руганью отстаивать себя, на минуту смутилась. Потомъ она вдругъ торопливо заговорила, прерывая тяготившее молчаніе.

— Да ужъ какой онъ ни будь, а хуже жить не будетъ. Здѣсь-то развѣ сладко? Отецъ пьетъ и разводы разводитъ о томъ, какіе у насъ родные, генералы да тайные совѣтники. Мать, знаете вы ее, пилитъ да точитъ втихомолку со слезами, да причитаніями, точно въ нашихъ горестяхъ виновата только я. Тетка—ну, извѣстно, рыночная торговка, привыкла на всю толпу кричать: «чулковъ, носковъ, бѣлья нижняго»—и здѣсь такъ же оретъ, благо горло широко. Ее и не перекричишь. А ребятишки ея—да Господи, когда они изъ пріюта приходятъ, бѣжала бы, куда глаза глядятъ! Содомъ, просто Содомъ!

И совсѣмъ уже со злобой, размахивая руками, она прибавила.

— А наши-то, генералы-то, милліонерши-то: «какъ можно за фельдшера! каково будетъ положеніе Жоржа, когда онъ въ томъ же полку служитъ». Да мнѣ-то что? Плевать я на нихъ хо-

тѣла! Погибать мнѣ изъ-за нихъ, что ли? Ничему не научили...

Надежда Дмитріевна тихо, но твердо прибавила:

— Сама не научилась.

— Тетя, тетя, да это я такъ, къ слову!..—воскликнула Ольга, вспоминая, что тетка переплатила немало денегъ за ея ученье.—Способностей у меня не было, конечно. Да вѣдь и были бы способности, такъ все равно: они, родственники-то наши, ни гроша на дали на мое ученье. Это вы только...

Надежда Дмитріевна опять перебила ее:

— Полно вздоръ болтать. Говори о женихѣ. Любитъ онъ тебя? Ты его любишь?

Глаза старушки опять силились всмотрѣться въ лицо племянницы.

— Только не лги!—коротко предупредила она.

— Тетя!—воскликнула Ольга.

— Ну, ну, я знаю вѣдь тебя. Отъ отца переняла эту привычку...

— Ей-Богу, ей-Богу, и онъ любитъ, и я люблю!—заторопилась племянница, подозрѣвая, что и Надежда Дмитріевна не согласна на ея бракъ.

— Ужъ чего не любитъ,—неожиданно раздался позади Ольги Протасовой грубый голосъ Дарьи Савишны, вернувшейся съ булками и сливками:—зналъ бы отецъ, какъ любитъ-то, такъ, можетъ-быть, коса-то порѣдѣла бы.

— Какъ вы смѣете!—съ крикомъ набросилась на тетку Ольга, оборачиваясь къ ней разгорѣвшимся лицомъ.—Съ вами, что ли, говорятъ?

— Чего не смѣть-то?—съ грубымъ смѣхомъ сказала тетка Дарья:—испугалась я тебя. Не чужимъ людямъ говорю. Утаишь, что ли, послѣ свадьбы грѣхъ-то, когда крестить чуть не на другой день ребенка придется?

Надежда Дмитріевна, не вмѣшиваясь въ ссору, поникла головой и тоскливо зашевелила губами, пораженная неожиданнымъ извѣстіемъ.

Ольга Протасова громко заплакала, рѣзко и визгливо попрекая тетку Дарью. Тетка Дарья, въ свою очередь, не осталась въ долгу и кричала на племянницу. Изъ кухни вбѣжала въ комнату Матрена Савишна, заслышавшая перебранку, и начала слезливо жаловаться на сестру и на дочь разомъ, называя одну «аспидомъ», а другую попрекая за «мараль». Дарья Савишна вступилась за себя и перешла на ту почву, на которой было не легко побѣдить ее,—стала говорить, что семья живетъ главнымъ образомъ на ея счетъ.

Она съ утра до вечера на морозѣ сидитъ, она выторговываетъ гроши на рынкѣ, она и шьетъ, и вяжетъ, ея деньгами сыты всѣ.

— Скоро вы кончите!—съ необычайной рѣзкостью спросила, наконецъ, Надежда Дмитріевна.—Уйду вотъ, тогда хуже будетъ.

Всѣ три женщины разомъ смолкли и бросились просить прощенія у старушки, оправдываясь и проклиная судьбу. Не онѣ виноваты, что горе ихъ доняло. Свѣтъ не милъ сталъ. На сердцѣ-то накипѣло. День будешь говорить, всѣхъ бѣдъ не выскажешь. Не слушая ихъ, Надежда Дмитріевна серьезно обратилась къ Ольгѣ:

— Ты что же? Насказала ему о своихъ богатыхъ родныхъ? Насулила ему золотыя горы? Говори все откровенно, не лги, не виляй?...

— Ей-Богу, нѣтъ, тетя, ей-Богу!..—божилась молодая дѣвушка, торопливо крестясь.

— Да ты не божись, а просто говори правду. Мнѣ-то вѣдь все равно, а тебѣ плохо придется, если онъ ждетъ, что за тобой дадутъ тысячи. Заѣстъ онъ тебя, обманувшись въ своихъ ожиданіяхъ.

Ольга опять заплакала и тихо прошептала:

— Нѣтъ, ничего не обѣщала я, ничего!.. Такъ ухаживалъ... Жить было тошно... вотъ и потеряла сама себя...

Надежда Дмитріевна вздохнула свободнѣе.

— Ну, если такъ, если онъ честный человѣкъ, можетъ-быть, и уладится все. Когда же свадьба?

— Все же, благодѣтельница, нужно кое-какое приданое,— торопливо вмѣшалась плаксивымъ тономъ Матрена Савишна.—Ничего у насъ нѣтъ, мать наша родная! Ровно-таки ничего!

— Чему быть при такомъ-то мужѣ, какъ Иванъ Петровичъ нашъ,—съ ироніей воскликнула Дарья Савишна:— грошъ добылъ—два пропилъ, не большой барышъ!

— Я похлопочу, чтобы сдѣлали кое-что; сама дамъ, что могу,—коротко сказала Надежда Дмитріевна, не слушая Дарью Савишну.—Только торопитесь.

Три родственницы бросились благодарить, ловя ея руку.

Она отмахивалась отъ нихъ:

— Хорошо, хорошо, не надо!

Когда на столъ подали кофе, сваренный на таганѣ въ кругломъ закопченомъ кофейникѣ съ длинной ручкой, въ подвалъ явился Иванъ Петровичъ Протасовъ. Это былъ вы-

сокій и плотный, немного сгорбленный и отяжелѣвшій старикъ съ багровымъ раздутымъ лицомъ, съ густыми сѣдыми волосами и большой бородой. И волосы на головѣ, и борода были всклокочены, стояли разметанной копной. По одеждѣ онъ походилъ почти на нищаго изъ мѣщанъ. Заношенная и заплатанная одежда была неопрятна. Порыжѣвшіе сапоги были тоже въ заплатахъ. Несмотря, однако, на бѣдность и нечистоплотность наряда, старикъ смотрѣлъ нагло, съ какой-то надменной вызывающей улыбкой, съ плутоватымъ подмигиваніемъ глазами. Увидавъ Надежду Дмитріевну, онъ развязно подошелъ къ ней и, какъ родственникъ, протянулъ широкую мозолистую руку:

— А, почтеннѣйшая belle sœur!—проговорилъ онъ, улыбаясь.—Сколько лѣтъ, сколько зимъ не видались. Зажились совсѣмъ въ своемъ Чернецѣ. На свадьбу пріѣхали?

— Я только сегодня узнала объ этомъ,—сухо отвѣтила Надежда Дмитріевна.

— Вѣроятно, у нашихъ генераловъ были? Вы вѣдь въ нашемъ высшемъ обществѣ вращаетесь, у аристократовъ!

Онъ засмѣялся густымъ, хриплымъ смѣхомъ.

— Генералы, а пуще генеральши въ отчаяніи! Вообразите: даже меня, непотребнаго, вытребовала по этому поводу къ себѣ сама моя почтеннѣйшая сестрица, ея превосходительство Софья Петровна Драгоманова. Умора! Я говорю: «Ваше превосходительство, да чѣмъ же я виноватъ, что я нищъ и нагъ? Найдите моей дочери жениха изъ высшаго круга—я съ моимъ превеликимъ удовольствіемъ дамъ ей свое родительское благословеніе». Ха-ха-ха! Такъ нѣтъ, не находитъ возможнымъ, а имѣть фельдшера въ роднѣ находитъ тоже неудобнымъ. Комики! Право, комики!

Онъ снова засмѣялся циничнымъ смѣхомъ пропойцы и, грузно опустясь на стулъ, подсѣлъ къ столу.

— Кофею!—прикрикнулъ онъ на жену.

Та засуетилась:

— Сейчасъ, сейчасъ! Чего кричишь!

Онъ опять заговорилъ съ ироніей:

— Семейка у насъ, могу сказать! Я вотъ въ баняхъ вѣники продаю, супруга прачешнымъ рукомесломъ занимается, Дарья на рынкѣ, съ позволенія сказать, мужскими кальсонами и носками на развалѣ торгуетъ, а тѣ тамъ—высшій кругъ, милліонеры, превосходительные! Потѣха! А вотъ еще одинъ изъ семейки въ мѣста не столь отдаленныя собирается прогуляться.

Надежду Дмитріевну всю передернуло.

— Не вамъ говорить объ этомъ!—рѣзко оборвала она Протасова:—васъ можно бы двадцать разъ туда отправить!

— Видно нельзя было, что не отправили!—нагло сказалъ онъ.

Потомъ опять перемѣнилъ тонъ:

— Ну, ну, ну, не сердитесь! Я это такъ, между прочимъ. Я всѣмъ шучу, надо всѣми шучу. Ужъ такой юмористъ. Комизмъ жизни уразумѣлъ я. А Сашку мнѣ жаль; все же родного брата сынъ: парень онъ не злой, но ужъ теперь помочь-то ему нельзя.

Онъ небрежно откинулся на спинку стула и тономъ похвальбы и хвастовства заговорилъ:

— Пробовалъ я его образумить, когда еще было время. Не разъ говаривалъ ему, что докутится онъ не до добра. Такъ нѣтъ, молодятина насъ стариковъ не хочетъ...

Надежда Дмитріевна раздражительно перебила его.

— Не лгите! Вы если и бывали у него, такъ чтобы съ него же стянуть. Слушать-то васъ тошно!

Протасовъ даже глазомъ не сморгнулъ.

— Ахъ, сердитая, сердитая ворчунья!—безъ смущенія пошутилъ онъ.

Она поднялась, охваченная гадливымъ чувствомъ.

— Куда же вы, тетя! Развѣ не ночуете у насъ?—воскликнула Ольга.

— Нѣтъ,—коротко отвѣтила старушка.

— А что наши барыни-то ругаютъ, поди, Сашку?—спросилъ Протасовъ.

Старушка ничего не отвѣтила, надѣвая и завязывая шляпку дрожащими отъ волненія руками.

— Я воображаю, какой переполохъ надѣлалъ этотъ новый скандалъ въ благородномъ семействѣ,—продолжалъ дразнить ее Протасовъ.—Имъ по-дѣломъ. Еще не то будетъ Сынокъ ея превосходительства, моей сестрицы, Жорженька тоже покажетъ себя когда-нибудь.

И вдругъ совершенно неожиданно, съ хитростью привыкшаго мошенничать человѣка, зорко глядя на посѣтительницу, спросилъ:

— А вы-то Сашку спасать пріѣхали?

Вопросъ былъ такимъ внезапнымъ, что Надежда Дмитріевна растерялась и наскоро проговорила:

— Да, то-есть... просто дѣла были здѣсь...

Она торопливо стала прощаться со своими родственни-

ками и сказала Ольгѣ, чтобы та зашла къ ней на-дняхъ поговорить о приданомъ. Едва затворилась за старушкой дверь, едва смолкли сладкими голосами посылаемыя ей благословенія и слезныя просьбы не оставить несчастныхъ сиротъ, какъ всѣ женщины разомъ, крикливо и злобно, напустились на Ивана Петровича.

— Ты это ошалѣлъ, что ли, что дразнить ее вздумалъ? Бога-то ты не боишься! Такое ли теперь время?

— А какое же?—засмѣялся Иванъ Петровичъ, глядя съ выраженіемъ презрѣнія на бѣснующихся женщинъ.

— Да у тебя дочь-невѣста, надо старуху задабривать, а ты...

— Что я? Что?—нахально спросилъ онъ:—Сашку ея ругнулъ? А вы, бабы, бабы! Да если бы вы понимали все, такъ вы бы Сашку-то задушили. Вы думаете, зачѣмъ она, утица-то наша, приплыла сюда? А?

Женщины недоумѣвали.

— Видѣли, какъ смутилась, когда я спросилъ о причинѣ пріѣзда? Сашку спасать прибыла. Помяните мое слово, что такъ!

— Да какъ его спасти-то?—закричали женщины.—Что ты брешешь? Со вчерашняго не отрезвился?

— А откупитъ. Векселей онъ надавалъ фальшивыхъ...

— Ну, и пойдетъ въ Сибирь!—рѣшили женщины.—Туда и дорога.

— Дуры вы, дуры! Дѣло-то еще не началось. Ну, вотъ она и выкупитъ эти векселя.

Дарья Савишна остановилась передъ Протасовымъ, подперши руками бока, въ боевой позѣ.

— Да ты пьянъ или съ похмелья?—вызывающимъ тономъ крикнула она.

— Ахъ ты, дура, дура, торговка рыночная! Горло-то у тебя широкое, а умъ куриный, вотъ что!—произнесъ съ ироніей старикъ и съ бахвальствомъ началъ пояснять:—Иванъ Протасовъ все понимаетъ, все видитъ. Человѣкъ мигнетъ, а Иванъ Протасовъ уже знаетъ, съ чего мигаетъ. Вы-то всѣ передъ Иваномъ Протасовымъ такъ дрянцо какое-то, мразь и больше ничего. Такъ я вамъ вотъ что скажу. Отдастъ наша утица все Сашкѣ, и останетесь вы съ носомъ, плакаться будете, въ ногахъ у нея станете валяться, а взять будетъ нечего.

— Ахъ, батюшка, да какъ же это? Подлецу все отдать?—воскликнула Дарья Савишна, всплеснувъ руками.

— Ольга, Ольга, завтра же бѣги къ теткѣ,—въ слезахъ

крикнула Протасова.—Рви скорѣй же, что можно, рви. Ахъ, ты бѣда какая! Ахъ, пропали наши головы! Вотъ не чаяли горя! Подлецу все отдастъ, не было бы ему ни дна, ни покрышки!

— Да мы что же, чужіе ей, что ли?—закричала Ольга.— Онъ мошенничаетъ, а ему же деньги даютъ...

— Завопили на весь подвалъ,—захохоталъ Протасовъ, откинувшись на спинку стула.—Горло перервали бы теперь ему!

— Да ужъ и перервали бы! Ты только хохотать можешь, когда дочь твою грабятъ!—накинулись на него жена и ея сестра.—У тебя-то только душа да сердце въ кабакѣ оставлены...

— Ну, ну, потише!—съ угрозой проговорилъ Иванъ Петровичъ и стукнулъ кулакомъ по столу.

Женщины разомъ смолкли. Онѣ знали, что бываютъ у Протасова въ такія минуты, когда шутить съ нимъ не приходится даже теткѣ Дарьѣ. У семьи какъ-то странно перемѣшивались и презрѣніе, и уваженіе къ этому человѣку— и помыканіе имъ, и страхъ передъ нимъ. Бывали минуты, когда на него кричали, какъ на послѣдняго холопа, но бывали и такія минуты, когда у него въ рукахъ оставались пучки волосъ этихъ женщинъ, и эти женщины только тихо плакали и выли отъ боли. Ольга, можетъ-быть, была права, говоря, что ей было тошно въ этомъ аду, и потому она сама себя потеряла.

V.

Погода уже перемѣнилось. Небо заволокли облака; шелъ не то снѣгъ, не то дождь. Легкій морозъ смѣнился оттепелью, но, тѣмъ не менѣе, въ воздухѣ теперь стало гораздо холоднѣе отъ поднявшагося съ взморья вѣтра. На улицахъ уже зажглись фонари, и ихъ тусклый, мерцающій сквозь сѣть дождя и снѣга, свѣтъ мигалъ и колебался отъ вѣтра, словно трепетно угасая отъ этой непогоды. Кое-гдѣ по улицамъ бѣлѣлъ снѣгъ, но среди него уже блестѣли лужи воды, по поверхности которыхъ пробѣгала иногда рябь подъ порывами вѣтра.

Надежда Дмитріевна выбралась изъ квартиры Протасовыхъ, добрела черезъ длинный дворъ до улицы и наняла перваго попавшагося извозчика, торопясь домой, нуждаясь въ отдыхѣ. Она сѣла въ сани и словно опустилась, сжалась подъ наплывомъ тяжелыхъ думъ. Ей точно слышались

теперь голоса всей родни, высокомѣрные и сухіе, грубые и рѣзкіе, повторявшіе одну и ту же фразу:

— Негодяй! Негодяй! Какое же можетъ быть для него спасеніе? Такихъ ссылать надо!

«Говорятъ это,—подумала съ горечью старушка:—и точно радуются, что ему уже нѣтъ спасенія. А сами тоже люди, грѣшатъ тоже».

— Ты моя мама?—слышится ей такъ ясно, ясно серебристый дѣтскій голосокъ, точно трехлѣтній ребенокъ, обратившійся когда-то къ ней съ этимъ вопросомъ, находится теперь тутъ, около нея, жмется къ ней въ этотъ непогодливый вечеръ и проситъ защиты.

«Прижала я его къ груди и сказала: да, да, Шура, я твоя мама»,—вспоминаетъ Надежда Дмитріевна, и по ея розовому старческому лицу текутъ холодѣющія на воздухѣ слезы.

«Хороша мать, которая не отдастъ послѣдней рубашки для спасенія своего сына,—продолжаетъ она думать.—Передъ образомъ клялась тогда быть для него матерью, ради жалости къ нему обѣтъ свой нарушила, а теперь... Не въ счастьѣ любовь узнается, а въ несчастіи. Къ счастливому каждый придетъ; отъ несчастнаго только отворачиваются... И чѣмъ онъ виноватъ? Передъ кѣмъ онъ виноватъ? Не убилъ, не ограбилъ. Себя самого только загубилъ... Если ужъ кто виноватъ, такъ другіе передъ нимъ, а не онъ передъ другими. Какъ росъ? Какъ воспитывался?»

Въ ея памяти снова воскресало прошлое. Она вошла хозяйкой въ домъ Павла Петровича Протасова, когда Александру было три года. Отецъ былъ къ нему сначала просто равнодушенъ; потомъ на ребенкѣ начала отражаться скупость отца. Пряникъ у ребенка отецъ увидитъ, допрашиваетъ: откуда тотъ взялъ пряникъ? Пріучится въ дѣтствѣ пряники ѣсть, а потомъ на хлѣбъ не хватитъ—воровать станетъ. Надо было стараться, чтобы ребенокъ не попадался на глаза отцу съ лакомствами. Она старалась всѣми силами оградить ребенка отъ непріятностей и сдѣлать въ то же время такъ, чтобы ребенокъ не понялъ, что нужно обманывать отца. Задача была трудная. Ребенокъ чутьемъ угадалъ все и научился прятать отъ отца свои лакомства и свои дешевыя игрушки. Иногда мальчикъ разбивалъ случайно посуду, рвалъ среди игръ платье, и изъ-за этого начинались цѣлыя исторіи. Опять, спасая ребенка, надо было скрывать эти мелочи отъ отца, а между тѣмъ отъ названной матери малютка слышалъ, что нѣтъ ничего хуже лжи, и въ

головѣ ребенка складывались мучительные вопросы: «лгать гадко, а за правду бранятъ, что же остается дѣлать? Только и остается убѣжать съ глазъ отъ отца». Раза три въ теченіе семи-восьми лѣтъ семья Павла Петровича пріѣзжала въ Петербургъ по дѣламъ на мѣсяцъ, на два, останавливаясь въ домѣ Драгомановыхъ. Здѣсь ребенокъ видѣлъ, что всѣ его кузины и кузены живутъ не такъ, какъ онъ. Дѣтскіе балы, театры, роскошные наряды, масса игрушекъ,— все это выпадало на долю тѣмъ дѣтямъ, но не Александру. Эти дѣти смѣялись надъ нимъ, надъ скупостью его отца. Иногда въ какомъ-то порывѣ оскорбленнаго самолюбія, негодованія, дѣтской злобы, онъ топалъ ножонками и кричалъ:

— Я ненавижу, ненавижу скаредовъ!

Названная мать успокаивала его, разъясняла, что всѣ эти наряды и развлеченія, балы и игрушки—пустяки, что можно жить счастливо и безъ этого. Любить ближняго, быть любимымъ—вотъ главное счастіе человѣка. У кого чиста совѣсть, тотъ во всякомъ положеніи счастливъ. Говоря все это, лаская ребенка, она въ то же время ясно понимала, что этими нравоученіями, въ сущности, только успокаиваетъ свою собственную совѣсть и что прописныя отвлеченныя истины не могутъ войти въ плоть и кровь ребенку, чувствующему себя несчастнымъ.

— А у меня вотъ ничего нѣтъ, и никто меня не любитъ, смѣются только всѣ надо мною,—возражалъ мальчикъ.

— А меня-то ты и забылъ,—ласково шутила она.—Развѣ я тебя не люблю?

— Ты всѣхъ любишь,—говорилъ мальчикъ, хмуря свой лобикъ.

И торопливо замѣчалъ:

— А вотъ они и надъ тобой смѣются. Говорятъ, что ты въ затрапезномъ платьѣ ходишь. Говорятъ, что тебя кухаркой скоро сдѣлаютъ...

— Полно, полно!—прерывала она его.—Чтобы ни говорили, мнѣ все равно. Буду я нужна—ко мнѣ же придутъ... вотъ, какъ ты. Чуть что случится—ко мнѣ же идешь, хоть я и въ затрапезномъ платьѣ хожу...

— Ты добрая,—пояснилъ мальчикъ, тоскливо припадая головкой къ ея колѣнямъ.

Съ какимъ наслажденіемъ увидала она, что онъ, обижаемый въ городѣ, началъ любить деревню, природу, сталъ даже скучать въ городѣ по роднымъ лѣсамъ и полямъ. Она даже не подозрѣвала, что и тутъ въ ребенкѣ сказалась та

же черта, которая явилась въ его отношеніяхъ къ отцу: спорить и ссориться съ сверстниками-родными было тяжело и гадко, жить съ ними мирно не было возможности,—оставалось только бѣжать отъ нихъ. И вдругъ, когда это дитя стало формироваться въ простого, добраго мальчугана, правда, неровнаго по характеру,—то глубоко задумчиваго, то непомѣрно страстнаго, но все же безконечно добраго и мягкаго,—скоропостижная смерть его отца измѣнила положеніе семьи. Родные дѣтей Протасова со стороны ихъ матери, люди сильные и вліятельные отняли дѣтей у Надежды Дмитріевны изъ алчнаго желанія захватить въ свои руки опеку надъ этими дѣтьми. О двухъ дочеряхъ мужа она не сокрушалась, онѣ были уже довольно взрослыя дѣвушки, съ вполнѣ сложившимися характерами. Сжималось у нея сердце за маленькаго Александра. Вырвали его изъ ея объятій и отдали въ модный пансіонъ въ Петербургѣ. Наблюдать за его развитіемъ она могла только издали, урывками, въ пріемные часы въ пансіонѣ.

«Точно куклами, дѣтьми играютъ,—со вздохомъ подумала старушка:—меня же вездѣ упрекали, что я недоросля, мужика какого-то готовила изъ Александра. Ну, вотъ и толкнули на дорогу широкаго развитія, столичнаго безпутства».

— Ахъ, мама, охота вамъ разыгрывать изъ себя чудачку, надъ которой каждый можетъ потѣшаться.

Эти слова услышала разъ Надежда Дмитріевна отъ юноши-пасынка и остолбенѣла.

— Я тебя не понимаю, Шура?—сказала она.

— Одѣваетесь, Богъ знаетъ какъ!—пояснилъ онъ.—Теперь вѣдь отца нѣтъ, и некому ворчать на васъ за расточительность.

Она засмѣялась.

— Ахъ, глупый мальчикъ, ты вотъ о чемъ! Я уже старуха почти, и франтить мнѣ не для чего. Была бы чистота одежды, а франтовство—глупости!

И, не придавая значенія этому пустому, мимолетному замѣчанію мальчугана, она перешла къ другой темѣ.

— А вотъ я тебя пожурить должна. Ты, говорятъ, тратишь слишкомъ много денегъ на пустяки.

— Я же богатъ!

— Ну, всякое богатство можетъ истощиться. Да притомъ, даже при милліонномъ состояніи не для чего бросать деньги на глупости.

Онъ вспылилъ.

— Ну, ужъ это вы оставьте! Вторымъ изданіемъ отца я не желаю быть. Довольно я и самъ натерпѣлся изъ-за скаредности отца. Посмѣшищемъ мы для людей были тогда. ну, а теперь я самъ посмѣюсь надъ каждымъ скупцомъ.

— То-есть, изъ скопленныхъ не тобою денегъ будешь пускать пыль въ глаза такимъ же пустымъ малымъ, какъ ты?

— А хоть бы и такъ! Все же лучше скарединчества...

— Въ такомъ случаѣ, мнѣ и говорить нечего съ тобой. Не люблю я пустыхъ малыхъ, бахваловъ.

Надежда Дмитріевна поднялась, чтобы уйти изъ рекреаціонной залы. Александръ, блѣдный, кусая губы, тоже всталъ съ мѣста и молча пошелъ за нею.

— Такъ и уйдешь?—глухо спросилъ онъ ее почти въ дверяхъ.

— Такъ и уйду,—отвѣтила она.—На что ты мнѣ такой, какимъ ты сталъ?

Она вышла въ коридоръ, строгая на видъ, а въ душѣ только одинъ вопросъ и шевелился: «что если онъ отпуститъ ее?» И тяжело, мучительно-тяжело ей было въ эти минуты.

— Мама, милая, прости!—раздался шопотъ въ темномъ углу коридора, и ея руки, ея лицо покрылись горячими поцѣлуями:—негодный я мальчишка, негодный! Ты простишь? Да?

Она, цѣлуя его, сдерживая слезы, шептала:

— Забѣги ко мнѣ, поговоримъ...

И онъ забѣгалъ къ ней, проводилъ съ ней цѣлые часы, каясь въ своихъ мелкихъ грѣхахъ, мечтая о томъ, что, кончивъ въ пансіонѣ, онъ поступитъ въ университетъ, переберется потомъ въ деревню, сдѣлается земскимъ дѣятелемъ, порядочнымъ человѣкомъ.

— Люблю я нашу деревню! Домъ мы съ тобой перестроимъ, поселимся вмѣстѣ, я женюсь, а ты будешь командовать нами всѣми. Въ Петербургѣ я никогда не останусь. Здѣсь мнѣ всѣ чужіе. Хочется только имъ пыль въ глаза пустить, раздразнить всѣхъ, разругаться со всѣми и заставить ихъ же извиниться за то, что я ихъ обругалъ. Во мнѣ два человѣка: одинъ вотъ тутъ съ тобой, а другой тамъ—у нашихъ милыхъ дядюшекъ и тетушекъ, у кузинъ и кузеновъ...

Часы проходили за часами, и ему нужно было напоминать, что пора идти въ пансіонъ.

Часто повторялись эти сцены, и каждый разъ онѣ дѣла-

лись мучительнѣе. Разъ Надежда Дмитріевна, уходя изъ рекреаціонной залы пансіона послѣ крупной размолвки съ Александромъ, томительно ждала, что вотъ-вотъ юноша остановитъ ее. Онъ не остановилъ ее. Она вышла на улицу, какъ пришибленная. Что же будетъ? Неужели такъ все и порвалось? Неужели въ юношѣ то, другое, злое начало взяло окончательно верхъ надъ прежнимъ добрымъ началомъ? Что предпринять? Она вернулась домой совсѣмъ растерянною. Ужъ не придти ли въ слѣдующій пріемный день въ пансіонъ, какъ ни въ чемъ не бывало? Не начать ли дѣлать юношѣ уступки, смотрѣть сквозь пальцы на его кутежи? Кругомъ нея уже начинали говорить, что изъ Александра вырабатывается мотъ, самодуръ—это говорили люди, кутившіе на его счетъ, но въ то же время оскорбляемые его капризами. Она рѣшилась даже на самый трудный подвигъ—обратилась къ роднымъ Александра со стороны его матери, людямъ почти незнакомымъ ей, чтобы разъяснить имъ, что они разрываютъ передъ юношей страшную бездну. Тѣ только пожали плечами. О чемъ она толкуетъ? Всѣ у нихъ такъ живутъ. Какъ же иначе жить? Онъ—богатый, независимый человѣкъ семнадцати лѣтъ и потому покучиваетъ. Это такъ естественно. Характеръ, правда, у него невыносимъ: онъ иногда по-мѣщански грубъ, иногда напоминаетъ купчика-самодура, иногда хвастливъ, какъ выскочка. Но это уже не въ ихъ кругу къ нему привилось. Это результатъ наслѣдственности или воспитанія. Мальчикъ росъ довольно долго не въ своемъ кругу. Все это говорилось холодно, сухо, съ тонкими намеками и колкими вставками. Разувѣрять этихъ людей было трудно, невозможно. Ее не оскорбляли, не задѣвали даже за живое всѣ эти намеки и колкости: ее мучила только одна мысль—вернется ли къ ней ея мальчикъ? Что дѣлать, если не вернется?

«Если можешь простить—прости. Я лежу въ лазаретѣ».

Господи, сколько она плакала отъ радости, получивъ эти двѣ строчки, болѣе краснорѣчивыя для нея, чѣмъ цѣлые листы исписанной бумаги. Она цѣловала ихъ и твердила.

— Вернулся! вернулся!

Живо она помнитъ небольшую, чистенькую лазаретную комнату пансіона съ четырьмя кроватями, покрытыми бѣлыми простынями и такими же одѣялами. На одной изъ этихъ кроватей лежалъ похудѣвшій молодой человѣкъ съ бѣлокурыми вьющимися волосами, съ большими голубыми глазами, съ горящимъ отъ жара лицомъ. Когда она подо-

шла къ этой постели, онъ молча припалъ къ ея рукѣ и оросилъ эту руку слезами. Какъ-то дѣтски-наивны были его лихорадочныя рѣчи. «Тогда, когда она ушла, а онъ не остановилъ ея—ему показалось, что они никогда не увидятся. Онъ далъ себѣ слово никогда, никогда не видѣть ея, если она не любитъ его, если она сама можетъ бросить его. Далъ слово и сталъ «дуться» на нее, а у самаго что-то такъ и давитъ, и давитъ сердце. Со всѣми перессорился, бросилъ ученье, кутилъ два вечера, а сердце все давитъ и давитъ. Только онъ рѣшился не писать ей, не ходить къ ней, пока она не придетъ сама. Нуженъ онъ ей, любитъ она его—ну, и придетъ. Нѣтъ—и не надо. Никого ему не надо, онъ никого не любитъ, и его никто не любитъ».

— Горячка сдѣлалась!—заключилъ онъ свою лихорадочную исповѣдь.—И страшно, страшно стало умереть безъ тебя...

На глазахъ у старушки снова навернулись слезы при воспоминаніи объ этомъ днѣ. Тогда ее охватила какая-то безумная мысль—взять своего Сашу, увезти его изъ Петербурга, укрыть гдѣ-нибудь въ глуши и спасти. Она ясно уже сознавала, что здѣсь онъ, надломленный, двойственный, нервничающій, окруженный соблазномъ и толкаемый въ пропасть, погибнетъ...

— И погибъ! погибъ!— тихо шептала она, склоня голову на грудь.

VI.

Надежда Дмитріевна доѣхала до Средней Подъяческой и остановила извозчика у подъѣзда большого каменнаго дома. Здѣсь жила съ давнихъ поръ Александра Николаевна Потапенко, вдова ея брата Льва, съ сыномъ и дочерью. Надежда Дмитріевна во всякое время, наѣзжая въ Петербургъ, имѣла отдѣльную комнату въ квартирѣ этой семьи. Старушка поднялась по лѣстницѣ въ третій этажъ и позвонила. Дверь отворила молодая дѣвушка, черненькая, стройная, еще не сформировавшаяся, съ густыми волосами, заплетенными въ одну косу, въ коричневомъ платьѣ гимназистки. Увидавъ старушку, она обняла ее и поспѣшно, заботливо стала раздѣвать.

— Тетя, а ужъ мы думали съ мамой, что ты гдѣ-нибудь ночевать осталась,—торопливо говорила она, снявъ салопъ съ Надежды Дмитріевны и развязывая ленты ея шляпки.

— Нѣтъ, гдѣ же,—отвѣтила Протасова, цѣлуя племянницу.—Истомилась я сегодня, голубка моя.

Изъ комнаты, неспѣшной и ровной походкой, вышла высокая, еще довольно стройная женщина лѣтъ сорока пяти. По сходству съ молодой дѣвушкой, въ ней сразу можно было узнать мать послѣдней.

— Мы за чаемъ сидимъ,—сказала она, цѣлуя Протасову.—Сейчасъ согрѣешься. Погода, кажется, измѣнилась...

— И хорошо, что не отпили чай,—замѣтила старушка:—я даже не обѣдала сегодня.

— Господи!—проговорила хозяйка. Какъ же такъ?

— Я сейчасъ, сейчасъ распоряжусь!—воскликнула молодая дѣвушка, готовясь бѣжать на кухню.

— Не надо, Вѣра, — отозвалась Надежда Дмитріевна, останавливая ее движеніемъ руки.—Я не голодна. Устала только...

Всѣ прошли черезъ просторную, просто, но прилично обставленную гостиную въ столовую. Тамъ, за большимъ чайнымъ столомъ, съ книгой въ рукахъ, сидѣлъ гимназистикъ, вскочившій съ мѣста при появленіи Надежды Дмитріевны и звонко чмокнувшій ее въ губы.

— Ну, что? Сдѣлала ли что-нибудь!—участливо начала хозяйка дома, усаживаясь за самоваръ и наливая чай.

— Я тебѣ тартинку приготовлю, тетя,—сказала молодая дѣвушка, намазывая масломъ хлѣбъ.

— Да, да, хорошо, Вѣра,—отвѣтила Протасова и обратилась къ хозяйкѣ:—поручила обдѣлать все Истомину. Викторъ Павловичъ дѣловой человѣкъ. Отъ другихъ же только одного и наслушалась: «Негодяй, негодяй, туда и дорога!» Вотъ все, что говорятъ родные.

— Бездушные люди!—проговорила хозяйка, слегка пожимая плечами.—Сами загубили и еще смѣютъ бранить!

— Что имъ за дѣло до того, кто виноватъ! Тоже тутъ у нихъ одна исторія съ Ольгой Протасовой вышла. Едва и ее не загубили. Хорошо еще, что я во время пріѣхала.

Хозяйка вопросительно взглянула на Надежду Дмитріевну выразительными черными глазами. Та молча указала взглядомъ на дѣтей и перемѣнила разговоръ.

Когда чай былъ допитъ, всѣ встали изъ-за стола. Гимназистъ и гимназистка отправились въ свои спальни. Надежда Дмитріевна въ сопровожденіи хозяйки пошла въ свою комнату. Здѣсь уже горѣла лампа на переддиванномъ столѣ. Надежда Дмитріевна сняла свое черное шелковое платье, подъ которымъ былъ коричневый шерстяной капотъ, усѣлась въ кресло, достала очки, надѣла ихъ и вынула изъ стояв

шей на столѣ корзинки вязанье—полосы для одѣяла. Хозяйка тоже принялась за вышивку по тонкому нансуку. Обѣ эти женщины привыкли съ давнихъ поръ проводить остатки вечеровъ за работой, въ такомъ затишьѣ, когда Надежда Дмитріевна пріѣзжала въ Петербургъ, или когда эта семья забиралась на лѣто къ Надеждѣ Дмитріевнѣ въ Чернецъ.

— Что съ Ольгой случилось?—спросила хозяйка дома, не отрывая глазъ отъ работы.

— Пала! Чего же можно было больше ожидать?—отвѣтила Надежда Дмитріевна.—Среда такая. А тѣ, родные, волнуются теперь, что она за фельдшера замужъ идетъ. Слава Богу еще, что не отказывается этотъ фельдшеръ взять ее за себя...

Она опустила на колѣни вязанье и видимо заволновалась.

— Нѣтъ, можешь ли ты себѣ представить, что даже Протасовъ, Иванъ Петровичъ Протасовъ, ругаетъ Александра? Онъ-то, потерявшій и стыдъ, и совѣсть, изолгавшійся, исподличавшійся! Судьи тоже, всѣ судьи! Развратникъ, воръ, негодяй—и тотъ, только попадись въ чемъ-нибудь его близкій, принимаетъ позу судьи, вступаетъ въ роль присяжнаго засѣдателя, ни на минуту даже не остановившись въ душѣ надъ вопросомъ: «а я самъ что сдѣлалъ?» Люди! люди!

Она опять принялась за вязанье. Ея руки теперь слегка дрожали отъ охватившаго ея волненія.

— Сегодня вотъ я отдѣлаться не могла весь день отъ думъ объ Александрѣ. Вѣдь все его паденіе на моихъ глазахъ произошло, каждый шагъ его къ этой пропасти я знала.

Она опять замолчала и задумалась, поджавъ немного губы и сдвинувъ брови.

Послѣднимъ порывомъ къ добру въ Александрѣ были дни его болѣзни. По веснѣ, вмѣсто университета, его уговорили поступить въ кавалерійское училище. Безалаберная жизнь сдѣлалась уже постояннымъ явленіемъ. Ѣзда на рысакахъ, кутежи, швырянье денегъ,—все это шло своимъ чередомъ. Напоминаніе о деревнѣ, о полезной земской дѣятельности, о тихой семейной жизни стали раздражать его, и онъ, точно сердясь на кого-то и на что-то, отрывисто говорилъ Надеждѣ Дмитріевнѣ:

— Еще успѣю старикомъ сдѣлаться!

Въ его отношеніяхъ къ мачехѣ стали примѣшиваться странныя черты: она чудачка, она смѣшная, она мечтатель-

ница, она непрошенныя нравоученія любитъ, она смотритъ на все по-мѣщански. Онъ то сердился, иронизировалъ надъ нею, то смотрѣлъ на нее свысока, какъ иногда смотрятъ на ворчливую чудачку-няню, давая ей понять, что если ее и слушаютъ порою изъ снисхожденія къ ея старости, то, тѣмъ не менѣе, ей не позволятъ забываться. Порой можно было подмѣтить, что его просто тяготитъ ея присутствіе, что онъ готовъ откреститься отъ нея, какъ отъ призрака,—и бѣжать, бѣжать прочь. Пустота окружающей среды, безсодержательность свѣтской жизни, казалось, окончательно подавляли всѣ добрыя чувства въ молодомъ человѣкѣ. Жить хорошо и весело, стоять на первомъ планѣ, поражать всѣхъ своими тратами, бросаньемъ денегъ, щедростью,—вотъ все, что, казалось, было задачею жизни этого человѣка, этого сына скряги. Надежда Дмитріевна все видѣла, все понимала и считала окончательно погибшимъ своего Сашу, какъ вдругъ случилось снова нѣчто неожиданное.

Въ одинъ прекрасный день Александръ явился къ ней. Онъ былъ неузнаваемъ: похудѣлъ, поблѣднѣлъ, въ глазахъ лихорадочный блескъ. Онъ коротко объявилъ, что выходитъ въ отставку изъ кирасирскаго полка, гдѣ уже служилъ года четыре. Она и обрадовалась, и встревожилась. Обрадовалась тому, что, вѣроятно, выходя въ отставку, онъ поселится въ деревнѣ; испугалась мысли, почему онъ выходитъ въ отставку такъ внезапно, какъ будто «долженъ» выйти. Онъ никогда не умѣлъ лгать передъ нею и въ тотъ же вечеръ разсказалъ все.

Онъ влюбился въ одну изъ дальнихъ родственницъ по матери. Дѣвушка, повидимому, тоже не была равнодушна къ нему. Онъ имѣлъ полное право надѣяться на ея согласіе выйти за него замужъ. Наконецъ, онъ рѣшился просить ея руки у ея отца и матери.

— Я получилъ отказъ!—рѣзко закончилъ онъ, поднимаясь съ мѣста и ходя въ волненіи по комнатѣ.—Я, видишь ли, веду слишкомъ легкомысленную жизнь. Это онъ-то мнѣ говорилъ, мой двоюродный дядюшка, мой бывшій опекунъ, чуть не спаивавшій меня еще на школьной скамейкѣ. Но этого мало. Мы вѣдь родные, значитъ церемониться нечего, можно говорить все откровенно. Ну, такъ вотъ, его превосходительство сознался, что у него состояніе далеко не велико, а его дочь привыкла жить широко. Ей нуженъ женихъ съ большими средствами, а не человѣкъ, уже влѣзшій въ долги.

— У тебя долги? — съ волненіемъ спросила Надежда Дмитріевна.

— Ну, да, — нетерпѣливо отвѣтилъ Александръ: — есть долги, но есть и имѣніе. Объ этихъ пустякахъ нечего говорить. Важно не это. Меня оскорбилъ этотъ отказъ, мнѣ противно было слышать, что этотъ господинъ толкуетъ о моемъ поведеніи, что этотъ отецъ хочетъ повыгоднѣе сбыть свою дочь. Но слушай дальше. Конецъ лучше всего. Старикъ прибавилъ къ этому, что главная-то причина невозможности моего брака съ его дочерью—та, что его дочь уже почти невѣста.

Онъ засмѣялся желчнымъ смѣхомъ.

— Барышня, изволишь ли видѣть, играла въ любовь разомъ съ двумя женихами. Не вытанцовалось бы дѣло съ однимъ, получше, вышла бы за другого, поплоше. А покуда она играла въ погоню за двумя зайцами, ея папаша наводилъ справки, въ какомъ положеніи находятся мои дѣла и дѣла моего соперника. И тутъ торгаши, алтынники! Надняхъ милую барышню объявили невѣстой Николая Драгоманова. Ты, конечно, знаешь, какой репутаціей онъ пользуется. Я предъ нимъ невинный младенецъ. Но я кутилъ, тратя свои деньги, а Николай кутилъ всегда на чужой счетъ; у меня порастрясли карманъ, а у Николая сохранилось довольно кругленькое состояніе. Какъ же не предпочесть его мнѣ?

Онъ сталъ покусывать усы, молча расхаживая по комнатѣ. Надежда Дмитріевна хорошо поняла, что его огорчаетъ не потеря невѣсты: — особенно пылкой любви, какъ видно, тутъ не было, — но отказъ, глубоко задѣвшій его самолюбіе. У нея блеснула надежда на его перерожденіе.

— За что же ты надѣешься взяться?—спросила она.

Онъ усмѣхнулся и пошутилъ.

— За что взяться? за умъ!

Онъ подошелъ къ ней и ласково сказалъ ей:

— Ну, попробуемъ приняться за идиллію. Помоги мнѣ, мама!

Она обрадовалась.

— Значитъ, въ деревнѣ поселишься? Да?

— Да, да, гдѣ же больше? — разсѣянно отвѣтилъ онъ, мечтавшій теперь только о бѣгствѣ изъ столицы.—Опротивѣло все...

И, опять охваченный какимъ-то горькимъ чувствомъ, онъ заговорилъ въ волненіи:

— Если бы ты знала, какъ я презираю ихъ всѣхъ. Я, можетъ-быть, испорченнѣе ихъ всѣхъ, но я понимаю это,— и свою испорченность, и ихъ испорченность; а они — они понимаютъ только, что другіе могутъ быть гадки, и это только тогда, когда эти другіе недостаточно богаты, недостаточно щедры по отношенію къ нимъ. Нѣтъ такой мерзости, съ которой они не примирились бы, лишь бы дѣлающій мерзости былъ богатъ, щедръ, поилъ и кормилъ ихъ. Въ этой средѣ все прогнило насквозь...

Онъ и Надежда Дмитріевна поселились въ томъ самомъ имѣніи, гдѣ выросъ Александръ Павловичъ. Имѣніемъ завѣдывалъ управляющій изъ прежнихъ конторщиковъ, смирный, простой, немудреный старикъ, честный до мелочности, но крайне ограниченный по уму. Александръ Павловичъ въ сельскомъ хозяйствѣ самъ ничего не понималъ. Но онъ съ первыхъ же дней, упорно насилуя себя, сталъ вникать въ ходъ дѣла. Въ свободные часы онъ, точно по приказанію, какъ заданный урокъ, перечитывалъ множество книгъ. Надежда Дмитріевна только радовалась, видя, что онъ постоянно занятъ, что онъ усердно старается не терять времени, знакомится съ земствомъ, ходитъ на работы, читаетъ книги о сельскомъ хозяйствѣ. Но иногда по вечерамъ, когда Александръ Павловичъ приглашалъ къ чаю управляющаго, ее смущали нѣкоторыя фразы любимца.

— Наше имѣніе, Иванъ Кузьмичъ, кажется, очень немного приноситъ доходу?—спрашивалъ онъ у управляющаго.

Этотъ маленькій, сѣденькій человѣчекъ, сидя на кончикѣ стула и попивая чай съ блюдечка, замѣчалъ несмѣло и конфузливо, какъ бы извиняясь въ чемъ-то:

— Точно-съ, что мало.

— Отчего же это? Кулаками надо быть, что ли, чтобы увеличить доходы?

— То-есть-съ, не то, что... а все же,—уклончиво отвѣчалъ управляющій.—Какъ люди дѣлаютъ, такъ и мы должны бы...

— Въ плохое время крестьянъ хлѣбомъ ссудить, а потомъ заставить отработать? Да?

— Нужно-съ свои выгоды вездѣ соблюдать,—еще болѣе уклончиво произносилъ старикъ.—Какъ другіе, такъ и мы... Это-съ главное...

И, наливая снова чай на блюдечко, маленькій, сѣденькій старичокъ добавлялъ:

— Деньги тоже въ запасѣ нужно держать, чтобы во время, то-есть, были...

— Ну, денегъ-то наличныхъ у меня почти нѣтъ...

— Ахъ, Господи, — вмѣшивалась въ разговоръ Надежда Дмитріевна:—у меня деньги есть, если надо.

Управляющій переводилъ на нее улыбающійся взглядъ:

— Александру Павловичу деньги не помогутъ-съ...

— Какъ такъ?

— Вотъ-съ они нынче взяли да и бросили зря деньги на постройку дома для школы.

— Да вѣдь школа-то чуть не въ хлѣву помѣщалась! — воскликнулъ горячо Александръ Павловичъ.

— Это такъ съ, точно. Ужъ хуже нельзя-съ. Только это не наше дѣло. Это земское дѣло.

— А если земство затягивало постройку новой школы?

— Это-съ его дѣло. Школа не наша.

— Ну, чье бы это дѣло ни было, а мнѣ школа глаза намозолила, и вы бы поразспросили учителя, каково ему въ ней было жить.

— Точно-съ, что... хотя, конечно, онъ вольный человѣкъ. Не нравится, уходи.

— Уйти-то куда?

Александръ Павловичъ всталъ и заходилъ по комнатѣ.

— Эхъ, Иванъ Кузьмичъ, иногда ушелъ бы, ушелъ бы человѣкъ, да куда? Впрочемъ, не понимаете вы этого.

Иванъ Кузьмичъ обратился къ Надеждѣ Дмитріевнѣ:

— Тоже-съ вотъ больницу Александръ Павловичъ на свой счетъ строятъ.

— Да, голубчикъ вы мой, — перебила Надежда Дмитріевна: — это святое дѣло. А то вѣдь у насъ до доктора не доберешься. Да я сама была рада, когда Саша предложилъ построить пріемный покой на свой счетъ. Это христіанское дѣло.

— Это точно-съ... я только насчетъ того, что, конечно, при очень большихъ капиталахъ... только...

Онъ не кончилъ и, торопливо выпивъ чай, вдругъ вспомнилъ:

— А у насъ, какъ Александръ Павловичъ пріѣхали, такъ всѣ потравы втунѣ оставляются, порубки въ лѣсу тоже...

— Да что вы хотите, чтобы я съ нищими процессы велъ, съ бѣдняковъ рубашки снималъ?—запальчиво проговорилъ Александръ Павловичъ.

И, видя испуганное лицо старичка, засмѣялся и потрепалъ его по плечу.

— Или: «какъ люди, такъ и мы»?

Старикъ пріободрился.

— Это-съ точно... хотя, конечно, по-христіански если судить... только-съ тутъ, такъ сказать, управленіе своими имѣніями, родительское благословеніе, а не то что...

Онъ спутался, крякнулъ и добавилъ со вздохомъ:

— Если по христіанству, такъ раздай имѣніе нищимъ...

Александръ Павловичъ уже ходилъ тревожно по комнатѣ. За нимъ съ какимъ-то смутнымъ опасеніемъ слѣдили глаза Надежды Дмитріевны. Она, казалось, хотѣла прочитать, что творится въ его душѣ. Управляющій, ободренный молчаніемъ, наливъ на блюдечко еще чаю, началъ философствовать:

— И съ мужикомъ нельзя по-христіански. Вы ему палецъ — онъ руку откуситъ. Баринъ злой — на ножахъ съ нимъ; баринъ добрый—обирай его, какъ липку.

— А мы лучше?—мелькомъ спросилъ Протасовъ.

Старикъ обидѣлся.

— Я вѣрой и правдой двадцать лѣтъ состою у васъ и у покойнаго вашего батюшки, царство ему небесное, на службѣ.

— Я не про васъ!—сквозь зубы сказалъ Александръ.

Но старикъ продолжалъ волноваться.

— На мнѣ крестъ есть. Я блюду интересы ваши, а самъ—похоронить меня нечѣмъ будетъ, если умру.

Надежда Дмитріевна замѣтила, что у старика задрожали руки, и успокоила его:

— Да развѣ мы васъ не знаемъ, Иванъ Кузьмичъ?

Александръ Павловичъ опять похлопалъ его по плечу.

— Такъ что же учите меня кулакомъ быть, если сами ничего не нажили.

— Я-съ не воръ,—замѣтилъ старикъ.—А что хозяинъ, то-есть землевладѣлецъ, долженъ блюсти свой интересъ, такъ это точно, и всегда я скажу, что христіанство тутъ не при чемъ, одна-съ мечта...

— Да, да, одна мечта, — повторилъ Александръ Павловичъ, ходя по комнатѣ.

Въ другой разъ, тоже вечеромъ, когда Иванъ Кузьмичъ уже сидѣлъ въ столовой около Надежды Дмитріевны и благодушно попивалъ чаекъ, Александръ Павловичъ вошелъ въ комнату, видимо взволнованный, и спросилъ управляющаго, садясь къ столу:

— Иванъ Кузьмичъ, кто у насъ здѣсь по изъ кулаковъ ворочаетъ дѣлами?

Иванъ Кузьмичъ немного растерялся и спросилъ:

— То-есть, это какъ, и насчетъ какого предмета изволите спрашивать. Александръ Павловичъ?

— Кто изъ нашихъ воротилъ не кулакъ, спрашиваю я васъ,—повторилъ Протасовъ.

— Да кому же-съ быть, — проговорилъ Иванъ Кузьмичъ. — Извѣстно, кулакъ — сила, и все такое у него въ рукахъ, и деньги и власть... Кому же ворочать дѣлами, какъ не имъ, если на то идутъ?

— Да отчего же другіе-то не идутъ ворочать дѣлами, не кулаки-то?

— Идутъ-съ, только силы у нихъ той нѣтъ, хитрости... Брезговаютъ тоже часто люди, а кулакъ ничѣмъ не брезговаетъ-съ, потому за свою шкуру стоитъ... гдѣ же тутъ брезговать?

Иванъ Кузьмичъ спокойно сталъ потягивать чаекъ, а Протасовъ заходилъ по комнатѣ.

— Васъ послушать, такъ честнымъ людямъ и не сломить этой силы,—сквозь зубы замѣтилъ онъ.

— Это точно-съ, — согласился Иванъ Кузьмичъ: — конечно-съ, многіе люди этимъ мечтаніямъ предавались и даже писали насчетъ этого всего: а только это все пустое. Всегда такъ было-съ и всегда такъ будетъ-съ.

— Вотъ вы какъ смотрите на дѣло! Да какъ же жить, сознавая, что подлецы всегда будутъ торжествовать? Васъ это и не тревожитъ, кажется.

Старикъ взглянулъ на него съ удивленіемъ.

— Что же-съ, я служу вѣрой и правдой, свое дѣло дѣлаю. Что же мнѣ! Я маленькій человѣкъ — меня никто не тронетъ, и я никого не трогаю...

— Да, да,—усмѣхнулся Протасовъ.—Была бы своя совѣсть чиста, а тамъ хоть трава не расти...

— Выше лба глаза не растутъ...

Подобные разговоры повторялись все чаще и чаще, и какая-то мрачная тѣнь ложилась на лицо Александра Павловича.

Какъ-то разъ вечеромъ онъ вошелъ въ столовую и засталъ Надежду Дмитріевну сидящею на диванѣ съ ворохомъ холста. Онъ присѣлъ къ ней и спросилъ, что она дѣлаетъ. Она сказала, что это рубашонки для одного новорожденнаго, котораго она будетъ крестить. Онъ спросилъ ее, что она дѣлала утромъ. Больныя бабы къ ней приходили. А потомъ? Возилась она съ дѣвочками, которыя учатся у нея вязать фуфайки и шарфы.

Многихъ она уже научила этому дѣлу, и оно оказалось выгоднымъ.

— И такъ цѣлый день, цѣлый день полонъ заботъ,—перебилъ онъ ее:—и, главное, увѣренности, что все это нужно...

Онъ замолчалъ. Она что-то заговорила, стала разсказывать о новостяхъ дня, слышанныхъ отъ фельдшерицы и матушки-попадьи. Онъ не слушалъ ея. Наконецъ, онъ опустился на скамейку у ея ногъ, уперся локтями въ диванъ и, опустивъ на руки голову, спросилъ Надежду Дмитріевну:

— Мама, доходила ли ты когда-нибудь до отчаянія?

Она опустила шитье и повернула къ нему голову.

— До отчаянія? — переспросила она съ удивленіемъ во взглядѣ.—Нѣтъ. Ты знаешь, что я выносливый человѣкъ.

Она хотѣла взяться снова за шитье.

Онъ замѣтило тихо:

— Оставь, успѣешь. Поговоримъ. Тяжело мнѣ сегодня.

Она отложила въ сторону шитье и погладила его по головѣ, какъ ребенка.

— Что съ тобой, Шура?

— Долго разсказывать,—коротко отвѣтилъ онъ.

И, глядя ей въ лицо, сказалъ:

— Скажи, иногда ты, должно-быть, глубоко презираешь меня?

— Что тебѣ пришло въ голову! — воскликнула Надежда Дмитріевна.

— Но вѣдь я самъ, я самъ презираю себя.

— Зачѣмъ ты все преувеличиваешь! Я понимаю, что ты можешь быть иногда недоволенъ собою, но это еще не значитъ презирать себя. Это недовольство — первый шагъ къ лучшему.

Онъ остановилъ ее.

— Не обманывай себя. Я уже давно пересталъ обманываться. Я не недоволенъ собою,—я презираю себя. Презираю за все и прежде всего за то, что даже это презрѣнье къ себѣ не можетъ поднять во мнѣ несуществующей энергіи, встряхнуть меня.

Онъ вдругъ всталъ съ исказившимся лицомъ, почти испытывая физическую боль.

— Нѣтъ, силъ нѣтъ даже для того, чтобы прямо, откровенно сознаться.

Онъ взялъ ея руки и поднесъ къ губамъ.

— Ты нездоровъ? — заботливо проговорила она, цѣлуя его.—Не уходи, поговоримъ...

— Нѣтъ, нѣтъ! покойной ночи!

Онъ обнялъ ее, поцѣловалъ.

— Не сердись на меня ни за что. Помнишь, я когда-то писалъ тебѣ: «если можешь простить — прости». Ну, вотъ не забудь этой мольбы, что бы со мной ни случилось...

Онъ быстро вышелъ.

Она не спала почти всю ночь, недоумѣвая, что случилось съ Александромъ. На другой день, утромъ, онъ, блѣдный, очевидно не спавшій всю ночь, стараясь скрыть свое волненіе, коротко заявилъ ей, что ему нужно съѣздить по дѣламъ въ Петербургъ. Когда онъ говорилъ ей это, онъ смотрѣлъ куда-то въ сторону и какъ-то нетерпѣливо старался уйти отъ нея. Онъ уѣхалъ, а послѣ его отъѣзда ей подали письмо отъ него. Онъ писалъ:

«Три года я пробовалъ переродиться. Оказывается, что это невозможно. Играть роли въ земствѣ я никогда не буду: оружія нѣтъ для борьбы. Хозяиномъ я тоже никогда не сдѣлаюсь. Тутъ надо: «какъ люди, такъ и мы». Этого я не могу. Да, наконецъ, и можно ли хозяйничать, когда дѣла уже давно запутаны до послѣдней степени? Но это не все. Три года я обманывалъ самъ себя, игралъ роль остепеняющагося человѣка. Остепеняющійся человѣкъ, нерѣдко напивавшійся ночью до безчувствія, тайкомъ, воровски! Натуры не передѣлаешь, привычекъ не истребишь. Я уѣзжаю изъ имѣнія навсегда. Не сказалъ тебѣ, потому что ни на что порядочное, даже на честную откровенность нѣтъ силъ. Сказать тебѣ могу одно: можешь простить — прости».

Съ этой поры Александръ почти исчезъ изъ глазъ Надежды Дмитріевны. Всѣ знали, что онъ по большей части живетъ въ Петербургѣ, что онъ кутитъ, опускаясь все ниже и ниже, но Надежда Дмитріевна не могла повліять на него. Пробовала она заходить къ нему, говорить о перемѣнѣ образа жизни. Все это не вело ни къ какимъ результатамъ. Что-то мучительное отражалось на его лицѣ, когда онъ говорилъ съ нею. Было видно, что его нервы страшно расшатались. Разъ онъ окончательно раздражился во время свиданія съ ней.

— Ахъ, неужели ты не понимаешь, что мнѣ тяжело видѣть тебя? — воскликнулъ онъ, и по его лицу пробѣжала болѣзненная гримаса.

— Тяжело видѣть меня! — съ изумленіемъ проговорила она, не понимая его.

— Ну да, ну да!—запальчиво произнесъ онъ.—У каждаго еще не совсѣмъ обезумѣвшаго человѣка есть своя мучительница-совѣсть, и ея за глаза довольно, чтобы отравить жизнь, когда всѣ его поступки идутъ въ разрѣзъ съ нею, и она идетъ въ разрѣзъ со всѣми его поступками; когда въ немъ разомъ живутъ и судья, и преступникъ, оба одинаково безсильные, постыдно безсильные—судья, не могущій исправить преступника, и преступникъ, глумящійся надъ безсиліемъ судьи.

Онъ засмѣялся злымъ глухимъ смѣхомъ.

— А тебѣ хочется, чтобы у меня еще было двѣ совѣсти: одна во мнѣ самомъ, другая въ твоемъ лицѣ. Ну да, я погибаю, погибну... что же ты можешь сдѣлать для моего спасенія? Для такихъ людей, какъ я, есть одно спасеніе—самоубійство. Самъ я безсиленъ даже для этого; что же, не ты ли дашь мнѣ въ руки ножъ.

Онъ заходилъ по комнатѣ.

— Я веду разгульную жизнь. Я знаю, къ чему меня приведетъ это. Къ смерти гдѣ-нибудь подъ заборомъ. Я ненавижу эту жизнь, но остановиться не могу. Обѣщанія давалъ и сдерживалъ ихъ до первой рюмки водки. Безъ нея, безъ этой рюмки водки, я уже несчастный человѣкъ.

— А она дѣлаетъ счастливѣе?—съ горечью спросила Надежда Дмитріевна.

Онъ остановился передъ нею и заговорилъ почти сурово:

— Не думай читать наставленія. Я все самъ знаю, все передумалъ, передумываю. Ты говоришь и можешь говорить только то, что говоритъ моя совѣсть. Ты вѣдь воспитала ее. Другіе воспитали характеръ, привычки,—и предъ всѣмъ этимъ совѣсть оказалась безсильной. Зови меня, какъ хочешь, я не стану оправдываться. Если я могу сказать что-нибудь въ свою защиту, такъ только то, что я гублю одного себя...

Казалось, онъ былъ вполнѣ равнодушенъ съ своей гибели. А между тѣмъ онъ все еще дѣлалъ попытки спастись. Онъ поступалъ на службу, уѣзжалъ изъ Петербурга, исколесилъ всю Россію, и результатъ явился одинъ: пьянство и кутежи. Онъ сталъ вести, наконецъ, въ Петербургѣ бродячую жизнь по какимъ-то мелкимъ трактирамъ и веселымъ домамъ и иногда устраивалъ непріятные сюрпризы разнымъ своимъ родственникамъ, то являясь передъ ними гдѣ-нибудь на Невскомъ въ жалкой одеждѣ, то разсказывая на всѣхъ перекресткахъ про нѣкоторыхъ изъ нихъ, какъ они его оби-

рали, какъ они живутъ, откуда у нихъ являются большія средства. Въ этихъ преслѣдованіяхъ родни стало проявляться что-то систематическое, что-то безпощадно-мстительное. Наконецъ, года черезъ четыре послѣ возращенія Александра въ Петербургъ, среди его родныхъ разнеслись слухи о выданныхъ имъ векселяхъ съ фальшивыми подписями разныхъ его родственниковъ. Эти векселя были показаны въ послѣднее время этимъ родственникамъ, и ихъ владѣлецъ грозилъ начать дѣло...

Давно уже пробила полночь, давно ушла Александра Николаевна изъ комнаты Надежды Дмитріевны, а старушка все еще не гасила лампы и думала, передумывала горькія думы. Ругаютъ вотъ всѣ Александра, а у нея болитъ за него сердце болѣе чѣмъ за самыхъ честныхъ людей,—какъ за калѣку отъ рожденія, болитъ ея сердце за него. Если бы ей удалось спасти его отъ позора, отъ ссылки спасти! Тогда она взяла бы его къ себѣ въ Чернецъ, и кончено—уже не мальчикъ онъ, перебродилось, должно-быть, все, сумѣетъ она если не исправить его, то пріютить, какъ душевнобольного...

— А кто знаетъ, можетъ-быть, и переродится?—мелькалъ въ головѣ лучъ надежды.

VII.

Пріѣздъ Надежды Дмитріевны въ Петербургъ всегда производилъ нѣкоторый переполохъ въ извѣстномъ муравейникѣ. Разная родня Павла Петровича Протасова и даже не родня, а дѣти разныхъ крестницъ и крестниковъ самой Надежды Дмитріевны, Софьи Петровны и Евгеніи Петровны считали своимъ долгомъ забѣжать къ Надеждѣ Дмитріевнѣ и такъ, или иначе сорвать что-нибудь съ нея. Этого сорта паразиты вѣчно вертятся около богатыхъ людей, срывая съ нихъ все, что возможно, тѣми или другими путями. Назойливость нѣкоторыхъ изъ этихъ людей доходила до наглости, до вымогательства подачекъ чуть не силою и угрозами. Надежда Дмитріевна нисколько не обманывалась на ихъ счетъ и знала, что многіе изъ нихъ просто тунеядцы; тѣмъ не менѣе она помогала имъ, какъ могла, сознавая въ душѣ, что и паразитство есть несчастіе. Въ настоящій ея пріѣздъ въ Петербургъ, повторилась обычная исторія посѣщеній просителей и просительницъ, присылки трогательныхъ писемъ и слезныхъ просьбъ, но впервые все это подѣйствовало на старушку раздражающимъ образомъ. Въ ней яви-

лось какое-то странное равнодушіе къ хныканьямъ и моленьямъ этихъ людей, такъ какъ всѣ ея думы были направлены на одинъ предметъ,—на ожиданіе того, что скажетъ ей Викторъ Павловичъ по дѣлу Александра. Она дрожала теперь надъ каждымъ грошомъ, боясь, что у нея не достанетъ средствъ для спасенія Александра.

На другой день послѣ посѣщенія квартиры Ивана Петровича, вставъ по обыкновенію рано, она напилась чаю съ семьей покойнаго брата и вернулась въ свою комнату, чтобы взяться за вязанье. Ей не хотѣлось никуда выходить, не хотѣлось никого видѣть. Въ девять часовъ принесли письмо. Взглянувъ на конвертъ, она сейчасъ же узнала по почерку, отъ кого было это посланіе, и отложила письмо въ сторону, зная впередъ его содержаніе. Это было письмо отъ Сѣмичевой. Мать этой Сѣмичевой жила когда-то горничной въ домѣ Драгомановыхъ и съ ней случился «грѣхъ». Кто былъ виновникомъ этого грѣха — осталось неизвѣстнымъ; одни говорили, что какой-то лакей, другіе утверждали, что самъ Драгомановъ. Согрѣшившая старалась намеками поддерживать послѣднее мнѣніе, находя его выгоднымъ для себя. У этой горничной родилась дочь и окрестила ее Надежда Дмитріевна. Этого было довольно, чтобы въ теченіе сорока лѣтъ «крестную» теребили при всякомъ удобномъ случаѣ. Давно уже крестница была замужемъ за Сѣмичевымъ, какимъ-то франтоватымъ конторщикомъ на канатной фабрикѣ; давно уже у Сѣмичевой были взрослыя дѣти, а крестная все должна была платить контрибуцію. Иногда, когда крестная помогала не сразу, ей писали письма съ упреками глупыми и пошлыми, наглыми и дерзкими, что не мѣшало потомъ крестницѣ униженно цѣловать ея руки и, въ концѣ концовъ, добиваться ея помощи. И слезныя просьбы, и дерзкія приставанья вызывали въ душѣ Надежды Дмитріевны одно и то же чувство: эти люди казались ей жалкими. Теперь, получивъ это письмо, она разсердилась.

«Вотъ навязались на шею, тунеядцы,—мысленно рѣшила она и, отбросивъ нераспечатанное письмо, принялась снова за работу.—Тунеядцы? А, можетъ-быть, точно у нихъ ѣсть нечего? Виноваты они, что ли, что у нихъ такъ сложились обстоятельства, что они не могутъ сводить концовъ съ концами, не могутъ упорно бороться съ судьбой? Вонъ Александръ,—если судить его со стороны,—еще хуже ихъ, а она только и думаетъ о томъ, какъ бы спасти его; ради него гроша теперь никому не даетъ; все убить готова на его спасеніе.

Ее начинало охватывать какое-то смутное волненіе. Сколько людей осудятъ ее за это; сколько проклятій пошлется ему за то, что она все истратила на него? Какъ же быть, какъ быть? Въ передней послышался звонокъ, старушка вздохнула и тотчасъ же радостно подумала: «не Викторъ ли Павловичъ?» Въ передней раздался звонкій голосъ Ольги Протасовой. Надежда Дмитріевна поморщилась. Черезъ минуту Ольга уже была въ комнатѣ Надежды Дмитріевны. За нею шелъ какой-то бѣлокурый франтовато-одѣтый военный—писарь, какъ показалось Надеждѣ Дмитріевнѣ. Онъ ступалъ легко и осторожно, точно приплясывая или присѣдая на ходу.

— Тетя, я къ вамъ,—сказала Ольга, наклоняясь къ рукѣ Надежды Дмитріевны:—привела жениха познакомить съ вами.

Молодой франтъ съ свѣтлыми, почти бѣлыми волосами, съ блѣдными оловянными глазами, съ непріятными бѣлыми рѣсницами, со слащаво улыбающимся розовымъ лицомъ распаркался передъ Надеждой Дмитріевной, застѣнчиво и жеманно закатывая глаза.

— Много наслышанъ-съ!—произнесъ онъ, протягивая ей руку, при чемъ онъ подалъ четыре пальца, не сгибая ихъ и не пожимая руки старухи.—Чрезвычайно лестно!

Надежду Дмитріевну немного покоробило отъ этого визита, отъ этой непрошенной поспѣшности племянницы. Тѣмъ не менѣе, она пересилила себя и пригласила посѣтителей присѣсть. Ольга затараторила:

— Онъ, тетя, у меня какъ красная дѣвушка,—робкій и конфузливый...

— Это точно-съ, отъ непривычки къ обществу,—жеманно замѣтилъ фельдшеръ, склоняя на бокъ голову. — Притомъ же эта форма унизительная и такимъ грязнымъ дѣломъ приходится заниматься...

— Ахъ, что вы глупости говорите, — оборвала его Надежда Дмитріевна. — Я сама повивальная бабка и лѣчу больныхъ. А форма—не генеральскую же форму фельдшерамъ дать.

— Конечно-съ, конечно-съ, только въ порядочномъ обществѣ конфузно,—оправдывался фельдшеръ, опять жеманно склоняя голову на бокъ и стараясь интересничать.

— Вотъ наши родные и на порогъ его не пустятъ, — воскликнула Ольга.

— Да что вамъ у нихъ и дѣлать?—перебила ее Надежда Дмитріевна. — У каждаго долженъ быть подходящій кругъ знакомства. Не въ свои сани не садись...

Ольга, осматривая зоркими глазами комнату, увидала письмо на столѣ и вспыхнула, подстрекаемая любопытствомъ узнать, отъ кого оно. Она знала, что тетку осаждаютъ со всѣхъ сторонъ просьбами.

— Тетя, а вы вѣрно не видали, тутъ письмо къ вамъ,— проговорила она, взявъ конвертъ со стола.

— Нѣтъ, видѣла,—отвѣтила старуха.

— Навѣрно просьба какая-нибудь! — воскликнула Ольга.

— Слышалъ-съ, что много благодѣтельствуете,—вставилъ любезно свое слово фельдшеръ.

— Не изъ чего много благодѣтельствовать, — коротко отрѣзала Надежда Дмитріевна.

— Ахъ, тетя, что вы! Всѣ же знаютъ, что вы все раздаете!—горячо произнесла Ольга Протасова.—Какіе-нибудь Сѣмичевы и тѣ рвутъ съ васъ.

Старуху передернуло, и она почти грубо сказала:

— Какъ это они рвутъ съ меня, когда я вотъ даже ихъ писемъ не читаю?

— Ахъ, такъ это отъ нихъ? Я такъ и думала!—въ волненіи произнесла Ольга и загорячилась.—Вотъ нахалы-то! Самъ франтитъ, по театрамъ ѣздитъ, въ клубѣ актерствуетъ, жена рядится, дочери на сценѣ въ циркѣ...

Надежда Дмитріевна опять оборвала ее:

— Да что ты мнѣ разсказываешь про нихъ? Мнѣ-то что за дѣло, какъ вы всѣ здѣсь живете? Послушать васъ всѣхъ порознь, въ грязи другъ друга выкупаете да дегтемъ вымажете.

Фельдшеръ деликатно согласился, закативъ глаза:

— Это-съ точно, въ Петербургѣ злословіе, можно сказать, страшное!

— А вотъ вы ее и отучайте отъ этого, когда женитесь,— сухо сказала Надежда Дмитріевна.

И прибавила:

— Когда свадьба?

— Тетя, милая, развѣ мы можемъ опредѣлить!—воскликнула Ольга плаксивымъ голосомъ. — Нужно же приготовиться. Ничего у меня нѣтъ. Мы и пришли вотъ къ вамъ просить...

Фельдшеръ опустилъ скромно глаза.

— Я теперь почти ничего не могу дать,—въ волненіи и замѣшательствѣ сказала старуха.—У меня тутъ дѣла. Но, конечно, я похлопочу.

— Ахъ, тетя, знаю я, знаю, вы все теперь объ Александрѣ,—воскликнула Ольга Протасова.

— Ну, это не твое дѣло! —перебила ее Надежда Дмитріевна.

— Нѣтъ, тетя, нѣтъ! — запальчиво, визгливымъ тономъ, воскликнула Ольга.—Дайте мнѣ высказать, ужъ если я начала! Александръ тысячи просадилъ, на вѣтеръ все расшвырялъ, а объ немъ заботятся. Я же, не покладая рукъ, шила, всю молодость мою убила, красныхъ дней не видала, а что мнѣ въ награду? Отказъ одинъ. Одни говорятъ: «не смѣй выходить замужъ», потому что имъ стыдно фельдшера въ родню взять. Другіе говорятъ: «мы помочь не можемъ», потому что для негодяевъ всегда деньги найдутся, а для честной дѣвушки...

Старуха, задыхаясь отъ волненія, проговорила:

— Ты что же ссориться со мной пришла?

Фельдшеръ испугался и обратился къ своей невѣстѣ:

— Перестаньте-съ, тетенька сердится... Она въ правѣ сердиться... Все же преклонныя лѣта...

— Нѣтъ, ужъ ты меня не останавливай! — крикнула Ольга, вся багровая отъ злости.—Я правду люблю. Я сама все потеряю, а правду выскажу. Моего отца никто не спасалъ, когда онъ погибалъ. А отецъ не одинъ былъ, у него жена была, дѣти были. Ну, его оставили погибать за грѣхи. А насъ-то за что губили? Мы чѣмъ виноваты были? Почему намъ въ помощи отказываютъ? Или на Невскій мнѣ надо идти, самой себя потерять, послѣдней побродяжкой сдѣлаться...

Фельдшеръ расчувствовался. Онъ, повидимому, былъ вообще изъ чувствительныхъ.

— Это точно-съ, можно сказать, убійственная судьба,— проговорилъ онъ со вздохомъ и неторопливо, вкрадчивымъ тономъ, сталъ разъяснять.—Положимъ, Ольга Ивановна на благороднаго человѣка напали, такъ какъ я не изъ интереса, хотя, конечно, сами Иванъ Петровичъ много мнѣ говорили о родныхъ...

Онъ перевелъ духъ, окончательно запутавшись въ объясненіяхъ.

— Да ждите помощи отъ нашихъ родныхъ!—воскликнула Ольга.

— Это вы напрасно-съ, Ольга Иванова,—остановилъ онъ ее, и это лицо вербнаго херувима приняло нѣсколько обиженное и въ то же время нахальное выраженіе.—Вотъ папаша еще допрежь того, какъ мы съ вами познакомились, не разъ всѣмъ и каждому говорилъ, что за вами дадутъ приданое. Да иначе-съ и невозможно никакъ. Я, вы знаете, человѣкъ бѣдный и льщусь, чтобы моя жена что-нибудь

имѣла. А тетеньку вы тоже напрасно сердите, потому у нихъ сердце есть, и не захотятъ онѣ вашей погибели, такъ какъ, значитъ, ваше такое положеніе, что вамъ не токмо родные, а чужіе изъ одного состраданія содѣйствовать должны. Не въ воду же вамъ въ самомъ дѣлѣ броситься, если я, какъ человѣкъ бѣдный, буду не въ состояніи никакого конфорту и привилегіи вамъ предоставить. А вѣдь ужъ если не я, такъ другой и подавно васъ теперь не возьметъ въ настоящемъ вашемъ видѣ.

И еще наглѣе онъ спросилъ свою невѣсту:

— Тетенька, конечно, извѣстны насчетъ всего касательно васъ.

— Скроешь что-нибудь у насъ!—раздражительно проговорила Ольга, отвернувшись въ сторону.

— Зачѣмъ же-съ скрывать? Это только подвигнуть можетъ дѣло,—произнесъ фельдшеръ, жеманно пожимая плечами и опять закатывая свои блѣдные оловянные глазки.—Сдѣланнаго теперь не воротишь, и нужно только конпромисъ сдѣлать, такъ сказать, грѣхъ загладить вашъ...

Надежда Дмитріевна не пробовала даже прерывать потокъ визгливыхъ возгласовъ Ольги и сладкаго краснорѣчія херувима-фельдшера.

Она сознавала, что она можетъ прервать эти разсужденія, выбросивъ племянницѣ пятьсотъ или тысячу рублей, но ее охватывала одна мысль: «а если недостанетъ на спасеніе Александра?» И въ то же время ей было точно стыдно, что она не рѣшается бросить подачку этой крикливой и наглой родственницѣ, этому неповинному и глуповатому на видъ, но ловкому плуту. Поднималась въ головѣ и еще одна мысль—мысль о томъ, что всѣ обвинятъ ее, старуху, если она не поможетъ этой павшей дѣвушкѣ, отдавъ все за Александра—и будутъ правы, такъ какъ она отдала все за спасеніе «негодяя», а пожалѣла дать этой, въ сущности ни въ чемъ неповинной и тоже несчастной, дѣвушкѣ.

Надежда Дмитріевна что-то хотѣла сказать, какъ вдругъ раздался рѣзкій звонокъ въ передней. Она сразу узнала по звонку, кто звонитъ, и торопливо поднялась съ мѣста.

— Это ко мнѣ... это Викторъ Павловичъ,—быстро заговорила она.—Ступайте! Я буду хлопотать. Не безпокойтесь...

Молодые люди бросились къ ея рукѣ.

Она нетерпѣливо повторила:

— Хорошо! хорошо! Ступайте!

И, уже не помня ничего, поспѣшно шла впереди ихъ въ переднюю.

— Ко мнѣ, ко мнѣ!—говорила она съ порога, завидѣвъ Истомина.—Ну, такъ? что?..

Она даже не поздоровалась съ нимъ, какъ слѣдуетъ. Онъ вошелъ въ комнату, заперъ дверь, пожалъ руку старушкѣ и проговорилъ:

— Шантажъ!

Она опустилась на кресло, чувствуя, что ея ноги дрожатъ. Истоминъ вынулъ портсигаръ, взялъ папироску, зажегъ спичку, закурилъ и сѣлъ противъ старушки.

— Слушайте!

Онъ попросилъ позволенія разстегнуть свой генеральскій сюртукъ, усѣлся поудобнѣе и началъ съ улыбкой, немного самодовольнымъ тономъ:

— Я положительно открылъ въ себѣ на этомъ дѣлѣ способности хорошаго сыщика. Дорылся до самой сущности въ какой-нибудь часъ времени.

— Хорошо, хорошо, голубчикъ, — перебила она его: — суть-то, суть-то говорите.

— Надо все по порядку,—проговорилъ онъ.— Вчера же я послалъ за кредиторомъ Александра, господиномъ Герзоновымъ.

— Александра-то видѣли?—перебила она.

— Зачѣмъ? Это значило бы портить дѣло. Я призвалъ кредитора и спросилъ о цифрѣ долга. Онъ отвѣтилъ сначала уклончиво. Тогда я сказалъ равнодушнымъ тономъ, что во всякомъ случаѣ долговъ за Александра никто платить не будетъ, и что я пригласилъ его для того, чтобы предостеречь отъ дальнѣйшихъ ссудъ Александру. Онъ усмѣхнулся и объявилъ, что онъ больше и не даетъ ему, но что, вѣроятно, родные отдадутъ то, что Александръ уже задолжалъ. Я выразилъ свое удивленіе: «Съ какой стати станутъ они платить?» «Бланковыя надписи имѣются»,—отвѣтилъ онъ. «Поддѣльныя»,—сказалъ я. «Можетъ-быть»,—равнодушно отвѣтилъ онъ. Тутъ-то ужъ я и началъ пытку.

Онъ всталъ и молодцовато заходилъ по комнатѣ, заложивъ руки въ карманы панталонъ и постукивая шпорами, веселый и самодовольный.

— Суть вотъ въ чемъ, насколько я понялъ,—продолжалъ онъ разсказывать. — Когда Александръ промоталъ все, у него осталось нѣсколько тысячъ долгу; конечно, получить этотъ долгъ по векселямъ уже не было никакой возможно-

сти его кредиторамъ. Одинъ изъ нихъ не то еврей, не то армянинъ, не то полякъ, нашелся. Онъ скупилъ всѣ ничего не стоющіе векселя, попросилъ Александра переписать ихъ и даже пообѣщалъ дать еще сколько-то денегъ, если явятся векселя съ бланками нѣкоторыхъ изъ его родныхъ.

Надежда Дмитріевна горько усмѣхнулась:

— Думалъ, вѣрно, что тѣ не дадутъ погибнуть Александру, хоть ради семейной чести...

— Мнѣ, кажется, расчетъ былъ вѣрнѣе,—замѣтилъ Истоминъ.—Этотъ господинъ Герзоновъ, насколько я могъ выпытать, надѣялся на другое. Александръ ни отъ кого не скрывалъ, что родные обирали его въ лучшіе дни его жизни. Онъ показывалъ даже письма, гдѣ эти родные просили у него взаймы или благодарили за присланныя деньги. У него есть кое-какія расписки на клочкахъ бумаги, чуть ли даже не просроченные векселя. Господинъ Герзоновъ разсчиталъ, что въ случаѣ суда Александръ разскажетъ о своей прошлой жизни и можетъ скомпрометировать десятки своихъ родныхъ. Значитъ, въ интересѣ этихъ лицъ—не допустить дѣло до суда и уплатить прямо долги...

— Что же онъ медлитъ? Я не понимаю,—глухо сказала Надежда Дмитріевна.

— Ну, подать ко взысканію векселя было не расчетъ. Тогда дѣло могло и проиграться. Надо было запугать родственниковъ до суда.

Онъ остановился въ раздумьи.

— Одного я не понимаю, почему Александръ еще не прибѣгнулъ до сихъ поръ къ этому запугиванію...

— Ахъ, Господи, этого еще недоставало, чтобы Александръ шантажистомъ сдѣлался! Надо Бога благодарить, что я во-время все узнала, — воскликнула Надежда Дмитріевна. — Главное-то, главное-то скажите: сколько нужно, чтобы все кончить.

Викторъ Павловичъ сталъ совершенно серьезенъ. Что-то сильно теперь озабачивало его. Онъ мелькомъ сказалъ, что всего нужно тысячъ десять, и тотчасъ же прибавилъ:

— Но дѣло не въ этомъ! Подождите!

— Чего ждать?—спросила Надежда Дмитріевна.

Онъ остановилъ ее движеніемъ руки и серьезно, почти строго заговорилъ:

— Положимъ, вы выкините эти деньги на вѣтеръ...

Она сдѣлала нетерпѣливое движеніе.

— Положимъ, вы получите всѣ векселя. Но кто вамъ

поручится, что Александръ не выдастъ новыхъ векселей? Компрометирующія его родныхъ письма и расписки останутся у него. Что если онъ поддѣлаетъ новые векселя ради одного этого? Да и вообще, если даже взять у него эти письма, то онъ не лишится возможности поддѣлывать векселя. Оставить одну, двѣ расписки—и довольно...

Надеждѣ Дмитріевнѣ даже жутко стало.

Истоминъ продолжалъ:

— Первая же удачная попытка шантажа подтолкнетъ этихъ господъ дѣйствовать еще смѣлѣе. Заплатили разъ, заплатятъ и въ другой. Вѣдь ихъ не увѣришь, что второй разъ некому будетъ платить, что у васъ нѣтъ еще шальныхъ десятковъ тысячъ...

Онъ началъ ей объяснять серьезно и логично, что платить не слѣдуетъ, что она не спасетъ, а погубитъ Александра. Пусть онъ посидитъ на скамьѣ подсудимыхъ. Не на каторгу его сошлютъ. Лишатъ въ крайнемъ случаѣ извѣстныхъ правъ, вышлютъ,—тогда ему можно помогать изъ этихъ же денегъ. Правда, онъ скомпрометируетъ родныхъ, но и по дѣломъ имъ, если они обирали его. Вообще же, право, это никого не взволнуетъ особенно. Судъ спасетъ ей деньги, а Александру отрѣжетъ возможность выдавать новые векселя. Наконецъ, ему, Истомину, кажется, во всякомъ случаѣ, что ей необходимо предварительно повидаться съ Александромъ, узнать лично отъ него, нѣтъ ли у него еще векселей, сказать ему, что второй разъ за него никто и гроша не заплатитъ.

Она слушала молча, опустившись въ кресло съ понурой головой, какъ бы подавленная тяжелымъ гнетомъ. Она не могла собраться съ мыслями. Онѣ хаотически проносились въ ея головѣ, отрывками, не связанными между собою: «Объясняться съ нимъ, да никогда онъ не согласится взять отъ нея денегъ... Протащить сначала по грязи, опозорить, а потомъ давать подачки... Опять къ шантажистамъ въ руки попадетъ и начнетъ поддѣлывать векселя... А отчего же онъ не угрожаетъ роднымъ теперь, не пристращиваетъ ихъ?.. На вѣтеръ бросить деньги и пользы не принести»... Ей казалось, что у нея мутится умъ. Истоминъ взглянулъ на нее и почти испугался — такъ растерянно смотрѣла она.

— Такъ какъ же?—спросилъ онъ, дотрагиваясь до ея руки.

Она вздрогнула и какъ бы очнулась. Внезапно всѣ ея сомнѣнія разсѣялись. Рѣшеніе созрѣло сразу.

— Что сдѣлалъ бы онъ, если бы эти деньги были у него?— вдругъ рѣшительно спросила она, поднимаясь съ мѣста.

Истоминъ пожалъ плечами.

— Не знаю! Прокутилъ бы...

— Заплатилъ бы долги,—рѣзко отвѣтила она. — Это его деньги, и онъ—онъ, а не я—заплатитъ долги.

— Но...—началъ Истоминъ.

— Довольно, — оборвала она его разомъ. — Что будетъ дальше—Божья воля. Я отдаю за него деньги его отца — его деньги, а что выйдетъ, какъ будутъ судить меня за это...

Она махнула рукой и пошла къ комоду доставать деньги.

VIII.

Въ самомъ захолустномъ уголкѣ Измайловскаго полка, въ большомъ каменномъ домѣ, набитомъ сплошь разнымъ мастеровымъ и фабричнымъ людомъ, въ квартирѣ, разбитой на углы и каморки, отдаваемыя отъ жильцовъ разной бѣднотѣ, помѣсячно и поденно или, вѣрнѣе, понощно, — одна изъ каморокъ занималась почти въ теченіе двухъ лѣтъ «писателемъ». Домъ былъ некрашенный, грязный; въ уличномъ его фасадѣ помѣщались закусочная и питейное заведеніе, слесарная мастерская и лавчонка сапожника; надворный флигель весь сплошь былъ занятъ внизу плотниками, а вверху — людьми, промышляющими отдачею угловъ. Чтобы добраться до каморки «писателя», нужно было пройти длинный и узкій дворъ, подняться по высокой лѣстницѣ, вѣчно грязной и пропитанной міазмами, до четвертаго этажа, потомъ свернуть въ темный коридоръ, въ концѣ котораго можно было нащупать дверь, ведущую въ отдѣльную каморку. Длинная, узкая, почти пустая, эта каморка съ желѣзной кроватью, съ простымъ столомъ и двумя-тремя поломанными стульями была хуже всякаго каземата. На облупившейся штукатуркѣ стѣнъ появлялись здѣсь иногда пятна сырости, порой виднѣлись узоры плѣсени, походившіе на грибы; единственное окно съ разбитыми и склеенными замазкой стеклами въ зимнее время было постоянно покрыто прихотливыми узорами, выведенными, какъ тонкое кружево, морозомъ и не дававшими возможности взглянуть на дворъ. Единственное достоинство этой кануры, особенно цѣнимое «писателемъ», заключалось въ томъ, что эта комната была «особнякомъ». Во всѣ остальныя каморки квартиры можно было проникнуть только черезъ кухню и другія комнаты квартирохозяевъ, чрезъ «углы» разныхъ по-

стояльцевъ, а эта комнатка какъ бы не зависѣла ни отъ кого, точно отдавалась не отъ жильцовъ, а отъ хозяина дома. «Писатель» именно за это и остановился на ней, при наймѣ себѣ помѣщенія. Онъ вообще дичился людей. Эта была дикость затравленнаго звѣря и при томъ звѣря смирнаго, безсильнаго, добраго. Казалось, онъ совѣстился людей, робѣлъ передъ ними, сознавая, что онъ хуже ихъ всѣхъ. Именно вслѣдствіе того, что онъ дичился людей, здѣсь всѣ быстро обратили на него вниманіе. Эта привычка ходить по улицѣ, какъ-то бочкомъ, точно на цыпочкахъ, прижимаясь къ стѣнамъ домовъ, обходя всѣхъ и каждаго, это желаніе проскользнуть мимо никѣмъ не замѣченнымъ, опустивъ голову, смотря куда-то въ сторону, чтобы избѣжать встрѣчи съ чужими взглядами, наконецъ, эта улыбочка — растерянная, какъ бы извиняющаяся, немного тупая, появляющаяся на лицѣ при случайныхъ столкновеніяхъ съ людьми, маскирующая смущеніе, стыдъ, слезы,— все это не могло не обратить на него вниманія.

— Это что за блаженный?—спрашивали люди при первой встрѣчѣ съ нимъ.

Отвѣта сначала не было, и за нимъ стали слѣдить, что онъ дѣлаетъ, какъ живетъ, чѣмъ существуетъ.

— Пишетъ все,—сообщилъ, наконецъ, кто-то.

Всѣ рѣшили, что, значитъ, это писатель.

Потомъ, мало-по-малу, съ нимъ познакомились всѣ жильцы дома, всѣ ближайшіе сосѣди изъ мѣстной бѣдноты; — одни за то, что онъ умный и образованный человѣкъ; другіе за то, что онъ привѣтливъ и смиренъ; третьи, что съ нимъ можно компанію вести, когда есть деньги у него или у ведущаго съ нимъ компанію, такъ какъ онъ любилъ выпить и пилъ много, улыбаясь еще плачевнѣе и обнимаясь со всѣми по-братски въ пьяномъ видѣ. Несмотря на то, что мало-по-малу, всѣ убѣдились въ его способности дать умный совѣтъ, написать дѣльное письмо или слезное прошеніе, обучить ребятишекъ грамотѣ и ариѳметикѣ, несмотря на то, что онъ объяснилъ всѣмъ, что онъ не писатель, а переписчикъ и переводчикъ разныхъ дѣловыхъ бумагъ на иностранные языки, бумагъ, добываемыхъ имъ изъ разныхъ «конторъ переводовъ и объявленій»,—за нимъ упрочились названія и «блаженнаго», и «писателя». Всѣ видѣли, что онъ неустанно проводитъ дни и ночи надъ перепискою и переводами дѣловыхъ бумагъ; всѣ знали, что онъ за этотъ неусыпный трудъ получаетъ гроши, всѣ знали, что онъ

учитъ чуть не даромъ трехъ-четырехъ мальчугановъ; всѣмъ было извѣстно, что онъ не воръ, что онъ мухи не обидитъ, что, напротивъ того, всякій его можетъ обидѣть, и потому этотъ бѣдный людъ считалъ его хорошимъ человѣкомъ, душой-человѣкомъ, не ставя ему въ грѣхъ ни его тихаго пьянства, ни его близости съ разными падшими созданіями среди населенія большого дома и его окрестностей. Послѣ каждой экскурсіи въ вертепы пьянства и разврата, самъ писатель только становился еще приниженнѣе, еще пугливѣе, еще смущеннѣе, точно сознавая, что онъ не достоинъ смотрѣть въ глаза людямъ, смотрѣть на свѣтъ.

Въ тотъ морозный зимній день, когда Викторъ Павловичъ Истоминъ рѣшилъ съ Надеждой Дмитріевной, какъ поступить по дѣлу подложныхъ векселей, писатель съ самаго ранняго утра былъ въ сильно возбужденномъ состояніи. У него была спѣшная работа—переписка набѣло написаннаго по-французски отчета международному конгрессу о промышленной дѣятельности въ Россіи. Работа была не только срочная, но и требовала особеннаго вниманія, такъ какъ авторъ отчета писалъ довольно нечетко и небрежно, иногда дѣлая описки въ французскихъ словахъ. Списывая его рукопись, нужно было ее исправлять. Тѣмъ не менѣе, писатель нерѣдко прерывалъ работу на полусловѣ, вставалъ изъ-за стола, набивалъ тутъ же гильзу остатками почти чернаго табаку, затыкалъ папироску ватой, закуривалъ ее и ходилъ взадъ и впередъ по своей длинной, узенькой каморкѣ. Онъ былъ одѣтъ почти по-лѣтнему. Брюки, жилетъ и пиджакъ, когда-то сѣрые, теперь испещренные пятнами всѣхъ цвѣтовъ, были мѣстами порваны и заплатаны. Заношенная сорочка была тоже стара, и на воротничкѣ и манжетахъ виднѣлись бахромки обтрепавшагося полотна. Только, какъ яркое пятно на рубашкѣ, бросался въ глаза свѣтло-серизовый галстучекъ, повязанный бантомъ спереди,—даръ одной изъ тѣхъ жалкихъ падшихъ женщинъ, которыя относились къ «блаженному» съ такимъ же точно благодушіемъ, какъ и вся остальная, знавшая его, бѣднота. Фигура его была поистинѣ жалка: довольно высокій, онъ былъ страшно худъ и часто горбился; гладко выбритое лицо было землисто-желтаго цвѣта, съ осунувшимися щеками, съ ямками на вискахъ; его голова не была лысою, но она производила непріятное впечатлѣніе облѣзлой кожи, покрытой мѣстами клочьями тонкихъ, прямыхъ, больныхъ бѣлокурыхъ волосъ, только его голубые, уже нѣсколько выцвѣтніе глаза иногда

производили пріятное впечатлѣніе своимъ кроткимъ добродушіемъ, своей тихою грустью. Затягиваясь папироской и ходя по комнатѣ, онъ разсуждалъ почти вслухъ, возбужденный, какъ никогда.

— Когда же это кончится? когда? Неужели Герзоновъ и теперь не предъявитъ векселей? Душу всю вымоталъ изъ меня. Кажется, могъ понять изъ вчерашняго объясненія, что на шантажъ я не пойду, запугиваніями вымогать деньги у подлецовъ не стану. И, какъ онъ могъ подумать, что я пойду на это?..

И тутъ же, усмѣхнувшись горькой улыбкой, онъ добавилъ:

— А отчего же не подумать? Хуже-то развѣ я не могу пасть, чѣмъ палъ? И могъ же я поддаться на эту удочку? Выдалъ векселя съ подложными надписями и не сообразилъ, для чего ихъ берутъ! Изъ участія ко мнѣ, что ли, дали мнѣ лишнюю сотню рублей за эти ничего не стоящія бумажки? Умишка послѣдній пропилъ. Наслаждался мыслью, что потащатъ меня въ судъ, и тамъ я хоть разъ отведу душу, разскажу публично свою исторію—исторію этихъ щеголей, этихъ свѣтскихъ модниковъ...

Онъ швырнулъ папиросу.

— Очень нужно Грезонову это! Ему нужно, чтобы я роднымъ пригрозилъ разоблаченіемъ разной грязи, запугалъ ихъ и заставилъ заплатить за меня долги. Нѣтъ, этого не дождаться ему...

По его лицу скользнула своеобразная усмѣшка—жалкая, растерянная, туповатая.

— Не дождаться, да, да, это такъ... Глупецъ онъ... Вчера чуть не съ кулаками полѣзъ на меня, когда я наотрѣзъ сказалъ, что на шантажъ не пойду. Ну-ка, вывернись теперь. Волей-неволей въ судъ потащишь...

Онъ подмигнулъ глазомъ, точно поддразнивая кого-то, и потеръ рука объ руку.

— На судѣ вотъ все разскажу. Есть, что разсказать. Документы есть...

Онъ засмѣялся и, присѣвъ на кровать, торопливо досталъ изъ бокового кармана пачку записочекъ, завернутую въ грязную обтрепавшуюся бумагу.

— Вотъ они—документы!—проговорилъ онъ съ дѣтски-радостнымъ видомъ, похлопывая рукой по этой пачкѣ.— «Другъ Александръ, ты много обязалъ бы меня, выручивъ изъ бѣды, присылкою этихъ несчастныхъ трехъ тысячъ»,—

началъ онъ цитировать наизусть изъ одного письма и тотчасъ же оборвалъ рѣчь.

Его лицо омрачилось, приняло какое-то мучительное выраженіе. Онъ брезгливо отбросилъ пачку писемъ на постель.

— Нѣтъ, нѣтъ, и это не тѣшитъ теперь! Что мнѣ въ томъ, что оболью ихъ грязью?—заговорилъ онъ, опять заходивъ по комнатѣ.—Тѣшило это сначала, жилъ этимъ, а теперь... Суда, суда я надъ собой хочу, чтобы меня раздавили, какъ собаку, лишили всѣхъ правъ, сослали, похоронили. Такъ жить больше нельзя, а покончить самому съ собой силъ нѣтъ. Да никогда ихъ и не было.

Онъ снова сѣлъ на постель, уперся локтями въ колѣни, опустилъ на руки голову и задумался.

— А тамъ, въ Сибири, послѣ осужденія, явятся силы? Людей тамъ погибшихъ нѣтъ, что ли? Кабаковъ нѣтъ, развѣ? Любовь къ какому-нибудь дѣлу, можетъ-быть, съ неба ниспадетъ въ душу? Нѣтъ, нѣтъ, и тамъ будетъ то же. Въ одиночное заключеніе нужно бы меня запереть, въ Сибирь на каторгу сослать. Вотъ что нужно для исправленія...

Онъ стиснулъ, почти въ ярости, зубы и сжалъ кулаки.

— О, хоть бы кто-нибудь растопталъ, какъ послѣднюю гадину!—воскликнулъ онъ въ бѣшенствѣ, ударяя себя кулакомъ въ лобъ.

И снова, съ выраженіемъ какой-то тупости, поникнувъ головой, разставивъ ноги, опустивъ руки, онъ впалъ въ неопредѣленное раздумье, какъ бы охваченный сномъ съ открытыми глазами. Прошло такъ минутъ съ десять. Его начинала томить жажда, въ горлѣ сохло, губы стягивало.

— Дописать надо скорѣе, дописать... деньги получить,— прошепталъ онъ.

Онъ поднялся, какъ разбитый, съ постели и, немного сгорбившись, побрелъ къ столу. Въ эту минуту ему можно было дать лѣтъ пятьдесятъ, такъ онъ былъ разслабленъ, хилъ, измятъ. Онъ сѣлъ къ столу, совсѣмъ согнувъ спину, и сталъ писать, выводя красивымъ почеркомъ французскія буквы. Работалъ теперь онъ упорно, ровно, не отдыхая, какъ машина, не перемѣняя даже позы. Переписка уже приходила къ концу, и его лицо начало озаряться усмѣшкою: онъ уже видѣлъ близость окончанія работы и полученія денегъ. Наконецъ, послѣднія буквы были выведены, онъ отложилъ перо въ сторону, потянулся и засмѣялся.

— Еще поживемъ сегодня!

Онъ лукаво подмигнулъ однимъ глазомъ, потирая руки.

— А, кажется, морозитъ... Какъ бы не простудиться... не повредить драгоцѣнному здоровью... хе-хе-хе!

Онъ заторопился, началъ свертывать переписку, подошелъ къ кровати, снялъ лежащее на ней, вмѣсто одѣяла, легкое пальто, потомъ взялъ съ гвоздя красный вязаный изъ шерсти шарфъ,—подарокъ одной изъ легкихъ дѣвицъ,— и сталъ обматывать имъ шею. Въ нѣсколько минутъ онъ уже былъ готовъ, чтобы нести рукопись. Онъ вышелъ изъ комнаты и направился по коридору къ выходу. Выйдя съ лѣстницы во дворъ, онъ тотчасъ же съежился отъ холода или просто по привычкѣ и засѣменилъ ногами, пробираясь стороною, около стѣны. У воротъ дома его окликнула румяная, разбитная бабенка съ корзиной съ яйцами за спиной.

— Лександра Павловичъ, куда?

— Работу несу, Степанида Степановна, за деньгами,— отвѣтилъ онъ, конфузливо улыбаясь.

— Значитъ, съ тебя спрыски,—сказала она, показывая бѣлые зубы.—Не застудись только. Морозъ-то во всѣ щели дуетъ.

— Ничего,—отвѣтилъ онъ, торопливо проскальзывая мимо съ потупленными глазами и сконфуженнымъ видомъ.

Морозъ былъ, дѣйствительно, довольно сильный; но Александръ Павловичъ, казалось, не замѣчалъ его и почти бѣгомъ бѣжалъ къ своей цѣли. Надо было не опоздать, чтобы получить четыре рубля. Эти четыре рубля теперь были его единственною мыслью, цѣлью, радостью. Получитъ онъ ихъ—и согрѣется. Надо купить водочки, колбасы, хлѣба, Степанидѣ Степановнѣ орѣховъ прихватить. Славная бабенка! Загуляла въ Питерѣ. Что-жъ, тоже жизнь тяжелая. Хочется душу отвести. Всѣмъ не сладко живется...

Уже совсѣмъ смерклось, когда онъ вернулся домой съ кое-какими покупками. Теперь улыбка уже не сходила съ его лица. Въ манерахъ было что-то суетливое. Онъ, не снявъ даже пальто, сталъ растапливать въ своей конурѣ печку, бросивъ купленную провизію на столъ. Минутъ черезъ пять, его комната озарилась свѣтомъ убогой лампы и отблескомъ горящихъ въ печкѣ дровъ. Хлопоча въ комнатѣ, онъ раза два забѣжалъ на кухню къ хозяевамъ квартиры, перекинулся кое съ кѣмъ изъ жильцовъ двумя-тремя фразами. Хозяйка квартиры, толстая мѣщанка лѣтъ пятидесяти, шутила съ нимъ, поставивъ для него самоваръ:

— Чѣмъ угощать-то будешь? гостей-то много ли наприглашалъ?

— Много не много, а тоже придутъ. У насъ не красна изба углами, а красна пирогами,—отшучивался онъ.

— Что говорить, каждую копеечку ребромъ ставишь.

Черезъ нѣсколько минутъ, въ его комнатѣ уже пили чай, водку, пиво и закусывали двое какихъ-то рабочихъ, хозяйка съ мужемъ и бойкая продавщица яицъ. Говоръ и смѣхъ, шутки и любезности росли по мѣрѣ того, какъ выпивалась водка и пиво. Александръ Павловичъ даже раскраснѣлся слегка, пріободрился, изрѣдка подталкивая локтемъ Степаниду Степановну, на что та только скалила ровные бѣлые зубы, погрызывая ими орѣхи.

Повидимому, они вполнѣ понимали другъ друга.

Веселье было въ полномъ разгарѣ, когда на порогѣ неожиданно появился новый непрошенный гость. Высокій и плотный, съ рѣзко очерченной физіономіей восточнаго человѣка, онъ въ теплой скунсовой шубѣ остановился на порогѣ, немного удивленный неожиданной картиной веселья. Александръ Павловичъ замѣтилъ его и сразу какъ бы отрезвѣлъ. Онъ пошелъ къ нему навстрѣчу и рѣзко спросилъ:

— Вы еще зачѣмъ здѣсь? Что вамъ отъ меня надо? Еще пришли мучить?

— И что вы кричите?—проговорилъ смущенно новопришедшій.—Вовсе кричать нечего. У насъ же дѣла.

— Никакихъ у насъ дѣлъ съ вами нѣтъ. Векселя у васъ мои. Ну, и убирайтесь съ ними, подавайте ихъ ко взысканію!

Герзоновъ немного смутился, стѣсняясь говорить о дѣлахъ при этой компаніи, осматривавшей его съ ногъ до головы.

— А мнѣ же надо съ глазу на глазъ поговорить съ вами,—сказалъ онъ, пятясь къ выходу.—И дѣло такое серьезное! Выйдите на минуту сюда,—прибавилъ онъ, выходя въ коридоръ.

— Чего вамъ?—спросилъ Протасовъ, выходя за нимъ.—Опять хотите принудить меня къ шантажу? Думаете, я подгулялъ, такъ соглашусь. Ахъ, вы...

— И зачѣмъ такъ кричать,—остановилъ его Герзоновъ.—И вовсе кричать не надо! Какой тутъ шантажъ? Что вы мнѣ говорите о шантажѣ? За васъ такъ хотятъ заплатить долги безъ всякаго шантажа, и для этого нужно, чтобы вы завтра были утромъ у меня и къ двѣнадцати часамъ. Заплатятъ только при васъ.

— Заплатятъ? Долги заплатятъ?—почти безсмысленно бормоталъ ошеломленный Александръ Павловичъ, ничего не понимая.—Кто?

— И завтра все узнаете. Но будьте же у меня и ровно къ двѣнадцати часамъ. Я надѣюсь, что вы будете, и это дѣло мы кончимъ...

Герзоновъ пошелъ по коридору къ выходу, тяжело стуная и шаркая высокими теплыми калошами. Александръ Павловичъ стоялъ, прислонясь къ стѣнѣ, какъ пришибленный.

«Платятъ долги? Кто платитъ? Ахъ, не все ли равно. Дѣло въ томъ, что платятъ. Не разскажетъ онъ публично на судѣ, какъ и кто довелъ его до настоящаго положенія... Не то, не то! Это ему не нужно теперь... Прежде онъ этого жаждалъ... Нѣтъ, но не осудятъ, не сошлютъ его. Вотъ что важно. Жить онъ будетъ здѣсь, какъ жилъ. Проклятые, проклятые!»

Всѣ эти мысли хаотически, какъ ураганъ, проносились въ его головѣ, а лицо улыбалось жалкой тупой улыбкой.

— Александръ Павловичъ, чего заснулъ!—раздался крикъ изъ его комнаты.

Онъ очнулся, отдѣлился отъ стѣны коридора и, пошатываясь, вошелъ въ комнату.

— Гостя-то проводилъ?

Александръ Павловичъ кивнулъ головой.

— Въ тюрьму, что ли, подлая его душа, собирается потащить? Ты бы его въ три шеи!

Александръ Павловичъ тупо улыбался.

— Долги ему за меня платятъ...

Всѣ разомъ обернулись къ нему.

— Рехнулся ты, что ли? Аль перелилъ черезъ край?

Онъ только отрицательно качалъ головой и улыбался.

— Это ему за его добродѣтель, милые люди,—сказала хозяйка.

— Видно, сродственники-то трусу празднуютъ, что онъ ихъ на судѣ шлифовать станетъ,—замѣтилъ одинъ изъ гостей.

— Жаль только, что этому-то псу, жидюгѣ, дарма денежки достанутся. Поди, на каждую сотню по тысячѣ наживетъ, разсудилъ еще кто-то.

Всѣ давно знали подробности исторіи Протасова, всѣ глубоко сочувствовали ему, всѣ заодно съ нимъ ругали и его родныхъ, и Герзонова.

— А выпить за здоровье Александра Павловича все же слѣдъ,—послышались голоса.

Александръ Павловичъ сидѣлъ на постели, скорбно опустивъ голову на грудь, ошеломленный, подавленный. У него точно вдругъ почву изъ-подъ ногъ вырвали. Все это время

онъ жилъ мечтами о мести, мечтами о какомъ-то перерожденіи; иногда онъ не вѣрилъ въ это, отрицалъ и возможность перерожденія, но это наполняло его мысль, наполняло его жизнь. Теперь, вдругъ, точно даже не о чемъ было думать. Ни надеждъ, ни сомнѣній. Впереди вотъ эта однотонная, одноцвѣтная канитель жизни: работать, чтобы пить, пить, чтобы работать.

А кругомъ него всѣ шумѣли, веселились, угощали его, брали съ него обѣщаніе, что завтра на радостяхъ онъ задастъ еще бо́льшій пиръ.

IX.

Александръ Павловичъ проснулся поздно, медленно зѣвая и потягиваясь на своей убогой кровати. Мутный зимній день смотрѣлъ уже въ окно и бѣлесоватымъ свѣтомъ озарялъ сквозь морозные узоры на стеклахъ царствовавшій въ комнатѣ безпорядокъ. Пустой штофъ, пустыя бутылки изъ-подъ пива, остатки ѣды напоминали Протасову о вчерашнемъ пирѣ. Онъ улыбался, вспоминая образъ румяной Степаниды Степановны. Здоровьемъ отъ нея пышетъ и огонь же баба... Вдругъ онъ неожиданно поднялся на постели, оборвавъ свои мечты, и сталъ протирать глаза. «Что же, во снѣ или наяву это было? Точно ли приходилъ Герзоновъ?» Онъ опустилъ ноги на полъ и сталъ усиленно тереть себѣ лобъ, силясь возстановить въ памяти вчерашній вечеръ во всѣхъ его подробностяхъ. Да, Герзоновъ точно былъ. Идти къ нему надо сегодня, сейчасъ. Его лицо омрачилось, и изъ груди вырвался вздохъ. Тяжело ему; измучилъ его Герзоновъ. Одинъ бы конецъ скорѣе. Что это онъ толковалъ объ уплатѣ? Кто хочетъ заплатить? почему? Онъ сталъ неохотно одѣваться. А все же надо идти. Послѣ долгихъ лѣтъ ему впервые стало стыдно своихъ лохмотьевъ. Кого онъ тамъ увидитъ? Какъ взглянутъ на его нарядъ? Ну, да что же дѣлать: лучшей одежды нѣтъ.

Онъ пошелъ. У Герзонова его уже ждалъ Истоминъ.

Викторъ Павловичъ мелькомъ бросилъ на него взглядъ и удивился. Онъ ожидалъ встрѣтить большую перемѣну въ Протасовѣ, но такимъ онъ не представлялъ его, не повѣрилъ бы, что онъ могъ сдѣлаться такимъ. Этотъ взглядъ, точно электрическая искра, разомъ поднялъ упавшій духъ Александра Павловича, и онъ съ давно забытымъ ироническимъ высокомѣріемъ, хотя немного торопливо, заговорилъ:

— А это вы, генералъ? Вотъ не ожидалъ! Родные пла-

тить долги собрались. Я, кажется, никого не просилъ и не прошу. Слава Богу, еще живу, не прося милостыни. Или испугались милые родные, что имъ придется фигурировать въ роли разорителей того, кто сидитъ на скамьѣ подсудимыхъ? Это, конечно, непріятно, но что же дѣлать, что же дѣлать! Я вовсе не желаю, чтобы они платили за меня долги.

Викторъ Павловичъ не перебивалъ этого торопливаго многословія, маскировавшаго смущеніе. Наконецъ, когда Протасовъ смолкъ, онъ пожалъ плечами и сказалъ:

— Вашего желанія никто не спрашиваетъ...

Герзоновъ испуганно заторопился.

— Да, да, это дѣло совсѣмъ мое.

Не обращая вниманія на него, Викторъ Павловичъ добавилъ:

— И притомъ вы ошибаетесь, платятъ долги не ваши родственники, ихъ платитъ Надежда Дмитріевна.

Александра Павловича точно ударило чѣмъ-то по головѣ. Этого онъ не ожидалъ. Онъ какъ бы съежился и пробормоталъ:

— Она?.. Мать?..

И снова, съ трудомъ уже собравшись съ силами, онъ запротестовалъ:

— Я этого не желаю, не допущу...

Истоминъ небрежно отвѣтилъ:

— Развѣ вы можете запретить скупать ваши векселя?

И тутъ же прибавилъ:

— Я пригласилъ васъ сюда не ради этого. Есть одно обстоятельство, требовавшее вашего присутствія.

Протасовъ стоялъ, какъ убитый, жалкій, съ болѣзненнымъ выраженіемъ лица, съ опущенной головой, тупо и растерянно смотря въ землю. Казалось, онъ видѣлъ передъ собой не Истомина, а старушку-мать и стыдился взглянуть ей въ глаза. Викторъ Павловичъ продолжалъ:

— У васъ, какъ стало всѣмъ теперь извѣстно, есть документы, будто бы компрометирующіе вашихъ родныхъ. Не знаю, насколько серьезны эти документы, тѣмъ не менѣе прошу отдать ихъ мнѣ.

Протасовъ, по мѣрѣ того, какъ Истоминъ говорилъ, сталъ приподнимать голову. Его лицо покрылось легкимъ румянцемъ, губы искривила усмѣшка, полная презрѣнія и гнѣва.

— А—а!—протяжно проговорилъ онъ.—Такъ вотъ въ чемъ суть! Надеждѣ Дмитріевнѣ хочется спасти честную

семью отъ компрометирующихъ толковъ. Она изволитъ бояться, что такой негодяй, какъ я, можетъ замарать честь нашей благородной семьи. Ха-ха! Теперь я понимаю причину этого великодушія! Ну, такъ скажите почтеннѣйшей Надеждѣ Дмитріевнѣ, что я никогда, никогда не отдамъ этихъ документовъ! Слышите!

— И какъ же такъ? Но мои интересы,—началъ испуганно Герзоновъ.

— А что мнѣ ваши интересы? Что мнѣ за дѣло до кого бы то ни было?—запальчиво крикнулъ Протасовъ.

Онъ обернулся къ Истомину.

— Передайте все это Надеждѣ Дмитріевнѣ и успокойте ее, что я шантажемъ еще не занимался. Очень жаль, что она такъ плохо знаетъ меня.

На мгновеніе въ немъ проснулось что-то въ родѣ энергіи, гордости, сознанія своего достоинства. Онъ, ни съ кѣмъ не прощаясь, торопливо пошелъ къ выходу. Герзоновъ бросился за нимъ, но Протасовъ грубо оттолкнулъ его отъ себя. Истоминъ въ первую минуту тоже хотѣлъ его остановить, но его чутье дѣльца сразу подсказало ему, что онъ теперь можетъ выиграть тысячу-другую. Когда Герзоновъ вернулся послѣ тщетныхъ усилій образумить Протасова, Истоминъ уже принялъ равнодушный видъ и съ усмѣшкой сказалъ:

— Кажется, наша сдѣлка не удастся, и вамъ придется подавать векселя въ судъ.

— Но какъ же такъ, и что же я тогда получу?—воскликнулъ Герзоновъ.

— Да, вѣроятно, ничего не получите,—холодно и сухо отвѣтилъ Викторъ Павловичъ, стараясь подавить улыбку.— Что же даромъ бросать деньги, когда у этого господина остаются въ рукахъ документы, выгодные для разныхъ шантажистовъ.

— О, онъ никогда не согласится пустить ихъ въ дѣло,— воскликнулъ Герзоновъ.—Это совсѣмъ дуракъ. Я его уже не разъ побуждалъ...

Герзоновъ поперхнулся и оборвалъ фразу на полусловѣ. Истоминъ пожалъ плечами.

— И притомъ векселя будутъ у васъ въ рукахъ,—заторопился объяснить Герзоновъ:—и вы всегда будете имѣть возможность пригрозить ему.

— Такъ-то такъ, но на это не стоитъ убивать десятка тысячъ.

— И развѣ я поэтому долженъ свои кровавыя деньги терять?—воскликнулъ Герзоновъ.—Я рисковалъ, я не зналъ, что онъ нищій и что онъ поддѣлалъ бланковыя подписи.

— Ну, это уже ваше дѣло,—равнодушно сказалъ генералъ, собираясь идти.

Герзоновъ остановилъ его, схвативъ за рукавъ, и сказалъ:

— И что же вы, ваше превосходительство, идете? Развѣ вы не желаете болѣе покупать векселя?

Истоминъ понялъ, что будетъ уступка, и сталъ торговаться, какъ на базарѣ, выторговывая рубль за рублемъ. Онъ попалъ въ свою сферу и чувствовалъ себя, какъ рыба въ водѣ...

Въ это время Александръ Павловичъ Протасовъ уже давно шагалъ по улицѣ. Сначала, подъ вліяніемъ возбужденія, онъ шелъ быстро, довольно неправильною походкою. Но всякія возбужденія теперь проходили у него быстро и вслѣдъ за ними являлся упадокъ духа, упадокъ силъ. Радость и горе, умиленіе и гнѣвъ только на минуту волновали его и потомъ быстро стирались въ памяти. «До чего онъ дошелъ, что даже она, Надежда Дмитріевна, его названная мать, считаетъ его способнымъ на всякую мерзость. Отчего же и не считать? Всего отъ него ждать можно. Въ пьяномъ видѣ все сдѣлать можетъ! Правда, до сихъ поръ не дѣлалъ подлостей, но это не значитъ, что онъ не можетъ ихъ сдѣлать. Не будь у него этихъ бумагъ—ничего бы онъ не могъ сдѣлать и никто бы даже не вспомнилъ о немъ. Тогда и на судѣ къ нему отнеслись бы безъ снисхожденія. Какъ это не пришло ему въ голову прежде? Хотѣлъ строгаго обвиненія, а держался за эти бумаги! Стоитъ вотъ взять ихъ и бросить, и конецъ. Ни на какіе шантажи его тогда нельзя бы было подбить даже пьянаго и судъ не пощадилъ бы его. Какъ онъ прежде упустилъ это изъ виду? Все жаждалъ осужденія, а это упустилъ изъ виду, мечталъ распространиться на судѣ объ этихъ документахъ. Еще оправдали бы. На что же тогда и судъ? Запятнать родныхъ? Развѣ это ему нужно?» Онъ ощупалъ въ карманѣ пачку бумагъ. «Вынуть и бросить—вотъ и все». Онъ началъ улыбаться своей туповатой, полубезсмысленной улыбкой, представляя себѣ ужасъ Герзонова, когда онъ, Протасовъ, скажетъ, что у него нѣтъ этихъ документовъ, когда онъ оповѣститъ объ этомъ черезъ Надежду Дмитріевну и родныхъ. Герзоновъ обозлится, подастъ векселя ко взысканію

и его, Протасова, сошлютъ, не давъ никакого снисхожденія... Ему страстно захотѣлось скорѣй бросить бумаги. Но куда? въ прорубь? Онъ шелъ по набережной Екатерининскаго канала и искоса взглянулъ на ледъ. Спуститься и бросить... Замѣтятъ, заподозрятъ. Подумаютъ, краденое бросаетъ. Лучше дома сжечь ихъ. Зайти закусить, а потомъ скорѣе домой—и сжечь.

— Сжечь корабли!—громко проговорилъ онъ и засмѣялся тихимъ, жалкимъ и въ то же время лукавымъ смѣхомъ, подмигивая однимъ глазомъ.

Онъ зашелъ въ лавку, купилъ себѣ кое-что съѣстного и направился домой. Дома онъ поѣлъ, выпилъ двѣ рюмки водки. Это его подбодрило, успокоило, и онъ, затопивъ печку, сладко потянулся и прилегъ, готовясь немного уснуть. Вдругъ онъ вспомнилъ снова о бумагахъ. «Сжечь, вѣдь, онъ хотѣлъ ихъ. Чуть не забылъ. Память ему все больше и больше измѣняетъ». Онъ вынулъ изъ кармана бумаги, не вставая еще отъ охватившей его усталости съ постели, и задумался. «Оставятъ ли его въ покоѣ, если онъ сожжетъ бумаги? Кто повѣритъ, что онъ сдѣлалъ это? Ихъ надо вернуть по принадлежности, подарить ихъ на память тѣмъ, кто писалъ». Онъ усмѣхнулся и тотчасъ же добавилъ: «не для того ли, чтобы они говорили потомъ, что никакихъ бумагъ и не было. Нѣтъ, Надеждѣ Дмитріевнѣ ихъ надо отдать; она хлопотала о нихъ; она не станетъ утверждать, что ихъ не было. Она все же честная женщина. Да, да, честная, а его даже и она негодяемъ считаетъ». Онъ махнулъ безнадежно рукой. Что тутъ разсуждать. «Выспаться и снести ей бумаги. Пусть посмотритъ кстати и на него. Тяжело ей будетъ. Ну, что-жъ, и ему тяжело было сегодня... очень тяжело»...

X.

Уже совершенно смерклось, когда Надежда Дмитріевна, сидя у лампы въ своей комнатѣ за работой, услышала въ передней звонокъ. Она вздрогнула и тревожно подумала: «опять не ко мнѣ ли?» За эти дни у нея перебывало столько разныхъ посѣтителей, что становилось тяжело, тѣмъ болѣе тяжело, что всѣ эти посѣтители просили подачекъ и она давала эти подачки, а между тѣмъ и они, и она хорошо знали, что легче отъ этихъ подачекъ не станетъ, судьба не измѣнится. Тамъ, у нея въ Чернецѣ, къ ней являлась тоже масса народа, но всѣ эти люди нуждались въ иной

помощи—это были больные, роженицы, разные бѣдняки, случайно ставшіе въ тяжелое положеніе отъ падежа коровы или лошади. Тамъ помощь, состоявшая обыкновенно изъ заимообразной выдачи денегъ на опредѣленный предметъ, давала видимые результаты. Здѣсь Надежда Дмитріевна «свою старость чувствовала», какъ она выражалась, сидѣла кочнемъ на одномъ мѣстѣ, вязала, утомленная, опустившаяся. Тамъ, напротивъ того, она являлась подвижною, какъ ртуть; сновала изъ угла въ уголъ; день казался коротокъ,—столько было дѣла. Въ эти три-четыре дня она уже только и думала о томъ, чтобы поскорѣе убраться во свояси. Дѣло теперь по уплатѣ векселей было кончено; оставалось похлопотать о приданомъ для Ольги и конецъ. Но все ли это, что нужно было сдѣлать? Въ глубинѣ ея души была еще одна надежда—самая главная цѣль ея пріѣзда сюда: похитить Сашу туда, въ Чернецъ. Но какъ? Идти самой къ нему? Вызвать его письмомъ? Послать кого-нибудь для переговоровъ съ нимъ? Впервые въ жизни, находчивая во всѣхъ затруднительныхъ положеніяхъ, Надежда Дмитріевна не знала, какъ лучше поступить теперь. И еще это сегодняшнее свиданіе съ Викторомъ Павловичемъ. Онъ такъ обрисовалъ ей Александра, что старушка плакала цѣлый часъ. Какъ поднять человѣка, дошедшаго до такого состоянія? Чѣмъ онъ сдѣлался нравственно? Дошелъ, должно-быть, до полнаго паденія? Можно ли его еще спасти? Звонокъ прервалъ эти мысли; она услышала шаги, подняла голову и увидала на порогѣ исхудалую фигуру оборваннаго человѣка съ облысѣвшей головой, со впалыми глазами. Онъ остановился въ дверяхъ, и его лицо приняло то привычное выраженіе жалкой улыбки, которая появлялась у него теперь какъ-то непроизвольно.

— Ты?—громко воскликнула Надежда Дмитріевна и съ подламывающимися ногами, съ усиліемъ, поднялась съ мѣста.—Родной...

Онъ тупо улыбался.

— Узнали? Я думалъ, и не узнаете...

И тотчасъ же, не пытаясь обнять и расцѣловать ее, не протягивая ей даже руки для пожатія, заторопился съ озабоченнымъ видомъ.

— Бумаги я принесъ, вы хотѣли ихъ выкупить... Зачѣмъ же, я и такъ вамъ отдамъ... безъ всякаго выкупа... Просто спросили бы...

— Какія бумаги, что ты говоришь? Садись, садись,—пе-

ребила она дрожащимъ голосомъ, глотая слезы. — Вотъ сюда...

Онъ повиновался, присѣлъ на кончикъ стула, смотря на нее съ улыбкой.

— Я хотѣлъ ихъ истребить,—продолжалъ онъ въ смущеніи.—Но не повѣрили бы. Я и принесъ ихъ вамъ. Зачѣмъ прямо не спросили? Я бы отдалъ и прежде. Платить за меня не слѣдуетъ. Мнѣ все равно.

Она ничего не понимала. Онъ продолжалъ:

— Тутъ, право, всѣ бумаги. Я не вру. Вотъ онѣ. Напрасно вы и думали, что я шантажничать буду.

Ей показалось, что онъ бредитъ.

— Викторъ Павловичъ мнѣ это разъяснилъ, что вы желали заплатить за меня долгъ, чтобы выручить эти бумаги.

Она, наконецъ, поняла и отстранила бумаги отъ себя.

— Я ихъ вовсе не просила. Онѣ мнѣ не нужны,—сказала она, качая головой.—Убери ихъ...

Онъ широко открылъ глаза.

— Такъ какъ же? За что же вы хотѣли заплатить долгъ?

— Да вѣдь ты же былъ долженъ? Тамъ были какіе-то неправильные векселя? У меня были твои деньги, ну, я и заплатила. Вотъ и все.

— Мои деньги?

Она пожала плечами.

— Деньги, оставшіяся послѣ твоего отца. Не выйди я за него замужъ, онѣ бы къ тебѣ перешли. Въ случаѣ моей смерти, тоже все, по духовной, тебѣ же перешло бы...

Онъ мягко, уже вполнѣ осмысленно улыбнулся.

— Все та же вы!

И тяжело вздохнулъ глубокимъ вздохомъ.

— А я вотъ какимъ сталъ...

Онъ опустилъ голову и смолкъ, перебирая бахрому у кресла высохшими тонкими и длинными пальцами, не замѣчая даже, что по его впалымъ щекамъ текутъ ручьемъ обильныя слезы.

Она положила свою пухлую руку на его руку и тихо, ласково заговорила. Теперь онъ чистъ отъ всякихъ обвиненій и свободенъ. У нея есть свой уголъ въ Чернецѣ. Тамъ можно отдохнуть. Она, какъ за ребенкомъ, будетъ за нимъ ходить. Ей больше нечего дѣлать въ жизни, какъ за больными дѣтьми ходить. А ужъ рада-то, рада-то какъ она будетъ, когда онъ поселится у нея. Онъ вѣдь ея родной; родного сына она не могла бы больше любить, чѣмъ его.

Ну, поживетъ онъ, вздохнетъ, поправится, примется за службу. Онъ еще не старъ. Жизнь еще впереди, хорошая, дѣятельная, полезная жизнь. Кругомъ несчастные, страдающіе. Кто можетъ послужить имъ, тому и честь, и слава. Ни ума большого, ни большихъ знаній для этого не нужно. Только сердце доброе да отзывчивое нужно имѣть. Иному бѣдняку слово ласковое нужнѣе денегъ. Она говорила тепло, задушевно, а онъ слушалъ ее молча, улыбаясь мягкою, почти дѣтскою улыбкою, какъ больное дитя, слушающее волшебныя сказки няни. Передъ нимъ проходили картины: ея домикъ въ Чернецѣ, уютный, веселый, съ садомъ, съ множествомъ птицы, съ коровой и лошадью въ хлѣву; она старушка, ласковая, любящая, вѣчно хлопочущая около бѣдныхъ и больныхъ, веселая и бодрая до старости, симпатичная даже въ минуты ворчливости и напускной строгости; онъ, Александръ, поправившійся, поздоровѣвшій, помогающій ей, ближнимъ, заглаживающій прошлое, опять рѣшающійся безъ краски стыда глядѣть на свѣтъ, на людей... Все шире и шире дѣлалась его свѣтлая, блаженная улыбка. Наконецъ, Надежда Дмитріевна заключила:

— И чѣмъ скорѣй, тѣмъ лучше!..

Онъ очнулся отъ грёзъ.

— Да, да, тѣмъ лучше,—машинально повторилъ онъ.

— Тебѣ пріодѣться нужно. Купи, что надо, и скорѣе, скорѣе въ путь.

До его слуха дошли только послѣднія слова: «скорѣе въ путь».

— Да, да, въ путь!—повторилъ онъ, какъ эхо.

Онъ машинально поднялся, взялъ ея руку и поднесъ къ губамъ. Старушка почувствовала, что ей упало на руку нѣсколько слезинокъ.

Она хотѣла обнять его, но онъ какъ-то торопливо, сгорбившись, пошелъ къ дверямъ, смущенный, жалкій.

— А деньги-то, деньги-то,—сказала Надежда Дмитріевна, засуетившись.—На первый разъ самое необходимое купи. Вотъ!

Она сунула ему пятьдесятъ рублей. Онъ растерялся и пробормоталъ въ смущеніи:

— Зачѣмъ же? Не надо!

— Да вѣдь у тебя же нѣтъ,—сказала она.—Бери, бери! Я буду тебя ждать завтра или послѣзавтра.

— Да, да,—отвѣтилъ онъ, съ понурой головой уходя отъ нея.

Онъ вышелъ изъ дому въ какомъ-то чаду, точно погрузившись въ сонъ побрелъ, куда глаза глядятъ, добрелъ до Фонтанки и въ какомъ-то безсиліи облокотился на желѣзныя перила, опустилъ голову на руки и зарыдалъ, судорожно вздрагивая всѣмъ тѣломъ. Онъ самъ не зналъ, о чемъ онъ плачетъ. Онъ даже не думалъ ни о чемъ. Просто подступило что-то подъ горло, душить начало, полились изъ глазъ слезы. Мимо двигались прохожіе и съ усмѣшками или съ чувствомъ отвращенія взглядывали на этого оборванца, напившагося, какъ казалось имъ, до того, что плачетъ на улицѣ. Ему не было дѣла ни до кого, онъ даже не сознавалъ, что стоитъ на улицѣ... Наконецъ, его началъ пробирать ознобъ. Онъ понемногу очнулся, отеръ глаза рукавомъ пальто, жалко улыбаясь, и пошелъ понурый, ослабѣвшій—согрѣться. Согрѣться, то-есть выпить, было необходимо: его уже трясло отъ холода и, кромѣ того, отъ всего пережитого за этотъ день онъ чувствовалъ полный упадокъ силъ. Казалось, онъ вдругъ состарѣлся на нѣсколько лѣтъ. У него былъ еще рубль своихъ денегъ, и онъ могъ, не затрачивая ни гроша изъ «чужихъ» денегъ, согрѣть себя. Черезъ нѣсколько минутъ, выпивъ три рюмки водки, онъ приближался къ своему дому уже совсѣмъ бодрымъ и опять улыбался блаженною улыбкою.

У воротъ дома сидѣлъ какой-то молодой парень, мастеровой въ нагольномъ полушубкѣ, въ сдвинутой на затылокъ фуражкѣ, и уныло наигрывалъ на гармоникѣ.

— Изъ гостей, Александръ Павловичъ?—спросилъ онъ, здороваясь съ Протасовымъ.

— Отъ родныхъ,—отвѣтилъ Александръ Павловичъ.—А вы что тутъ въ уныніи сидите?

— Денегъ нѣтъ,—отвѣтилъ тоскливо мастеровой.—Вчера столько вычли, что едва хватило въ лавку да хозяйкѣ отдать. Вотъ теперь и сиди у моря да жди погоды. А Машутка, поди, ждетъ.

Александръ Павловичъ тихо засмѣялся.

— Вы, Василій, совсѣмъ врѣзались въ нее, хоть подъ вѣнецъ...

— Гдѣ ужъ подъ вѣнецъ! Не до вѣнца такимъ-то. Закабалена она. Имъ отъ хозяекъ, какъ изъ петли, не вырваться,—безнадежно сказалъ мастеровой.—Хуже этой жизни и нѣтъ, кажись...

— Да, это точно. Хуже чѣмъ въ тюрьмѣ,—согласился Протасовъ.—Такъ, значитъ, и не пойдешь къ ней сегодня?

— Безъ денегъ туда нечего носъ совать. Машутка-то и безъ денегъ бы рада гостю, а хозяйка—ей подай.

Александръ Павловичъ тихо засмѣялся, лукаво подмигивая.

— А я васъ, Василій, обрадую! Денегъ дамъ взаймы.

— Ну-у?—недовѣрчиво проговорилъ молодой парень, и его лицо оживилось.—Я тебѣ, Александръ Павловичъ, по гробъ этого не забуду, если ты точно... Такъ, такъ сердце щемитъ, что а-ахъ!

Онъ безнадежно махнулъ рукой.

— Тоже жисть не сладкая!

Александръ Павловичъ похлопалъ его по-пріятельски по плечу.

— Ахъ, молодежь, молодежь! Тяжело жить одному безъ ласки.

— Ужъ такъ-то тяжело, такъ...

Протасовъ торопливо досталъ деньги.

— Много ли? Рубля три довольно!

— И того много! А самъ-то не пойдешь? Пойдемъ!.. То-то Машутка тебѣ спасибо скажетъ...

— Я что же... я пожалуй...

Они пошли вмѣстѣ въ трактиръ—выпить и размѣнять деньги.

— Ты—другъ, истинно говорю тебѣ, другъ,—объяснился Василій въ любви Протасову.—Душа въ тебѣ есть. Вотъ и то Дарья наша давеча говоритъ: «кабы вотъ у Александра Павловича были деньги, такъ онъ бы далъ, слова не сказалъ бы, а то всѣхъ обѣгала, ни гроша не достала; когда нужда—ни у кого гроша нѣтъ».

— Дарья, башмачница-то?—спросилъ Протасовъ.—Что ей такъ занадобились деньги?

— Да сынишка же померъ. Какъ ни какъ хоронить надо.

— Чего же ты не сказалъ. Деньги у меня есть. Я вернусь.

Александръ Павловичъ засуетился. Онъ готовъ былъ теперь помогать всѣмъ и каждому, благо у него были деньги.

— Вернемся,—сказалъ мастеровой.—Я тебя теперь не отпущу, а то не придешь опосля...

Вернулись, отыскали башмачницу Дарью. Протасовъ далъ ей взаймы пятнадцать рублей, приставая къ ней, не надо ли больше. Дарья и плакала, и крестилась, и называла Протасова истиннымъ благодѣтелемъ.

— Богъ тебѣ за это воздастъ,—повторяла она:—потому что въ горѣ человѣку помогъ.

Василій торопилъ его идти. Теперь оба, уже совсѣмъ веселые, они взяли извозчика и поѣхали. Въ небольшомъ деревянномъ домѣ съ закрытыми наглухо ставнями уже играли на фортепіано, когда они прибыли туда. Въ просторной залѣ ихъ окружило разомъ нѣсколько женщинъ, какъ людей знакомыхъ, своихъ. Протасовъ застѣнчиво и ласково улыбался въ отвѣтъ на привѣтствія, пожимая всѣмъ руки. Какой-то женскій голосъ, немного надтреснутый, крикнулъ старику-таперу, чтобы онъ пересталъ играть.

— Александръ Павловичъ теперь сыграетъ,—раздался тотъ же голосъ.—Сыграйте, Александръ Павловичъ.

— Я съ удовольствіемъ... очень радъ,—отвѣтилъ Протасовъ.

Онъ присѣлъ къ фортепіано, окруженный толпой молодыхъ дѣвушекъ, и заигралъ изъ «Трубадура» арію въ тюрьмѣ, чуть слышно подпѣвая себѣ. Голоса у него давно не было, но осталось умѣнье пѣть и фразировать. Въ залѣ водворилась полнѣйшая тишина.

— И хорошо же вы играете!—вырвалось чье-то восклицаніе, точно вздохъ.

Протасовъ добродушно усмѣхнулся:

— Обѣднѣю, буду наниматься къ вамъ въ таперы...

И, оборвавъ грустную пьесу на половинѣ, онъ заигралъ шумную мазурку изъ «Жизни за царя». Онъ держалъ себя здѣсь, какъ хорошій знакомый въ семейномъ домѣ, интересуясь печалями и радостями всѣхъ этихъ отверженныхъ созданій. Распущенныя, безцеремонныя, циничныя съ «гостями», въ немъ онѣ не видѣли ни «гостя», ни «мужчину» и говорили съ нимъ такъ, какъ говорятъ съ старыми друзьями, жаловались ему на судьбу, на обиды, на обсчитывающихъ ихъ людей...

На слѣдующій день, часовъ въ десять, Александра Павловича разбудилъ топотъ дѣтскихъ ногъ. Онъ открылъ глаза и увидалъ трехъ мальчугановъ, вошедшихъ съ книгами въ его комнату.

— А вы еще спите!—раздались веселые голоса.

— Нѣтъ, нѣтъ... Сейчасъ,—сконфуженно отозвался онъ, поднимаясь поспѣшно съ постели.—Садитесь... Я сейчасъ... Ахъ, какъ заспался!..

Онъ торопливо пріодѣлся и подкинулъ въ печку дровъ.

— Сперва задачи сдѣлайте... а потомъ диктовка... Я сейчасъ... Какъ заспался сегодня... какъ заспался.

Мальчуганы усѣлись къ столу, Протасовъ написалъ имъ

на грифельныхъ доскахъ задачи и пошелъ съ чайникомъ въ кухню заваривать чай.

— Пострѣлята-то наши разбудили васъ,—сказала хозяйка, наливая ему кипятку.

— Ничего, пора...—проспалъ я сегодня, оправдывался онъ сконфуженно, какъ виноватый. — Вчера кутнули немного... вотъ вѣдь никакъ не остановишься во-время...

— Эка бѣда... мужчины,—проговорила хозяйка, не придавая никакого значенія разнымъ кутежамъ, и замѣтила:— Приналяжьте сегодня на моего Васютку. Вчера, какъ есть, ничего не дѣлалъ, пострѣлъ.

— Да вѣдь праздникъ былъ...

— А все же учи въ урокъ. Задалъ учитель и учи. Вихри-то надергайте ему.

Протасовъ добродушно засмѣялся.

— Хорошо! хорошо!

Черезъ часъ, наскоро напившись чаю, глотнувъ тайкомъ на ходу рюмку водки, тщательно провѣривъ задачи учениковъ, спросивъ заданные имъ уроки, онъ уже ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ и началъ внятно диктовать имъ одно изъ своихъ любимыхъ стихотвореній:

«Въ судѣ онъ слушалъ приговоръ»...

Эти любимые стихи совершенно случайно пришли ему на память, но съ первой же строки въ его головѣ мелькнула мысль:

— Суда не будетъ!

И тутъ же ему вспомнилось:

— А что Надежда Дмитріевна скажетъ?

Его точно холодомъ охватило...

— Мы написали!—крикнули ребятишки, видя, что онъ не продолжаетъ диктовать.

— Да, да,—отозвался Александръ Павловичъ и продолжалъ:—«Его галеры ожидали»...

Въ головѣ же мелькнуло:

— Денегъ поистратилъ немного... ничего не купилъ... И что покупать?..

— Дальше, Александръ Павловичъ!—крикнули дѣти.

— Дальше?—отозвался онъ.—Что же дальше? Ахъ, да!.. «Онъ былъ бѣднякъ и былъ онъ воръ»...

Онъ вздохнулъ.

— Вотъ и я точно укралъ у нея... Ну, да что тутъ...

Онъ торопливо произнесъ слѣдующія строки стиховъ, стараясь не думать о другомъ.

— Написать ей надо, чтобы не ждала,—рѣшилъ онъ вдругъ.—Да, нечего ждать...

Къ первому часу классъ кончился, дѣти ушли. Александръ Павловичъ торопливо выпилъ еще рюмку вина, закусилъ и съ особенной поспѣшностью залегъ снова спать. Онъ теперь старался думать обо всемъ, кромѣ Надежды Дмитріевны, а воспоминаніе о ней, о данныхъ ею на одежду деньгахъ, какъ на зло, лѣзло въ голову.

— Эхъ, Шура, Шура!—прошепталъ онъ вслухъ съ тяжелымъ вздохомъ и, поднявшись съ постели, залпомъ выпилъ двѣ рюмки водки.

Онъ легъ и сталъ что-то напѣвать, точно стараясь убаюкать себя. Онъ зналъ уже по опыту, что легче всего отдѣлаться отъ докучныхъ думъ пѣніемъ...

Проснулся онъ поздно. Вечеромъ забѣжалъ къ нему Василій отвести душу, и они проболтали вдвоемъ до поздней ночи, совсѣмъ трезвые, сидя за самоваромъ.

Только собираясь снова лечь спать, Протасовъ вспомнилъ, что онъ не написалъ ничего Надеждѣ Дмитріевнѣ: собирался написать и не написалъ. Но это воспоминаніе уже не пробудило въ немъ остраго чувства. Впечатлѣнія не оставляли глубокихъ слѣдовъ въ его душѣ. Онъ только покачалъ головой и со вздохомъ сказалъ вслухъ:

— Ахъ, ты голова, голова!

Насвистывая, онъ сталъ раздѣваться. Что-то странное совершалось въ его душѣ: онъ начиналъ теперь относиться къ самому себѣ, какъ къ постороннему несчастному человѣку, и, громко вздыхая, повторялъ:

— Эхъ, Шуренька, Шуренька? Достукался, голубчикъ... Ну, да что дѣлать, что дѣлать!

И ему было очень, очень жаль этого бѣднаго Шуреньку! И, какъ блажному ребенку, онъ проговорилъ себѣ:

— Ну, да что думать? Баиньки пора! Баиньки.

И по его лицу скользнула жалкая, хватающая за сердце, улыбка угасающаго разсудка.

XI.

Надежда Дмитріевна, въ хлопотахъ о приданомъ для Ольги Протасовой и въ заботахъ о разныхъ мелкихъ закупкахъ для своего домашняго обихода, то и дѣло разъѣзжала на извозчикахъ, что было вовсе не въ ея обычаѣ. Обыкновенно она ходила пѣшкомъ и посмѣивалась надъ тѣми, кто «вѣчно спѣшитъ, какъ на пожаръ, а горятъ-то только деньги

въ карманѣ»... Теперь она сама все спѣшила, и все ей казалось, что она опоздаетъ: «Саша придетъ, чтобы ѣхать съ нею, а у нея не всѣ дѣла кончены».

— Что, Саша еще не былъ?—спрашивала она у Александры Николаевны, возвращаясь домой съ ворохомъ покупокъ.

— Нѣтъ еще,—отвѣчала Потапенко.

— Ну, и слава Богу. Не все еще у меня куплено. Опять надо ѣхать. Ты, дорогая, удержи его, если придетъ безъ меня. Не отпускай его, приласкай...

— Хорошо, хорошо, ужъ не безпокойся.

— Ахъ, замоталась я, замоталась совсѣмъ!

И, цѣлуя Александру Николаевну, старушка опять спѣшила по дѣламъ.

Такъ прошелъ день, прошелъ другой, прошелъ третій, прошелъ четвертый. Давно уже покончила Надежда Дмитріевна закупки для приданаго Ольги Протасовой, давно закупила все, что было ей нужно для своего домашняго обихода въ Чернецѣ, а Александръ Павловичъ все не являлся. Старушку начинала уже охватывать тяжелая тревога. Не заболѣлъ ли онъ? Простудился, можетъ-быть? Долго ли въ его одежонкѣ простудиться? Не случилось ли какого-нибудь другого несчастія? У кого спросить? Какъ узнать? Смутный страхъ мѣшалъ даже говорить съ кѣмъ-нибудь объ Александрѣ. Она перестала даже справляться у Александры Николаевны, не заходилъ ли онъ, и старалась вовсе не упоминать о немъ. Что если она заговоритъ о немъ, а ей скажутъ, что онъ снова закутилъ? Нѣтъ, ужъ лучше молчать. Его вѣдь только и могутъ во всякихъ провинностяхъ подозрѣвать. Жена и дѣти ея брата чувствовали, что на душѣ у Надежды Дмитріевны неладно и тоже молчали, боясь разбередить больныя мѣста. Только по уходѣ старушки они тихо шептались: «Что же онъ не идетъ? Неужели опять запилъ? Какъ подѣйствуетъ на тетю Надю?» У всѣхъ щемило сердце отъ предчувствія чего-то недобраго, но всѣ трое старались быть веселыми при старушкѣ...

Этой чуткой деликатности нечего было ждать отъ другихъ близкихъ Надеждѣ Дмитріевнѣ. Вѣсть о томъ, что она заплатила за Александра Павловича нѣсколько тысячъ долгу быстро облетѣла всѣхъ родныхъ, хотя никто и не зналъ точной цифры уплаченнаго долга, такъ какъ Викторъ Павловичъ не любилъ толковать о дѣлахъ со своими родственницами. Впрочемъ, эта скрытность въ данномъ случаѣ по-

служила только къ преувеличенію размѣровъ совершившейся сдѣлки. Софія Петровна и Евгенія Петровна, какъ женщины богатыя, не имѣли причинъ интересоваться размѣровъ «брошенныхъ» денегъ, тѣмъ не менѣе онѣ рѣшили, что старуха просто выжила изъ ума и куралеситъ, какъ никогда. Евгенія Петровна даже нашла въ этомъ дѣлѣ предлогъ для насмѣшекъ: копила, берегла, скряжничала Надежда Дмитріевна и вдругъ прорвалась; теперь ужъ всю остальную жизнь будетъ ходить въ одномъ и томъ же платьѣ, чтобы пополнить хоть какъ-нибудь потерю. Гораздо сильнѣе подѣйствовало извѣстіе о сдѣлкѣ на Жоржа Драгоманова. Онъ сильно раздражался и замѣчалъ въ своемъ кругу, что Надежда Дмитріевна своей глупой выходкой дала толчокъ Александру Павловичу, чтобы онъ пошелъ на путь шантажа. Увидитъ негодяй, что за него платятъ, и пуститъ въ ходъ какія-то бумажонки, будто бы имѣющіяся у него, чтобы запугать родныхъ. И что это за бумаги? Мало ли что могли ему писать когда-то. Всѣ даже забыли о содержаніи этихъ писемъ, а онъ ихъ сберегъ. Тревога Жоржа взволновала Софью Петровну и Евгенію Петровну. Въ самомъ дѣлѣ, если Жоржъ тревожится, значитъ въ дѣлѣ есть нѣчто серьезное. Онѣ напали на Истомина за его содѣйствіе Надеждѣ Дмитріевнѣ. Викторъ Павловичъ былъ смѣлый дѣлецъ, но передъ своими «барышнями», передъ матерью и теткой жены, онъ всегда являлся мокрой курицей. Оправдать себя и вывернуться передъ ними ему было далеко не легко. Безъ него не обдѣлалось бы это дѣло; онъ могъ усовѣстить, уговорить старуху. Съ его стороны этотъ проступокъ былъ непростительною глупостью. Только Анна Ивановна стояла на сторонѣ мужа, но стояла по обыкновенію молчаливо, не желая вмѣшиваться въ эти дрязги, тоскливо думая, куда скрыться, куда бѣжать отъ этихъ людей...

Но покуда всѣ толки шли въ интимномъ кружкѣ и не доходили до Надежды Дмитріевны. Разразилась буря вполнѣ только тогда, когда старушка явилась къ этой богатой роднѣ хлопотать за Ольгу Протасову.

— А вы бы лучше удѣлили ей что-нибудь изъ тѣхъ тысячъ, которыя вы бросили за уплату векселей Александра,— сказала съ насмѣшкой Евгенія Петровна.

— Да, ужъ нечего сказать, прекрасное дѣло ты сдѣлала,— сердито проговорила Софья Петровна шипящимъ тономъ.— Толкнула на шантажъ этого негодяя.

— На какой шантажъ?—спросила Надежда Дмитріевна.

дѣвочки. Фельдшера же этого можно перевести на другое мѣсто, въ другой полкъ. Викторъ похлопочетъ.

— Да ужъ это-то прежде всего надо сдѣлать, а то мнѣ придется перевестись,—сухо вставилъ Жоржъ.—Въ концѣ концовъ, намъ придется изъ Петербурга бѣжать отъ милой родни...

Надежда Дмитріевна, не слушая его, продолжала:

— Въ сущности, я вижу, что вы всѣ не понимаете своего положенія и моей настойчивости въ желаніи помочь Ольгѣ. Вамъ все кажется, что она вашего позволенія проситъ, чтобы выйти замужъ! Просто смѣшно: ей нужна ваша помощь, денежная помощь, вотъ почему она и заявила вамъ о своемъ намѣреніи. Не поможете вы—хуже будетъ: вашъ братъ,—обратилась она къ Софьѣ Петровнѣ и Евгеніи Петровнѣ:—не остановится передъ жалобой на фельдшера, погубившаго его дочь. Тогда для васъ же хуже будетъ. Огласки тогда не избѣжать.

Всѣ переглянулись между собою: они всѣ, дѣйствительно, упустили изъ виду это обстоятельство и глупо воображали, что дѣло зависитъ отъ ихъ согласія или несогласія. Евгенія Петровна нашлась первая и замѣтила съ злобной ироніей:

— Вѣдь это передъ тобой исповѣдуются, а мы въ эти тайны не были посвящены!

— Очень жаль, что не были,—сухо сказала Протасова.—Себя избавили бы отъ лишнихъ хлопотъ, а дѣвушку не допустили бы пасть.

Но какъ бы ни были тяжелы эти объясненія, задѣвавшія Александра, объясненіе съ семьей Протасовыхъ было еще тяжелѣе. Тутъ не прикрывались болѣе или менѣе вѣжливыми фразами, не говорили какими-нибудь намеками. Правда или то, что считалось этими людьми правдой, высказывалась здѣсь въ простой грубой формѣ. Ненависть къ грабителю прорывалась наружу съ ожесточеніемъ, съ пѣной у рта.

Мать Ольги Протасовой, когда Надежда Дмитріевна, заѣхавъ къ семьѣ Ивана Петровича, объявила, что она дѣлаетъ кое-что изъ приданаго, даетъ кое-что изъ серебра и деньгами пятьсотъ рублей,—бросилась цѣловать ей руки, и слезливо и жалобно проговорила:

— Пошли вамъ Богъ всего, чего желаете. Мы ужъ думали, признаться, ничего не дадите, потому какая же мы вамъ родня и, притомъ, другія траты у васъ.

— Да, ужъ нечего сказать, треплютъ васъ! —рѣзко и грубо вступилась тетка Дарья, разводя руками.—Всякіе негодяи норовятъ сорвать.

Надежда Дмитріевна, передавъ привезенныя вещи, ничего не отвѣчая теткѣ Дарьѣ, торопилась скорѣй уѣхать домой, но Ольга не удержалась и бойко спросила ее:

— Правда, тетя, что вы десять тысячъ на Александра Павловича бросили?

И, не давъ времени старухѣ очнуться, прибавила:

— Въ сорочкѣ, вѣрно, родился: за пьянство да за мошенничество платятъ ему этакіе долги.

— Молчи!— рѣзко сказала старуха.— Не тебѣ его судить. Сама хороша!

— Какъ же не судить...

Иванъ Протасовъ нахально засмѣялся:

— Ну да, его судить нельзя. Это меня только судить было можно за все и про все.

Надежда Дмитріевна, не возражая ничего, стала прощаться. Ее охватывалъ страхъ въ этой трущобѣ,— точно она боялась, что эти люди способны растерзать ее. У нея было одно желаніе скорѣй уйти отсюда и никогда не переступать болѣе порога этого жилища...

Дома ее ждало письмо отъ Сѣмичевой. Надежда Дмитріевна какъ-то безсознательно распечатала его и стала пробѣгать глазами кривыя и безграмотно написанныя строки. «И странно оченно, крестненькая, што вы какому-нибудь пьяницѣ мирволите, а честныхъ людей и тружениковъ отъ себя отталкиваете. Моя дочь калошъ не имѣетъ, а ей пажовъ въ цыркѣ въ балетѣ играть за рубь въ вечеръ надо и ходитъ она, бѣдная, чуть не босая, а пяница вашъ какъ мы много наслышаны и сами своими глазами видели, кутить и всякія безъобразія изображаетъ»...

Надежда Дмитріевна отбросила письмо и присѣла, тупо смотря въ пространство. «Уѣхать, уѣхать, скорѣе,—проносилось въ ея головѣ.— Чего еще ждать? А если это все ложь? Если онъ захворалъ?»

Она рѣшительно поднялась съ мѣста, прошла въ комнату племянника и присѣла къ его письменному столу. Она написала письмо Александру Павловичу о томъ, что всѣ дѣла въ Петербургѣ она покончила, что ей пора ѣхать въ Чернецъ и что она ждетъ только его. Запечатавъ конвертъ, она попросила служанку отдать письмо посыльному и сказать, чтобы тотъ принесъ отвѣтъ.

— Непремѣнно пусть повидаетъ барина и принесетъ отвѣтъ,—наказывала старушка.—Пусть подождетъ, если нѣтъ дома барина...

Прошло около часу въ томительномъ ожиданіи. Наконецъ посыльный явился. Надежда Дмитріевна приказала позвать его въ свою комнату.

— Принесли отвѣтъ, голубчикъ?—спросила она его, поспѣшно вставая навстрѣчу.

— Никакъ нѣтъ-съ,—отвѣтилъ посыльный.—На словахъ просили передать. «Очень, очень, говорятъ, кланяйся. Я не поѣду».

Старушка растерялась.

— Да вы точно самого его видѣли? Нашли его? Можетъ-быть...

— Нашелъ-съ, — сказалъ посыльный. — Какъ не найти! Тамъ ихъ всѣ въ домѣ знаютъ. Сейчасъ указали.

— Ну, ну?—торопила она его.

— Лежать они изволили, когда я пришелъ. Подалъ письмо. Прочли и улыбаются. «Очень, очень благодари, говорятъ, и скажи, что я не ѣду». Сперва, значитъ, прочитали письмо, встали и писать собрались, а потомъ скомкали эту бумажку и говорятъ: «Что же я буду писать? Нечего писать». Я говорю: отвѣтъ просили безпримѣнно. Они и велѣли на словахъ передать: «Очень, очень благодари, говорятъ, и скажи, что я не ѣду».

И, немного стѣсняясь, онъ прибавилъ:

— Не въ своемъ видѣ они какъ-будто...

— Да, да... Больной онъ... больной,—торопливо перебила его Протасова.

— Такъ-съ точно, какъ-будто...

— Да, да... Хорошо... вотъ вамъ,—отрывисто проговорила Надежда Дмитріевна, давая какую-то мелочь посыльному и прерывая его дальнѣйшія объясненія.

Она уже не слушала далѣе, что онъ говорилъ. И что было слушать? Пьетъ, не хочетъ ѣхать, даже не считаетъ нужнымъ писать. И что же писать? Развѣ не ясно все само собою. Погибъ человѣкъ, что же тутъ еще расписывать. Она поднялась съ мѣста и, глотая слезы, начала дрожащими руками укладывать свои вещи. По десяти разъ, сидя на полу, она перекладывала одну и ту же вещь изъ комода въ чемоданъ и изъ чемодана въ комодъ, ничего не видя, ничего не понимая. Ее точно чѣмъ-то пришибли. Когда къ ней вошла жена ея брата, у нея все уже было въ безпорядкѣ, но ни одна вещь не была уложена. Александра Николаевна спросила ее:

— Ѣдешь?

— Чего же болѣе ждать? — глухо проговорила Протасова.—Все сдѣлала, что было нужно, все...

— Когда опять пріѣдешь!

— Да не пріѣду, вѣрно, никогда... Что-жъ домъ бросать... Тамъ у меня дѣла, больныя... Лѣто вотъ настанетъ, ты съ дѣтками ко мнѣ пріѣдешь... Вѣдь пріѣдешь?

— Еще спрашиваешь! — проговорила хозяйка дома и наклонилась поцѣловать ее.—Тяжело тебѣ?

— Какъ тебѣ сказать, — тихо сказала Надежда Дмитріевна.—Растерялась я, растерялась. Человѣкъ гибнетъ, а помочь не могу... Всѣ средства въ умѣ перебрала—ничего не подѣлать, ничѣмъ не помочь... Есть, видно, что-то выше насъ... выше нашихъ желаній...

И, глотая слезы, она глухо прибавила:

— А ужъ какъ больно-то, какъ больно, что всѣ его бранятъ, всѣ чернятъ... а я... заступиться за него даже не могу... Что-жъ, негодяй, пьяница... ну, да, да... что же я могу сказать противъ этого?

И, задыхаясь отъ слезъ, рыдая, она торопливо, дрожащими руками, стала отирать слезы, а онѣ такъ и катились по ея лицу...

XII.

Надежда Дмитріевна вернулась въ свой домикъ въ Чернецъ и усиленно захлопотала: хозяйство, больныя, рожениицы, бѣдняки,—все это захватило почти все ея время. Въ Чернецѣ всѣ знали давно Надежду Дмитріевну, знали ея дѣятельность, и никто не замѣтилъ, что теперь въ этой дѣятельности было что-то новое. Старушка исполняла лихорадочно свои добровольно принятыя обязанности, старалась не давать себѣ отдыха, стремилась среди заботъ и хлопотъ что-то забыть, что-то подавить, инстинктивно чувствуя, что она не вынесетъ своего горя, если отдастся ему, сложивъ руки. Только тонкій наблюдатель могъ бы замѣтить, какую внутреннюю борьбу переживала Протасова. Но такихъ наблюдателей въ Чернецѣ не было. Лишь одна неизмѣнная служанка Надежды Дмитріевны, старуха Авдотья, тяжело вздыхала теперь, глядя на барыню, и чутьемъ угадывала, что та страдаетъ.

Чернецъ—очень маленькій городокъ, скорѣе похожій на деревню, чѣмъ на городъ. Онъ раскинулся на берегу рѣчки Черни. Эта рѣчонка змѣится на протяженіи десятка верстъ. Въ иныхъ мѣстахъ она тянется среди зеленой скатерти

полей, въ другихъ — прорывается между холмовъ, образующихъ нависшіе надъ нею обрывистые берега. Эта извилистость рѣчонки и это разнообразіе ея береговъ придаютъ особенную живописность тѣмъ мѣстамъ, гдѣ она протекаетъ, и особенно живописна та ея часть, гдѣ раскинулся городокъ Чернецъ; улицъ въ городѣ въ сущности двѣ, остальныя — не болѣе, какъ переулки, спускающіеся отъ двухъ главныхъ улицъ къ рѣкѣ. За рѣкою совсѣмъ нѣтъ улицъ, а просто стоятъ, среди полей и сосновыхъ рощицъ, отдѣльныя постройки пріѣзжающихъ въ Чернецъ на лѣто дачниковъ — землевладѣльцевъ.

На зиму Чернецъ засыпаетъ зимнею спячкой. Въ немъ нѣтъ ни собраній, ни клубовъ, ни театра. Если бы они и были, то ихъ некому было бы посѣщать, такъ какъ коренныхъ жителей здѣсь мало, и они не отличаются богатствомъ. Мелкіе купцы, торгующіе мѣщане, второстепенныя городскія власти, земскій докторъ, семья аптекаря, семейство священника и дьякона, пять-шесть офицеровъ, учителя городской школы и преподавательницы женской прогимназіи,—вотъ и все интеллигентное населеніе города, не считая простонародья, мастеровыхъ, солдатъ, крестьянъ, арестантовъ. Лѣтомъ, напротивъ, Чернецъ оживаетъ: изъ столицы наѣзжаютъ дачники и въ самый городъ, и въ окрестности, такъ какъ воздухъ здѣсь сталъ считаться очень здоровымъ съ тѣхъ поръ, какъ одинъ изъ знаменитыхъ докторовъ купилъ здѣсь имѣньице, а окрестности города всегда были, дѣйствительно, очень живописными. Наплывъ пріѣзжихъ лѣтомъ бываетъ настолько великъ, что нужно очень рано вставать и идти на базаръ, чтобы не остаться на цѣлый день безъ провизіи. Окрестные крестьяне, привозящіе эту провизію, и городскіе торговцы, торгующіе въ своихъ лавкахъ всѣмъ, начиная съ краснаго товара и кончая дегтемъ, положительно только и наживаются лѣтомъ.

Едва ли не самымъ красивымъ уголкомъ Чернеца является домикъ Надежды Дмитріевны Протасовой. Онъ, теряясь въ саду, расположенъ на высокомъ холмѣ. Подъ холмомъ протекаетъ Чернь. Отъ сада ведетъ къ ней тропинка, тянущаяся далѣе по низкому берегу, мимо ряда домовъ, окруженныхъ садами, къ мосту. Изъ дома Надежды Дмитріевны виденъ противоположный пологій берегъ Черни съ его живописно разбросанными домиками, рощами, полями. Домъ двухъэтажный. Верхъ нанимаетъ семья мѣстнаго ветеринара. Низъ занимаетъ сама Надежда Дмитріевна. И

зимой, и лѣтомъ она не оставалась одна: масса больныхъ стекалось въ ея домъ; здѣсь находили нерѣдко пріютъ роженицы-крестьянки; очень часто тутъ же на время призрѣвались разныя сироты, объ опредѣленіи которыхъ хлопотала старушка. Сама Надежда Дмитріевна говорила: «стóитъ только двери открыть, и въ просящихъ помощи недостатка не будетъ». Здоровая, румяная, бодрая и подвижная, она не видала, какъ проходятъ дни, и когда ей замѣчали, что у нея хлопотъ много, она шутливо говорила: «да что-жъ бы я, старушонка, стала дѣлать, если бы хлопотъ этихъ не было — живою въ гробъ ложись. Гранпасьянсы да сплетни тоже надоѣдятъ, если ими только и заниматься». Ея хлопотливая дѣятельность не была какимъ-нибудь подвижничествомъ или самоотверженіемъ, а просто являлось прямымъ послѣдствіемъ подвижности крѣпкой и здоровой натуры. Если бы обстоятельства заставили ее сидѣть сложа руки— она была бы самымъ несчастнымъ человѣкомъ и, вѣроятно, быстро бы захирѣла. Лѣтомъ, впрочемъ, бывали у нея не одни хлопоты съ разными приходящими за помощью—лѣтомъ она жила и семейною жизнью. Жена и дѣти ея брата неизмѣнно каждый годъ забирались къ ней на все лѣто, и Надежда Дмитріевна чувствовала, что у нея есть семья— любящая, честная и хорошая семья. Съ особеннымъ нетерпѣніемъ ждала она пріѣзда этой семьи на лѣто, послѣ своей поѣздки въ Петербургъ. Эта поѣздка тяжело отозвалась на ней и оставила въ душѣ глубокій, тяжелый слѣдъ. Дрянность болѣе или менѣе близкихъ ей людишекъ, въ эту поѣздку Протасовой въ Петербургъ, какъ-то ярче высказалась передъ нею; выяснилось вполнѣ во всемъ своемъ безобразіи и окончательное паденіе Александра Павловича. Какъ ни старалась Надежда Дмитріевна забыть все это, воспоминанія о тяжелыхъ сценахъ вставали помимо воли въ ея памяти, и сердце начинало щемить.

Надежда Дмитріевна была одной изъ тѣхъ рѣдкихъ, здоровыхъ и цѣльныхъ натуръ, для которыхъ не существуетъ сомнѣній. Она всегда дѣлала дѣло, не спрашивая себя: «хорошо ли она поступаетъ? не надо ли было поступить иначе? Теперь, напротивъ того, она мучилась именно этими сомнѣніями. Такъ ли она поступила, какъ слѣдовало? Можетъ-быть, было бы лучше, если бы Александръ попалъ подъ судъ, перенесъ горькое униженіе? Можетъ-быть, это образумило бы его? Можетъ-быть, затраченныя ею деньги пригодились бы ему послѣ суда? Иногда, среди хлопотливой

дѣятельности, она, вдругъ остановившись, задумчиво и тупо смотрѣла впередъ, какъ бы во снѣ. Неразрѣшимые вопросы томили ея душу, силы на время оставляли ее, а въ головѣ проносились страшныя картины: гибель любимаго человѣка, его полное паденіе, страхъ передъ тѣмъ, до чего можетъ довести его пьянство, обидное сознаніе своего человѣческаго безсилія въ борьбѣ съ какой-то невѣдомой силой — съ постыдными привычками, съ роковой гибелью любимаго человѣка,—все это доводило ее иногда до такого состоянія, что ей казалось, что у нея мутится умъ. Получивъ письмо изъ Петербурга о томъ, что семья ея брата ѣдетъ къ ней, она сильно обрадовалась и захлопотала о приготовленіи ихъ комнатъ. Семья ветеринара, видя, какъ суетится старушка, говорила:

— Дѣтей своихъ наша Надежда Дмитріевна ждетъ.

И точно «дѣти» пріѣхали, домикъ и садъ сразу оживились. Гимназистъ и гимназистка, племянникъ и племянница Протасовой, пріѣзжали къ ней всегда съ такою радостью, что не могли даже скрыть своего восторга, — здѣсь, казалось имъ, земной рай, и люди лучше, и воздухъ чище, и веселья больше, чѣмъ гдѣ-нибудь. Жива ли старая кошка—Машка, не издохъ ли Валетка, какъ поживаетъ Рыжуха, постарѣлъ ли Сивый, пріѣхали ли дѣти ветеринара изъ Петербурга на каникулы, эти вопросы сливались въ одинъ хаосъ и, тотчасъ по пріѣздѣ въ Чернецъ, заставляли Вѣру и ея брата Николая бѣгать и въ хлѣвъ, и въ конюшню, и къ ветеринару, и на рѣчку. Но вопросы и волненіе этимъ не исчерпывались. Гдѣ же лодка? Будетъ ли нынче устроена изъ рогожъ купальня? Конченъ ли въ городѣ строящійся вотъ уже десять лѣтъ соборъ? А что отецъ-дьяконъ, все по-старому въ городки играетъ?

И въ первый же день послѣ пріѣзда семьи Потапенко и дѣтей ветеринара, двухъ гимназистовъ, молодежь уже играла въ пустынномъ переулкѣ въ городки съ молодымъ, едва отростившимъ бороду отцомъ-дьякономъ, одѣтымъ въ свой холщевый подрясникъ, тогда какъ старикъ-священникъ и его дочери вышли за ворота и чинно усѣлись на скамейкѣ побесѣдовать съ родственницами Протасовой, Александрой Николаевной и Вѣрой.

Присѣвъ на крыльцѣ своего дома и глядя на играющихъ въ городки съ отцомъ-дьякономъ гимназистовъ и на бесѣдующихъ съ дочерьми старика-священника, Вѣру и Александру Николаевну,—Надежда Дмитріевна опустила на ко-

лѣни вязанье и глубоко задумалась. Догоравшій ясный и теплый день былъ такъ прекрасенъ, бывшіе передъ нею люди, простые, нетребовательные, неприхотливые, смотрѣли такъ мирно и радостно, что ее охватило сладкое сознаніе того, какъ мало въ сущности нужно для довольства и счастія. Ни богатство, ни роскошь, ни слава не дадутъ его, если нѣтъ въ душѣ человѣка способности быть счастливымъ, не гоняясь за многимъ, довольствуясь малымъ, благодаря судьбу за свѣтлыя минуты, выпадающія намъ на долю среди трудовыхъ дней и тяжелыхъ лишеній. Въ ея душѣ былъ теперь полный миръ, и она мысленно благодарила Бога, что онъ далъ ей среди всякихъ житейскихъ невзгодъ эту способность чувствовать себя счастливой. Ей вспомнился въ эту минуту Александръ. Что-то онъ дѣлаетъ? Какъ тянетъ свою злополучную жизнь? Вся она искалѣчена, и нѣтъ въ ней ни проблеска свѣта...

— Бѣдный мой, бѣдный Саша!—со вздохомъ прошептала она, и по ея щекамъ потекли слезы.

Она даже не слышала, какъ къ ней подошла Александра Николаевна и положила ей на плечо руку.

— Надя, что съ тобой?

Старушка встрепенулась и быстро стала отирать слезы.

— Ничего, ничего, такъ взгрустнулось,—торопливо проговорила она. — Залюбовалась в отъ на васъ и вспомнила Сашу...

— Полно, не думай о немъ,—тихо сказала Потапенко.— Его уже не спасешь.

— Да, да... вотъ это-то и тяжело... Не спасешь! легко сказать, а примириться съ этою мыслью—никогда я съ нею не примирюсь.

И, прерывая себя, стараясь ободриться, она заторопилась:

— Чай, однако, пора пить... Я и забыла, засмотрѣвшись на дѣтишекъ...

Она встала и пошла въ домъ распоряжаться насчетъ чаю, хлопотливо суетясь, стараясь забыться.

Неумолкаемая болтовня шла вокругъ чайнаго стола, когда въ столовой собралась вся семья Надежды Дмитріевны и гимназисты ветеринара. Надежда Дмитріевна тоже говорила безъ умолку, казалась веселою и бодрой, но зоркіе глаза Александры Николаевны замѣтили, какъ на мгновеніе на лицо старухи ложилась какая-то тѣнь грусти. Спохватившись, старушка снова развеселялась, старалась шутить, но,

видимо, ея душу томила одна и та же неотвязная, тяжелая дума.

Пошли дни за днями, тихіе, мирные, веселые. Надежда Дмитріевна то и дѣло ласкала и баловала своихъ дорогихъ дѣтей, а между тѣмъ, нѣтъ-нѣтъ—и заставала ее Александра Николаевна въ тяжелыхъ думахъ. Примириться съ совершившимся фактомъ гибели дорогого человѣка—очевидно, у старушки не хватало силъ. Иногда Александра Николаевна въ эти минуты тихо говорила ей:

— Побереги себя!..

— Нѣтъ, что же... что мнѣ дѣлается, — отзывалась старушка и, какъ бы оправдываясь, прибавляла:—это я только такъ, иногда взгрустнется. А то я и не думаю. Что-жъ думать? Что съ возу упало—пропало.

Въ одну изъ такихъ минутъ, Коля Потапенко вбѣжалъ въ комнату и подалъ Надеждѣ Дмитріевнѣ письмо. Она взглянула на адресъ и измѣнилась въ лицѣ.

— Отъ Александра!—проговорила она въ волненіи и дрожащими руками разорвала конвертъ.

— Господи, что тамъ еще случилось? — почти сердито воскликнула Александра Николаевна.

Старушка читала письмо, отрывисто говоря:

— Заболѣлъ... въ больницѣ... умираетъ.

Она отложила письмо и заметалась по комнатѣ.

— Ахъ ты, Господи, ѣхать надо скорѣе... Авдотьюшка! Авдотьюшка! скорѣе... Когда поѣздъ-то идетъ?.. Ахъ, не опоздать бы...

— Надя,—тихо сказала Потапенко.—Нужно ли? Подумай!.. Можетъ-быть...

Надежда Дмитріевна остолбенѣла передъ ней, недоумѣвая.

— Чего же думать-то. Умираетъ, слышишь, умираетъ.

— Да точно ли?—еще тише замѣтила Александра Николаевна.

— И ты... и ты даже!—воскликнула Надежда Дмитріевна съ горечью.

И снова она засовалась по комнатѣ.

— Скорѣе, скорѣе, соберите все, что̀ нужно. Ахъ, поспѣть бы во̀-время... Господи, самъ зоветъ, самъ...

Впервые въ душѣ Александры Николаевны пробудилось почти злое чувство противъ Александра. Она была увѣрена, что онъ обманываетъ старуху, а между тѣмъ этотъ обманъ можетъ имѣть для нея роковыя послѣдствія. И безъ того она видимо изнываетъ, думая по цѣлымъ днямъ объ этомъ негодномъ человѣкѣ. Тѣмъ не менѣе отговаривать старуху

отъ поѣздки было невозможно. Не такова была Надежда Дмитріевна, чтобы оставаться на мѣстѣ, когда ее призывалъ на помощь страдающій человѣкъ.

Протасова уѣхала въ Петербургъ, наскоро забросила свой багажъ въ квартиру Александры Николаевны и помчалась въ больницу. Сидѣлка провела ее въ палату, гдѣ лежалъ Протасовъ, и жалостливо замѣтила особенно сердечнымъ тономъ:

— Плохъ онъ, голубчикъ, очень плохъ! Ноги отнялись и скоротечная чахотка...

Онъ лежалъ на постели на спинѣ, вытянувшись, какъ покойникъ. Онъ слегка обросъ бородой и былъ неузнаваемъ: оставались только кости, обтянутыя кожей. Бѣлизна его нѣжной кожи была теперь поразительна. На щекахъ едва-едва пробивался румянецъ. Его большіе глаза, казалось, стали еще больше и свѣтились особеннымъ блескомъ. Что сразу поражало теперь въ немъ, такъ это невозмутимое спокойствіе. Когда Надежда Дмитріевна подошла къ его кровати, онъ, оставаясь попрежнему неподвижнымъ, не поворачивая даже головы, обратилъ на старушку взглядъ, и въ этомъ взглядѣ отразилась тихая радость.

— Успѣла!—тихо проговорилъ онъ, почти не разжимая бѣлыхъ, ровныхъ зубовъ.

Она наклонилась поцѣловать его въ бѣлый лобъ. Онъ едва слышно пожалъ ея руку. Его руки, бѣлыя, худыя, съ тонкими пальцами, все еще красивыя, лежали вдоль тѣла поверхъ одѣяла.

— Вася, иди теперь къ матери,—сказалъ больной, обративъ глаза на стоявшаго у постели мальчугана.—Скажи спасибо, что не забываютъ. Теперь моя мама пріѣхала, и мнѣ больше ничего не надо. Заходи все-таки.

— Я-съ забѣгу, Александръ Павловичъ,—бойко сказалъ мальчуганъ.—Андрюшка и Митька тоже забѣгутъ.

— Это хорошо. Не забывайте учителя. Недолго мнѣ жить.

Больной говорилъ тихо, упавшимъ голосомъ, не шевеля почти сухими губами и не измѣняя позы и выраженія лица. При каждомъ усиліи и движеніи, его начиналъ душить кашель. Эта неподвижность дѣлала его похожимъ на трупъ. Только глаза выражали кроткую ласку. Мальчуганъ, одѣтый въ русскую рубашонку, неуклюже раскланялся и на цыпочкахъ пошелъ по палатѣ, походкой медвѣженка.

— У тебя тамъ въ Чернецѣ хорошо?—спросилъ больной у Надежды Дмитріевны.—Твои всѣ собрались уже?

— Да, да,—отвѣтила Надежда Дмитріевна.—Вотъ и ты немножко поправишься, да и туда же.

— Мнѣ три-четыре дня жить,—отвѣтилъ онъ.

— Полно! Что ты! Еще...

Онъ тихо перебилъ ее.

— Я же потому тебя и выписалъ, что докторъ былъ такъ добръ, сказалъ откровенно правду. Я просилъ объ этомъ. Иначе я не побезпокоилъ бы тебя.

— Хорошъ, хорошъ, нечего сказать. Не безпокоилъ бы— лежалъ бы тутъ одинъ и не побезпокоилъ бы!

Она старалась ободриться, шутить. Онъ тѣмъ же невозмутимымъ тономъ сказалъ:

— Я здѣсь не одинъ. Десятокъ друзей навѣщаетъ. Ученики бѣгаютъ. Видѣла вотъ мальчугана? У меня учился. Хорошій все народъ, простой и добрый. Отдохнулъ я среди нихъ за послѣдніе годы. Баловали, точно барчука.

Она не безъ удивленія взглянула на него, думая, что онъ бредитъ. Онъ подмѣтилъ это выраженіе удивленія, и въ его глазахъ отразилась улыбка.

— Удивляетъ это тебя? точно, это странно. Но я слишкомъ два года среди нихъ, какъ среди родныхъ, прожилъ. Что могъ, дѣлалъ и съ своей стороны для нихъ. Народъ темный, малограмотный; помочь пустяками можно. Любили за это. Теперь ничего не могу сдѣлать для нихъ, а не забываютъ, ходятъ.

Онъ закашлялъ мелкимъ, сухимъ кашлемъ, слегка вздрагивая всей грудью, и на лицѣ появилось мучительное выраженіе; мелкія капли пота покрыли лобъ. Минуты черезъ двѣ кашель утихъ, и его лицо опять стало спокойно.

— Смерти я не боюсь—это отдыхъ; мучительна только болѣзнь,—тихо сказалъ онъ.

Онъ закрылъ глаза. Ей показалось, что онъ заснулъ. Она поднялась, чтобы идти. Онъ тихо проговорилъ, не открывая глазъ:

— Завтра пораньше приди.

— Не надо ли тебѣ чего?

— Нѣтъ, все есть,—отвѣтилъ онъ и ласково пошутилъ:— тебя только недоставало.

Старушка побрела изъ палаты, опустивъ голову. Что-то странное творилось въ ней. Ее поразило это невозмутимое, ясное спокойствіе больного. Ни жалобъ, ни вздоховъ, ни покаянія, ни самобичеванія, ничего не было. Это было состояніе счастливѣйшаго изъ людей.

Сидѣлка, провожавшая ее, замѣтила опять, что больной очень труденъ, и тутъ же прибавила:

— И не видали мы такого покойнаго больного. Всѣ ему

хороши, все хорошо. Слова дурного никому не скажутъ, за все благодарятъ. Помогать ему станешь, смутится, конфузится. Недаромъ и любятъ его люди.

— Любятъ?—машинально спросила Надежда Дмитріевна, почти не понимая ее.

— Да, ужъ такъ-то всѣ хвалятъ, такъ хвалятъ. Все бѣдному народу добро дѣлалъ.

Старушка еще болѣе растерялась. Ничего она не могла понять. То говорили, что негодяй, погибшій, мошенникъ. Теперь говорятъ, что его любятъ, что добро дѣлалъ, что лучше трудно и сыскать человѣка.

На слѣдующій день она застала Александра въ томъ же положеніи, только говорилъ онъ еще тише, только кашель, беззвучный, продолжительный, былъ еще мучительнѣе и повторялся чаще. Больной разспрашивалъ ее о родныхъ, объ Александрѣ Николаевнѣ, Вѣрѣ, Колѣ, о ея неизмѣнной служанкѣ Авдотьѣ. О себѣ, о своей болѣзни, о своихъ мукахъ онъ не говорилъ ни слова. Только случайно, какъ бы вспомнивъ что то, замѣтилъ:

— Да, похорони непремѣнно у Митрофанія. Люблю я это кладбище.

— Ну, ну, не смѣй говорить о смерти,—пошутила она.— Отчаиваться не надо. Не всякая болѣзнь...

Онъ перебилъ ее.

— Полно, смотри на это проще. Сонъ это послѣ труда. Я два послѣдніе года много поработалъ. Чтобы жить мелкимъ трудомъ, надо много работать. Правда, безпутно иногда деньги убивалъ, пилъ иногда не въ мѣру. Это привычка вѣдь. У всѣхъ свои привычки и недостатки.

И тѣмъ же невозмутимымъ тономъ онъ прибавилъ:

— Ты вотъ счастливая: здоровой натурой всегда была, не сбилась съ дороги. Это рѣдкость. Другіе всѣ сбиваются: женщины развращаются, мужчины пьянствуютъ. Самимъ иногда не вѣрится въ минуты трезвости, до чего они доходятъ во время опьяненія, на людей смотрѣть стыдно, къ себѣ отвращеніе чувствуешь. А привычка такъ или иначе опять беретъ верхъ, и снова повторяется то же, отъ чего съ омерзѣніемъ открещивался вчера.

Онъ тихо вздохнулъ.

— Свѣжій человѣкъ со стороны взглянетъ на все это— гадко станетъ,—проговорилъ онъ.—А когда всмотришься во все это близко, поймешь все,—глубоко жаль станетъ. Бѣдные, бѣдны люди! Сколько души, сколько сердца таится

иногда среди этой омерзительной грязи роковыхъ привычекъ, рокового паденія.

Онъ закрылъ глаза, утомленный, но попрежнему спокойный. Надежда Дмитріевна сидѣла въ глубокомъ раздумьи, пораженная его спокойствіемъ, ясностью душевнаго строя. Это не былъ цинизмъ пропойцы, хвастающаго своимъ паденіемъ; это не было стремленіе софиста оправдать всякую мерзость; это была спокойная оглядка назадъ человѣка, сознающаго, что для него уже все кончено. Онъ говорилъ о своемъ пьянствѣ, какъ докторъ говоритъ о болѣзни,—говорилъ о своемъ образѣ жизни такъ же, какъ и о своей смертельной болѣзни: фактъ грустенъ, но его не передѣлать жалобами или слезами. Отъ этого спокойствія дѣлалось жутко.

На слѣдующій день, Надежда Дмитріевна, подходя къ постели Александра, увидала около него какую-то дѣвушку. При появленіи Протасовой та быстро встала и, простившись съ больнымъ, пошла прочь. Проходя мимо старушки, она потупилась въ смущеніи. Въ душѣ Надежды Дмитріевны мелькнуло смутное подозрѣніе. Она присѣла у кровати больного. Онъ лежалъ, какъ мертвецъ, и какъ-то особенно безпрерывно покашливалъ не грудью, а горломъ, точно у него тамъ что-то засѣло и першитъ. Увидавъ Протасову, онъ слабо пожалъ ея руку и совсѣмъ тихо сказалъ:

— Вотъ тоже навѣстить вырвалась.

И, тихо вздохнувъ, прибавилъ:

— Знаешь, несчастная въ такомъ домѣ живетъ... Вырваться оттуда на полчаса и то трудно... Современныя рабыни...

Старуха поняла, и ея сердце невольно сжалось. Съ какими женщинами онъ былъ близокъ! На мгновенье въ душѣ пробудилось нехорошее чувство. Хоть бы ужъ не ходили эти-то въ такія минуты. Протасовъ тихо, въ грустномъ раздумьи, обрывая рѣчь на каждой фразѣ, продолжалъ:

— Бѣдняжка любитъ тутъ одного парня—мастерового... Денегъ я ссужалъ ему иногда... Такъ вотъ тоже благодарность чувствуетъ за это... Несчастныя!.. И любовь-то у нихъ вся исковерканная, какъ и вся жизнь.

— Ахъ, такъ значитъ...—начала Надежда Дмитріевна и не кончила.

Ей стало стыдно передъ нимъ, что она ошиблась въ своихъ подозрѣніяхъ. Вообще она чувствовала, что предъ нею происходитъ нѣчто такое, чего она не понимаетъ. Чтобы что-нибудь сказать, она спросила.

— Что же они не поженятся?

— Да ее же выкупить пришлось бы,—едва слышно сказалъ онъ, съ видимымъ усиліемъ. — Все равно, что крѣпостная... Да и не прожить бы имъ на то, что онъ зарабатываетъ... Мало платятъ за каторжный трудъ... Она же— какая она работница, когда ее пятнадцати лѣтъ совратили съ прямого пути... родная тетка продала... тоже съ голоду...

Онъ вздохнулъ. Его взглядъ былъ совершенно тусклъ.

— Ты бы не говорилъ, тяжело тебѣ,—замѣтила Протасова, съ тревогой слѣдя за нимъ.

Она чувствовала, что въ немъ угасаетъ жизнь.

— Ничего,—отвѣтилъ онъ.

Черезъ минуту онъ снова заговорилъ.

— А запретить сердцу любить не прикажешь... Паденье полное, грязь, развратъ, а она вотъ руку у меня сегодня поцѣловала... что я ея Васѣ другомъ былъ.

Онъ закрылъ глаза.

— Пройдутъ года, и эта послѣдняя искра добра потухнетъ и останется... простая развратная, циничная тварь... Умирать надо такимъ скорѣе, пока есть искра добра...

Онъ глухо, едва слышно закашлялъ и судорожно захватилъ обѣими руками рубашку на груди, страдая отъ боли. Надежда Дмитріевна тревожно поднялась съ мѣста.

— Саша, пить не хочешь ли? Тяжело тебѣ?

Онъ широко открылъ глаза и осмотрѣлся, точно не узнавая ея.

— Не надо ли тебѣ чего?—спросила Протасова.

Онъ безсмысленно смотрѣлъ на нее. Кашель продолжалъ его душить. Въ груди слышалось точно кипѣнье. Конвульсивными движеніями онъ закинулъ голову назадъ, тогда какъ грудь выпятилась вверхъ. Руки продолжали теребить рубашку, вцѣпившись въ нее, какъ когтями. Надежда Дмитріевна позвала сидѣлку. Та прибѣжала и вмѣстѣ съ нею хотѣла приподнять его, но онъ вдругъ весь опустился въ постель и разомъ встряхнулся, уткнувшись подбородкомъ въ грудь. Руки безсильно скатились на постель.

Сгорбившаяся, какъ бы вдругъ состарѣвшаяся на десятокъ лѣтъ, не замѣчая катившихся по щекамъ слезъ, выходила Надежда Дмитріевна изъ больницы, направляясь къ мертвецкой. Совершенно безсознательно отдавала она теперь распоряженія насчетъ похоронъ своего любимца. Хлопотъ, по обыкновенію, предстояло много, и она, растерявшись, не знала, какъ и что дѣлать. Какая-то женщина въ мертвецкой подошла къ ней и начала, утирая слезы,

разспрашивать ее, не надо ли ей помочь. Это была хозяйка Александра Протасова.

—Мальчонки мои шустрые, они помогутъ,—говорила она участливо.—Вотъ Василій тоже придетъ пріятеля-то своего снаряжать. Слава Богу, всѣ мы его, какъ сына родного, любили.

И, мало-по-малу, мертвецкая наполнилась народомъ. Всѣ отирали слезы, цѣловали въ губы покойника, произносили простыя, изъ сердца выливающіяся, фразы. Кто-то фамильярно проговорилъ Надеждѣ Дмитріевнѣ:

— Да ты, Надежда Дмитріевна, не заботься ужъ, все мы это сдѣлаемъ безъ тебя! Шутки ли, у тебя какое горе.

— Да, да, голубчики, ужъ вы хлопочите, — растерянно говорила Протасова, присѣвъ на стулъ. — Дѣлайте, какъ знаете. Вотъ деньги.

— Что деньги!—послышался голосъ.—Сдѣлаютъ все тогда и заплатишь. А ужъ мы его такъ похоронимъ—на славу!

Какая-то бабенка все сокрушалась о томъ, что она еще не отдала долга Протасову—пятнадцать рублевъ далъ, когда у нея мальчишка померъ. Похоронить было нечѣмъ, а онъ далъ. Душа человѣкъ былъ. Мухи не обидѣлъ.

Когда зашелъ вопросъ о днѣ похоронъ, всѣ стали просить, чтобы хоронить Протасова въ воскресенье,—свободный день для рабочихъ. Въ будни не урваться. Надежда Дмитріевна не протестовала, не вмѣшивалась ни во что. Въ воскресенье мертвецкая и дворъ около нея захлебнулись народомъ. Гробъ вынесли на рукахъ и понесли на кладбище. Старушка шла за нимъ пѣшкомъ и смотрѣла какъ-то растерянно на все происходившее вокругъ нея: на этихъ простыхъ рабочихъ, несущихъ гробъ, на этихъ простыхъ женщинъ, покупающихъ пятикопеечные вѣнки для ея Александра, на этихъ простыхъ дѣтей, идущихъ и поющихъ предъ гробомъ. Казалось, она присутствовала передъ какимъ-то новымъ для нея явленіемъ, передъ чѣмъ-то такимъ, чего она прежде не знала, не подозрѣвала. Она десятки разъ за эти дни подходила къ покойнику, всматривалась въ черты его лица: оно было серьезно и спокойно, какъ въ послѣдніе дни его жизни. Ей вспомнилось это лицо, какимъ оно было въ разные періоды жизни. Сколько разнообразныхъ чувствъ и ощущеній выражало оно. Не помнила она только одного выраженія въ немъ—злобы. Онъ былъ добръ всегда. Ей вспомнились его послѣднія слова объ «искрѣ добра». Да, эта искра не угасала въ немъ никогда. Въ послѣднее время она даже, несмотря на все его па-

денье, разгорѣлась въ немъ сильнѣе, ярче. Онъ не только сберегъ ее въ себѣ, онъ старался отыскивать ее въ другихъ. Всѣ родные считали его негодяемъ, она называла его безвозвратно погибшимъ; онъ самъ стыдился глядѣть въ лицо людямъ, считая себя хуже всѣхъ, а вотъ эти простые люди, сами глубоко несчастные, сами падшіе, подмѣтили въ немъ искру добра и назвали его только за одну эту искру «святой душой».

Когда гробъ опускали въ землю, кто-то изъ женщинъ громко всплакнулъ, мужчины замѣтили:

— Шабашъ теперь, Александръ Павловичъ!

— Всѣ тамъ будемъ!

— Этого ужъ не минуешь.

Десятки рукъ начали торопливо креститься и бросать на могилу землю.

День былъ чудесный, все кладбище было въ зелени, солнце свѣтило ярко и роняло свои лучи даже въ эту разрытую яму.

Старушка набожно перекрестилась и стала прощаться съ этими людьми, согрѣвшими душу ея Александра въ послѣдніе дни жизни. Они оставались на могилѣ поминать покойника, притащивъ съ собой провизію для этихъ поминокъ. У нея на душѣ было свѣтло и тихо: ни укоровъ за прошлое, ни горькихъ сомнѣній не было въ ней. Какое-то торжественное, примирительное настроеніе охватывало ее всю, и мелки казались ей всѣ людскія дрязги и ссоры, обвиненія и осужденія. Законы жизни такъ сложны, такъ загадочны, такъ властны, что передъ лицомъ ихъ наши умствованія являются вполнѣ ничтожными.

— Не намъ судить,—тихо и задумчиво шептала она.

Когда она вернулась въ Чернецъ, всѣ сразу замѣтили въ ней перемѣну: она сильно постарѣла, но въ то же время выраженіе ея лица дышало такимъ яснымъ спокойствіемъ, какого на немъ не было никогда. Въ эти дни тяжелыхъ испытаній она перечувствовала многое и поняла въ глубинѣ души, что счастливъ тотъ, кто по чистой случайности успѣлъ свято совершить жизненный путь, и что не суда, а глубокаго сожалѣнія заслуживаетъ тотъ, кто палъ подъ гнетомъ житейскихъ обстоятельствъ, наслѣдственныхъ задатковъ, личнаго безсилія,—палъ нравственно, терзаясь упреками совѣсти, глубоко презирая себя и вызывая одно отвращеніе въ тѣхъ ближнихъ, которые любятъ рыться грязными руками въ чужой душѣ и упорно не заглядывать въ свою собственную душу.

ДВѢ СЕМЬИ.

I.

Мы — мой отецъ, моя мать и я — жили въ большомъ, каменномъ казенномъ домѣ. Мой отецъ былъ не важная птица, получалъ одиннадцать рублей съ копейками мѣсячнаго жалованья и пользовался небольшой даровою квартирой. Въ сущности это была не квартира, а просто комната въ два окна, раздѣленная на три части перегородками. Одна часть служила гостиной, другая — спальней, третья — передней. Кушанье мы готовили въ общей для пяти семействъ кухнѣ.

При воспоминаніи о прошломъ, мнѣ постоянно кажется, что мы жили не въ квартирѣ, не въ своемъ углу, а въ тюрьмѣ. Это можетъ показаться страннымъ постороннему человѣку, но все-таки я не могу иначе представить себѣ нашего стараго жилища. Нашъ домъ дѣйствительно походилъ на тюрьму. Длинные, широкіе, полутемные коридоры, гдѣ во время ночного затишья такъ гулко отдавались подъ сводами и крики безчисленныхъ кошекъ, и мѣрные шаги сторожа, и тяжелая поступь запоздалаго жильца; два ряда дверей направо и налѣво, очень близко помѣщенныхъ одна къ другой и свидѣтельствовавшихъ, что у жителей дома очень тѣсны помѣщенія; оборванный и грязный солдатъ инвалидной роты на подъѣздѣ, обыкновенно грубый и недовольный нещедрыми, запивавшими жильцами; гнилой запахъ отъ нечистотъ и масляныхъ фонарей, смѣшанный съ запахомъ щей, ржаного хлѣба и махорки, которую курилъ и этотъ часовой, и бѣдные обитатели жалкихъ конуръ; вѣчный полумракъ коридора, не

выметаемый по недѣлямъ соръ отъ дровъ, разносимыхъ по квартирамъ, и отъ ушатовъ съ помоями, выносимыхъ изъ квартиръ; рѣшетки у оконъ, сдѣланныя съ тѣхъ поръ, какъ убился одинъ счастливчикъ изъ ребятъ нашего дома, вылетѣвшій на мостовую во время отсутствія своей матери; тѣснота въ квартирахъ; бѣдность, часто отсутствіе всякой обстановки въ жилищахъ—все это сливается теперь вмѣстѣ въ моей памяти, и мнѣ чудится, что я провелъ дѣтство не въ жилищѣ свободныхъ людей, а въ тюрьмѣ, наполненной преступниками, обреченными на семейное заключеніе. Если ваше дѣтство прошло при болѣе счастливой обстановкѣ—я радуюсь за васъ...

II.

Въ нашемъ домѣ шла невеселая жизнь. Я сказалъ, что при воспоминаніи объ этомъ домѣ я всегда представляю себѣ тюрьму. Я долженъ прибавить, что при воспоминаніи объ этой жизни мнѣ всегда представляется ночь и тьма. Это тоже должно казаться вамъ страннымъ, но это такъ.

Все мое дѣтство сливается въ моей памяти въ какой-то длинный рядъ ночей, во мракѣ которыхъ мнѣ трудно разглядѣть хотя ясный, сверкающій тепломъ и свѣтомъ день. Порой мнѣ самому дѣлается досадно, что изъ этого непроглядного мрака не свѣтитъ ни одного яркаго дневного луча, какъ-будто тамъ дѣйствительно была одна сплошная ночь. Я стараюсь дать себѣ отчетъ, почему это ускользаютъ изъ моей памяти дни, и мало-по-малу, это обстоятельство начинаетъ дѣлаться яснымъ для меня. Я вижу, что они существовали и въ этой тюрьмѣ, и въ моемъ дѣтствѣ, но это были безцвѣтные, однообразные дни. Это были сплошные будни. Бывало, займется утро, я открываю глаза и прислушиваюсь: въ комнатѣ все пусто, все тихо, и развѣ только очень тонкій слухъ можетъ различить, какъ быстро щелкаетъ игла по лощеному полотну, какъ иногда шуршитъ это полотно, быстро поворачиваемое работающею рукою.

Лежать и не спать въ этомъ затишьи нѣтъ никакой возможности; въ немъ можно только спать или заниматься какимъ-нибудь дѣломъ,—иначе оно тяготитъ, давитъ, раздражаетъ нервы. Я поднимаюсь съ постели, выхожу босикомъ въ гостиную изъ-за перегородки; въ гостиной у окна сидитъ моя мать и торопливо шьетъ. Какое у нея озабоченное, худенькое, желтоватое лицо, съ мелкими морщин-

ками около прищуривающихся надъ строчкой глазъ, съ красными и припухшими вѣками, какъ болѣзненно изогнутъ ея тонкій станъ надъ шитьемъ,—грудь вдавлена, когда-то стройная спина выглядитъ старческой, сутуловатой.

Еще мгновеніе — и я уже нахожусь около матери. Она откладываетъ работу на столъ, поднимаетъ меня на руки, цѣлуетъ и, выпрямляясь, откидывается на спинку стула,— въ этомъ движеніи ясно видно изнеможеніе. Она рада разогнуть на мигъ свою спину. Еще мгновенье — и она пошлетъ меня одѣваться, приготовитъ мнѣ чашку снятого молока, поправитъ въ кухнѣ горшокъ со щами, поставленный въ печку, всполоснетъ и вытретъ руки, и снова шьетъ, шьетъ, шьетъ.

Ей двадцать пять лѣтъ; она уже перемѣнила вторыя очки.

Чай допитъ. Что мнѣ дѣлать? Не почитать ли азбуку? Я подвигаю скамейку къ ногамъ матери и сбоку кладу на ея платье замасленную книжонку.

— Бо-го-ро-ди-ца дѣ-во ра-дуй-ся, — складываю я, медленно и картавя.

Мать слушаетъ, не переставая шить.

— Мама, что значитъ дѣворадоваться? — спрашиваю я, не понимая смысла складываемыхъ словъ.

Мать улыбается и объясняетъ мнѣ непонятныя слова.

Чтеніе начинаетъ мнѣ надоѣдать. Я оставляю книгу, беру лоскутки и шью платье куклѣ. Я игралъ въ куклы. Я не любилъ лошадокъ, касокъ, ружей. Впрочемъ, и то сказать—куклы изъ тряпокъ можно было шить дома, въ нихъ можно было играть одному, а ружья и каски требуютъ денегъ, и ими непремѣнно нужно хвастать передъ кѣмъ-нибудь — иначе не выйдетъ никакого удовольствія. Это я знаю по опыту. Разъ мнѣ купили каску, всю покрытую сусальнымъ золотомъ. Я ее надѣлъ, постоялъ передъ зеркаломъ, походилъ по комнатѣ походкою нахохлившагося пѣтуха, присѣлъ въ уголокъ,—сидѣлъ, сидѣлъ, поглядывая на всѣхъ, и вдругъ разревѣлся.

— Что съ тобой?—спросила съ удивленіемъ мать.

— Я... я... не хочу быть въ колпакѣ! — хныкая, произнесъ я.

— Ну, такъ сними киверъ,—посовѣтовала мать, все-таки не понимая причины моихъ слезъ.

Только послѣ допытались мои родители, что причиной моихъ слезъ послужила слышанная мною однажды, но вспом-

нившаяся мнѣ при этомъ случаѣ поговорка: «всѣ люди, какъ люди; одинъ дуракъ въ колпакѣ». Съ этой поры я уже не измѣнялъ кукламъ, покуда онѣ не смѣнились книгой.

Часы, между тѣмъ, бѣгутъ за часами, а мы съ матерью все шьемъ, вплоть до обѣда; послѣ обѣда мы опять шьемъ до кофе; потомъ меня уже начинаетъ томить дремота. Я радъ вечернему чаю, я радъ наступленію ночи, я радъ возможности уснуть.

III.

Иногда дни немного разнообразились тѣмъ, что я обѣдалъ одинъ. Мнѣ подавалась на блюдечкѣ манная каша и небольшой кусокъ вчерашней говядины.

— Мама, а что же ты не кушаешь? — спрашиваю, бывало, я.

— Я не хочу сегодня ѣсть; я напьюсь кофею; готовить было лѣнь, отвѣчаетъ мать и приноситъ себѣ кофе.

Она пьетъ его и ѣстъ полубѣлый хлѣбъ. Я спокойно наслаждаюсь своею ѣдою. Я не знаю, что у насъ нѣтъ ни гроша въ домѣ, что мать голодна.

Бывало и другого рода разнообразіе: отецъ присоединялся къ намъ, окончивъ свои дежурства на службѣ. Маленькій ростомъ, сильно плѣшивый, съ сѣдыми завитками на вискахъ, съ полнымъ, розовымъ, но обрюзгшимъ лицомъ, ходящій мелкими, торопливыми шажками, онъ выглядѣлъ старше своихъ лѣтъ. Ему не везло по службѣ, потому что онъ былъ низокъ ростомъ и плѣшивъ, а начальство искало высокихъ ростомъ и густоволосыхъ людей. Но, несмотря на это, онъ глядѣлъ на все какъ-то невозмутимо ясно и иногда добродушно улыбался, даже въ самыя горькія минуты. Это не была покорность, это не была апатія; это было холодное, неотразимое сознаніе, что исхода нѣтъ.

— Пока живется, будемъ жить; умремъ, и слава Богу. Сынишку бы только поднять на ноги,—торопливо говорилъ онъ, моргая глазами и улыбаясь.

А что, если бы я умеръ? О, отецъ горько, горько поплакалъ бы и надо мною и все-таки подумалъ бы про себя:

— Все же слава Богу, что умеръ, а не сиротой остался.

Отецъ, появляясь въ нашей квартирѣ, чинилъ мебель, ходилъ за матушку на рынокъ, стряпалъ за нее, иногда клеилъ, иногда переписывалъ за деньги бумагу. Онъ ухаживалъ за матушкою, которая была гораздо моложе его, какъ отецъ за дочерью. За обѣдомъ, за вечернимъ чаемъ, онъ шутилъ,

иногда читалъ вслухъ книги, плача при трогательныхъ сценахъ и хохоча до слезъ при чтеніи смѣшныхъ событій. Никогда не говорилъ онъ только о службѣ, о нашей бѣдности. Это были его больныя мѣста, а онъ боялся бередить раны.

Только иногда какъ-то испуганно всматривался онъ въ лицо матушки и качалъ головой.

— Ты бы отдохнула денекъ, два, — ласково говорилъ онъ ей.

— Да вѣдь до жалованья еще далеко, — отвѣчала матушка, объясняя этимъ все.

— Да, да, далеко!—вздыхалъ отецъ и вдругъ, суясь по угламъ, суетливо принимался за какое-нибудь дѣло.

Въ эти минуты, смотря на его безсмысленную, передвигающуюся улыбочку, опытный наблюдатель сказалъ бы: «а вѣдь этотъ человѣкъ боится заплакать».

Ни одна ссора, ни одинъ рѣзкій споръ не нарушали нашего семейнаго затишья. И изъ-за чего же было ссориться и спорить отцу и матери? Не изъ-за какихъ ли нибудь міровыхъ вопросовъ, не изъ-за различія ли тѣхъ или другихъ взглядовъ или убѣжденій? Боже мой, да какое дѣло до всего этого голодному человѣку, вполнѣ сознавшему, что ему нѣтъ исхода, что онъ не станетъ выше ростомъ, не выраститъ на своей плѣши волосъ, толкуя хоть тысячу лѣтъ о великихъ вопросахъ, и что при маломъ ростѣ и плѣшивой головѣ онъ будетъ получать все-таки не больше одиннадцати рублей въ мѣсяцъ жалованья, точно такъ же, какъ его жена, не имѣя никакихъ особенныхъ талантовъ, не имѣя никакой охоты торговать собою, будетъ все-таки гнуть горбъ по два дня надъ шитьемъ одной рубашки, за что получитъ не болѣе одного рубля серебромъ. Какіе же тутъ могутъ быть споры за убѣжденія? Тутъ человѣкъ благодаритъ Бога за то, что его не загрызаетъ своя собственная семья за съѣденный имъ кусокъ хлѣба... Такъ тихо и мирно, какъ было тихо и мирно въ нашей семьѣ, можетъ быть развѣ только въ кружкѣ приговоренныхъ къ смерти развитыхъ, полныхъ силы личностей. Правда, мой отецъ и моя мать не говорили о близкой смерти, — но это понятно: между ними стоялъ ребенокъ.

IV.

И ни одного яркаго событія, ни одного яркаго луча не сверкнуло въ длинномъ ряду этихъ сумеречныхъ, безраз-

личныхъ дней! Вотъ почему слились они въ моей памяти въ одно какое-то смутное, безцвѣтное пятно. Но ночи — о, ночи совсѣмъ иное дѣло! Онѣ ярко смотрятъ на меня своимъ мракомъ. Все темно, все тихо, — но въ этой тьмѣ блеститъ одинокій свѣтъ мерцающей въ гостиной, оплывшей, сальной свѣчи. Она озаряетъ какимъ-то желтымъ блескомъ и безъ того пожелтѣвшее лицо моей матери, склонившейся надъ работой, и тревожитъ меня. Когда перестанетъ мать шить, когда она ляжетъ? Идутъ минуты, идутъ часы, а она все шьетъ, шьетъ, шьетъ. Закрою я глаза и стараюсь уснуть,—кругомъ такъ тихо, только игла щелкаетъ, только полотно шуршитъ, а въ коридорѣ слышны пронзительные, какъ дѣтскій плачъ, крики безчисленнаго множества кошекъ. Они то утихаютъ, то снова еще болѣе рѣзко раздаются, словно подъ самымъ моимъ ухомъ. Но вотъ я слышу, кошки бѣшено несутся по коридору, роняя на пути стоящія тамъ бѣльевыя корзины, и въ отдаленіи слышится чей-то невѣрный, но глухо отдающійся шагъ. Шаги ближе и ближе. Мнѣ начинаетъ представляться нашъ темный коридоръ съ безчисленнымъ множествомъ дверей, шкаповъ, корзинъ, ушатовъ, корытъ, приставленныхъ къ стѣнѣ, и мнѣ становится жутко. Я знаю, что ночью эти корыта, стоящія у стѣнъ, похожи на крыши дѣтскихъ гробовъ, которые такъ часто пугали меня въ этой тьмѣ; я знаю, что единственный фонарь, тускло горящій въ концѣ коридора, отбрасываетъ такія длинныя тѣни отъ предметовъ, что я самъ однажды испугался, увидавъ свою гигантскую тѣнь, легшую во всю длину коридора...

Но вдругъ мои грёзы прерываются: къ намъ въ двери ломится чья-то сильная рука. Я въ ужасѣ, дрожа, какъ въ лихорадкѣ, вскакиваю съ теплой постели на холодный полъ.

— Мамочка, мамочка, это разбойники! — кричу я, бросаясь къ матери.

— Полно, полно, дитя!—взволнованная говоритъ мать и тревожно направляется къ дверямъ: — это Антонъ Прохоровичъ ошибся дверями...

— Отворяй, Машка, отворяй!—кричитъ, между тѣмъ, у дверей хриплый и густой басъ.

Двери трещали подъ ударами кулаковъ, точно кто-то колотилъ по дереву молотомъ:

— Вы не въ ту дверь стучитесь; пройдите дальше,— громко говоритъ матушка изъ-за дверей.

— Отворяй, негодная! Двери выломаю!—бушуетъ пьяный басъ въ коридорѣ. — Опять любовниковъ напустила съ Настасьей.

Двери снова трещатъ подъ напоромъ сильныхъ рукъ. Матушка начинаетъ волноваться не на шутку, но старается овладѣть собою и уговариваетъ меня не плакать.

— Поймите вы, что ваши двери дальше. Здѣсь живетъ Иванъ Андреевичъ Порѣченскій,—кричала матушка; въ ея голосѣ слышно что-то въ родѣ безпомощнаго отчаянія. — Вы рядомъ, слышите, вы рядомъ живете!

Кулаки перестаютъ барабанить въ дверь.

— Черти!—бормочетъ за дверями притихнувшій басъ.— Черти!... Ну, извините... Барыня тоже важная... Обезпокоилъ!...

— Иди спать,—говоритъ мнѣ матушка.

Я ухожу, ложусь, кутаюсь въ одѣяло, чтобы согрѣться, и слышу, какъ матушка наливаетъ въ стаканъ воды, пьетъ и снова принимается за работу, слегка покашливая. Но мое вниманіе все устремлено на коридоръ. Я слышу, что умолкнувшій сосѣдъ все еще шарашится у нашихъ дверей. Черезъ минуту, онъ вдругъ начинаетъ быстро и твердо шагать, какъ обыкновенно пьяные, постоявъ гдѣ-нибудь у стѣны. Еще минута, и въ коридорѣ раздается глухой шумъ отъ упавшаго человѣческаго тѣла. Меня бьетъ лихорадка; мнѣ кажется, что сосѣдъ упалъ и убился о каменныя плиты коридорнаго пола. Я рисую въ своемъ воображеніи этотъ обезображенный трупъ, посинѣвшій, съ выкатившимися и остановившимися глазами. Но нѣтъ, онъ не умеръ.

— Машка!.. Жена, женна, рракалья!—гремитъ въ коридорѣ.

Тамъ начинается возня. Хлопаютъ сосѣднія двери, шлепаютъ стоптанные башмаки, слышатся увѣщанія. Боже мой, какъ ясенъ, какъ отчетливъ каждый звукъ, каждый шорохъ въ этомъ ночномъ затишьи!

— Антонъ Прохоровичъ, вставайте!.. Вѣдь я васъ не могу поднять... Вы тяжелый,—молитъ чей-то женскій, немного сиплый голосъ.

Слыша этотъ голосъ, вы непремѣнно бы сказали: «эта женщина пьетъ».

— А, мужъ тяжелъ!.. Мужъ тяжелъ!—слышатся басовые звуки.—Кто же тебѣ легокъ?.. А? Кто тебѣ легокъ? Говори, рракалья!..

Кого-то тащатъ, кто-то ругается, кто-то плачетъ; опять затворяются сосѣднія двери; въ коридорѣ все утихаетъ, но въ сосѣдней квартирѣ начинается возня. Звуки доходятъ до меня уже глухо, смутно; ихъ трудно различить:—это не то слезы, не то брань. Но вотъ внезапно раздается страшный ударъ, точно кто-нибудь кинулъ что-то тяжелое. Затѣмъ быстро щелкаютъ и захлапываются двери, и опять въ коридорѣ слышится плачъ—это хватающій за сердце, неудержимый дѣтскій плачъ... Какъ тяжело спится мнѣ, какія страшныя грёзы смущаютъ мой сонъ!

Нѣтъ, не позабудутся эти ночи. Ихъ страшные призраки, какъ живые, встаютъ передо мною все снова и снова и проводятъ меня до могилы. Если въ моей жизни выдастся вполнѣ яркій, сверкающій весельемъ и радостью день, то они поднимутся передо мною и напомнятъ мнѣ, что поздно пировать подъ старость тому, кто такъ скорбно провелъ праздникъ жизни, - годы дѣтства.

V.

Въ одну изъ такихъ ночей, когда все утихло, когда я уже сталъ засыпать, моя мать услыхала, что кто-то шевелится у нашихъ дверей. Она взяла свѣчу и отворила дверь. У самой двери, въ уголкѣ, сидѣли два мальчугана,—одинъ лѣтъ пяти, другой лѣтъ восьми. Они были въ однѣхъ нижнихъ разодранныхъ рубашонкахъ, босые, съ всклокоченными со сна курчавыми волосами. Они сидѣли, плотно прижавшись другъ къ другу, на каменномъ холодномъ полу, и одинъ изъ нихъ неслышно, беззвучно плакалъ.

— Дѣти, что съ вами? спросила матушка, наклоняясь къ нимъ и озаривъ ихъ свѣтомъ сальной свѣчи.

Ее поразилъ видъ ихъ худого, грязнаго тѣла, просвѣчивавшагося сквозь дыры и лохмотья грубыхъ рубашекъ.

— Пап-ка... мать... бьетъ, — прерывающимся голосомъ проговорилъ младшій, бѣлокурый мальчуганъ сквозь слезы.— Убить... насъ... хоцетъ!

Старшій братъ, черноволосый, смуглый, какъ кочегаръ, молчалъ и угрюмо исподлобья косился на матушку. У нея навернулись на глаза слезы.

— Войдите къ намъ, вамъ здѣсь холодно,—сказала матушка и ввела дѣтей въ нашу квартиру.

Они вошли робкими шагами, дико осматривая исподлобья нашу переднюю; повидимому, ихъ изумляли, какъ предметы

недосягаемой роскоши, наши потемнѣвшіе стулья, столы и тому подобныя вещи.

— Вы спать хотите? Уложить васъ?—спросила матушка.

Дѣти хмуро молчали,—младшій, безпомощно и робко понуривъ голову,—старшій, косясь куда-то въ сторону. Они не плакали, но были угрюмы. Матушка и они стояли безмолвно другъ противъ друга.

— Что же? Пойдемте, я васъ уложу...

Матушка сдѣлала шагъ впередъ. Дѣти не трогались съ мѣста и сосредоточенно смотрѣли теперь на какой-то бросившійся имъ въ глаза предметъ.

— Вы не бойтесь,—сказала матушка, видя, что они не рѣшаются идти за нею въ комнату.

Она взяла за руку младшаго брата. Старшій не двигался съ мѣста.

Но она еще не успѣла сдѣлать нѣсколькихъ шаговъ, какъ бѣлокуренькій мальчикъ вдругъ зарыдалъ.

— Что съ тобой? — съ удивленіемъ спросила матушка, наклоняясь къ нему.

— Хьѣбъ .. хьѣбъ... вонъ тамъ! — вырвалось изъ груди малютки восклицаніе.

— Вы голодны?—спросила матушка и поспѣшно подошла къ столу, на которомъ лежалъ на одной изъ тарелокъ, внесенныхъ изъ кухни, кусокъ хлѣба, приковавшій вниманіе дѣтей.

Дѣти съ жадностью набросились на хлѣбъ. Они глотали его большими кусками, на которые въ изобиліи падали еще не утихнувшія слезы бѣлокуренькаго мальчугана. Матушка начала рыться въ шкапу, достала еще чего-то изъ съѣстного и дала дѣтямъ. Они ѣли молча. Матушка задумчиво глядѣла на нихъ.

Тяжелыя думы шевелились въ ея головѣ.

Матушка постлала постель для дѣтей и уложила ихъ спать. Не успѣли они уснуть, когда матушка услышала, что двери сосѣдней квартиры отворились, и въ коридорѣ раздался сиплый женскій голосъ:

— Васька, Митька, гдѣ вы?

Матушка вышла въ коридоръ. Тамъ стояла мать этихъ дѣтей, Марья Никитишна Степанова. Это была высокая, дюжая, но худая женщина въ неряшливой оборванной блузѣ съ подбитымъ лицомъ, съ растрепанными волосами, матовыми отъ грязи и пыли.

— Ваши дѣти у меня,—сказала ей матушка.

— Это что еще за новости? Съ чего вы чужихъ дѣтей заводить къ себѣ вздумали? накинулась на матушку Марья Никитишна. Вывѣдать, что ли, хотите, что у насъ дѣлается? Въ чужое дѣло нечего носъ совать!

Матушка не отвѣтила на обвиненіе.

— Они озябли въ коридорѣ,—промолвила она.— Они не одѣты, а здѣсь дуетъ, и полъ каменный.

— Они озябнутъ, они и согрѣются, — отвѣтила злобно Марья Никитишна.—Они вѣдь не барченки, какъ ваше золото. Не вы ихъ рожали, такъ не вамъ о нихъ и заботиться.

— Мнѣ было жаль, что они могутъ захворать!

— Вамъ, что ли, лѣчить ихъ придется? Жалостливы вы больно! Сдохли бы они, бѣсенята, такъ легче бы было... Гоните ихъ домой!

— Они спятъ.

— Спятъ, такъ разбудить можно.

— Оставьте ихъ у насъ до утра.

— Да что вы въ самомъ дѣлѣ? Дѣтей у матери отбивать вздумали!—крикнула Марья Никитишна. Не было печали, такъ черти накачали! Мало, что мужъ убиваетъ, такъ еще чужіе въ семейныя дѣла мѣшаются. Небось, вы свое-то золото не отдали бы къ намъ ночевать. Бѣлоручку ростите. И сами-то вонъ расфуфырились, такъ барыней и смотрите.

Матушка вздохнула.

— Вы знаете, что я тоже работой живу, — тихо замѣтила она.

— Работой живете, работой живете!—съ наглымъ смѣхомъ воскликнула Марья Никитишна. — Шитьемъ-то занимаетесь? Экая невидаль! Эка работа! Нѣтъ, вы, какъ я, у корыта цѣлый день постойте; вы вонъ въ этакій морозъ на плоту подрогните... Вотъ работа. У меня вонъ руки полопались.

Матушка молчала.

— Гоните дѣтей, нечего разговаривать! — проговорила Марья Никитишна.—Мать мучается, мать изъ синяковъ не выходитъ, а они барничать будутъ!.. Гоните ихъ...

Матушка видѣла, что уговорить Марью Никитишну нѣтъ возможности, что эта женщина хмельна, и разбудила дѣтей.

— Поганые, по чужимъ угламъ шляться вздумали,— встрѣтила ихъ Марья Никитишна и дала имъ по тумаку.

— За что же вы ихъ бьете?—сострадательно вмѣшалась матушка.—Развѣ они виноваты, что вы несчастливы?

— Да вамъ-то какое дѣло до нихъ? Я мать, хочу—бью, хочу—милую! Туда же, объ моемъ несчастьи толковать вздумала! Взяла мужа колпака подъ башмакъ, да надъ другими и издѣвается! Сволочь этакая, право сволочь!

Матушка тихо удалилась отъ полупьяной женщины. Вслѣдъ ей понеслись слова отборной брани и послышались крики дѣтей.

— Мамка дуля... чего делешься? Вотъ ужо тебя самое папка-то...

Матушка вошла въ комнату, но не принялась за шитье, а, загасивъ свѣчу, стала тихо и задумчиво ходить по комнатѣ, озаренной слабымъ и кроткимъ свѣтомъ лампады. Отъ времени до времени я слышалъ, какъ она шептала:

— Бѣдныя, бѣдныя дѣти! Бѣдные люди!

VI.

На другой день послѣ этой ночной сцены матушка, по обыкновенію, встрѣтилась въ кухнѣ съ старшей дочерью Степановыхъ, Настей. Это была семнадцатилѣтняя дѣвушка съ большими, добрыми голубыми глазами, съ темно-русыми волосами, съ прозрачнымъ и нѣжнымъ румянцемъ на щекахъ. Брови дугою, правильно очерченный ротъ, небольшой тонкій носъ, нѣжность кожи,—все было въ ней прекрасно, и трудно было повѣрить, что это милое созданіе съ умнымъ и добрымъ лицомъ родилось, выросло и живетъ среди грязи и нищеты. Дѣвушка застѣнчиво поклонилась моей матери и вся зарумянилась. Матушка привѣтливо протянула ей руку

— Не сердитесь, пожалуйста, что вчерась мать у васъ нашумѣла,—пробормотала Настя, краснѣя еще болѣе.—Она у насъ всегда не въ своемъ видѣ такая безобразная!

Глаза у дѣвушки задернулись слезами.

— Я не сержусь,—отвѣтила матушка. — Что ваши маленькіе—не простудились?

— Что намъ дѣлается! Цыганская жизнь! — вздохнула Настя.

— Отчего вы рѣдко заходите ко мнѣ?—спросила матушка.

— Совѣстно... Видите, какая я лохмотница.

— Я не по платью принимаю...

— Я знаю; да самой себя совѣстно,—отвѣтила Настя.— Кажется, на глаза бы людямъ не показывалась; вѣдь хуже нищей,—руки есть, а на тѣлѣ порядочнаго платьишка нѣтъ.

— Приходите, тамъ потолкуемъ, авось удастся что-нибудь заработать.

— Гдѣ ужъ! Асиды-то все пропьютъ...

— Уладимъ какъ-нибудь.

Настя обѣщала придти. Дѣйствительно, дня черезъ два она зашла къ намъ. На ней было старое ситцевое платье, стоптанные башмаки, на шеѣ былъ накинутъ полинялый клѣтчатый платокъ, но ея ослѣпительная красота заставляла забыть ея нарядъ. Можно даже сказать, что она поражала еще болѣе при этомъ нарядѣ. Матушка встрѣтила ее радушно, поговорила о ея житьѣ-бытьѣ, предложила ей работу. По словамъ Насти, въ ихъ семьѣ былъ адъ кромѣшный; кромѣ носильнаго платья у нихъ не было ничего; каждая тряпка пропивалась.

— Отецъ, какъ получитъ свои шестнадцать рублей, такъ сейчасъ въ кабакъ, говорила Настя.—«На эти деньги, говоритъ, семью не прокормишь, такъ пусть же и добываетъ сама себѣ хлѣбъ». Придетъ домой, ну, мать и начнетъ попрекать его, а онъ ее бить. «Ты, говоритъ, съ любовниками шашни заводишь!» Извѣстно, мы изъ солдатъ: мало ли, что было, когда маменька съ отцомъ въ казармахъ жили? А теперь кому она нужна? Видѣли вы? — смотрѣть страшно! Вся избита, изъ синяковъ не выходитъ, въ чемъ душа держится. А тоже она цѣлый день у корыта, цѣлый день съ бѣльемъ возится. На плоту теперь это зимой дрогнетъ. Это рематизъ у нея, кости вотъ всѣ ноютъ, кожа полопалась на рукахъ. Ну, и горько ей, тоже иногда съ холоду забѣжитъ выпить, а то и забыться хочется... Вѣдь мы не господа, никакой у насъ компаніи нѣтъ. Отецъ, можетъ-быть, и теперь солдатомъ бы былъ, если бы его за высокій ростъ не взяли сюда на службу. Маменька не можетъ понимать, что ей, по ея теперешнему званію, стыдно по кабакамъ ходить. Да и бѣдность-то насъ одолѣла... Я шью—да много ли добудешь иглой и гдѣ взять работы? Никто такой-то, какъ я, не даетъ. У насъ грязь, сама я оборвана... А тоже дѣтей кормить надо... Какое тутъ шитье? И вѣдь не приберетъ же ихъ Богъ! Вѣдь тоже ужъ они ли не бьются, ужъ они ли не голодаютъ, а нѣтъ,—все живутъ. Я ужъ и не знаю, что это за желѣзный народъ! Въ наказаніе это Богъ посылаетъ людямъ, что ли—я ужъ и не придумаю. Ужъ будто нѣтъ грѣшнѣе насъ людей, что намъ хуже всѣхъ надо жить!

Воспоминанія о горькой жизни взволновали Настю. Она склонила на грудь голову и задумалась.

— Либо я надъ собой что-нибудь сдѣлаю, либо уйду, куда

глаза глядятъ!—воскликнула она черезъ минуту. — Силъ у меня больше нѣтъ эту жизнь выносить! Да я думаю, на каторгѣ люди лучше живутъ, ихъ хоть кормятъ-то всякій день. А тутъ и голодъ-то, и бьютъ-то тебя...

— Вы бы на мѣсто пошли,—посовѣтовала матушка, перерывая ее.

Матушкѣ было невыносимо слушать эти горькія рѣчи.

— На мѣсто? Безъ паспорта-то? Кто меня возьметъ? Отецъ не даетъ паспорта-то. Я ужъ говорила—избилъ. «Ты, говоритъ, вѣрно, любовниковъ хочешь на сторонѣ завести. По матери пошла. У васъ однѣ шашни...»

— У начальства можно бы похлопотать о паспортѣ,— снова перебила ее матушка.

— Похлопотать? Да вѣдь отцу же скажутъ. Ну, опять изобьетъ. Что имъ до меня за дѣло, начальникамъ-то? Станутъ они со всякой дрянью возиться!

Матушка опустила голову: она понимала, что Настя права.

— Ходите ко мнѣ шить въ свободное время — сказала матушка.—Все-таки хоть что-нибудь заработаете.

Настя поблагодарила матушку, и съ этого дня чаще стала появляться въ нашей квартирѣ, помогая матушкѣ шить. Иногда, разсказывая о своей семейной жизни, о пьянствѣ отца и матери, о вѣчныхъ дракахъ, о нищетѣ и голодѣ, о наготѣ маленькихъ братишекъ, Настя впадала въ тяжелое отчаянье. «Наложить на себя руки»—было единственнымъ выходомъ, который ясно представлялся ея воображенію. Другого пути къ спасенію, другого будущаго она не видѣла и не могла видѣть. Покуда будутъ живы отецъ и мать, думала она, до тѣхъ поръ ничто не можетъ измѣниться: ее не отпустятъ изъ дому, а дома лучшей доли не будетъ. Ей даже не приходила въ голову мысль о замужествѣ, такъ какъ знакомыхъ у нихъ не было, да и кто бы взялъ за себя дѣвушку изъ подобной семьи?

— Хоть бы Богъ прибралъ ихъ поскорѣе! — восклицала иногда она,—хоть руки бы развязали!

Она такъ же искренно и откровенно высказывала это, какъ высказывала мысль о самоубійствѣ. Въ такія минуты мрачнаго отчаянья матушка не старалась утѣшать несчастную дѣвушку пустыми словами и молчала или перемѣняла разговоръ.

Но иногда на Настю находило другое настроеніе:—обсидится она, бывало, въ нашей мирной семьѣ, ободрятъ ее

ласковыя рѣчи матушки, пригрѣетъ лѣтнее солнце, и она вся раскраснѣется, просвѣтлѣетъ: на лицѣ блуждаетъ какая-то дѣтская улыбка, глаза свѣтятся, и, смотришь, Настя уже мурлыкаетъ какую-нибудь пѣсню.

Мнѣ до сихъ поръ памятна одна сцена, когда Настя была въ такомъ настроеніи. Время было послѣобѣденное, праздничное. На дворѣ стояла теплая и сухая осень. Заходящее солнце бросало въ нашу комнату послѣдніе яркіе лучи и золотило все, начиная съ простой мебели и кончая свѣженькимъ лицомъ молодой дѣвушки. Наши окна были открыты. Съ улицы доносились шумъ экипажей, говоръ проходящаго народа, крики играющихъ дѣтей нашего дома, звуки шарманокъ. Настя сидѣла у окна и, дошивая какую-то вещь, тихо мурлыкала пѣсню. Сначала звуки пѣсни были веселые, беззаботные, потомъ, мало-по-малу, они начали дѣлаться все грустнѣе и грустнѣе и, наконецъ, перешли въ какіе-то тоскливые не то вздохи, не то стоны и постепенно смолкли. Слушая за стѣной это пѣніе, можно было подумать, что пѣвица, выплакавъ въ этой пѣснѣ все свое гнетущее горе, тихо заснула сномъ усталости. Матушка, какъ бы пораженная наступившей гробовой тишиной, взглянула на Настю. Настя не шила. Облокотившись на подоконникъ и опустивъ на ладонь голову, она задумчиво смотрѣла въ окно.

— А вѣдь это все господа на острова ѣдутъ, — проговорила она, не поворачивая головы и какъ бы почувствовавъ взглядъ матушки.—Я думаю, весело тамъ, на островахъ-то?.. Господи, если-бъ хоть годикъ, хоть мѣсяцъ такъ пожить!

— Какъ?—спросила матушка.

— А вотъ какъ другіе живутъ, — отвѣтила Настя, все попрежнему не поворачивая головы и оставаясь въ томъ же положеніи задумчивости.—Куда задумала—поѣхала, спать легла—о завтрашнемъ днѣ не думаешь, что захотѣла — купила. Никто съ тебя отчета не потребуетъ; никто тебя пальцемъ не тронетъ; ни на кого тебѣ смотрѣть не стыдно; никому ты не завидуешь.

— Всѣмъ, Настенька, нельзя такъ жить, — вздохнула матушка.—Однимъ жизнь—наслажденье; другимъ—тяжелое испытаніе.

Настя вдругъ обернулась къ матушкѣ.

— А знаете что, Дарья Семеновна?—быстро заговорила она. — Я бы все, все отдала, чтобы такъ пожить!

Матушка вздрогнула, услышавъ страстный и порывистый

тонъ этихъ словъ, увидѣвъ мгновенно вспыхнувшіе глаза и щеки дѣвушки, и тихо промолвила:

— Полноте, Настенька, вѣдь вамъ и отдавать-то нечего. Всѣ блага жизни золотомъ покупаются.

Огонь въ глазахъ Насти быстро потухъ, ея щеки стали блѣднѣе, и она, склонивъ голову, почти съ укоризной прошептала:

— Вотъ вы какія, Дарья Семеновна, и помечтать-то не дадите!

Въ комнатѣ воцарилось молчаніе. Настя безмолвно шила, низко наклонивъ голову къ работѣ.

— Оно, правда,—начала она черезъ нѣсколько минутъ болѣе спокойнымъ тономъ:—намъ, бѣднякамъ, и отдать-то нечего, чтобъ такую жизнь купить. Только не знаю я, какъ это вы можете въ такой каторгѣ жить и покорствовать.

— Въ какой каторгѣ?

Матушка подняла голову и съ изумленіемъ взглянула на Настю.

— Да въ такой,—сегодня шить, завтра шить, послѣзавтра шить, до гробовой доски шить! Да для чего? Для того, чтобы такъ отъ этого самаго шитья и въ гробъ лечь.

Матушка опустила на колѣни работу и не вдругъ нашлась, что отвѣтить.

— У меня сынъ. Я для него тружусь,—отвѣтила она, наконецъ.

— Да?... Ну, конечно, вы добрая мать,—согласилась Настя.—Онъ у васъ счастливый,—не то, что мы... А вотъ, я все думала, для чего я это работаю, и не придумала. Объясните мнѣ это.

Настя тоже отложила работу и вопросительно взглянула на матушку своими большими, глубокими глазами. Въ нихъ снова сверкалъ какой-то огонекъ. Матушка опять не вдругъ нашлась, что отвѣчать.

— Ни радости мнѣ нѣтъ отъ работы, ни покоя, ни уваженья,—продолжала Настя.—Шьешь,—руки исколешь, грудь изсушишь, а что толку? Почти безъ платья ходишь, ѣшь впроголодь, всѣ надъ тобой чуть не въ глаза смѣются...

— Вы семью поддерживаете,—едва слышно замѣтила матушка.

— Чего вы выдумали!—горячо перебила Настя.—Семья и безъ меня жила. Я что выработаю, то, почитай, и съѣмъ. А если что и останется, такъ и безъ этого семья не стала бы бѣднѣе. Это что говорить! Это пустое!

— Ну, положимъ, что и такъ,—согласилась немного смущенная матушка:—ну, просто для того работаете, чтобы жить и...

— Жить? да для чего она, жизнь-то? Чтобы шить?—засмѣялась Настя какимъ-то тяжелымъ смѣхомъ.

— Ахъ, Боже мой! совсѣмъ растерялась матушка и развела руками.—Ну, будете жить,—замужъ выйдете...

— А потомъ для сына шить буду?—снова засмѣялась Настя, перебивая матушку.—Вотъ и придумали! Ха-ха-ха, Это-то и одна я придумала.

Матушка встала и въ волненіи заходила по комнатѣ. Настя продолжала смѣяться.

— Вы, Настенька, не знаете, что значитъ быть матерью,—заговорила въ волненіи матушка и, остановившись посреди комнаты, обняла меня.—Вы не знаете, какое наслажденіе работать напролетъ дни и ночи для своего ребенка, для того, чтобы онъ былъ веселъ, здоровъ, счастливъ, чтобы онъ выросъ большимъ, умнымъ, образованнымъ, чтобы онъ могъ жить лучше, богаче насъ...

Матушка остановилась: ее началъ душить кашель. Настя уже давно перестала смѣяться. Она задумчиво, грустно смотрѣла на разгорѣвшееся болѣзненнымъ румянцемъ лицо матушки.

— Дарья Семеновна, у васъ добрая была мать?—спросила черезъ минуту дѣвушка какимъ-то страннымъ тономъ.

— Да,—отвѣтила матушка.

— Она изъ богатыхъ была?

— Нѣтъ.

— Тоже работой жила?

— Да. А что?—съ недоумѣніемъ спросила матушка.

— Нѣтъ... Это я такъ спросила,—вздохнула Настя и тихо наклонилась къ работѣ.

Матушка посмотрѣла на поблѣднѣвшее личико дѣвушки, задумалась, потомъ нервно и горячо поцѣловала меня въ голову, сѣла и принялась за шитье. Отъ времени до времени она украдкой поглядывала на Настю. Дѣвушка шила молча, не поднимая ни головы, ни глазъ, но матушка замѣтила, что изрѣдка съ ея лица падали на работу одинокія, крупныя слезы.

— Что съ вами, Настенька?—спросила матушка.

— Ничего... вы не глядите на меня,—отвѣтила Настя.—Такъ, съ дуру, взгрустнулось что-то...

— Не безъ причины же?

— Да извѣстно, у меня одна причина: жизнь тяжела,— отвѣтила Настя.—Какъ вотъ подумаешь, что вы для сына по цѣлымъ днямъ шьете, ваша мать для вашего счастья работала, можетъ-быть, и ея мать для нея трудилась,— такъ бросила бы все и бѣжала бы, куда глаза глядятъ, безъ оглядки.

Обѣ женщины замолчали: въ комнатѣ снова воцарилась унылая, мертвая тишина, посреди которой слышалось только частое пощелкиванье иголки да шуршанье полотна. Поздно вечеромъ матушка говорила моему отцу:

— Боюсь я за бѣдную Настю... погибнетъ она...

VII.

И вотъ опять мнѣ вспоминается ночь,—не тихая, не мирная, не тоскливая, но полная шума и разгула забубенной толпы голодныхъ бѣдняковъ, вздумавшихъ развернуться хотя разъ во всю ширь своей необузданной натуры. Это рождественская ночь; она не одна, этихъ ночей нѣсколько, но всѣ онѣ сливаются въ моей памяти въ одно разомъ гудящее, какъ сотни голосовъ на сходкѣ, безобразное цѣлое.

Уже за нѣсколько недѣль въ нашемъ домѣ чуялось приближеніе Рождества и не потому только, что во всемъ домѣ пахло постнымъ масломъ, гнилой треской, кислой капустой, горохомъ. Нѣтъ, болѣе существенные признаки говорили о приближеніи Рождества.

Въ теченіе всего поста по всѣмъ углахъ коридоровъ, по всѣмъ подоконникамъ, на площадкахъ лѣстницъ, размѣщались группы оборванныхъ и замаранныхъ ребятишекъ и оглашали домъ за душу тянущими звуками:

— Ро-жде-ство тво-е, Хри-сте Бо-же нашъ,—мѣрно и словно по складамъ выводитъ въ одномъ углу группа двѣнадцати-и четырнадцатилѣтнихъ хриплыхъ басовъ, уже искусившихся во всѣхъ сладостяхъ и мерзостяхъ жизни и готовыхъ дать отпоръ каждому встрѣчному.

— Волстви-же со звѣздою путешествуютъ,—заливаются плясовымъ мотивомъ въ другомъ углу семилѣтніе картавые дисканты.

— Да замолчите ли вы, черти проклятые!—раздается изъ какой-нибудь внезапно отворившейся двери заспанный и сердитый голосъ.—И ночью-то отъ васъ, окаянныхъ, покою нѣтъ!

Дверь съ трескомъ захлопывается. Дисканты разбѣгаются, какъ вспугнутые зайцы.

— Самъ старый чортъ, — раздается со стороны басовъ.— Коридоръ-то откупилъ, что ли? Со сна, видно, ошалѣлъ!

Дисканты, слыша отпоръ старшихъ, прыскаютъ отъ смѣха, и по коридору вдругъ проносится пронзительное долгое:

— Мя-у, мя-у!

На эти звуки откликаются десятки мяукающихъ голосовъ изъ разныхъ угловъ коридоровъ. Это ободрившіеся дисканты изволятъ тѣшиться.

— Ну, чего глотки-то распустили! — кричатъ басы. — Идите лучше къ намъ пѣть.

Дисканты прекращаютъ мяуканье и присоединяются къ басамъ. Въ коридорѣ снова несется и гудитъ:

— Ро-жде-ство тво-е, Хри-сте Боже нашъ!

— Господи, да съ этимъ народомъ просто поколѣешь! Холера-то ихъ не беретъ! — бормочетъ разсерженный обитатель какой-нибудь изъ конуръ, кутаясь въ одѣяло и стараясь уснуть.

Но вотъ и праздникъ. На дворѣ еще не разсвѣло, а уже во всѣ двери стучатся десятки дѣтскихъ рукъ. Это «христославы». Это нищіе, стучащіеся за грошомъ къ сослуживцамъ своихъ домовъ. Двери не поддаются натискамъ: жильцы остаются нѣмы и глухи къ дѣтскому стуку.

— Скареды окаянные! — проносятся въ коридорѣ звуки басовъ.

Но вотъ изъ одной двери юркнула маленькая одинокая фигурка хитраго дискантика, отдѣлившагося отъ толпы «христославовъ» и успѣвшаго проскользнуть въ одну изъ квартиръ и прославить Христа.

— Васька, Васька подлецъ! — накрываютъ его свирѣпѣющіе басы. — Ты, шельмецъ, откуда?

— Я такъ... Я дяденьку Петра Никифолыча плаздлавлялъ, — съ замираніемъ сердца оправдывается плутоватый, но трусливый дискантикъ.

— Показывай, подлецъ, что дали! — кричали басы.

— У меня... у меня ничего нѣтъ, — лжетъ дискантикъ, зажимая кулакъ съ гривной.

— Врешь! А въ кулакѣ что? — кричатъ басы.

— Братцы, братцы, Порѣченскій вышелъ; дверей не успѣли затворить, — кричатъ въ толпѣ басовъ, и вся ватага бросается на приступъ къ нашимъ дверямъ.

Черезъ минуту у насъ въ комнатѣ звучитъ:

«Рождество твое, Христе Боже нашъ», — и мнѣ со сна кажется, что кого-то отпѣваютъ, кого-то хоронятъ.

Ватага получаетъ деньги, нахально смотритъ, много ли дали, и бѣжитъ въ коридоръ искать дверей, открытыхъ оплошавшею хозяйкою. Только къ одиннадцатому часу прекращается пѣніе и на подоконникахъ, на лѣстницахъ собираются группы басовъ и дискантовъ для дѣлежа добычи. Гамъ и шумъ, драка и слезы продолжаются цѣлый день. Шустрый сборщикъ, первѣйшій сорванецъ, воришка, пьяница и развратникъ, успѣвшій взять себѣ львиную часть барыша, подвергается избіенію и своими боками расплачивается за украденную часть поживы. Въ теченіе двухъ дней это четырнадцатилѣтнее enfant terrible дома ходитъ съ синяками и царапинами на дерзкомъ и нагломъ лицѣ; его сопровождаютъ крики: «жила», «жила», «воришка!»—но онъ все-таки торжествуетъ, ему всѣ завидуютъ, и каждый мечтаетъ о томъ, какъ бы на будущій годъ захватить роль сборщика въ свои руки.

Въ эти два дня родители этихъ юныхъ воровъ и нищихъ наѣдаются за весь голодный годъ, заливаютъ испорченные желудки сивухой и спятъ. Кажется, что въ домѣ вымерло все взрослое населеніе, и остались одни ребятишки, разнуздавшіеся и развернувшіеся на волѣ. Нѣкоторые изъ этого молодого поколѣнія навеселѣ.

Но первые два дня прошли, проходитъ и третій день. Снѣгъ валитъ мокрыми хлопьями, съ крышъ льетъ вода, на тротуарахъ и на мостовой рыхлая грязь и лужи. На улицѣ давно стемнѣло. У насъ уже давно готовятся ко сну, а нашъ домъ весь на ногахъ. Распахнулъ онъ настежь сотни дверей своихъ казематовъ, выпустилъ сотни своихъ заключенныхъ, подпоилъ ихъ полуголодныхъ виномъ на радостяхъ—и гудитъ, и галдитъ на тысячу ладовъ. Кругомъ бренчатъ гитары и десятирублевыя фортепіано, несется топотъ пляски, заливаются голоса пѣснями—то разгульно гремитъ «Внизъ по матушкѣ по Волгѣ», то торжественно гудитъ «Спаси Господи люди твоя и благослови достояніе Твое». Толпы замаскированныхъ людей, какъ стая бѣглецовъ изъ сумасшедшаго дома, несутся по лѣсницамъ и по коридорамъ, изъ однѣхъ дверей въ другія. Тутъ придавленные жизнью, забытые и запуганные холопы въ костюмахъ итальянскихъ бандитовъ и надменныхъ «гишпанцевъ»; тутъ вѣчно пьяные, ворующіе, что попало, не имѣющіе никакого понятія о совѣсти и чести, мелкіе мошенники въ костюмахъ пустынниковъ и капуциновъ; тутъ безграмотныя, невѣжественныя созданія въ костюмѣ докторовъ—одинъ изъ

самыхъ любимыхъ костюмовъ нашего дома. И какъ было не любить этого костюма—онъ такъ дешево стоитъ! Длинный фракъ, мятая шляпа, вязаныя бѣлыя перчатки, высокіе, сдѣланные изъ бумаги, воротнички и очки изъ картона, безъ стеколъ,—вотъ все, что составляло костюмъ доктора. Дешевле его были развѣ только костюмы колонистихи и «леймона»; первый состоялъ изъ ситцевой юбки, ночной кофты и ночного чепца, обшитыхъ пестрыми каймами изъ ситца же; второй требовалъ ночной кофты съ большими пуговицами, набитыми ватой, бѣлыхъ нижнихъ панталонъ и бумажной треугольной шляпы. Вообще изобрѣтательность нашего дома была не велика. Вся эта пестрая масса смѣшалась въ одно безобразное цѣлое; испанцы пляшутъ трепака, бандиты поютъ «Взбранной воеводѣ», «леймоны» пищатъ «среди долины ровныя», доктора чуть не кувыркаются, высоко откидывая длинныя фалды своихъ допотопныхъ фраковъ. Среди всей этой разгулявшейся массы колесомъ и кубаремъ, съ визгомъ и гамомъ снуютъ дѣти, вымазанныя сажею для изображенія трубочистовъ, вываленныя въ мукѣ для изображенія булочниковъ, украшенныя рогами и масками, сдѣланными дома изъ черной бумаги, для изображенія чертей. На нѣкоторыхъ изъ дѣтей надѣты даже настоящіе костюмы, взятые изъ табачныхъ лавочекъ,—это значитъ, что эти дѣти уже умѣютъ воровать гроши у своихъ родителей и сосѣдей или занимаются «христославленьемъ», то-есть нищенствомъ, или употребляются, какъ холопы, на побѣгушки посторонними людьми. Роскошнѣе всѣхъ костюмъ сборщика «христославовъ».

Звуки раздаются подъ нами—во второмъ этажѣ, за стѣной—у сосѣдей, вездѣ, кромѣ нашего жилища и жилища Степановыхъ. Моя семья не принимаетъ участія въ буйномъ весельи, сознавъ вполнѣ, что никакое похмелье, никакая забубенная удаль одного дня не зальютъ, не заглушатъ слезъ трехъсотъ шестидесяти четырехъ дней; семья Степановыхъ мрачно и одиноко, въ своихъ четырехъ стѣнахъ, заливала голодный желудокъ водкой въ теченіе всѣхъ трехсотъ шестидесяти четырехъ дней и уже не находитъ ничего привлекательнаго въ этомъ праздничномъ похмельи нараспашку, въ этомъ пьянствѣ огуломъ.

Несмотря на увѣщанія матери, въ эти ночи я не могъ преодолѣть любопытства и торчалъ у дверей въ коридорѣ, глядя на эту пеструю толпу замаскированныхъ. Необычайный шумъ въ нашей тюрьмѣ, звуки музыки, пѣсни, хохотъ,—

все это поражало меня, какъ нѣчто выдающееся въ однообразной жизни нашего дома.

Точно такъ же притаился я у дверей и въ тотъ вечеръ, который особенно ярко вспоминался мнѣ теперь. Время летѣло незамѣтно, и, мало-по-малу, коридоръ начиналъ пустѣть; маски плясали въ квартирахъ, сгруппировавшись тамъ, гдѣ были радушнѣе хозяева, гдѣ нашлись неутомимые музыканты-самоучки, гдѣ лилось больше водки. Наступала ночь. Я еще стоялъ у дверей, прижавшись въ уголъ, когда мимо меня мелькнули двѣ фигуры: какой-то юноша въ богатомъ костюмѣ и дѣвушка, замаскированная колонистихой. Они быстро прошли мимо меня и стали ходить въ томъ концѣ коридора, гдѣ царствовала полнѣйшая тьма; черезъ нѣсколько минутъ въ тишинѣ я услышалъ звуки горячихъ поцѣлуевъ. Я не шевелился и не выходилъ изъ засады. Прошло еще нѣсколько минутъ. Наконецъ, мимо меня снова промелькнула эта пара, и еще черезъ минуту я увидѣлъ, какъ эти же двое людей, уже надѣвъ теплую одежду, проскользнули по направленію къ подъѣзду. Въ коридорѣ все затихло. Еще то тамъ, то тутъ раздавались пѣсни и хохотъ только въ квартирахъ; я пошелъ въ комнату.

Мы уже ложились спать, когда къ намъ кто-то постучался въ дверь.

— Кто тамъ?—спросила матушка.

— Настасья у васъ?—послышался у дверей сиплый женскій голосъ.

— Нѣтъ.

— О, Господи! Ищу, ищу ее—и нигдѣ нѣтъ!—послышалось за дверями восклицаніе сиплаго женскаго голоса.

Матушка отворила дверь. Передъ нею стояла Марья Никитишна. Она была совершенно трезва и, видимо, встревожена.

— И куда она ушла? Ума не приложу,—заговорила Степанова. — Пошла на часокъ поплясать, а до сихъ поръ нѣтъ.

— Вѣрно затанцовалась гдѣ-нибудь.

— Да нигдѣ нѣтъ. Я всѣ квартиры обходила. Въ надворномъ домѣ была и тамъ нѣтъ. Смокла даже вся. Ишь распутица-то какая стоитъ. Снѣгъ такъ и валитъ. Того и гляди, что въ постель сляжешь. И вѣдь ушла-то она налегкѣ. Что у ней за салопчишко,—рѣшето! Охъ, ты, Господи, не сгубила бы себя дѣвка!

Матушка взглянула на Степанову не безъ удивленія: Степанова была не озлоблена, не ругалась, но выглядѣла

печальной и стояла въ дверяхъ, грустно подперши ладонью щеку.

— Вѣдь нашей сестрѣ недолго погибнуть-то,— говорила она въ раздумьи. — Первая-то рюмка коломъ, а вторая соколомъ, а тамъ мелкія пташечки пойдутъ.

— Но вѣдь Настя не пьетъ.

— Да развѣ одно пьянство нашу сестру губитъ? Ей семнадцатый годъ пошелъ, матушка. Сами мы по этой дорогѣ ходили -сперва-то идешь все въ гору, а потомъ, какъ покинешься подъ гору, такъ до кабака и дойдешь.

Степанова смолкла. Матушка глядѣла съ сожалѣніемъ на ея испитое, покрытое зеленовато-желтыми пятнами лицо, на которомъ теперь выражалось столько неподдѣльной, столько глубокой тревоги и горя.

Это была женщина, проторившая дорогу нищеты и мелкаго грошоваго разврата; это была женщина, прошедшая огонь и воду кабачной жизни; это была женщина, уставшая, наконецъ, работать, развратничать, пьянствовать, жить и внезапно увидавшая въ минуту отрезвленія, что ея семнадцатилѣтняя дочь, можетъ-быть, готова пойти по этой же, проторенной матерью, дорогѣ. Это не было раскаянье старой грѣшницы. Нѣтъ, это былъ ужасъ женщины, которая изнемогла подъ бременемъ своей каторжной жизни и увидала вдругъ, что на эту же жизнь идетъ ея дочь.

— Что Антонъ-то Прохоровичъ скажетъ! — вздохнула она. — Вѣдь я съ минуты на минуту его жду... Придетъ пьяный... Изобьетъ, изобьетъ, — и меня, и ее изобьетъ... Да что бить-то? Можетъ, и бить-то будетъ поздно... Пойти поискать еще...

Степанова какъ-то безнадежно покачала головой и пошла.

Матушка долго стояла въ раздумьи въ дверяхъ со свѣчой въ рукѣ и очнулась только тогда, когда ей стало холодно.

На слѣдующій день матушка хотѣла справиться у Степановыхъ о Настѣ, но Марья Никитишна была пьяна съ утра, а самой Насти не было дома.

Матушка зазвала въ наше жилище меньшого брата Насти и стала разспрашивать, пришла ли вчера его сестра.

— Пьяшья, — отвѣтилъ чумазый ребенокъ.—Мамка ее все бия и распласивала. «Ты, говолитъ, плавду скази. Я тебѣ мать». А сама, дулища, ходитъ, ходитъ по комнатѣ, да нѣтъ, нѣтъ, и дельнетъ Настасью за волосы. А Настасья сидитъ и молчитъ. «Да ты сказывай, плистаетъ мать,

плавду сказывай». «Что сказывать-то? говолитъ мамкѣ Настасья: сказывать-то нечего. Гдѣ была, тамъ меня нѣтъ». А мамка стоитъ и плачетъ. А потомъ опять за косы ее дельнула. «Лучше бы ты сдохла, говолитъ, въ утлобѣ». «Польноте тиланитъ-то меня, говолитъ Настасья. Легче мнѣ станетъ, что-и?»

— А отецъ былъ дома?—спросила матушка; слушая съ волненіемъ безсвязный разсказъ ребенка.

— Пьишелъ опосья,—отвѣтилъ мальчуганъ.—Мамку бій.

— А Настю?

— Тоже хотѣй бить. Мамка не дая. «Дѣвка, говолитъ, тлудится, тлудится, а ей и ладости нѣтъ. Длугіе веселятся, а она всегда дома, все въ четылехъ стѣнахъ».

Мальчуганъ еще долго болталъ о ночныхъ происшествіяхъ. Матушка хотя не вполнѣ поняла, что случилось съ Настей, гдѣ она была, но все-таки немного успокоилась, узнавъ, что дѣвушка не пропала безъ вѣсти и воротилась домой.

VIII.

Нѣсколько дней матушка не встрѣчалась съ Настей, хотя въ теченіе послѣднихъ двухъ лѣтъ наша семья совершенно сжилась съ этой дѣвушкой и считала ее почти своимъ членомъ. Можетъ-быть, мы очень сильно начали бы безпокоиться этимъ отсутствіемъ нашей любимицы, если бы наше вниманіе не было отвлечено другимъ болѣе серьезнымъ и близкимъ намъ обстоятельствомъ. Матушка начинала въ это время расхварываться, кашляла все сильнѣе и сильнѣе, но шила попрежнему, выходила изъ дому за работой и не показывала намъ виду, что она больна. Но, несмотря на ея молчаніе о болѣзни, я и отецъ ясно замѣчали, какъ она таетъ съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе. Насъ уже не на шутку тревожилъ ея мучительный кашель. Отецъ улыбался все жалобнѣе, суетился все болѣе и все чаще говорилъ матушкѣ о необходимости отдыха. Отвѣтъ всегда получался одинъ и тотъ же:

— А чѣмъ жить будемъ?

— Ну, какъ-нибудь пробьемся, голубчикъ, — торопливо замѣчалъ отецъ.—Какъ-нибудь вывернемся, Данечка.

— Да какъ же?—возражала матушка немного раздражительно. — Вѣдь не голодомъ же сидѣть? Съ голоду-то не только я не поправлюсь, а и Петя нашъ захвораетъ.

Отецъ начиналъ соваться во всѣ стороны, стараясь избѣгнуть матушкиныхъ взглядовъ. Онъ очень хорошо пони-

малъ, что дѣйствительно вывернуться нельзя, что голодные дни тоже не особенно поправятъ здоровье матушки. Въ душѣ старика происходила какая-то мучительная борьба, какой-то роковой переломъ. Онъ началъ понимать, что жить попрежнему невозможно, что надо найти средства къ существованію помимо одиннадцати-рублеваго жалованья, помимо работъ матушки.

— Нѣтъ, честностью, видно, у насъ не выживешь,—съ несвойственнымъ ему задоромъ говорилъ онъ, разсказывая о доходахъ нѣкоторыхъ изъ своихъ сослуживцевъ.

— Полно, Ваня, — грустно улыбалась матушка. — Ужъ, гдѣ намъ съ тобой! Себя бы мы только этимъ измучили. Сорвали бы грошъ, а на рубль намучились бы.

— Ну да, ну да, дураки мы, дураки! — суетливо замѣчалъ отецъ. — Вотъ потому и погибаемъ, потому и голодаемъ, потому и ты больна...

— Да, что ты все о моей болѣзни толкуешь? — раздражительно говорила мать. — Я здорова. Я кашляю отъ простуды; посижу денекъ, другой дома—и все пройдетъ. Вѣдь эти вѣчныя опасенія только бодрость отнимаютъ...

— Да я, Данечка, не опасаюсь, — поспѣшно перебивалъ отецъ рѣчи матушки. — Чего мнѣ опасаться? Мало ли кто можетъ простудиться? Это ничего! Мнѣ только, Данечка, досадно, что вотъ тебѣ съ кашлемъ за работой приходится ходить. А то я ничего... я ничего...

Онъ заискивающими взглядами заглядывалъ въ лицо матушки и улыбался, но такъ улыбался, что матушка потупляла съ вздохомъ глаза и вся приковывалась къ работѣ. Отецъ съеживался, отходилъ отъ нея на цыпочкахъ, словно боясь напомнить ей о своемъ присутствіи. Два, три раза послѣ подобныхъ сценъ я случайно заставалъ отца сидящимъ въ передней съ опущенной на грудь сѣдою всклокоченною головой, съ сжатыми на колѣняхъ руками, съ безсмысленнымъ неподвижнымъ взглядомъ. Эта поза навсегда врѣзалась въ мою память.

— Загубилъ, совсѣмъ загубилъ, — тихо и машинально бормоталъ онъ, не замѣчая моего присутствія.

Эту фразу я слышалъ въ послѣднее время столько разъ, что она начала меня тревожить. Я не понималъ, кто и кого загубилъ, но боялся за отца; мнѣ казалось, что онъ сходитъ съ ума. Дѣйствительно, старикъ все болѣе и болѣе походилъ на сумасшедшаго. Онъ, то сидѣлъ въ какомъ-то отупѣломъ состояніи, то суетился и потиралъ лобъ рукою, то

вдругъ дѣлался говорливымъ, стараясь развлечь матушку, а можетъ-быть, разогнать свои безрадостныя думы.

Недѣли черезъ двѣ послѣ праздниковъ матушка увидала Настю въ коридорѣ. Дѣвушка покраснѣла и потупилась, встрѣтивъ матушку. Она немного похудѣла.

— А вы все пируете,—сказала матушка, пожимая руку дѣвушки.—Пора и за работу.

Настя вся вспыхнула.

— Такъ ли люди пируютъ, Дарья Семеновна!—проговорила она.—У насъ на часъ веселья, на годъ горя!

— Ну, горе-то не отъ веселья,—замѣтила матушка.

— А кто его знаетъ, отъ чего оно; только лучше бы ужъ и совсѣмъ не было этого веселья.

— Ну, если оно вамъ надоѣло, такъ приходите работать,—улыбнулась матушка.

— Да вы на меня не сердитесь?—неожиданно и наивно спросила Настя.

— За что же?

— Гадкая я дѣвчонка,—проговорила она. — Мнѣ бы на хлѣбъ грошъ зарабатывать нужно, а меня танцовать тянетъ... Ужъ оченно мнѣ эта самая работа опостылѣла, не глядѣла бы на нее.

— А все-таки придете работать?—спросила матушка.

— Приду, приду; не для работы приду, а душу отвести приду къ вамъ. У насъ-то содомъ просто.

Вечеромъ Настя зашла къ намъ. Мы сидѣли втроемъ,—отецъ былъ дома. Онъ все чаще оставался дома, точно сторожилъ матушку.

— А я скоро переѣду на мѣсто,—замѣтила между прочимъ Настя.

— Вотъ какъ!—удивилась матушка и, пристально взглянувъ на Настю, спросила:—что же, мѣсто достали?

— Да,—нетвердо отвѣтила дѣвушка, взглянувъ въ сторону.

— Паспортъ-то, паспортъ-то какъ вы достанете?—проговорилъ отецъ. — Вѣдь батюшка-то вашъ и слышать не хотѣлъ о выдачѣ вамъ паспорта.

— Теперь мать хлопочетъ за меня,—отвѣтила Настя.

— А матушка ваша соглашается отпустить васъ?—удивилась еще болѣе мать.

— Да. Изъ-за этого изъ-за самаго у насъ теперь и идетъ баталія,—отвѣтила Настя.—Не могу я дольше терпѣть этой каторги. Кажется, если не отпустятъ, я надъ собой что-нибудь сдѣлаю.

— Ну, Настенька, отчаиваться-то не должно; отчаянье-то, Настенька, грѣхъ! -промолвилъ отецъ. -- Не сладка жизнь дома, не сладка она и въ чужихъ людяхъ.

— Вы лучше бы вотъ подождали, пожили бы покуда у меня,—замѣтила матушка. — А то, такъ вдругъ собрались. И какое мѣсто попадется...

Настя встрепенулась.

— Чего ждать-то?—быстро и страстно спросила она. — До чего я дошьюсь здѣсь? До гробовой доски?

— Мало ли до чего? — неопредѣленно замѣтила матушка. — Ужъ одно то благо, что вы независимы будете, достанете честнымъ трудомъ грошъ, никто васъ не оскорбитъ неуваженіемъ...

Матушка говорила, какъ-то нерѣшительно, какъ-то грустно, словно предчувствуя, что-то недоброе въ намѣреніи Насти и не находя въ своемъ простомъ, неразвитомъ воспитаніемъ умѣ достаточно сильныхъ доводовъ для борьбы съ этимъ намѣреніемъ.

— Полноте!—перебила ее Настя строптивымъ тономъ.— Какая тутъ воля! Отецъ бьетъ, мать бьетъ, давальцы ломаются. И что это за трудъ, когда на хлѣбъ едва достаетъ. Вы вонъ говорите объ уваженіи. Да кто насъ такихъ уважать-то станетъ? Знаю я, какъ васъ уважаютъ, — не понравится фасонъ сорочки, которую вы сшили, такъ вамъ ее въ лицо кинутъ. Въ передней васъ принимаютъ. Надъ необразованностью, надъ платьемъ вашимъ смѣются. У васъ шляпка вышла изъ моды, вамъ новой купить не на что, а люди на васъ пальцемъ показываютъ, какъ на пугало гороховое; лакеишки на васъ зубы скалятъ, «швейка пришла» докладываютъ про васъ господамъ, а сами фыркаютъ отъ смѣха. Да я лучше пропаду, чѣмъ эту муку терпѣть буду.

Матушка вся вспыхнула.

— Что вы говорите, Настя!—воскликнула она и сильно закашляла отъ волненія.

— Ай, Настенька, Настенька! — укоризненно покачалъ головою отецъ. — Вы дѣвушка такая славная, добрая — и такія рѣчи говорите! Не хорошо, право, не хорошо! Помните всегда, что самъ Богъ, самъ Спаситель нашъ терпѣлъ осмѣянія.

Настя словно замерла и сидѣла, потупивъ голову. Она раскаивалась за невольно сорвавшуюся съ ея языка предательскую фразу. Она не умѣла скрытничать и вѣчно проговаривалась. Разговоры пошли какъ-то вяло. Настя гово-

рила осторожно, боясь о чемъ-то еще разъ проговориться. Отецъ сидѣлъ печальный и думалъ тяжелую думу. Мать въ волненіи ходила по комнатѣ. Всѣмъ было не по себѣ. Когда Настя ушла отъ насъ, матушка вскользь замѣтила отцу:

— А вѣдь Настя-то уже погибла, кажется!

— Что ты, что ты, Данечка!—встрепенулся и завозился на мѣстѣ отецъ.—Какъ это можно говорить такія вещи про дѣвушку! Она еще почти ребенокъ, она и знать-то этого не можетъ...

Матушка пристально взглянула на отца.

— Она-то не знаетъ? — раздражительно спросила матушка.—Да развѣ можно не знать всѣхъ гадостей, живя въ этомъ аду? Развѣ не насмотрѣлась она съ колыбели на примѣръ матери? Вѣдь она слышала изо дня въ день, какъ отецъ-то попрекалъ ея мать. Вѣдь онъ ее заколачивалъ въ минуту пьяныхъ подозрѣній безъ всякой вины. Она не знаетъ! Да ей все это извѣстно лучше, чѣмъ мнѣ, замужней женщинѣ! Несчастное существо! Это не жизнь, это каторга. Пойми ты это!

Матушка въ волненіи ходила по комнатѣ. Ее душилъ кашель.

И чѣмъ можно ее остановить? Что можно ей возразить, когда ей тяжело жить, когда молодое сердце требуетъ жизни, радостей, веселья, любви? А мы предлагаемъ ей работу и нищету. Предлагаемъ безсонныя ночи и голодные дни...

Матушка говорила страстно и быстро; ея слова мѣшались съ кашлемъ и были какъ-то жгучи, ложились на душу какъ-то тяжело. Въ ея тонѣ слышалась иронія отчаянія.

— И хоть бы былъ одинъ примѣръ трудовой тяжелой жизни, вознагражденной чѣмъ-нибудь. А то передъ ея глазами одни примѣры бѣдняковъ, доводимыхъ работой только до преждевременной могилы. Одни спились съ кругу, надрываютъ грудь у корыта и заливаютъ горе у кабацкаго прилавка. Другіе работаютъ ночи и дни и съ работой въ рукахъ идутъ навстрѣчу смерти. Вѣдь она была права, когда говорила, что можетъ дошиться только до гробовой доски. Вѣдь я это поняла сразу. Я возражать не могла. Пойми ты, что не то страшно, что видишь, какъ человѣкъ идетъ на погибель, а то, что помочь ему не можешь. Словъ нѣтъ, словъ нѣтъ у меня, чтобы остановить ее, — вотъ, что страшно! Вѣдь и меня трудъ-то довелъ до гробовой доски.

Матушка смолкла, точно что-то въ ней оборвалось. Ея

худое, желтое лицо покрылось багровыми пятнами. Грудь вздрагивала отъ кашля и волненія.

Отецъ молча слушалъ матушку и все ниже и ниже склонялъ голову. При послѣдней фразѣ матери онъ совсѣмъ съежился, затихъ, замеръ на мѣстѣ, сжавъ руки на своихъ колѣняхъ и опустивъ на грудь свою полуплѣшивую голову. Онъ походилъ на преступника, слушающаго приговоръ. Матушка взглянула на него и остановилась: ей стало невыносимо жаль старика; она вдругъ поняла, что въ ея рѣчахъ ему послышался невыносимый, подавляющій упрекъ. Она тихо подошла къ отцу и поцѣловала его въ голову. Онъ совершенно растерялся, словилъ ея руки и беззвучно припалъ къ нимъ губами.

— Довелъ до гробовой доски, до гробовой доски! — безсознательно бормоталъ онъ, все еще находясь подъ впечатлѣніемъ послѣднихъ словъ матушки. — И не далъ ничего за это, ничего не далъ! Сегодня трудъ и голодъ, завтра трудъ и голодъ, всегда трудъ и голодъ! А счастья нѣтъ, и не жди счастья... Нѣтъ, пусть ужъ она лучше идетъ по своей дорогѣ, пусть хоть день будетъ счастлива... Что-жъ... отдохнетъ отъ труда, отъ голода, съ молодымъ другомъ отдохнетъ, будетъ чѣмъ помянуть жизнь...

— Ваня, что съ тобой?—отшатнулась матушка отъ отца и взглянула на него.

Онъ смотрѣлъ на нее мутнымъ, безсмысленнымъ взглядомъ, словно помѣшанный. О, какъ хорошо знакомъ мнѣ этотъ взглядъ! Какъ часто леденилъ онъ мою кровь!

— Я вѣдь, голубчикъ, Данечка, все знаю, все знаю, все понимаю, — шепталъ онъ. — Не умѣлъ я цѣнить тебя, запрягъ я тебя въ этотъ тяжелый хомутъ. Старый дуракъ, мало того, что связалъ тебя съ собою, такъ еще засадилъ на дни и ночи за работу, морилъ голодомъ, довелъ до чахотки, до моги...

Отецъ вдругъ остановился, сдвинулъ брови и дикимъ взглядомъ осмотрѣлъ комнату. Онъ потеръ себѣ лобъ рукою, какъ бы припоминая, что онъ говорилъ, что онъ дѣлалъ за минуту передъ тѣмъ. Матушка смотрѣла на него съ испугомъ.

— Водицы, Данечка, водицы дай!—слабо, по-дѣтски прошепталъ онъ.—Это ничего, пройдетъ, это пройдетъ.

Матушка, блѣдная и испуганная, принесла воды.

— Ты забудь, забудь, что я говорилъ,—шепталъ старикъ, глотая воду и конвульсивно улыбаясь.—Это у меня нервы, что ли, сегодня разыгрались... Это пройдетъ, это пройдетъ!

Онъ снова понурилъ голову и сложилъ на колѣняхъ руки. Матушка сѣла возлѣ него и тихо, машинально ласкала его. Прошло довольно много времени въ полнѣйшемъ молчаніи. Наконецъ, отецъ, мало-по-малу, окончательно пришелъ въ себя и, повидимому, успокоился. Онъ какъ будто постарѣлъ въ эти немногія минуты, во всемъ его существѣ проглядывало безпомощное безсиліе. Матушка, несмотря на свою обычную слабость, несмотря на свою болѣзнь, выглядѣла и сильнѣе, и бодрѣе его.

IX.

Съ этого рокового дня въ нашей семьѣ точно что-то оборвалось, точно что-то дорогое умерло. То слово, та мысль, которыхъ до сихъ поръ никто какъ-будто не сознавалъ, не высказывалъ, наконецъ, высказались и озарили зловѣщимъ пламенемъ ту пропасть, въ которой такъ долго мы хотѣли сознать призракъ честнаго спокойствія и семейнаго счастія. Теперь мы знали, что въ этой пропасти невозможно никакое спокойствіе, никакое счастье. Теперь вдругъ стало яснымъ, что съ каждымъ кускомъ хлѣба мы съѣдаемъ частицу жизни одного изъ дорогихъ намъ существъ. Отецъ ли приносилъ «курочку», объясняя матери, что то ему подарокъ сдѣлали, что ей легкое кушанье полезно,—матушка понимала, что отецъ выкланялся гдѣ-нибудь, переломилъ себя, и съ раздраженіемъ замѣчала:

— Да не заботься ты обо мнѣ! Не помру я безъ этихъ куриныхъ суповъ.

Матушка ли зарабатывала усиленнымъ трудомъ лишнюю копейку мнѣ и отцу на сапоги,—отецъ чуть не со слезами замѣчалъ:

— Голубчикъ, все-то ты для насъ, все для насъ трудишься! Пожалѣй ты себя: мы съ Петюшей и такъ походимъ. Намъ что! Мы мужчины. Здоровье-то свое, здоровьице свое ты побереги. Грудушку свою пожалѣй!

Да, мы заѣдали, мы изнашивали жизнь тѣхъ людей, которыхъ мы любили болѣе всего на свѣтѣ, болѣе своей жизни. Это мы поняли вполнѣ легко только теперь.

Страшнѣе этого сознанія не можетъ быть ничего. При этомъ сознаніи любящимъ другъ друга людямъ хочется отшатнуться, уйти другъ отъ друга или даже посягнуть на что-нибудь недоброе. Но драма приходила къ развязкѣ не въ одной нашей семьѣ, она была въ полномъ размѣрѣ и въ семьѣ Степановыхъ.

Настя уже жила не въ своей семьѣ. Она изрѣдка появлялась въ гости къ матери и къ намъ. Она теперь одѣвалась недурно, иногда носила своей матери подарки, чаще всего приносила рубашонки своимъ братьямъ. Разговоровъ съ моей матерью о своемъ мѣстѣ она старалась избѣгать и говорила о немъ неопредѣленно, краснѣя и конфузясь. Однажды вскользь она проговорилась, что, можетъ-быть, она скоро выйдетъ замужъ.

— Жениха нашла?— спросила матушка.

— Да,—отвѣтила Настя.

— Не обманитесь,—замѣтила матушка.—Ухаживателей за дѣвушками много, но не всѣ они женихи.

Настя промолчала и перемѣнила разговоръ.

Въ половинѣ Великаго поста мы были смущены необычайнымъ шумомъ въ квартирѣ Степановыхъ. Тамъ бушевалъ самъ Степановъ.

— Такъ ты вотъ какъ!—кричалъ онъ своимъ хриплымъ басомъ.— По Невскому ѣздишь? Отецъ ногъ подъ собой не чувствуетъ, а ты барыней ѣздишь! Вы заодно съ матерью. Шашни завели! Жена!.. Марья!.. ты чего смотрѣла? Говорри! Что у тебя языкъ отсохъ, что ли? А?

За стѣной послышались удары кулаковъ и крики сиплаго женскаго голоса:

— Батюшка, Антонъ Прохоровичъ, не виновата я. Богъ свидѣтель, ни въ чемъ не виновата.

— Ракалья! Разражу! Разражу!—гремѣлъ пьяный басъ.— Въ рабочій домъ васъ всѣхъ засажу. Я отецъ, отецъ! Настасья! Отецъ я? А? говори! Пеньку щипать будешь. Въ полиціи драть буду. Рракалья! Косы всѣ выдеру.

За стѣной начались стоны. Это былъ голосъ Насти.

— Господи, будетъ ли этому конецъ!—сжала съ невыносимой мукой свои руки матушка.—Ваня, сходи, ради Бога за смотрителемъ. Вѣдь онъ убьетъ Настю. Вѣдь онъ ее изуродуетъ.

Отецъ схватилъ фуражку и побѣжалъ къ смотрителю нашего дома.

— Молчи, молчи!—бушевалъ за стѣной Степановъ.— Не дыши! Въ каретахъ ѣздить! Я тебѣ покажу кареты! Я отецъ... Проклятая! Въ каретахъ!..

Мучительные стоны Насти становились все слабѣе. Матушка то приникала ухомъ къ стѣнѣ, то быстро ходила по комнатѣ, затыкая уши. Она рыдала и стискивала руки въ безпомощномъ страданіи.

Прошло полчаса томительныхъ ожиданій; наконецъ, въ коридорѣ послышались поспѣшные мужскіе шаги.

— Слава Богу, идутъ!—воскликнула матушка и приникла ухомъ къ стѣнѣ.

Черезъ минуту въ квартирѣ Степановыхъ начался шумъ многихъ голосовъ. Громче всѣхъ кричалъ Степановъ.

— Я отецъ, я убить ее могу!—бушевалъ онъ.—Кто мнѣ запретить смѣетъ? Кто? Будь она проклята! Настасья, будь ты проклята!

Затѣмъ послышалось чье-то приказанье:

— Вяжите его!

Началась возня, кто-то упалъ на полъ, кого-то потащили, послышались шаги въ коридорѣ, потомъ все стихло. Черезъ четверть часа вернулся отецъ. Онъ былъ весь въ поту, одежда его была въ безпорядкѣ.

— Отправили!—лаконически замѣтилъ онъ и напился воды.

— Что Настя!—спросила матушка.

Отецъ махнулъ рукою и промолчалъ.

— Жива она?—спросила снова матушка.

— Жива, жива! Да ты успокойся,—заговорилъ отецъ, взглянувъ на болѣзненное лицо матушки.

— Избилъ ее всю, я думаю!

Отецъ опять махнулъ рукою.

— Беременна она, кажется!—отвернувшись, пробормоталъ онъ.

Матушка всплеснула руками.

— Несчастные, несчастные люди!—вырвалось изъ ея груди восклицаніе.

Она сѣла, поникла головой на руки и затихла. Она безмолвно, горько плакала. Быть-можетъ, эти слезы были вызваны болѣе всего сознаніемъ того, что она ничѣмъ не можетъ помочь несчастной дѣвушкѣ, что она сама стоитъ на краю пропасти, могилы.

Нѣсколько дней послѣ этого событія, въ Степановской квартирѣ царствовала мертвая тишина. Самъ Степановъ сидѣлъ подъ арестомъ, Марья Никитишна переходила отъ корыта къ штофу, отъ штофа къ корыту и вечеромъ, совсѣмъ пьяная, въ безчувствіи засыпала, забывъ о существованіи дѣтей. Чѣмъ питались они въ это время, что дѣлали, какъ добывали кусокъ хлѣба—этого никто не спрашивалъ, никто не зналъ.

Не весело было и у насъ. Матушка въ это время хво-

рала все сильнѣе; нерѣдко она лежала въ постели, хотя и не переставала шить. Отецъ ходилъ, какъ въ воду опущенный; я присмирѣлъ и бросилъ книги, къ чтенію которыхъ уже началъ чувствовать нѣкоторую охоту. Теперь чтеніе не шло мнѣ на умъ, хотя я иногда по цѣлымъ часамъ сидѣлъ съ книгою въ рукахъ, но я не читалъ или не понималъ того, что я читаю. Среди этой тишины однажды снова послышались изъ квартиры Степановыхъ крики самого Антона Прохоровича и Марьи Никитишны.

— Опять началось!—вздохнула матушка.—И зачѣмъ это его выпустили изъ-подъ ареста?

Черезъ день буйство у Степановыхъ повторилось снова и начало повторяться каждый день.

— Господи, даже переѣхать-то нельзя, чтобы не слыхать этого!—стонала матушка.—Это каторга, просто каторга. Хоть бы минуту покоя!

Отецъ, понуривъ голову, молчалъ. Вдругъ настало затишье въ сосѣднемъ казематѣ. Это было въ концѣ Страстной недѣли. У Степановыхъ вдругъ все затихло: Антонъ Прохоровичъ былъ уже нѣсколько дней на службѣ, Марья Никитишна пила безъ просыпу, въ ихъ квартирѣ словно замерло.

— Ну, слава Богу, успокоились,—замѣтила матушка однажды, не слыша криковъ сосѣдей.

Я въ то время былъ въ коридорѣ и встрѣтилъ старшаго сына Степановыхъ. Онъ шелъ угрюмо и молча по коридору, сопровождаемый нашимъ тощимъ длиннымъ смотрителемъ, полицейскимъ солдатомъ и свитой мальчишекъ.

— Что съ тобой?—съ любопытствомъ спросилъ я, увидавъ его странную свиту.

— Мать умерла,—хмуро отвѣтилъ онъ, не моргнувъ глазомъ.

— Какъ умерла?—наивно удивился я.

— Извѣстно? какъ люди умираютъ: взяла, да и умерла,—отвѣтилъ онъ.

Я, подъ вліяніемъ невольнаго любопытства, пошелъ за толпой въ квартиру Степановыхъ. Передо мною предстала страшная и ужасающая картина. Квартира Степановыхъ была совершенно такая же, какъ наша, но стѣны въ ней были грязны, полъ испорченъ; въ передней, среди груды щепокъ и наструганныхъ дѣтьми палочекъ и лопаточекъ, стоялъ некрашенный березовый столъ съ суповымъ горшкомъ, двумя тарелками, нѣсколькими деревянными ложками

и обитыми чашками и двѣ скамейки; въ гостиной за исключеніемъ двухъ бѣлыхъ табуретовъ, не было никакой мебели, и только въ углахъ валялось какое-то тряпье, служившее и одеждой и ложемъ дѣтей, да на окнѣ лежала корзинка изъ-подъ бутыли для водки; въ спальной лежала сбитая и вся засаленная перина, безъ одѣяла, безъ простынь, съ двумя большими коричневыми подушками, на стѣнахъ висѣли лохмотья одежды, въ углахъ валялись какія-то разорванныя карточки и двѣ бѣльевыя корзины; все это было грязно, разодрано, сломано. Среди этой страшной обстановки на краю перины подъ старымъ салопомъ, изъ котораго выбивались клочья грязной ваты, лежалъ посинѣвшій, обезображенный трупъ Марьи Никитишны съ всклокоченными волосами. Онъ уже весь вспухъ и выглядѣлъ страшно.

— Надо подождать доктора,—сказалъ смотритель, и его слова какъ-то рѣзко и гулко отдались подъ сводами этой квартиры, лишенной мебели.

— Потрошить будутъ,—произнесъ кто-то въ толпѣ ребятишекъ.

По моему тѣлу пробѣжала дрожь. Мнѣ было какъ-то страшно слышать, что человѣка будутъ потрошить.

— Чего вы сюда набрались!—крикнулъ смотритель на ребятишекъ.

Я поспѣшилъ убраться домой, но ребятишки остались.

Я возвратился домой въ лихорадочномъ состояніи.

— Гдѣ ты былъ?—спросила матушка, удивленная моимъ долгимъ отсутствіемъ.

— Мамочка, Степанова умерла,—отвѣтилъ я.

Мать посмотрѣла на меня съ удивленіемъ, какъ бы не вѣря моимъ словамъ.

— Отъ удара, говорятъ,—пояснилъ я.

— Господи, что же будетъ съ ея дѣтьми?—вздохнула матушка.—Одни, совершенно одни остались. Это ужасно! Что они станутъ дѣлать, куда пойдутъ?

— Ну, Данечка, Богъ не безъ милости, Богъ не безъ милости,—заговорилъ отецъ.

Матушка бросила на отца какой-то мучительный взглядъ.

— Что же, манна упадетъ имъ съ неба?—какъ-то горько-иронически спросила она.

— Ну, Данечка, не то, а все же...—сконфуженно сталъ подыскивать возраженіе отецъ.

Но матушка не дала ему времени надуматься.

— Погибнутъ, погибнутъ!—какъ-то рѣшительно и твердо

пророческимъ тономъ проговорила она.—Погибнутъ на каторгѣ, въ арестантскихъ ротахъ!

Она отвернулась лицомъ къ стѣнѣ и закрыла лицо руками.

Въ квартирѣ Степановыхъ уже слышался смутный шумъ; тамъ говорили люди, тамъ отбивали гвозди, задерживающіе вторую половину входныхъ дверей, туда что-то тащили. Я не могъ побѣдить свое любопытство и снова прокрался въ коридоръ. Въ коридорѣ стояла толпа мальчишекъ.

— Ящикъ принесли. Въ полицію повезутъ.

Изъ нѣкоторыхъ дверей выглядывали лица обитателей нашего дома,— заспанныя, худыя, бездушныя, апатичныя лица. Наконецъ, двери квартиры Степановыхъ были открыты, и изъ нихъ полицейскіе солдаты потащили черный длинный ящикъ, обвязанный веревками. Его понесли на крыльцо; передъ крыльцомъ уже стояли розвальни; на нихъ поставили ящикъ; его привязали веревками и прикрыли рогожею; возлѣ ящика примостился полицейскій солдатъ. Мужикъ дернулъ вожжи, и лошадь рысцой потащилась въ путь. Начинало уже смеркаться, шелъ мелкій мокрый снѣгъ. Народъ разошелся. Дѣти возвратились къ своимъ играмъ и разсыпались по всѣмъ этажамъ нашего дома. Только у квартиры Степановыхъ, горько рыдая, сидѣлъ одинокій бѣлокурый мальчуганъ. Это былъ меньшой сынъ Марьи Никитишны.

— Иди къ намъ, — позвалъ я его, не рѣшаясь подойти къ дверямъ ихъ жилища: теперь оно мнѣ казалось страшнымъ.

Онъ, всхлипывая, подошелъ ко мнѣ.

— Ты куда?—угрюмо спросилъ его подошедшій къ намъ его старшій братъ.

— Къ тетенькѣ Дальѣ Семеновнѣ,—отвѣтилъ меньшой братишка.

— Шелъ бы спать домой,—хмуро замѣтилъ старшій братъ.

— Я боюсь!

— Какого чорта?—усмѣхнулся старшій братъ.— Я вотъ ничего сегодня не ѣлъ, такъ хоть высплюсь.

Онъ отворилъ дверь въ свою квартиру, но остановился на порогѣ: напускная, безшабашная удаль, которою видимо хотѣлъ похвастать этотъ ребенокъ, разомъ исчезла при видѣ этого пустого, темнаго жилища, гдѣ еще валялись тряпки и лохмотья одежды его умершей матери. Онъ машинально захлопнулъ двери и пошелъ по коридору.

— Куда ты?—спросилъ его меньшой братъ.

— Вонъ туда,—отвѣтилъ старшій братъ.—Тамъ, поди, еще не ужинали.

Онъ быстро пошелъ по коридору и свернулъ на черную лѣстницу.

Меньшой братишка вошелъ въ нашу квартиру. Черезъ часъ, плотно наѣвшись, онъ уже спалъ въ нашей передней.

— Видишь, Данечка, Богъ не безъ милости; кое-какъ прокормятъ ихъ добрые люди!—замѣтилъ отецъ матушкѣ.

Она ничего не отвѣтила и только вздохнула, взглянувъ куда-то въ сторону недобрыми глазами.

Съ этого дня дѣти Степанова сдѣлались чѣмъ-то въ родѣ нищихъ нашего дома. Они побирались то въ той, то въ другой семьѣ, и носились слухи, что старшій братишка уже нерѣдко прибѣгаетъ къ воровству. Но мы очень мало интересовались слухами и разсказами, занимавшими нашъ домъ,—у насъ было свое горе: моя мать уже не вставала съ постели.

X.

Настали невыносимо-тяжелые, убійственно-тоскливые дни и ночи. Въ нашей квартирѣ пахнетъ лѣкарствами; тишина сдѣлалась еще полнѣе, еще мертвеннѣе; отецъ и я ходили на цыпочкахъ, говорили шопотомъ.

— Ну, какъ тебѣ, Петя, кажется?—шепчетъ отецъ.—Она сегодня какъ будто бодрѣе выглядитъ? А?

— Ну да, ну да, дремлетъ...—соглашается отецъ торопливымъ тономъ.—Это всегда передъ выздоровленіемъ такъ бываетъ. Проснится, отдохнетъ человѣкъ,—ну, ему и станетъ лучше, станетъ онъ бодрѣе... Это, Петя, хорошій знакъ... А? вѣдь это хорошій знакъ? Ты какъ думаешь?..

Въ голосѣ отца слышится какая-то тоскливая нота нетерпѣливаго ожиданія.

— Не знаю, папа,—грустно отвѣчаю я, потерявъ всякую надежду на выздоровленіе матери:—можетъ-быть, это и хорошій знакъ...

— Да? знаешь, мы у доктора спросимъ,—говоритъ онъ.—Докторъ знаетъ, онъ скажетъ навѣрное... Мы спросимъ...

Наступаетъ снова тишина. Среди этого затишья вдругъ начинается удушливый, сухой кашель, вырывающійся изъ надорванной груди.

— Голубчикъ, дай я тебѣ головку подержу, головку подержу,—слышится голосъ отца уже въ спальнѣ. Такъ легче

пророческимъ тономъ проговорила она.—Погибнутъ на каторгѣ, въ арестантскихъ ротахъ!

Она отвернулась лицомъ къ стѣнѣ и закрыла лицо руками.

Въ квартирѣ Степановыхъ уже слышался смутный шумъ; тамъ говорили люди, тамъ отбивали гвозди, задерживающіе вторую половину входныхъ дверей, туда что-то тащили. Я не могъ побѣдить свое любопытство и снова прокрался въ коридоръ. Въ коридорѣ стояла толпа мальчишекъ.

— Ящикъ принесли. Въ полицію повезутъ.

Изъ нѣкоторыхъ дверей выглядывали лица обитателей нашего дома,—заспанныя, худыя, бездушныя, апатичныя лица. Наконецъ, двери квартиры Степановыхъ были открыты, и изъ нихъ полицейскіе солдаты потащили черный длинный ящикъ, обвязанный веревками. Его понесли на крыльцо; передъ крыльцомъ уже стояли розвальни; на нихъ поставили ящикъ; его привязали веревками и прикрыли рогожею; возлѣ ящика примостился полицейскій солдатъ. Мужикъ дернулъ вожжи, и лошадь рысцой потащилась въ путь. Начинало уже смеркаться, шелъ мелкій мокрый снѣгъ. Народъ разошелся. Дѣти возвратились къ своимъ играмъ и разсыпались по всѣмъ этажамъ нашего дома. Только у квартиры Степановыхъ, горько рыдая, сидѣлъ одинокій бѣлокурый мальчуганъ. Это былъ меньшой сынъ Марьи Никитишны.

— Иди къ намъ, — позвалъ я его, не рѣшаясь подойти къ дверямъ ихъ жилища: теперь оно мнѣ казалось страшнымъ.

Онъ, всхлипывая, подошелъ ко мнѣ.

— Ты куда?—угрюмо спросилъ его подошедшій къ намъ его старшій братъ.

— Къ тетенькѣ Дальѣ Семеновнѣ,—отвѣтилъ меньшой братишка.

— Шелъ бы спать домой,—хмуро замѣтилъ старшій братъ.

— Я боюсь!

— Какого чорта?—усмѣхнулся старшій братъ.—Я вотъ ничего сегодня не ѣлъ, такъ хоть высплюсь.

Онъ отворилъ дверь въ свою квартиру, но остановился на порогѣ: напускная, безшабашная удаль, которою видимо хотѣлъ похвастать этотъ ребенокъ, разомъ исчезла при видѣ этого пустого, темнаго жилища, гдѣ еще валялись тряпки и лохмотья одежды его умершей матери. Онъ машинально захлопнулъ двери и пошелъ по коридору.

— Куда ты?—спросилъ его меньшой братъ.

— Вонъ туда,—отвѣтилъ старшій братъ.—Тамъ, поди, еще не ужинали.

Онъ быстро пошелъ по коридору и свернулъ на черную лѣстницу.

Меньшой братишка вошелъ въ нашу квартиру. Черезъ часъ, плотно наѣвшись, онъ уже спалъ въ нашей передней.

— Видишь, Данечка, Богъ не безъ милости; кое-какъ прокормятъ ихъ добрые люди!—замѣтилъ отецъ матушкѣ.

Она ничего не отвѣтила и только вздохнула, взглянувъ куда-то въ сторону недобрыми глазами.

Съ этого дня дѣти Степанова сдѣлались чѣмъ-то въ родѣ нищихъ нашего дома. Они побирались то въ той, то въ другой семьѣ, и носились слухи, что старшій братишка уже нерѣдко прибѣгаетъ къ воровству. Но мы очень мало интересовались слухами и разсказами, занимавшими нашъ домъ,—у насъ было свое горе: моя мать уже не вставала съ постели.

X.

Настали невыносимо-тяжелые, убійственно-тоскливые дни и ночи. Въ нашей квартирѣ пахнетъ лѣкарствами; тишина сдѣлалась еще полнѣе, еще мертвеннѣе; отецъ и я ходили на цыпочкахъ, говорили шопотомъ.

— Ну, какъ тебѣ, Петя, кажется?—шепчетъ отецъ.—Она сегодня какъ будто бодрѣе выглядитъ? А?

— Ну да, ну да, дремлетъ...—соглашается отецъ торопливымъ тономъ.—Это всегда передъ выздоровленіемъ такъ бываетъ. Проснится, отдохнетъ человѣкъ,—ну, ему и станетъ лучше, станетъ онъ бодрѣе... Это, Петя, хорошій знакъ... А? вѣдь это хорошій знакъ? Ты какъ думаешь?..

Въ голосѣ отца слышится какая-то тоскливая нота нетерпѣливаго ожиданія.

— Не знаю, папа,—грустно отвѣчаю я, потерявъ всякую надежду на выздоровленіе матери:—можетъ-быть, это и хорошій знакъ...

— Да? знаешь, мы у доктора спросимъ,—говоритъ онъ.—Докторъ знаетъ, онъ скажетъ навѣрное... Мы спросимъ...

Наступаетъ снова тишина. Среди этого затишья вдругъ начинается удушливый, сухой кашель, вырывающійся изъ надорванной груди.

— Голубчикъ, дай я тебѣ головку подержу, головку подержу,—слышится голосъ отца уже въ спальнѣ. Такъ легче

будетъ, голубчикъ. Откашляйся, родная, откашляйся. Это пройдетъ, пройдетъ.

Шопотъ отца—прерывающійся, дрожащій, похожій на дѣтскій лепетъ; въ этомъ шопотѣ слышатся затаенныя слезы.

— Ты, голубчикъ, кушать не хочешь ли?.. Мы съ Петей сами для тебя стряпали. Супецъ приготовили, бульончикъ... Это подкрѣпитъ тебя... У насъ курочка варилась...

— Я, Ваня, не хочу ѣсть,—слабымъ голосомъ отвѣчаетъ мать:—ты не траться... Вѣдь теперь конецъ мѣсяца... У тебя, я думаю, денегъ нѣтъ...

— Ну, голубчикъ, ты не думай о деньгахъ. У насъ деньги есть... Мы, Даночка, богачи...

— Да какъ же не думать... Вотъ я васъ разоряю... Свою семью совсѣмъ разоряю! Хоть бы скорѣе ужъ...

— Голубчикъ, голубчикъ, да ты не думай! — торопливо перебиваетъ отецъ.—Это мнѣ... это мнѣ подарили...

Отецъ вдругъ суетливо, сконфуженно умолкаетъ и начинаетъ соваться изъ стороны въ сторону, поправляя постель. Онъ чуть-чуть не проговорился, откуда у него берутся деньги на лѣкарство, «на курочку» для больной жены. Ему совѣстно самого себя; ему совѣстно передъ нею.

— Измучила я васъ, совсѣмъ измучила!—безнадежно говоритъ больная, откидывая голову и закрывая глаза.

— Что ты, что ты, Дашенька!- восклицаетъ отецъ.—Да мы съ Петей веселы, здоровы... Намъ развѣ это трудно? Ходить-то, за тобой-то ходить развѣ намъ трудно? Вотъ погоди, выздоровѣешь поѣдемъ на дачу...

Отецъ улыбается, такъ жалко, такъ мучительно улыбается, но больная лежитъ съ закрытыми глазами и молчитъ. Черезъ минуту онъ пробирается на цыпочкахъ изъ-за перегородки и шепчетъ.

— Голубушка-то наша, мама-то наша совсѣмъ изстрадалась!

Я вздрагиваю, очнувшись отъ тяжелыхъ думъ.

Отецъ замѣчаетъ это движеніе и снова начинаетъ говорить торопливо:

— Да ты, Петя, не бойся; ты веселѣе на нее смотри, чтобы, знаешь, бодрости ей придать. Оно, знаешь, больному легче при бодрости, когда на него весело смотрятъ, не боятся, не сомнѣваются, что онъ встанетъ... Духъ это укрѣпляетъ. Да!.. Ты виду не подавай, что ты за нее трусишь... И чего трусить? Ну, больна она у насъ, очень больна,—но вѣдь это покуда ледъ ломаетъ... къ погодѣ... Да! къ

погодѣ... Мы вотъ и здоровые къ погодѣ прихварываемъ... Видишь, весна-то какая стоитъ хмурая... Вотъ ледъ тронется и пройдетъ, ну, и все кончится... Кончится, говорю я,—то-есть знаешь, ну понимаешь, поднимется она... Да ты бодрись, бодрись... Гляди молодцомъ.

Отецъ суетливо, мелкими шажками удаляется отъ меня, и я понимаю, что онъ уходилъ въ коридоръ, чтобы уткнуться въ уголъ, гдѣ-нибудь между шкапомъ и коридорной стѣной, и наплакаться вволю, тайкомъ отъ меня. Я не плачу, я точно одеревенѣлъ, я точно застылъ, но во мнѣ все ноетъ, у меня каждый суставъ наболѣлъ. Я по цѣлымъ часамъ сижу неподвижно на одномъ мѣстѣ, тупо устремивъ глаза въ какую-то темную даль; мнѣ кажется, что меня окружаетъ не дневной весенній свѣтъ, а непроглядная тьма черной осенней ночи. Я не о прошломъ вспоминаю, я не о будущемъ мечтаю, я просто безцѣльно, безсмысленно гляжу на одну точку, не слышу ничего, ни шума экипажей, ни говора народа, ни звуковъ шарманщиковъ, ни криковъ разносчиковъ, и вздрагиваю только при одномъ слабомъ, едва слышномъ голосѣ моей матери. Онъ словно обжигаетъ меня.

— Ваня, Ваня,—слабо раздается въ затишьи.

Я бѣгу за отцомъ въ коридоръ, но онъ уже спѣшитъ мнѣ навстрѣчу; старикъ, кажется, также дошелъ до изумительной чуткости относительно этого голоса.

— Иду, иду!—шепчетъ онъ на ходу и, торопливо утирая глаза, бѣжитъ неслышными шагами въ комнату матери, съ улыбочкой на лицѣ, съ красными глазами.

— Мнѣ худо, Ваня!—шепчетъ матушка.

Я весь превращаюсь въ слухъ.

— Сейчасъ, голубчикъ, сейчасъ докторъ будетъ,—лепечетъ отецъ.—Не поправить ли подушечки? А?

— Нѣтъ, Ваня, — съ усиліемъ произноситъ больная. — Священника...

Я вздрагиваю и удерживаю дыханіе.

— Милочка, голубчикъ, что... что съ тобой?—растерянно говоритъ отецъ и начинаетъ соваться около постели.

— Пріобщиться,—слабо говоритъ больная и откидываетъ въ изнеможеніи голову на бокъ.

— Сейчасъ... сейчасъ... Я Петю... Петя пойдетъ... Я самъ...

Отецъ уже не сознаетъ, что онъ говоритъ, и все суетится около постели, обдергивая и поправляя простыни.

— Нѣтъ, кого-нибудь... посторонняго кого-нибудь пошли,—

прерывающимся голосомъ говоритъ мать.—Умереть... Умереть... боюсь... безъ васъ...

— Что ты, что ты, Дашенька!.. Данечка, голубчикъ!.. Что ты!.. Сейчасъ... сейчасъ.

Отецъ бросается стремглавъ изъ спальни въ коридоръ. Въ коридорѣ галдитъ толпа мальчишекъ.

— Скорѣе, родной, скорѣе... Священника!—захлебываясь слезами, говоритъ отецъ, схвативъ за руку кого-то изъ мальчугановъ.—Умираетъ... Скажи, пріобщиться хотятъ... Отца Василья... Скорѣе... Вотъ на извозчика...

Отецъ началъ рыться въ карманахъ. Мальчуганъ, пойманный имъ, былъ старшій сынъ Степановыхъ; этотъ десятилѣтній бука стоялъ, по обыкновенію молча и насупивъ брови, — и ожидалъ денегъ. Онъ искоса посматривалъ на моего отца и, повидимому, удивлялся, съ чего такъ сильно волнуется этотъ старикъ. Отецъ нашелъ мелкія деньги.

— Дяденька, дяденька, я схожу за отцомъ Васильемъ!— раздались голоса мальчишекъ при видѣ денегъ.

Степановъ молча сжалъ руку въ кулакъ и съ мрачнымъ видомъ показалъ его толпѣ ребятишекъ: другая рука мальчугана была протянута за деньгами.

— Скорѣе, скорѣе, родной! — торопилъ его отецъ. — О, Господи, Господи!

Черезъ мгновеніе отецъ пробрался въ гостиную, гдѣ я сидѣлъ, понуривъ на грудь голову.

— Петя, мама-то наша, мамочка-то...—заговорилъ онъ.— А?.. Что, Петя?

— Ничего, папа,—успокоилась...—отвѣтилъ я, не поднимая головы.

— Успокоилась?!. Не шевелилась? — почти съ ужасомъ пробормоталъ отецъ и, какъ помѣшанный, бросился въ комнату матери.

Онъ впился въ нее глазами, желая подмѣтить хоть малѣйшее движеніе, хоть одинъ вздохъ: она слабо дышала.

— Жива! жива!—шепталъ онъ глухимъ голосомъ, выходя изъ спальни и отирая крупный потъ, покрывавшій все его лицо, всю его голову.

Казалось, что въ минуту, прошедшую между предыдущимъ и теперешнимъ появленіемъ отца въ гостиной, онъ пережилъ такую пытку, которой одной довольно для того, чтобы человѣкъ сошелъ съ ума.

— Жива! жива!—повторилъ онъ снова, широко вздыхая.— Спитъ. Это хорошо... Это къ здоровью... Ледъ вотъ, го-

ворятъ, тронулся... Слава Богу, слава Богу!.. Теперь все пойдетъ на ладъ... А?

Отецъ весь дрожалъ, какъ въ лихорадкѣ, а лицо его все передергивалось улыбочкой, — судорожной, мучительной улыбкой.

Черезъ нѣсколько минутъ пришелъ священникъ, сѣдой, сухощавый старикъ; онъ перекрестилъ мнѣ на ходу голову и протянулъ руку для поцѣлуя. Началась исповѣдь. Отецъ во время исповѣди все ходилъ взадъ и впередъ по кухнѣ и потиралъ руки. Я сидѣлъ, понуривъ голову, въ уголкѣ. Исповѣдь кончилась.

— А кто же ходитъ у васъ за больной?—спросилъ священникъ у отца, когда тотъ отдавалъ ему деньги.

— Мы... я... сынъ,—забормоталъ отецъ.

— Прислуги-то не держите?—спросилъ священникъ, вытаскивая клѣтчатый бумажный платокъ, завязывая узелокъ на кончикѣ.

— Средствъ... батюшка... средствъ не имѣю... не имѣю,— какъ-то захлебнулся отецъ, глотая слова и слезы.

— О-охъ, грѣхи, грѣхи! — вздохнулъ священникъ, свертывая платокъ и отирая имъ около носа; онъ снова перекрестилъ мнѣ голову и подставилъ къ моимъ губамъ руку.— Вотъ расти, слушайся родителей,—наставительно сказалъ онъ мнѣ и, простившись съ отцомъ, удалился, неслышно волоча несгибавшіяся ноги.

Матушка тихо позвала насъ къ себѣ.

— Спасибо тебѣ!—промолвила она отцу.—Береги Петю... Петя... Я благословляю тебя. Расти честнымъ... слышишь... какъ отецъ, будь честнымъ и добрымъ...

Матушка перекрестила меня и поцѣловала крѣпкимъ долгимъ поцѣлуемъ.

— Спасибо тебѣ!—обратилась она къ отцу.—Обними меня!

Отецъ припалъ къ ней головою, упалъ на колѣна передъ постелью и зарыдалъ, какъ ребенокъ, какъ женщина.

— Пожить бы еще! — прошептала матушка, откидывая назадъ голову.

Прошло нѣсколько минутъ. Матушка начала метаться и стонать.

— Голубчикъ, что тебѣ? — снова очнулся и поднялся отецъ.—Грудушку не потереть ли, грудушку?

Матушка не могла говорить, она нетерпѣливо махнула рукой въ знакъ отрицанія и начала рвать рукою сорочку

съ груди, точно ее давило даже полотно. Наконецъ, она вдругъ поднялась и на минуту сѣла на постели.

— Воздуху!.. свѣту!..—вырвался изъ ея груди мучительный, рѣзкій крикъ, и она снова навзничь упала на постель, стиснувъ зубы, затихнувъ, свѣсивъ съ постели безсильную руку. Ея лицо приняло сердитое, угрюмое выраженіе сознанной безпомощности и вдругъ потемнѣло.

Отецъ безполезно припалъ къ этой свѣсившейся рукѣ, прижималъ къ ней свои губы, что-то безсвязно бормоталъ. Я стоялъ, какъ окаменѣлый, и съ нѣмымъ ужасомъ слѣдилъ за всѣмъ,—видѣлъ въ сумеркахъ наступавшаго вечера, какъ мать еще разъ мучительно въ конвульсіяхъ приподняла грудь, словно желая вздохнуть широкимъ вздохомъ, какъ скрипнули ея стиснутые зубы, какъ она потянулась, выпрямилась и потомъ совсѣмъ перестала шевелится. Ея глаза, строгіе, почти сердитые до этой минуты, смотрѣли уже не на меня, а куда-то вдаль безсмысленно, тупо; огонь, горѣвшій въ нихъ, потухъ мгновенно. По мнѣ пробѣжала дрожь, но я молчалъ и не трогался съ мѣста, какъ-будто не сознавая, что дѣлается передо мною. Въ комнатѣ становилось все темнѣе и темнѣе, а отецъ все еще неслышно плакалъ, прильнувъ къ свѣсившейся рукѣ матушки.

— Голубчикъ, озябла ты?.. рученька озябла...—прошепталъ онъ, наконецъ, поднимаясь съ колѣней и держа въ своихъ рукахъ похолодѣвшую руку матери.

Онъ поднялся, началъ безсмысленно всматриваться въ полутьмѣ въ лицо матушки; его глаза какъ-будто выкатились, зрачки расширились. Онъ перевелъ тупой, долгій взглядъ на меня и рухнулся на холодный трупъ.

— Умерла! умерла!

Этотъ крикъ, точно молнія, обжегъ меня. Я бросился къ трупу матери—онъ былъ холоденъ. Я взглянулъ на отца—отецъ не шевелился.

— Помогите! помогите!—съ отчаянными криками выбѣжалъ я въ пустой, темный коридоръ.

— Чего орешь?—съ просонковъ отозвался съ конца коридора голосъ.

XI.

Мнѣ снятся теперь тяжелые, томительные дни—дни панихидъ, погребенія. Ярко блеститъ весеннее солнце, но на улицахъ еще стоитъ непроходимая грязь, рѣжущій вѣтеръ дуетъ порывисто, Нева бушуетъ и уноситъ изломанный

ледъ, въ воздухѣ холодно. Трое сутокъ проведены мною и отцомъ почти безъ сна. Насталъ и день похоронъ. Началъ собираться народъ, чужой, незнакомый, всѣ жильцы нашего дома. Въ комнату вошелъ гробовщикъ и пробрался къ отцу.

— У васъ пропажа случилась,—объявилъ онъ отцу.

— А? что? — спросилъ безсмысленно отецъ, какъ бы спросонья.

— Галуны съ крышки украли.

Отецъ посмотрѣлъ на гробовщика тупымъ взглядомъ и жалобно улыбнулся.

— Прикажете обить новыми?—спросилъ гробовщикъ.

— Да... новыми, — безсознательно отвѣтилъ отецъ протяжнымъ голосомъ.

Мы вышли въ коридоръ. Крышка бѣлаго, обитаго коленкоромъ гроба стояла у дверей, ободранная наполовину. Отецъ посмотрѣлъ на нее мутными глазами и машинально пробормоталъ:

— Что-жъ... обивайте...

Гробовщикъ послалъ за новыми галунами. Около крышки тѣснилась толпа любопытныхъ, перешептываясь, обсуждая случившійся казусъ и ругая ребятишекъ нашего дома, этихъ «разбойниковъ» и «головорѣзовъ», эту плоть отъ плоти нашей, кость отъ костей нашихъ. Въ эту минуту къ отцу протискался одинъ изъ «христославовъ», приглашенныхъ на выносъ въ качествѣ пѣвчихъ.

— Иванъ Андреевичъ, крышу-то ободралъ Васька Степановъ. Это доподлинно такъ. Его накрыли наши, — объявилъ «христославъ».

— А? Ну, Богъ съ нимъ... Богъ съ нимъ.

— Его бы скрутить, да въ полицію отправить,—посовѣтовалъ христославъ, опытный по части расправы за покражи.

— Что мнѣ въ этомъ?.. Что мнѣ? — махнулъ рукою отецъ.—Все прахъ, все прахъ... Что мнѣ?

Отецъ понурилъ голову. Онъ взялъ меня за руку, возвратился со мной въ комнату и подошелъ поближе къ гробу.

— Унесутъ сейчасъ... унесутъ... Сиротами мы съ тобой, Петя, остались,—шепталъ онъ, пожимая мою руку.

Пришелъ священникъ, началось пѣніе. Принесли крышку, закрыли гробъ; его подняли, понесли изъ квартиры, поставили на дроги. Тощія лошади въ полинялыхъ, рыжихъ попонахъ тронулись. Толпа закрестилась и стала рѣдѣть,— черезъ нѣсколько минутъ мы остались одни. Сзади самыхъ

дрогъ, шлепая по грязи, спотыкаясь на каждомъ шагу, шли только отецъ и я, крѣпко держа другъ друга за руки.

— Сироты мы съ тобой, Петя, сироты... Маму нашу везутъ, мамочку нашу,—шепталъ всю дорогу отецъ, спотыкаясь и увязая въ грязи. У него то выпадала изъ рукъ старая, измятая шляпа, то сваливались калоши.

На одномъ изъ поворотовъ я увидалъ, что рядомъ съ нами идетъ еще одна личность, нарядно одѣтая, вся въ черномъ. Я узналъ Настю. Она шла безмолвно, опустивъ голову, изрѣдка отирая слезы. Отецъ тоже замѣтилъ ее.

— А, Настенька!.. Вотъ хоронимъ... маму нашу хоронимъ, — пробормоталъ онъ. — Сироты, совсѣмъ сироты остались!

Настенька еще ниже опустила голову.

— Спасибо, что вспомнили сиротъ,—вздохнулъ отецъ.

— Вы знаете, какъ я любила ее,—прошептала Настенька, почти рыдая. — Я такъ хотѣла проститься съ ней... Вы знаете, я не смѣю... Отецъ могъ увидать...

— Да, да... А вотъ мы совсѣмъ сироты, совсѣмъ сироты,—безсмысленно бормоталъ отецъ.

Онъ уже не плакалъ, не стоналъ; по его лицу снова бродила убійственная, мучительная улыбочка. Но его однообразная, тысячу разъ повторяемая фраза о томъ, что мы сироты, бросала въ дрожь, какъ однообразный бредъ помѣшаннаго. Я впервые почувствовалъ, что я сильнѣе, тверже отца, что я разсудительнѣе его, что не онъ будетъ теперь меня поддерживать, а я его долженъ беречь и лелѣять. Но мнѣ было только девять лѣтъ. Я осмотрѣлся съ какимъ-то ужасомъ: за нами не шелъ никто; по тротуарамъ и по мостовой сновали съ озабоченными лицами чуждые мнѣ люди, торопливо крестившіеся на ходу; по бокамъ тянулись незнакомые мнѣ дома какихъ-то длинныхъ улицъ, въ которыхъ я былъ впервые; подъ ногами лежала утомительная грязная дорога; въ лицо мнѣ дулъ рѣзкій, пронизывающій до костей вѣтеръ; по временамъ начиналъ моросить дождь; солнце, какъ бы нехотя, какъ бы случайно, прорывалось на минуту изъ густыхъ и хмурыхъ тучъ, — и посреди всего этого двѣ тощія клячи тихо тащили никому не нужный, никому не дорогой гробъ, а за гробомъ плелись столько же неизвѣстныя, столько же ненужныя, столько же недорогія всѣмъ три личности: падшая дѣвушка въ богатомъ нарядѣ, но съ грустнымъ, покрытымъ слезами лицомъ, полуумный старикъ, съ сѣдыми, развѣвавшимися по

вѣтру, всклокоченными волосами, и едва вступающій въ жизнь мальчикъ. Этотъ мальчикъ велъ и поддерживалъ старика. И въ будущемъ ему приходилось также вести и поддерживать этого старика и въ то же время пробивать себѣ путь, не ожидая поддержки ни отъ кого въ этомъ мірѣ, гдѣ сочувствовало ему, гдѣ жалѣло его, быть-можетъ, только одно созданье, — но это созданье была падшая дѣвушка, забросанная грязью, стоящая на краю пропасти.

— Будь честнымъ, будь добрымъ!—звучали, между тѣмъ, въ ушахъ мальчика послѣднія слова его матери...